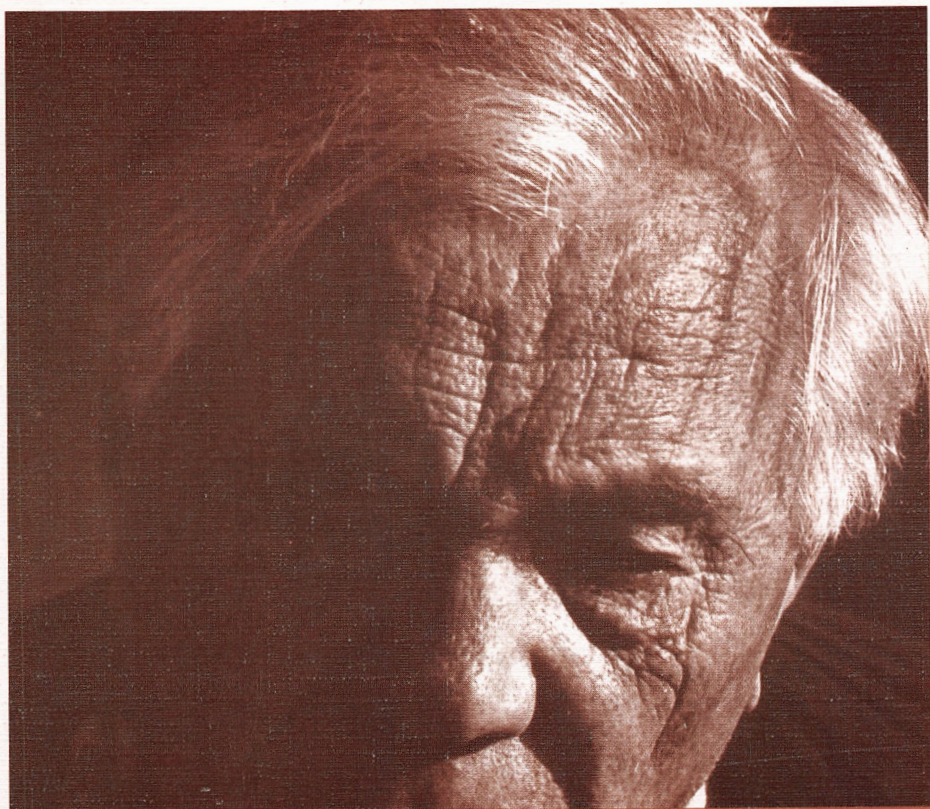


КОНТИНЕНТ

2001

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 110



Но надо жить и, пока живешь, дерзать, перебарывая сопротивление
и неуверенность свою, изжигая сердце, надсаживая память...

Виктор Астафьев

В. Астафьев

Памяти Виктора Петровича Астафьева

Невозможно представить его мертвым. У Астафьева было столько жизни, что, казалось, ее хватило бы на нас всех; столько тепла в душе, что этим теплом обогрелись и Овсянка, и Сибирь, и вся наша Россия. Да и всем другим народам и странам доставалась еще толика его требовательной заботы и суровой нежности. В этой груди билось живое, трепетное русское сердце. Оно вмещало в себя всю боль выпавшей из пазов эпохи и рвалось на части, видя человеческие беды и страдания, человеческую немощь и скудость. И вот оно разорвалось совсем. И мы осиротели.

Такие люди, как Виктор Астафьев, страшно редки. Редки у нас в России, редки и в мире. Во всем он был настоящий, сделанный с немалым запасом всяческой всячины, самородный русский человек. В безрасчетной страстности, в широте души, в размахе чувств и порывов. Скажем больше: он — один из последних поистине больших русских людей. С великой совестливой душой, с непомерной способностью и готовностью к любви и сочувствию, к ненависти и скорби. В нем с наибольшей, пожалуй, полнотой выразилось и высказалось последнее самобытное русское начало — диковинный, непродажный сплав сердечности и максимализма.

В великой русской литературе он у себя на родине, но и тут он неповторим — седой исполин, сохранивший до конца свежесть и силу голоса, стихийный гуманист и пламенный искатель веры и правды. Последний, одинокий воин, честно и смело вставший на пути зла, почти без поддержки и опоры, он выстоял в схватке с жутким и наглым, с палаческим веком. Он с честью вышел из черной бездны советского ада. И в новое, межуточное постсоветское время Астафьев отличил свободу и истину от лжи и гнуса, суть от бреда. Он сказал о конченном веке огненные, жгучие, неповторимые слова.

Этого его жизненного подвига уже никто не сможет отменить, сколько бы ни твякали вслед шавки всякого рода политических и литературных подворотен.

Но Астафьев не преувеличивал масштаба своей личной победы. Человек в его прозе — чаще не победитель, а побежденный. Страдалец и жертва. У него было острое чувство вины и греха. Своих, личных, — и греха и вины народа. Покорив эпоху творчески, преодолев ее словом, он только в этом, кажется, и находил смысл своего земного бытия. Потому что оказался свидетелем гибели России, очевидцем изгнвания на корню русского народа — и не смог этому помешать, сколько ни зывал к измелчавшим современникам. Мы слушали его — и не слышали. Слышали — и молчали. Молчали — и позорно, преступно мало сделали для России, для людей, для нашего сегодняшнего мира в последние полвека.

Вместе с ним кончилось так много, что единственным утешением может служить надежда на неокончателность разлуки. Открылась огромная брешь, откуда веет холодом и мраком. Как, чем заполнить ее? Это вопрос, обращенный к каждому из нас. Ушел век, ушла великая душа. Эта смерть проложила еще одну рубежную черту между нами и двадцатым столетием. Между той Россией, которая уходит и уже почти совсем ушла, — и той Россией, которая, Бог даст, все-таки еще состоится.

Редакция «Континента» скорбит вместе со своими читателями.



Редакция «Континента»
искренне благодарит Правление РАО ЕЭС России
за финансовую поддержку журнала

Мы благодарим так же Университет Истории Культур
за техническую и организационную помощь,
оказываемую редакции в ее работе

И мы выражаем сердечную признательность
за финансовую поддержку журнала
Алексису Береловичу, Жану Бонамуру,
Лидии Брон, Катерине Герасимовой,
Герберту Данзеру, Изабель Депре, Клоду Кастлеру,
Михаилу Копелиовичу, Веронике Лосской, Марине Микитянской,
Мишелю Окутюрье, Жоржу Нива, Эдуарду Саруханяну,
Валентине Синкевич, Валерию Сойферу,
Кэтрин и Славе Теймер-Непомнящим,
Татьяне Хоффер и Маргарите Якимец

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

110

2001, № 4

октябрь — декабрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатели:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: continent@home.com (США)

Телефон редакции:
(095) 924-91-51

Internet: <http://www.members.home/net/continent>

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ

Марина АДАМОВИЧ

Василий АКСЕНОВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Юрий АФАНАСЬЕВ

Ценко БАРЕВ

Александр БЛОК

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Георгий ВЛАДИМОВ

Пауль ГОМА

Алла ДЕМИДОВА

Ион ДРУЦЭ

Евгений ЕРМОЛИН

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Мишель ОКУТЮРЬЕ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Лариса ПИЯШЕВА

Валерий СОЙФЕР

Виктор СПАРРЕ

Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

**Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА, Виктория ЛАВРЕНТЬЕВА,
Александр КЫРЛЕЖЕВ, Владимир СОТНИКОВ, Светлана ТОЧКИНА**

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ

Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ

Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛЮВА
Ul Belwederska 25. Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА

26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Лариса МИЛЛЕР Новые стихи и проза	9
Юрий ЕКИШЕВ Действия ангелов. <i>Повесть</i>	35
Фаина ГРИМБЕРГ Два стихотворения	70
Александр КУЗНЕЦОВ Сговор. <i>Повесть</i>	74
Виталий ПУХАНОВ В снегу рождественской недели. <i>Стихи</i>	127
Владимир СОТНИКОВ Фотограф. <i>Повесть</i>	131

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Александр КИКНАДЗЕ Исходные данные. Евреи с нами и без нас	156
--	-----

Портреты

Николай ЗЛОБИН Трумен	224
---------------------------------	-----

Российская диаспора в США. По материалам Пярых Международных Максимовских Чтений	283
--	-----

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности в русской периодике. <i>Второй-третий кварталы 2001 г.</i>	293
---	-----

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Наум КОРЖАВИН Бомонд над клоакой	301
--	-----

РЕЛИГИЯ

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (сентябрь—ноябрь 2001 г.) 338

Константин КОСТЮК

Антизападничество и антимодернизм в восточном православии . . . 347

Борис КОЛЫМАГИН

К проблеме диалога со старообрядцами: уроки истории 357

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль в российской периодике.

Третий квартал 2001 г. 364

ГНОЗИС

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, историософская, культурологическая
и социологическая мысль в русской периодике
третьего квартала 2001 г. 370

ПРОЧТЕНИЕ

Сергей ЮРСКИЙ

Вдруг показалось...

(*Этюд об одном стихотворении И. Бродского*) 383

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Портреты

Евгений ЕРМОЛИН

Владимир Бондаренко, или Сон о красном тереме 392

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная проза и литературная критика
в русской периодике. *Третий квартал 2001 г.* 408

ИСКУССТВО

Беседы в редакции

Инсталляция: мир № 2. Флибустьер.

Беседа члена редколлегии «Континента»

Марины Адамович с Виталием Комаром 438

НОВЫЕ СТИХИ И ПРОЗА

ЗОЛОТАЯ ЗАПЯТАЯ

Сентябрь — ноябрь 2001 г.

* * *

Ни ответа, ни привета.
Только смена тьмы и света —
Мельтешение одно.
То зима глядит, то лето
В равнодушное окно,
То дождя струя косая.
И, в полете зависая,
Мчатся листья под откос,
И висит, не исчезая,
Вечный в воздухе вопрос.

* * *

Где веселье, где кручина,
Где итог, а где причина? —
Все сплелось в один клубок.
Жизнь безмерна, как пучина,
И наивна, как лубок.
Где конец и где начало?...
Нас, должно быть, укачало
От столь долгого житья,
Куража осталось мало,
Много жалоб и нытья.
Новый день темней и глуше,
Лист, что все бурей и суше,
Сам ложится под пята,
И тоскуют наши души,
Погружаясь в темноту.

**Лариса
МИЛЛЕР**

— родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг стихов и прозы «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» (1986), «Поговорим о странностях любви» (1989), «Стихи и проза» (1992), «В ожидании Эдипа» (1993).

* * *

А дальше будет день, а дальше,
А дальше снова ночь тишайше
Наступит, и затихнет дом,
А дальше утро, а потом
Опять кружить ночами, днями
Под фонарями и лучами,
А дальше день и ночь, и день ...
Живите долго, коль не лень.

* * *

И чтоб не страшно и не больно —
Покойно, радостно, привольно,
Покойно, радостно, приво...
Уже все сказано. Довольно.
Наш самый главный — он того.
Как поглядишь, так ужаснешься:
Все боль, к чему ни прикоснешься.
Все жуть, куда ни поглядишь,
И только ждешь, когда проснешься
И обнаружишь гладь да тишь.
Чего, однако, захотела —
Покоя для души и тела.
Откуда взяться им, скажи,
В краю, где мукам нет предела,
А остальное — миражи?

* * *

Живу, тихонько напевая
И вечно недоумевая
Зачем живу, зачем пою,
Кто песню слушает мою,
И что за дикая привычка
Все петь да петь, ведь я не птичка,
Все петь да петь до хрипоты
И до икоты. Пой и Ты —
Ведь я Твое подобье, Отче...
А может, эти дни и ночи,
Прохожий, улица и я
Есть песня скорбная Твоя?

* * *

Мир сколочен на фу-фу.
Не успел прочесть строфу,
Досмотреть простую сценку,
Как, глядишь, пробили стенку,
Разломали потолок,
И уютный уголок,
Зауток для твари хрупкой
Стал кровавой мясорубкой.
Убежать куда-нибудь,
Но какой ни сыщешь путь,
Приведет он на планету,
Где и вовсе жизни нету.

* * *

А жизнь идет — за кругом круг —
Идет, и все ей сходит с рук.
Сквозь вереницу черных дней
Идет, и горя мало ей.
Воспрянув от любой беды,
Сухой выходит из воды.
И шепчешь, в рюмке боль глуша:
«Жизнь в самом деле хороша».

* * *

Еще одна попытка жить,
Еще одна попытка.
Звучит красиво — жизни нить,
А тронь — гнилая нитка,
Которой дыр не залатать,
Прорехи не заштопать.
Но надо жить и хлопотать,
И по дорогам топтать,
И верить, будто негасим
Очаг родного крова,
И нить, на коей мы висим,
Надежна и сурова.

* * *

Под небесами так страшно слоняться,
Надо хоть как-то от них заслоняться —
От безразмерных, бездонных, пустых,
В млечных разводах и тучах густых.
Чтоб не болеть одиночеством острым
Надо прикрыться хоть чем-нибудь пестрым,
Плотным, тугим, осязаемым на вес,
Но ярко залитым светом небес.

* * *

Что, Господи, делать и кто виноват?
Ты видишь, земля превращается в ад.
Как петь этой жизни «Осанна, осанна»,
Когда так безжалостен Domini Anno
Безжалостен, темен, коварен и дик?
И так необуздан Твой будущий миг,
Что кажется будто бы мир наш безбожен.
Но только поверю, что он безнадежен,
Как тихие спустятся с неба лучи,
Нёся мне от рая земного ключи.

* * *

На поверхности воды —
Сплошь осенние следы,
По окраске — золотые,
А по форме — запятые.
Каждый следующий след
Утверждает: точки нет,
Непреренно жди продленья —
Озаренья или тленья.
Лист роняют дуб и клен...
Как-то будет путь продлен...
И шуршит, с ветвей слетая,
Золотая запятая.

* * *

Все в тайном сговоре вокруг,
Несметные плетутся нити,
Связующие тьму событий —
Незримый трудится паук.

Все втянуты в один комплот,
В какой-то заговор тотальный,
Чей засекречен план детальный
И тайных связей темен плод.

Творя привычные дела,
Мы все — мазки одной картины
И нити тайной паутины,
Что все на свете оплела.

* * *

Я опять брожу часами
Под пустыми небесами
И гляжу на небеса —
Уж такая полоса,
Уж такая нынче осень...
Слева — туча, справа — просинь,
И, протертое до дыр,
Слово снова правит пир,
И ярится и хлопочет,
Донести до мира хочет
И до неба донести
Что-то важное. Прости,
Ты прости нас, Святый Боже,
Что всегда одно и то же:
Страх и трепет, жар и дрожь...
Все равно Ты все сотрешь —
Тронет лист Твоя десница,
И опять пуста страница.

КОЛЛЕКЦИЯ

Автобиографические зарисовки

1. А наутро

«Через не могу, — говорила бабушка. — Надо уметь действовать через не могу». Такова была жизненная установка, которой она руководствовалась в воспитании детей. Когда мама, будучи ребенком, отказывалась есть гороховый суп, жалуясь на сильные боли в животе, бабушка принялась кормить ее одним гороховым супом. «Через не могу», — твердила она плачущей маме, которую вскоре с сильнейшим приступом аппендицита

увезли в больницу. Аппендицит оказался гнойным. Маму чудом спасли, а бабушке объяснили, что при аппендиците горох противопоказан.

Но бабушкин метод воспитания не изменился. Не растить же в самом деле белоручек и неженков. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Бабушка была страстным адептом этого армейского девиза. Если бы не моя легкомысленная мама, я, наверное, все десять лет оставалась бы круглой отличницей. А так мне это удалось лишь в пятом классе в 51-м году, когда мама, выйдя замуж, уехала на год к отчиму в Лефортово, оставив меня на попечение бабушки. Вот когда бабушка наконец-то взялась за меня. Вот когда она смогла без помех проверить свою методику в действии. Несколько раз в неделю она поднимала меня в шесть утра и заставляла повторять устные уроки. Ей удалось добиться невозможного — того, что я, вечно плавающая в географии и биологии, могла безошибочно назвать и показать на карте все полезные ископаемые, металлургические центры, любую равнину и возвышенность, рассказать, что чем омывается и как в природе происходит опыление и зачатие. Бабушка приучила меня слушать «Пионерскую зорьку», складывать портфель с вечера, гулять только тогда, когда сделаны уроки. «Кончил дело, гуляй смело, — повторяла она. — Делу время, потехе час». И никакой беготни с мамой по театрам и киношкам, никаких поздних гостей и прочей вредной для ребенка ерунды. Жизнь потеряла прежние краски, но приобрела новые. У меня появился азарт. Я вдруг поняла, что могу быть не хуже других. И даже лучше. Из унылых троешниц я выбилась в хорошистки, а потом — о чудо! — в отличницы. Как описать, что я чувствовала, когда всю дорогу из школы домой несла на вытянутых руках первую и последнюю в своей жизни похвальную грамоту!

«Не знаю, как решать. Не понимаю», — говорила я, томясь над очередной задачей. «Быть того не может!», — восклицала бабушка и, усевшись рядом со мной, принималась звонким голосом читать условие задачи. Это была самая драматичная часть моей тогдашней жизни, потому что, обладая кипучей энергией, бабушка не обладала и малой толикой терпенья. Когда моя тупость достигала апогея, а бабушкин голос — самых высоких нот, добрый мой дед с криком «утоплюсь!» выбегал из комнаты. Я тихо плакала, тупо глядя в учебник, и в слезах ложилась спать. А наутро... Нет. Об этом надо с красной строки.

Наутро я обнаруживала на столе возле дивана, на котором спала, раскрытую на первой странице чистую тетрадь с подробнейшим изложением решения задачи, в которую мне со страху не удавалось вникнуть накануне. Вначале шло условие, красивым и четким почерком переписанное бабушкой из учебника, а потом поэтапно три разных варианта решения. Бабушки уже не было дома. А рядом с тетрадкой стояла закутанная в платок каша. Все это напоминало сказку не то про царевну-лягушку, которая за ночь успевала наткать ковры, не то про каких-то добрых гномов, тайком помогавших сапожнику тачать сапоги.

Эти отнюдь не педагогические бабушкины поступки, состоявшие в том, что она решала за меня задачи, которые мне оставалось лишь переписать в свою тетрадь, были высшим достижением педагогики. Решенная задачка являлась чудесным знаком, доказательством того, что в жизни нет безвыходных ситуаций и все разрешимо, как в сказке: ложись, мол, спать. Утро вечера мудренее.

«Утро вечера мудренее, — говорила бабушка, когда усталая возвращалась с работы. — Завалюсь-ка я на часок». Иногда она так и спала до утра, не раздеваясь, а когда я открывала глаза, ее уже не было. Зато на спинке стула висел мой отглаженный белый фартук и к форме был пришит чистый кружевной воротничок. Значит, бабушка помнила про мой школьный сбор и все успела приготовить.

Нет, это не породило во мне никаких, как тогда выражались, иждивенческих настроений. Зато поселило веру в то, что все в конечном счете будет хорошо. И сколько бы жизнь ни старалась это опровергнуть, детская вера оказывалась сильнее.

Хоть и давно это было, я до сих пор слышу энергичное бабушкино: «Быть того не может!». И когда говорю себе: «Все. Устала. Не могу больше», — в ответ слышу десятки лет назад отзвучавшее: «А ты через не могу».

Если мне когда-нибудь и приходит в голову светлая мысль, то случается это в самый ранний час утра на границе между сном и бодрствованием. Потому что утро — это чистая тетрадь с решенной задачей, над которой я накануне лила горькие слезы.

2. Жилплощадь

Меня не посвящали в те сложные перипетии, с которыми было сопряжено появление первой в нашей жизни отдельной квартиры. Я даже не присутствовала при переезде. Меня отправили на время студенческих каникул в Дубулты. А вернулась я уже не в коммуналку в Новокузнецком переулке, а в отдельную квартиру на Трифоновской. Это было уникальное жилище — кривой пол, кривизну которого пытался замаскировать неровно постеленный (ровно, по-видимому, не удавалось) линолеум, две длинных, узких, темных комнаты, окна которых упирались в необъятных размеров жилой дом, тесный коридор и кухня, совмещенная с ванной. Крошечной кухневанной (ванна сидячая, плита двухкомфорочная) мама особенно гордилась, так как с помощью этого хитроумного изобретения удалось выделить комнату для меня. Моя малометражная переделанная из кухни комната оказалась единственным светлым местом в новой, а на самом деле очень старой (когда-то в этом доме находилось общежитие консерваторцев) квартире. Окно смотрело во двор, а на окне висели не шторы, как в других комнатах, а белые занавески. Без штор было не обойтись. Квартира нахо-

дилась на низком первом этаже и хорошо просматривалась. Когда мимо нас ехали трамваи — а ходили они регулярно, — дом дрожал. Я вообще-то любила трамвайный перезвон и то, как вагоны спотыкались на стрелке. Квартира хоть и была отдельной, но оказалась весьма общительной. Она охотно взаимодействовала с внешним миром: когда проезжал тяжелый транспорт, позвякивала посуда на столе; когда кто-нибудь входил в подъезд, вздрагивала дверь нашей квартиры; когда в теплую погоду во двор высыпали бабульки, казалось, что они усаживались посудачить не на лавочку под окном, а на мой диван — настолько отчетливо было слышно каждое слово. Квартира наша так свыклась со своим коммунальным прошлым, что не в силах была смириться с тем насилием, которое над ней совершили, превратив в отдельную.

Можно ли забыть, как я, вернувшись из Дубултов, впервые переступила порог СВОЕЙ квартиры? Мама встретила меня на Рижском вокзале и повела домой. Идти было недалеко. Наш двухэтажный бесконечно длинный серый дом начинался прямо от вокзала. Мы прошли несколько подъездов и, дойдя до нужного, позвонили. На звонок вышел отчим: «Ну, деточка, располагайся. Чувствуй себя, как дома». «Что сначала — есть или мыться?», — спросила мама. Конечно, мыться. Я ведь никогда еще не мылась в своей ванне. И вот я сижу в наполненной душистой пеной малогабаритной ванне и слушаю мамину сагу про то, как мы оказались в отдельной квартире. Я очень быстро потеряла нить, усвоив только одно — если бы не мама, мы бы так и не вылезли из коммуналки, все случившееся — чудо, и наше жилье — предел мечтаний. Я слушала, как шумит колонка, смотрела на дрожащий фитиль и чувствовала, что засыпаю. Спала я на мамином диване (моя комната была еще не вполне готова) под трамвайные звонки, стук колес, шелест шин, шарканье ног и людские голоса. Когда на следующий день меня переселили в мою комнату, в которой помещался только диван и журнальный столик, я посмотрела в свежепобеленное окно с воздушными занавесками и вспомнила есенинское: «Вот оно глупое счастье с белыми окнами в сад».

В сад выходили не только белые окна, но и двери черного хода, с которого в подъезд часто забредал разный вокзальный люд. То кланчили милостыню, то стакан, то переночевать просились.

А через год в ней появился ты — пришел с каким-то поручением от нашего общего приятеля. Согласившись выпить чаю, ты сел на табуретку, вытянул ноги и перегородил всю комнату. А пока я ходила за розеткой для варенья, начал его уплетать прямо из банки. Доев варенье и выскоблив доньшко (ложкой по стеклу — ужас!), ты попросился и ушел. Но ненадолго. Однажды светлой июньской ночью ты так у меня засиделся, что заснул. А я, глядя на колеблемую ветром занавеску, опять подумала про глупое счастье с белыми окнами в сад.

Хотела ограничиться описанием первой в моей жизни смешной самодельной отдельной квартиры и с благодарностью ей поклониться, но тут появился ты, и мне захотелось пробежаться с тобой по всем нашим совместным московским адресам.

У нас долго не было отдельного жилья, и мы кочевали с места на место. То у твоих проживем, то у моих.

У твоих — значит в черемушкинской хрущевке, куда незадолго до того переехали из кропоткинской коммуналки твои бабушка с дедушкой. Их черемушкинское бытование поражало чудовищным несоответствием между напоминавшими о совсем другой жизни глубокими кожаными креслами, старинным резным буфетом, ломберным столиком — и тесными, низкими, узкими типовыми клетушками, в которые все это было втиснуто. Да что там — мебель. Главное, хозяева — их породистые лица, аристократическое воспитание, блестящее образование (дедушкин Гейдельбергский университет), славное социал-демократическое прошлое, гонения, ссылки... Вот и фотоальбом в старинном переплете — присевшая на скамью юная дама в длинной черной юбке и широкополой шляпе, а рядом сосредоточенно глядящий в объектив бородатый очкарик в котелке. Нет, никак не вязался с ними жалкий коробок стандартной застройки, в котором им предстояло доживать свой век.

Впрочем, хрущевка далеко не самое страшное из того, что с ними могло случиться. Их миновали советские лагеря и тюрьмы, а могли и не миновать: все-таки дедушка — бывший меньшевик. Так что грех жаловаться. Да старики и не жаловались. Как-никак отдельное жильё после долгих лет, проведенных в большой многонаселенной квартире в Чистом переулке, когда-то целиком принадлежавшей им и их огромному семейству.

Мы с тобой тоже пожили в этой квартире. Повесили на стену картины твоего двоюродного брата, поставили полку с книгами и стали жить. Мне там больше нравилось, чем за шторкой в Черемушках. Во-первых, Кропоткинская — это с детства привычная старая Москва. А во-вторых, в Черемушках существовал свой уклад, к которому не так уж просто было приспособиться. Я, например, никак не могла приучиться класть чайные ложки на вторую полку буфета, а столовые — на третью, как того хотела твоя бабушка, которая с завидным терпением подводила меня к буфету и дрожащей рукой снова и снова перекладывала ложки на нужное место.

А еще мы успели пожить в новом, пахнущем краской и свежим паркетом кооперативном доме ученых на Плющихе. Твои родители, построив эту квартиру, оставались в закрытом городе, а мы, заняв одну из комнат, поселили в другой нашего приятеля, который не имел своего угла. Он был преданным другом и всегда старался помочь. Когда какое-то время спустя мы решили снимать комнату (то ли твои родители

собирались переехать в Москву, то ли были другие причины), он подсказал нам текст для объявления: «Пара молодоженов снимет комнату на длительный срок». Объявление имело колоссальный успех: «паре молодоженов» постоянно предлагали жилье по несуществующему адресу. Воображаю, как веселились шутники, зная, что мы будем искать квартиру № 96 в доме, состоящем из 95 квартир.

В конце концов, мы сняли нечто темное и мрачное в Банном переулке совсем рядом с тем зданием, в котором, как выяснилось позднее, снимал комнату долго державший в страхе всю Москву убийца и вор Ионесян. Любопытно, что весь первый этаж этого дома принадлежал районному отделению милиции. Еще любопытней то, что грязная, убогая, кривая и очень дешевая квартира, в которой мы поселились, оказалась «малиной». К хозяйке, которая никогда не выключала радио, постоянно ходили заросшие щетиной личности (некоторые были почему-то с проваленными носами), а ее муж отбывал срок за решеткой.

Все это произвело такое сильное впечатление на наших родителей, что они решили помочь нам вступить в кооператив. Так мы оказались на последнем этаже девятиэтажного дома на Проспекте Мира, в подвале которого находился коммиссионный мебельный магазин, из-за чего к дому постоянно подъезжали легковушки, грузовики и фургоны. А вскоре рядом возник пивбар, и жить стало еще веселее. Каждый вечер, а иногда и по ночам возле нашего дома происходили живые сценки с мордобоем и сочным диалогом.

К тому же наши окна смотрели на Дом ребенка, где с утра до вечера стоял вселенский плач, смолкавший лишь тогда, когда дежурила одна необыкновенно добрая воспитательница с необычайно звонким голосом. Она водила с детьми хоровод, пела песни, загадывала им загадки, лепила с ними снеговика и просто беседовала. Я ждала ее так же нетерпеливо, как детдомовские сироты. Вот придет добрая тетя и прекратится этот надрывающий душу плач.

Вообще, на что в России нельзя пожаловаться, так это на отсутствие шума. Нашим следующим пристанищем была квартира в Ростокинском городке неподалеку от Проспекта Мира. К тому времени у нас родился ребенок и в прежней малогабаритной квартире стало тесновато.

Переехав в новый дом, мы оказались в опасной близости к общезнанию автобусно-троллейбусного парка, где, независимо от времени года, на всех окнах стояли адские машины, изрыгающие адские звуки. Однажды я взяла за руку старшего сына и отправилась к хозяину одного такого звукоизвергателя. Что я собиралась делать — не знаю. Никакого четкого плана у меня не было. Я действовала по велению сердца. Владелец комнаты и радиолы лежал на диване и ловил кайф. Пытаясь перекричать сумасшедший грохот, я рассказала ему сперва об

одном своем нервном ребенке, потом о другом, потом про старую бабушку, потом про свою больную голову. Он, продолжая лежать, молча слушал, а потом нехотя встал и убрал звук. Гордясь своей решимостью и тем, что в столь трудном разговоре нашла верный тон, я вышла на улицу и остановилась, потрясенная: из того же самого окна, из той же самой радиолы неслись звуки такой мощности, по сравнению с которыми прежний шум стал казаться ангельским пением.

А дальше... дальше Теплый Стан, наше нынешнее становище, — самая высокая, самая близкая к небу точка Москвы. В Теплом Стане всегда холоднее, чем в других районах. Даром, что зовется Теплым.

Пока я перемещалась с северной окраины Москвы на южную, мама продвигалась к центру. Поняв, что самоделка на Трифонойской еще не предел мечтаний, она, совершив ряд сложных многоступенчатых обменов и соединившись с бабушкой и дедушкой, оказалась в квартире, которую и пределом мечтаний не назовешь, потому что о таком и не мечтают. Можно ли, прожив большую часть жизни в коммуналке, вообразить себя владельцем просторной отдельной квартиры на 8-м этаже монументального дома сталинской застройки на Кутузовском проспекте рядом с Триумфальной аркой? Можно ли, привыкнув жить в комнате, в которую легко войти через окно, представить, что вознесешься на высоту, откуда весь город как на ладони?

Мама так и не привыкла к новой квартире. Она ее холила, нежила, хвалила и ублажала. Покупала ей всякие гостинцы: то клеенку новую, то цветные занавески в кухню, то пеструю бабу на чайник. Ей нравилось все: и толстые стены, и высокие потолки, и вид из окна, и то, что во дворе или в лифте можно встретить живущих в том же доме известных артистов, и то, что транспорт хорошо ходит и магазинов много...

Летом, когда мы снимали дачу в Вострякове, я приезжала к маме с детьми мыться. Она угощала нас мороженым с клубникой, а потом, пока дети смотрели телевизор, мы с ней пили кофе и говорили, говорили...

Она умерла от лейкоза в 83-м и похоронена на Востряковском кладбище. Спустя два года отчим женился. Он пережил маму на несколько лет. Теперь в квартире на Кутузовском живет его вдова.

А длинный дом на Трифонойской я однажды проезжала. Все пыталась определить окна нашей самой первой самоделкой отдельной квартиры, да так и не смогла.

А самый мой первый дом на этой планете, дом на Большой Полянке — тот, откуда есть пошла вся моя остальная жизнь, — щедро поделив свою территорию между автомагистралью и ультрасовременным билдингом с загадочной аббревиатурой и великодушно подарив свой номер трем соседним домам, — исчез с лица земли. Вернее, полностью перебрался в мою память, где, надеюсь, ему так же хорошо и уютно, как было когда-то мне в его незабвенном коммунальном раю.

3. Спать пора

«Повернись на бок и закрой глаза», — говорили мне взрослые. Я делала, как мне говорили, а за моей спиной бурлила ЖИЗНЬ! Там смеялись, танцевали, чокались. А куда было меня девать? Гостей много, комнаты маленькие, коммуналка. Вот и растекались по всей скудной территории. Даже садились на мою кровать.

«Так. Всем в постель, — громовым голосом сообщила воспитательница. — Кто через пять минут не ляжет, пусть пеняет на себя».

Дело было летом, еще сияло солнце, но детям полагалось спать. А взрослым жить. О, эти звуки жизни — хохот, восклицания, звон посуды.

Особенно терзал душу вечерний шум южного курортного городка. Домик, где мы с мамой снимали комнату, был в горах, а откуда-то снизу, наверное — с танцплощадки, доносилось знойное танго.

Когда позже я читала или слышала фразу: «Жизнь прошла мимо», — я всегда представляла себе одно и то же: вечер, я в постели, мне положено спать, а где-то кипит, бурлит, пенится жизнь. «Наверстаю, наверстаю», — думала я.

Школьный вечер. Танцы. Музыка. Твой час настал. Вперед! Чего же ты жмешься поближе к проигрывателю и перебираешь пластинки с таким видом, будто только за этим и пришла?

День рождения подружки. Она живет с бабушкой. Ее родители работают за границей, и потому у нее полно пластинок, которые у нас ни за какие деньги не купишь. Все с энтузиазмом сдвигают в сторону столы и стулья, освобождая место для танцев. «Куда ты? Почему уходишь?» — «Мне пора. Меня просили рано вернуться», — говорю я удивленной подружке. И все вру. Никто меня ни о чем таком не просил. Я спускаюсь по ступенькам, а за дверью гремит музыка. Жизнь идет и, как всегда, мимо. Или я иду мимо.

«Pardon me, boys, is that a chatanooga choo-choo?», — несется со сцены. Институтский вечер в самом разгаре — in full swing — как сообщает учебник для 3-го курса. На наши инязовские вечера стремилась вся московская золотая молодежь. «Sixteen tons, and what do you get?», — поет местный Элвис Пресли по кличке «Джон маленький». В зале душно, я вся красная, и у меня наверняка блестит нос. Он всегда блестит, когда мне жарко. Надо куда-нибудь спрятаться и его напудрить. «Пудрённый нос», — дразнил меня мой друг, который уже больше не мой друг. Вон он, в дальнем углу зала, и, как всегда, в центре внимания — что-то говорит, и все хохочут. Я выхожу в коридор, вынимаю круглую пудреницу, смотрю на себя в зеркало, и меня охватывает тоска. Господи, ну что же это? Красная, растрепанная, нос блестит. Прочь отсюда. Нечего мне здесь делать. Мимо меня, держась за руки, промчались двое. Они спешили туда, а я оттуда. «Volare, a-a, — заливался Джон маленький, — Cantare, a-a-a-a» Я уходила под свою самую любимую песню. «Лети и

пой, пой и лети,— говорилось в ней,— давай улетим к облакам, прочь от шумной толпы». Давай, я согласна. Но с кем полетим? Я уже пробовала летать, но быстро спускалась.

Что-то со мной не так. Наверное, меня в детстве слишком рано спать укладывали, и мне привычнее слушать шум со стороны, чем быть в гуще событий. К тому же в ней не так уж интересно, в этой гуще, — шумно, суетно и душно. И даже когда я в ней, мне кажется, что жизнь идет мимо. Потому что жизнь — это то пленительное, загадочное, недостижимое, что происходило где-то вдали от меня или за моей спиной, когда я лежала с закрытыми глазами.

4. Рай под подушкой

В детстве у меня была открытка, которой я очень дорожила. Фу, какая скучная фраза. Разве можно с помощью такого правильного сложно-подчиненного предложения хоть как-то объяснить, почему я постоянно держала эту открытку возле себя, а ложась спать, прятала под подушку. Белые игривые козлики и светлокудрые ангелоподобные дети резвились на зеленом лугу. Дети, видимо, жили в пряничном домике, что стоял чуть поодаль, а козлики в сарае, который был ничуть не хуже детской обители. Как ко мне попала эта открытка и что на ней было написано, не помню. Помню только золотые не русские (скорей всего, немецкие) буквы на безмятежно голубом небесном фоне. Видимо, я не очень стремилась выяснить, про что надпись, интуитивно чувствуя, что любая определенность помешает. Чему? Ну хотя бы моему общению с ангелочками, с которыми я иногда бегала босиком по неправдоподобно мягкой, ярко-зеленой траве. Мне даже временами удавалось погладить козлят, но никак не удавалось войти в пряничный домик. Сколько раз пыталась я, взявшись за фигурную ручку, толкнуть дверь и ступить внутрь, но дверь не поддавалась. Часто слыша от мамы выражение «предел мечтаний», я понимала его вполне конкретно: красочный веселый уютный открыточный мир — вот предел мечтаний. Наверное, если бы меня тогда спросили, что такое рай, я бы показала эту открытку. Хотя нет. Открытка была моей тайной. Я прятала ее, едва кто-нибудь оказывался рядом.

Все-таки до чего приятно, когда такое абстрактное понятие, как РАЙ, имеет вполне определенный адрес: четырехэтажный дом в Замоскворечье, квартира на первом этаже, комната, что напротив входной двери, где на черном клеенчатом диване спит девочка лет семи. Если осторожно просунуть руку под ее подушку, можно извлечь оттуда немного памятную открытку. Взгляните — это рай. Что-о-о-о? Этот пошлый сусальный мещанский мирок — рай? Пухлые дети, размалеванный лужок, кондитерский домик — рай? Как, однако, хорошо, что у меня хватило ума никого не посвящать в свою тайну. Благодаря этому мне удалось

хоть немного пожить в раю. Плохая отметка, обида, ссора — все не страшно, когда знаешь, где укрыться. Если достать из укромного места открытку и долго на нее смотреть, то постепенно исчезнут доносящиеся с кухни крики соседей, тошнотворный запах жареного сала, громкое хлопанье дверей, шарканье и кашель туберкулезного ИONOва, плачущий голос его жены, нечленораздельные выкрики взрослой полупарализованной дочери. Останется только пестрый луг, лучезарное небо, козлики и дети. Господи, благослови детей и зверей. Не всегда Тебе удастся устроить им такую райскую жизнь. Спасибо, что ТЫ подбросил мне эту открытку, подарив хоть на время ясное представление об идеальном мире. Вся последующая жизнь — это лишь томление по нему. Даже само слово РАЙ намекает на его недостижимость и непостижимость. Во всяком случае при жизни. Недаром РАЙ живет в слове КРАЙ. РАЙ — за краем, за пределами сущего. УМИРАЙ и обретешь МИР и РАЙ. Да и то вряд ли. Измени форму на «УМРИ» — и вот уже ни мира, ни рая, ни малейшего намека на них. Доверься слову: в нем ключ и разгадка.

Что же касается открытки, то она пропала. И, наверное, вовремя. То есть тогда, когда я еще не успела взглянуть на нее другими глазами. Бог дал, Бог и взял, отнял у меня мой открыточный рай, оставив мне Слово. Вернее, оставив меня наедине со Словом, с которым я так всю жизнь и вожусь, пытаюсь с его помощью достичь того, что мне легко и просто давалось в детстве. УМРИ, УМИРАЙ, КРАЙ, РАЙ.... Господи, неужели Слово — это и есть ТЫ?

Однако разговор становится чересчур глубокомысленным. Не пора ли закруглиться, выразив робкую надежду, что, если, дожив до глубокой старости, я забуду все слова и впаду в детство, ТЫ снова подбросишь мне мою открытку. Я буду гладить ее дрожащей рукой, вглядываться в нее подслеповатыми слезящимися глазами, а однажды возьмусь за фигурную ручку, толкну цукатную дверь и исчезну в пряничном домике. Для такого конца прекрасно бы подошла надпись, которую, говорят, видели когда-то на одном из надгробий: «Все хорошо, что хорошо кончается».

5. Давай, как будто...

«А давай, как будто у мишки живот болит, и ты его лечишь» — «Нет. Лучше давай, как будто он заблудился, ходит, ходит по лесу и вдруг...»

С этой емкой и мудрой формулы мы начинали в детстве любую игру. Стоило только произнести «Давай, как будто», и начиналось нечто небывалое, нам самим неведомое, но только нами творимое. Хотим — так построим сюжет, хотим — эдак. Нет ничего невозможного. Всё в наших руках. Такие маленькие демиурги. Откуда нам было знать, что жизнь нас сто раз переиграет и даст нам фору, заставляя участвовать в ее собственных иногда совершенно безумных сюжетах. Что там наши бес-

помощные сценарии — живот заболел, в лесу потерялся — рядом с тем, что вытворяет жизнь. Взять хотя бы мишку. Жил он, жил, и вдруг пропал. Я долго его искала и, не найдя, заменила куклой Машкой. Теперь она стала главным действующим лицом в наших с подружкой дворовых играх. Конечно, простенькая Машка с кукольной мордашкой не шла ни в какое сравнение с важным, добрым и мудро печальным серым медведем, подаренным мне мамой на день рождения. Но что было делать? Жизнь, то есть игра, должна продолжаться.

Наступила весна. И как-то раз, когда мама с отчимом вытащили из-под дивана чемодан, чтобы убрать туда пронафталиненные зимние вещи, я заметила среди всякой всячины родную серую лапу. Боясь поверить в свое счастье, я разгребла пестрые тряпки и обнаружила того, кого уже не чаяла найти. Схватив медведя на руки, я в тот же миг чуть не выронила его от ужаса — медвежья голова беспомощно откинулась назад, натянув единственную нитку, на которой держалась. «Положи на место», — испуганно закричал отчим и принялся отнимать у меня медведя. «Почему? Он же мой», — недоумевала я. «Он твой, но сейчас он нужен», — настаивал отчим. И тут я заметила, что в верхней части туловища, на том месте, где к нему крепилась голова, зияет плохо зашитая дыра. Я сунула туда палец и наткнулась на что-то твердое. «Не трогай», — закричал отчим и снова попытался отнять медведя. «Подожди. Надо ей объяснить», — сказала мама. — Понимаешь, девочка, он сейчас очень нужен. В нем спрячутся разные красивые вещи — кольца, серьги, брошки. Все остальные места — ненадежные, а мишка надежный, он все сохранит. Дай его нам на время». Я слушала маму и смотрела на мишку. Он выглядел ужасно. Голова болталась, шерсть кое-где вылезла, а главное, он, как чучело, был набит чем-то чужеродным. «Но это мой мишка», — пыталась я возразить. «Да, да, конечно, он твой, и ты его скоро получишь, но не сейчас».

В конце концов (в результате каких перемен, не знаю), но помятый, постаревший и пропахший нафталином мишка ко мне вернулся. Он больше не участвовал в наших играх и тихо жил в доме. «Давай, как будто ничего этого не было», — могла бы я ему сказать, но зачем, если пришитая мамой мишкина голова так неестественно плотно сидела теперь на туловище, что не давала забыть о случившемся.

Как же так? Ведь он мой, и мама сама мне его подарила. Да что ты заладила: «Мой, мой». Давно надо было избавиться от этих собственных настроений — еще в эпоху куличиков в детской песочнице, где малыши верещат, как резаные: «Не трогай! Это моя формочка, мое ведерко, мой совок». Ничего твоего нет. И ты ничей. И даже сам не свой, потому что постоянно меняешься, как и сюжет, который ты создаешь в соавторстве с жизнью. А иногда она это делает без тебя и даже с тобой не советуется.

«А, может, ничего и не было, — говорю я, всхлипывая, — никакой двойки». «Что ты, девочка, что значит — не было?», — пугается мама, которая давно уже пытается утешить меня, объяснив, что двойка за сочинение — не причина для горьких слез. Но я безутешна. Я только что перешла в новую школу из прежней, любимой, где учительница по литературе всегда читала мои сочинения вслух и хвалила за фантазию. Сейчас передо мной лежит тетрадь, где моя работа крест-накрест перечеркнута красным карандашом, а рядом с огромной зловещего вида двойкой — размашистая подпись новой учительницы и ее гневный окрик: «Придерживайся плана!!!». «Давай, как будто ничего не было», — говорю я себе, пытаюсь спастись от неумолимой действительности с помощью формулы, взятой на прокат из раннего детства.

Но разве эта формула не служит нам пожизненным заклинанием? Разве мы раз и навсегда не договорились с самими собой и с окружающими жить так, будто смерти нет? Мы навсегда остаемся детьми, и каждый свой день начинаем с того же самого (пусть даже не произносимого вслух) оборота, с которого когда-то начинали игру: «Давай, как будто...». Игра продолжается. Мы постоянно предлагаем невидимому совету свои новые сюжеты, которые тот принимает, отвергает или, грубо вторгаясь, переделывает на свой лад. Сюжетов не так уж много и трудно преодолевать штампы, но еще невыносимее мириться с казенной, безразмерной, единой для всех схемой, которую проще всего проиллюстрировать старым английским стишком: «Solomon Grundy/ born on Monday/ Christened on Tuesday/ Married on Wednesday/ Fell ill on Thursday/ Worse on Friday/ Died on Saturday/ Buried on Sunday/ This is the end of Solomon Grundy»*

Давай, как будто жизнь неисчерпаема и богата историями со счастливым концом. Нет, лучше давай, как будто конца нет совсем, а есть лишь бесконечное множество вариаций. Нет, давай, как будто...

6. О мире, Мцыри и воздушном шаре

Если подумать, то окажется, что нет никаких атеистов. Все — верующие. Все верят в разумный ход вещей, вернее, в то, что он обязан быть разумным. Верят в торжество справедливости, в победу добра над злом и в то, что зло непременно должно быть наказано. Но кем? Тем, кто является гарантом справедливости. А кто им является? Тот, чье имя да не будет помянуто всуе. В глубине души каждый верит, что когда-нибудь ОН все расставит по своим местам. Пусть не сейчас, пусть позже. Пусть даже настолько поздно, что мы — свидетели и очевидцы совер-

* «Соломон Гранди родился в понедельник, крестился во вторник, женился в среду, заболел в четверг, сильнее в пятницу, умер в субботу, погребен в воскресенье. Таков конец Соломона Гранди»

шаемого зла — о победе добра так и не узнаем. Что ж, тем загадочнее мир, тем он притягательнее, тем больше оснований не относиться к нему, как к бессмысленному нагромождению случайностей.

Мне в этом отношении легче, чем другим. Для меня мир так и остался непознанным. Сколько я ни пыталась усвоить хоть какие-нибудь сведения о нем, запомнить хоть какие-то его биографическо-географические данные, ничего не выходило, потому что моя память — решето. Даты, факты, события, имена — все уходит, улечивается, ускользает из памяти, оставляя мир нерасчлененным, неразмеченным и загадочным, как улыбка Джоконды. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — вот мои представления о мире.

Однако в нем существуют островки, про которые я знаю все вплоть до мельчайших деталей. Причем существуют эти островки только в моей памяти. Потому что со времени их существования в реальном мире, утекло столько воды, что их давно уже смыло. Именно эти несуществующие территории я помню и знаю, как свои пять пальцев.

Наверное, такая память имеет свои преимущества, потому что извлекает из всего некий особый томительный звук, рожденный невозможностью постичь, познать, уловить, удержать.

В детстве меня очень волновал образ «Мцыри», тоскующего по сильным чувствам и ярким мгновениям, которых так мало было в его жизни. Помню с каким подъемом писала я школьное сочинение на эту тему. Процесс писания до такой степени меня захватил, что я, наверное, испытывала то же самое, что Мцыри во время грозы: он ловил руками молнию, а я вспыхнувшее слово. Недаром УЛОВ и СЛОВО близки по звучанию. Слово есть некая ЛОВУШКА для сыпучего и текучего — то есть, для всего, что иным способом не поймать.

Два дивных глагола — ловить и летать. Я мечтала о том и о другом. И мой старший сын тоже. Настойчивое желание летать овладело им лет с пяти. Именно в этом нежном возрасте он то и дело взмахивал руками и подпрыгивал в надежде, оторвавшись от земли, задержаться в воздухе. Став немного старше, он принялся мастерить воздушный шар. На это ушло целое лето, масса энергии и куча всякого материала. При малейшем ветре воздушный шар начинал задумчиво кружить по участку (дело было на даче), но так и не взлетел. И правильно сделал. Он остался мечтой, сном, чем-то недосыгаемым и абсолютно необходимым для того, чтоб мир не разучился улыбаться улыбкой, не поддающейся трактованию.

«Мы играем?» — неожиданно спрашивал сын посреди игры. И, выслушав мое уверенное «да», переспрашивал: «Мы играем?». Станный вопрос. Конечно, играем. Но если вдуматься, то вопрос не такой уж странный. Жажда игры оказывалась столь велика, что сама игра была не способна утолить ее. Оставалось томление по игре и неуверенность в том, что происходит именно то, чего он так долго ждал.

«Мы живем?» — кто не задавал себе подобного вопроса? Кто не знаком с комплексом Мцыри, который считал жизнью лишь те короткие минуты, («глазами тучи я следил, руками молнии ловил»), когда вопроса не возникало?

Живем ли мы? Живем, живем. Доказательство — налицо: вон какая сильная амортизация души и тела. Кстати, мой так и не взлетевший сын собирался изобрести эликсир жизни, чтоб его близкие не старели и жили вечно. Он так долго собирался, что мы — его родители — уже почти вошли в ту часть тоннеля, что называется «Старость». Впрочем, все нормально, как теперь говорят. Все путем. Тем самым путем, которым мильон раз проходили до нас другие. Просто мы «на новенького», и нам все в диковинку.

«Зачем я пришла?» Сколько раз слышала я сквозь сон это бабушкино бормотанье, когда она появлялась в комнате, чтобы взять что-нибудь из буфета и вернуться на кухню. Могла ли я тогда предположить, что через несколько десятков лет буду бормотать то же самое, пытаюсь вспомнить, зачем пришла? Какая дичь. Не могла, конечно. Одно дело — бабушка, другое — я. Оказалось, дело-то одно — жить, стареть, умирать. КАК жить, КАК стареть, КАК умирать — тут могут быть различия и варианты. Но в главном мы все едины. И еще в том, что в глубине души до последнего надеемся, что смерть — это то, что бывает с другими. Даже если мы с юных лет о ней думаем и посвящаем ей рифмованные и нерифмованные строки, мы до конца в нее не верим. И причина нашего неверия — в вере — той самой, о которой я говорила вначале. Вере в то, что ОН все устроит. Пусть не завтра, пусть потом, пусть даже после нас, но устроит. И то чудесное, что ОН устроит, тот закон, который создаст, будет непременно иметь обратную силу...

7. Ах, лето красное

Зиму нужно перезимовать (что хлопотно и тяготно), а лето — не то перелететь, не то перелететь. Куда ни поставь ударение, все равно звучит игриво, легко, фривольно, что вполне понятно, потому что летняя жизнь мгновенна, мимолетна. В ней отсутствует оседлость. Она кочевая, бивачная, временная, даже если никуда не едешь. Лето короткое. Его переЛЕТАешь, перепархиваешь. Все в нем как-то не солидно, на фу-фу, на живую нитку, на скорую руку. Летняя фактура — жиденькая, сквозная, сплошные пазы, просветы. И в каждом кто-то чирикает, шуршит, жужжит, копошится. Как на взморье в курортный сезон, когда в любом углу, сарае, закуте идет жизнь: стряпают, моют фрукты, стирают легкие летние одежды, закручивают волосы на бигуди, чтоб вечером появиться на местном Бродвее в полном блеске. О, эти вечера: шуршанье, шелестенье, шепот, смех, музыка. Темнота фосфоресцирует от накала страстей. Как можно летом без страстей?

Он был рыжий, невысокого роста, совсем не привлекательный. Во всяком случае для меня. Но стояло лето, а летом... (смотри выше). Если встречаться вечером на темных аллеях парка при неровном свете фонарей, то вполне можно вообразить, что рядом со мной ТОТ, ДРУГОЙ, который далеко от меня и ближе не будет. Если не смотреть на спутника, а только слушать тишину, то можно сносно провести время, не выпадая из общего завораживающего контекста. А тишина наполнена стрекотом, шелканьем, плеском не то ручья, не то фонтана, древесным хрустом, шепотом, смехом. Мы сидели на скамейке, я — в его куртке, он — с моей сумочкой на коленях. Господи! Тоска-то какая! Лето — манок, обман, дырявые сети. Его ткань так воздушна, что ее почти нету. Сквозь нее зияет дыра, которую занавесили чем-то пестрым и легким, как занавешивают койку на курорте, когда сдают угол. А бывает, что в разгар сезона спят на топчане под открытым небом. Проснешься ночью, а над тобой звезды. Летом зыбкость существования, «невыносимая легкость бытия», особенно ощутима, тоска особенно остра, счастье, которое дышит в затылок, особенно недостижимо. Зазор между «хочу» и «могу» — особенно заметен. «Ну иди сюда, иди», — манит мать младенца, который учится ходить. Он делает шагок к ней, а она от него: «Иди, иди, не бойся». Так мы всю жизнь и идем то на свет, то на голос. «Перешагни, переступи, перелети, пере-что хочешь...» А если не хочешь, если пропал кураж, если зазор перестал манить и мучить? Что ж, значит, пришли. И не потому что путь кончился, а потому что пропало чувство пути. Радуйся, если не пропало. Радуйся задору, с которым стремишься устранить зазор.

«Радуйся. Сладим-река течет». Она течет все лето и дразнит тебя своим плеском и блеском. Где она? Тут, рядом. Где? Да вот она, вот. Знаешь такое английское выражение «make believe»? Оно точнее, чем русское «притворяться», потому что буквальный перевод означает — «заставить верить». Весна и лето — это сплошной «make believe». О, как они умеют морочить голову, втягивать всякую живую душу в свою невидимую, сплетенную из тончайших нитей паутину. Зиме для этого не хватает красок и звуков, а осени — желания хоть немного смягчить тему конца. Уж слишком она по осени пронзительна и беспощадна.

А летом... Каждый раз думаю: «Ну, кажется, все. Вышла из возраста. Выпала из игры», — и каждый раз попадаю пальцем в ослепительно яркое небо. «Make believe» продолжается. «Жизнь — легка и не обременительна», — внушает лето. Верю. «Жизнь — сплошной праздник». Верю. «Завтра будет таким же ослепительным, как сегодня». Верю. «Все будет хорошо». Верю.

Нет, я бы не хотела быть втянутой в эти игры с той же силой, что и сорок лет тому назад, когда, гуляя летним вечером в парке с рыжим мальчиком, пыталась до боли в сердце вообразить рядом с собой со-

всем другого. Но и нет у меня желания оказаться в роли ушлого подростка, который, придя на новогодний праздник, портит всем настроение, доказывая, что дядька с палкой и бородой, — не дед Мороз, а ванин папа: борода наклеена, а халат и палка — тетинюрины. Принимаю правила игры. Живу так, чтобы случайно не сдернуть веселые занавески, которыми задрапировали вечность. Хожу так, чтоб не задеть куст жасмина, который пытается выдать окрестности за райские кущи.

«Радуйся. Сладим-река течет». Не спрашивай, где. Она, как и джондонновский колокол, который всегда звонит по тебе, течет для тебя. Захочешь и увидишь ее, услышишь ее плеск. А может и окунешься. Но только не переусердствуй. Река-мираж не любит слишком азартных купальщиков, пловцов и ныряльщиков. Ее срок — одно лето. А лето летуче. Не тереби его воздушную фактуру, не опирайся на его шаткие декорации. Они еле дышат и держатся один сезон.

8. Коллекция

Мы с мамой поднимаемся по скрипучей лестнице загородного дома, на стенах которого развешаны многочисленные коллекции засохших бабочек. Владелец этих коллекций ведет нас в свой кабинет на втором этаже. Сутулый, постоянно кашляющий, с трубкой в зубах, он движется бесшумно, потому что на ногах у него валенки. Мне очень нравится этот человек. Он добрый и веселый, хоть и грустный. Он мамин начальник, главный редактор журнала, где работает мама. Мне только не нравится, что он ради своей коллекции загубил столько бабочек. Помню, как поймав однажды бабочку, я так долго сжимала ее в пальцах, что сбила с крылышек пыльцу. Когда я наконец ее отпустила, она, сделав слабую попытку взлететь, упала на траву. Мне сказали, что бабочки без пыльцы не летают. Потрясенная своим невольным злодейством, долго плакала. Я плакала из-за одной бабочки, а тут их несметное количество. И все мертвые. Странно как-то.

Но еще страннее было посещать квартиру, наполненную чучелами разных животных. Войдешь в коридор — и тут же попадаешь в объятия огромного медведя. Заглянешь в комнату, а со стены на тебя смотрит мертвыми глазами олень. Войдешь в кабинет хозяина — и наступишь на медвежью шкуру. Хозяин — писатель Ефим Пермитин. Книг его я никогда не видела, но знала, что он и двое его сыновей — заядлые охотники, а хозяйка дома — тихая, хлебосольная Тасинька — мамина подруга. Жили они неподалеку от нас в Замоскворечье, и мы у них часто бывали. Не скажу, что мне это шибко нравилось. Я боялась всех этих шкур и морд. Но хозяин был уверен, что я от них в восторге и, катая меня на спине, специально подносил к оленьей или медвежьей морде и, тыча в нее лицом, говорил: «Ну, поздоровайся, видишь какой милый зверь».

Я гораздо больше любила бывать в гостях у мастера скрипок. Его комната находилась в темной коммуналке в самом конце бесконечного коридора. Но, войдя в нее, вы оказывались в волшебном мире разнокалиберных скрипок. Больше всего меня занимал всамделишный инструмент размером в палец. Почему я решила, что он всамделишный — не знаю. То ли мне сказали, то ли я хотела, чтоб так было. Скрипки всех размеров стояли вдоль стен, лежали на полках и, как мне сегодня кажется, висели под потолком. Все они были сделаны хозяином комнаты, который, когда приходили гости, любил, достав одну из них с полки, сыграть на ней что-то сладко напевное. Сегодня я задала бы ему тьму вопросов: кто он, откуда, как научился делать скрипки, почему работает инженером, а не скрипичным мастером. Но тогда, в далеком детстве, мне было достаточно того, что я о нем знала: седой, курит трубку, целует маме руку, работает с моим отчимом в каком-то институте, часто ходит в театр, обращается к жене на вы. А дома у него живут скрипки, и он играет на них, прикрыв глаза и улыбаясь.

А еще был на свете художник Валёк Никольский. Он жил в очень бедной комнате под чердаком. Посреди комнаты стоял мольберт, а вдоль стен — картины. Их было много и становилось все больше, потому что Валёк постоянно работал. Но он не только писал картины. Он еще оформлял книги и дарил их нам с мамой. А некоторые книги — например, детские стихи, — дарил только мне. Валёк говорил басом и носил длинные волосы. У него были широкие плечи и тонкие пальцы. Я любила его рассматривать. Меня занимало то, что он — такой красивый, широкоплечий, басовитый — сидит в инвалидном кресле и его короткие, как у ребенка, ноги беспомощно свисают. Дома он всегда носил пальто с длинным ярким шарфом. Наверное, на чердаке было холодно. Хотя я там видела однажды полураздетую девушку, которая ему позировала. Интересно, куда делись все его картины, где диковинные скрипки из московской коммуналки? И кому достались калейдоскопы, которые делал страдающий туберкулезом дядя Володя, отец моего двоюродного брата? Они валялись на диване, на прикроватном столике, на буфете, и мне никогда не надоедало их вращать. Вжик — один узор, вжик — другой, вжик — третий. К сожалению, я ни разу не видела дядю Володю за работой и совсем не знаю, откуда он брал цветные стеклышки, фольгу или что-то другое и как помещал всю эту веселую начинку в разноцветный цилиндр. И для чего он их мастерил — для заработка, для забавы?

Странно устроен ребенок. С одной стороны, всему удивляется, а с другой — все принимает как должное — и никаких вопросов.

Мой отчим собирал марки. От него я впервые услышала шикарное слово «филателия». В центральном ящике нашего письменного стола лежали аккуратные альбомы с марками, большие и маленькие лупы и никогда прежде мною не виданные пинцеты. Я бы все это так и съела,

настолько они были аппетитные. Отчим говорил, что собирание марок очень развивает и расширяет кругозор. Он подарил мне альбом, лупу и пинцет. Я была на седьмом небе. Когда из меня стали выскакивать слова типа «Гельвеция», мама, которой очень не нравилась заикливость отчима на марках, вынуждена была признать, что филателия и впрямь развивает.

А самый близкий друг отчима собирал мундштуки и трубки. В его комнате всегда пахло дорогим табаком, который он держал в специальных изящных мешочках. Он и его жена жили в огромном доме на Таганке. Там была коридорная система (я тогда впервые узнала, что такая существует) — то есть по обеим сторонам бесконечного, похожего на железнодорожный тоннель коридора были понатыканы крохотные квартиры с игрушечной кухней. Как ни мала была кухня, хозяйка дома умудрялась закатывать царские обеды. И если я не справлялась с каким-нибудь необъятным блюдом, папин друг задумчиво говорил, посаывая трубку: «А не пора ли тебя пошлепать по тому месту, откуда ноги растут?».

Мне даже нравилось, что для того, чтобы попасть в особый, ни на что не похожий мир, надо долго идти нудным, длинным, полутемным коридором. Чем длиннее был проход, тем неожиданнее оказывалось то, что ждало за дверью.

Однажды такой коридор привел меня в странное обиталище разных баночек, скляночек, пузырьков и флаконов. В комнате витал нежный запах духов, а хозяйка, сверкая бело-розовым лицом и ослепительно чистым шелковым халатом, бесшумно порхала по комнате. Сперва я думала, что она собирает все эти разноцветные емкости точно так же, как другие собирают трубки или марки. Но вскоре поняла, что она — косметичка и мама принесла ей свое лицо. Пока владелица баночек колдовала над маминым лицом, я сидела в углу и следила за ее движениями. Шел маленький спектакль, танец рук, которые трогали, ласкали, гладили и мяли мамину кожу. Во время этой ворожбы владелица танцующих рук говорила с мамой тихим воркующим голосом. От всего этого мне (хотя трогали не меня, а маму) сперва стало щекотно, а потом захотелось спать. Когда руки, вспорхнув в последний раз, завершили свой танец вокруг маминого лица, началась ворожба другого рода. В ход пошли баночки. Полные опустошались, а порожние, наполнившись с помощью пластмассовой ложечки чем-то ароматным и густым, плотно закрывались, вкладывались в бумажный кулек и вручались маме. Мы несли их домой, где я немедленно отвинчивала крышки и принималась нюхать, нюхать и нюхать густую сливочную массу с волшебным названием «крем».

Теперь самое время воскликнуть: «Зачем все это застряло в моей памяти? Где сегодня все эти волшебные миры, все эти страстные со-

биратели, хранители, любители, мастера, умельцы? Зачем они однажды появились и куда делись?»

Вопрос в пространство, которое, как всегда, молчит. Попробуем ответить за него. Ответим вопросом на вопрос: «А почему, собственно, жизнь не имеет права создавать свою собственную коллекцию? Почему она не может быть страстным и бескорыстным собирателем разных человеческих особей? Вот такая особь, а вот — такая. Здесь и художник, и скрипичный мастер, и любитель трубок, и филателист, и ретушер Юра, сын наших соседей на Полянке. Как к нему ни зайдешь, он сидит перед чьей-то фотографией и не то затемняет ее, не то высветляет. А справа и слева ждущие своего часа застывшие лица — улыбающиеся, хмурые, торжественные, взрослые, старческие, детские. Он брал много заказов и работал сутками. Когда он трудился над очередной фотографией, его взгляд становился таким же цепким и хищным, как у художника Валька, работающего с моделью. Я не понимала, зачем надо ретушировать снимки, но, однажды оказавшись на кладбище, увидела фотографии в круглых рамочках и вспомнила Юру.

Кладбище — тоже коллекция. Коллекция отживших экспонатов. И подпись есть, и даты, и фото для наглядности. Человек собирает свою коллекцию, а жизнь — свою. Она шутя творит будущие экспонаты, дает им возможность полетать, погрешить, помельтешить, помечтать, помучиться, а потом превращает в нечто недвижимое, неживое, у которого тоже есть свое место — тихое, тенистое, с холмиком, с оградой, с фотографией на памятнике. Но я не люблю кладбище. Там нет тех, ради кого мы туда приходим. Они — где угодно, даже в этих записях, но там их нет.

Впрочем, это уже о другом.

9. Пестрый кушак от белой шубы

Сборы на дачу начинались загодя. В основном они были связаны с дерматиновым диваном. В течение нескольких дней повторялась одна и та же процедура: откидывались валики, поднимался продранный в нескольких местах верх и обнажалась пестрая, пахнущая нафталином диванная утроба, в которую ныряла бабушка. Что-то бормоча себе под нос, она долго перебирала разное тряпье, разворачивала отрезы, рассматривала на свет ветхие шерстяные кофты, раскладывала на столе старые линялые платья и сарафаны. Шел сложный процесс отбраковки. На дачу ехало лишь то, что поддавалось починке, переделке, перелицовке. Судьба вещей решалась долго и трудно. Наконец, отобранная груда укладывалась в огромный холщовый мешок и присоединялась к прочему скарбу, ждущему переезда в углу комнаты. Эти челночные рейсы повторялись из года в год. Каждое лето на дачу среди прочего ездил загадочного происхождения отрез в серую полоску, мамина черная пижама с большими серебристыми цветами, ее ста-

рое цыганское платье, белый халат до полу. Проведя три месяца на свежем воздухе, все это в прежнем виде возвращалось обратно. Бабушка успевала творчески преобразить лишь малую толику того, что возила с собой.

Летом за первенство боролись два равновеликих занятия: шитье и кормление внучки. Но поскольку подросшая внучка стала приезжать на дачу не чаще раза в неделю, то керосинка с загадочным слюдяным окошечком уступила командное положение зингеровской швейной машинке. Гордо взгромоздившись на единственный просторный стол, машинка стучала весь день и умолкала лишь затем, чтобы послушать, как бабушка, воюя с иглой или шпулькой, в сердцах поминает черта.

Что же до плодов этого подвижнического труда, то они были более чем скромными. Ни я, ни мама не могли носить слегка скособоленную бабушкину продукцию. Да она и сама видела, что не все в порядке. Но, бодро улыбаясь и весело одергивая на мне перешитый из старого халата сарафан, делала вид, что результат превзошел все ее ожидания. Единственный, кому всегда было впору и к лицу любое бабушкино изделие, это дед. Я так и вижу его в длинной теплой безрукавке, сотворенной бабушкой из множества разных кусочков и посаженной на ватин.

По окончании дачного сезона ветошь возвращалась восвояси, то есть благополучно опускалась на дно все того же дерматинового дивана. «Объясни, зачем ты постоянно устраиваешь себе мороку и таскаешь за собой столько барахла?» — вопрошала мама. Бабушка виновато хихикала. Попробуй объясни. Не выкидывать же. Вдруг пригодится. Надо все хранить. На черный день, на всякий случай. А черных дней и всяких случаев бывает много во все времена.

Чем пахнет время? Для меня оно в те давние годы пахло ветошью. За лето запах нафталина немного выветривался, и ветошь принимала другие запахи — чадающей керосинки, яблок, маминых духов. Неподъемные чемоданы, большие мешки, громоздкий, хоть и убогий, быт — все это означало одно: мощную силу земного притяжения. Казалось, что столь укоренившуюся жизнь невозможно выкорчевать. Оказалось, можно и даже без особых хлопот. А раз так, то не лучше ли окружить себя легкими, как лодка, вещами? Пусть плывут в потоке времени — маневренные и отважные, готовые к волне и ветру. А прочий скарб... ну его. Он только лишает подвижности и тянет на дно. Однако кусок пестрого кушака, которым я полвека назад подпоясывала свою белую шубу, все еще цел. Он лежит в небольшом целлофановом пакете вместе с пуговицами и кнопками. Когда я, случается, на него натыкаюсь, то касаюсь его с большой осторожностью. Он настолько стар — этот последний живой (точнее, еле живой) участник летних челночных перевозок, — что готов рассыпаться у меня в руках.

10. Что у нас время?

«Take your time», — говорят англичане, что означает «не спеши», а буквально — «бери свое время». Еще существует словосочетание — «keep time» — «выдерживать ритм или верно итти (о часах)», — буквально — «хранить время». Кто не хочет удержать время? Нам хорошо удастся терять его, тратить, убивать. Самое безобидное из всего, что мы умеем с ним делать, это — проводить. Хотя «провести» имеет и другое значение — «обмануть». И это нам удастся еще лучше. Мы то и дело обманываем себя, а тем самым и его, что заняты чем-то осмысленным и важным.

Если доверять языку — а только ему и надо доверять, — то можно надеяться, что буквальное значение и есть главное. «Возьми свое время и удержи его» — раз сие возможно в языке, значит возможно и в жизни. Надо только материализовать такую бесплотную субстанцию, как время, превратив его во что-то осязаемое, зримое. Не этим ли мы всю жизнь занимаемся? А удалось нам или нет, покажет опять же время. Хотя окончательная ясность наступит, только если дожить до конца времен. А поскольку это невозможно (да и есть ли у времён конец?), то можно расслабиться. Можно, но не получается. Слишком велика потребность чувствовать, что все не зря — минута, день, жизнь... Когда-то давно мне попало в глаза стихотворение про муравья, который, взвалив на спину тяжеленную травинку (необходимый стройматериал), долго тащил ее в свой муравейник. А когда дотащил, удостоился похвалы: «Хорошую какую травинку приволок». Муравей, конечно, обрадовался. И не потому, что тщеславен, а потому, что приятно сознавать, что твой труд не напрасен.

Мы безнадежно испорчены эпохой индивидуализма. Нам плохо удается роль безымянных участников событий. Ведь недаром существуют притяжательные местоимения: «Take YOUR time» — «Возьми СВОЕ время». Не бывает общих времён. Даже если мы живем в одну эпоху, у каждого (в личном, интимном плане) время свое.

«Я не знаю времени, — сказала мне знакомая художница, — плыву в потоке, и всё. А произошло ли это вчера, сегодня, год назад — мне безразлично. Вернее, для меня может стать одинаково важным то, что случилось сто лет назад и сегодня. В моем восприятии все существует одновременно». «Счастливая, — подумала я, — мне бы так». Я время слышу, вижу, осязаю. Переживаю, короче. Звучит забавно — переживаю время. Можно ли его пережить? «Оно уйдет, а я останусь», — писал поэт. Значит, надеялся его пережить.

Впрочем, иногда начинает казаться, что время — это людская выдумка, и нет ничего, кроме воздушного потока, на который мы набросили самодельные густые сети, сплетенные из разных хитроумных штуквин. «Время», — сказали мы гордо, и сами же попались в свои

тенета. Бьемся и не знаем, как вырваться. А времени как не было, так и нет. Есть один только воздух, который струится и струится.

Одна моя ученица, забыв значение английского слова, спросила: «Что у нас «send»?». Как будто мы с ней заранее договорились: это будет означать то-то, а это — то-то. Может, и в самом деле мы (не я с моей ученицей, а мы все) условились, что у нас будет такое понятие, как «время», и теперь мучаемся с ним: теряем, тратим, догоняем, а оно терпит или не ждет.

«У меня нет времени», — говорим мы, объясняя, почему не в состоянии что-то сделать. Хорошо бы эти слова означали совсем другое. А именно то, что времени не существует — нет ни века, ни года, ни часа, ни возраста. Есть жизнь, которая требует не времени, а сил. Много, много сил, которых всегда не хватает.

Лето 2000

ДЕЙСТВИЯ АНГЕЛОВ

Повесть

Смерть во сне

Тайга многое прощает. Так же, наверное, как война, дорога, горы. Так же, как и мы должны бы. Это я открыл для себя в пятнадцать лет. Про людей, войну, горы и дороги — это взято из книг, а про тайгу — я сам, хотя папа говорил мне про нее, но так мне кажется, что это я усвоил своим затылком, своей шкурой, начавшей что-то чувствовать к пятнадцати, ерошиться от любого прикосновения.

Я ждал этого открытия, как какого-то сбывающегося пророчества. После смерти папы его брат, мой дядя, три раза приезжал за мной из города, чтобы забрать с собой, и я всегда прятался в лесу, бродил с ружьем и собакой и ждал, когда же он уедет — украдкой выходил к утреннему тепловозу и ждал — не отбудет ли мой любимый бестолковый дядя, такой же взбалмошный, как и сама городская жизнь, — приехав в поселок, он начинал метаться по всей родне, по всем, кого оставил, променял на городскую жизнь, как вихрь, — были бы у нас такси или ресторан, он бы непременно от одного к другому летал на такси, заглядывая с развевающимся на груди галстуком в буфет или ресторан, — я не хотел быть таким. Для дяди это было естественно, а для меня было предательством — жить вот так. Мой папа всю жизнь боролся с этим и в этой войне погиб — он сильно пил и очень страдал от этого, и все-таки хотел не пить, но оказалось — водка не прощает, он очень быстро сгорел от войны, в которой я не смог ему помочь: надо было сломать в себе столько и победить всего себя — и он мучился, и держался, и плакал, и говорил мне всякое о тайге, — и сердце его остановилось.

Так мы с мамой остались вдвоем, в глухом северном приуральском поселке, буйном и диком в дни получки или какого-нибудь праздника. Но в общем-то почти всегда мирном, как и не очень далекие горы —

**Юрий
ЕКИШЕВ**

— родился в 1964 году в Сыктывкаре (Коми АССР). Окончил механико-математический факультет Сыктывкарского государственного университета. До 1989 года работал по специальности, затем занялся религиозно-просветительской деятельностью. Писать начал в конце 80-х годов, дебютировал в «Континенте» (1995, 1 85) повестью «Под зашитою». Живет в Сыктывкаре.

такие старые и изъеденные, что казалось — они-то и есть самое мирное и беззащитное на всем свете. Дорога была одна, узкоколейная, не считая никуда не ведущих зимников. Когда мне исполнилось пятнадцать, она была уже изъедена и источена колесами так же, как и горы и люди в нашем поселке. Раз в день тепловоз возил людей в лес, где они еще что-то делали, хотя не верилось, что люди в прожженных ватниках, промасленных пятнистых штанах, бесформенных шапках, эти люди, изможденные и источенные куревом, матом, комарами, — способны еще что-то совершить.

Еще недавно тепловозов было два и на каждом работало по одному машинисту — братья Мишка и Егор. Егор был постарше, и его тепловоз был помощнее легкого Мишкиного тепловоза-подростка, вечно в черных мазутных соплях.

Однажды они выехали одновременно с Шестого. Шестой — это километр, на котором идет разделка леса. На дороге все меряется километрами: двадцать второй — болото, клюква; тридцать девятый — старый мост, разобранная дорога; сорок седьмой — дорога на город, возможность продать проезжающим хоть что-нибудь: клюкву, картошку, беличьи рукавицы. И возможность уйти, уехать и не оглядываться.

Так вот — Мишка отцепил состав с хлыстами на Шестом и, увидев на соседнем пути важно шествующего Егора, почему-то надбавил ходу, юркнул вперед по стыку на развилке и помчался по крутой дуге, которая вскоре опять должна была пересечь главную ветку, по которой шел Егор. На несколько мгновений они разошлись — их разделил лепесток леса между путями, и Егор дал полный газ, даже не смотря в ту сторону, где сквозь редкие тонкие стволы мелькал Мишкин чумазый конек даже без названия — вернее, были только буквы и цифры: ЧМЭЗ или что-то в этом роде, некрасивое, что именем назвать никак было нельзя.

Всё решили секунды и сантиметры. Егор первым властно и спокойно надавил на перекрестье рельсов передвинутой стрелки, тем самым забрав себе дорогу, и Мишкин тепловоз только скользнул ему по скуле и, будто игрушечный, легко завалился в кювет.

— Пускай полежит. Я же прав — моя главная, — только и сказал Егор и, не замедляясь, поехал дальше.

Дорога многое прощает, а люди нет, но я не об этом. Мишкин тепловоз в конце концов подняли, он еще проездил какое-то время, но что-то началось в людях, и его сначала поставили на прикол, а потом и вовсе забросили на разбор, как будто потушили костер и очень быстро остались одни головешки. Егор и Мишка стали ездить на оставшемся тепловозе по очереди, но все реже и реже — когда бывало топливо. Ездили уже бережно — дорога их пока терпела, но заставляла беречь каждый поршень, трястись над последними кольцами и клапанами.

Егор совсем вымотался. Дорога становилась все хуже с каждым разом, выпирали все новые дорожные ловушки, а люди становились все безразличнее и злее и плевали уже на дорогу, хотя без нее не могли бы выйти из тайги поближе к городу или большому селу. Смысла набирать грибов и ягод больше, чем нужно на год семье, не стало. О поездках стали договариваться — кричали, ругались матом, бабы плакали, что детям нужно к врачу, — во всем появилась какая-то смертная сила, очень хорошо организованная, противостоящая хаосу жизни, поначалу проморгавшая, как из ничего, очень странно, возник наш поселок — из сосланных людей и вещей. Мы все росли среди тех, кем нас пугали, — среди детей бендеровцев и полицаев, эсэсовцев и «зеленых братьев», православных и «правдоискателей». Мы росли среди сосланных книг — в библиотеке были Достоевский, Бунин, Ремарк, испещренные, как наколками, синими штампами и угрожающими красными словами... Про горы, про прощение — оттуда. Оттуда же я взял и про свиней, павших в море, или еще только стремящихся туда — меня это просто поразило у Достоевского, хотя у Гоголя про свиные хари было гораздо красочней. Я только потом узнал, это всё из Евангелия. Странно, у Гоголя было и ярче и красивей, но как-то далеко — я не видел кругом свиных рыл. Конечно, я въеве не видел и достоевских бесов — но почему-то эта картина была чуть ближе, чуть яснее, будто виделась в сердцевине фокуса линзы, и не слишком далеко и не слишком близко.

Конечно, занудность и невероятные для моего разума длинноты предложений или ситуаций делали мое тогдашнее чтение почти бессмысленным. Книги были бесконечными, но все же с ними, с такими нудными и изношенными, было легче, чем вообще ни с чем. Играли мы немного: на всех лежала печать — кругом тайга, и надо выживать, и она, матушка, конечно, многое выживает из себя, как будто кровавым потом, исходит ягодами ради нас — но пойдя к ней и поклонись за это каждой ягодке, грибу. Каждый день что-то надо собирать: мох, венники для бани, травы — каждый день, чтобы он не вонял мазутным бездельем.

То обжигающее место, на котором однажды для меня вдруг сошлись, как в фокусе, и жизнь, и смерть, и «Бесы», и какая-то тоска в груди, — тоже оказалось в тайге. Я его нашел уже после того, что случилось, и точно определил — вот оно, *именно здесь*.

Когда я его нашел, то обошел внимательно, как грибник, запоминая смятый мох, изгибы дерева, все свежие раны на его теле.

После той паровозной дуэли Егор так и не затормозил, как-то внутренне и очевидно для всех его понесло, и он уже не мог остановиться сам. Дух у него был какой-то странный, как будто он горит. Поселковые грешили, что это он с голодухи на мясо — потихоньку сводит собак у охотников, оттого так загорелось у него внутри, оттого он так гордо

и ехал тогда. Но мы-то знали, что с собаками — это не его работа. Поселковых собак сводили туберкулезники из кочегарки — это мы знали досконально: видели, как они втихомолку их выманивают или отлавливают, как свежуют, а затем потребляют. Все мы видели от начала до конца, всей поселковой шайкой, собираясь сначала сами порешить кочегаров за это, но потом все же убоялись чего-то мистического, чем пах подсмотренный через щель заколоченных фанерой окон кочегарки тот ночной чужой ритуал. Себе я говорил, что это вот и есть безумные Лебядкины такие, или трусоватые Лямшины, шляхтичи, жгущие Тараса Бульбу, — вот они, наяву. Но вмешиваться никому из нас по-настоящему не хотелось, только на словах. Пару раз мы пытались что-то вякнуть хозяевам, потом уже, после того, как *они*, покашливая и притворяясь кочегарами, запросто договаривались и потихоньку уводили со двора бедную псину на веревке неизвестно куда. Но хозяева только махали рукой — *они* ли, волки ли, которые обнаглели уже до крайностей. Эти таскали собак без предисловий: один подвывает, подначивая залаять, выманивая, а в это время двое-трое других молча пробираются в поселок и первую же твякнувшую суку закидывают себе на загривок, и — всем привет. Это по-ставрогински, думал я, — очень четко.

Собак Егор не трогал. Но стал воровать кабанчиков. Это открылось уже после, когда все произошло. Мишка долго мучился, объясняя, каких кабанчиков крал брат, а мы все не понимали — ни у кого в поселке не было уже свиней.

Егор стал красть кабанчиков, годовалых поросят, в тайге, в том табунчике, что прибил к поселку и осенью сделал набеги на картофельные поля — мы же гршили на людей, но уж больно по-воровски кто-то испохабил часть поля, и Егор первым догадался — пришли кабаны. Я не знаю, как он запал на них и почему. Конечно, в поселке закрылся магазин, в котором давным-давно уже не было никакого мяса, но ведь Егор-то ездил до лесопункта, где совсем все по-другому, и к тому же он работал, зарабатывал деньги, мог себе позволить купить — что на него напало на самом деле, я только гадал.

Однажды мужики собрали талоны на водку за месяц и снарядили в экспедицию за ней Мишку с Егором. Этот рейс был необычным — ругались мало, сосредоточенно все высчитывали и пересчитывали. Егор с Мишкой решили ехать не на тепловозе, а на мотоцикле пробраться по лесным тропам — может, из экономии, но я думаю, совсем по другой причине: что-то встает иногда поперек течения разума, будто подточенное весной дерево бухается со всплеском — стоп, надо в обход — и куда ты денешься. Мужики суеверно молчали: раз на мотоцикле, значит, надо на мотоцикле, в таком важном деле как не быть предельно внимательным. С молчаливого одобрения поехали они на старом «днепре». Добрались до райцентра. Набрали водки полные рюкзаки, проло-

жили ее газетами и картонными обрывками. Ну, и — для пробы только, приняли на грудь, рыча и постанывая. На обратном пути на ухабине и перевернулись посреди тайги. Полрюкзака вдребезги — не понесла на этот раз дороженька, не простила; льется она, смывая свинцовые буквы и портреты с газетных передовиц, которые не помогли смягчить удар, — сочится из рюкзака в ямку — хорошо, глина, дальше не просачивается. Сидят, плачут, зачерпывают пригоршнями из колеи, закусывают слезами — не сладко, горько, как же домой-то? Там же мужики, месячная выпивка... Что будет? Самое малое — поднимут на кулаки... Делать нечего, уже смеркается — встали, вскинули за плечи хрустящие опавшие рюкзаки — поплелись в поселок на казнь, все же, может, поймут мужики, не маленькие... Стали уже приближаться к поселку — совсем темно, тени какие-то появляются, суета и нехорошая мерзость какая-то началась вокруг, по опушке... Мишка идет — мычит, то ли поет, то ли плачет. Егор остановился — почуял скверну, да как заорет:

— Мишка, залазь на дерево! Нас окружают!

Мишка знай себе механически переставляет ноги, опутанные предстоящим горем — встречей в поселке, бессильно машет рукой:

— А пошло оно все...

— Мишка! Зарежут сейчас!

— Да ладно... Ну, пометелят, а что сделаешь — не нарочно же мы...

— Мишка, реверс включай! Реверс!

Мишка очнулся, будто лунатик ото сна — вроде на земле, а не на палубе тепловоза — ничего понять не может: Егор куда-то карабкается, и что-то серое со всех сторон. Уже потом он рассказывал поселковым, очень редко, и с неизменным искренним ужасом, все больше седея, как увидел, что на них из мглы идет какое-то очень организованное войско и по-деловому окружает то дерево, куда забрался Егор, и что брата собираются убить, и уже приступают к этому — и кто? свиньи...

Мишка еще отметил четко и трезво, что мимо него прошел секач и вроде как небрежно так сплюнул — дешевка, мол, не для нас. И Мишка даже не испугался, приблизился так спокойно к дереву, к сухостойне, на которую забрался Егор, и стал негромко, впрочем, чуть издали, разговаривать:

— Братушка, это что?

— Дурак! Они же сейчас нас прикончат! Беги скорее!

— А за что?

— Ты окорока-то ел, вспомни? А солонину? Думаешь, откуда они у нас взялись? Вот, они же, гады, запомнили и выследили! У них чутье страшное, они, гады, под землей трюфели чуют — вспомни «Клуб кинопутешественников»...

— Что же делать-то?!

— Да беги ты скорей, твою-у-у-у!.. Будет сейчас «советский цирк»!..

И Мишка побежал. Он прибежал в поселок трезвый и сосредоточенный и стал тыкаться к ближайшим освещенным окнам, крича и прося о помощи. Но хмурые мужики уже составили приговор и именно ожидали вот такого шума — знака, чтоб привести в исполнение. Мишка хрипел, доказывая, что никто ничего нарочно не пил, но ему никто не верил — требовали остатков водки и — достойно принять удары, не прикидываясь безумным, не неся вздор про каких-то свиней, которые живьем едят Егора... — чисто «человек и закон», и как всегда человек не виноват и попадает ну ни за что...

Пока после нескольких несдержанных, от души, смачных ударов, дошло — что он не шутит, что не паясничает от страха, пока хватали ружья и топоры, пока бежали в ночной лес, наобум, без собак — все было уже кончено: секач спокойно и уверенно повалил сухостоину, и Егор так и остался там лежать, чуть согнувшись от последнего удара клыком, и даже была у него на лице какая-то метка, уверял потом Мишка, — щека оцарапана нарочно.

Вот это место я и разыскал. Ничего особенного — чуть подраный белый мох, уже покрытый пятнами почерневших легких листьев, следы от клыка секача, будто от каблучка женской туфельки, на обнажившемся суглинке — пара острых отпечатков небольших копыт, и всё. Мишка однажды был в городе и разговаривал с монахом, который осторожно предположил, что это все же Егору и его душе не за поросят досталось, а скорее за что-то другое, а это все внешнее, видимость, душа гораздо, бесконечно дороже.

Я не знаю. Я видел за пятнадцать лет столько бессмыслицы и бессмысленных смертей в поселке, не меньше, чем на войне, — горели от самогонки и браги, травились, падали как подкошенные в хлеву, тонули, резались, не просыпались, — что перестал искать причину. Только на этом месте я решил для себя, что так я не умру — но что для этого надо сделать? Уступить дорогу, колею, тому, кому она принадлежит? Уступить дорогу всему на свете? Свиньям, вышедшим обратно из моря, людям с бесконечной жадной, не измеряемой рулонами талонов? Если бы это был медведь-людоед, то я бы его выследил — с одной только целью: я бы высидел в засаде и убил, но тут — свиньи, кабаны, стайная безликая гадость...

Однажды в тихий солнечный день я шел по лесной дороге с сестрой, и вдруг он перемахнул вдалеке через дорогу. Сестра моя ничего не заметила — мы собирали грибы, и она смотрела на свою сторону дороги. А я увидел этот странный бесшумный полет — это черное мощное пятно, беззвучно перелетающее в воздухе слева — направо, из одной мшистой чащи в другую, как будто на плоской картинке. И мне стало очень легко — оттого, что оказалось — я не боюсь. Не то, чтобы плачущий Мишка, седой и сквозь слезы смотрящий вперед, в неболь-

шое забрызганное дождем оконце тепловоза и в сотый раз рассказывающий свою историю, не трогает ничего во мне, — наоборот. Все это рядом — но за чертой мира, в котором *они* договорились жить и умереть, неважно от чего, мы же — из другой, из новой военной книги.

Падение

У меня есть вторые родители. Но это не то, что имеют в виду взрослые, когда какой-нибудь парень вдруг почти ни с того ни с сего должен называть «папой» и «мамой» неких совсем до того незнакомых людей, в один глупейший день ставших ему тестем с тещей — как будто он их искал всю жизнь, а им и дела до этого мало, прятались что ли?

Мне до этого тупизма еще очень далеко, рано еще. Может, когда-нибудь и произойдет обвал, и на меня упадут еще одни «папа с мамой», но пока я к этому никак не готов и не думаю, что ни с того ни с сего найдутся те, кто готов много простить, понять больше, чем положено, — а иначе какие они папа с мамой? Мои вторые родители — это семья моего друга Игоря. Я их никогда так вслух не называл, но так само получается после его нелепой смерти. У Игоря была астма. Мы ее все лечили, как могли — моя бабушка знала травы и показала нам, что и когда надо собирать и как заваривать при приступе. Он был чуть-чуть старше меня и одновременно гораздо умнее и старше всех нас, по причине какой-то силы, нашей силы, которой он был охвачен целиком, хотя мы были свободней — паслись без всяких оград: играли по всей земле, строили штабики по опушкам леса, ночевали в землянках и баньках по берегам озер, а он должен был быть привязан все время к чему-то: стоило начать приступу, и он за несколько минут должен был успеть выпить травы или вдохнуть лекарство. Но и в этих рамках он был гораздо свободней нас, мы бы так не смогли и смотрели на эти, каждый раз неожиданные, приступы, как на нечто мистическое, единственное, в чем он не наш и в чем он недоступен и совершенен. И всего лишь однажды он потерял бдительность, и ему не хватило какого-то мгновения.

Мы с ним были влюблены в одну девчонку — это была территория и те рамки, в которых мы могли состязаться, оставив в стороне то, в чем были друг для друга недоступны в силу явного превосходства: я — в тайге, а он — в болезненной цене жизни и каждого вдоха. Дело было близко к осенним каникулам. Я вяло и с некоторым раздражением каждый раз после уроков в рано наступавших сумерках плелся в сторону ее дома, как на дежурство, надеясь втайне, что сегодня-то буду один. Глубокая осень уже до стеклянного звона протрясла и прошупала всю тайгу, весь лес, как нищего, — содрал до последнего все золотые листья и иголки, изжевала и сгноила их, как будто беззубым ртом высосала все краски с опавших листьев и выплюнула их. Мои боры и рощи стали звонкими и голыми, ну и светлыми до предела, как будто радуясь бесстыжей нагоде,

как девки в бане. Сквозь лениво стоящие, по-девичьи выставившие все изгибы в сером исподнем стволы молодых осин и черемух просвечивали речки и ручьи, ставшие беззащитными без кружев мошкары и вечно тревожных лапающих лицо и руки листьев. В речках плескался хариус — будто манил воображение, как купающаяся красотка, так что даже казалось — специально к осени он покрывается красивой пушистой слизью для большей стремительности и влажной тайной привлекательности. До одурения я иногда забывался на уроке и мысленно шел по перекатам, и в каждой ямке по-русалочьи вертелась и завлекала красивая, яркая, серая с голубым отливом и блестками страстная рыбина с вытянутыми вперед остренькими волнующими губами, а не с какой ни харей и ни с какими усами — это была она, а не он.

Но, повторяюсь, все свободное время и все выходные мы с Игорем тупо мерзли у нее под окнами, перекидываясь глупыми остротами, тоже изжеванными, как листья и иголки. Он иногда что-то отхлебывал из маленькой военной фляжки, иногда, когда было тяжело — даже уходил чуть раньше, но воспользоваться этим я не мог. Уйти навсегда самому было как-то стыдно и жаль времени, потраченного на пока непонятную, но уже оправдывающую жизнь цель — а вдруг Лена, так звали нашу девчонку, вдруг она именно завтра бы объявила что-то важное, а не болтала и, как обычно, куражилась без толку, сама не зная — зачем мы ей оба.

Все изменилось в одно мгновение. Утром мы были в школе, на совершенно нейтральной территории — здесь мы никогда не вели себя так, как при ней. Здесь мы были нормальными, не тупили, вместе шутили над училками, вместе нагло и дерзко сбежали с уроков. После второй перемены мы уже немного проснулись — это был наш урок, география: школа и классы были маленькими, как и поселок, и все учились вместе, хотя нам, пятнадцатилетним, ростом вровень со взрослыми мужиками, это было в тягость — мы и ходили медленно, и дрались сильно, обязательно до чего-нибудь настоящего: синяка, крови, разорванного рукава — и отвечать на уроках надо было так же, чуть с презрением, глядя в окно, в сторону тайги, в которой и принимающая нашу силу податливость, и предлагающие себя хариусы, и — свобода...

Игорь стоял у доски, с иронией размазывая и сочиняя:

— Ну, в лесах Амазонки живут амазонки... То есть амазоняне, жители амазонской зоны, зоны тропиков и недостаточно развитой культуры. То, что в этой зоне культура такова...

Он нажимал на «зону», и училка уже была на взводе, но ради маленьких сдерживалась из последних сил, шипя сквозь зубы:

— Так ты выучил или нет?! Отвечай, или сядешь!

— Чуть что, сразу — сядешь... Выучил я, выучил — в этой зоне живут пираты, то есть пираньи, они не оставляют от лошадей и других животных ничего, кроме скелета, так что если человек попал в эту зону...

— М-м-м... — учительница явно стонала, думая, что это она про себя. Все было, как обычно. Неожиданно раздался какой-то посторонний гул. Она очнулась. — Кто гудит!

А мы думали, что это она. Игорь остановился: — Самолет?

— Да какой самолет, ты что?! — мы оживились. Училка потребовала продолжать, но мы ее уже не слушали и не замечали — махом заткнули рты мелюзге — да, явно гул нарастал. Мы с Игорем выскочили из класса первыми, за нами — все, кто постарше, веером раскинулись перед крыльцом, стараясь уловить — откуда идет звук, шумно, с паром выдыхая, — звук уже почти перерос в рев.

— Военный? — предположил кто-то. — Взлетает с замаскированного аэродрома...

Неожиданно для всех в небо над нами действительно ворвался самолет, но не военный — обычный, округлый, но за ним тянулось пламя и дым. Он пролетел как-то наискосок, было ясно, что он делает отчаянный маневр, но какой — за мгновение не определить, мелькнул беззащитным брюхом и стремительной небесной рыбой скрылся за лесистым холмом.

— Видел? Видел?

Это уже потом поселковые старухи живописно ввали, что из иллюминаторов торчали люди и махали чемоданами: спасите! спасите!

Мы кинулись в ту сторону, куда он скрылся, но рев опять усилился, и самолет уже совсем почти над землей пролетел над краем поселка обратно, гораздо ниже, ближе к холмам и лесу, чем в первый раз.

— Топливо сбросил, сейчас будет падать, — произнес рядом кто-то из взрослых. Мы в каком-то лихорадочном возбуждении и даже в восторге понеслись по улице в ту сторону, куда он падал. Мы уже почти добежали до края поселка, как нас обогнал весь побитый, помятый конторский «козлик» и затормозил: — Где? Куда?

Мы замахали руками, но «козлик» почему-то развернулся и помчался обратно. Остановились и мы. За ближним леском, за холмами, в тайге, чувствовалось что-то смутное, будто трещало или разламывалось, хотя на самом деле было очень тихо: в поселке, как по команде, разом умолкли бензопилы, движки тракторов, перестали тюкать топорами. Прошла минута, и мужики суетливо, с непременным матом возбужденно стали переговариваться, толкаться и указывать друг другу, что делать и куда двигаться, горячо споря с начальством.

Мы стояли на перекрестке.

— Бежим?

— Бежим, — единогласно решили, видя, что от поселковых долго не будет проку: пока договорятся, соберутся, дозвонятся — мы успеем первыми. Но Игорь чуть помедлил. Он обернулся ко мне, и я увидел в его глазах, что он верит, что еще можно кого-то спасти. Этого не передать в словах, но так, взглядом или чем-то еще — прикосновением — пере-

дается ох как много. Мы, как проводники в глупом опыте по физике, заражаемся и действуем по индукции, от напряжения. Может, это он всегда горел любовью к Ленке, а я только глупо воспринимал это в силу взаимности, лишь потому что был рядом с ним и с нею? Не знаю.

— Топоры, спички, аптечку, котелки, — он тыкал в нас пальцами. — Встречаемся у первого ручья, похоже они где-то там, за вторым ручьем, того...

«Того» — упали, врезались, разбились, сели — все могло быть, но мы не знали точно, и это был вопрос веры — мы мгновенно разлетелись по домам, объяснять больше ничего не надо было, а с голыми руками там и вправду делать было нечего.

Первый ручей был приблизительно в полукилометре от поселка, и мы собрались там почти одновременно, ждали только Игоря — он жил на другом конце, но и он прибежал необычайно быстро, и потом бежал рядом со мной, почти не отставая, хотя это была полностью моя территория — я лучше всех знал все тропинки, развилки и повороты, и мне все молча уступили бежать впереди, а он дышал рядом и смотрел на меня чисто и ясно, и иногда оборачивался, чтобы убедиться, что никто не отстал, и улыбался мне.

До второго ручья добежали быстро.

— Пацаны, тише... — мы перемахнули ручей вброд и взобрались на склон, чтобы не слышать его потревоженного мурчания. Деревья по склону были давно вырублены, и весь склон был в зарослях дурнины, в основном мелкой осины и ольховника, в которых терялись все тропинки. Вырубка вдоль склона была старой — валили не наши, соседи, которые подобрались с той стороны от хребта, и им было все равно — хапали и вывозили, оставляя за собой такие завалы, по которым продаться было бы очень тяжело. Если бы я был один, то я пошел бы по обычному пути, как и привык собирать ягоды — от одной поляны, заросшей брусничником, к другой, еще каким-то чудом сохранившимся в тупой серой дурнине, вставшей по склону, как шерсть на земном загривке. Находил я эти поляны только по направлению, как мне их показал папа, и двигался от одной к другой без всяких меток и тропок, да здесь и не было никого — я никогда не встречал чужих следов, кроме звериных или птичьих пометок: это были только мои места, но что сейчас было толку от знания ягодных мест?

Кругом было тихо, и мы растерялись. Вырубки тянулись вдоль склона и налево и направо очень далеко, и если они все же решили садиться, то это были лучшие места, все остальное кругом — коренная тайга, боры без просветов и широких дорог, только холмы и жилистые толстые подсоченные сосны.

Нас было семеро. Пробовали орать, но поднялся ветер, и стало ясно, что ответа ждать нечего.

— Ну? Куда? Что?

Я стал объяснять про ручей — вниз и вверх по течению одна и та же картина. Разделиться, конечно, можно, но смысла в этом нет — трое или четверо слишком малосильны, к тому же риск заплутать в однообразных зарослях с холодной ночевкой ничего хорошего не обещал, кроме того, что и нас тогда придется искать — а сейчас это равносильно позору и смерти. Вместе, даже если мы никого не найдем, — можно переночевать и выбраться, вот только куда идти — налево или направо, никто из нас не знал и не смел предложить. Я знал только одно — если они не увидели этот склон, то значит, они кувыркались по коренной тайге, а это было безнадежно...

— Пацаны, давайте бросим монету, — наконец сказал Игорь. — Есть же правда. Есть же Бог. Он нам поможет.

Мы пожали плечами, будто наткнулись на что-то лишнее, тяжесть, которую надо сбросить, — у нас и крестиков-то ни у кого почти не было, а вот так впервые осознанно призывать имя Божие, да не ради озорства — было неловко. Я почему-то вспомнил крестик, который вырезал из коры просто так, но не доточил до конца — так и лежит где-то на полке.

— А у меня крестик есть, — вдруг сказал Леха, самый из нас шуплый и низенький. — Вот.

Игорь сидел на песчаном склоне и кидал под ноги монетку, просто так, смотря, что получается. — Ну что, кинем все-таки, другого выхода нет?

— Смотри, а вдруг не повезет...

— А как вы хотите?

Мы отмолчались.

— Нам бы вертолет, — вздохнул Леха. — Тоже, вообразили из себя спасателей! Нам бы вертолет, парашюты, рацию, мы бы...

— Ну ладно, мужики. Помогите Христос, то есть Господь, — Игорь встал. — Решка — идем в ту сторону, вниз по течению, орел — вверх, туда...

Он шепотью перекрестил монету, мы невольно молча обступили его, все-таки это было очень серьезно. Он обвел нас взглядом и подбросил монетку вверх — пока она еще летела, мы невольно отшатнулись. Монета упала вверх орлом, но как-то не очень прямо, зарывшись чуть ребром в легкий податливый таежный песок.

— Может, еще раз? — спросил я.

— Туда, — твердо показал Игорь направо по склону, вверх по течению кривляющегося, путающего направления, ручья.

Я вздохнул — сам не зная, чем недовольствуясь, пошел туда, куда он показал, ворча как медведь. — Ну, а если бы...

Никакой дороги, никакого порядка в этой ходьбе не было — склон сильно зависел от ручья, и не было ни ровного гребня, ни прямого пути, то наклон вообще пропадал, или казалось, что повернул обратно. При-

ходилось двигаться так, как ноги несли вдоль неуловимого склона, набум Лазаря, все время огибая поваленные деревья и пни, вывороченные набок так, что образовались ямы и над ними черные полукружья налипшей на корни земли — щиты, охранявшие тайгу от человека.

Мы прошли несколько километров, но не обнаружили никаких следов, ничего, только заваленный намертво стволами ручей и склон, как затылок солдата — ровная серая стена, и мы — цепочка муравьев, если смотреть сверху, с вертолета. Я часто оборачивался и недовольно покрикивал, чтоб не отставали, чтоб смотрели под ноги, а лучше — шли след в след. Наконец, я дошел до границ своих мест и сам остановился. Дальше идти было страшно — я там никогда не бывал, ни один, ни с отцом, хватало мест поближе. Дальше все было новым, и это было опасно — стоило только сбиться в сторону, пропустить на обратной дороге поворот, пройти под углом, не так, как раньше, — и даже знакомые места могли показаться совершенно чужими. Надо было держаться ручья, но вдоль него все было так захламлено, что даже воду иногда не было видно и слышно. Вдруг все незаметно перейдет в болото, что тогда?

Я попытался незаметно ломать ольху, но пару раз обернувшись уже не мог найти предыдущий обломанный куст. Признаться, что дальше идти боюсь, — тоже не мог, хотя именно это и надо было сделать, почестному, чтобы пацаны не обманывались. Я просто намертво остановился.

— Ну, давай же, — подтолкнул меня Игорь.

— А вдруг там никого нет, — выдохнул кто-то сзади.

— Ну, давай же, веди... — Игорь обернулся. — Мужики, тише! Что вы, в первый раз в лесу что ли!

Я вдруг понял, что меня раздражало — если это вправду, по-настоящему, про Бога, в таком месте и в такое время — то значит, Он видит сейчас, как мы ползем по этому склону, и видит пропаханную полосу, и огонь, и дым. И видел раньше, как я ходил в лес и иногда смеялся, и часто трусил, слышал, как я разговаривал сам с собой, набивая рот брусникой, или, натыкаясь на медвежьи лепешки, бурые, с пятнами черники и брусники, приседал и оглядывался... Значит, все это было не так, тогда, раньше, и сейчас — я только обманываюсь, что так хорошо знаю эти места, оказавшиеся не моими, а Его, и обманываюсь еще больше, что могу обойтись совсем без никого... Получалось, что можно, совсем ничего не разбирая, вот так ткнуться куда-то вперед, по монетке — и пройти прямо, не выхляя и уклоняясь, и к тому же не боясь.

— Там нет ничего, — остановился я окончательно. Мы опять сомкнулись в маленькую точку, в пятно, вместо ползущего гусеницей отрезка, если смотреть все так же, сверху. Игорь тяжело отдышался, потом сказал:

— Они там.

— Нет там никого, — повторил я уверенно.

— Они там, долго объяснять, — Игорь развернулся и пошел вперед.

Потом мне Ленка призналась, что у него всегда перед приступом открывалось какое-то невероятное чутье, он как бы пропитывался всем — красками, запахом, всем нашим обыденным, ободраным миром — и что-то узнавал, чего не описать в словах... Но я-то этого не знал тогда и все же оторвался от земли, чуть не бегом обогнал всех и Игоря, сердито засопел впереди — если уж надо куда-то забраться, в глушь, в чащу, пусть все будет из-за меня, пропади оно все...

Через час мы все уже почувствовали что-то, будто приблизились к краю, будто завелась невидимая пружина — и мы превратились в стаю все чующих загревком зверьков... И вот — первые сломанные ветки, запах гари, чего-то едкого, чужого, — и мы побежали...

То, что мы там увидели, я описать не могу — это было нечто совершенно чуждое всякой жизни и, конечно, той, какой я жил раньше. Во всех пятнадцати моих годах не набралось бы слов для того, чтобы даже подумать, как это связно и разумно изложить, — обломки громадной, упавшей с неба рыбьей туши, вонь, гарь, огонь на всем, что может и не может гореть, но ведь главное было не это, а люди, и к ним надо было ставить прилагательные, которые разум фиксировал, но не для того, чтобы хоть когда-нибудь кому-нибудь пересказать или записать, вспомнить на рыбалке, в компании... Одно только — были живые и обгоревшие. Немного похоже на поселковый пожар, но все же не так — там горят стены, сыплются искры, падает деревянная кровля, здесь же горело то, что не должно было гореть, — мир...

Мы сделали очень мало — развели костер, вскипятили воду, собрали к костру тех, кого смогли обнаружить по округе. Мы ходили по краю черты, которой не было видно, но за которой ясно было, что туда лучше не соваться, там было другое...

Где-то через час появились первые военные и еще часа через полтора наши охотники с поселковым начальством. Все оцепили ровно по той черте, которую нам и указывать не надо было, и нас, ни о чем не спрашивая, отправили обратно на тракторах, которые пробились по охотничьим тропам. Мы были удручены тем, что так мало могли сделать — нарубить веток, сделать настил, вскипятить воды, да бестолково обмыть раны, да еще те, кого мы подобрали, нас почему-то ругали, орали, вырывались, не видя черты, обвиняя нас, почему мы так долго и что мы для них не захватили того, другого...

Мы долго тряслись в телеге. Трактора на сцепке из тросов выли, зарывались в болото, нервно дергая друг друга по сопротивляющейся трясине. Нам было не по себе, но настоящая лихорадка началась только в поселке, когда все стало наваливаться каким-то осознанным грузом, тяжестью, которую мы волокли точно так же, как эти трактора друг

друга, и каждый из нас был где-то между радостью, и возбуждением, и ужасом.

Нас высадили посреди поселка, и мы все болтали и болтали, громко и бессвязно, перебивая один другого, и не могли остановиться и разойтись — вслух, со всех сторон обсуждая то, что происходило с нами, как мы шли и что увидели краем глаза. Нас будто держало вместе, и если бы не взрослые, которые нас отсекали беззастенчиво и самодовольно от всех действий, мы бы, наверное, одним броском, одним звериным ударом бросились бы сейчас в больницу и сидели бы с каждым из уцелевших, и стали бы для них всем, как бы они нас ни проклинали, — но нас отсекали от всего происходящего будто колючей проволокой...

Мы стояли, как после битвы — такого с нами никогда не было. Да, раньше мы бегали смотреть, как, неловко подвернувшись, валяется под откосом тепловоз или платформы с вздыбившимися как попало хлыстами, уже почти усмирненными, с обрубленными сучьями, но еще воющими против железа из последних сил, — но все это было не то, не так.

Теперь мы узнали что-то настоящее, что от нас скрывали всеми силами и ограждали, — падение мира, ставшего рыбой, держащегося на каких-то хилых подпорках.

Подошла Лена. Но прежде чем ее появление разрушило тонкую мимолетную связь всех наших движений, я увидел другое — движение ангела:

Игорь стоял напротив меня, как обычно, слегка ссутулившись, и молча смотрел — эта сутулость была усталостью постоянно палящего молодого пламени, уклоняющегося под ветром, почти ничего не значащего — ведь так и должно быть: когда-то, в какое-то время, в каком-то возрасте, может, в нашем, а у некоторых, может, и никогда — происходит то, что выходит за рамки необходимости, привычного семейного распорядка, школы, развлечений, дерзостей, мечтаний о подвигах, жестоких драк, первых хмельных сладостей, — и мы становимся незаметно, без всяких усилий, сильнее цепляющих шуток, вне земного тяжелого расписания, мудрее стариков, славнее воинов — пусть на миг, пусть почти никто этого не видит и даже если и заметит что-то такое в своей жизни, то вряд ли оценит, — но я-то видел, как будто время остановилось, будто произошел хлопок, взрыв, вспышка света, и дальше ничего — опять улица, двор, Лена в кокетливо накинутой на кончики обвислых плеч фуфайке...

В эту секунду я успел отступить от этого нашего обоюдного с Игорем сна. Именно в это мгновение я решил отойти, не то чтобы передать ее ему, а просто отойти, пораженный увиденным, ничего никому не объясняя, да и кому что объяснишь — всего-то твой друг посмотрел на тебя так, что ты не был готов к этому — из глубины обломков едва уцелевшего мира.

Мы еще поболтали какое-то время, уже прикрашивая в тысячи раз то, чего на самом деле не видели и не совершали, но я искал, искал и

наконец-то нашел — привязался к Тихоне Лехе, который вечно спешит домой, — чтобы только уйти с ним. И, уходя, все же не выдержал, обернулся — Игорь с Леной оставались вдвоем — наши стремительно растаяли, как и улица, и сумерки, — все правильно.

Дома была только мама. Я попросил ее собрать мне что-нибудь на завтра с собой в лес, а сам прошел в холодную половину дома, уже приготовленную нами к зиме, где летние снасти были сложены и зачехлены до весны, — и стал решительно разбирать завалы. Все, что еще недавно было на пути и по ходу — далеко убрано, а зря, зря, еще не время.

На следующее утро я незаметно пробрался через поселок к опушке и с облегчением шмыгнул в лес — слава богу, и взрослым, и всем нашим было не до меня, хватало занятий и разговоров. Я нарочно выбрал путь как можно более дальний, к заброшенному, наполовину спаленному мосту на маленькой речке. День был тихий, светлый, безветренный — солнце было рядом, за тонким слоем облаков и прозрачной сеткой безлистных веток, наоборот, казалось, собиравших свет и игравших им, свободных наконец-то от обязанности доставлять кому-то наверх и воду, и то, что еще недавно было влажной грязью, — только игра и свет. Идеальная погода для осени и охоты — но хариус клевал очень капризно. Некоторые рыбины прыгали только на мушку, обязательно светлую, связанную из ниток и Ленкиных волос, которая и не подозревала, зачем мне нужен был ее локон. Некоторые, наоборот, — ничего не признавали, а показывались, выскакивали только к позолоченной зимней блесёнке, привязанной вместо крючка с грузилом.

Давно уже не было ни сильного дождя, ни снега, и вода стояла небольшая — я свободно переходил от одного берега к другому по перекату. В воде было то же, что и на берегу, — стрелолист и другие зеленые травы уже упали на дно. Некоторые побурели и истончились до невидимости, до тонкого слоя на дне, некоторых унесло течением, измочалило до однообразной тины — вода прояснилась до блеска, и спрятаться было невозможно — рыба меня все равно видела и отходила от меня подальше, или просто капризничала, уже приготовившись ждать следующего года, и весны, и лета, где-нибудь в приямке, сбившись в стаю одногодков, как мы на каком-нибудь скучнейшем уроке, на полугодовой контрольной, где все уткнулись носом вниз — и всем привет, не спишешь, никому ты не нужен.

Но вот из-под куста, сделав всего одно движение, вдруг встала в середину струи крупная рыбина и так же легко скользнула обратно под берег. Я остановился чуть выше, так, чтобы едва-едва, вытянувшись целиком вперед, доставать приманкой до этого места. Рыбина еще раз показалась, но, будто издеваясь, преспокойно обогнула и пропустила и мушку, и блесёнку.

Короткий день быстро оканчивался, и к сумеркам я уже умаялся основательно, хотя рыбы наловил совсем немного. Пора было готовить ночлег. Недалеко в лесу была охотничья избушка на берегу маленького круглого озерца, связанного с речкой коротенькой заросшей протокой. Надо было идти, но я из какого-то упрямства все стоял там, где в холодной воде покачивалась рыбина. Я думал, что давно уже победил в себе эту тупость, но — на тебе! все стоишь и стоишь, как истукан. В обычный день я бы с азартом, с дрожью в руках перепробовал бы все насадки, все снасточки, что у меня были с собой, но сегодня я почему-то только перекидывал и перекидывал одну и ту же снасточку и смотрел, как она плывет мимо, как мушка, ударившись об обмякнувший стебель подводной травы, не может зацепиться за нее, а легко, без особой силы рвет и расщепляет податливые охладевшие уже неживые волокна, и блесёнка, шаркая по дну, разгоняет слабую тину.

— Не хочешь? Так ты не хочешь...

Хариус почти не шевелился. Если бы он хотя бы бросился, даже не на мушку, а на поплавок, пусть дернул бы, ударив с разворотом по блесёнке, и ушел — было бы не так обидно. Значит, не судьба, не суждено, не нужна мне эта рыбина, я бы все понял. А тут выходило, что это я ей не нужен, что это она меня приманила и я кидаюсь на какую-то ее приманку, и верчусь, и ударяю, и, хватая, отпускаю обманку, видимость того, что зацепило все мое существо.

В конце концов, в тысяча первый раз перекинув удочку и сказав в тысяча первый раз «ну, последний разок», — я сдался. Не чуя застывших от холода ног, я смотал удочку и пошевелился.

— Еще увидимся, — сказал я скользнувшей в потоке тени, о которую разбился весь мой день, в который спаслись от моей снасти более сговорчивые хариусы — до них-то я и не добрался. Распаленный неудачей, я не заметил, что чуть не примерз ко дну, и еле поднялся от реки до избушки, дрожа от вдруг накатившего внутреннего холода. Сети на озерце забрасывать было уже поздно — солнце быстро садилось. Да и мне в таком состоянии надо было только заботиться о дровах и костре и горячей похлебке — золотой приманке всякого погибающего неудачника-одиночки. Я еще проверил на всякий случай избушку — вдруг кто-то оставил дров вдоволь, но под истертыми полатями валялся только ржавый, весь в красных зарубках тупой топор: значит, надо идти в лес и ни о чем больше не мечтать. В лесу было уже совсем сумрачно. Я выбрал толстую сухостоину, торчавшую, как палец, из щели:

— Стоишь? Ждешь?

И ударил неуклюже топором — всегда, пока привыкнешь к чужому топорщику, чужому размаху, нужно время, чтобы преодолеть какое-то тупое, ватное отвращение, как болезнь.

— Так ты не хочешь? Не хочешь... — разделявал я серую тупую тень, пока не завалил ее набок. Сухостоина, падая, разломилась на три части, и я, опомнившись от злой ярости, успел отскочить. А то можно было попасться, как легко попадают новички в тайге, круша и давя тракторами покорный с виду лес — прут вперед, кажется им все легче легкого: наступил железной тушей, и оно обязательно подается, сникнет, подобострастно хрустнет. А однажды стукнешь в сухостоину, уж куда смиренней и податливей, — на, бери, владей, тюк ее — и по закону физики, оказывается, она ломается на три части, две падают перед тобой, а третья в это время летит вертикально, сверху вниз, и прошивает насквозь кабину трактора, вместе с тобой, как консервную банку — пымс! — и нет тебя...

Мы видели такое раньше, подобное, не раз, когда лазили с пацанами по лесосекам, узнав о несчастном случае, — нарочно, чтоб посмотреть, страшно и наглядно, пялились как на опыт в учебнике: не суйся туда, куда не знаешь, о чем понятия не имеешь, ни с чем, ни с какой броней — не поможет.

Я вогнал топор в комель и притащил бревно к избушке. Солнце садилось. Я разрубил бревно еще напополам и собирался уже разжечь костер, но вдруг очнулся. Закат разлился вокруг неимоверным светом. И та сила, которая в поселке, или где-нибудь в другом месте, могла показаться красивой — вдруг пронзила меня насквозь, так что стало очень больно и потекли слезы: ни в чем не было препятствий, и красноватые лучи света были везде, всюду, в том, что я видел и не мог видеть. Мне срочно надо было домой, туда, в поселок, к ним, к Игорю и в особенности к Лене, к ее взгляду, голосу, падающим на плечи волосам. Надо было так срочно, что я готов был бежать, но бежать было нельзя: осенней ночью в тайге и без дороги не потеряться было бы чудом. Этот закат был и крушением чего-то неизвестного мне, и моей уходящей силой и теплом, и глупостью, и ясным последним посланием и предупреждением: день, спаленный мной, прогорел и сломался посредине, и обуглился, и упал передо мной, и две его части были видимы, а третья летела и должна была обрушиться прямо на меня и убить, и ничего нельзя было поделать — даже с закрытыми глазами темнота оказывалась не черной, но красной и разлитой повсюду. Наверное, так я рождался, как в эти застывшие мгновения, или так буду умирать — то, что происходило, было вне меня, со мной, связанное со мной, и в то же время надо мной — я родился и умер, а это все останется на тысячи лет — непойманная рыба, закат, красноватая рябь по всему живому маленькому круглому озеру.

Я плакал очень долго, окончательно смиряясь, что я бесконечно меньше всего, что происходит вокруг, что всё — не для меня: мир, поселок, Лена, долгое бесконечное падение солнца.

Я — как слепой, как на том свете, как серая тень среди всего живого — стал все-таки что-то делать, но очень осторожно, чтоб окончательно не растаять. Развел небольшой костер, вскипятил кружку чаю, затопил печку в охотничьей баньке, принес немного пихтового лапника и лег на ветки, стараясь ничего не потревожить и не расплескать: свою смерть, свой первый крик, бросок за пепельно-золотистой мушкой, что-то еще, подобное им, связанное со вчерашним безумием или с Леной. Все, что я мог придумать раньше или о чем мечтал, — не шло на ум, да я и сам легко отгнал привычные помыслы, настолько они были ничтожными, поверхностными, будто сухие соринки в холодной сильной осенней струе воды. Я просто ждал, будто кто-то войдет в дверь, осторожно и тихо, или что-нибудь произойдет, внутри или снаружи.

Утром я проснулся от холода — ночью я не вставал и не подбрасывал дров в печку, а зря — ударил заморозок. Кругом все застыло, вчерашний чистый закат обернулся первым морозным утренником и новой кровью — иголки лиственниц сбились в комки и за ночь покраснели, прихваченные сильным инеем, — все это были последствия вчерашней огненной смерти.

Я, не торопясь, собрался, выпил на дорожку кружку кипятка и пошел в поселок, отмечая по пути только одно — как по тайге прошлась эта ночь и какие следы оставила она на всем: на дороге, на траве, на деревьях.

В поселке было необычно тихо. Я вошел в дом, разделся, меня встретила кошка, всегда знавшая — где я и откуда иду. Я отломил несколько харюзиных голов от комка рыб, смерзшихся за ночь в рыбацкой сумке, и кинул ей, и она стала греметь ими по полу, стараясь прижать лапой. Наконец, вышла мама, какая-то смятенная и, мне показалось, заплаканная. Она достала из-под стола обычный тазик для рыбы: нельзя нарушать такую минуту ничем, ни злостью, ни горем — ради этого мгновения я часто бегом бежал домой, похвалиться, что поймал больше обычного. Но на этот раз хвалиться было нечем, но мама все же сказала:

— Молодец, наловил как раз...

Я только махнул рукой и дождался следующего, так же необходимого:

— Раздевайся, вешай на печку, чтоб просохло. Я ждала, протопила, будешь есть?

— Да, немного.

Я так устал, что не хотелось никуда идти, вяло пожевал что-то и затем лег на самую любимую в семье кровать, вровень с окном: хочешь читай, хочешь спи, а за стеклом — капли дождя, снег, хочешь — смотри, как они тянутся рядом, бьются о препятствие и смывают что-то.

Мама долго возилась в кухне, а я не мог заснуть — молчал и смотрел в потолок: все-таки я выжил, все-таки я добрался до дома и пережил эту ночь, все-таки ничего не произошло.

Неожиданно мама вошла в комнату, села рядом со мной и взяла мою руку. Это было настолько просто и необычно, что я испугался. Она как будто боялась, но я ободряюще улыбнулся ей — ведь все в порядке, ничего не случилось.

— Прошлой ночью Игорь умер.

Я не знаю, почему она сразу не сказала мне — может, вправду, боялась за меня, что я не выдержу, и потому так долго тянула. Я совру, если скажу, что поразился. Я совру, если скажу, что я не знал и не видел, как это произошло. Любое слово будет ложью. Я не знал и не видел, и знал и видел. Я совру, если скажу, что не мог ничего сделать, и так же совру, если скажу, что я хоть что-то понимаю и знаю хоть каплю того, что надо было изменить. Может, кому-то покажется наивным, глупым, смешным то, что я вижу действия ангелов в долгие мгновения времени — как на закате в тайге; как с мамой, держащей мою руку; с друзьями, которые успели уже все сделать и сказать без меня; еще два действия, которые я пока не могу описать, — с моими вторыми родителями, Леной и с верой, что все можно выдержать и на все найти ответ. Я даже слова-то правильно подобрать не смогу, что я в этом вижу. Мне только страшно, что любовь, оказывается, может быть настолько сильной, что стоит кому-то отойти и освободить дорогу, как ему кажется, пойти случайно, как вдруг — свобода перекрывает дыхание кому-то, и кто оказывается виноват? Ты? Не знаю, но уже в том, что этот вопрос появился и не проплыл мимо, как сухая травинка, наверняка и содержится ответ — я вру, что не знаю, но все же немножко не вру, потому что это не знание, это тяжесть и мука, это безразличие ко всему, что плывет поверх тебя, и сопротивление воде, которая вжимает тебя вглубь утекающей жизни.

До нее

Прошла неделя «после Игоря» — я так говорю для себя, хоть и неправильно, но мне понятно, а на остальное — плевать. Все было до и после него. После, в бесконечном после, мы потихонечку остывали — те, кто вспыхнул, пытался что-то делать, но все входило в другую, привычную свою колею — поселок работал, школа жила. На следующей неделе надо было писать сочинение по «Войне и миру», и в воскресенье все собирались к Ленке — смотреть по телеку фильм, хоть и многосерийный, но все же не читать же в самом деле эту придурашную нуднотину — все равно, что учиться плавать в ледяной воде. Я долго выдумывал себе занятие, чтоб только не пойти к Ленке, но, в конце концов, просто удрал на речку. Не знаю, что бы я делал, не будь леса, речки, — кажется, потом, когда вырастешь и не будешь таким безвольным и глупым, обязательно будешь жить там, до бесконечности. Почему же они талдычат — надо любить это все, заставляют заучивать наизусть все красоты и выверты, про природу, про Россию, «настоящую» Россию, —

и не проводят здесь ни минуты времени? Торчат по компаниям, по баням, по схоронкам, где пахнет выпивкой, закуской и бабами, а сами суют нам, как маленьким, пустышки — вот вам, деточки, Пушкин, вот вам Гоголь, от сих и до сих, а сами сцепились, договорились друг с другом — устали в телек, все полыхает синим пламенем, и они так крепко связаны — попробуй расцепи. Поживешь неделю в лесу, придешь — ну, как Божий же день ясно — все сами дали согласие на этот договор: быть уродами, баранами. Идешь вечером по поселку — все окна пылают одним и тем же идиотским огнем, как газовые камеры. Будь я бы на их месте — сидел бы на яме с удочками или был бы рядом, вместе с ней, без всякого обмана, без протертого кресла, без выпученных глаз — был бы вместе с ней, полностью, и время бы делилось только на нее и на реку. Может быть, я не спорю, при этом я бы тоже выглядел глупо, даже не сомневаюсь, — да почти все время человек имеет не очень-то естественное выражение лица, но, по крайней мере, без этой общей тупизны и мертвости. До реки и после реки — она, и никакой щели, никакого промежутка, чтоб не проникла зараза, чтоб не затащило в этот водоворот сизоголубого удущья — меня не обмануть такими идиотскими штучками.

На реке делать уже было особенного нечего: плыл мелкий лед да последние листья, еще цветные, но по кайме уже обведенные коричнево-черным. Хотя и холодно, и пусто, но «до нее» что-то надо было делать. Папик многому успел меня научить, прежде чем мы остались вдвоем с мамой, — и я знал, что на реке, как в жизни, всегда можно что-то предпринять не бессмысленное, достойное и приносящее результаты. Я вышел к зимовальной яме — здесь рыба сбивалась в стаи к ледоставу.

Однажды отец привел меня сюда по первому льду: «Ты говоришь, я всю рыбу в реке выловил? Я тебе покажу рыбку-то...». Под тонким, прозрачным, с черным отливом слоем льда лежали какие-то брусочки. Я не сразу сообразил, что эти палочки, вставшие в определенном порядке, как железные опилки на бумаге с магнитом под ней, — это и есть рыбы, а серое расплывчатое полено чуть в стороне — щука. Отец выхватил из-за пазухи топорик и ударил по льду там, где была голова щуки. По льду расползлись трещинки, а рыбина несколько раз шатнулась и как-то неловко повалилась набок, показав незащищенное белое брюхо. Пока отец вырубал прорубь, чтобы достать щуку, я попробовал сделать так же и вошел в какой-то дикий азарт, бегая по льду, падая, ударяя с хрустом, торопливо, по следующей тени, крича: «А я еще вижу, а я еще вижу!..».

— Хватит на сегодня, — сказал папа, и я обиделся: — Как это хватит! Здесь же столько рыбы!..

— Тебе нравится? — спросил он.

— Да! Это же здорово!

Но как я ни упрашивал тогда, он мне не дал больше ни разу ударить. Мы только вырубили из-подо льда всех рыбок, что я накрошил в

возбуждении, и увел меня домой. Я ревел всю дорогу, пока мы шли к поселку. Отец шел впереди, а я плелся и ныл сзади. Отец ничего не отвечал, а я все нудил, спотыкаясь и давясь словами: «Это же была моя рыба...».

— Твоя? — уже подходя к поселку, только и удивился отец, и закашлялся.

Сейчас я понимаю, что «тому мне» ничего невозможно было объяснить — я был как все, без царя в голове, и сейчас мне настолько жаль папу, — сколько же сил было потрачено на меня, пустоголового прожору, цветущего тем же синим пламенем, что и все. Через несколько лет, перед самой своей смертью он однажды привел меня к речке, уже весной, в половодье — и показал, как нерестится «моя рыба» — так же, без слов, без объяснений.

Я увидел, как поверх заливных лугов, уже зеленых и нарядных, стоит вода, ставшая небесной твердью для «моих тропок», «моих берегов», и как плавятся по этой тверди круги — «моя рыба» с той же беззащитностью, что и поздней осенью, сама идет ко мне в руки, теми путями, что я потом буду утаптывать все лето, — идет ко мне, впрочем, и к любому, — и в моей воле было взять ее легко сейчас — или же оставить это на потом и с большим трудом пересекать эти же места, когда вырастет трава в мой рост, выйдет комар, упадет роса или пройдет дождь — «после этого».

На яме было очень тихо — течение было слабым, почти незаметным, ветер дул только верховой и не трогал реки — это редкость. Обычно плывешь, и все время назло появляется встречный ветер, как в трубе. Вроде бы должно быть небольшое затишье, под пологом густого прибрежного леса, но это только на миг, поворот — и думаешь, что по всем правилам должен быть наконец попутный ветерок, а он, злодей, снова встречный — и вскипаешь от тупого низового ветра, так и старающегося навредить побольше.

Но сегодня было тихо — лишь облака не стояли, а двигались. На обрыве над ямой почти висела старая пастушья избушка. В ней давно уже никто не обитал — телят не пасти несколько лет, с тех пор как волки обнаглели уж слишком и чуть ли не перерезали половину стада. Но некоторые грешили и на пастухов, что те несколько помогли волкам, чтобы преувеличить жертвы напастей, их же поселковые и отмутузили, за дело или нет, уже непонятно, но пасти телят больше никто не брался. В избушке иногда ночевали охотники, но для них еще было рано — хотя, готовясь к зиме, они еще летом свалили несколько деревьев на дрова и раскряжевали их на чурки в рост человека, прислонили к избушке, чтоб те обсохли на обдуве. Я отделил четыре чурки и по одной скатил на мысок к яме, а затем связал плотик. Плотик получился устойчивый, но почти весь уходящий в воду, когда на него взбираешься, — дерево еще

не высохло. Посреди плота я утвердил чурбачок для сидения, взял два длинных шеста и собрался выйти на яму.

Это была папина идея, давняя, не осуществленная — вот так положить глубокой осенью, с плота, но уже по-зимнему, на короткие зимние удочки. Папе всегда не хватало времени — сначала работа, потом болезнь, да и мы с мамой, всем всегда что-то нужно. Я знаю, что он бы все сделал в тысячу раз лучше, чем я, — его плот был бы правильней, и снасти уловистей, и время бы он подгадал не так, как в голову взбредет. Может быть, сегодня он бы просто отмахнулся — «мечты, что здесь делать в такое время...». Я не знаю речку и все ее повороты так, как он. Я мог только гадать и быть настороже — сейчас его душа и его сознание, наверное, переживали за меня и были рядом и как-то действовали, давали знаки, чтобы я действовал правильно, не только в отношении ямы, рыбалки, плота, но вообще — в отношении мира. И я думаю — этот тихий верховой ветер — тоже из-за него, как верный признак: папик обо мне заботится, как всегда, и попросил, чтобы не было другого дурацкого ветра, и еще попросил, чтобы на месте были эти чурки и, может быть, рыба, и — пустая избушка, тишина, и осенний мирный свет. Но об этом я только догадывался. Может быть, то, что я искал на этой глухой речке, было менее всего понятно мне самому — я и не знал, что оно мне нужно, как воздух, как нечто, чего не замечаешь, когда оно рядом. Стоит оказаться где-нибудь в незнакомом месте, в чужом городе — и начинаешь что-нибудь искать, кого-нибудь напряженно ждать в толпе. Начинаешь перебирать — кто, кто? — друзья, родители, знакомые, лица, что остались где-то, — чего же не хватает? Были бы здесь они все, мир оказался бы на месте. А так — просто ждешь какого-то знака, ищешь его, делаешь беспомощные беззащитные движения, как нерестящаяся рыба, неизвестно что из себя выдавливающая, бессознательно, мучительно, чтобы привлечь внимание кого-то такого же. Но если кто-то обернется — пугаешься, или разочаровываешься: все же не так, все не то, нужно что-то настолько близкое и огромное, что никак не вписывается в то, что есть, — нужен тот, кто является для тебя всем.

Я стал отталкиваться от берега, и бревна нехотя зашуршали по мелкой гальке. Пришлось встать на край плотика и сделать несколько сильных толчков, чтобы преодолеть мель и выйти на яму, от которой мне нужно все. Все, что она даст, все, что она скажет, заставит совершить, все, что приготовлено для меня и что спрятано от прикосновения. Я уже знал, как с волнением, — покашливая, как отец, — я размотаю нашу снасть, приготовленную для зимы, как насажу вертлявого червяка и кину блесёнку по боку плотика, будто в зимнюю лунку, только наоборот — лунка вокруг, вне, а не в центре. Рука уже потянулась, моя и папина, к нашей сумке, но вдруг я услышал голоса за поворотом:

один тихий, пришибленный, а другой скрипучий, как ржавая лебедка. Не надо было гадать, что это был Тихоня Лешка и Рыжий Шурик. Голос Шурика был, как старый погрузчик, карябающий захватами-клевнями бревна и с визгом и скрежетом перекидывающий их через себя в огромную безликую кучу. Шурик таким был от природы — он как несмазанный экскаватор черпал воздух и звуки и сыпал ими так, что учителя терпеть не могли вызывать его к доске. Так, — значит, они тоже удрали с «Войны и мира». Я замер — может, они идут дальше, вниз, на перекаты, и пройдут мимо избушки и не заглянут на яму, но услышал все же их шаги прямо над собой.

— Привет, — радостно скрипнул сверху Шурик.

— Привет, — вздохнул я и отвязал шест.

— Вот, пришли, — Шурик так громко объявил об этом, что казалось — по воде пойдет рябь, как от когтей, или прямо на воде всплывут эти слова, по букве, от удивления и испуга — как это один человек может напрочь нарушить тишину огромного мира. До меня неожиданно дошло — так они удрали из-за меня. Конечно, они никогда не признаются — но они это сделали ради того, чтобы не оставить меня одного. Леха и Шурик всегда ходят и в лес, и на реку вдвоем, и знают, что это такое — ведь «после Игоря» и «после папика» я остался совсем один. Кому, как не им, лучше всех знать — каково это.

Я чуть не расплакался от чувств, которые вдруг разом хлынули из царапины, оставленной не только Шуркиным голосом, действовавшим не хуже кривого ржавого гвоздя, но и тихого Лешкиного: — Ну, как рыба?

Рыжий везде таскал за собой Тихоню. Тот покорно ходил с ним, хотя при первом же удобном случае — чуть брызнет мелкий дождь, или ветер поднимется, или подморозит — сразу старался смыться домой, поближе в печке и диванчику. Леха был немного подслеповат — однажды напоролся глазом на сучок в лесу и что-то себе повредил, а к врачу не поехал, далеко все же — и на тебе, через несколько недель у него что-то сдвинулось, и он стал плохо видеть, поэтому в паре с Рыжим пришлось ему брать на себя второстепенную работу — подгрести на веслах, или подкапывать червей, при этом так смешно поворачиваясь целым глазом к земле, как птица, почти боком, что всегда казалось — он их ловит на слух, по шуршанию — во, пополз, пополз. Но Шурик никогда не давал Леху в обиду и охранял, вскипая даже от безобидных его прозвищ — чуть кто ненароком скажет Лехе что-то вроде «косой» или «мазила», как он сразу лез в драку.

И вот они пришли меня защищать. От кого? И как они вычислили — где я?

— Что, сетки будем кидать? — оглушительно резанул воздух Шурик.

— Нет, я на зимнюю хочу попробовать.

— На зимнюю? А мы думали — сетки, или к зиме забить загородки для морд...

Шурик переглянулся с Лехой, и тот по-косому ему ухмыльнулся и кивнул, чуть не подмигивая.

— Ну что, мужики, давайте тогда второй плот сделаем, а снасточки у меня есть еще, папкины и Игорехины, как раз... — сказал я, стараясь быть беззаботным.

— Да не надо! Мы вдвоем с тобой ведь поместимся, а Леха пока в избушке расположится, печку растопит, а то скоро вечер, так, Леон? — Шурик шумел надо мной, как вот-вот готовая повалиться сосна с трещиной, которую терзал напором стылый ледяной ветер, так что я уже и вправду забоялся, что беспокойство охватит весь омут, и воду, и течение, и — прощай, покой и рыбалка! Шурик шагнул вниз и почти что сполз ко мне по крутому склону. Плот сильно хлюпнул, когда он шагнул на край и оттолкнулся от берега: — Опа!

Леха неслышно, как ласка, пошуршал по берегу обратно к избушке, которая не была видна с ямы. Он там что-то мурлыкал и чем-то тарактел, но мне было не до него.

Мы привязались с Шуркой к шестам, и я отдал ему Игорехины снасточки. Он, зная прекрасно силу своего голоса, почти шепотом, но все так же, как монеткой по стеклу, выдохнул: — Ни разу не пробовал вот так. Сам додумался?

Но и этого было достаточно, по-моему, чтобы распугать всю оставшуюся еще под нами после всех криков и всплесков рыбу. Я постыдно для опытного таежника приложил палец к губам и жестом показал, что пока не будем ставить плот на прикол, а попробуем половить на ходу. Шурик кивнул и сел спиной ко мне на чурбак. Плот почти полностью был в воде, и приходилось двигаться очень осторожно и почти не дышать. Рыжий с азартом дергал удочкой, толкаясь и сопя, и я с некоторым раздражением показал ему: потише, потише, ведешь удочкой чуть вверх, подрагивая сторожком, и — вновь опускаешь ко дну... но он чихать хотел — он же всегда был главным в паре.

Нас медленно кружило по омуту, и это было очень неудобно — глубина везде разная, пока приловчишься — замаешься впустую. Наконец, Шурка дернулся так, что я чуть не слетел от неожиданности в холодную воду, уже так застудившую все ноги, что, наверное, можно было делать ампутацию без наркоза. Шурке попался ерш, и он, долго ругаясь, снимал его — ершишка заглотил крючок намертво и растопырился по-боевому, не думая сдаваться! — Вот, гад, так ты еще колоться! Харя наглая... Вот чавка, не дай бог такую...

Потом Рыжий упустил пару рыбок, а одну так поддернул вверх, что она шлепнулась между бревен плотика и быстро протиснулась в щель, как сквозь пальцы. И я все больше копил раздражение и не мог при-

выкнуть к его движениям, таким же, как его голос, очень уж резким, и даже уже ждал каждого толчка, заведомо вспыхивая.

Солнце садилось, и по реке потянулся туман, добавивший промозглости и холода. Мы решили встать на шесты и попробовать ловить на одном месте, все еще не сдаваясь и не признавая нашу затею безнадежной. Неожиданно я за что-то зацепился на дне и уже собирался от накопившейся злости рвануть лесочку — пропади все пропадом! — как зацеп сдвинулся и пошел, пошел в сторону. Где-то там, в глубине, села на маленький зимний крючок внушительная рыбина — и как же ее теперь вытаскивать на плот? Я к этому не готовился — если бы дело было летом, я бы запасся подсачком, а тут ведь собирался только попробовать, как зимой, а зимой — знай, бегай у лунки и тащи в прорубь, и всё...

— Рыба... — прошептал я Шурке. Тот мгновенно обернулся и понял, что я вываживаю что-то серьезное, и, не раздумывая, плюхнулся на колени, намочив штаны и рукава ватника, высматривая в глубине рыбину и громко командуя: — Давай, давай!

На мгновение мне стало смешно — Рыжий растопырился и занес над водой свою клешню, такую же цепляющую, как и его голос, как весь он — посмотрел бы он на свою напряженную красную будку со стороны! Куда там ершу или налиму... Я потихоньку выбирал леску, то стравливая, то подтягивая, — наконец, из глубины показался крупный, какого я никогда не видел, какой-то голубовато-черный окунь. Он плескался у борта плота, как будто красуясь, но Шурка цепко схватил его за загривок, как птица, и поднял. — Во! Ну, ты смотри! Во, гад, красавец! Серый какой...

В тумане, в сумраке я уже не стал спорить — зеленый он с полосами, черно-голубой или серый, надо было скорее продолжать ловить, пока клюет. Шурка переместился на мою сторону плота, и мы, забыв все — время, студеной жар воды, раздражение, — стали ловить этих окуней, клевавших очень редко, но так сильно, будто бы их там, под водой, изливали из свинца каждые четверть часа.

— Крупный стандарт идет! — восторженно измерял и ласкал окуней взглядом Шурка, иногда приоткрывая сумку. Мы уже вытащили с десяток на двоих, когда неожиданно над нами что-то зашуршало. Я подумал, что это Лешка, сейчас заведет разговор о том, как хорошо сейчас дома, но вдруг раздался другой голос:

— Мальчики... Вы где?

Это была она, Ленка, ее тихий голос чуть не столкнул меня в воду. Мгновение — и я бы бросился бежать к берегу по воде, но Шурка почувал и схватил меня: — Ну ты, псих!.. Полегче!

Предатели, они пришли втроем, но до поры держали в секрете.

— Ну что, мотаем? — усмехнулся Рыжий и слегка подмигнул — вот гад конопатый, вот будка хамелеонская, провокатор рыжий. Я с усили-

ем кивнул — да бог с ней, с рыбой. Не знаю, что бы сделали на моем месте папик или Игорь, но я лихорадочно все смотал, кое-как побросал в сумку, и мы погребли к берегу, хотя казалось и вправду, что по воде можно было спокойно пройти, разгребая туман, как кусты.

Таковы же и все остальные мои действия — меня рвет на части — бежать, сделать шаг, но там, куда надо шагнуть, — туман и вода, а не земля и твердь: видимо, я так уже приготовился к чему-то другому, что оказался застигнут врасплох. За последние дни папино и Игоревое кладбище стало мне роднее, чем улицы, а пустыня в лесу — более живой, чем наш шумный класс, и вот, все, что я, одичав, выстроил внутри — опрокидывается, и я не знаю — что же делать, ведь все происходит в нами взаправду, совсем не так, как во время школьных походов, когда снисходишь до того, что жаришь на костре ломтик хлеба и моешь руки с мылом и полотенцем — это в лесу-то, в тайге, где одному никогда такая блажь не пришла бы в голову. И этот хлеб, и огромное полотенце, и ненастоящий походный костер, и вытоптанная поляна, дурачества — ведь все это ненавидишь, когда остаешься один, а со всеми — делаешь. Но сейчас-то, вчетвером, это — взаправду, и рыба в сумке ворочается не игрушечная, и тайга кругом, и такая тишина — оглохнуть можно. Но что с этим делать?

Там, в походе, я собрался все же смыться от костра и уйти домой — но на опушку вдруг выскочил горностаи и приблизился так, что пожалуй, можно было попытаться поймать его руками. Я успокоился и думал, что это знак — кто-то целует мои намерения и говорит: потерпи ты эту бестолковщину, знаем, что это в тягость, но ради всех. Теперь же я думаю, что это все же был другой знак — уйти, это царственное достоинство. Уйти — надо иметь право, и жить тогда совсем другой жизнью и никогда больше не возвращаться в оставленный круг.

Мы подплыли к берегу. Рыжий берет сумку, я поддернул плот на мель, взбираюсь по склону, по крутому песку, который тихо везет обратно, не дает взойти, она тянет руку — Рыжему, мне, Рыжий цепляется, потом я, у нее все ладони в песке, если существуют ангелы, то они как-то ограничены в пространстве, имеют какие-то размеры, наверное, сопоставимые с человеком, или чуть побольше, менее влажные и свинцовые, мы для них как топляки, как свинцовые темно-серые окуни, их действия там, на плоту, трогают нас, наши души, мы вторгаемся в мир, где до этого были и папик, и Игорь, и кто знает, правильно ли мы действуем, правильно ли торчат наши ершины пиратские колючки, или так нельзя, и мы живем и дышим только благодатью чуду, и не проваливаемся, потому что нас несет не земля и вода, но их, ставшие невидимыми, руки хватают нас, подбадривают, хоть мы и мечемся и упираемся, уже пойманные на невидимую леску, всплывающие вверх против тяжести в груди, во всяком случае мы осторожны, не брыкаемся,

задыхаясь, — у нас есть свечка, Лешка приготовил поесть, не домашнее, а настоящее, лесное, привычную пустынную похлебку, для меня — привычную, для нее — не знаю, у нас есть тоже пространство, место — столик, нары, скамейка, сама избушка, в которую иногда набивалось вместе со мной и папиком столько народу, что приходилось лежать везде, на столе, на полу, между ножками стола и нар, но сейчас нас осталось гораздо меньше, и наши действия свободны, осторожны и ленивы — мы здесь не собираемся что-то поймать, или не движемся дальше, мы вернулись в какое-то естественное для нас состояние отсутствия воды и воздуха — не все, но те, кого вместили сюда, кто повелся на заботу, любовь и слезы, которые, у меня по крайней мере, — наготове, кто запал и клюнул на состояние радости. Но мы не вернулись — невозможно вернуться, упасть туда, откуда нельзя вернуться, быть пойманным и выскользнуть самому сквозь щель — невозможно, мы не могли вернуться, но приняли подарок возвращения из чьих-то рук — и сидим вместе, болтаем, смеемся, тихо качаются бревна избушки, и сквозь щелки проступает то, что вокруг, сверху, везде, — она тихо плывет по течению в тумане, в который нельзя выходить, и я не знаю — можно ли любить ее, или быть переполненным чем-то, тягой к ней — это преступление и движение ко дну с этой тяжестью, от которой надо отстраниться, неправильной тяжести в неправильном мире, скомканном жестким голосом Шурика в бумажный комок, или как пирог, ломтиями нарезаемый непараллельным янычарски кривым взглядом Лехи, или тонущем из-за невероятной легкости или тяжести того, что они есть в этой ямке-избушке, в центре ее, — ее сотворенном средоточии, самый крупный стандарт, одного возраста, одного размера, одного незыблемого порядка: поели, можно и поспать, пора гасить свет, нельзя так роскошно тратить свечу, у стенки — Рыжий, там дует, и значит, он должен быть там, рядом — Леха, ведь они же одно целое, напарники и связчики, и всем ясно, что Леха — это пушок, смешок, легкая, никого не царапающая домашняя паутина, дальше, за ним, рядом, но через пропасть — черный охотничий матрас, единственный в избушке, и черный же ватник вместо подушки, это — для нее, для белого зверька с черным, обмакнутым в черное, кончиком хвоста, знаком царственного достоинства и недоступности, или для того, кого она является знаком, но дальше, за матрацем, на краю — должен быть я, чтобы не дуло с той стороны, значит — я там, черный, зеленый, невидимый, спрятавший все колючки. Все мы лежим, что-то травим, смеемся над «Войной и миром», стараясь никого никаким образом не коснуться в темноте, но скоро Леха, как обычно, приваливается спиной к спине Рыжего, и уже сонно зевает, будто он и в самом деле на рыбалке, в избушке, у тихо шипящей печки, а я-то, а мы-то?

Вот так и умирают — лишившись дыхания, лишившись памяти — как дышать и двигаться, как говорить, молчать, ждать милости и гото-

виться отвернуться от нее. Как от воды, по которой легкий ветерок чертит пальцем, и кажется, будто под самой поверхностью кто-то плывет и приближается, кого на самом деле нет, не может быть, как нет ничего вокруг — пусть снаружи что-то шумит, это только обман, что где-то шуршит белая, без всяких пятен, ласочка, ухает филин, и ему отвечает другой, это только обозначение мира, мы молчим, что-то шуршит — ее рука у моей щеки, и на нее одна за другой сваливаются мои слезы, не нарочные, а те, что вызваны этим прикосновением — все же что-то откликнулось в глубине от этого чертящего пальца, все же там что-то есть, под поверхностью воды, в тумане, там, куда нельзя идти и нет смысла, там, где все очерчено в темном пространстве без течений и границ.

Повторюсь — душа моя, просеивая сквозь жабры всякую муть, искала движений и слов, роясь во всякой доступной мне куче книг — будь то отливающие тиной тома Достоевского или какая-нибудь пестренькая китайская поэзия, эпохи Тан, или Сун, или Там-сям... То, что нам давали в школе, — проскакивало и просеивалось с каким-то отвращением, и Гамлет, и Ромео и Джульетта, тем более неперевариваемый Толстой — его глотаешь кусками, наспех, и так же выплевываешь — несъедобен, ни тебе Меркуцио, ни тебе сухого китайского листа в виде бабочки, ничего, одна мутная война и мутный мир. Однажды Игорь принес Евангелие — и я честно прочитал за ночь, и с удивлением обнаружил, что все так просто, и распылено по книгам, по миру, по страстям и действиям, что показалось — вовсе ничего тут такого, и — оставил на потом. Погружаясь в какую-нибудь книжку попроще, например, в Достоевского, все-таки не хватало воздуха, хотелось всплыть, но интересно было потрогать то, что лежит на дне, — ощутить помятость лиц, щетину бугроватых подбородков, хотелось тыкнуться, пошуршать подкладкой ставрогинского камзольчика, пощупать его граненый носик, который, казалось, вдлан в его лицо, как камень в оправу, провести по бледной щеке Лизы, услышать запах комнаты Сони... С остальными, Гоголем, Чеховым — было по-другому, там не хотелось проверять, надо было уворачиваться, и от скуки и от смеха одновременно, как от летящих снежков. У китайцев, тоже сосланных в поселковую библиотеку, было много тихой пресной тоски, отцветшей и осенней, которая может быть и была их основной ценностью, но не давала ничего — мир вокруг для них был слишком живой, и надо было чуть-чуть ослепить себя, сделать маленькое хакари, чтобы породниться с ними, и к тому же они не видели ее, запрещали смотреть в ее сторону, а я — смотрел и видел. Они не замечали и не принимали в счет ее движений, а я принимал, и какая-нибудь простенькая «Капитанская дочка» разбивала их отточенные тысячелетние эпохи слез и тоски, и все их цветущие вишни.

Я не мог пошевелиться и сделать какое-нибудь движение, и заснул, утомленный страшным напряжением всех сил — у меня не оказалось слов, чтобы описать то, что было со мной ночью, и с ней, с ее рукой — неоткуда взять эти слова, ни в одной книге, никогда я их не слышал, а внутри у меня было тихо, оттого, что впервые чудо продолжалось не миг, не мгновение, но, начавшись вечером — перешло в ночь. И это чудо было необъяснимо и непонятно, иначе оно и не было бы тайной. Моя душа была спокойна, как после смерти, и подвижна, как переполненная жизнью птица. Я слишком хорошо знаю, как обозвать это все, и искривить и испортить, засушить, оборвать — во всех книгах тьма рецептов и правил, завлечушек и идей, ради которых они написаны, — дойдешь до такого места и говоришь, вот началось, и невольно запоминаешь про запас, будто собираешься воевать со всеми и ловить всех, и владеть всем, что будет падать сверху, что будет знаком любви, когда сам обратно войдешь в мирное течение смерти.

Крылья молитвы

Когда я проснулся, было уже светло. Мы были вдвоем в избушке. Ленка спала, безмятежно уткнувшись в кисло пахнущую влажную фуфайку, подтянув чуть ли не до подбородка колени, — холод сквозил от неплотно прикрытой двери. Шурка и Леха, видно, встали еще затемно и, слишком осторожничая, не стали шуметь и подкидывать дров в печку, даже дверцу едва затворили, тоже мне друзья-таежники, будто все правила изменились из-за нее. Будто теперь все дозволено, все мы поодиночке — вот что означает ее появление: начинаешь жить ее жизнью, будто она какая-то особенная.

Я осторожно потянулся — всю ночь пролежал в одном положении, и тело затекло — и прислушался: на улице что-то происходило, кто-то топтал по тропинке, приближаясь и невнятно вскрикивая. Я чего-то испугался и выскользнул на улицу — навстречу бежали Рыжий с Тихим:

— Там, там, еще один упал!..

Ничего не понимаю — где там, кто упал, и вдруг увидел сам — на том берегу, в лесочке — точно, возится, копошится, сматывает парашют — опять началось! — после всего, после взрывающихся самолетов и падающих в бездну тепловозов, опять здесь, в голом, обобранном лесу, после ночи, что я вижу и слышу? Что мы все видим и слышим, вряд ли кто может оценить:

— Люблю глаза твои, мой друг!.. Ах, гад, сукин сын, лежать — кому говорят! С игрой их пламенно-чудесной... Куда! Куда ты тянешься, сынок!.. Ты, детоубийца!.. — и так далее. Кто-то совершенно серьезно воевал с парашютным полотном, будто в одиночку скручивая демона.

— Еще один?! — воскликнули мы с ужасом, одновременно оценив все последние подарки с неба.

— Может, это еще с того раза — ползет, как Маресьев, а?.. — тихо предположил Рыжий, но мы закивали головами — вроде тогда всех нашли и пересчитали, да и где это было — в другой стороне. Да и этот вроде только упал, не так изможден, стоит на ногах и очень даже активно ругается — так себя ведут горожане в лесу, думая что они одни, или, на худой конец, чего конечно не может быть — шпионы... Да ну, какие шпионы... По голому лесочку свободно гулял утренний ветерок, и мужик, ползавший по полотнищу, пытался усмирить задирающиеся углы:

— Когда их приподымеешь вдруг! Во-во... Приподыми только, приподыми, попробуй — поверти, поверти еще жопой, задери юбку, попробуй... И словно молнией небесной... — мужик выражался по-всякому, перескакивая с женского рода на мужской, будто перед ним было многоликое чудовище, гермафродит, многообразно мучивший его:

— Тоже мне, Нобелевский лауреат, повыступай, повыступай, попа с ручкой, поведай нам, как жить... Тоже мне, шишка обрезанная, Ясер, блин, Арафат, Сирано, блин, де Бержерак, Абдель Насер, ай эм вроут эбаут... — пластал он плотно парашюта, будто изготовляя куклу или мумию, обернутую стропами и всяким мусором. — Что, комментатор ближневосточный, заткнули мы тебе вроут эбаут... Что скажешь, чушпан? То-то, танки наши быстры!..

Вроде наш, русский, пожалуй, даже и не разведчик, а так, с неба упал, может, и повредился малость, пока падал, но — обычный мужик...

— Эй, пацаны!.. — неожиданно крикнул он, увидев нас — мы от страха присели, но трава уже полегла, да к тому же вокруг избушки все было повытоптано, так что не спрячешься. — Эй, это я вам! Лодка есть?

— Нет, только плот, — первым опомнился Рыжий.

— Ну, давайте сюда!

Мы пошептались, поталкивая друг друга вперед — давай ты, че я-то... Наконец, решили — если что, я поплыву, а они разными дорогами отходят с Ленкой домой, в поселок, там и сообщат.

— Ну, что, рыбка есть? Во? — развел руками мужик на берегу, пока я подплывал.

— Да так себе... — я старался выглядеть безразлично.

— Выдержит? — мужик с сомнением пощупал наш податливый плот одной ногой.

— Не знаю.

— Глубоко тут?

— Да метра два с половиной.

— Ну, ладно. Ох, Господи, ну я и попа-а-ал... — мужик говорил совсем по-другому, не так, как раньше — видимо, сам смущаясь, что плел один на один сам с собой.

— Да вы кто? — все же полюбопытствовал я.

— Я-то? Да вот — связался на свою голову, надоело в городе. По профессии я геолог, а завербовался к ним, — и он показал небрежно вверх, на небо. — Просеки подновлять, по договору. Вот меня и выбросили. Видел когда-нибудь, как это делают?

Я признался, что ни разу не видел, вообще думал, что просеки — дело лесников или, не знаю, кого-то из лесных начальников...

— Во, вот и я так думал! Ни разу не видел никого, кто бы ими занимался, а оказывается — просто нанимают таких, как я, и скидывают с парашютом. Я, дурак, согласился, сказали — не бойся, мы тебя высадим, а ты же геолог, с компасом и картой не пропадешь. Авансик выдали, но, правда, мы его тут же конвертировали. Я и не помню, как в воздух поднялись, думаю, будут показывать сверху, объяснять, потом месяца через два дадут машину, напарника, и мы спокойно отстреляемся. А тут — напялили на меня этот ковер персидский, кольцо в руки — и пошел!.. Я даже схватиться ни за что не успел, только инструктора за руку держу, а он мне в лицо орет — ты знаешь, сколько один вылет стоит!.. Парашют сдашь под расписку!.. Я сразу пальцы разжал, чтобы он мне еще чего не насчитал... Хорошо, что на вас попал. У вас тут какая деревня?

— У нас поселок.

— Ну, без разницы! Магазин, телефон — есть?

— Есть. Только рано еще. Хотя, пока дойдете — откроется.

— Вот и ладно. Будем знакомы — зовут меня просто и старомодно — Степан Тимофеевич, но не Разин, и не дядя Степа, длиной не вышел...

Пока он болтал, одновременно прикуривая папиросу и подбрасывая на плече парашют, выглядевший действительно как свистнутый из музея ковер, я перевез его на наш берег. Он церемонился с нами по-городскому — каждому сунул руку и каждому представился отдельно. Руки и вправду у него слегка дрожали — то ли еще не пережил остатки страха, то ли по другой причине — может, и в самом деле, даже не похмелили, а так и выкинули в утренний туман человека, и он долго летел к земле и трезвел, думая, что оказался вообще один. Дед мой рассказывал мне, как их так же в войну однажды выкинули с десантом, толком ничего не объясняя, всех впервые — и каждый, дернув кольцо, думал, что он оказался один в бесконечном пустом пространстве. И пели, и матерились, и хохотали — на тех, кто уже приземлился, лился сверху такой дикий рев и мат, что казалось — после небесного сражения падают ангелы, наши, русские, подбитые демонами, превращаясь от ран в людей.

— Давайте-ка чайку, — распорядился я, не имея, правда, на это никакого права, здесь всегда все равны, — но Шурка и Лешка легко подчинились и быстренько занялись костром. Я на миг заглянул в избушку — Ленка все безмятежно спала, как маленькая. Пока я плавал, кто-то успел укрыть ее ватником, видно, не добудившись — она спала сегодня ночью или нет?

— На что мы ловим? — спросил мужичонка, осматривая наши снасточки. Обычно я никогда с первого раза не запоминаю, как зовут незнакомого человека, и, как правило, попадаю в конфуз — называю приблизительно Антона Александром, Бориса каким-нибудь Модестом... Обычно я молчу, но тут я запомнил просто — мужичка зовут как моего деда, Степаном Тимофеевичем, очень удобно, не надо гадать и мяться. Я с подробностями рассказал ему о вчерашней ловле, предложил попробовать выйти на яму, пока будет готов чай, но он отказался — надо спешить в поселок, звонить в отряд, что у него все нормально, оставить парашют под расписку в администрации — ребята приедут, заберут, а самому — в лес, по просекам и визиркам, юг, север, запад, восток...

— Пойти умыться... — он, наверное, нарочно пошел к реке, давая нам время посовещаться. Мы присели вокруг костра, переглянулись, вроде ничего страшного, и, наконец, порешили: Шурик с Лешкой идут, а мы остаемся, ведь идти всем вместе — смешно, детский сад. Не идти тоже нельзя. Одного кого-то пускать — стремно как-то, а так, двое на двое, — в самый раз.

— Ну, решили так решили, — я не стал сопротивляться, и опять чуть забрал власти. — Идите, только заверните к моим, что да как объясните, чтоб не беспокоились. Мы к вечеру тоже будем, пойдем нижней дорогой, если что. Не бросать же рыбалку... Да, рыбу...

Шурка, как старший в паре, кивнул и отошел от костра. Его все это веселило и тревожило — и мы, и какой-то чудик с неба... Но тем не менее он пошел и аккуратно сложил в Лешкин вещмешок половину всей рыбы — это даже не обсуждается: сколько рыбаков, на столько и надо делить: их двое, нас двое.

Странно, как только они скрылись за поворотом, как только стал удаляться терпкий и жесткий Шуркин хриплый смех — навалилась тоска, будто до этого мы жили, резвились, кувыркались, как блики в драгоценном камне — солнце, туман, жар, осенний холод, брызги воды и упругое биение рыбы — все грани вдруг разбились, рассыпались, распались связи, что-то случилось и остановилось волшебство. Хотя, казалось бы, все должно было быть по-другому — ведь мы, наконец-то, остались вдвоем, но это было неправильно: тоска, тоска-подруга, короткая китайская строчка в стихотворении закружилась вокруг сердца, стала мотать какой-то клубок, опутывать движения мелкой китайской сеткой — то, что я так разумно разложил, почему именно мы должны остаться, а они идти с этим непутевым Степаном, и насчет рыбы — все было слишком правильно, и я слишком быстро попался в эту правдочку, не ощутив какой-то меры, и это меня неожиданно стало смущать. Я вдруг стал беспомощен, вдруг оказалось, что без того, что она сделает или нет, из всех моих

действий косточка вынута — они неполноценны, лишены опоры, неуклюжи, слишком всеобща — а значит, не мои, а чьи-то.

Нас, поселковых, почти никогда не баловали — и всегда мы знали меру общности, что жизнь — это не картинка в учебнике, «вот качусь я в санках», что носить воду, колоть дрова, помогать с сеном, с огородом — это то, на что мы жалуемся, плюем, чихаем, от чего на словах отрекаемся, но оставшись каждый один дома — делаем без тычков и напоминаний, запросто, легко и свободно, стремясь сделать хорошо и быстро, или хотя бы сделать вид, чтобы вырваться в лес или на реку. Это было общее, что любить было нельзя, но с чем надо было сталкиваться каждый день, чтобы не затупиться, — что приблизительно одинаково выточило наши тела и мысли, дало им силу и твердость, как бы мы на словах ни презирали и ни циркали на свое будущее, навек связанное с каждодневной несвободой, будто затхлость в картофельной яме, в которой произойти ничего не может. Мы были единым телом, а не тем, что нам навязывали исподволь — не шестеренками и винтиками. И у этого тела были свои правила, которые были везде и во всем: был ли ты в лесу один, или нет. Если мы здесь задержимся хоть чуть-чуть дольше, чем установлено этой мерой, — то завтра нас не станет, даже не потому, что поднимут на смех и введут в краску, — нет, просто перейти меру — это смешать рамки и границы, невидимые, но живые, а значит — и дерзновение, и право быть другими... И она — знак этого права, и знак отчуждения...

В общем-то, это все чепуха: кому до этого дело, что мы тут говорим сами себе, что мы чувствуем, как пишем сочинения, где скрываемся — в лесу, в поселке, где уж и собак-то не осталось? Кому есть дело до того, что мы тут ловим рыбу, или сидим в избушке и смотрим друг на друга?

Вот именно, разве что ангелам... Людей, тем более взрослых, сцепленных и связанных друг с другом в какое-то другое, похмельно-мычащее и бьющее себя в грудь тело, — в расчет брать нельзя. Они договорились пичкать нас молочком, а сами потихоньку, без царя в голове, в мыслях, а потом и наяву, вешают на шею цепочку? Деньги, выпивка, анекдоты, бабы, карты, а вам деточки, сдача — Достоевский, мусор вынести, посуду сдать...

И что я взъелся? Несет и несет, и не знаю, как остановиться, — вот нужно это тебе, ангелам твоим или демонам, которые так и ждут, когда же ты спустишься на землю — и давай фашистов из автомата фигачить!.. Но пока летишь — это не так уж мало, не так уж плохо, что ты не такой, как в анекдоте возвращающийся муж, как голубь сизокрылый в бане, как гладкий молодец—соленый огурец в телевизионной мути, во всей психованной помойке, наступающей на тайгу...

— Ну что, пора? — дверь избушки отворилась, и вышла она. — Шурик, Лешик ушли? Вот предатели...

— Да, только что, вон, слышишь — Рыжего-то еще далеко будет слышно.

— Он такой удивительный! По поселку идет, сразу весело на душе, издалека узнаешь.

— Правда? — я с тупой ревностью посмотрел на нее, как собственник какой-то. Не хватало еще начать ревновать ко всему, что есть, даже к голосу Рыжего, как пилой пропиливавшего с жиканьем путь в тайге. Еще к чему ревновать — к реке, к тайге, к жизни? Ко всему миру, к тому, что было или будет, к самому времени?

Я не очень-то в этом разбираюсь, по геометрии у меня не больше четверки, но мне кажется, что для всего невидимого, для демонов или ангелов существует время, но идет как-то медленнее — и они могли бы многому нас научить, но по моей темноте и тупости — это происходит лишь вспышками, мгновениями, а я бы хотел мгновения растянуть на всю жизнь. Хотя так, пожалуй, совсем не бывает, и наверное, неинтересно: например, сидишь на яме и везде — прорва рыбы, и куда бы ты ни окунал блесну — ее сразу хватает здоровенный окунище или хариус. Это была бы не жизнь, и не рыбалка, а так, работа по выниманию рыбы или по бесконечному вдоху и выдоху. Так и со всем остальным, с друзьями и с ней — ценишь то, чего мало, и невозможно понять, когда неожиданно это все тянется и тянется, и падаешь, и падаешь, и не можешь упасть: ее рука опять скользит по щеке, затем касается пальцев, сжимает их сильно, мы с ней спускаемся к реке, и не можем спуститься, подходим к плоту, а песок за нами все шуршит и осыпается, и я не знаю, как мы отплываем и отталкиваемся, потому что мы не можем этого сделать, как в задачке про Ахиллеса и черепаху — он бежит за ней, а она за это время успевает продвинуться чуть дальше: также и мы, только я сделаю какое-то движение навстречу, а там уже пусто: она чуть повернулась, изменилась, потому что я поворачивался к той, что смотрела еще не смеясь, а эта уже улыбается и вокруг глаз лучатся морщинки, к которым я еще мгновение назад не мог потянуться, потому что их не было, хотя мы и немного сблизимся — это тоже чувствуется, острее становится то неподвижное и невидимое, как гора, как облако над каждым человеком, за которым — стоит только не уследить один миг, одно мгновенье, моргнуть ресницами, отвлечься, и между нами может оказаться не твердь, но вода...

Что значит быть мужчиной? Все, я дошел до ручки — что значит быть мужчиной?

— Червяка как надевать, вот так? — она склоняется над самой водой, вправду целясь крючком блесёнки в червяка. — Поможешь мне или будешь стоять?

Тупейшее чудо размышлений и видимости, алмазный шарик, катящийся к краю, одновременная радость и тоска от ее движений и слов,

и радость и боль и смерть — выбирай что-то одно, чему ты хочешь научиться...

* * *

Я так и не смог научиться любви, зато я немного научился молиться. Прося о ней, приближаясь к ней каждый раз по-новому, не так, как подсказывали все книги и инструкции. Падая, в тишине, один — я неругался, как Тимофеич, а только шептал простые слова, надеясь, что ноги мои коснутся земли, на которой будет ясно видно — где она, та, что отличает слова от обозначений, полет от падения, дорогу от пути, мою жизнь от тупой беспорядочности, которая была до нее. Не давая мне умереть и неприятная своей необходимостью — а как тогда лететь, как умирать, превращаясь в направление, в юг, в север, — она была просветом, пропастью, и целью, и зависело от направления — как называть, визирка или просека. Я сам стал человеком с кучей вещей, падающим с неба все с той же серьезностью, что и в пятнадцать лет, и приближаясь к любви в тех же словах, с тем же восторгом и страхом, но зная, что она-то как раз тверже воды и прочней мира, все же обмирал и застывал.

Однажды она нашла меня в отряде. Она просто постучалась к нам в комнату. Тимофеич болел после вчерашнего и смотрел новости, а я просто лежал на кровати.

— К вам можно? — вошла она в комнату с кучей вещей и с теликом, воткнутым в розетку: он включался утром, когда просыпался дежурный по отряду и давал свет, и выключался за полночь, с отбоем. Я привык даже к нему, хотя и с облегчением избегал его загрузочного назойливого жужжания, когда летел на работу.

Тимофеич никак не отреагировал, не восчувствовал минуты, и нам пришлось выйти на общую кухню. Она присела к столику: — Я живу под Москвой. У меня двое детей, муж. А ты как живешь?

Она улыбнулась, и я увидел лучики вокруг глаз — те же, что были тогда, когда остановилось время и сердце: все осталось на месте, и я, как тогда, не знал — что же с этим делать и что происходит — мы изменяемся, но все остановилось, мы падаем, но что-то держит нас, мы ни на что не опираемся и идем друг к другу, мы любим и молчим.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

По мотивам картин московских художников

Давай сегодня мы с тобой пойдем
Туда, где лес в брусчатку заковали;
Туда, где под невидимым дождем
Чудные люди машут рукавами.
Вон там в углу, вот этот вот с метлой
Не видит, что листва над ним, как птица.
Наверное, он все-таки не злой.
Он только посмотреть наверх боится.
Дом по-кошачьи вскинуться готов.
Густую тучу кисточкой взболтали.
Прогуливают сказочных котов
Прохожие под черными зонтами.
Тыходишь в холст. К метле уже прилип
Сырой комочек твоего окурка.
Твоих намокших туфель замер скрип.
Ты — маленькая тонкая фигурка.
Ты быстро шел, ты шел не налегке.
Был жест чуть нарочито неуклюжим.
Ты проносил в приподнятой руке
Лепешку и кефир — свой поздний ужин.
Вокруг тебя, накрашены пестро,
Кружились краски разные, сливались.
А волосы, как черное перо.
И губы сжатые не раскрывались.
До странности ты мне казался нов.
И был ты в чем-то синем ярком чистом.
Твоя рубашка без полутонов
Закрашена была примитивистом.

**Фаина
ГРИМБЕРГ**

— родилась в г. Акмолинске (Казахстан). Окончила филологический факультет Ташкентского университета. Автор нескольких книг стихов и прозы, статей, а также переводов с немецкого, английского и болгарского языков. Живет в Москве.

Перечеркнула темное окно
Доска крестообразная косая.
И с чернотой подъездов заодно —
Твой черный голос, тонко повисая.
Глаза, продолговаты и черны,
С листвою соотнеслись, темно блестящей.
Качались в речке тонкие челны.
Деревья рассыпались звездной чашей.
Широкий резкий взмах твоей руки
Вдоль тела, чуть клонящегося набок.
Между домами четкими легки
Косынки хитроватых бледных бабок.
В горшках на подоконниках цветы.
Вросло в брусчатку дерево живое.
Вы вместе, вы вдвоем — оно и ты.
Вас, тянущихся вверх, здесь только двое.
Прижмусь к стене, тетрадку теребя.
Ночь светлая листвою зашелестела.
Древесный ствол вживается в тебя.
Вздыхают два больших горячих тела.
Ты водишь по листве большой рукой.
Ты обнял ствол. Я — тень глухонемая —
Смотрю, как дышишь ты, большой такой;
Молчу, тетрадку к сердцу прижимая.
Ты больше никуда не уходи.
Не прячься за деревья, бога ради.
Такой как есть живи в моей груди.
До неба прорастай в моей тетради.
В конце стихотворенья нужен дом.
Пусть человек с метелкой не боится.
Пусть дышит на плече моем худом
Твоей ладони маленькая птица.

* * *

И пахнет хлорной известью, и снова
Разнесся чей-то крик по этажу.
И не дождавшись от тебя ни слова,
На подоконник сверток положу.
Пусть будет у меня одна забота:
Смочить больную сухость этих губ.
И банку я возьму из-под компота
И ложкой зачерпну куриный суп.

И над лицом твоим склоняюсь низко
И повторяю: «Что с тобой? Тоска?»...
Цела твоя последняя записка —
Неровный клочок тетрадного листка...
Иссушенную тоненькую ногу
Ты высунула из-под простыни...
Ты ешь и не плюешься, слава богу...
Ко мне хоть раз ладони протяни...
Как это было тяжело сначала.
Как я входила в кабинет к врачу.
Как ты рвалась ко мне и дверь стучала,
Писала на листках «домой хочу!»...
Без слез тебя оглядываю храбро:
Затылок бритый по-цыплячьи гол.
И спрашиваю нянечку, где швабра.
И молча, неуклюже мою пол...
Есть безысходность, нет мечты о чуде.
Есть мука...

Обопрись... Теперь привстань...
Отвисшие неразвитые груди,
И ребра — сквозь застиранную ткань.
И на рубашке сгустком черной краски
Размазана больничная печать.
У ворота болтаются завязки...
А мне от муки хочется кричать...
И я глотаю муку эту злую.
Меня глаза чужих, здоровых злят.
И впадинку ключичную целую.
И вижу твой, уже привычный взгляд;
И рот раскрытый, жалобно гудящий;
И ножку с этой худенькой стопой;
И снова этот взгляд, в себя глядящий,
И кротко-иронически-тупой...
И ты лежишь...

Дам яблоко — ты бросишь...
Я подоткну простынные края...
Ты для письма давно листков не просишь.
И значит, виновата только я...
И только я...

И снова закричали...
И значит, мало я тебе дала
Своей судьбы, и боли, и печали,
И радости, и мягкого тепла...

И что осталось?.. Как же мне стараться?
Дурные мысли... Прогоню их прочь...
И где, с какими силами собраться?..
И чем же я могу тебе помочь?..
Кормлю тебя упорно и сурово —
Куриные котлетки, рыбий жир...
Смешно...

Ведь чтобы ты была здорова,
Всего-то надо — переделать мир.

СГОВОР

Повесть

Посвящается бунтарям

Глушков укрывался в длинном пустующем складе. У деревянного строения отсутствовали обе торцовые стены, и сырой ветер океана насквозь продувал его, как огромную трубу.

К исходу вторых суток Глушков стал думать, что мог бы легко убить себя, и он несколько раз примерял смерть к своему утомленному съезженному естеству, поднося холодный ствол автомата к сухому горячему рту или ко лбу, или упирая его в грудь, вдавливая стальное жерлышко глубоко в свалявшиеся ворсинки шинельки. При этих репетициях он не чувствовал ни страха, ни омерзения, которые могли бы отрезвить его, он будто опьянел от близости и простоты смерти — стоило легко надавить пальцем на чуть загнутую железку, чтобы вступить в некие двери или, точнее, не в двери, а в темный неровный провал в каменной стене, в пещеру, которая смутно маячила в его воображении. И если что-то удерживало его, то лишь призрачная шемящая надежда на что-нибудь фантастичное, способное выхватить его из ямы отчаяния, куда он свалился.

Приближался вечер, и два небесных треугольника с торцов склада, полные низких обложных облаков, незаметно меркли. Время от времени дождь колотил по рубероидной крыше. На сером облачном фоне и появилась фигура коренастого человека, который в потемках ничего вначале не мог различить и, продвигаясь по складу, слепо озирался по сторонам. Глушков почему-то подумал, что человек ищет его, беглого солдата, и плотнее прижался к дощатой стене, прячась за толстым опорным бревном. В складе недавно хранилась сухая морская водоросль, похожая на древесный лишайник, ее не успели вывезти всю, и Глушков сидел на высокой куче этой колючей водоросли, источающей запах фельдшерского кабинета, и старался не шелохнуться.

А человек, внезапно вторгшийся в пристанище дезертира, неспешно шел в сумеречном пространстве, широко ставя ноги, словно боялся споткнуться. И по мере его приближения Глушков, всего минутой раньше готовый убить себя, теперь чувствовал безотчетный страх перед

**Александр
КУЗНЕЦОВ**

— родился в 1963 году в Туле. Окончил факультет журналистики МГУ. Работает в редакции газеты «Тульские известия». Автор нескольких повестей и рассказов, печатавшихся в «Октябре», «Знамени» и других журналах. Живет в Туле.

безоружным. Он ждал, что неизвестный, поравнявшись с ним, повернет свое скуластое серое лицо в его сторону и остановит на нем холодный пристальный взгляд. Тогда дезертир машинально спрятал автомат в хрустящие водоросли, а неизвестный, и правда шурясь, посмотрел в направлении этого звука, в почти непроглядную темноту, продолжая идти дальше, но ничего не заметил, подумав, наверное, что сильный сквозняк шуршит чем-то.

Человек этот был обыкновенным жителем прибрежного рыбацкого поселка, подобравшимся к пенсионному возрасту, бывшим бригадиром рыбаков, по фамилии Скосов. В этот насквозь отсыревший вечер он всего лишь искал корову, которая вовремя не пришла домой с вольного пастбища. И Скосов решил, что животное, может быть, забрело от дождя в пустой склад.

Ничего этого солдат не мог знать, но стоило ему увидеть задумчивое лицо неизвестного, на голове которого была простая вязаная спортивная шапочка с большим помпоном, а на плечах мокрая брезентовая куртка, Глушков почувствовал, что может окликнуть его — вот так просто окликнуть, и ничего страшного из этого не выйдет. Наверное, еле уловимый знак, движение, поворот головы, взгляд погруженных в какие-то свои думы глаз сделали неизвестного неопасным и понятным.

Скосов, бродивший этим вечером в поисках коровы, уже несколько дней чувствовал глубокую душевную подавленность, которая, как он теперь понимал, копилась в нем многие и многие годы и только загонялась вглубь, отчего еще больше раздувалась. Да вот взяла и вылилась самоедской гнетущей мыслью, философской убежденностью, что, оказывается, существование его в маленьком тесном мире было подобно существованию совершенно никчемного, лишнего элемента, молекулы, которая обязана бесследно уйти в геологические отложения, словно он незаметно для себя уже давно пережил тот самый момент, после которого человеку не нужно больше есть, спать, дышать, думать, говорить — все это стало для него бесплодным, напрасным. Было у Скосова хозяйство: плодились, тучнели, наливались мясистым соком коровы и свиньи, набухали картофельные клубни в грядках, кудахтали куры; и все это молоко, навоз, яйца, сено, мясо, овощи, окорока — все это находилось в непрерывном обжорном круговороте. Была жена, и был сын, выросший и уехавший на материк добывать себе счастье инженерной карьерой. И сын давно уже оброс собственным бытом, завел свою семью и пристроился на успешную должность в какой-то фирме. Скосов, думая об этом, испытывал законную гордость, смешанную все-таки с недоумением: его сын — самостоятельный мужик. И он только совсем недавно стал приходить к выводу, что все это — и хозяйство, и семья — увели его от чего-то главного, и он, оказывается, посвятил себя всего-то банальной природной необходимости, шествию на поводу у

незамысловатых инстинктов, которые заставляют человека, как и самого последнего барана на земле, питаться и размножаться. *Не так нужно было жизнь прожить, не накручивая хвосты коровам, профуфыкал я жизнь...* — что-то похожее думалось-чувствовалось им. — *А как-то нужно было иначе.* И ведь душа его, мерещилось ему, в течение всех отведенных ей лет жила неясной мечтой, похороненной теперь под грудой житейских мелочей в темных глубинах памяти, и раскапывать эту грудку, срывать пласты Скосов уже не мог, просто боялся.

Все это решилось, обрело словесность в нем как-то разом, в один день. Он в этот день получил телеграмму, которая и вызвала смятение в его душе. В ней не было ничего трагичного, напротив, в телеграмме сообщалось о рождении внука, которого сам он, новоиспеченный дед, давно желал и ждал.

И все это было для Глушкова тайной. Но когда неизвестный поравнялся с ним и прошел мимо, когда стала видна широкая удаляющаяся спина, Глушков со страхом, что сейчас упустит свой последний шанс, сказал вдогонку, пытаясь все-таки придать голосу развязности:

— Попросить можно? — однако получилось вовсе не развязно, а именно жалобно и просительно, испуганно.

Человек, услышав разнесшийся по складу жалобный всхлип, остановился, и Глушков увидел его лицо, на котором промелькнули и растерянность, и любопытство; он еще не увидел солдата, но успел собрать свои чувства в кулак и ответил голосом совсем не растерянным и не любопытным, а скорее неприятязательно-равнодушным, в котором сквозила надменность человека, привыкшего вести себя независимо и, может быть, даже вызывающе с людьми любого ранга:

— Ну попроси.

Глушков уже проворно выбирался из своего укрытия, хлюпал носом и торопился, торопился выговорить какие-нибудь слова, боясь, что человек не станет ждать его, развернется и уйдет:

— Вы извините... Я хотел, спросить хотел... Вы извините. Закурить... У вас закурить... — Хотя он и не курил вовсе и тем более не смог бы закурить сейчас, после нескольких голодных дней.

И Скосов теперь увидел, что к нему спешит высокий тощий солдатик в огромной обвислой на полудетских плечах шинели, в бесформенной кепке, надвинутой до ушей. И казалось чудом, что тело солдатика не подламывалось под тяжестью шинели, которую ему наверняка всучил в обмен на новенькую какой-нибудь готовящийся к отбытию «дембель».

— Закури, конечно, сынок, — неизвестный ухмыльнулся, извлекая из внутреннего кармана мятую пачку «Примы», аккуратно завернутую в полиэтиленовый пакет, чтобы не подмокла от дождя. И когда Глушков неумело обмусолил сигаретку, почувствовав на языке горько-кислые крупинки, неизвестный поднес к его напряженному лицу зажжен-

ную яркую спичку. Солдат на мгновение увидел, что толстая шкура на его ладонях была лопнувшей во многих местах до кровоподтеков, словно иссечена битым стеклом.

Глушков пыхнул несколько раз, делая вид, что курит, но не пуская дым в легкие. И неизвестный не заметил притворства, он тоже закурил — небритые щеки его втянулись от усердной затяжки. Он посмотрел на Глушкова все с той же ухмылкой. Но и под ней, и под внешним его спокойствием, и в его серых глазах как-то сразу угадывался комок нервов, та запредельная взвинченность, которая уже переросла самое себя и застопорилась в этом спокойствии. Он сказал необязательное, лишь бы что сказать:

— Жалуйся, сынок.

Но Глушков не понял его прибаутки, невольно улыбнулся:

— Жаловаться? Зачем?.. Как это?

— Ну как люди жалуются...

Глушков пожал плечами.

— А чего жаловаться, все нормально...

— А что ж такой заморенный? Нормальный...

Они замолчали на какую-то минуту, и Скосов за эту минуту немного вырвался из мрачного настроения, осматривая помятого грязного солдатика с осунувшимся лицом. «Может быть, тот самый и есть, которого ищут», — без интереса подумал он, припоминая разговор трехдневной давности в поселковом магазине. Два пьяных возбужденных офицера из гарнизона, расположенного в пяти километрах от поселка, рассказывали о ночном побеге солдата. Ничего не было бы особенного в таком происшествии, неизвестно каком по счету с начала года, если бы солдатик перед уходом не расстрелял целый автоматный рожок по высоким окнам одной из казарм, никого, к счастью, серьезно не повредив. Все эти дни на дорогах и на въезде в поселок с раннего утра до ночи дежурили усиленные патрули на БТРах.

«Да, он», — решил для себя Скосов и вдруг спросил совершенно ровно, как если бы спросил, какую школу закончил Глушков:

— Так это ты стрельбу в гарнизоне устроил?

Глушков оцепенел. А неизвестный смотрел на него, не мигая, непонятным взором: может быть, проникающим, проедающим, а может быть, и совсем наоборот, пустым и холодным, как смотрят на что-нибудь совершенно ничтожное. Но в любом случае выходило так, что лучше было бы Глушкову провалиться на месте.

— Ну и дурак, — сказал Скосов на его молчание и вроде бы равнодушно затанулся сигаретой — но так, что тлеющий огонек вспыхнул с утроенной силой и поглотил, наверное, половину табака.

Скосов сам о себе любил думать, что он жалеет убогих людей — в чем-то несправедливо пострадавших от других, или даже тех, кто по-

ставил крест на себе от бессилия, или просто нищих, родившихся такими. Почему бы не пожалеть и этого дистрофического вида мальчишку, который попал в жернова власти, а ведь Скосов презирал всякую власть во все доступные его возрасту времена, и старую и новую, — прочитав однажды оказавшийся в поселковой библиотеке учебник по психиатрии, он понял, что к власти приходят либо параноики, одержимые манией реформаторства, либо откровенные подонки — третьего не дано. Этот солдатик по сути сделал не что иное, как пошел наперекор власти. Но теперь Скосов был слишком глубоко утоплен в своей собственной духоте, чтобы сочувствовать этому испуганному пацану, ряженному в неказистую форму.

— Дурак ты, — добавил Скосов. Он знал, что за побег со стрельбой дезертира в лучшем случае ожидали года три дисбата, а что вероятнее — более длительный срок в колонии. И Скосов хотел было сказать об этом ему, но почему-то осекся, равнодушно подумал: «А не все ли равно?» — и спросил только:

— Автомат выбросил?

Солдатик потупился — совсем как нашкодивший подросток.

— Ничего не выбросил... Спрятал.

Скосов вдумчиво додымил сигаретку, растоптал окуроч, протянул неопределенное:

— Н-да, — и отвернулся, сделал несколько раздумчивых шагов вдоль стены склада, в щелях которой потухал день, и, задрав голову, внимательно осмотрел бревенчатые перекрытия и двухактную, местами дырявую крышу, словно его очень интересовало это неказистое запущенное строение, собранное из толстых бревен и длинных горбылей. И вдруг пошел — для себя даже неожиданно — к выходу. «Чего там дальше рассусоливать, и так все ясно», — подумалось ему мельком.

Неизвестный удалялся. А Глушков один остался посреди пустого, насквозь продуваемого студеным сырым ветром помещения. В руке он зачем-то держал потухшую сигаретку, и что с ней нужно было делать теперь, он не знал, бросить ее просто так на земляной пол он почему-то не решался. Он видел вдалеке совершенно равнодушную широкую спину, которая уже замаячила на выходе, и еще больше ссутулился и съёжился, сунул руки в карманы шинели, чувствуя, как пальцы крошат окуроч на дне кармана. Вдруг незнакомец остановился и крикнул издали:

— Есть хочешь?

— Хочу, — пискляво, не задумываясь, выкрикнул Глушков и подался вперед, сделал два-три порывистых неуправляемых шага.

Неизвестный тянул время, побарывая свои раздумья, и несколько мгновений оба напряженно молчали, но Глушков с бешено колотящимся сердцем уже чувствовал-знал, чем вот-вот разрешится для него это молчание. И человек тот сказал своим неизменным ровным голосом:

— Заройся, не высовывай носа и жди...

Глушков вновь увидел широкую спину, которая быстро удалялась и через мгновение исчезла, растворилась в сумерках, исподволь насочившихся в воздух из земли. Глушков уже видел в проеме мокнувшие под дождем несколько обвислых деревьев и ржавую промятую железную бочку, но и они быстро превращались в размытые сумерками тени. Он тряхнул головой, словно хотел отделаться от наваждения, словно неизвестный человек только почудился ему, был не живым, а являлось ему некое видение из царства теней, из тех приоткрытых дверей, что маячили в его воображении. Он поплелся к своему укрытию и когда примостился в углублении в куче сухих водорослей, которую нагреб два дня назад, почувствовал упирающийся в бедро приклад автомата. С удивлением вспомнил, как тыкал стволом оружия со взведенным затвором и спущенным предохранителем в свое тело. Но теперь поза, в которой он, усердно сопя, проделывал эти действия — сидя на корточках и дотягиваясь до спускового крючка напряженным пальцем, — поза эта показалась ему омерзительной и нелепой, словно вот так, сидя на корточках, он готовился испражниться своей жизнью. И еще удивило его, что вот эти действия, происходившие с ним всего минут двадцать назад, казались теперь отодвинутыми в совсем уж далекое глухое прошлое, и не ему вовсе принадлежавшее, а увиденное или услышанное им со стороны.

Глушков лег навзничь и долго лежал так, всматриваясь в угасающий свет в широкой прорехе в крыше, и постепенно плотная тьма поднялась от земли до небес, но сквозь тьму иногда проплывали странные бледные шары, похожие на клубы пара, и за ними нельзя было уследить, они исчезали из-под взора. Глушков закрыл глаза и попытался задремать, но спать он не мог, но не мог и ничего делать, как только неподвижно лежать. Он совсем обессилел и долго не шевелился, отдавшись во власть холода. Глушков был спокоен, словно дождь, почти не смолкавший несколько дней и ночей, все унес в море, и у шуплого продрогшего тела ничего не осталось, кроме пустой утомленности.

* * *

В ту ночь, когда разводящий офицер оставил его в круге фонарного света у длинного бетонного гаража с техникой, Глушков был охвачен неодолимым желанием убийства. Глушков знал, что это желание таится в любом, даже в самом мирном человеке, и знал, что природой своей оно обязано самой скверной звериной человеческой стороне. Но он ничего не мог поделать с собой, больше того, он лелеял, смаковал это желание с того самого момента, как получил автомат в оружейке. И мысленно он до самоистязания, до испарины раз за разом обыгрывал, обмусоливал вероятность того, что он может вот так беспрепятственно, всего лишь по прихоти своего растоптанного самолюбия пойти и расстрелять весь

боекомплект в ненавистных ему людей, и как пули будут размочаливать, разбивать вдребезги эти проклятые перекошенные страхом лица.

Будущего не было. Было его настоящее, когда он получал автомат и ставил в журнале подпись. Было прошлое — отвердевшая субстанция, которую уже никакими силами нельзя было изменить. Прошлое началось в тот час, когда казарма, извергая в воздух кислые застоявшиеся миазмы, пробуждалась от ночного сна. Глушков проснулся за несколько минут до подъема. И так было всегда: несмотря на хроническое недосыпание, он в эти последние, самые ценные минуты сна вздрагивал и открывал глаза. Ему воображалось это так, что пока одна половина его — реальная — спала, другая, явленная предутренним сном, так и сидела перед часами, моргая неусыпными глазами и хмуря густые брови, боясь пропустить нужную минуту.

Казарма еще дышала ночной тишиной, и еще не взметнулась пыль в косых лучах, пронзивших помещение; но второй ярус кроватей, где по ночам обитали в тесных болезненных сновидениях тихие бледные салаги — «духи» и «шнурки», уже зашевелился, из-под одеял высовывались впалые лица — мордочки осторожных зверьков. И злое напряжение нарастало с каждой секундой, его начинали чувствовать и «деды» на престижном первом ярусе, которые недовольно сопели, натянуто изображая из себя ленивых самодовольных барчуков. Напряжение раздувалось, звенело в пропитанном потом воздухе. И все это готово было в любую секунду лопнуть...

В казарму вошел худосочный дежурный сержант (Глушков заметил его красную, отдавленную во время неудобного сна за столом щеку), просипел спросонья: «Рота, подъем!» — и спешно вновь скрылся за дверью, потому что кто-то из «дедов» уже запустил в него заранее приготовленным для такой шутки сапогом. Железная подковка на каблуке летящего сапога грохнула о дверь как раз в тот момент, когда десятки босых салажых ног проворно грохнули об пол.

Пока молодые торопливо одевались, кое-кто из «стариков», делающих вид, что еще мирно поживает, вполглаза посматривал за ними. И стоило Глушкову замешкаться с портянками, замереть на мгновение в сонной задумчивости, подобно цапле, на одной ноге, рядовой Бычков, кудрявый малый родом из какой-то приграничной с Белоруссией деревни, разевший на втором году службы крепкую ряшку, произнес из своей постели, где чинно возлегал, по-барски раскинув на стороны толстые руки:

— Глухой, сорок пять секунд — отбой... — и произнес это тихим воркующим голосом, вроде мирно беседуя с кем-то, глядя при этом мимо замешкавшегося бойца, в розовую ленивую даль за рассветным окном.

Глушков знал, что эта отрешенная умиротворенность притворна и за внешним покоем скрывается нерастрачиваемая сила сытого созрев-

шего самца, которую тот избывает в регулярных издевательствах над покорными «духами». И Глушков с внутренним содроганием судорожно разделся, уложил вещички на табурете и неуклюже, длинноруко, но стремительно, вскарабкался на второй ярус.

— Глухой, подъем...

Фигура Бычкова, крепко сбитая, подкачанная гирями, была для Глушкова чем-то вроде повторяющегося кошмара из жутковатых снов. Нельзя сказать, что Бычков обходил своим вниманием других салаг и что Глушкову не доставалось от других «дедов», но именно Бычков испытывал к Глушкову особую садистскую тягу. Все это немного походило на давние школьные тяготы, когда в классе непременно находилась пара учеников, один из которых, сентиментальный и хлипкий, но самолюбивый, становился объектом для постоянных издевательств другого — туповатого грубого переростка. Но в казарме шалости детства разрослись, обретя предсмертную невыносимую тяжесть.

Бычков, морща низкий лоб с напозавшими кудряшками, всегда молча надвигался из грубого тесного пространства казармы, сам превращаясь в это пространство. По его маленьким кабаньим глазкам никогда нельзя было угадать, что он собирается предпринять. Чаще всего издевательства этого странного дикого существа сводились к обычному избивению. Бычков мог неожиданно вбить жесткий кулак в живот истязаемого, несколько секунд бесстрастно наблюдать, как тот, скорчившись, раскрасневшись, задыхается, пуская на пол слюни и сопли, а затем несколькими ударами по спине и шее заставить «духа» рухнуть на пол, чтобы еще немного попинать его сапогами: каждый удар не должен был израсходоваться напрасно, силу руки или ноги нужно было всю превратить в чужую боль, но так, чтобы не оставить заметных синяков и не наделать переломов. Это было тонкое искусство, Бычков осваивал его вот уже больше полугода, с тех пор, как был произведен в «черпаки».

Но иногда мозг Бычкова желал разнообразия, и тогда скучающий старожил казармы заламывал жертве руки за спину и, ладонью перекрыв ей нос и рот, ждал, пока вяло отбивающийся салага не начнет слабеть и почти терять сознание. Тогда Бычков слегка приоткрывал ладонь, позволял небольшой порции воздуха просочиться в легкие жертвы и вновь перекрывал дыхание. Удовлетворившись, он отпускал жертву, тщательно оботря обслюнявленную ладонь о ее волосы, шею, гимнастерку...

— Глухой, подъем...

— Глухой, отбой...

И так было еще раза два. А потом Бычков по обыкновению заскучал, широко зевнул. Глушков, застывший теперь перед ним по стойке смирно, видел в раскрывшейся пасти красноватую дыру глотки.

— Подь сюды, — сказал сквозь зевок Бычков, подманивая Глушкова ленивым пальцем. Тот с опаской подошел.

— Ближе, сучий потрох... Ну-к, наклонись сюды...

Глушков приблизил напряженное покрасневшее лицо к щекастому Бычкову, который уже начал давиться беззвучным смехом, замышляв какую-то свою примитивную гадость (он выспался, и по всему угадывалось, что у него пока было хорошее настроение).

— Ниже, сучара!

Глушков, зажмурившись, покорно наклонился, и тогда Бычков крепкой рукой схватил вяло упирающегося салагу за тонкую шею, полуразвернувшись в кровати, придвинул его лицо к своему заду, обтянутому синими трусами, и громко выпустил газ из кишечника. У Глушкова от боли в шее и обиды брызнули слезы. Бычков отпустил его и безудержно заржал — так что затряслась, заскрипела железная кровать под ним.

— А! А! А!.. Чем пахнет, усек?

— Тобой, — всхлипнув, ответил Глушков.

— Мной? — Бычков поумерил безграничный смех, поморщившись, недоуменно спросил: — Почему?

— Не знаю... Ну пахнет так...

— А-а, — ничего не поняв, протянул Бычков, — ты, сучара, поговорить хочешь?

— Никак нет, — торопливо выпалил Глушков, и это раболепное «никак нет» смягчило «деда», да ему и лень было что-либо сейчас предпринимать. И уже успокоено он велел Глушкову на зарядку не ходить, но вместо этого выгладить его, Бычкова, хэбэ (так чтобы на спине была не одна — от плеча к плечу — «дедовская» стрелка, а для особого шика — две параллельные) и тщательно начистить сапоги, которые, по тайному убеждению Глушкова, имели у Бычкова наиболее отвратительную вонь — не человеческого, а явно псиного пота.

В бытовке с Глушковым и произошло нечто странное — впервые за четыре с лишним месяца его службы. Торопливо и осторожно, чтобы как-то не повредить, не прожечь, наглаживая хэбэ Бычкова, Глушков в какое-то мгновение вдруг замер. Необычная, до конца еще не оформившаяся мысль пришла ему в голову. Он недоуменно посмотрел по сторонам, на стриженные головы таких же подобострастных своих погонков, выполняющих рабскую повинность, на мгновение увидел в треснутом настенном зеркале и себя — тоже стриженного под ежик, лопухого, с синюшными пятнами под глазами, и, кажется, совсем незнакомого доходягу. И мысль, только что созревшая, вновь завалилась куда-то в темную мешанину памяти, он не успел ее подцепить, поймать за тонкий ускользающий хвостик, но от нее уже потянуло холодным ветерком, жутью. Глушков вновь взялся за утюг, чувствуя, как начали дрожать руки, и вдруг отчетливо подумал: «Да что же я делаю здесь?»

Какая глупость...». И словно кто-то надсадно подвывал в груди: невозможно было понять, то ли больно в груди, то ли на самом деле раздирающий душу звук концентрируется в нем. И от этой боли, или звука, захотелось вдруг бежать, кричать, рыдать, захотелось грохнуться спиной на пол и сучить ногами, как это делают маленькие истеричные дети. Или, может быть, захотелось наброситься на кого-нибудь и бить изо всех сил горячим тяжелым утюгом, кромкой металлической подошвы по стриженной хрупкой голове...

* * *

Отец Глушкова, редактор городской газеты, хотя и ушел давно из семьи, мог без труда уберечь сына от армии, да и сам Дима, имея «крепкий» аттестат, легко поступил бы в любой институт города. Но Дима решил год с учебой повременить и до следующей весны проболтался в отцовской газете репортером-стажером. А потом вышло так, что ушло от него всякое преднамеренное будущее, которое он еще не научился чувствовать, сам он его и упустил. И даже не ряд мелких случайностей и событий, а поразили его тогда упрямство и нелепое подростковое желание назло всем — и близким, и самому себе — «загреметь» в какую-нибудь беду: быть побитым, попасть в милицию или, вот, в армию. Это теперь все случившееся казалось ему нелепицей, полусном, а тогда все вышло само собой: он из упрямства вовремя не напомнил отцу о себе, да и тому было не до сына. В городе тогда сменился мэр, редакторское кресло под отцом зашаталось, и он утонул в своих проблемах, а потом и вовсе запил.

А сыну тем временем пришла повестка, и Диму призвали в армию, о которой он имел весьма смутное представление.

Армия оказалась замкнутым в себе мирком, напроць лишаящим всех своих участников права выхода из игры. Все правила жизни в этот мирок пришли из низкой среды трущобных дворов и блатных зон. Мирок переполнялся условностями и символами, предназначенными для воспитания в человеке совершенного раба, совершенной дрессированной скотины, и было их великое множество. Деление на «духов», «шнурков», «черпаков», «дедов», «дембелей», «застегнутых», «борзых», «шлангов» обставлялось настолько тонкой ритуальностью, что Глушков, как и большинство новобранцев, первое время путался и ежедневно ходил то с раздутой скулой, то с синяком, то с ноющими от боли ягодицами, по которым прошелся «дедовский» ремень с бляхой. И главный воспитатель Глушкова — Бычков, за которым тот был как бы негласно закреплен, скоро вошел во вкус и стал бить подопечного не столько за малейшие провинности, сколько просто так — по настроению.

Глушков терпел, он знал, что нужно терпеть и ждать, когда пройдет первый год службы, чтобы и самому стать освобожденным от побоев и

черной работы «черпаком». Но прошло только четыре с небольшим месяца, и настало то утро, когда, наглаживая в бытовке новенькую ушитую до предела гимнастерку и брюки старослужащего Бычкова, он вдруг почувствовал этот развал-распад всей той городьбы, которую он поддерживал из последних сил в своей душе, и все разлеталось: терпение, упрямство, маленькие надежды, страхи. Каждое его маленькое «я» выпадало из обоймы и устраивало самостоятельную истерику.

В бытовке было еще пятеро или шестеро молодых солдат, каждый что-то торопливо делал. И глядя на их лысые угловатые черепа, на усердные глаза и губы, Глушков почему-то испытал омерзение прежде всего к ним, а не к Бычкову, не к другим старослужащим солдатам, не к офицерам, жившим далекой от казармы жизнью, в которой руководствовались только двумя потребностями — половой и потребностью выпить водки. Он почувствовал омерзение к своим погодкам, считавшимся его товарищами, которые полагали смысл своего существования в почетном производстве в «черпаки», намечавшемся к середине службы, что позволило бы в свою очередь им самим приступить к эксплуатации нового призыва, до поры бездумно разгуливающего на воле, — почувствовал по той лишь причине, что и сам был таким же зачуханным рабом, и сам питал такие же меленькие надежды.

Глушкова и потянуло в отчаянии, чтобы хоть как-то сорвать злость, треснуть ребром раскаленного утюга по ближайшему белобрысому затылку солдата Ляпустина с большими розовыми ушами, который, склонившись над стойкой, пришивал, то и дело укалывая себе пальцы тонкой иглой, подворотничок к чужой гимнастерке.

И напряженная фигура Ляпустина, и стремительные глаза, когда тот обернулся, почувствовав на себе пристальный взгляд Глушкова, выражали только страх и раболепие, готовность бежать по первому окрику. Ляпустин судорожно сжимал чужое хэбэ за отстиранный, отутюженный подворотничок исколотыми пальцами. И Глушков видел, как по белоснежной ткани расползается пятнышко крови, и, видя эту промашку товарища, испытывал злое удовлетворение.

Ляпустин, обернувшись и заметив бледное лицо товарища, в свою очередь вздрогнул и отстранился, словно почувствовал что-то. И Глушков опустил глаза, бросил утюг на расправленную зеленую полосу хэбэ и отошел от стойки. Возле стены он медленно уселся на единственный в бытовке пустой табурет и сказал:

— Да пошли вы все...

Сказал едва слышно и вовсе не тем туманным фигурам, бывшим здесь, а в пространство, очерченное только его собственной измотанностью.

Его товарищи с испугом посмотрели на него, но не потому что он произнес малоинтересную для них фразу (вся армейская речь состояла

из таких фраз), а потому что он посмел усесться на табурет, что салагам — «духам» и «шнуркам» — строго воспрещалось в любое время суток.

Но Глушков все-таки сел на табурет, прислонившись затылком к прохладной побеленной стене и глядя, кажется, в противоположную стену, а может быть, и значительно дальше, в не видимые для посторонних сферы. Большой, несоразмерный с шеей кадык его двигался вверх и вниз. И никто из товарищей не сказал ему ни слова предупреждения, потому что каждый угадал в его бледном лице ту степень отчаяния, когда человек уже не может и не хочет контролировать себя.

Глушков не сразу заметил, как перед ним выросла тень босоногого Бычкова в трусах и майке, этого красного от злости уродца с массивным длинным туловищем на кривых коротких ногах. Бычков тряс перед носом Глушкова прожженными штанами и клокотал чем-то, состоящим из смеси словесных осколков, мата и животных, похожих на пуки, звуков. И Бычков в первые мгновения не мог даже придумать, что ему сделать: просто ударить ему показалось чем-то мизерным, недостойным, и надо было бы стиснуть руками это кадыкастое горло и придушить щенка.

А Глушков смотрел в это маячившее перед ним пятно, в этот сгусток презренного, ненавистного вещества, и вдруг плюнул в его середину. Только тогда Бычков ударил — угодив Глушкову в грудь, вбил толстой пяткой хрупкое тело в стену. И потом он долго топтался возле этого тела, отработывая точные удары. А Глушков, в самом начале сильно стукнувшись затылком о стену, окунулся на время в бессмысленную тьму...

И теперь, в складе, уставившись в тьму, съезжившись, как в коконе, из которого должна была родиться некая новая сущность, он словно видел чуть со стороны, чуть сверху странного человека с обвислыми плечами, с длинной шеей — видел не себя вовсе, а другого, оттесненного толпой солдат в угол бытовки, машинально прикрывающего тонкими руками живот и грудь.

И пяти минут не понадобилось «дедам», чтобы согнать в бытовку всех, человек пятнадцать, салаг. Самих «дедов» было, кажется, шестеро. Первогодки сбились в тесную кучу у противоположной стены, под зеркалом, имевшим через всю площадь косую темную трещину. Теперь, всматриваясь в осунувшиеся лица молодых солдат, Глушков находил, что испуга в них было даже больше, чем в его двойнике, стоявшем в углу, избелившим о стены оба рукава поношенной латаной-перелатанной гимнастерки, сменившей уже второго хозяина.

В бытовке, как в глухом погребе, звучал голос солдата Яловского, имевшего хорошо сбитую спортивную фигуру. Яловский был в казарме негласным хозяином, и теперь он шурил свои и без того раскосые карие глаза, чтобы выглядеть наиболее сурово.

— Ты думаешь, мы тебя только отмудохаем, и все на этом кончится? — он говорил громко и назидательно, и Глушков догадывался, что назидательность эта скорее не для него, провинившегося сверх всякой

меры, а для сбившихся в кучу его испуганных товарищей. — Ты ошибаешься... Падлов надо воспитывать по-другому... Ты у нас совсем борзый. Я видел: ты читал газету в наряде. Даже мне читать некогда... — Голос его возвышался, наполнялся нервностью и клекотом, и всем казалось, что сейчас он обрушит на Глушкова кулаки. Но он только потрясал указательным пальцем перед его носом. — Не-ет, мы тебя трогать не будем. Вот они, — этим же пальцем он ткнул в сторону сбившихся в кучу салаг, — будут тебя воспитывать.

Кучка людей под зеркалом, увидев направленный на нее крепкий палец с аккуратно подстриженным ногтем, сгрудилась еще плотнее и стала, кажется, ниже. Яловский приумолк, внимательно с удовлетворением осматривая покорный народец под зеркалом.

— Вы шуршите? — возмущение его опять выросло до потолка. — Шуршите. И мы в свое время шуршали, молча и безропотно... А что сделал Глухой?..

Бычков стоял чуть в стороне, сунув руки в карманы брюк с темно-коричневой уютной печатью выше колена. Он не мог взять в толк, куда клонит его почитаемый товарищ, и нетерпеливо переминался, ожидая, когда можно будет начать бить Глушкова. Он периодически сильно сжимал кулаки, спрятанные в карманах, и внимательно осматривал подходящее туловище молодого солдата, выбирая места для будущих ударов. Но он вдруг услышал от Яловского, что бить «духа» они не будут.

— Да ты много с ним балаболишь, — нетерпеливо изрек он и носком сапога ударил Глушкова по голени. Тот ойкнул и машинально приподнял ушибленную ногу. Бычков замахнулся кулаком, но Яловский перехватил его руку:

— Спокойно, Бычок, это все хреновня. Ты испортишь мне эффект... — он отстранил Бычкова и вновь повернулся к молодым. Больно тыча пальцем в грудь ближайшего, сказал:

— Вот так... Что сделал Глухой? Глухой нарушил самое святое, он оскорбил «деда»... Поэтому сейчас каждый из вас... Каждый!.. харкнет ему в морду...

Он выхватил из робкой толпы первого же, которому тыкал пальцем в грудь, насупившегося солдата Ляпустина с большими, как у огромной мыши, ушами.

— Давай!

Ляпустин нервно провел пальцами по щеке, словно умывающийся мышонок, и что-то замямлил упавшим голосом. Но Яловский, крепко держа его за шкуру, больно ударил ребром ладони в бок. Ляпустин присел, хватая ртом воздух, лицо его натужно покраснело.

— Давай!

Глушкова два старослужащих солдата схватили за руки и держали так, чтобы он не мог прикрыться. И он только нагнул голову и зажмурился от ужаса, который выстудил все тепло из груди. Поэтому он и не ви-

дел, как к нему вплотную придвинулось багровое лицо Ляпустина и как судорожно сложились потрескавшиеся губы для торопливого плевка.

* * *

Голос в глубине склада нарастал, приближался. Но усилившийся дождь хлестал по крыше так, что едва не перекрывал этот голос, и человек почти кричал в шумном воздухе:

— Эй! Ушел что ли?! Эй! — И добавлял чуть тише, почти неразлично: — Какого же хрена я перся...

Голос разбудил Глушкова. Солдат открыл глаза и некоторое время лежал, не шевелясь, прислушиваясь к приближающимся звукам. А когда приподнял голову, залитую вязкой тяжелой жижой, и выглянул из своего гнезда, увидел яркий луч фонарика. Луч мгновенно пролетал от стены к стене, и тени от опорных столбов метались, похожие на пугливых стремительных чудиш. Когда луч попал в лицо Глушкова, тени и вся ночь со всей бесполезной тьмой — все исчезло, провалилось в светящийся колодец. Глушков заслонился рукой.

— А я кричу... Думал, ушел, — сказал приблизившийся человек. — А ты вон где... — Он по-прежнему светил фонариком в лицо солдата.

Увидев этого промерзшего мальчишку, змурившегося от яркого света, Скосов и сам поежился, будто почувствовал чужие мурашки. И ему подумалось, что, может быть, это неожиданное сопереживание чужого холода и есть жалость. А всего минуту назад, когда он подходил к складу, пригнувшись от дождя, хлеставшего по лицу, он и не полагал, что из его холодного раздражения может родиться сочувствие. Напротив, он надеялся не застать солдата в складе. Эта надежда родилась в Скосове еще по дороге к дому, когда он погонял тяжелую пресыщенную травами корову, то и дело ронявшую позади себя зеленые жидкие лепешки. Корову он нашел всего через несколько минут после того, как первый раз увидел солдата. Но за эти минуты он успел горько пожалеть о том, что задал опрометчивый, ко многому обязывающий вопрос: «Есть хочешь?» И Скосов тянул время. Он не торопился, несмотря на усиливающийся дождь, ленивое животное, которое часто останавливалось и срывало толстыми мягкими губами мокрую траву. А потом, дома, долго управлялся по хозяйству, кормил скотину, чистил сарай. Затем лежал на полу, подстелив телогрейку, у горячей печи, курил в поддувало и листал книгу, делая вид, что читает, а на самом деле ждал, когда ворчливая супруга его — полная страдающая одышкой женщина — уляжется спать. Но даже услышав ее ровный храп из спальни, который разросся, наполняя дом до последнего уголка, Скосов продолжал смотреть в книгу и думал, что самым разумным было бы никуда не ходить, а спокойно улечься в кровать и беззаботно захрапеть в унисон своей ни о чем не ведавшей супруге.

Он заставил себя подняться, собрал в полиэтиленовый пакет еды, тихо оделся и вышел. Он достаточно предоставил солдату времени уйти, но тот остался.

В пакет Скосов положил несколько холодных котлет, пару ломтей хлеба и пол-литровую банку молока. Теперь же, усевшись рядом с солдатом, подсвечивая в сторону фонариком, он смотрел, как тот глотал большие куски, запивал молоком и опять пихал в рот куски котлеты и хлеба, и не мог жевать: куски без задержки проскальзывали в пищевод и обрушивались еще в какую-то внутреннюю пасть, самостоятельно чавкающую, урчащую, шевелящуюся в животе.

— Да куда ты спешишь? Плохо будет, — грубовато увещевал Скосов, на что Глушков кое-как отвечал набитым ртом:

— Три дня... не ел...

— Почему три дня? А рыба? В речках полно рыбы, можно брать руками.

Глушков пожимал плечами.

— Да, какая рыба... — качал головой Скосов. — Куда ты, безрукий, вообще рыпался?.. Какой еще побег?.. Сидел бы в казарме, драил ножик... А ты в бега... Зачем? Куда тебе такому? — Он замолчал, поглаживая рассеянной рукой, словно чешую холодного животного, круглый фонарь, лежащий на коленях, и произнес так же задумчиво: — Нет воли... Остров. Кругом океан... А вы все бежите и бежите, и не можете понять...

Но Глушков почти не слышал этого странного человека. Он сосредоточился на огромной, величиной с ладонь, котлете. И наконец Скосов с раздражением отобрал пакет. Глушков замычал, потянулся к ускользящей еде, но Скосов прикрикнул:

— Хватит... Потом доешь, никуда не денется.

Солдат сконфужено затих. Пасть в животе недовольно постанывала.

Некоторое время сидели молча, слушали дождь, тарабанивший по крыше. И Скосов думал, что эта его возня с беглым солдатом, наверное, совсем лишена смысла — итог всех побегов на острове был неизменным: либо, оголодав, дезертиры сдавались сами, либо их сдавали местные жители, заметившие мелькнувшую в кустах шинельку.

Он выключил фонарик, и напряженное небритое мясистое лицо его, подсвеченное красным огоньком сигареты, стало казаться Глушкову раскаленной на огне железной маской. Сам же Глушков расслабленно привалился к стене, и Скосов не видел солдата в темноте. Скосову трудно было говорить с невидимым человеком, и он думал о себе, о том, что всю жизнь служил опорой для разных людей — как столб, подпирающий крышу в этом складе. С год назад он приютил двух совершенно чужих людей, молодую пару, погорельцев, у которых в огне погибло небогатое, не успевшее нарасти добро. И когда спустя несколько месяцев им выделили часть старой хибары, ничем не уступающей сго-

ревшей, они в спешке переезда просто забыли сказать ему спасибо. Да и теперь почему-то обходили Скосова стороной, здоровались скромными торопливыми кивочками, словно он уличил их в чем-то постыдном. А он по-прежнему делал приветливый вид и не понимал их.

Он старался не обижаться на многих людей, которым помогал, распахивая перед ними душу, и которые воспринимали это как должное, мимоходом. Скосов давно догадался, что люди обладают полезным свойством: при виде подставленных плеч взбираться на них, не задумываясь. Вероятно, это было его слабодушием, или самоедским упрямством — ему было безразлично, какую формулировку ни принять. Но он и теперь слабодушничал, не имея решимости взять этого мальчишку за шкуру и отвести в гарнизон или, что было бы куда проще и безболезненнее, вообще не ввязываться в это дело. Оставить пакет с едой и уйти бы, ведь он ничего не обещал солдату — только накормить. Но возбуждалось в нем и другое — подспудное и истинное, в чем ему тяжело бывало сознаться самому себе, — самодовольство, которое, может быть, и служило настоящей причиной его характера — жертвовать чем-то было приятно, было сродни ощущению сладкой сытости.

Скосов еще ничего не успел придумать, никакого будущего, он просто, как всегда, ринулся с головой в предстоящую неизвестность. А Глушков, полусонно сидевший рядом, видел, как лицо этого человека, красное от сигаретного уголька, дрогнуло и, кажется, улыбнулось.

— А что же потом? — спросил Скосов.

Глушков громко заворочался, и Скосов добавил с мрачноватой ухмылкой:

— Наломал дров и молчишь...

— А что потом? — вдруг, невольно хихикнув, откликнулся солдат. — Я бы потом поспал...

Скосов удивился:

— Смотрите на него: ожил. Шутник хренов... Поспал бы... А колыбельную тебе не спеть? — Он включил фонарик, осветил в сморщившееся лицо солдата. — Как дальше жить думаешь?

Глушков отвернулся от фонарика, сказал тихо и упрямо:

— Я назад не вернусь...

— Не вернешься, — передразнил Скосов. — В лесу поселишься?

— Хотя бы и в лесу...

Скосов покачал головой:

— Посадят тебя, балбеса, за стрельбу. Кого-то там стеклом порезало, в санчасть угодил. Начальству стало известно.

— Не посадят, — буркнул Глушков. — Я не вернусь...

Скосов поднялся, стал отряхиваться от налипшего на одежду мусора.

— Вставай. Пойдем.

— Куда? — насторожился Глушков.

— Куда-куда... Молчи теперь и делай, что скажу. В плохое место не приведу. — И слова больше не сказав, не оборачиваясь, рыбак направился к выходу. Лучик поплыл сквозь тьму. Глушков увидел, как неожиданно стал удаляться теплый желтый огонек, и сам грубо, тяжело подался следом, разрушая уже не нужное убежище. Неуверенно поплелся следом.

Скосов повел солдата не к поселку, а в противоположную сторону, но Глушков ничего не стал спрашивать, он поднял ворот шинели и покорно побрел следом. Он не знал, что припертый к морю поселок был разделен пополам длинным прудом, и, чтобы не идти вдоль дамбы под ярким фонарем на столбе, Скосов решил обогнуть пруд полями. Ветер нес от моря холодную водяную взвесь, и Глушков окончательно пробудился. Он еле поспевал за желтым пятном фонарика, которое аккуратно нес перед собой неизвестный. А Скосов слышал сзади торопливые заплетающиеся шаги и старался идти медленнее, временами он останавливался, как будто раздумывая, какую тропу выбрать.

Они вошли в мокрую перестоявшуюся и полегшую на землю густыми темными космами траву. Недалеко был покос, принадлежавший Скосову. Сено на острове заготавливали в конце путины, когда появлялись свободные дни и удавалось нанять трактор с косилкой. Трава к этому времени на корню начинала превращаться в солому, и заготавливать ее приходилось вдвое больше, чем следовало, чтобы скотина вдосталь наедалась хотя бы соломы, пока идет короткая, трехмесячная, но снежная, бурная зима. И Скосов вспомнил, как три дня назад, когда с утра установилась отменная для октября солнечная теплынь, он пришел на поле добрать несколько оставшихся длинных тяжелых валков этого сена-соломы.

Почти полторы недели валки лежали под дождями, подопрели, и Скосов минут сорок вилами усердно вертел их, отделяя уцелевшее сено от черной плесневелой гнили, а потом сел ненадолго перекурить на маленькую копенку, подставив почерневшую за лето спину нежному солнцу, да так и просидел много часов подряд, выкуривая одну сигарету за другой. Нахлынула на него мутная тоска, почти безысходность, от которой саднило в груди. И он знал за собой такую особенность: когда за полосой хоть и не обещающей чудес, но ровной жизни подкатывала эта страшная неожиданная волна духоты и тоски и захлестывала весь мир... Скосов умом своим понимал, что эта душевная маета, наверное, лишь временная усталость нервов, приступ ипохондрии. Но ничего не мог поделать с собой, не мог одолеть нытья в груди и в конце концов отрешенно отдавался тоске в лапы, и она несла его по мрачным закоулкам невеселых мыслей, и тогда ему казалось, что жить больше не стоит.

Странно было другое, странно было, что в такое состояние его ввергла в тот день телеграмма с сообщением о редкостном в последние годы событии — о рождении нового человека, его собственного внука. Раньше

Скосову казалось, что подобное известие не может вызвать ничего, кроме радости. И он не раз видел сияющие лица знакомых людей, ставших дедами и бабками. Ему казалось тогда, что вот так и может подобравшийся к старости человек продлиться в будущем. Но эта общеизвестная аксиома оказалась самообманом, розовой мечтой пугливых людей. А он вдруг очнулся и увидел, что почти прошагал жизнь, и впереди, уже не смутно, а достаточно четко, выростал его личный предел, добравшись до которого, нужно было просто выпасть из времени.

Сидя на влажной копенке и пыхтя сигареткой, он пытался отшутиться, говорил себе пошлые фразы, что такова жизнь, что старую рухлядь списывают. Но не видел никакого спасения в пустословии. Он ничего не успел, он не успел даже научить успевать собственного сына, который совсем незаметно вырос на отдаленном бледном фоне и без малейшего сожаления уехал, выбрав себе странную коммерческую карьеру, менял свою жизнь на торговые обороты. И вот все, что осталось у Скосова от сына, это воспоминания, заключенные в цветастые воздушные шарики, да в редчайшие письма — за год два-три листочка в клеточку, заполненные чужими размашистыми отписками... Яркие шарики теперь лопались один за другим, потому что такова была их воздушная хрупкая сущность. И Скосов уже твердо знал, что жизнь сына, с годами ставшего чужим малознакомым человеком, пройдет будто не по дороге, а в обход, по болотам, по смутным тропам, как прошла его собственная жизнь, для которой он так и не придумал хоть какого-нибудь, пусть убогоногого, смысла-значения. Такой же будет жизнь его внука, пока видевшего мир, как бессмысленную перевернутую вверх тормашками картинку, — такой мир, какой он, может быть, и есть на самом деле.

Тогда Скосов поднялся, воткнул вилы в землю с такой силой, словно под острыми зубцами был не обыкновенный земной гумус, а горло ненавистного врага, завел свой старенький «ижачок» с коляской и помчался домой по ухабистой дороге. Он безотчетно надеялся застать дома жену, раздражительную ворчливую свою пожизненную спутницу, которую он, как ему казалось, давно уже ненавидел и которую бросил бы при первой возможности. Но почему-то вот уже много лет не бросал, с зачарованностью и покорностью наблюдая за подходившими к завершению метаморфозами в этой женщине, бывшей некогда приветливым с виду существом, нежной девочкой после школы и музыкального училища, и превратившейся в грубую злую бабу, заплывшую деревенским салом. Он и сам, некогда стройный мечтательный городской житель, рванувший на Восток даже не за романтикой и длинным рублем, а из желания переделать весь этот мир, — он и сам давно сравнялся со своей супругой, огрубел, одеревенел, одеревенчился.

И зачем он торопился теперь к ней, злобно порывивая охрипшей от табака глоткой в унисон ревушему мотоциклетному мотору, он не хо-

тел знать, лишь глубиной души чувствовал, что нужен был ему обычный, визгливый и, может, даже мордобойный, но спасительный, семейный скандал, во время которого только и можно было выплеснуть из себя накопившуюся муть.

Жены не оказалось дома, она ушла, наверное, совсем недавно — на электрической плите стояла кастрюля горячего супа и сковорода жареных толстых жирных брешков кеты. Скосов не притронулся к еде. Он принялся заглядывать в шкафчики, в стол, под кровать, шарил в гардеробе и в диване. Он надеялся хотя бы найти бутылку, которую основательная супруга непременно должна была где-нибудь припрятать. Но ему вновь не повезло, и он уселся, ссутулившись, на стул и положил подрагивающие руки на колени, пытаясь унять неприятную дрожь, волны которой разбегались по всему телу. Тогда и пришла ему в голову мысль, которую в другое время он счел бы совершенно нелепой, и он принялся осуществлять ее — торопливо и бездумно — как осуществляет приготовления самоубийца, сознание которого всецело подчинено одному последнему желанию.

Он отыскал в шкафу толстый пакет с семейными фотографиями, вывалил их рядом с печкой-голландкой и принялся кропать фотографии ножницами, отсекая везде свое изображение от изображений многочисленных родственников и знакомых. И когда все фотографии были пропущены через такое гильотинирование, и собралась небольшая кучка обрезков и карточек с изображением Скосова, включая несколько фотографий, с которых смотрел большими ясными глазами голодный послевоенный мальчишка, Скосов собрал эту кучку, сунул в печь и, предварительно прикурив сигарету, от той же спички поджег. Огонек медленно пополз по краям плотной фотографической бумаги, разросся, и Скосов, не закрывая дверцы, смотрел, как собственное лицо его, размноженное в разновозрастные лики, сходство между которыми ускользало с годами, как лицо это пузырилось, коробилось, чернело. И словно обращалась в пламя та частичка человеческой сущности, заключенная каким-то образом в тончайший слой фотоэмульсии.

Когда пламя опало и по черной золе стремительно побежали красные трескучие волны тления, необъяснимая легкость воцарилась в душе Скосова, легкость, сравнимая с опустошением, как если бы он поднялся первый раз после долгой тяжелой болезни. Ему показалось, что весь он сейчас вывернется наизнанку от этой опустошенности. И пустоту вновь предстояло наполнять какой-нибудь жизнью.

Все это произошло со Скосовым в тот самый день, когда Глушков заступал в караул. А трое суток спустя, к вечеру, когда солдат выбрался из своего укрытия при появлении незнакомого человека в складе и неумело прикуривал сигарету, каждый из них угадал, интуитивно почувствовал потерянность, неприкаянность другого.

Теперь же Скосов вел солдата в свой дом, даже не думая спросить себя, зачем он это делает и что за этим последует. А Глушков послушно плелся сзади, стараясь не отставать от широкоплечего доброго дядьки, наверное, рыбака по роду своей деятельности, и дезертира тоже меньше всего интересовало будущее, как оно не интересовало его в тот день, когда он заступал в караул. Но теперь Глушков был погружен в усталость и равнодушие, а трое суток назад им владело яростное желание убийства, заслонившее от него и будущее, и прошлое, и все разумное, расчетливое, осторожное, покорное...

Скосов часто останавливался, обводил фонариком вокруг, высматривая намятую тропинку, убегающую, ускользающую из-под ног в сплетения мокрой пожелтой травы.

— Устал? — иногда спрашивал он, и нельзя было понять, что сквозит в его вопросе: упрек или жалость. Он стоял, тяжело дышал, отвернувшись от мокрого ветра, и будто что-то пытался вспомнить, не имеющие отношения к этой ночи, в которую его занесло совершенно случайно. Глушков, запыхавшись, отвечал:

— Нет... нормально.

Он тоже поднимал глаза от темной земли, переводил дух. Видел силуэт рыбака и отвлеченно думал, что со спины тот чем-то похож на дежурного офицера, который трое суток назад лично разводил солдат в караул. Но, видимо, они все-таки были совсем разными людьми. Офицер был слегка пьян, рассеянно весел и не замечал бледности отрешенного от окружающего рядового Глушкова — все эти бледные загнанные сагаги были, по его разумению, на одну физиономию. И ему было трудно угадать, что одна такая физиономия вознамерилась расстрелять весь караульный боекомплект, оба автоматных рожка, в солдат своей роты. А Глушков совсем замкнулся, и будто ничего не видел, а только и жил своим упрямством и злостью. И даже когда Глушков остался один у длинной бетонной стены блока гаражей с техникой, в желтом фонарном круге, ярость его прорвалась не сразу. Он некоторое время прислушивался к умирающим вдалеке шагам. А потом снял с плеча автомат и тихо, но решительно пошел вглубь городка, по направлению к трехэтажной казарме, где на верхнем этаже размещалась его рота.

Через пару минут он был за углом низкого кирпичного хозсклада, напротив окон казармы, в которых тускло мерцала ночная синяя лампочка. Гарнизон плыл редкими огнями сквозь ночную тишину. И только издали, с противоположной стороны, отгороженный многочисленными строениями, прокарабкивался, протискивался сквозь какие-то щели в пространстве слабый рокот дизельной электростанции, упрятанной в полуподземном бункере.

Шагов тридцать отделяло Глушкова от входа в казарму, и он уже машинально представил себе, как пробежит это расстояние, преодо-

леет несколько лестничных пролетов и начнет стрелять в каждого, кого увидит на своем пути, наверное, это будут дежурные из наряда. Потом он ворвется внутрь казармы, в помещение, где стояли двухъярусные кровати, и будет стрелять по этим кроватям, по телам, которые густо посыплются на пол... Глушков и не желал думать, что он поступит как-то иначе, и он даже передернул затвор. Звук лязгнувшего железа громко разлетелся вокруг. И Глушков вздрогнул, ему показалось, что он услышал даже хлопнувший смазкой патрон, вошедший в свое ложе. И в этом металлическом звуке было столько мертвого и неестественного, что тут же начала умирать и заготовленная, отрепетированная в воображении ярость, он вдруг замер в растерянности, и чувствуя нарастающую слабость, и даже уже не слабость и растерянность, а страх, почти ужас, который вот-вот готов был захлестнуть, замять все затеянное им, Глушков впопыхах, чтобы не опоздать, начал от пояса стрелять по темным окнам третьего этажа... И еще не израсходовав полностью рожка, еще слыша грохот, звон стекла, всполошенные крики, он развернулся и, почему-то низко пригибаясь, задыхаясь от подступивших слез, бросился бежать, и сопровождало его чувство, как если бы кто-то смеялся над ним в спину, а он только теперь вспомнил и понял все свои полубредовые раздумья и сомнения: ведь он заранее знал, но упрятывал в глубину это знание, что ни в кого ни при каких обстоятельствах стрелять не будет, а так все и закончится нелепо и ненужно — пугливым обсмеянным бегством... Где-то, карабкаясь, он перебрался через высокую бетонную стену, угодил в ночной лес, скатился с невидимого склона и потом еще долго продирался в полной темноте, вытарашив слепые глаза, сквозь колючую чащобу, чудом каким-то глаза не повредив, пока не наткнулся на плотные заросли, которые с силой отбросили его, так что он плюхнулся задом в мелкую лесную лужу. Здесь его и настиг пробирающий душу грозный рев гарнизонной сирены.

Начинался дождь, крупные капли прилетали с темного неба и разбивались на лице Глушкова, но он не замечал дождя, ни слез своих, ни пота, ладонью размазывал влагу по лицу. И он подумал вдруг, что если не поднимется сейчас же и не пойдет хоть куда-нибудь, то все для него завершится уже здесь, в этой луже, быстро набухавшей в потоках разыгравшегося ливня. Он побрел наугад. И пробираясь вот так бесцельно сквозь заросли, впервые по настоящему почувствовал смысл, вкладываемый людьми в слово «безысходность».

* * *

Когда Скосов и солдат вошли в дом, свет уже горел внутри, обнажая разобранную ночную непосредственность жилья. В дверях в соседнюю темную комнату появилась крупнотелая женщина с гневным

лицом. Она, наверное, совсем недавно хватилась исчезнувшего мужа — была боса и на себе имела лишь широкую ночную сорочку из простой мятой белой ткани. В разрезе не вмещались ее объемные толстые округлости, и женщина старательно придерживала рубашку на груди полной рукой. Она, вероятно, хотела сказать что-то резкое Скосову, но увидела за плечом мужа впалое лицо солдата, отступила вглубь комнаты и оттуда заговорила с удивлением и негодованием:

— Первый час... Солдата притащил... — Она пошарила рукой за дверным косяком, выдернула оттуда цветастый халат.

— Ша, мымра, — ответил Скосов, не глядя на хозяйку, но весь преобразившись, подтянувшись. И с этих первых его слов сразу угадывалось, что подобные диалоги давно стали привычными в доме, уже превратившись в форму общения.

Скосов разулся у порога, вошел в комнату, стаскивая с себя отсыревшую куртку, и сделал раздраженное движение, намереваясь демонстративно бросить эту мокрую грязную куртку прямо на разобранную кровать у окна, на белую чуть мятую простыню. Но в последний момент передумал, кинул ее на старый деревянный стул с гнутой ободранной спинкой.

Солдат замялся, не решаясь ступить дальше порога, но Скосов повернулся к нему:

— Давай, сынок, заходи... Шинельку давай...

— Ну, дурак... Ну, дурак, — гундосым голосом сказала хозяйка и, набросив на плечи халат, тяжело пробухала босыми пятками по крашеному полу в коридор. Глушков спешно посторонился, пропуская ее, но поравнявшись с ним, она сказала неожиданно доброжелательным мягким голосом:

— Проходи, паренек, сейчас молочка... — И прежним тоном добавила для мужа: — Сам ты мымра...

— Ты давай не молочка, а давай горячего похлебать сообрази, — сказал смягчившись Скосов.

— Да я сыт уже, не надо... — несмело возразил Глушков. Но хозяин беззлобно оборвал:

— Цыц! Ты у меня дома, а здесь я решаю. Горячего надо.

Еще по дороге к поселку, когда они обогнули длинный пруд, слабо мерцавший слева, и шли грязной колеей, Скосов спрашивал у солдата обычное, что первое приходило в голову: откуда родом, кто мать, кто отец... И тот вяло отвечал. Но из разговора такого, конечно, ускользало то главное, что и составляет суть людей. Ускользало, что отец Глушкова, несмотря на солидные должности (редактор городской газеты, пресс-секретарь в крупной металлургической компании), был ничтожным беспомощным человеком, тихим пьяницей, которого по-настоящему в

жизни интересовали только две вещи: хорошая выпивка и закуска. Для фона ему, конечно, нужна была прилежная жена, которая создавала бы для него уютную питательную среду. Но прилежные женщины, по его убеждению, перевелись на свете, и он давно ушел из семьи просто потому, что взбалмошная самолюбивая мать Димы, учительница литературы, ничего не умела готовить, кроме бутербродов и яичницы, и в доме ее вообще никогда не было того, что принято считать бытом.

Отец, сменив двух несостоявшихся кухарок, в конце концов сам попал в кабалу к молодой блудливой девице из репортеров его газеты. А к тому времени, когда Дима начал писать робкие заметки в его газету, отец почти спился: каждый вечер по дороге с работы он просил водителя остановиться у ближайшей рюмочной, покупал три стограммовых пластмассовых стаканчика водки — свою терпимую, как он говорил, дозу — и, не торопясь, выпивал их на заднем сиденье машины, закусывая дешевой карамелью. Он строго блюл привычку, обретенную еще в годы «сухого закона», когда пить с его номенклатурными склонностями приходилось только тайком.

Мать же Глушкова с молодости мыслила себя в душе Асей, которую выдумал классик. И так, на всю жизнь она и осталась выдуманной женщиной. В квартире их где ни попадая валялись книги и вещи, ржавая подтекающая мойка на кухне была нагружена грязной посудой, а под ванной в многолетних сырых хламных залежах среди почерневших молочных бутылок, которые не выпускались промышленностью уже несколько лет, росли маленькие бледные грибки на тонких ножках. У матери были романтические движения; она могла забытья, и тогда, не замечая сына, она словно репетировала свое общение с кем-то: жесты ее становились неторопливы и неопределенны, и губы что-то нашептывали сами собой. С сыном она разговаривала только о литературе. Он так и вырос — среди Болконских, Карамазовых и тараканьих полчищ. И если бы не бабка его, мать отца, ведьма с ядовитым черным взглядом, которым она могла придавить любого, с ее властностью и суровостью, но и с ее притягательностью, потому что сила всегда притягательна, он, пожалуй, и сам бы влился в тягуче-размеренную жизнь, скучную, но спокойную, которая бесцветной слизью расплзается по пространству и времени: институт, газетная работенка, карьерка, две-три кухарки... Он теперь думал, что именно старуха, парализованная на левую сторону, почти не слезавшая со своей провонявшей кровати, во всем и виновата. А он и не знал: ненавидеть ли ее.

В последний год, когда Глушков писал заметки в газету, отец повадился подсылать его к своей больной матери, потому что сам боялся ее чудачеств. Глушков обреченно носил к бабке сумки с провизией. Он открывал дверь выданным ему ключом и еще с порога стиснутым вдохом впускал в себя полную старческих болезненных миазмов атмосфе-

ру однокомнатной «хрущевки». Громко работал телевизор, но бабкин голос перекрывал все звуки:

— Кого там несет?

Глушков робко подавался в комнату и видел старуху, приподнявшуюся в своем кроватном логове на здоровой руке, нахмурившуюся, готовую рыкнуть на вошедшего.

— А, это ты... — разочарованно смягчалась она, и ядовито добавляла: — А я уж думала, что мой бесценный сыночек решил меня почитать... — Потом заинтересованно с прищуром смотрела на сумку: — Отнеси на кухню, положи на стол, придет Томка, разберет. Что он там мне передал, опять, наверно, бананы положил?... Знает стервец, что я терпеть не могу гадость эту.

Глушков шел на кухню, выгружал сумку, бабка же нетерпеливо с раздражением говорила:

— Передай ему, что за последний месяц Томке не заплатил, она, что же, мне сестра что ли, чтобы задаром сидеть со мной?... Иди сюда, дай посмотрю на тебя. Поговори со мной...

Глушков шел в комнату, садился подальше от кровати, за стол. Бабка непослушным корявым пальцем тыкала в дистанционный пульт, выключала телевизор. И вдруг, будто первый раз замечала перед собой внука, говорила с недоумением:

— Вот надо ж, родили себе куклу. Маменькин сынок. А хлипкий, а губошлеп... И куда ты дальше такой?..

— Ба... — с упреком произносил Глушков.

— Что ты мне «ба»... Куда ж ты годишься такой?

— Куда угодно гожусь, — тихо, с упрямством отвечал он.

Но она будто не слышала его, голос ее становился громче, лицо опять хмурилось:

— А ты стань прежде мужиком... В институт они захотели... Ишь ты! А ты стань прежде мужиком, а ты послужи прежде в армии, или в тюрьме за дело посиди, а потом в игрушки играй.

— Ба, ты чего, совсем, что ли... — хихикал Глушков.

Но она его и теперь не слышала, на нее наваливалась усталость, она укладывалась на подушку и говорила утомленно, глядя в потолок, но с пренебрежной сердитостью:

— Мой пойкойничек, было дело, и в армии послужил, и в тюрьме посидел, а каков мужик был, всем мужикам мужик... Он такой гниде нос набок свернул... А ты... И-э-х. И кого родили?

А в тот день вдруг ни грозного вопроса-окрика, ни маразматических поучений. А жалобное пришибленное молчание. Бабка прятала от него глаза — закрывалась словно ненароком заскорузлой ладошкой. Он прошел в комнату. Она только украдкой взглянула на него черным глазом из-под ладони. Он разгрузил сумку на кухне, вернулся в комна-

ту, ожидая привычного бабкиного шума. Та молчала. Он с недоумением спросил:

— Ба, ты чего?

Она же, не отрывая ладони от лица, вдруг жалобно заговорила:

— Совсем я никудышная стала, списывать меня пора, совсем я ослабла... До толчка не дотащилась, обделалась... Совсем твоя бабка израсходовалась...

Он растерялся.

— Ты вот что, Димончик... Ты сходи-ка к Томке. Я уж звонила ей, звонила, телефон оборвала. Пусть придет поменяет.

Он пошел соседке, но той не оказалось дома. И с полчаса он ждал, сидя на кухне, потом опять ходил на лестничную площадку, с остервенением звонил и стучал в соседнюю дверь. И опять ждал, не уходил, с тоской чувствуя, что сейчас взвалится все это на него...

Наконец бабка жалобно сказала:

— Небось, уже не придет до вечера, она на базар пристроилась сигаретами торговать... Видно, мне совсем сопреть...

И пришлось ему, восемнадцатилетнему пацану, который даже на картинках стеснялся смотреть голых женщин, пришлось, содрогаясь от ужаса и тошноты, вертеть на постели тяжелую старуху, менять обгаженное белье и мокрой тряпкой протирать ее мохнатые, сморщенные, уже не нужные для жизни складки.

Потом он засобиравшись домой, и когда уже хотел уйти, молчавшая бабка вдруг стала тихо трястись-плакать:

— Прости меня, Димончик, прости старую, сраную...

— Да что ты, ба... — залепетал он. — Я пойду, ба... Пойду...

— Прости гадкую...

Его больше всего в тот день поразила именно эта окончательная беспомощность, полное поражение сильной самодурствующей старухи. От ее жалобности, слабости вдруг повеяло холодком, еще не знакомым ему пугающим жутковатым холодком. И уже дома в тот же день он в каком-то отрешении чистил картошку на кухне. Пришла мама с работы, в обычной своей радостной взвинченности с порога стала говорить ему:

— Дмитрий, я, наконец-то, достала... В букинисте — два тома Павича. Тебе нужно обязательно прочитать, это по крайней мере экстравагантно...

Он вдруг оборвал ее:

— Я не буду читать...

— Почему? — искренне удивилась мама.

— Потому что я не хочу... Я ненавижу читать... Я никогда терпеть не мог читать, — он говорил тихо, но все больше распаляясь, все больше насыщаясь ядовитостью, так похожей на бабкину, и не мог остановиться, хотя сам же понимал, что говорит сущую глупость. — Вы меня

с отцом всегда заставляли и заставляли... А я ненавижу читать, и я больше не буду... Отстань от меня и не лезь ко мне больше... А лучше пойдите с папенькой и сами подберите за ней говно...

— Сынок, ты что?.. — глаза ее округлились.

— Отстань от меня. — Он отвернулся, бросил картофелину и нож в раковину, тщательно вымыл руки и ушел в спальню.

Повестку в военкомат он сам достал из почтового ящика через несколько дней и, никому слова не сказав, больше недели пронесил ее во внутреннем кармане ветровки. И дотянул-таки до последнего дня. Объявил матери накануне: «Завтра мне к шести ноль-ноль — в армию». И уже мамина истерика ничего исправить не смогла. Заливаясь слезами, она звонила отцу, он в свою очередь названивал каким-то начальникам. Все это уже не интересовало Диму.

Было тогда все в Глушкове: и упрямство, и злость, и стремление сделать назло. Но кроме того было еще одно — пока смутное, не округлившееся чувство. Оно было сродни странному желанию заглянуть по ту сторону жизни, в смерть, которое преследует и тянет за ноги каждого человека, сумевшего осмыслить себя, на протяжении всей его жизни. Но он тогда еще не знал о тщетности, фантастичности этого желания.

Расположившись за столом напротив солдата, скромно поедающего тарелку горячего супа с клецками, Скосов продолжал расспрашивать:

— А брат, сестра есть?

— Можно сказать, что есть, — отвечал Глушков. — Брат есть.

— Как это «можно сказать»? — удивленно поднимал брови Скосов. — Либо есть, либо нет...

— У папы семья другая, и мы как-то не очень с ними... — Глушков уже отодвинул осторожно тарелку и положил ложку на краешек. — Но в прошлом году ездили в деревню на два дня, папа меня взял... Брат еще маленький совсем — детсад...

— Чайку теперь, — сказал Скосов, но Глушков запротестовал:

— Нет, что вы... я уже ничего... сыт, не хочу... Спасибо.

Скосов все равно налил глубокою чашку, без настойчивости придвинул к нему: хочешь — пей, не хочешь — не надо. Сам он, несмотря на обилие в доме бокалов и чашек, пил чай из обыкновенной стеклянной поллитровой банки, которая давно от заварки приобрела темно-коричневый, никотиновый, цвет. Вычурная непритязательность этой посуды доставляла наслаждение хозяину дома именно своей аскетической простотой — он словно получал большую независимость от бытовой замкнутости, пользуясь этой банкой. Обхватив ее шершавыми ладонями, он потягивал чай со вкусом, еле слышно причмокивая, не гнушаясь этого невольного звука.

— Это плохо, когда «можно сказать». Потому что самое важное, что еще есть у людей, — это ощущение родства... Мы только вчера жили

родовой общиной, — стал вдруг отвлеченно рассуждать Скосов. — А теперь взять и разрушить все одним махом — но ведь это же целый миллион лет, это естество людей... — Он подсыпал сахар в чай и рассеянно поболтал ложкой, позвякивая по банке. — Я ведь тоже безотцовщина, но за родню всегда держался крепко — дядья, тетки... Пока сюда, вот, не приехал. — Он покосился в сторону спальни, где в теплых глубинах беспокойно ворочалась на постели его супруга. Погремев кастрюлями и собрав на стол, она давно ушла в комнату и, сопротивляясь сну, из последних сил прислушивалась к разговору.

— А здесь — один... — сказал Скосов, подразумевая, что она слышит его. — И пацан уехал, застрял на материке, навсегда, наверное... Стал торгашом. Какая-то автомобильная фирма... — Он тяжело помолчал минуту. — А тогда зачем мне все это?.. Весь навоз этот. Возьму и сплужу когда-нибудь к едрене фене... Человек должен очищаться. Время от времени. И начинать с нуля... Вот так-то, Дима. Иначе жизнь теряет свой вкус..

В спальне громко заворочались, но смолчали.

Он поднялся из-за стола, закурил и лег у печки боком прямо на чистый крашенный пол, почти ткнувшись лицом в раскрытую дверцу. Дым от сигареты сизыми полосами всасывался воздушной тягой в топку. Скосов так всегда курил дома, чтобы не дымить, иначе жена ругала его, и это давно стало его крепкой привычкой. И он, выкурил в полном молчании почти всю сигарету, так что супруга его за это время успокоилась и заснула — из комнаты сначала долетел слабый посвист, в котором постепенно появилась вибрация, скоро перешедшая в тягостный дребезжащий храп. А потом Скосов добавил:

— Да, и надо бы весь балласт разом скинуть... Но иной раз подумаешь: ну и что из этого? Итог все равно один — так или иначе опять начнешь обрастать новым балластом, опять встанешь на прежний круг, и все так же и завертится, как вертелось... — Он замолчал, о чем-то размышляя, и покосился на солдата: — Наломал ты, парень, таких дров...

Безответный слушатель его откровенно спал, нагнув вперед неровно стриженную голову и путив из приоткрытого рта длинную нечаянную слюну.

— Да... — только и мог сказать Скосов. Он подпер щеку рукой и, дослуживая окуроч, внимательно следил за дымом, который заколдованно улетал в черную печную утробу. И Скосов машинально пытался представить себе весь этот неровный, изломанный трубными коленами стремительный полет дыма, который на улице вырывался из жерла трубы, а дальше всё — никакой стремительности уже быть не могло, дальше начиналась одна размазня в мокром воздухе.

— А взять бы и спалить, — задумчиво повторил он, но теперь уже без тени озабоченности, а просто так, чтобы вникнуть в старые слова, и

произнесенные в одиночестве, без слушателей, они звучали совсем по-другому — блекло, неубедительно.

* * *

Был момент в жизни Скосова, уже отодвинутый в прошлое на несколько лет, когда к нему наконец пришло осознание, что сам он вовсе не светлая начитанная натура, наполненная поэтическим смыслом, как часто мыслил себя, а рядовой добытчик денег, в которого совершенно незаметно преобразовался под давлением неких сил, неких житейских безобидных обстоятельств. И теперь уже, кажется, не имело значения, кем он был раньше, до приезда на Курилы, кем мог стать. В той цепочке событий, все больше и больше трансформировавших его в крепкого хозяина, обросшего достатком, ключевым было, по его мнению, одно — женитьба на восемнадцатилетней девчонке, под очаровательным обликом которой таилась твердокаменная кондовая обывательница, владеющая самым сильным на свете инстинктом — хватательным... Она ничего не упускала. И к тем предметам, которые как-то сами собой налипали на ее руки, к зимним сапожкам, комплекту чешской мебели, к новому холодильнику — принадлежал и сам Скосов. Он теперь хорошо понимал смысл тех обстоятельных страшно раздражающих его бесед с ее мамой, полной, одрябшей женщиной, которая присказкой к месту и не к месту любила приговаривать: «Все для дома, все для семьи». Беседы его раздражали, но каким-то образом он однажды обнаружил себя уже втянутым в круговорот накопления достатка, он и не заметил, как все его прошлое: институт, интересная работа с грошовым заработком, увлечения — все просочилось в песок времени. Молодая пара уехала на двухгодичные заработки. И два эти запланированных года растянулись почти на три десятилетия. Но что самое страшное, Скосов с годами начал понимать, что иной жизни он и не мог принять, что в сущности он и не противился никогда затягивающей его трясине. Что он самой природой был запланирован обрастать достатком, коровами, свиньями, курами, бочками лосося, доходами от контрабандной торговли икоркой, всеми этими мещанскими фетишами: денежными, вещевыми, пищевыми. Страна разорилась вокруг, а он, ведомый своей свирепой супругой, с которой и брехал день и ночь, но с которой чудесным образом находил общий язык, устоял в лихолетье. И более того, где-то в тайных закутах жены хранился чулочек, в-тугую набитый зелеными хрустящими бумажками — Скосов так себе и представлял этот оберегаемый даже от его случайных поползновений домашний банк супруги — в виде старого чулка с торчащими из дыр купюрами.

И только спустя десятилетия, подобравшись к тому пределу, за которым, оказывается, неизбежно следует старость, Скосов, бывало, слов-

но просыпался с горьким чувством протеста, с желанием бунта. Да вот только не знал он, как нужно было бунтовать, чтобы не ошибиться, чтобы не угодить в новую трясиину, чтобы не сменять шило на мыло. Знал бы, то, пожалуй, давно бросил бы и жену, и хозяйство, и дом... Так что его никогда на многое не хватало. А хватало только на то, чтобы побуянить — в меру, в неких отмеренных подспудной меркой пределах. А такое буйство хотя и вызывало обязательное гневливое возмущение жителей поселка: «Чегой-то он на старости лет взбесился?» — но в то же время рождало и сопереживание: «Да с кем не бывает...» — ведь все видели, что мужик где-то на последней грани, на последнем ударе пасовал, опускал руки. И никто не мог додуматься, что он всего лишь безнадежно сражается с самим собой.

А он безжалостно бивал хрустальные вазы и фужеры, фарфоровые сервизы, порол складным рыбацким ножом тяжелые пресыщенные красками ковры, а однажды разодрал в клочья свое кожаное пальто, подбитое тонкорунной овчиной. Провисело оно в шкафу не больше месяца, и, может быть, с ним ничего бы не случилось, если бы во время очередного скандала Скосов не припомнил, как еще в день покупки, когда он, в общем-то довольный, стоял перед зеркалом и, растопырив руки, примерял пальто, жена его не обронила:

— Ну теперь ты лучше всех.

Скосов даже не поморщился тогда, а спустя месяц, по какому-то пьяному скандальному поводу отдирая рукава пальто, он в бешенстве орал:

— Запомни, мыра, если я надену последнюю дрань, я все равно буду лучше всей твоей торгашеской мрази... — Тонкая турецкая кожа трещала, как обыкновенная тряпка, и жена при каждом таком трескуче-раздирающем звуке выкрикивала из коридора, куда заблаговременно отступила:

— Паразит ты!.. Свинья!.. Ненавижу!..

В последнее время, с того самого момента, когда была получена телеграмма о рождении внука, жена не подавала ему поводов для буйства, необъяснимым женским чутьем угадывая в его душе затаившуюся разрушительную силу. Дальше коротких осторожных перепалок дело не шло. Вот и в этот вечер только ненадолго что-то вскипело в Скосове и улеглось, не осуществившись...

Он поднялся и отвел сонного солдата, бубнившего ненужные извинения, в боковую комнату, где помещался узкий диван.

— Спать будешь здесь... Подушка, одеяло... Если приспитит ночью, выключатель — вот...

Скосов вернулся на просторную кухню. Теперь он остался один, вновь примостился у печки и долго еще курил, роняя красные искры на рукав теплой фланелевой рубашки. А печь жадно глотала дым. И в одно мгновение Скосову вдруг стало страшно смотреть в ее пустой черный объем,

словно топка была лазом в преисподнюю. Скосов сначала судорожно отстранился, а потом и усмехнулся своей слабости.

В тот день, когда он вернулся с покоса и сжег в этой печке свои фотографии, жена его к вечеру собрала стол, на котором не вместились все готовые яства, и пришлось составить на пол телевизор, новый «Панасоник» в черном панцире, чтобы использовать как приставку к столу тумбочку из-под него. И пришли званые гости, две пары супругов средних лет, из числа подающих большие надежды обывателей: два с виду разных мужика — невысокий, толстенький, и высокий, жилистый, сильный, и две бабенки при них, тоже разные обличьем и в то же время одинаковые, имеющие нечто родственное в глазах, в лицах, в манерах, в разговорах. И братская общность их, наверное, заключалась в том, что люди называют житейской мудростью, скрывающей умение крепко держаться за свой кусок, да и за чужой, если он подвернется под руку. Так рассуждал про себя Скосов.

Но сначала все шло доброжелательно, чинно, пристойно, было произнесено множество тостов «за копытца». И Скосов внешне был благодушно-улыбчивым, с поднятым фужером водки он философствовал о смене поколений, о патриархальности и семье, а потом тяжело напился и замолчал, уставившись в мутное, скрытое от посторонних видение белыми тупыми глазами. И окружающие могли заметить на кончике его сизого носа блестящую каплю, которая начинала мелко дрожать и едва не обрывалась при каждом горячем выдохе.

Но сам Скосов не замечал и не чувствовал себя. Из всего вечера он и запомнил только зев печки, перед которой теперь, спустя трое суток, он прилег и курил. В тот вечер он, наверное, так же привычно курил у нее и смотрел, как печь засасывает дым. И тяга становилась все сильнее и сильнее. И наконец Скосову показалось, что сейчас в эту черную пасть втянет и его — втянет и высосет из него кровь, черные чугунные губы уже, кажется, обхватили ему голову, и тогда он от ужаса зажмурился. Он так и уснул в своей белоснежной старомодной сорочке из нейлона на полу, и пьяные гости, оравшие песни, не тревожили хозяйина дома, зная его буйный нрав. Если кому-то нужно было выйти, через него переступали, как через хрупкий предмет.

Той ночью ливень всюду заливал холодными потоками остров, и в нескольких километрах от дома Скосова, в одном из распадков, скорчившись в ивовых сплетениях под жиденькой не спасавшей от дождя кроной, забылся другой человек, насквозь вымокший и продрогший. Он не спал, но звуки долетали до него, одолевая множество неясных препятствий и мешаясь со смутными тревожными образами. Очнулся же Глушков с первым светом. Дождь прервался, и лес залило тяжелым мокрым туманом. Сквозь мглу просачивался гнетущий звук — в гарнизоне опять включили сирену. Вой долетал издали, разбавляя многоки-

лометровую воздушную толщу. Глушков вслушивался, как нарастает, а потом опадает, растекается по туману надсадный звук.

Он поднялся и какое-то время не двигался, обхватив дерево озябшими руками и дожидаясь, когда оживут затекшие ноги. А потом побрел вдоль стремительной речушки, петляющей по распадку. В эту речку он едва не свалился ночью, продираясь через заросли. В темноте он почувствовал ее совсем случайно, приняв сперва за нечто живое, огромное, шевелящееся впереди, и долго потом не мог преодолеть внезапное ощущение, что его обхватят склизкие тугие щупальца. К утру же русло, похожее на извилистую канаву, до краев наполнилось шумно несущейся к морскому побережью мутью.

На эту речку командир роты, brave усатый капитан Быкин, обладатель крупного водянистого красного носа, приводил солдат добывать икру, которую он затем переправлял для продажи посылками на материк. Это было единственным увлекательным занятием капитана. Все остальное тяготило его непомерно: явки в казарму, разводы, дежурства. Он сам приезжал на речку, чего другие офицеры никогда не делали, доверяя руководить добычей икры надсмотрщикам из старослужащих, и сам постегивал длинной ивовой хворостиной своих узаконенных рабов.

Последний раз Глушков был здесь за несколько дней до побега. Два солдата перегораживали речку двумя огромными, с полтораметровым устьем и трехметровым карманом, сачками, а двое других, и один из них Глушков, поднимались чуть выше по течению и, войдя по пояс в холодную стремнину, сгоняли кету вниз, в сачки.

Ненужных пойманных самцов бросали назад, в воду, а самок резали перочинными ножами. Икрой наполняли большие эмалированные ведра, куда напарник Глушкова — рядовой Ляпустин время от времени украдкой подсыпал какой-нибудь грязи: гнилую травинку, горсточку земли, или просто, изловчившись, незаметно выхаркивал в ладонь изрядно соплей и размазывал их по ядреным сочным красным ястыкам. Выпотрошенную рыбу забрасывали в кусты — по берегам речки ее гнило многие тонны. Ливень не мог прибить кислую тошнотворную вонь, от которой даже резь стояла в глазах, широко разливающуюся по распадку.

Глушкова постоянно мучило от вони. Уже давно ему чудился шум моторов из-за гребня распадка. Шум этот перемещался, сползал влево, вправо, удалялся, делался ближе, а потом зазвучал с дороги, пролегающей от гарнизона к побережью. Вдоль распадка шли, наверное, вездеходы, часто останавливались и вновь начинали медленно двигаться, скрытые крутым откосом и лесом. Может быть, как раз из-за Глушкова и была затеяна эта езда техники. Он ускорил шаг, а потом и вовсе побежал, но вездеходы с рокотом и лязгом прошли мимо. И потом в течение дня шум транспорта неоднократно раздавался с дороги. Глуш-

ков к этому времени соорудил себе под крутым заросшим откосом маленький неприметный шалашик. Отсиживался в нем до вечера.

Ближе к сумеркам он выбрался на опушку леса, росшего в распадке, и меньше чем в километре увидел окраинные домики гражданского поселка на берегу моря, которое поднималось за домиками и почему-то выше них, выше земли, серой одноликой массой, и Глушков тогда подумал, что ближе, чем теперь, он еще не видел моря: жил в центре материка, к месту службы доставлялся самолетом, из обнесенного бетоном гарнизона вывозился только несколько раз на стрельбище вглубь острова. И он удивился, что в море не было ничего, никаких деталей, только одна эта довлеющая серая масса.

В домиках с наступлением сумерек засветились окна. Жили здесь, наверное, совсем обычные люди. И жизнь их — Глушков вдруг смог это себе ясно представить — была наполнена всевозможными мелочами. Из какой-то трубы шел дымок, и, наверное, жара стояла в том доме. И кто-то, может быть, лениво ковырялся вилкой в незатейливой, но обильной еде, и какая-нибудь распаренная хозяйка в широкой мужниной майке возилась с постирушкой в оцинкованном корыте с бортами, как у гнutoй лады, а другая хозяйка, наверное, громко ругалась и нещадно лупила кулаком по брюху моргающую корову, влезшую во время дойки навозным копытом в молочное ведро. Глушков в своей жизни лишь два раза видел, как доят корову, но теперь, вдыхая провонявший тухлой кетой воздух, он вдруг ясно представил себе все обстоятельства такого нехитрого и в то же время завораживающего действия: представил толстое вымя и крепкие скрюченные пальцы, выметывающие из соццов две струйки молока, коровью морду, самодовольно и блаженно перемалывающую жвачку, ее губы, мясисто-кожаные, подвижные и мокрые, которые — поднеси к ним кусок хлеба — прихватят и руку, но, обмусолив, выпустят.

* * *

Ночью Глушков проснулся и как был, в трусах, побежал на улицу — живот его, отвыкший от нормальной пищи, бурливший и дувшийся, уже не оставил времени одеться. На темной веранде Глушков столкнулся с хозяином дома. Дальний уличный фонарь еле серебрил неподвижный воздух, и увидев в открытой двери большой темный человеческий силуэт, Глушков вздрогнул от неожиданности. А Скосов, по своему обыкновению вставший ночью покурить, вышел на веранду, распахнул дверь и удивился теплomu туманному воздуху, накрывшему остров в этот поздний час в самом конце октября. Океан дохнул на землю теплом далеких тропиков.

Скосов с наслаждением вдыхал морскую угасающую теплынь, смешанную с горьковатым дымом сигаретки. А когда за спиной раздалось

задавленное «Ой!» — он в свою очередь, как и Глушков, ощутил испуганный холодок в груди.

Он заставил Глушкова обуть огромные разбитые башмаки, накинул ему на плечи куртку, сунул в руки электрический фонарик и показал с веранды тропинку, ведущую через огородик к нужной двери. И Скосов скоро вновь погрузился в свои мысли, он смотрел на дальний фонарь, медленно паривший во влажном темно-сизом пространстве. Во все стороны от фонаря разлеталась блестящей слюдяной пылью легчайшая морось.

Солдат вернулся, замер рядом.

— Море отдает тепло, — сказал Скосов. — За лето прогрелось, а теперь дышит... Наверное, последнее тепло в этом году, скоро похолодает и заштормит. — Он громко покашлял, но сам же пожалел, что нарушил таким корявым звуком тишину. Прислонившись плечом к дверному косяку, он пускал в воздух мутные струи дыма, которые неохотно уплзали вверх, сливаясь с темнотой.

Солдат тоже смотрел в непонятное пространство ночи, словно желал разгадать эту темень с ее бескрайностью и пустотой. Голые ноги его, торчащие из-под длинной куртки, белели, как обглоданные мослы.

— Сильно били? — спросил Скосов.

— Что?.. — не понял сначала Глушков. Пожал плечами: — А какая теперь разница?

— Не скажи, разница есть.

Они помолчали, и Скосов спросил еще:

— Что же ты — стрелял и ни в кого не попал — случайно? Или не хотел ни в кого попасть?

— Я не знаю, — вяло ответил Глушков. — Стрелял и все тут...

— Ладно, иди спать. — Но не пошевелился, чтобы посторониться и пропустить Глушкова в дверях, и тот также не тронулся с места, а лишь переминался с ноги на ногу, то ли ожидал еще каких-нибудь слов от хозяина, то ли сам желал заговорить.

— Я думал сегодня весь вечер, — сказал Скосов, — сам бы я стал стрелять?.. И знаешь, почему я тебя привел в свой дом?.. Потому что я тоже стрелял бы... И вот, кажется, так оно и есть, и не так... Вот что самое трудное и непонятное. Ты стрелял от слабости и отчаяния, а я бы то же самое сделал от силы и самолюбия... Но вот каким образом две такие противоположности дают одно и то же, один и тот же выход? Или тупик? — Он удивленно помолчал и, переменив тон, добавил: — Одно несомненно: кашу ты заварил, теперь надо думать, как ее расхлебывать...

Он прикурил еще одну сигарету. Кислый дым вновь потек в темноту, заглушая все остальные запахи.

— А сейчас иди спать, решать мы сейчас все равно ничего не будем. Всё — утром..

— Да что же решать... Утром — не утром, — с тихим отчаянием и даже злобой сказал Глушков. — Мое дело ясное. Я все понимаю... Вам спасибо огромное... Утром я уйду...

— А я тебя не держу. Иди, — усмехнулся Скосов.

Но в усмешке его была снисходительность, и Глушков почувствовал это.

— Все равно ничего не выйдет, — промямлил Глушков. Он присел на низкое крыльцо, понурился.

— Может быть, не выйдет. Пока не знаю. Но посмотрим завтра... Соберу мужиков, пойдем к твоим командирам. Не знаю пока, но что-то сделаю... Я могу на Сахалин поехать, в округ, матерей этих ваших подключить, да я такой кипишь устрою...

— Ничего из этого не выйдет, — тихо перебил Глушков. — Вы же сами знаете, что не выйдет, что же вы меня все успокоить пытаетесь. — Он помолчал, собираясь с духом. — Я вам в тягость не буду, утром я уйду...

— И что же, сдаваться пойдешь? — теперь уже серьезно спросил Скосов.

— Не-ет, — язвительно протянул Глушков. — Что угодно, а сдаваться я не пойду. Я им еще докажу... — Он опять замолчал.

Скосов прикурил вторую сигарету и вдруг сказал твердо:

— Не позднее завтрашней ночи я переправлю тебя в Японию... — И будто сам же удивился этой мысли.

— В Японию? — Глушков посмотрел на него недоуменно. — Что же я там буду делать, в Японии?

— Ну это уж ты сам решишь... Жить будешь, на воле жить.

Глушков пожал плечами:

— Я как-то никогда не думал... Какая-то Япония...

— Ладно, что сейчас рассусоливать, иди спать, завтра подумаем...

Но Глушков не ушел, и Скосов заговорил — малоубедительно, словно для самого себя:

— Напротив поселка, через пролив, в десяти милях, у них город... Здесь все побережье густо населено... На кунгасе чуть больше часа хода...

И он опять замолчал, тяжело, муторно, потупившись, и только тянул и тянул свою дешевую вонючую сигарету и думал о чем-то, думал.

— Кому я там нужен... — осторожно сказал Глушков. — меня назад сдадут на следующий день.

— Не сдадут, — убежденно возразил Скосов. — Им бы за какой только скандал ни зацепиться... с этими их северными территориями... — И опять задумался, отрешенно, слепо.

— А пограничники?

— Да, пограничники, — произнес Скосов, не поворачивая лица. А думал совсем о другом. — У меня есть ключ от пирсового склада, уж я за-

начил себе ключ, когда увольнялся. А в складе и движок от кунгаса... — Он прервался.

Из дома напротив послышались неясные звуки, там включили свет, и вдруг отворилась дверь на улицу, свет вырвался на простор, и огромная человеческая тень задвигалась по двору, налетела на Глушкова.

— Цыц... Сюда давай, — тихо и неистово проговорил Скосов, затаскивая Глушкова на веранду, но сам он вышел на улицу и уже громким шутивым голосом обратился к человеческому силуэту, окруженному ярким световым нимбом: — Вася! Чарку принял?

Глушков из-за двери слышал, как в ответ громко гоготнули:

— Га!

Это «га» умчалось в темноту, и тишина влажной тьмы окончательно разрушилась. Недалеко грубой глоткой оповестил о своей службе пес, чуть в стороне раздался такой же басистый лай, словно кто-то тяжелой кувалдой стал вбивать в мягкую ночь толстые деревянные сваи. И скоро уже все собаки поселка — крупные восточные лайки — проклинали эту ночь с ее тишиной и неподвижностью.

Люди замолчали, невольно слушая собак, и невидимый сосед с той же шутивостью громко спросил:

— Кого прячешь?

— Ха! Кого прячешь! — откликнулся хозяин дома. — Тебе расскажи, и тоже захочешь...

С улицы послышались шлепающие шаги, хлопнула калитка, опять шаги, и через минуту поток света из соседнего дома иссяк. Скосов вошел на веранду.

— Хорошо бы набить твоим командирам морду, — сказал он и поправился: — Отцам-командирам...

Скосов помнил: года два назад, когда в гарнизоне сломалась котельная и офицеры с семьями приезжали мыться в поселковую баню, он, хмельной и распаренный, разговаривал в раскаленной парной с начальником гарнизона — пухлым улыбчивым мужичком с носом уточкой и телом кубышечкой. Бледные жиры подполковника Пырьева покраснелись и залоснились, и он расслабленно спустился на самую нижнюю полку и охал, потряхивая веником над своими округлыми бабьими плечами. Однако левой рукой он не забывал укрывать, как будто случайно, свой отросточек, и без того надежно укрытый в напозающих складках живота и двух толстых вздрагивающих ляжек.

— Да понимаешь ли ты, что все твое войско — это мясо, баранина, — здоровым басом вещал Скосов. — Сборище балбесов. Они только сортиры чистить умеют, да и то плохо.

И Скосов хохотал при этом. А голый подполковник, похожий даже не на продавца, а на продавщицу ливерной колбасы, тихо хихикал, и казалось, что хихикает все его мелко трясущееся тело.

— Зря вы здесь землю гадите... А нужен один взвод, в котором я служил в свое время, — говорил Скосов, и лицо его красно горело. — И все твоё войско через сутки сдастся мне в плен. Потому что меня воевать учили. А ты солдат ничему не учишь... Ты только с «кусками» у них тушенку крадешь... и нам же, гражданским, у которых такие же пацаны по армии, эту тушенку продаешь...

Пырьев, на счастье которого в парной не было его подчиненных, тихо хихикал и качал головой:

— Брось ты чепуху молоть...

— Вот тебе и брось. А тушенкой этой в следующий раз я тебя накормлю, ведра не пожалею. Хочешь? Нет?

Были времена, Скосова за подобную болтовню таскали к особисту в пограничную комендатуру. Но ему все сходило с рук. Он мог затихнуть на какое-то время, а потом дух противоречия вновь рвался из него. И майор-особист даже привык к общению с этим человеком, встречал его с улыбкой, одновременно таящей и ехидство, и властность. И протрезвевший Скосов, являясь на допрос в приподнято-бравом настроении, выслушивал майора с наигранной придурковатостью, шевеля бровями и поминутно восклицая: «Правда, что ли?».

«Вы взрослый человек, должны знать, что я могу дать вам предписание на отъезд с острова в двадцать четыре часа...» — «Иваныч! Что ж ты строг! — И вдруг наклонялся к майору, говорил полусшепотом: — Иваныч, как же ты меня отправишь с острова? С кем ты тогда работать будешь, с баранами? Ведь с ними неинтересно.» — «Нет, не с баранами, — тонко улыбаясь, поправлял его майор, — с честными советскими людьми». Скосов, чувствуя промашку, распрямлялся: «Все, заметано! В следующий раз слова не скажу — сразу буду бить в харю.» — «Кого бить в харю?» — оторопело спрашивал майор. «Ну, Иваныч, ты должен понять, что тебя я и в мыслях не держал». — Губы майора пытались кривиться в усмешке, он, еле сдерживая злость, все-таки шел на попятную: «Вот и хорошо, битье в харю — это уже заботы вашего участка, ну а с ним сладить вам будет куда проще, чем с нами...».

Времена те обратились в иллюзию, крамольные речи утратили острый вкус до постной обыденности, и, что удивительно, Скосов поумерил пыл, если он и выступал отныне, то лишь по инерции, по старой привычке: свободы желать уже было не к чему, свободы, как он сам говорил, было до бровей.

Собаки угомонились, тишина вновь набирала силу, и Глушков, пробираясь по темному жилью к отведенной ему постели, уже ни о чем не мог думать, он ощущал только одно — самое важное для себя: одиночество его кончилось. Душа его погрузилась в необыкновенную умиротворенность, будто сонное дитя в теплую пуховую перину. Судьба его уже вольно катилась по случайному руслу, и куда ее должно было

вынести, в этот час совсем не имело значения. Он провалился в сладчайшую дрему, и все бдительные часовые его, отвыкшие за несколько месяцев армейского срока от покоя, заснули вместе с ним. Они проспали привычный час подъема, не сыграли тревогу.

Глушков открыл глаза, когда в окнах за тяжелыми — от пола до потолка — темно-лимонными шторами с узорами уже поднялся день. Звуки сочлились с улицы, и были эти слабые голоса и приглушенное тарыхтение какого-то мотора по-домашнему мирными и размеренными, так что хотелось вновь закрыть глаза и, ловя их слабый убаюкивающий рокот, вернуться в сон.

Пробудившись, Глушков не знал, что хозяин дома несколькими минутами раньше, прежде чем отправиться в свою кочегарку, куда он устроился всего две недели назад, бросив рыбалку, заглядывал в комнату и долго пристально всматривался в солдата, словно утренний свет мог приоткрыть что-нибудь в спящем лице — Скосов хорошо знал, что во сне все лица одинаковы: и у праведников, и у негодяев, но чувствовал, что в общем-то это и не важно, куда важнее было то, что сам он вновь обрел нечто утраченное, и пусть ненадолго, пусть достижения эти были призрачны, но он вновь безотчетно чувствовал свою значимость, как если бы спящий непутевый малый оказался его родным сыном, плохим ли, хорошим ли, угодным или совсем бесполезным для всей земли.

От Скосова в комнате остался терпкий запах табачного дыма. И Глушков чувствовал этот запах, не придавая ему значения. Он надел темно-синий спортивный костюм, который еще ночью ему подыскал в шкафу хозяин дома. Костюм был слишком широк, и пришлось затягивать резинку на поясе, отчего брюки стали похожими на запорожские шаровары. Носки ему дать забыли, и он некоторое время сидел на диване босой, рассматривая на ногах пальцы с облезающей желтой кожей. И он вдруг вспомнил, что давно уже не сидел вот так просто, праздно, свесив босые ноги на пол.

В соседнем комнате хлопнула дверь, послышались шаги, громыхнула посуда, зашумела вода. Потом дробно застучал нож по доске — Глушков сразу узнал этот звук. Он осторожно подошел к дверному проему, отодвинул занавеску.

Хозяйка, тучно восседавшая за столом, шинковала длинным ножом белый скрипучий капустный качан... Она бесцветно из-под бровей взглянула на Глушкова.

— Встал?

— Доброе утро... — смущенно сказал Глушков, не проходя дальше дверей.

— Да уж... доброе, — промолвила она, опять упершись глазами в свою работу.

— А где же?..

— А... Он сказал, ждать и никуда не выходить. В обед придет.

Она замолчала и только продолжала шинковать капусту, на глазах перетекающую из рыхлого белого шара в горку шинкованных лепестков, влажных на срезе. Нож, подобно птичьему клюву, громко частил по доске. Женщина больше и не пыталась заговорить и не смотрела в его сторону, не пытаясь скрыть холодного недовольства, почти неприязни к Глушкову. Видимо, утром у нее состоялся совсем не ласковый разговор с мужем о солдате. Глушков тихо вернулся в комнату, застелил постель по казарменному образцу, отбив кантик на покрывале.

Немного раздвинув шторы на окне, он стал с опаской смотреть на улицу. Недалеко старенький колесный трактор с покосившейся кабиной без лобового стекла вхолостую расходовал топливо в пасмурный воздух. К отдельно стоящему строению, крашенному в синий цвет, с высоким официальным крыльцом, подрулил тяжелый бортовой грузовик. Из кабины вылез офицер, два солдата выпрыгнули из кузова. Глушков отпрянул от окна, задвинул шторы. Пришлось вновь вернуться на диван и долго утомительно сидеть без дела. Сидел и теперь уже со страхом и нетерпением прислушивался к звукам, долетавшим в комнату.

Голоса на улице переместились, смолкли и скоро раздалась у самого дома. Где-то заскрипела дверь, ударились о косяк, застучали сапоги — шаги были тяжелые, мужские. Хозяйка, кажется, выбежала из дома. С веранды громко забубнили: мужской голос и ее — высокий, убедительный. Дверь вновь ударилась по косяку, в дом вошли.

— Сейчас, сейчас, — говорила женщина.

Загремела посуда, полилась вода, и слышно стало, как невидимый человек пьет громкими захлебывающимися глотками. Чтобы увидеть Глушкова, этому человеку стоило сделать несколько шагов и заглянуть в дверную арку, в которой вместо дверей болталась легкая полупрозрачная занавесь. Напившись, человек сказал баритоном:

— Сбились с ног, третьи сутки почти без сна... Спасибо вам.

— Да не за что.

Человек ушел и скоро хозяйка заглянула в комнату, испуганно посмотрела на Глушкова:

— Да это же тебя ищут... Господи, не хватало нам еще... Господи, помилуй.

Глушков вжался в спинку дивана, ссутулился, глядя себе на босые ноги.

— Господи, помилуй. — Она убежала назад, в кухню, затопала там, потом вернулась, долго пристально смотрела на Глушкова маленькими внимательными глазами, сказала: — Иди поешь. — И добавила как-то обреченно, жалобно: — Ничего знать не хочу... Ох, дурак, ох, дурак. — И вдруг сердито прикрикнула: — Иди — ешь.

— Спасибо, я сыт, — еще больше потупился Глушков.

Она опять выбежала и вернулась, испуганно быстро заговорила:

— Поешь. А я пошла сейчас... Дверь-то на замок не закрываю, все равно никто не войдет. А только шеколду накинута... Ее изнутри толкнуть, дверь-то, она легко откроется. Толкнуть, и откроется...

Она ушла, чем-то грохнула напоследок на веранде, и больше Глушков не слышал от нее ни звука.

На кухонном столе, застеленном цветастой клеенкой, стояли две глубокие тарелки: одна с простым капустным салатом, другая с крупными кусками рыбы, жареной до коричневой корки. Но Глушков не сразу притронулся к еде. Он прошел по тихим комнатам. Был он совсем один в совершенно чужом незнакомом доме, и это было непривычно и удивительно ему. В двух комнатах и широкой кухне стояла простая мебель: пара кроватей, шкаф, диван, телевизор на тумбочке, два кресла с замусоленными подлокотниками, стол и несколько стульев... Все эти предметы давно напитались чужим естеством и, обретя безмолвную одушевленность, теперь теснили Глушкова и будто смотрели на него исподтишка и прикасались к нему невидимыми руками. Глушков кисло улыбался. На кухне, заодно служившей кому-то спальней, он увидел на спинке кровати свое обмундирование. Но прежде чем переодеться, он все-таки сел за стол и неторопливо съел два куса рыбы, запивая ее давно остывшим сладким крепким чаем из фаянсовой чашки. И лишь потом снял с себя мягкий спортивный костюм, облачился в ссохшуюся каляную гимнастерку. Взял шинель с гвоздя у двери, оделся, огладил шинель на боках и сутоло вышел из дома — на двери громко звякнула навесная железная шеколда.

Воздух был пасмурным и спокойным, и только две морские птицы, две грязно-серые чайки дрались в низком неповоротливом небе. И Глушков со страстным любопытством, забыв обо всем, с минуту смотрел на этих птиц, размахивающих длинными неуклюжими крыльями, похожими на коромысла, словно они хотели подцепить друг друга этими коромыслами и опрокинуть в воздухе.

Скосову тоже попались на глаза птицы. Он стоял с противоположного торца крашеного синего одноэтажного здания, у низкого входа в маленькую кочегарку, в которую он устроился работать две недели назад. В здании этом размещалась вся местная власть: администрация, участковый милиционер, почта, узел связи. Скосов с напарником приводили в порядок печь: они должны были в этот же день сделать пробный обогрев власти, и, выйдя покурить, он увидел, задрав голову, двух крикливых чаек. И что-то толкнуло его, он подумал, что надо бы сейчас же бросить все и сходить домой. Сказал напарнику, не старому еще, но седому мужику с послушным обветшалым лицом, что отойдет на десять минут.

Скосов вошел в пустой дом. Не снимая стоптанных сапог, прошел по пустым комнатам, топчя грязными подошвами старенький, но тщательно вычищенный палас. Вернулся на кухню, сел за стол, закурил,

наполняя терпким дымом светлое помещение и роняя пепел на блестящую клеенку. Так он и сидел за столом и напряженно курил одну сигарету за другой, разминая окурки прямо в маленькой фарфоровой солонке, окуная, топя их в мелкий белоснежный песочек на доньшке, пока на улице не хлопнула калитка и не вошла запыхавшаяся от тяжести толстой сумки жена. Она замерла на входе, сразу уловив, учуяв спрессованное в супруге ожесточение, и молча взирала на его бледное затвердевшее лицо, сама ответно ожесточаясь. Он спросил тихо:

— Где пацан?

— Не знаю я, — выдохнула она, одолевая эту свою ярость, которая была бы ей теперь неловкой помощницей. И все-таки почувствовала слабость в муже, попробовала храбриться:

— Я что же, должна сторожить его?.. Вечно тащишь кого ни попада. Не дом — казарма. Мне прикажешь на весь гарнизон готовить?.. А этот мальчишка... Ты вообще в своем уме? Его ищут, он чуть не убил кого-то...

— Ну-ну, — тихо промолвил Скосов.

— И не нукай... Иди, вон, разуйся, наговнил мне тут...

— Так ты не знаешь, где пацан?

— И знать не хочу... Ты посмотри лучше, не упер ли он чего... — И смелея все больше: — Ишь ты, сигаретой и в соль, на стол. А ты мыл?!

— Ну-ну...

Скосов поднялся и, бледный, пошел в сторону хозяйки. Та замолчала, попятилась, машинально приподнимая руки для защиты, но он миновал ее, даже не покосившись в ее сторону. На работу он больше не пошел, направился в поселок, а час спустя вернулся домой сильно пьяным — где-то за магазином он и какой-то его случайный товарищ выпили по бутылке водки. Женщина незаметно удалилась в боковую комнату и оттуда чутко прислушивалась к мужу. А он, опять не разуваясь, уселся за столом на прежнем месте, положил на клеенку тяжелые руки.

— Так ты не знаешь, где пацан? — тем же тихим голосом спросил он. Сузившиеся глаза его были неподвижны.

— Я же тебе сказала. — Голос женщины дрогнул, в нем смешались страх, раздражение, обида. Она медленно вышла из комнаты и стала с опаской продвигаться мимо Скосова к входной двери. — Я не могу его сторожить...

— Мымра, — процедил Скосов, не поднимая на нее глаз, — ты его выгнала... А я тебя предупреждал. — Он помолчал и, тупо глядя на блестящую клеенку, на синюю розу, повторил еще дважды, пьяно и нудно: — А я тебя предупреждал... А я тебя предупреждал...

— Да клянусь, меня даже дома не было...

Но вот она достигла двери и проворно, с громким топотом выбежала, захлопнула за собой дверь, и уже откуда-то с веранды или с улицы донесся ее дикий дребезжащий ужас:

— Убиваю-ут!!.

— Ах ты... — затрясся Скосов. Бешеная сила подняла его, он легко опрокинул тяжелый деревянный стол — так, что, кувыркнувшись в воздухе, тот с грохотом отлетел к кровати у противоположного окна. И что-то еще опрокинул на пол, и смахнул какую-то посудку со столика у водопроводного крана. Но буйство его было устремлено на этот раз на улицу, он вырвался из дома.

Дебелая жена его, вдруг ставшая подвижной и суетливой, молча метнулась от калитки к синему зданию администрации, где уже трое или четверо человек собрались для созерцания скандала на безопасном расстоянии от дома Скосова. И он сначала ринулся в их сторону, но жена побежала дальше, выплескивая из перекошенного рта вопли страха, тогда он через несколько шагов развернулся и устремился к гаражу — низенькому деревянному сарайчику. Выкатил «ижачок».

Когда старенький ржавый мотоцикл с плечистым седоком, страшно ревя неисправным глушителем, промчался мимо людей, жена Скосова сказала в отчаянии:

— Да чтоб ты башку разбил! Расшибся! Сдох!

А Скосов мчался по дороге к гарнизону, лужи фонтанировали грязью из-под колес. Черная куртка из толстого потрепанного дерматина, растянутая наполовину, надувалась на его спине круглым студенистым горбом. Во внутреннем кармане куртки болталась короткая железная монтировка. Когда мотоцикл подбрасывало на ухабах, Скосов выкрикивал во встречный тугий поток рычащей глоткой бесшабашное «Ха!». Он ехал бить начальника гарнизона подполковника Пырьева.

Твердая дорожная насыпь из вулканической пемзы кончилась, началась дорога-канавка, разбитая военными вездеходами и размытая долгими дождями, мотоцикл с разгона влетел в грязное месиво и заглох. Скосов так и не сумел завести его и в конце концов оставил мотоцикл и отправился дальше пешком, иступленно неся на сапогах многокилограммовые ошметки бурой глины.

Пройдя низину, где под толстым бревенчатым мостом громко журчала речка, а по сторонам темнел сырой сочный лес, Скосов поднялся на взгорок. Здесь и находился городок военных командиров — несколько трехэтажных панельных домов. У молодых офицерских жен, опрятно одетых в модные плащи и сапожки, уныло прогуливающих по крохотному бетонному островку, окруженному морем грязи, Скосов узнал, где обитал Пырьев. Он поднялся в нужном подъезде на второй этаж, твердым пальцем надавил на белую кнопку звонка. Электрический соловей просипел в глубине чужого жилья дефективным голосом убогую мелодию. За дверью раздалися шаги, зашуршала одежда.

Минуту спустя дверь открыла рыжая женщина лет сорока. Непроизвольная, нечаянная томность и волнение, которые неожиданно застал Скосов, еще лежали на ее лице. Она явно кого-то ждала, рука ее

поправляла на груди выглаженный парадный халат из темно-синей дорогой ткани с золотыми китайскими дракончиками.

— Где хозяин? — с пьяной суровостью спросил Скосов.

— Андрея нет... — Улыбка таяла на ее лице и волнение сменялось удивлением, недоумением и даже легким испугом. — Он уехал на Сахалин... По делам...

Скосов некоторое время хмуро и непонимающе смотрел ей в глаза, постигая то, что она сказала ему сейчас, а потом развернулся, стал спускаться по лестнице, и, уже совсем не замечая возгласа женщины, которая выскочила на площадку, склонилась через перила, спросила испуганно: «Зачем он вам?» — вышел из подъезда.

Он вернулся домой, снял сапоги, но раздеваться не стал, как был в куртке, повалился ничком на застеленную кровать, забрался с головой под подушку, так что для дыхания осталась только маленькая щелка. Лежал в духоте, глядя в эту щелку пьяным своим взором, и думал так же пьяно и бессвязно, что человеку для жизни в сущности хватило бы и света, идущего через такую щелку, и воздуха — так бы и можно было жить — не тужить, хлебать воздух отмеренными порциями... А многие — очень многие — большинство — подавляющее большинство — да что там, почти все — и он ведь сам не исключение — так и живут, подобно кротам, выглядывая в узенький тусклый мирок, и хватают через свою щелку воздушшек, и через нее же воняют, и по кротовьи слепо возятся, хрумкают задавший харч, хрумкают других кротов, глотают таблетки, чтобы подольше вонять и хрумкать... А потом он, кажется, стал задремывать, смежил веки. Но темени не настало, все так же сочился свет, и будто видел Скосов и кухню со всем ее небогатым мебельным содержимым, служившую ему спальней, и окно с задернутой шторкой; и каждый шорох снаружи долетал до его внимания: приходила жена, ворчала над головой, шуршала одеждой, стучал будильник на столе, посипывал кран, лаяла собака на улице... Но вот опустели все звуки, и подошел к кровати незнакомый человек, стал внимательно смотреть на него. И все удивлялся Скосов, что, вот лежит он, забравшись с головой под подушку да еще ничком, уткнувшись лицом в простыню, так что только одна ноздря и дышит, а все равно видит и кухню, и этого человека, одетого в старенький шерстяной спортивный костюм очень темного цвета, как шкурка у крота. Однако никак нельзя было разобрать ускользающие черты склонившегося лица: было оно знакомым, но неузнаваемым. И скоро удивление переросло в страх... А от чего родился страх? Ведь просто стоял рядом человек, просто склонился на ним и смотрел. Скосов застонал, повернулся навзничь, глубоко втягивая воздух в сдавленную грудь, уставился в упор на человека, но сколько ни всматривался, не мог узнать его лица, хотя понимал, что тот хорошо знаком ему. Зажмурился крепче, заслонил смеженные веки ладонью, отвел руку — кухня была пуста. И

тогда, не просыпаясь, сообразил, что и кухня, и человек ему только грезятся, а сам он как залез с головой под подушку, так и продолжает тяжело спать. Тогда он подумал, что и это его положение — лежа на спине — тоже всего-навсего ступень сна, а сколько таких ступеней могло выстроиться в подземелье его грез... Ему стало вдруг жутко, что не выберется он из таких глубин, и он в холодном поту пробудился.

Он поднялся, вышел на крыльцо покурить.

Сидел в шлепанцах на порожке, затягивался сигареткой и фыркал, отгоня сонливость. Рукой, шершавой, нечувствительной, вытирал пот со лба и тут же трепал за ухом ластившуюся кошку, у которой шерсть лезла клоками, и опять тер себе лоб и слипающиеся глаза. Мысли его растеклись по закоулкам, не имея ни формы, ни значения, так что если бы мог он помыслить в эту минуту, то, пожалуй, решил бы, что думает так же просто, как животное вроде кошки: видит одни картинки перед собой, а на душе ему ни хорошо, ни плохо, а так себе — терпимо.

День клонился к вечеру, растеплилось перед холодами, и народ разморено тянулся к своим домам. Глядя на людей, кивая им в ответном приветствии, Скосов постепенно приходил в себя. Прошли нагруженные сумками две дородные тетки из крайнего дома, прошла молодая парочка — плечо к плечу, появился сосед Вася из дома напротив, длинноволосый сорокатрехлетний поджарый мужик, не расстающийся со своей прической с вокально-инструментальной юности. Вася зашел во дворик к Скосову, пожал руку, сел рядом покурить за компанию. Стал выкладывать свежую новость:

— А слышь, поймали солдата. Иду мимо почты, смотрю: стоит «ЗИЛ» бортовой... Добегался парнишка, повязали.

— Где? — пробовал сообразить Скосов. — Кого?..

— За прудом прятался, мальчишки увидели, а тут машина из гарнизона. Повязали бегуна... Там «зилек», еще не ушел.

— Мне не интересно, — наконец ответил Скосов. Лицо его стало неподвижно и багрово.

Вася еще говорил о чем-то, но Скосов отмалчивался, и сосед ушел, стал хлопотать напротив, у себя во дворе: кормил кур, которые, сбегаясь на его клич, высоко несли озабоченные головки с выпученными глазами и свернутыми набок гребешками. Скосов обулся и пошел к зданию администрации.

Напротив раскрытых настежь дверей почты стоял работающий мощный грузовой «ЗИЛ». Мерно тарыхтел вхолостую мотор, а водитель — солдат-крепыш в расстегнутой телогрейке, из-под которой перли крепенькие грудь и пузцо, стоял в кузове, расставив широко ноги, и у ног его из-за борта выглядывала голова дезертира. Глушков поднял к Скосову худое лицо, на котором теперь красно-синими ожирелостями вздулись синяки и кровоподтеки, и опять потупился. У почты толклась

любопытная пацанва, молчаливая и внимательная. Скосов хотел было погнать их отсюда, но из почты выбежал знакомый радостный капитан с рыжими вихрами из-под заломленной на затылок фуражки, воскликнул для Скосова:

— Что ж ты будешь делать, не могу в гарнизон дозвониться!.. Наше вам!.. — сунул горячую ладонку в руку Скосова, побежал назад, оборачиваясь на бегу, кивая в сторону грузовика и вещая опять же для Скосова: — Оружие бросил, негодяй... Ну, добегался, гад! — И пригрозил пальцем крепышу: — Антошкин, караул!

— Да я уж... — заулыбался крепыш.

Скосов взялся за высокий борт и, встав на колесо, заглянул внутрь.

— Попался... — сказал он неопределенно.

— Куда он денется, — бодро ответил Антошкин и носком сапога не- сильно, теперь уже только для порядка, поддал сидящему на дне кузова Глушкову под зад. Почти все пуговицы на шинели дезертира были оторваны, руки сзади связаны ремнем, и брюки без ремня сползли почти до самого паха, так что из-под гимнастерки высывалось замызганное белье.

— Что же вы без подмоги? — Скосов ступил с колеса на землю.

— Щас капитан позвонит, будет подмога, пойдем автомат искать. — Румяное щекастое лицо крепыша вновь удовлетворенно заулыбалось. — А мы-то на РДОТ приехали, а тут пацаны ваши: «Бегуна видели!». Мы — на пруд... Боялись, постреляет он нас, а он, вишь ты, автомат где-то бросил... — И солдат опять пихнул сапогом Глушкова.

Скосов рассеянно обошел машину. Дверца со стороны водительского места была приоткрыта, мотор тарахтел. С улицы было видно, что баранка любовно обмотана вперемежку синей и красной изолентой, так что получилась она в косую полоску. Плексигласовый набалдашник ручки скоростей с вмонтированной в него аляповатой розой сотрясался от вибрации. Скосов совсем спокойно и незаметно сел в кабину, взялся за баранку, накрыл ладонью теплый плексигласовый набалдашник с розой и вдруг, выжав сцепление, включил скорость, прибавил газ и отпустил сцепление. Грузовик рванулся с места. В кузове что-то грохнулось, заорало. А Скосов до упора выдавил газовую педаль: мощный трехосный грузовик с разбега мимоходом размешал с грязью встретившийся штакетник, куры побежали квелыми драными старушками перед бампером. В кабину замолотили, крепыш визгливым, испуганным голосом закричал:

— Стой! Ты что?! Стой! Ты что, га-ад?!

Скосов захлопнул болтающуюся дверь. В кабину грохали и орали. А Скосов, приноровившись, наконец, к сильной машине, включил третью скорость и, выдавливая газ до упора, вырулил на выезд из поселка. Машина, ревя дизелем, могуче пошла по грунтовке, выметывая из-под колес лужи и грязь. Отъехав с километр, Скосов затормозил, поднял

из-под ног валявшийся тяжелый гаечный ключ, выбрался на подножку, сделал движение, будто хотел забраться в кузов. Крепыш, вытаращившись, метнулся к противоположному борту:

— Ты чего, сбрендил, мужик?! А, сбрендил?!

— Беги отсюда, — негромко сказал Скосов.

Крепыш полез через борт, и Скосов видел, как в полуприсядку, вывернув назад верхнюю половину туловища и накручивая указательным пальцем у виска, он побежал к поселку.

Скосов вернулся за руль, повел машину дальше. Грунтовка по прямой пересекла несколько километров открытого пространства и у подножия лесистых сопот запетляла. Деревья, переплетенные лианами, увешанные мохнатыми серебристо-зелеными и белыми лишайниками, встали над дорогой сводом, который издали казался плотным, непроницаемым для света, но стоило въехать под него, как он обрел воздушность и прозрачность. Дорога пошла на подъем, спустилась в распадок, опять поползла вверх и вновь — вниз. У мелкого прозрачного ручья с блестящими камушками Скосов остановился, заглушил двигатель, забрался в кузов, размотал ремень на руках Глушкова, который бочком лежал на железном дне и всхлипывал.

— Ну ты что же, парень? Что же ты?.. — сердито приговаривал Скосов. — А теперь уже не плачь, теперь не плачь...

— Я не плачу, — отвечал Глушков, садясь и вытирая рукавом разбитое грязное лицо. — Я так... Я не плачу...

— Цел? Ноги целы? Идти можешь?

— Могу.

— А тогда не кисни, пошли, пошли, надо идти... — И первым грузно прыгнул с машины, опустился на колени у ручья, стал горстями черпать из него, ломая, расплескивая мелодию, которую выпевало переливчатое журчащее течение, поднимал желтую песочную муть со дна. Пил крупными глотками и плескал в лицо, на голову, от чего короткие седеющие волосы его намокли и встопорщились, как у белобрысого мальчишки, и сквозь них стала светиться пепельно-серая кожа на голове. А потом замер, отдышал, не поднимаясь с колен, и опять пил, плескался, подолгу прижимая к лицу ладони, словно пытался распознать и навсегда запомнить вкус ручья и его холод, все, что вынесено было из чистейших артезианских глубин, да так и не мог уловить это ускользающее от него наслаждение.

Глушков тоже пристроился попить и умыться, но Скосов скоро поднялся, призывно махнул рукой и зашагал по дороге в обратном направлении, и Глушков, похватав холодной воды, от которой заломило зубы, прихрамывая, догнал его, пошел рядом широкими, но уставшими шагами, нагнувшись вперед и переставляя свои мосластые ходули так, будто их нужно было каждую по очереди брать в руки и с усилием тащить

вперед. Но и тащился он все-таки молча, не хныкал. А Скосов словно не замечал парня, отяжелевшему от своего душевного груза человеку было так горько и отчаянно теперь, что не мог он ничего слышать и замечать.

— Почему так происходит? — невпопад бормотал он. — Почему сволочи всегда берут верх?.. Я всю жизнь готовился сделать доброе дело: придушить какую-нибудь сволочь собственными руками, а ведь так и не выпало мне случая...

Они поднялись на гряде и стали медленно спускаться по дорожной крутизне в следующий распадок. И тут словно очнулся Скосов. Отсюда видно было, как южная часть острова уходила к морю широким зеленым крылом, а справа за проливом поднимались сопки соседнего Хоккайдо, очерченные желто-алыми небесными наплывами от уходящего солнца. И была эта земля, по которой они шли, до последнего холмика знакома Скосову. Остров за три десятка лет будто влился в человека со всеми своими сопками, вулканами, речушками, родниками, лесами, человеческими селениями, дорогами, тропами... Или, может быть, наоборот, человек влился в остров, который съел его, всосал со всеми его мечтами и делами. И как же порой Скосов проклинал, а порой любил эту чужую землю, ставшую ему второй родиной.

— Вот так и живем, — сказал Скосов. — Посмотришь на запад, в сторону России — увидишь Японию. Посмотришь на восток — океан, а за ним Америка. — Он зашагал дальше и добавил с горьким упреком: — Зачем же ты ушел?.. Эх ты...

Они прошли еще с километр в молчании, и Глушков испуганно сказал:

— Там что-то едет...

Они замерли, прислушиваясь к неразборчивому механическому шуму впереди, который сначала вырвался из сопки и тут же стих, а потом вновь прорезался энергичным рокотом моторов. Скосов молча дернул солдата за рукав, они вошли по пояс в заросли низкорослого бамбука, стали продираться к деревьям и едва успели скрыться, как на дороге показались два крытых брезентом грузовика.

За деревьями, под раскидистыми ветвями, они легли на землю и не шевелились. Глушков, глядя в сплетенную глубину густой травы, в путаницу стебельков и листьев — живых и умерших, и боясь приподнять взор, слушал со все возрастающим страхом приближающийся шум машин, и его все глубже вдавливало в землю ощущение, уверенность, что тяжелые машины уже свернули с дороги и, вмяная колесами это густотравье, движутся в сторону беглецов.

Грузовики прошли мимо, и Скосов вскочил, хлопнул Глушкова по плечу:

— Вставай, вставай. Не кисни... Мы твою жизнь задешево не продадим, сынок. Может, у тебя все еще выгорит в будущем...

— Я и не кисну, — промямлил в ответ Глушков.

Скосов решил на дорогу не возвращаться. Потащились напрямик, через заросли, медленно карабкаясь на обросшие лесом гребни и спускаясь к студеным узким речкам, по берегам которых стеной поднимались двухметровые травы.

— Зачем же мы идем назад? — задыхаясь, спрашивал Глушков. Ноги его заплетались, он отставал. — Ехали куда-то, а теперь идем назад?

— Вот и пускай нас там ищут, куда мы ехали.

Ночью, когда земля на горизонте уже слилась с небом, так что и самого горизонта не стало, выбрались на старую заросшую колею и почти час безостановочно шагали по ней, прежде чем увидели редкие электрические огни впереди. Стали спускаться к поселку, но опять свернули, зашуршали отсыревшей скошенной травой и скоро наткнулись на гору какого-то мусора: из земли вырос силуэт трактора со свернутой набок кабиной, а рядом — перевернутый вверх тормашками грузовик без колес. Глушков догадался, что идут они по едва уловимой дорожке через свалку. Попалось непонятное кубическое строение среди взгорков мусора, потом еще одно, и лишь подойдя ближе, сообразил, что это железные рубки с маленьких морских судов, лишенные стекол в квадратных и круглых иллюминаторах, приросшие теперь на веки вечные к земле, омываемые не волнами, а бурьяном. И не было уже в них ничего морского — лишь темное пустоглазое свалочное уныние.

Возле одной рубки Скосов остановился, стал слушать ночную округу и украдкой — в кулак — закурил.

— Если кунгас не перегнали к пирсу, значит, живем, — громким шепотом сказал он, не глядя на Глушкова. Он глубоко и торопливо попыхал сигаретой, чтобы накуриться впрок, бросил окурок под ноги, накрыл огонек сапогом. — Сиди здесь и жди. Еще раз сбежишь — уши надеру. — И сказал это без тени иронии, словно был совершенно уверен, что так и сделает. Посмотрел в темноту, примериваясь к ее непроходимости, и ушел, унося с собой еле слышимый шорох в траве.

Глушков прислонился плечом к холодной ржавой рубке. Из поселка приносило человеческие голоса, но где-то настойчиво работал в одном режиме мощный двигатель, перемешивая и дробя голоса в неразборчивость. Через некоторое время двигатель замер, свет в поселке погас, и на минуту все оцепенело, заслушалось неподвижностью. Глушков еще больше насторожился, боялся даже дышать громко. А потом позвали кого-то по имени, и теперь голос был звонок и ясен: «Валя!». И опять позвали: «Валя!». Следом раздался смех: грубый мужской и женский — наигранно-испутанный. А скоро и вовсе проревел на большой скорости мотоцикл, кто-то пьяно гнусаво запел, и вновь зарокотал мощный дизель, свет вспыхнул на редких фонарных столбах и в окнах. Глушков нащупал выступ из рубки, присел, обхватив себя, сунув

ладони под мышки, и стал безотчетно думать о том, что бы говорили сейчас и что делали все эти не видимые ему люди, если бы знали они, что всего в какой-то сотне метров от них прячется дезертир: побежали бы они тогда ловить его, или ограничились простым доносом в гарнизон, а может быть, и вовсе ничего не стали предпринимать, а разошлись в праздной усталости по домам?

Но голоса постепенно стихали, поселок засыпал, и на Глушкова с прежней настойчивостью продолжал накатывать только гипнотизирующий ровный гул электростанции. Он не знал, сколько просидел здесь, дрожа от холода. Все это время его тяготило чувство, которое он не смог бы объяснить себе, и если бы у него были сейчас силы на размышления, он, наверное, подумал бы, что ему так же скверно, как бывает скверно и тяжело обязательному человеку, не способному вернуть старый унижительный долг, или скрупулезному строителю, вынужденному на посмешище себе бросить начатое дело. И он был даже рад, когда сбоку стремительно разрослись шаги. Скосов появился из темноты, придвинул к нему пахнущее табаком лицо, сказал хрипловатым шепотом:

— Пойдем тихо. — Он тяжело дышал, несколько минут назад ему пришлось таскать тяжести. — Пойдем, пока чисто...

Они осторожно двинулись, обходя горы металлолома, свернули в сторону, и Глушков на время потерял ориентацию — освещенный поселок закрыли деревья — шел, боясь посмотреть по сторонам, только и видел темную широкую спину перед собой. Но скоро впереди опять поднялись силуэты домов, окруженные желтым свечением. Скосов молча показал рукой на приземистое строение на отшибе. Подошли ближе. Перед глухой стеной широкой россыпью белели кучи опилок, шаги здесь стали мягкими и совсем неслышными, будто ступали они по мягким матрацам. Терпко, чрезмерно пахло опилками, запах напоминал что-то знакомое, но ускользающее из сознания.

Скосов остановился, и Глушков едва не ткнулся ему в спину. Издали донесся глухой собачий лай. Глушков напряженно прислушался и при этом подспудно, отвлеченно продолжал принюхиваться к смолистому знакомому духу, и где-то на стороне бежали, путались его мысли, отыскивая то единственное, с чем был связан этот запах. Скосов, обернувшись, что-то произнес шепотом, но, еще не вникнув в его слова, не разобрав их дребезжания, за какую-то секунду, прежде чем их смысл достиг его сознания, Глушков вдруг вспомнил и тот не узнанный сразу запах, и все те обстоятельства и события, сопряженные с ним: густо до головокружения, которое бывает, когда хватанешь после духоты свежего воздуха, пахло новогодней елкой. И сознание Глушкова будто просветлилось, он вдруг увидел и почувствовал все по-новому, с необычайной свежестью и чуткостью: и этот запах лесопилки, и услышал взволнованное хрипловатое дыхание Скосова и свое, прерывистое и

нервное, и холодный воздух на щеках, и все проблески косо́го света от фонаря на темной земле впереди, и какие-то далекие неясные звуки, разросшиеся и пугливые; и от этого ощущения легкости сам он сделался легким и словно прозрачным.

— Возьми канистрочку, вон там, у стены, — повторил Скосов, и лишь теперь Глушков увидел, что он показывает на белевший чуть в стороне предмет у стены. Глушков поспешно выполнил приказ. А сам Скосов поднял пухлый вещмешок, взял его на одно плечо.

Они постояли с минуту за углом лесопилки и перебежали к штабелям досок. Прятались там, выглядывая в щели между уложенных в трехгранный колодец досок на освещенную улицу, ждали, когда пройдет под фонарем пошатывающийся мужик в распахнутой длиннополой куртке. Потом выпрямились и демонстративно неспешной походкой пересекли неровно укатанную бугристую дорогу, вошли в густую тень и спустились к морю. Пошли вдоль плещущейся воды, у ног непроглядно черной, а дальше наполняющейся мерцающими бликами от далеких огней, и скоро наткнулись на большую лодку, почти целиком спущенную в воду и только носом упершуюся в берег. Глушков с опаской дотянулся до теплого шершавого носа лодки.

— Полезай в кунгас, накройся брезентом и жди, — зашептал Скосов. Он забрал у него канистру, сунул ее вместе с вещмешком в лодку и опять исчез, а Глушков, не успев ни подумать, ни возразить, в растерянности остался у лодки. Он так и держался за нее вытянутой рукой, и с удивлением думал, что впервые в жизни ступил на берег моря, и оно, укрытое ночью, прорезанное редкими огнями на горизонте, не показалось ему ни впечатляющим, ни грозным, ни бездонным — как если бы стоял он на берегу ночной шелестящей реки, а светящиеся огни были редкими малолюдными поселениями вдаль. Он забрался в лодку, присел на корточки и стал перебирать остывшими руками бесформенную массу брезента, но сам при этом вытянул шею и смотрел по сторонам на берег.

Спустя несколько минут Скосов, кряхтя, принес на плече тяжелый подвесной двигатель, кое-как положил его внутрь и стал выталкивать лодку в море, упираясь плечом в задранный нос и хукая горлом от напряжения.

— Сядь на корму, — задыхаясь, сказал он.

Глушков суетливо посунулся назад, не поднимаясь с корточек и вцепившись растопыренными руками в оба борта. Лодка поддалась, коротенькая волна часто зашлепала по борту, и Глушков почувствовал, как твердь исчезла из-под днища, лодка закачалась, душа Глушкова замерла от неожиданности, и в голове мелькнуло: *так вот оно, море...*

Скосов шумно ввалился внутрь. Он поставил весла, развернул лодку и стал отгрести от берега, сначала медленно и тихо, а потом все энергичнее, ворочая длинными тяжелыми рычагами весел мерно и

мощно, выдыхая после каждого рывка: «Ух-ха... Ух-ха...». И наверное, с пол часа он греб, не произнося больше никаких звуков, кроме этого «ух-ха». Береговые огни поползли вправо, и самые дальние стали соединяться с ближайшими низкими звездами. А с другой стороны по носу тоже мерцали огоньки, и Глушков уже не мог понять, в какую сторону движется их потерявшаяся в тихом заливе лодка. Стало заметно качать, и Глушков, преодолевая головокружение и тошноту, с удивлением обнаружил, что ему кажется, будто качается не лодка, а вся ночь вокруг, и звезды, многократно отраженные в волнах, и береговые огни, так что временами трудно было сообразить, где здесь верх, где низ, у него перехватило дыхание от навязчивой, но восторженной мысли, что сейчас все это мировое устройство потеряет вес, утратит равновесие и перенесется вверх тормашками.

— Как в космосе... — вымолвил он. Он теперь начинал понимать, откуда взялся этот восторг, эта легкость в груди. Словно только теперь он окончательно и обрубил, отсек от себя все прошлое. И чем бы оно ни было наполнено — плохим ли, хорошим ли, негодьями или, напротив, до боли родными людьми, удачами, катастрофами, просчетами, надеждами, мечтами, радостями, огорчениями, обязательствами, обещаниями... — всего этого уже не было с ним, оно руинами громоздилось там, куда ему теперь была заказана дорога. И вот целый мир, непочатый, огромный, раздавшийся огромным океаном, лежал перед ним, надо было только ступить в него своими некрепкими ногами.

— Как в космосе... — повторил он.

Скосов не услышал его, он толкал и толкал кунгас вперед. Но он хорошо знал, что в такие ночные переходы на веслах, когда тишина и усталость охватывают тебя, может настать момент, когда ты начнешь вдруг ясно понимать, что так и обречен вечно висеть в этом пространстве, и сколько ни гребь, не тронешься с места, а это твое «ух-ха», сопровождающее равномерные скрипы, всхлипы, стоны весел и уключин, хлопанье воды под днищем, оно в конце концов утратит всякий смысл, одеревенеет, омертвеет. И тогда станет тебе неотвязно казаться, что ночная тьма так и пожрет все отмеренное, отпущенное, дарованное тебе время, что не успеешь ты и опомниться и догresti куда хочешь, как окажется, что времени у тебя больше нет.

Наверное, в полутора-двух милях от берега он осушил весла, невидимые струйки полились в темень, которая горбато и почти бесшумно — с легкими всхлипами — шевелилась под ними. Лодка еще некоторое время скользила вперед, посланная последним рывком. Ничто не звучало в воздухе, кроме слабейшего, долетавшего из ночной дали урчания, Скосов мельком подумал, что это, может быть, машина идет береговой дорогой или японская браконьерская шхуна крадется по окраинам широкого залива.

— Даст Бог, проскочим... — сказал он. — Даст Бог, проскочить потом и мне назад...

Он велел Глушкову перейти в нос, а сам перетащил на корму двигатель, долго прилаживал его. Наконец замер, обвел невидящими глазами ночь.

— Ну, с Богом... — выдохнул он и рванул шнур стартера.

Мотор не поддался с первого рывка, тогда Скосов перевел дух и рванул второй раз, мотор оглушительно затарахтел, сразу разваливая ночь и обнажая лодку посреди всеобщей тишины. Скосов уверенно прибавил газ, доводя тарыхтение до жуткого рева, лодка пошла вперед с нарастающей скоростью, и море, утрачивая свою мягкость, жестко и громко стало биться в днище. Глушков вцепился в борт, напряженно всматриваясь вперед и ничего не разбирая там, чувствуя, что схватившиеся за борта руки его временами обдает холодными брызгами.

— Ха-ха!.. — громко и наигранно захохотал на корме Скосов. И бесшабашность его захлестнула Глушкова, который тихо, судорожно засмеялся в ответ. Мокрый ветер напирал в обнаженные, выставленные в ночь лица. Они словно не разбирали пути. А потом Скосов затих — устал от всего, что было, что есть, от того, что их еще ждало впереди. И ни о чем больше не желал думать, только рвал кунгас вперед на огоньки по ту сторону десятимильного пролива, которые множились и становились ярче, словно выныривали из морской пучины.

И вдруг на них обрушилось что-то, они не сразу поняли, что случилось, будто попали в эпицентр взрыва — издалека, вдогонку им темноту разнесло снопом света. Ярчайший прожекторный луч развалил купол ночи надвое. Но заметили лодку не сразу — луч сначала отбежал в сторону, ослепляя море, окрашивая его в желтизну, светясь фосфором на изгибах. Но потом вновь накрыл беглецов, вжавших свои мигмом отвердевшие головы в плечи. И двое эти повернули бледные лица к пылающему ночному оку, так что со сторожевого корабля в бинокль можно было увидеть, как блеснули их глаза.

Скосов резко подал кунгас в сторону, ушел из луча. Прожектор метнулся влево, вправо, настиг их.

— Держись! — крикнул Скосов и закусил губу, упрямо выворачивая ручку газа до упора. Лодка скакала на морских пригорках, постанывая деревянными сочленениями. Но световой поток теперь не отставал от нее, замигал вслед, и Глушков догадался: приказывают остановиться.

— Врешь, не достанешь! Весь океан — мой! — крикнул Скосов.

Огненный глаз смешался чуть влево и, кажется, медленно вырастал, увеличивался в диаметре.

— Весь океан — мой!..

И тогда в воздухе дробно и тяжело застучало, пронеслось над головами, ударило в освещенное море впереди, разметанными гейзерами вспых-

нули несколько фонтанчиков. Прожектор еще отрывисто помигал, и минуту спустя опять застучало, выметывая фонтаны по ходу кунгаса.

— Дима! Сынок! — заорал Скосов. — Ляг в носу, ляг! — И он заложил крутой вираж вправо, так что кунгас накренился в повороте.

Поднявшийся веер воды на вираже вспыхнул неимоверным светом в мощном луче, и Глушков увидел — да, увидел, ему это ничуть не показалось: радугу. Маленькую ночную радугу, которая переливчатым глазом развернулась на фоне ночной темени, моргнула потрясенному человеку и угасла...

Из теплой рубки корабля наблюдали, как лодка приоткрылась своим содержимым, почти черпнула волну, но вытянула из поворота, выпрямилась и по дуге стала уходить вправо от корабля.

— Уйдет, Борис Петрович. Уйдет, — настойчиво говорил молодцеватый человек в лихо заломленной на ранней лысине черной аккуратной пилотке другому мужчине, находившемуся в рубке, но несколько тучноватому и уставшему, который вовсе и не казался командиром корабля, а словно был пребывающим в некоторой задумчивости пассажиром-отпускником. «Пассажир» все-таки разомкнул уста.

— Возьми вправо тридцать градусов, — сказал он рулевому.

— Уйдет, — повторял старший помощник и гнул к карте. — Можно сказать, что уже ушел: два кабельтовых... Нет, кабельтов...

Капитан же смолчал, и никто из окружающих не мог знать, что в эту минуту у него родилось странное ощущение, будто корабль застыл во времени. Все было по-прежнему: громко работала машина внизу, вибрировал корпус, волны от быстрого хода бухали в стальной нос, — но капитану все равно навязчиво показалось, что мир оцепенел. Это оцепенение пришло в человека из того напряжения, с которым теперь каждый его подчиненный смотрел на него, а если не смотрел, то напряженно слушал динамики громкой связи. И капитан вдруг почувствовал всех этих людей — от старпома до последнего гальюнщика, — их внимательную скованность, и у себя за спиной, и там, за переборками, в отсеках, в машине, в башенке носового орудия. Они все застыли, повернув головы туда, откуда должен был раздаваться его голос.

— Огонь на поражение, — сухо сказал капитан.

«На поражение! На поражение!» — разнеслось по кораблю, который весь охватило чувство необыкновенного воодушевления, как если бы речь шла о немедленном взлете корабля со всем его экипажем в небеса.

— Носовое орудие — огонь на поражение!..

И там, в тесноте носовой башенки, куда набилось трое: мичман Капуста, старшина срочной службы Курицын и молодой матрос Рымников, зашевелились. Краснощекий широкий старшина вдруг стал выбираться из-за панорамы, скорее для приличия спрашивая:

— Разрешите, товарищ мичман, Рымников вместо меня.

Этого старшину командир пообещал уволить в запас на две недели раньше, если тот подготовит себе хорошую замену.

— Будет ему экзамен в деле, — говорил Курицын, вовсе не дожидаясь, что там в ответ промямлит мичман, а уже заталкивая на свое место нескладного хлипкого Рымникова.

— Валяй, — сказал вдогонку всем его словам и уже свершенным действиям мичман. — Но он промажет.

— Слышал, Рымник? Валяй за панораму, балласт... И помни мою доброту. — Голос его и тяжелая рука, легшая сзади на тонкое плечо Рымникова были снисходительными на этот раз.

И Рымников, длинношей, нескладный, длиннорукий, слабый, удаляющийся обо все выступления на корабле, послушно уселся на место наводчика.

— Промажешь, сучий потрох, головой в клюз засуну! — сказал ему над ухом Курицын.

— Промажет, — усмехнулся мичман, — уже промазал... Нейтральная вода уже кончилась, у него всего двадцать секунд...

Но матросик почему-то не боялся в этот момент старшину Курицына, его охватила дрожь совсем по другому поводу, он впервые сел за панораму не для учебной, а для настоящей боевой стрельбы. Он припал глазами к окулярам, и сразу переместился из тесного освещенного приглушенной желтой лампой пространства в дивный ночной мир океана, залитый резким зеленым искрящимся светом.

«Как здорово! Здорово! Здорово!..» — возликовала его душа.

— Огонь на поражение!..

— Промажешь — будешь вместо якоря...

— Промажет...

«Промажу?» — подумал Рымников. И эта ночь, и стремительно набегающее море, и вспыхивающие брызги, и огни трассеров, похожие на летящие звезды, и звезды где-то на отшибе, и несущийся корабль, и петляющая, улетающая за нейтральные воды лодчонка — все вдруг завертелось в глазах Рымникова веселой, безумной, жуткой каруселью, да так, что захотелось ему самому плясать и петь, захотелось беситься от безумной радости, охватившей весь отчаянный мир.

СНЕГУ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НЕДЕЛИ

* * *

Мы смотрели на глухие воды,
Как дымилась над тайгой заря.
Он сказал: «Зря жил я эти годы».
Я ответил: «Может быть, и зря...»
Я бы мог ему тогда ответить,
Рассказать про подвиги труда,
Что во имя жизни солнце светит,
Что войны не будет никогда.
Но природа в тихие погоды
Принимает нас за миражи...
Он сказал: «Зря жил я эти годы».
Я ответил: «Может быть, и жил...»

* * *

Нам жизнь прожить — что поле перейти.
У леса оглянуться и споткнуться,
Сухой травы на миг щекой коснуться
И деревом безмолвно прорасти.
Поверить каждой трещиной коры:
Не век пройдет — в печи огонь раздуют,
В дом приведут хозяйку молодую,
Взойдут леса, затупят топоры.
Дверь приоткрыть, в избе приют найти,
Родиться землепашцем безлошадным —
И в плуг впрягаться жадно, беспощадно...
Нам жизнь прожить, что поле перейти.
В дорогу собираться налегке,
Мечтать о счастье, о нездешней воле —
И в отраженье звезд увидеть поле,
Себя на нем и лес невдалеке.

— Родился в 1966 г. в Киеве. Окончил Литинститут им. Горького. Автор книги «Деревянный сад» (1995), стихи и статьи публиковались в российской и зарубежной периодике. Живет в Москве.

* * *

Из той земли, где кровотоцит сталь
И дерево до срока каменеет, —
Из той земли нам никогда не встать
И не прожить достойней и умнее.

Ее лесов унылое жильё,
Где берегут осиновые колья,
Но павшего однажды за нее
Уже нигде по имени не помнят.

Его едва ли узнают в лицо,
А поминать и вовсе забывают,
Когда он всходит утром на крыльцо
И с праздником соседей поздравляет.

* * *

Сквозил ноябрь из всех щелей лесных,
По всей земле дома подорожали,
Как будто кольца слитков золотых
На дне сухого дерева лежали.

И женщины стареющей гурьбой
Просили петь Прощание Славянки.
И гармонист, родной и дорогой,
Аккордеон выносит из столярки.

Он танго аргентинского кино
Перебирает на родном дыханьи.
И музыка — не то, чтобы Оно,
Но все-таки похожа на прощанье.

* * *

Что делаю я, безнадежно нашедший
Подкову луны средь всеобщего счастья,
В миру, где лепил безыскусный горшечник
И люди, чьи лица не ищут участия...

Их добрые лица, их руки-колосья
Наполнены звоном цепей молотильных,
Их добрые лица, их спины-колеса
От ветра и скрипа укрыты ватином.

Их поутру ждет неостывшая нежность
До зеркала стертых пустых наковален, —
Единственно где, обретавшие свежесть,
Их добрые лица себя узнавали...

А я, никогда и ни в чем не узнавший
Лица своего, обнаружил случайно
Подкову, которой доверю изнанкой,
Что жизнь моя все-таки необычайна.

* * *

Я сам ничей, но — около пути,
Где каждый пеший — все-таки прохожий,
Ему под ноги родина летит,
И тень ее на бабочку похожа.

Уйти в листву осеннюю до пят
И понемногу родины дожждаться.
Забрезжит свет, и бабочки летят
Установить сиротство и гражданство.

Распахнуто, и Севером сквозит.
Брожу в лесу некрашенных скамеек,
Где каждый кустик гибелью грозит,
Но каждый зяблик родину имеет.

* * *

О времена, достойные молчанья,
Где я бывал, жестокий и печальный.
Ни в песне спеть, ни в камне изваять,
Но вечность перед вами простоять
Во временах, когда весь труд — воровно
Таить своей материи лоскут,
Где снег идет и мертвую ворону
В последний путь мальчишки волокут.

* * *

Вот вы одна на свете белом
В снегу рождественской недели.
Я вас люблю, и нет мне дела,
Что вы весенний плащ надели.

Я вас никак не называю...
Я понимаю. Мне не светит.
Я все на свете понимаю.
Я понимаю все на свете.

Мы у Софии золоченой.
Мы у зеленого Богдана.
Все ходит мимо поп ученый
И смотрит так многострадленно.

— Святой отец, и я говею,
И душу смертную мараю.
Ведь ничего, что я не верю, —
Я все на свете понимаю.

Она в плаще. И дело к маю.
И ей, конечно, не до смерти...
Я понимаю... Понимаю!
Я потому живу на свете.

* * *

Мы все умрем, но каждому из нас
Дана свобода умирать не раз,
И после смерти жить на этом свете,
И родину печальную любить.
Закрывать глаза, и небеса забыть,
И быть как дети.

Ни тьмы, ни света нет на этом свете.
И после — нет... Лишь родина одна
По-прежнему из всех щелей видна,
И в ясный день ее легко заметить...

Но смерть свою, как землю наших тел,
Вбираем мы по ломтику ржаному,
И нужен только родины надел,
И мертвому нужнее, чем живому.

В глуши небес поставив теремок, —
Одним ножом, не выходя из дому, —
И после смерти буду одинок:
В иных мирах, печальных по-другому.

ФОТОГРАФ

Повесть

1

Проснувшись под утро, еще в темноте, Ронин стал ждать проявки оконного пятна и даже привычно шевельнул рукой, будто поддерживал фотобумагу в ванночке.

Вспомнилась вчерашняя электричка, звездное небо, сонная переключка собак в неподвижном воздухе. Он и уснул вчера, не раздеваясь — лишь только разгорелась печка, наполнив комнату жилым теплом.

Медленно наливалось светом окно. На нем уже были видны капли утренней измороси. Они синели, потом подернулись краснотой. Без моего участия, подумал Ронин, без всякого моего участия.

Появлялись тени от предметов, выступали поверхности, словно произошло внутри них незаметное движение. Таковую мягкую фактуру никогда не удавалось остановить во время проявки — на дневном свете фотография всегда менялась, перескакивала в будущее, уже чужая и самостоятельная. Ронин знал эту профессиональную досаду — незнание готовых фотографий. Спасала память, хранившая взгляд во время снимка, — но что память? Она-то никогда не проявлялась, оставаясь немой свидетельницей.

Ронин наслаждался виденным, как ребенок, впервые заглянувший в калейдоскоп. Но нет, у ребенка радость резче, озорнее. А тут — старческое, спокойное наблюдение. Ронин вдруг вспомнил, словно услышал, вчерашние перестуки колес. Все одно, все одно — спешили они повторить. Почему он выбрал именно это словесное сопровождение? Ключик к настроению, к уносимому кусочку жизни.

Когда-то он видел такие же половицы, щели между которыми, сужаясь, обрубались стеной. И ножки стола, разделенные линией. Откуда-то память выбирала эти подробности, одну за другой, и вот уже в углу оживает, шевелится воздух. И скользкий звук по полу чего-то жесткого, захватившего за собой и пучок соломы...

Это был теленочек, которого отец внес на руках и осторожно опустил на охапку соломы. И маленький мальчик проснулся вместе с этим звуком, замирая от счастья ожидания. Он услышал вздох и быстрое

**Владимир
СОТНИКОВ**

— родился в 1960 г. в Белоруссии. Закончил Литературный институт. Автор ряда рассказов и романа «Покров», опубликованных в центральной периодике, а также более десяти книг для детей. Живет в Москве.

дыхание, словно несколько раз дунул ветерок в неслышном воздухе. Отец ушел, тихонько притворив дверь. И темнота стала оживать, медленно растворяя тени.

Теленочек еще раз скользнул копытцем по полу и задышал прерывисто, никак не умея найти одинаковый ритм — туда-сюда. И мальчик стал так же дышать вместе с ним, стараясь успокоить вдохи. Он осторожно слез с кровати, сделал несколько запретных шагов к углу и протянул руку.

Теленочек лежал полукругом, в вытянутом копытце застряла соломинка. Мальчик тихонько освободил ее, чувствуя легкое сопротивление. Глаза теленка были большие и темные — они угадывались по влажному мерцанию. А между ними — мальчик легонько дотронулся, затаив дыхание, — была твердая влажная ложбинка.

И тут мальчик впервые научился считать — по-своему, прибавляя к себе еще такое же, одинаковое существо. Он совсем недавно стал чувствовать себя отдельно от всего и называть себя — я. При этом ему хотелось оглянуться вокруг, казалось, что это странное короткое название себя — и есть взгляд. Сейчас его стало больше — он удивился новому чувству, которое изнутри все увеличивалось и направлялось к теленку.

Мальчик прислушивался к его дыханию и повторял эти тихие вдохи, боясь их не расслышать — словно учился по-новому дышать своим новым, двойным существом. Голова теленочка лежала на вытянутой ноге, мальчик вглядывался в его глаза и видел в них отражение своего взгляда, которого раньше никогда не мог заметить. А сейчас, в полумраке, он вдруг увидел его в глазах теленка, в которых отражался и тусклый свет окна, и оживший воздух, и искорки от морозных узоров на окне, за которым светился далекий фонарь.

При дыхании приподнимался бок теленочка, и над ним дрожал воздух. Мальчик принес свою простынку и накрыл теленочка. Потом вернулся к кровати, нырнул под одеяло и стал смотреть, как отчетливо выделялась в темноте белая простынка.

И вдруг мальчику стало страшно. Так тревожно выглядело это белое пятно — и что-то нарушено стало в комнате, будто потерялся, исчез взгляд. Белое пятно заслонило собой все, что видел и чувствовал мальчик — и в себе, и в комнате.

Стукнула в сенях дверь, вошли отец с матерью. Мальчик закрыл глаза, и странное чувство, будто он что-то утерял, прорвалось в нем с плачем. Он не мог открыть глаза и плакал, слыша, как родители встревоженно бросились к нему, и что-то спрашивали друг друга о простыне, и смеялись, а он все вздрагивал всем телом от непонятной, невыходящей тревоги.

Надо же, подумал Ронин. Сколько раз пытался пробиться к своему первому воспоминанию — и всегда думал об окне, за которым навсегда застыла сухая ветка яблони. И никогда не вспоминал этого теле-

ночка. А вот стоило совпасть теням, линиям половиц, взгляду... Неужели это был он?

Как похожи воспоминания на фотографии, думал Ронин, растапливая печку. Память дополняется собственным опытом — и от этого никуда не денешься. Вспомнив себя маленьким мальчиком, Ронин только сейчас понял, что его испугало тогда. Исчезновение чувства под белым пятном простыни.

Огонь в печи почти не шевелился. Казалось, не Ронин смотрел на пламя, а оно наблюдало за неподвижным взглядом человека. Он закрыл дверцу. В тесноте пламя взметнулось и загудело. Ронин улыбнулся. Он понял, что и эту закрытую дверцу печки сравнил с фотографией. Неподвижная и непроницаемая, она закрыла собой внутреннюю жизнь — гудящее и рвущееся вверх пламя.

2

— У него профессиональная болезнь, — говорила Анна. — Какая-то детская, наивная болезнь. Понимаете, он считает, что фотография не объясняет жизнь, а наоборот, скрывает ее.

Анна дотрагивалась до плеча Ронина — чтобы он почувствовал, что она не укоряет его, а защищает.

Они были в гостях — Анна уговорила его пойти на юбилей к дирижеру оркестра, в котором она работала. Ронин с первых минут почувствовал себя уютно среди незнакомых людей, словно на самом деле оказался внутри небольшого оркестра, в котором каждый человек вел свою партию, не мешая другим. Уже была «сыграна» первая, официальная, часть — с поздравлениями, тостами, — и теперь возникали за столом отдельные островки бесед. Одним из таких островков были Ронин, Анна и подсевший к ним хозяин дома. Оказывается, он помнил прошлогоднюю выставку Ронина.

— Я ведь в молодости баловался фотографией. Чуть не сказал — тоже, — улыбнулся дирижер. — Но потом, с годами, начал задумываться. Даже написал статью о фотографии под забавным названием «Повторение непройденного» — в стиле юного журналиста, да? И как пластинку заело, а передвинуть иглу уже не хватило усилий, времени. Когда пластинка заедает, ее лучше выключить, да? Я и выключил. Мне не хватило душевного равновесия, спокойствия. В музыке я его находил, а фотография, наоборот, это спокойствие у меня отнимала.

— Я когда-то не услышал именно таких слов, — просто и искренне сказал Ронин. Ему как раз и хотелось, чтобы профессор почувствовал его искренность. — Иногда очень важно вовремя кого-то услышать...

— Ну что вы, — засмеялся дирижер, — вам повезло. Вы проскочили полосу сомнений. В любом деле это важно. Глаза боятся, а руки делают. Задумайся я о музыке — так и остановился бы с поднятой палочкой...

А вот ничего — канаю под дирижера. Вот первая скрипка, — он поднял руку в сторону Анны, словно держал палочку, — свидетель.

«Одной любви музыка уступает», — подумал Ронин с улыбкой.

— Знаете, — сказал он, — я, наверное, завидую людям искусства. Музыкантам, художникам. Кажется, что иногда как раз не хватает их способности увидеть, услышать...

— Поверьте, среди них многие так же относятся к фотографии! О, это искусство возврата, размышлений... Сомнений, да? Мы делаем каждый свое дело, как умеем. Да, завидуя друг другу. А как же иначе? Нет абсолютного искусства. А хотелось бы, да?

Тут Анна и сказала о профессиональной болезни Ронина, дотронувшись до его плеча. Ронин даже поморщился, как раненый, у которого проверяют повязку, и это не укользнуло от взгляда профессора, который был опытным, старым человеком. Это Ронин понял по его словам:

— Однажды меня спросили: а что такое настоящее искусство? Смешной вопрос, да? Я растерялся на минуту. Но, в общем-то, нормальный вопрос. Надо отвечать. Я отвечаю — музыкой, хотя, скорее, это попытки ответов. Вот вы говорите — болезнь. Фотографии закрывают жизнь. Но это так похоже на то, как я не понимаю следующего за моим взмахом звука... Было сомнение, которое вдруг взорвалось единственным разрешением — и сомнения как бы отступают, да? Знаете, еще был один момент, который запретил мне заниматься фотографией. Я стоял в очереди, и передо мной у кассы женщина раскрыла кошелек. Там были фотографии — наверное, ее близких. Мальчик стоит у дерева, девочка с куклой... Я бы сам хотел так снять, чтобы в суете, в подвижности жизни вдруг кто-то обратил внимание на других... Тот же взмах палочки. Нет, что вы — снимки в своих остановках дарят порой такие открытия...

Ронин смотрел на фотографию на стене — окно старого деревянного дома. Снимок был сделан с помощью простейшей техники, заключающейся в предварительной подсветке бумаги. От этого тени были гуще, насыщенней, словно снимали в вечернее время. Казалось, дрожало стекло, и был какой-то вопрос изнутри — о памяти, о будущей жизни...

— Это ваш последний снимок? — спросил Ронин. И оказался прав.

— Да, на нем я и споткнулся... Остановился. Мне показалось, жизнь вдруг уменьшилась, а сюда, — профессор показал на снимок, — переместилась, прямо-таки переметнулась память, мои чувства. Это было невыносимо. Если бы я был профессионалом, может, и обрадовался бы новому ощущению от своей работы, а так — испугался. Стал бояться, что буду подолгу вглядываться в свои фотографии, искать в них навсегда пропущенное, забытое... И главное — я забывал о музыке, о своих чувствах — только память оставалась гудеть во мне, как, знаете, настроиваемый оркестр. Невыносимо, да.

Ронин слушал, словно сам говорил эти слова.

Память, как вскипающая вода, невыносимость чувства, с которым смотришь на застывшее изображение. Нет, не застывшее. Это мерцание, обман зрения и чувства, но так же мерцают и звезды, хотя ты знаешь при этом о неподвижности и мертвенности. Знаешь, но не веришь. Мерцают, вспыхивают огоньки памяти, дрожат предметы. Нет остановки. Почему возникает это слово — невыносимо? Потому что бесконечно. А хочется окончательности, остановки, отдыха.

Профессора отвлекли — пригласили за противоположный конец стола. Ушла и Анна. А Ронин остался сидеть в одиночестве, глядя на фотографию. Он почему-то вспоминал те редкие посещения музея или зала консерватории, когда радовался совпадению собственного чувства с увиденным и услышанным. Увиденная картина всегда оказывалась единственной, которую он запоминал на многие дни, и в музыке прорывалась одна минута, надолго остававшаяся во внутреннем звучании. «Нашел», — называл Ронин свое ощущение, будто и отправлялся в музей или консерваторию именно на поиски чувств.

И сейчас, глядя на фотографию, он произнес это слово. Нашел. Будто нашел свою же фотографию, забытую в старых папках на высоких полках. Надо же, думал он, как все просто. Оказывается, его душа проста, как обыкновенный радиоприемник. Достаточно покрутить ручку настройки, и можно уловить из бесконечных волн одну-единственную — свою. Он так и снимает — в поисках совпадения.

— Чем вас так привлек мой шедевр? — Улыбаясь, профессор опять подсел к Ронину. — Признаться, я сам уже ничего не вижу на этой забытой фотографии. Привык.

— Совпадение. Бывают странные совпадения. — Ронину вдруг захотелось объяснить свой интерес к простому, в сущности, снимку так же просто, будто он выбросил игральные кости и должен назвать выпавшее число — и ничего больше. — Мне кажется, я хотел бы снять именно так. И это был бы мой самый важный снимок. Я не знаю, с чем это сравнить — с каким-то, наверное, собственным почерком взмаха дирижерской палочки, что ли. Я думаю, что каждый человек ищет свой собственный ключ к привычным, в сущности, чувствам. Какой-то один и тот же сон, один взгляд, или вот — снимок. С этим ключом можно жить — им открываются все остальные двери, да?

— О, да вы сороконожка! — рассмеялся профессор. — Вы хотите понять, как движется одна из ваших ног — и споткнетесь, обязательно споткнетесь, как только поймете нехитрый механизм движения. Нет ответа именно на самые простые вопросы — вот в чем штука! Я их избегаю, этих вопросов, да. Глаза боятся, а руки делают. Ну что в этом снимке? Совпадение, воспоминание? Надо идти дальше, вперед! Иначе... Да что я вместе с вами застыл на месте... Знаете что, — вдруг спохватился профессор. — Я вам подарю этот снимок. И не отказывайтесь. Будете смотреть и вспоминать наш смешной разговор.

— Это не то, не то... — задумчиво произнес Ронин и улыбнулся. — Да, действительно, смешно. Вы правы. А про сороконожку говорят все учителя своим ученикам. И я буду говорить, вспоминая свою молодость. Конечно, вперед. Конечно.

Он не заметил, как профессор кивнул Анне, почувствовал лишь, что Анна положила ему руку на плечо.

Они скоро ушли. Ронин нес рамку со снимком. Почему-то ему было приятно уходить, словно он наконец вырвался на свободу.

— Не умею я себя вести в приличном обществе, — пошутил он на улице. — Обычный вечер, а я заполнил собой все пространство...

— Ну что ты, — сказала Анна. — Тебе так кажется. Потому что все свое носишь с собой. Как улитка свой домик.

Ронин усмехнулся:

— И даже чужое прихватил. — Он говорил о снимке.

Знакомое ощущение появилось в нем. Как в детстве, когда он украл в гостях, не удержавшись, маленькую железную коробочку. Он позволил, именно позволил себе переступить внутренний запрет. Высыпал чьи-то ненужные пуговицы и монетки в аккуратную кучку на стол, пока шумело взрослое застолье в большой комнате, и с затаенным, преступным счастьем знал, что он занял себя переходом в завтрашний день. Эта коробочка, как волшебный клубочек, тянула его в завтра, обещая уже сейчас будущее чувство разочарования и раскаяния.

По дороге домой, под редкими фонарями, держась одной рукой за руку отца, а другой нащупывая в кармане коробочку, маленький Ронин удивлялся тому, как какое-то незначительное, казалось бы, событие может уже захватить собой будущее время.

Тогда он по-детски и объяснил жизнь как выбор какого-нибудь поступка и долгое его повторение в чувствах. Между поступками и их повторениями была пустота, а сами они и были той жизнью, которую видел и знал маленький Ронин. Он словно останавливал жизнь в событиях и долго ее рассматривал. Время он воспринимал как ожидание перед следующим рассматриванием, задумчивостью.

3

Вот еще одну фотографию посмотрел, — подумал Ронин об этом детском воспоминании. Чем дальше он возвращался в прожитую жизнь, тем больше ему казалось, что воспоминаний не так и много. Самых первых. И дотянуться до них было не так просто. Первые воспоминания не вызывались никакими усилиями памяти, а вспыхивали сами по себе, словно попадались под руку самые первые, уже пожелтевшие от времени фотографии. Но это случалось не часто.

А что было потом, всю жизнь, — подумал Ронин, выйдя из дома, оглянувшись вокруг, — повторения. Повторения первых чувств. Да по-другому и быть не могло.

И вот эту ель, закрывшую полдома, — тоже он видел в начале своей жизни, и желтый лист лежал уже когда-то, подрагивая на весу, на чужой, хвойной ветке.

И такое же окно, которое сейчас смотрит вслед, Ронин снимал первым фотоаппаратом, стараясь поймать свой собственный взгляд — из дома на улицу. Потому что еще раньше, совсем маленьким ребенком, он целыми днями простаивал у окна.

Фотография, которую ему подарил старый музыкант, и заставила Ронина поехать в деревню. словно он понял наконец, в чем сейчас его беспокойство. Фотография стены дома с одиноким окном вызвала одно из первых воспоминаний, и он ринулся к началу, чтобы собрать, найти в памяти первые чувства.

После того вечера, когда они с Анной ходили к музыканту, Ронину стало казаться, что в его архиве — многочисленных папках — исчезли несколько фотографий. Изо дня в день он переглядывал старые снимки и не мог найти то, что, казалось, видел перед глазами. Он даже не понимал, что это были не снимки, а его взгляд, предшествующий им.

Воспоминания взорвали прошлую жизнь. Они стали множиться в бесконечном выборе единственных, изначальных изображений, будто кто-то неустанно требовал и требовал правды.

Это было похоже на повторение молитвы, слова которой исчезали. Слова растворялись, находя свой невидимый обратный путь.

И когда казалось, что он наконец видит не снимок памяти, а настоящее закатное небо и последнюю каплю красного солнца, скользящую за горизонт, — видение исчезало, мгновенно возвращаясь на свое место во времени.

Ронин чувствовал это с самого начала, с детства. Ребенком он испытывал страх при воспоминании своих снов, подробностей вчерашних дней. Он боялся, что прошлое исчезает навсегда.

Ему купили фотоаппарат в десять лет. Когда отец вытащил из проявочного бачка первую пленку и посмотрел на свет, — засмеялся. Все кадры были одинаковыми. Дом, снятый Рониным с одного места — от речки. Он стоял там и шелкал — через минуту, через десять, через полчаса, пока не кончилась пленка.

Это было первым потрясением, связавшим для него фотографию с памятью. Дом умножился на бесконечных кадрах, но то ощущение, с которым Ронин нажимал на кнопку затвора, стоя у речки, исчезло. Можно было только услышать слабое журчание воды где-то рядом, стоило только закрыть глаза.

Отец, улыбаясь, объяснял, что не надо изводить всю пленку на один и тот же кадр. Так много вокруг всего интересного. Ронин слушал и думал, что это объяснение — такое же повторение. Того, что и сам зна-

ешь. Он понимал, что не найдет слов для оправдания, хотя внутри него пыталась соединиться в слова ясная мысль о том, что между этими кадрами проходило время — хоть небольшое, но осязаемое. И сейчас, глядя на пленку, он чувствовал это время в черточках, деливших кадры.

Вечером, поддавшись на нетерпеливые уговоры, отец напечатал десяток фотографий с этой пленки. Ронин вглядывался в ванночку.

— Был ветер, — сказал он. — Видишь, как по-разному застыли деревья.

— Так и сказал бы, что ты снимал ветер, — пошутил отец. — А вот это, наверное, птица, — показал он на увеличенную царапинку.

Фотографии были разными — Ронин это замечал и по небу над домом. Облака не стояли на месте.

Почему-то его тянуло снимать неподвижные предметы. Окно, например. На каждой пленке было это окно. Как ответ на детский взгляд изнутри дома. Когда Ронин был совсем маленьким, часто болел. Он часами наблюдал через это окно застывший внешний мир — яблоню, забор, луг, лес. И ему казалось, что неподвижные предметы вместе с ним переживали длительность времени. В такие минуты он забывал о себе, растворяясь в видимом пространстве, и чувствовал только странный шум времени, тишины — этот нескончаемый звук переходил через стекло и прижатую к нему ладонь.

Он снимал скамейку у забора с прозрачным силуэтом когда-то сидевшего на ней человека, старую покосившуюся баню под вербами, гнездо ласточек под коньком крыши — словно возвращая обратно те чувства, которые были раньше собраны по крупицам его взглядом. В коротком шелканьи затвора было какое-то тревожное завершение, граница прошлой жизни, и Ронин волновался, со страхом предчувствуя несовпадение будущей фотографии с отставшим уже навсегда чувством увиденного.

Он уже умел сам печатать — отец иногда заходил в темную комнату, рассматривал в ванночке фотографии.

— А это что? — часто не узнавал он.

— Вода в колодце. Видишь, не получилось — только серый квадратик...

— А ты недодержи, — говорил отец, и они вдвоем пытались выжать из светлого негатива, который давал на бумаге сплошную черноту, хоть какие-то искорки.

А однажды — как-то не было пленки — Ронин не удержался, по-снимал пустым фотоаппаратом. Он почти не почувствовал разницы! И потом заметил, что и без аппарата может «снимать», взглядом примеряясь к будущему несовпадению, двойному чувству. Вот — реальность, и вот — остановка, сдвиг, замирание... Это открытие странно испугало его — он не хотел продолжать в себе эту возможность наблюдать мгновенные остановки времени. И даже пытался отворачиваться, если взгляд его застывал вдруг в неподвижности.

Как же я жил, думал Ронин, и куда поместилась вся эта жизнь, если теперь так хочется вернуться только к началу? Неужели и не было ничего настоящего, а только копила усталость?

Он перешел небольшую рощицу, над которой и стоял его дом. И как не любил он все эти три года так называемую дачу — или в самом этом слове таилось чужеродность? Какая еще дача, если он вырос в деревенском доме и никак не мог примерить на себя другой такой же, пусть и похожий! А тут вдруг спохватился, полетел за далекими первыми чувствами — и ведь появились же, нашел он их! И во всем «виноват» старый профессор, подаривший обыкновенный снимок окна в бревенчатой стене.

Возраст, подумал Ронин. И больше ничего. Всю жизнь спешил, а сейчас остановился и стал оглядываться — как можно дальше. И взгляд дотянулся до детства.

Простота и ясность в мыслях Ронина была такая, будто его усадили за маленькую парту и опять начали учить читать. Все уже знаешь, но как приятно по-новому сложить слово! И казалось, что все книги он сейчас читал бы совсем по-другому. Медленно, наслаждаясь каждым словом.

Это старость, повторил он. И хорошо, что никого нет рядом, что никто не отговаривает его от этих мыслей. Сладостных, как первые воспоминания.

А ведь нашел же он сейчас тот путь, который соединил всю жизнь слабой, но неразрывной нитью! Ронин смотрел на березы, подернутые первой желтизной, и знал, что сейчас вспомнит, когда увидит и запомнит он их такими впервые...

Он вспомнил запах волос, единственный запах, волновавший потом его всю жизнь.

Под такими же березами он возвращался из школы. И не шел, а был растворен в этом ветре.

Одна маленькая береза стояла отдельно, у самой дороги. Мальчик подошел к ней, и ветки коснулись его лица. Как будто кто освободил его слезы — и мальчик заплакал, вздрагивая всем телом. Он дотронулся до ствола, и ладонь вздрогнула.

Почему все главное в этой жизни непонятно и неожиданно, думал мальчик, но не словами, а наверное, слезами, которые оживлялись при каждом его новом вздохе — как кровь из ранки.

В школе после уроков он бегал вместе со всеми по двору. И вдруг заметил, что игра изменилась. Куда-то исчез мяч, но детская толпа все равно не останавливалась, а перекатывалась из конца в конец двора. Все ребята кричали, будто догоняли какого-то зверька. Маленький

Ронин бежал в самом конце толпы и не сразу понял, кого же они преследуют. Это оказался небольшой, еще меньше Ронина, мальчик, сидевший на уроках перед ним на первой парте. Мальчик был нездешним — совсем недавно он приехал в деревню с родителями и пришел в их первый класс. Он был непохож на всех, и эта непохожесть была во всем: и в бледности лица, и в курчавости черных волос, и в заикании. Мальчик не понимал, чего от него хотят, на бегу он испуганно оглядывался и ожидал, наверное, что сейчас продолжится игра в мяч. Но в него бросали и бросали репейники, стегали огромными листьями лопухов и все чаще кричали одно и то же слово «дубоясень». Ронин понял, что это слово означало «ни то, ни се», точнее даже — бесполезность, никому не нужность. Удивляясь этой мгновенно придуманной кличке, Ронин испугался почему-то ее непривычному звучанию. Так не шло это слово испуганному мальчику, и он словно уклонялся не от репейников и ударов, а от этих криков.

Почувствовав, что кличка попала в цель, все громче и громче, перекрикивая друг друга, бросали это слово в спину убегающему. Он уже забился куда-то в угол около школьного крыльца и понял, что проврать кольцо преследователей больше не удастся. И закрыл лицо руками, вздрагивая всем телом.

Ронин смотрел на кричащие рты. Ему было так страшно, что он хотел тоже вырваться куда-то, убежать, но не мог отделиться от толпы. Он не понял, как в его руке оказался камень, и камень этот полетел в окно. Стекло взорвалось, медленно стали сыпаться вниз осколки. И стало тихо. Быстро опустело вокруг. Все разбежались. Остались только Ронин с мальчиком.

На крыльце стояла учительница. Она позвала их и повела в класс. И мальчик вдруг схватил свой портфель и убежал, оттолкнув учительницу, а Ронин остался.

Он ничего не мог сказать. Словно плач того мальчика передался ему и пока еще сидел комком внутри. Учительница погладила его по голове и сказала:

— Ты их испугал, да?

И плач прорвался наружу. Ронин выдыхал сквозь всхлипы:

— Я не хотел, я не хотел...

Учительница притянула его к себе:

— Успокойся, успокойся, ничего страшного, ну что ты...

— Зачем они так, зачем?... — все повторял Ронин.

Она вдруг наклонилась к нему, вытерла слезы и поцеловала в мокрые щеки. Один раз и второй.

Ронин почему-то подумал, что так начинают заикаться. Все в нем замерло, как в страхе. И хотелось, чтобы учительница еще раз наклонилась и поцеловала — такой неожиданный был запах ее волос, и он вдыхал и вдыхал воздух, боясь, что сразу же забудет его.

В класс вошел директор, и учительница начала с ним разговаривать, все еще глядя Ронина по голове. Но он вдруг вырвался и убежал — так же, как и тот мальчик.

Он стоял у березы, вдыхая в себя ветер, и плакал, не боясь, что его кто-то увидит. И еще странное желание было в нем — превратиться в такое же дерево и стоять рядом с березой. Он даже покачивался, будто задевал несуществующими своими ветками невесомые листья березы.

Он долго шел домой, а когда вернулся, за столом рядом с матерью сидела учительница. Они улыбнулись ему и стали говорить тише, почти шепотом. А Ронин шмыгнул в другую комнату и притаился там. Он смотрел на учительницу в зеркало.

Ронин видел, как учительница улыбалась и кивала головой. Пряди волос ее покачивались у щеки. И Ронин помнил их запах.

Когда его позвали, он вздрогнул. И, не понимая, что делает, быстро вылез в окно.

6

Через много лет, обняв на прощание в первый вечер Анну, Ронин задохнулся от найденного запаха. Перед глазами у него качнулась далекая, прилетевшая из детства ветка березы.

Он удивился тому, что может думать в эту минуту. Думать о том, что в его жизни свершилось повторение. В окружающем мире, к которому он привык, как к чужому, вдруг нашлось родное чувство. Прорвалось к нему. Ронин затаился, боясь его спугнуть.

— Что ты? — Анна погладила его по голове.

Ронин обнял ее еще раз, и даже улынулся — нет, не показалось. Все осталось на своих местах. Как на старой фотографии, вдруг подарившей забытое воспоминание — оно уже не изменится никогда. Уже не смотришь на снимок, а вслушиваешься в себя.

— Меня когда-то так же погладила первая учительница. И поцеловала, — сказал он, не обращая внимания на то, что слова совсем не содержат того, что он хотел сказать. — Я тогда удивился, что кроме всего привычного, родного, кроме своих чувств, есть еще и чужие, которые мгновенно становятся своими. Тогда я испугался.

— И сейчас? — тихо спросила Анна.

— Да, наверное. Все так неожиданно... И я все чувствую, удивляюсь, говорю об этом. Ведь об этом нельзя...

— Ты странный, — сказала Анна. — На выставке мне показалось, что вся твоя жизнь, как мозаика, состоит из этих фотографий. Каждый снимок — как отдельный взгляд, отдельная мысль. А сейчас вспоминаю эти снимки на белой стене... И мне кажется, что все твои чувства — не в снимках, не в этих черных островках, а между ними. Да?

Ронин был поражен ее догадкой.

— Да, между ними... Ведь фотографии на самом деле закрывают собой жизнь. Останавливают и — закрывают. И возможны только воспоминания. Фотография — искусство странное, даже какое-то страшное.

Он привел Анну домой и чувствовал себя так, будто сам впервые вошел в эту квартиру с разбросанными на столе старыми фотографиями. И он рассказывал о своей жизни, будто фотографии были закладками в ней, как в книге. Эти закладки выпадали из рук, ненужные, обратно на стол.

7

Ронин ходил на ее концерты. Слушая музыку, глядя на Анну, он чувствовал, что они с ней — одно существо. Один и тот же человек играл на скрипке и слушал музыку. И где-то внутри, как натянутая паутинка, в этом человеке было лишь видимое расстояние: между сидящим в зале Рониным и на сцене — Анной.

Он смотрел на ее легкий смычок, завораживающе скользящий, и думал, что музыка была поводом, причиной, ширмой, за которой таились все чувства. И он замечал то неуловимое мгновение, когда звук только начинался.

По дороге домой Ронин много говорил, и вскоре стал замечать, что утомляет Анну непонятностью своих слов. Нужна была простота, а он запутывался, стараясь говорить яснее. Рассказывал о своих планах, о бесконечной погоне за одним долгожданным снимком, который наконец будет двойным, звучащим, медленным — он по-разному его называл, желая передать словами продолжительность его во времени. Не остановку, не стоп-кадр. Конечно, нет. Он много думал, многое понял, знает, как нужно снять.

Ронин не жалел пленки, когда снимал Анну во время ее занятий дома. Мешал ей, долго устанавливая свет, иногда снимал тайком — в открытую дверь. На фотографиях высвечивал только смычок, гриф, локон или тусклый отблеск скрипки. Этих фотографий были уже сотни. Анна уставала от них. Ронин снимал и оркестр — и даже выставка, которой он не был доволен, устроилась в фойе консерватории — так она и называлась — «Репетиция оркестра».

Чем больше он заполнял видимое пространство этими фотографиями, тем больше чувствовал, что они застывают, медленно останавливаются, как след за реактивным самолетом. В каждом новом снимке Ронин заранее представлял все — и тени, и основное тусклое пятно света, которое почему-то блуждало по снимку, как слепое пятно зрения. Они были внешне разными, эти снимки. Но одинаковым было достижение того настроения, которое Ронин не мог перешагнуть, пересилить внутри себя. Странно — он злился на себя за то, что и явного провала у него не случалось даже в самых, казалось бы, тиражных снимках! В каждом из них таилась капля меткости, схваченности — остановки...

Это уже была полноценная мозаика, о которой когда-то говорила Анна, — и между кадрами оставалось все меньше и меньше свободного места. А Ронин не мог остановиться. Иногда странная мысль приходила ему в голову. Получалось, что его цель таилась где-то в том кадре, в котором человеческому взгляду уже нельзя будет различить ни одной поверхности, ни одной тени. Темный зал, темная комната — темнота, в которой готовился, должен был появиться первый звук. Он отмахивался от таких мыслей. Недостижимо, говорил он сам себе. Недостижимо показать то, что видишь только один. Слышишь один. Точнее, собираешься, хочешь услышать, увидеть, почувствовать. Ширма, черная бархатная ширма, как в затворе фотоаппарата, скрывает собственные чувства, превращая тебя в аппарат. Он работает всегда, неостановимо — и ты меняешь только выдержку, на мгновение задержав прикрытыми глаза.

— Ты устал, — говорила ему Анна. — Ты устал в своей бешеной гонке. Это какая-то погоня. Или, если хочешь, ловля своего хвоста. Была выставка, хватит. Придумай что-нибудь другое. Съезди куда-нибудь. Давай вместе. Хочешь?

Они улетели в Крым — на три дня.

8

Дымка висела над морем и горами. Ронин смотрел на нее и чувствовал, что впервые за всю жизнь взгляд его растворился, потеряв направление — ту прямую линию, по которой всегда выискивал цель.

Однажды они заплыли далеко, и Ронин махнул Анне рукой — возвращаясь, а сам все плыл дальше. Вода была спокойной, в дымке исчез горизонт, и даже берег едва виднелся. Ронин все плыл.

Он вдруг почувствовал себя совершенно одиноким посреди воды, белого неба над головой, и не хотел ничем вытеснить из себя это чувство. Вдруг показалось, что это ощущение одиночества — единственное, которое обнаруживалось в нем само собой, без поисков и размышлений. И напрасно он так его избегал все время.

Ронин вспомнил, как снимал Анну, музыкантов и, как он думал, музыку. Все эти кадры показались ему иллюстрациями из чужого альбома. Его научили снимать, потом он еще и сам научился и снимал, как надо. Как положено. Ничего при этом не найдя своего, не сделав ни одного собственного открытия.

И так вся жизнь, — подумал Ронин, — вся жизнь нанизана на чужой стержень, как на мастерство, которому не так трудно научиться. Ничего не осталось настоящего, кроме первых воспоминаний, кроме первых фотографий памяти. Вся жизнь оказалась только повторениями первых чувств.

Он вспомнил себя маленьким мальчиком, стоящим у окна — начало всей видимой жизни. Профессорский снимок стены дома с окном всплыл сам собой в памяти. Собственного взгляда в нем не было. Как

ни старался Ронин совместить эти воспоминания, мальчик оставался одиноким — таким же, как Ронин сейчас, посреди бесконечной воды.

Зажмурившись, он нырнул. Вода плотно обхватила его, темнота стала непроницаемой, как ширма. «Нельзя, нельзя», — подумал он и рванулся вверх. Какое-то незнакомое, впервые пришедшее к нему предчувствие кольнуло в груди.

На берегу он прополз по гальке и рухнул рядом с Анной. Она дотронулась до его головы:

— Я испугалась.

— Там хорошо, — тяжело выдохнул Ронин.

— Там хорошо, где нас нет? — пошутила Анна.

И Ронин улыбнулся тоже. Он устал, словно пришел с какой-то непосильной дистанции. В выборе которой ошибся.

Анна прильнула к нему. Ее волосы пахли морем и теми пожухлыми травами, среди которых они бродили по склонам прибрежных холмов. Ронин прислушался к этому запаху, словно к тихой музыке, в которой старался вспомнить ее первый звук, начало. Он хотел связать воедино воспоминания — локон учительницы, шевельнувшийся перед самыми глазами, запах волос Анны в первый вечер — и расслышать их сквозь запах моря и травы.

Он хотел, чтобы вся его жизнь так просто и ясно вдруг растеклась обратно во времени, по этим воспоминаниям, и стала одной, бесконечной и непрерывной. Но этого маленького чуда не произошло.

Ронину показалось, что он рассматривает фотографии, сделанные им в разное время жизни. Тысячи раз он так же перебирал снимки, и эта профессиональная привычка сработала и сейчас. Раз, два, три, — подумал он словами про себя. Раз, два, три. Черная шторка, ширмочка затвора делала свое дело. Свое черное дело. Жизнь разбилась на осколки, на снимки, стала прерывистой. Почему-то Ронин вспомнил странное слово, которое услышал в школе на уроке физики, — дискретная. Это означало — пульсирующая, не связанная одной линией. Одним взглядом.

— Еще одно проявление профессиональной болезни, — проговорил он вслух.

— Ты опять думаешь свои глупые мысли, — улыбнулась Анна и погладила его по голове. Как всегда. Будто снимала своей рукой эти самые мысли.

— Хорошо, что я не взял аппарата, — сказал Ронин. — Я все равно не притронулся бы к нему.

На набережной Анна, смеясь, уговорила его сняться у фотографа, который караулил отдыхающих у своей треноги. Ронин не выдержал зрочка камеры и отвернулся.

— Ревнуешь, ревнуешь, — засмеялась Анна.

Назавтра фотограф извинился, что снимок не получился, и попросил их попозировать еще раз. Ронин отказался, и Анна обиделась.

— Ну это уже какие-то глупые капризы.

Ронин отошел в сторону, сел в открытом кафе за столик. Он видел краем глаза, как Анна улыбнулась и что-то шепнула фотографу. Потом подошла к нему. Они молча сидели и пили вино, а фотограф, наверное, снимал их издали.

Один раз он пожалел все-таки, что не может сфотографировать Анну. Утром она вышла на балкон, и волосы ее развевались, как ветки акации, что шумела рядом под ветром. Вдалеке виднелась гора — как профиль человека, глядящего вверх. Ронин улыбнулся, словно спохватившись, — такие снимки делают новички, считая их большой удачей. Самое время и ему начать все сначала, не так ли, — грустно подумал он. Может быть, новая дорожка поведет его по непрерывной линии?

Анна обрадовалась, увидев на его лице улыбку.

— Наконец-то я вижу тебя с самого утра в хорошем настроении. Как жалко, что надо уезжать.

— Ты прямо просишься на обложку журнала. И я бы получил за тебя уйму денег.

— Знаем мы эти журналы, — погрозила Анна кулачком. — Дежа ню.

Они весь последний день и шутили так же, старались острить по любому поводу, до усталости. Ронин даже удивлялся, какой приятной может быть жизнь, если забыть о себе на время. Хотя бы на время.

9

Однажды, встречая Анну после концерта, он из-за какой-то странной шаловливости спрятался за памятником Чайковскому и стоял так долго, как заколдованный. Анна вышла с профессором, долго оглядывалась по сторонам и потом села в машину.

Ронин вернулся домой. Анны не было. Он сначала ждал звяканья ключа, потом телефонного звонка. Поздно ночью открыл холодильник и допил полбутылки водки. Анна так и не пришла. Назавтра она позвонила и сказала, что ночевала у подруги.

И вечером опять Ронин спрятался. Анна уже сразу села в машину к профессору.

«Как все просто», — думал Ронин, бродя по ночным улицам.

Перед домом он купил водки и начал пить ее на кухне, даже не раздевшись. Он хотел быстрее испытать какое-нибудь сильное чувство наподобие потрясения, отчаяния, но оно ему не давалось. Как не давалось опьянение. «Как все просто», — гудела в голове глупая мысль.

Остатки водки он хотел выплеснуть в раковину, но подумал — ведь будет еще завтрашний день. Такой же. Пусть водка пока останется.

Ведь я выпал из жизни, а меня это даже не тревожит, думал он, засыпая. Меня обманули, и я должен был впасть в отчаяние — почему же я спокоен? Может, я и не любил, не чувствовал по-настоящему,

как все? Живу своей маленькой, достаточной для меня жизнью, и большего мне не нужно? Остался ребенком... Который знает, что есть внешняя, другая жизнь, в которую его не пускают, да и он сам туда не просится, не лезет... И Ронин почему-то вспоминал того мальчика, за которым гонялась толпа на школьном дворе.

Ронин уже не ходил к консерватории. Днем звонила Анна, спрашивала, почему он ее не встречает, и в ее голосе была обида. Так ему казалось. Он молчал, а в последний раз ответил, что больше не придет. Анна не удивилась — так он понял. И положил трубку.

Куда деть себя, Ронин не знал. Водку пить он больше не мог, телефон отключил. И вот появилась эта спасительная мысль о поездке в деревню. Простая, как желание выйти прогуляться.

Одиночество захлестнуло его. Даже не захлестнуло, а раскинулось перед ним, лежало, как готовая петля на столе. Дальнейшее требовало действий — а это уже была та самая внешняя жизнь, чужая, или скопированная с какого-то знания о ней. Ронину казалось, что он исчез, исчезли его чувства, и он соглашался с таким состоянием — жить внутри своей тонкой скорлупы, не соприкасаясь с внешним миром. Он даже испытывал чувство облегчения, как после детского плача — наконец-то стал свободен, выплакался, вычувствовался, измаялся душой. Казалось, он остался один в зале, в котором недавно была его выставка — посреди голых стен, наедине со своими чувствами. Все лишнее, оказывается, исчезло. Одиночество, наполнившее душу, — вот, оказывается, к чему он стремился всю жизнь?

Лишь жажда воспоминаний мучила его. Он прорывался к ним сквозь снимки, мельтешащие перед глазами, — прорывался к себе настоящему. Эти снимки, остановки прежней жизни, мешали, как мешало и все, чем он напоминал окружающих людей. Он жил, как все? Нет. Высказывался, учился, ходил на работу? Нет. Ронину это казалось. Всю жизнь он плел кокон, окружал им свою душу и прятался там, как тот мальчик, за которым гонялись его сверстники, почувствовав, что он — «ни то, ни се» — «дубоясень». Не похожее ни на кого создание, после своего рождения помогающее только своему отличию от внешнего мира. Как хорошо, что у него нет никакого таланта — что бы он с ним делал? Доказывал его, выставлял напоказ?

Но тут Ронин запутывался. Какой талант? Он даже не представляет, что это такое. Бог с ним, с талантом — Ронин остается сам по себе, и этот возврат к себе становится все яснее...

10

Одиночество, которое он ощущал в городе, в деревне превратилось в свободу. Ронин даже удивлялся — почему это он раньше так редко приезжал сюда? Он выходил из дома и шел куда глаза глядят — лесами, полями, переходя какие-то речушки по старым мосткам, бесцельно

оглядываясь по сторонам и улыбаясь непонятному счастью. Он не спешил — некуда было спешить, ни о чем не думал — потому что не слышал внутренних вопросов, смотрел вокруг спокойно и ясно — потому что не было никакой цели что-то заметить, чем-то восхититься, остановить взглядом какой-нибудь особенно привлекательный вид. «Слился с природой», — иногда он все же посмеивался над собой, но понимал, что это правда. И незачем говорить самому себе глупые фразы.

На этот раз Ронин забрел так далеко, что заблудился. И это только позабавило его. Он понял, что уже почти не привязан ни к какому месту на земле и стал как перекасти-поле — окончательный вариант свободного перемещения в пространстве. Может быть, лишь тогда он и порассуждал сам с собой, как с собеседником, о бессельности перемещения как о единственно правильном способе существования. Так, немного поразмышлял, в шутку даже, не утруждая себя глубокими умозаключениями. Так же, как бы в шутку, и получилось у него выйти на какую-то тропку, выведшую наконец и на широкую дорогу. Он сориентировался и вернулся домой. Может быть, лишь на последнем мостике немного испугался: а ведь мог и на ночь остаться блуждать где-то в лесу. Такой вот выпрыгнул перед ним остаток, атавизм страха.

Дверь и окна в доме были распахнуты — кто-то хозяйничал в нем, занимался уборкой. Это была Анна.

— Еле вычислила, куда бы ты мог спрятаться, — сказала она, выходя на крыльцо. — Как ребенок.

Он улыбнулся — можно было и так назвать его состояние. Проведенные здесь дни, наверное, вернули его в детство больше, чем все прежние размышления.

Они обнялись, и Ронин действительно ощутил себя маленьким, как в детстве. Он оглянулся на угол, в котором утром вспомнил из детства маленького телячка. Сейчас на том месте стояла белая сумка Анны.

Сели за стол. По комнате гулял свежий сквознячок. Анна говорила, не умолкая. О какой-то будущей выставке Ронина, о своих предстоящих гастролях, о том, как ей понравилось здесь, в деревне. И машинально переставляла на столе всякие привезенные вкусности.

«Словно приехала ко мне в больницу. Или в тюрьму», — подумал Ронин.

Он молчал, но слегка улыбался — потому что в глубине души не был расстроен приездом Анны. Даже наоборот. Хотя что — наоборот? Особенной радости он не испытывал. Просто ему было все равно. Анна ему не помешала — как можно помешать тому, чего нет? А у него нет ни занятий, ни отдыха — он исчезает потихоньку даже для самого себя. Остатки души теплились где-то на самой глубине, а весь он, казалось, впадал в странное состояние, напоминающее зимний сон какого-нибудь зверька.

— Послушай, а баня у тебя есть? — спросила Анна. — Давай баню истопим — мне кажется, в этом столько прелести...

Ронин кивнул и вышел. Сосед как-то уговаривал его пользоваться своей баней и показал, где прячет ключ.

Он наносил воды, разжег печку. Сел на порог и стал смотреть, как через его голову переплывает и растворяется в овражке дым. С яблони упало яблоко. Ронин поднял его и положил рядом на порожек. Он смотрел на свой дом, на мелькающую среди взмывающих от сквозняка занавесок Анну. Казалось, они разговаривают на расстоянии — без слов, без мыслей, — и Ронин вдруг почувствовал, что эта связь становится все осязаемее, все крепче. Он поморщился, стараясь стряхнуть с себя почти забытое чувство, но это не удавалось. Какой-то детский, из далекого времени возникший, уют окружил его. Как дым. Как запах бани, яблок, старой травы. Он прикрыл глаза. Никуда не деться от желания счастья. И если он даже поедет куда-то дальше, будет бесцельно перемещаться по земле — где-нибудь на берегу моря, или глядя в окно поезда, вспомнит о каком-нибудь прошлом счастье и пожалеет, наверное, себя со своим одиночеством, со своей свободой...

Баня истопилась быстро. Ронин разделся и вошел в горячий воздух. Обдал себя холодной водой и лег на полок. Прямо перед глазами были застывшие продольные жилы досок потолка, похожие на песчаное морское дно.

Как все необычно и... обычно, — подумал Ронин. Он хотел найти противоположное по смыслу слово, но не нашел. И улыбнулся. Пусть будет так. Все можно объяснить, соединив одно слово с его противоположностью простым прибавлением «не». Этого достаточно — для самого себя. Ведь никому ничего не объясняешь и не доказываешь.

В предбаннике раздевалась Анна. Она вошла и ойкнула — от жары. В руке она держала яблоко. Ронин от удивления замер. Раньше он обязательно заметил бы в этом пошлость, будто увидел бы, как начинающий фотограф выстроил композицию: обнаженная с яблоком на фоне открытой двери, за которой — сад. Райские кущи. Но сейчас во всей этой картине была такая естественность, которую Ронин редко встречал в жизни.

Улыбнувшись, Анна надкусила яблоко и положила его на подоконник.

— Какой ты горячий и мокрый, — сказала она, когда Ронин подвинулся на полке.

Ее удивляла и радовала каждая мелочь — прищурившись и улыбаясь, она оглядывала все подробности. Слоистый пар, почти неподвижный в воздухе, запотевшее окно, надкусанное яблоко с капельками влаги, подрагивающую поверхность воды в широкой деревянной кадке.

Они молча лежали рядом, и Ронин думал, что это замкнутое пространство, тесно окруженное четырьмя стенами, вдруг оказалось в са-

мом центре того мира, который он всегда ощущал вокруг себя, — в самом центре прожитой и будущей жизни. Время исчезло. Не остановилось, а исчезло. Ронин понял, как можно что-то ясно понять во сне, что сейчас вся его жизнь — от рождения и до смерти — здесь, в нем, рядом с ним, в границах четырех стен.

И, как когда-то в детстве, он ощутил прибавление к себе еще одного такого же существа, слияние с ним, словно освобожденные чувства с готовностью и облегчением перетекали из одного, тесного сосуда, в больший. Как вода. Как нагретый, спрессованный воздух.

Потом они лежали и Ронин слышал их общее, одинаковое дыхание. Где-то там, — думал Ронин, — в саду, под легким ветром, движется и время, то затихая, то спохватываясь и догоняя себя, неслышно обтекая эти стены...

Словно проверяя свои ощущения, Ронин открыл одну за другой две двери — холодный воздух пронесся мимо него внутрь бани — показалось, что сквозь него, как сквозь пустоту.

Он закрыл дверь, услышав, как Анна позвала его, пошел к близкому роднику — в овражке. Посреди ила вырвался ключ, неостановимо поднимая бурунчик блестящих песчинок. Ронин напился, наклонившись к роднику, а Анне принес воды в ковшике. И в бане они пили по очереди, и остатки воды, прижав к себе Анну, Ронин вылил на их лица сверху.

Возвращались они, когда уже застыл воздух, и солнце зашло — а небо еще всю светилось закатным светом.

— Как хочется спать, — прошептала Анна, — и жалко уснуть. А ты, наверное, хочешь есть? Принеси только еще воды... Давай не будем закрывать окна?

Она еще что-то шептала, уже обессиленно откинувшись на кровати, и Ронин не различал слов — ему казалось, что он слышит шелест листьев.

Когда он вернулся с водой, она уже спала, и уголки ее губ подрагивали в улыбке. Ронин прилег рядом и только успел накрыться одеялом, успел расслышать их двойной вздох и — исчез.

— Ты спал, как ребенок, — услышал он утром, шурясь от яркого света.

— А ты? — спросил он.

— Тоже. Мы спали, как дети. Мы вообще похожи.

«Да, похожи», — подумал Ронин и закрыл глаза. Два человека, живущие вместе, становятся похожи. Он вспомнил, как в детстве не мог понять, что его отец с матерью были когда-то чужими друг другу людьми. И маленькому Ронину казалось, что это он исправил ошибку, несправедливость прошлого. Родители стали родственниками. И конечно, похожими друг на друга.

На плите шипел чайник.

— Ты сам завари, хорошо? — сказала Анна.

Она знала, что Ронин не любил пить чай «чужой» заварки. Он улыбнулся:

— Просто сделай покрепче.

Потом, когда отпил первый глоток, он пошутил:

— Вот, что называется, вложила душу. Кажется, что сам заваривал.

— У тебя с этим чаем почти человеческие отношения! — засмеялась Анна. — Каждое утро ты начинаешь с какого-то таинственного с ним общения. Неужели у меня получилось?

— Настроение чувствуется, — шутливо успокоил ее Ронин.

Странно — но он ни разу в жизни не пил чужого чая, который бы по вкусу совпал с его ожиданием. «Ну разве не сумасшедший», — подумал Ронин, вспомнив об этом. Но ему понравилось сейчас, что Анна знает о таких его тайных странностях.

Когда они дошли до леса, Анна сказала:

— Ты так уверенно вышел на эту тропинку, что я сразу поняла, чем ты тут занимаешься.

— И чем же?

— Вот так и гуляешь. Целыми днями.

Ронин кивнул. Это поразительно, подумал он, как она его знает.

— Ты сказала, мы похожи, — повторил он. — А со стороны, мне кажется, мы напоминаем... Я — перекасти-поле, такую траву без корней, а ты — какой-нибудь холмик, к которому я прибил. Перенесся ветром, временем.

— Как к препятствию, да?

Ронин пожал плечами:

— Да нет. Какое препятствие? Я просто глупое какое-то сравнение придумал. Отвык разговаривать, даже думать. Правда — брожу здесь целыми днями, зачем, почему?

Он остановился, стал собирать сухие ветки для костра. С Анной не получится ходить так легко, бесцельно, как он уже привык здесь. Они будут разговаривать.

— Может, вернемся в Москву? — предложила она. — Ты пока не будешь работать, если еще не хочешь... не можешь. Я сама устрою выставку — ну, конечно, ты только отберешь работы... Нельзя же так... бесконечно.

Он внимательно посмотрел ей в глаза.

— Понимаешь, мне надо до конца... иссохнуть, раствориться. Мне надо выползти из этой надоевшей шкуры! — Ронин даже дернул на груди куртку. — Совсем недавно я понял, что моя настоящая жизнь только сейчас стала проявляться. В воспоминаниях. В воспоминаниях ожили мои чувства — впечатления, переживания, любовь, страхи... И я не жил, а вглядывался в свои чувства со стороны. Оказывается, я был

болен с самого детства. Я все время смотрел, видел... снимки! Меня высосали все эти фотографии, высосали!

Последних слов он не ожидал от себя. Как это — высосали? Он даже наедине с собой об этом не думал. Придумалось. Первое, что пришло на ум. Как чужая, прочитанная где-то фраза. Ронин тяжело дышал, пытаюсь успокоиться.

— Прости. — Он подрагивающими руками поднес спичку к костру. — Прямо истерика какая-то. Кризис возраста, кризис жанра, — наверное, всему этому есть какое-то название, — попытался он улыбнуться, — не такой уж я редкий экземпляр. Пришло время, и задумался, засомневался. Как говорил твой профессор? Сороконожка, да? Которая задумалась о какой-то своей там ноге. А надо по пословице: глаза бояться, а руки делают. Все просто.

Не надо было вспоминать профессора. Заныло что-то в груди, заеклось — нерастворимый комок.

— И вот сейчас стараюсь быть обиженным, — пересиливая себя, проговорил Ронин. — Не сам виноват. Фотографии, болезнь, еще... кто-то.

Анна вздрогнула от этого «кто-то». Ронин хотел набрать воздуха, вздохнуть, освободиться от тяжести в груди — и не мог. Зачем он мучает ее? Ведь даже наедине с собой он так не выплескивал наружу эту словесную желчь, от которой стало противно. Слаб, слаб человек — мало ему знать свою болезнь. Обязательно надо и на другого человека ее взвалить — чтобы помучиться вместе. Надо молчать, — подумал он. — Хватит, хватит этих слов.

Анна побледнела. Она смотрела, не отрываясь, на разгорающееся пламя.

— Ну... побудь здесь. Тебе же здесь хорошо, — она почти шептала. — А потом вернешься. Или я еще приеду. Можно?

Ронин усмехнулся:

— Так много вариантов. Можно остаться, вернуться. И ты приезжай. Почему ты об этом спрашиваешь? Я только не понимаю, как можно меня терпеть?

— Я не терплю. Я хочу быть с тобой.

— Кажется, что много вариантов. Но все — одновременно. Я стал жить вне времени. Почти перестал его ощущать. Поэтому все можно. Жизнь все позволяет. Как я этого раньше не понимал? Шел, прыгая с кочки на кочку, боялся упасть. А надо было закрыть глаза и просто так брести. Плыть по воздуху. Оказывается, так можно.

С каждой фразой Ронин подбрасывал в костер сухие хворостинки, нашаривая их в траве, будто отсчитывая. Анна встревоженно вглядывалась в его лицо, не понимая, о чем он говорит. В ее глазах мелькнул испуг.

— Пойдем, покажешь мне свой лес, да?

— Вернемся. Не получается прогулка. Заговариваюсь. Не надо так много говорить.

Ронин вдруг почувствовал внутри себя такую пустоту, что даже испугался — не сможет сейчас подняться. С трудом он встал на ноги. Показалось, что ветер качнул его. Анна быстро взяла его под руку и оглянулась на костер. Ронин махнул рукой:

— А, ничего с ним не будет. Догорит. Как я. — Он улыбнулся.

— Что с тобой? Тебе плохо?

— Не знаю, — ответил Ронин. — Какая-то слабость. Впервые так... Все воплощается. Слова, чувства. Пойдем.

Анна тесно прижималась к нему на ходу.

— Сейчас поспишь, отдохнешь, и все пройдет. А я приготовлю обед. Ты же совсем ничего не ешь. Я посмотрела — ну никаких продуктов у тебя не было!

Ронин слабо улыбнулся. Как с маленьким, — подумал он.

11

Просвет дороги на выходе из леса синел от дыма. За деревьями слышался странный треск, будто кто-то ломал сухие ветки. Зазвенело стекло. Что-то там горит, — подумал Ронин и сразу же в подтверждение его догадки донесся далекий голос: «Пожар, пожар!» Оставив руку Анны, Ронин побежал вперед.

Его дом был наполовину охвачен огнем. Пламя гудело над крышей и как жидкость, медленно расплывалось по стене. Из крайнего окна вырывался сноп огня — и вдруг лопнули остальные, освобожденные языки пламени, вырвались с потоком искр. Казалось, внутри дома бушевало какое-то горящее чудовище, и его щупальца корчились, вытягивались вверх сквозь пустые окна.

Ронин рванулся к дому, но даже на большом расстоянии раскаленный жар ударил в лицо, остановил. Он отпрыгнул назад, к Анне, почему-то испугавшись за нее, обхватил за плечи, приговаривая: «Не бойся, не бойся, уже все — уже ничего нельзя сделать...». Она в немом ужасе прижала ладони к щекам.

Поодаль, у начала деревенской улицы, мельтешила группка местных. Перебегали с места на место, толкались. Звякали ведра, мелькали лопаты. Но люди не приближались к горящему дому — понимали, что бесполезно. Тем более что остальные дома стояли далеко и пожар им не грозил. Один мужик только подбежал к бане — ближайшему строению — вылил на ее стену ведро воды и махнул рукой. Ничего, мол, не загорится. Далеко.

— Вы хозяйева, что ли? — крикнул этот мужик Ронину. — Чего загорелось-то?

Ронин пожал плечами. Мужик подошел ближе.

— Послали мы звонить пожарникам. Пускай приедут, хоть узнают. — Мужик заглядывал Ронину в лицо, наверное, удивляясь его спокойствию. — Хорошо изба стоит, далеко от всех. Мы смотрим — замок всегда.

Значит, есть хозяйева. Дача, что ли? Дача не дом, еще купишь — у нас продаются две избы. А что раньше не приезжали?

— Приезжали. Редко.

— Значит, не так она и нужна, дача-то.

Ронин кивнул. Уже не нужна.

— А как баня — не загорится? — спросил он.

— Не должна. Да мы смотреть будем — если что, потушим.

Ронин с Анной обошли кругом горячий воздух, сели на порог бани.

— Ну, вы тут горевайте, а мы там, — мужик махнул рукой, — скоро пожарники приедут.

Дом словно раздувал изнутри себя огонь, выдавливал его через пустые окна. Тонкие рамы быстро сгорели, осыпавшись с искрами вниз.

«Так заполняется пустое время прошлого. Огнем. И сгорает. Не выдерживает время пустоты». — Эти слова Ронин словно услышал внутри себя.

Он почувствовал, как дрожит Анна.

— Страшно, — шептала она. — Все видишь и не понимаешь, что это такое.

— Не понимаешь, что это такое, — закрыв глаза, повторил Ронин. — Останется только пожарище. Как последний снимок.

И тут Анна не выдержала и заплакала. Сквозь всхлипы прорывались слова:

— Хотя сейчас ты можешь прекратить... Загонять себя в этот тупик... Какой снимок? Какой снимок...

— Я никому себя не навязываю! — вдруг громко и отчетливо оборвал ее Ронин. — И не надо мне ваших отражений!

Почему он так сказал? Ронин с удивлением прислушивался к внутреннему эху от последнего слова.

— Каких отражений? — испуганно отдернулась от него Анна.

Ронин взглянул в ее блестящие глаза и выдохнул, резко очертив рукой пространство перед собой:

— Всех! Всяких! Твоих, чужих, предметных, невидимых... всех.

Он опустил голову, пробормотал:

— Тебе сейчас лучше уехать. Я догоню... завтра.

— Но я не могу оставить тебя таким! — встрепенулась Анна.

— Ничего, — уже спокойно сказал Ронин. — Все равно мне надо остаться... пока догорит.

Анна молчала. Наверное, понимала, что надо согласиться.

12

Он провожал ее к дороге и даже невольно тянул за руку, словно старался быстрее вывести из горячего воздуха, подальше от пожара. На первой же попутке она уехала к станции.

С этой минуты Ронину стало казаться, будто он раздвоился. Потому что, как во сне, видел себя со стороны. Вот он вернулся к бане, опять сел на тот самый порожек, так же стал смотреть на горящий дом. Увидел, как проехала мимо пожарная машина, не останавливаясь. Странно. Наверное, направилась к речке — за водой. Вернулась. Пожарные не спеша размотали толстый рукав. И стали ждать, пока пожар начнет затихать, чтобы потушить его остатки.

К вечеру пожарные уехали. От торчащей на месте дома печки и груды обугленных бревен расползлся по оврагу удушливый пар.

Ронин напился воды из родника, с трудом добрал до бани и, как тяжелый багаж, взвалил себя на полок. Он не спал, а медленно, как пар за окном, растворялся в воздухе, в пространстве.

13

И назавтра, когда Ронин шел пешком по прямой полевой дороге, он думал о себе как о другом человеке, который находится где-то далеко и знает об идущем, и ждет его возвращения.

В московской квартире он пробыл недолго. Взглянул на телефон, на висевшие по стенам фотографии. Одну из них — окно деревенского дома — перевернул к стене. Помылся, переоделся, попил чаю. Все это делал не спеша, но и не тратя лишнего времени.

И когда уже смотрел на облака сверху, через иллюминатор самолета, Ронин подумал, что сейчас время идет так, как надо. В одном направлении — как и этот самолет. Хотя и кажется, что он висит на одном месте.

14

Гора, как губка, впитывала свет. Полутени ее поверхности с мягкими очертаниями скал, курчавым кустарником были так ясны сквозь чистый промытый воздух, что хотелось протянуть руку — дотронуться. Коричневый, лиловый, желтый — смешивал Ронин цвета с каким-то восторгом своего тайного союзничества с горой, которая не давала возможности человеку назвать свой цвет. Бедный, бедный человек, думал Ронин, — не все ты можешь. Рисуй, описывай, снимай — а этот восторг остается только в живом взгляде. Гора — сильнее. Как в насмешку над человеком, она изобразила на своем склоне человеческий профиль, запрокинутый в небо — взгляд в бесконечность. Смирись, гордый человек, молчи и — смотри.

Ронин вздрогнул от своих мыслей, будто почувствовал: он не первый и не последний, кто думает так, глядя на эту гору.

Пустынно было вокруг. Как хорошо, что не лето, пустынный октябрь, вдруг открывший яркую зелень кипарисов, бесконечность упавшей листвы — никто не замечает ее летом. Как много ее, уставшей, сравнявшей все неровности пляжа своей желтизной. И опять понадо-

билося название цвета, подумал Ронин, а нет его, нет слов, которые могут что-то обозначить. Одинокий фотограф стоит на набережной, расставив треногу своей ловушки...

Край воды у ног легонько покачивался, высвечивая камешки. Самый лучший проявитель, — подумал Ронин.

Он вошел в воду. словно разорвалась и лопнула в воздухе тонкая струна или паутинка. Ронин услышал этот звук и почувствовал, как внутри растворилось и отпустило напряжение. Острый холодок больно кольнул в груди и сразу разнесся по рукам. Он хотел плыть, но руки сами прижимались к телу, локтями к груди, словно удерживали холодную колючую тяжесть. Шевелились только кисти рук. Ронин ушел под воду вертикально, чужое пространство сжало его со всех сторон. Он толкнул ногами дно — раз, другой, поворачиваясь к берегу. Ноги уже шли по дну — Ронин с трудом выбрался на берег и опустился на камни. В груди была пустота, холодная и уже совсем не болезненная. Дыхание остановилось. Это не я, — подумал Ронин в крошечной черноте, и вдруг она раскололась, взорвалась ослепительным, холодным светом.

Маленький мальчик стоял в окне, прижав к стеклу неподвижную ладонь. Взгляд наконец вернулся к нему.

Фотограф с набережной с удивлением смотрел на человека, в странной позе прилегшего у самой воды. Через пять минут фотограф спустился по ступенькам, пошел по гальке, окликнув несколько раз: «Эй!».

Неподвижными, застывшими глазами Ронин смотрел в небо — куда был обращен человеческий профиль горы.

Александр КИКНАДЗЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Евреи с нами и без нас

Журнальный вариант¹

*Удивительной и незабываемой
Ирине Кикнадзе*

«Еврейский камень — письменный гранит — одна из самых твердых пород. Причудливые узоры Е.К. напоминают древние письмена».

(Из Энциклопедии)

Ранний звонок

Утром 31 августа 1999 года протяжно задребезжал телефон. Милый девичий голосок спросил:

— Это квартира Кикнадзе?

— Да.

— Простите, вы Василий?

— Нет.

— Кирилл?

— Нет, их отец.

— Александр Васильевич? Вы? Вот это да! Не кладите, пожалуйста, трубку. С вами будет говорить директор фирмы «Перспектива» Наум Яковлевич Герштейн.

В директорском баре тоже почувствовалось удовлетворение:

— Здравствуйте! Это сын Якова Михайловича, вашего давнего бакинского друга. Вы живы, здоровы?

¹ Полным объемом — 22 печатных листа — книга выходит в издательстве Олимпия Пресс.

**Александр
КИКНАДЗЕ**

— родился в 1923 году в Персии. Окончил филологическое отделение Азербайджанского Государственного университета. Автор романов «Королевская примула», «Брод через Арагоа», «Кто так стучится в дверь?», «Польньтрава», «Пирамида Солнца», «За час до рассвета», «Игры в футбол», «Стесненные воды», исторического повествования «Тайнопись. События и нравы зашифрованного века» и тридцати других книг. Живет в Москве.

— На такой вопрос с бухты-барухты не ответишь. Сейчас погляжу в зеркало.
— Это хорошо, что шутите. А между прочим в здешнем журнале «Зеркало» подготовлен, не знаю, как сказать... извините, подготовлен некролог...

— Посвященный?..

— Не спрашивайте. К вам звонили три последних дня. Телефон молчал, не отвечали и телефоны ваших детей.

Далекий собеседник, собираясь с мыслями, замолк. Похоже, мне следовало оправдаться.

— Мы вернулись вчера, к началу учебного года, проводить внуков в школу. Только скажите, чем вызван такой интерес к моей скромной персоне?

— Первая, как бы это сказать, информация поступила в Баку из Тбилиси. Видимо, речь идет о вашем однофамильце, тоже литераторе. Только знаете, что... Мне надо срочно позвонить в «Зеркало». Предупрежу их, а с вами свяжусь вечером.

Вечером бесхитростно утешил:

— Всё в порядке... А то едва не случилось, гм... гм... большого ляпа. Совсем как в «Вечерней Москве» года два назад. Правда, «в зеркальном отображении».

— Будьте ласковы, расскажите.

— Они опубликовали в день рождения поэта Льва Ошанина заметку, в которой поздравили юбиляра и пожелали ему новых творческих озарений.

— Ну и что?

— А то, что бедный Ошанин уже давно спал вечным сном. Я думаю, вы не рассердитесь на меня за такую аналогию. Что же касается «Зеркала», то некролог разобрали и вместо него подготовили материал э... э... несколько противоположного свойства, который я вам обязательно вышлю. Примите лучшие пожелания. Буду в Москве, позвоню.

Потом радость по поводу моего возвращения поспешил выразить президент Азербайджанской федерации плавания Герман Цеховский, которому я помогал лет сорок пять назад делать первые журналистские шаги. Заверив меня в максимально тактичной форме «теперь будете жить долго», Гера признался:

— Сообщение о вашей кончине исходило из такого надежного источника, что мы в тот же вечер собрались...

— И хорошо сидели?

— Хорошо, — Цеховский осекся и тотчас пояснил: — Хорошо вспоминали.

— Много выпили?

— Сегодня выпьем больше.

...В те дни я не мог не вспомнить журналиста Арона Кричевского. В предвоенные годы, исполняя обязанности редактора газеты «Молодой рабочий», он не побоялся подписывать мои заметки фамилией, а не псевдонимами, которые выдумывали для «детей врагов народа» более осмотрительные руководители других газет. Вот, что рассказывал в начале 1953 года Кричевский:

— Я много лет дружу с инженером Ефимом Фишером. Работает в «Сталиннефти», увлекается шахматами, ты знаком с ним по клубу на улице Малыгина. У него месяц назад родился сын, а Ефим, мудрый человек, сделал непозволительную глупость, назвал первенца в мою честь Ароном. Я его спрашиваю, подумал ли ты, какую судьбу уготовил своему первенцу? Кругом — только и

разговоров о сионистах и космополитах, евреи, куда ни глянь, называют своих детей Игорями, Вадимами, Олегами, а ты? Мне, конечно приятно, что малыш еще больше скрепит нашу дружбу, только прошу, пока не поздно, одумайся. А он посмотрел на меня из-под бровей и не очень дружелюбно заметил, что, во-первых, уже поздно, а во-вторых, пусть молодой человек вступает в жизнь, не боясь ее и надеясь на собственные силы и терпение.

Но почему я вспомнил рассказ Кричевского? Да потому что...

...Новый вариант заметки обо мне в «Зеркале» теперь назывался «Александр Кикнадзе жив и здоров» и начинался письмом в редакцию, которое подписал... А.Фишер. Не тот ли это Арон, сын славного да упрямого инженера и шахматиста, друга Арона Кричевского? К счастью, меняются времена, и, к еще большему счастью, мы меняемся вместе с ними.

После этого небольшого отступления вернусь к заметке в «Зеркале», опубликованной ровно через... сорок дней (9-го октября 1999 года), — кажется, на том месте, где должен был стоять некролог. И все же прежний стиль остался: сочинено так много хорошего, сколько сочиняют обычно о тех, кто уже «переселился» точно. Был рад, что не забыли обо мне в городе, который я покинул сорок лет назад.

А первыми помянули евреи.

Куда они все время торопятся? Почему ищут любой повод, чтобы заявить о себе?

Послушайте, друзья, ведь и мне есть, что сказать о вас.

Самых честных правил

Прежде чем поведать о судьбах многих моих товарищей, в том числе и тех, кто рискованно и необратимо поменял налаженный уклад и вступил в новую, полную неизвестностей жизнь, надо было вжиться в их образы.

Чтобы это сделать так, как сделал Народный артист Михаил Ульянов, создавший печальный и мудрый образ Тевье-молочника, особый, от Бога, нужен талант. Да только на сцене, где все «понарошку», не легче ли творить, чем в действительности?

Кто и почему делит людей на нации, я не знал; слово же «дискриминация» вошло в лексикон много позже. Но как способна она переиначить жизнь, знал. На примере небольшой нашей семьи.

* * *

Был у моего отца Василия старший брат Григорий, скромный сотрудник какого-то неведомого мне наркомата, была сестра Еввидора, преподавательница музыки, и был еще младший брат Николай, «немного недоучившийся на агронома-лесоведа»,

Родились они в семье мирового судьи, жили вместе, в одной большой квартире, дома царил патриархальный порядок, верховодом считался, естественно, дядя Гриша.

Мой дядя самых честных правил. Первоклассный знаток грузинского языка. Он правил статьи и речи тех честнейших выдвиненцев от сохи и станка, которые не всегда знали, какой букве следует отдать предпочтение.

Если бы Григорий Фарнаозович не был шибко грамотным, а вдобавок дворянином, он с его работоспособностью и исполнительностью пошел бы далеко. Но новой власти такие пережитки прошлого были не нужны... Дядя не в шутку занемог, когда узнал, что у него отобрали родовое поместье в Харагоули и снесли двухэтажный дом. А вскоре новая подкралась беда.

Средний брат Василий, красный офицер, решил жениться на русской. Евдидора увещевала со слезами на глазах:

— Одумайся, Васо, такого в нашем роду, слава Богу, никогда не было... Не поймут близкие, отвернуться друзья.

— Не надо, сестра, не унижайся. Разве он думает о том, что станет с нашим маленьким народом, если и другие начнут изменять ему? — так, или примерно так, говорил Григорий.

У ребят нашего двора на Варцихской улице — грузин, армян, русских и курдов было полно дядь и тетя, они приезжали на дни рождения из разных концов Тифлиса с охапками игрушек и корзинами фруктов. А мои дяди и тетя жили совсем недалеко, но ни разу к нам не заглянули.

У отца созрело решение уехать подальше от таких родных, перед которыми его сын был виноват одним своим появлением на свет. В интернациональный Баку.

Два окна

Все зависит от того, из какого окна смотреть на евреев. Можно из окна добра. Но можно и из окна зла. Две прямо противоположных возникнут картины. В одной евреи покажутся деятельными, изобретательными (у кого еще столько Нобелевских лауреатов на миллион?), остроумными, сметливыми, терпеливыми в лишениях, знающими счет деньгам, готовыми прийти на помощь. В другой же — пронырливыми, себе на уме дельцами, скупердяями (чтобы измерить их прижимистость, нужно изобрести новую систему... астрономы считают: один парсек, два парсека... здесь же впору считать: один Гобсек, два Гобсека...), готовыми обкакать все, придуманное не ими, и дружно воспеть и вознести все, созданное ими.

Кажется, это от Столыпина: ни один народ в мире не вызывает столь противоречивых, непримиримых оценок.

Не он ли дал миру финансиста, покровителя наук и искусств Ротшильда, показавшего, как велика роль капитала в прогрессе человеческого рода? И не он ли — редкого скупердяя, утверждавшего, что капитал есть бич человечества — Карла Маркса, готового, по свидетельству мемуариста, из-за пфеннига сцапаться с близким родственником?

Не от того ли истока Богородица? И Иуда, предавший Христа?

Эта книга не только о потомках Моисеевых. Да и можно ли вычленить их из всего нашего обихода, общества, бытия? Но в центре внимания они.

Тут к месту воскресить два кадра из «документальной фильма» двадцатых годов — о переселении ста тысяч обездоленных евреев из России и Украины на заброшенные земли Крыма. Новоиспеченный мужик никак не может справиться с быком, тот упирается, норовит забодать нерешительного незнакомца. Кажется,

бесконечна их рознь. Но проходит неделя, другая, и перед зрителем два познавших друг друга существа... спорится работа, ровная борозда ложится на целину.

Картина, естественно, немая. Титры принадлежат перу Владимира Маяковского. Под первым кадром написано: «Бык не понимает еврея, еврей не понимает быка». Под вторым: «Теперь бык понимает еврея».

Поучиться бы!

* * *

Воспоминания, как табачные листья. Прежде чем пустить в дело, их следует тщательно отсортировать. А потом просушить на длинных шнурах, позволяя времени, солнцу и ветру превратить их в нечто стоящее.

Листья, нанизанные на нить воспоминаний, вызывают отдаленную ассоциацию с еврейским письмом.

Посмотрите на его строчки, на эти жирные верхние горизонтальные черты печатного «далета», «хета», «мема», «кофа», «реша»... Будто подвесили их на веревку, чтобы выветрилось, вытекло, избыло все суетное, сиюминутное, а осталась испытанная и подтвержденная временем мудрость пророков.

Талмуд (по-древнееврейски «изучение») следует читать не только иудеям.

Он учит многим полезным вещам. Для меня главный его совет, урок, наставление... лучше всего — завет выглядит так: «Не дрейфь и не скисай!».

* * *

Первый раз я услышал слово «антисемит», учась не то в четвертом, не то в пятом классе. В школьной раздевалке, скрытые от меня высокой вешалкой, беседовали две молодые учительницы:

— Хорошо вам, а у меня в группе три этих самых... ну помните, как до революции называли евреев. Все норовят с ног на голову поставить, все законы, извините за выражение (говорившая понизила голос), обкакать. Что за вредные характеры. Что за привычки! Один Герштейн чего стоит.

Речь зашла о моем соседе по дому очкарике Яше Герштейне. Я стал нетерпливо связывать разорвавшийся шнурок и услышал историю, которую в тот же день подтвердил мне ее герой.

Вот, примерно, как выглядела реконструированная сцена.

— Существительные какого рода оканчиваются на «а»? — спросила учительница.

— Существительные женского рода, — изрек староста-отличник. С некоторым опозданием его поддержал весь класс.

Только Яша сидел молча и что-то перебирал в уме.

— А теперь кто приведет примеры? — спросила учительница и почему-то подозрительно посмотрела на очкарика, от которого привыкла ждать разных каверз. Потом, словно бы сказав себе: «сегодня-то уж он ничего не выкинет», — перевела взгляд на отвечавших. Из разных концов класса слышалось: «голова», «корова», «рябина», книга», «полка», «смородина», «нога».

Когда коллективная фантазия иссякла, руку с сознанием собственного достоинства поднял всем известный задавака Герштейн. Подождал, пока наступит тишина, и с радостью первооткрывателя отчетливо произнес:

— Мужчина.

— Не может быть, это, скорее всего, какое-нибудь исключение из правила, — заволновалась учительница. — Не обращайтесь на него внимания. Это он специально... сидел и думал, как бы сорвать урок.

Если Яша замысливал что-нибудь, его непросто было сбить с панталыку.

— Это не исключение.

— Почему ты так думаешь? — не скрывая ненависти, спросила преподавательница.

— Есть еще слово «дедушка».

Он словно бы не замечал, что его готовы съесть прямо сейчас, на глазах повеселевшей аудитории, вместе с потрохами.

— А все же как правильно: «две мужчины» или «два мужчины»? — спросил некий второгодник.

— Конечно, «два мужчины», — поторопилась «снять вопрос» выпускница педагогического института, зардевшаяся, как семиклассница. Или точнее... «две мужчины»... раз уж это исключение.

— Значит, все же «мужчина» женского рода? — с ангельской кротостью поинтересовался дылда Шнеер.

— Нет, почему же. Вовсе не обязательно. Лучше говорить... это самое... «двое мужчин».

— Значит, это слово среднего рода? Кто оно? Мужчино?

Стиснув зубы и собрав волю в кулак, юная муза словесности пообещала:

— Об этом мы подробнее поговорим на следующем уроке.

На ее счастье прозвенел звонок.

— Они сведут меня с ума, — прошептал голос за вешалкой. — Все эти Герштейны и Шнееры — противные типы, иначе не скажешь.

— Вы действительно полагаете, что противные? — отрешенно поинтересовалась собеседница. — Мне это интересно слышать.

— Да, да, именно так, лишь бы выпендриться, лишь бы заставить говорить о себе.

— Это тем более интересно слышать, что мать у меня еврейка. А вы... вы... нет, я не скажу, что думаю о вас. Скажу только, что одинаково презираю и русофобов, и антисемитов. Мне жаль ваших учеников. Надеюсь, товарищ Мережка, что вы избавите меня от удовольствия общения с вами.

Оставшись наедине с собой, Изящная Словесность удрученно выдохнула:

— Во, бля, обратно накололась, — и опустила на калошницу в метре от меня. Калошница жалобно скрипнула.

* * *

Когда я перешел в восьмой класс, Мережка стала моим групповодом.

Блондинка лет тридцати была олицетворением всечеловеческой красоты, если смотреть на нее, когда она сидит за столом... Точеное лицо, профиль Нефертити, большие глубокие синие-синие глаза, излучавшие сияние небесной силы, выдававшие натуру цельную и волевою. Когда же она, подойдя к доске, поворачивалась к классу спиной, объясняя, например, законы стихосложения... куда все сразу исчезало? Ее кукольная головка была посажена прямиком на бесшее туловище, которое покоилось на коротких массивных, с

видимым изгибом ногам. А зад... это был государственных масштабов зад, на нем можно было писать гекзаметром, не ломая на манер Маяковского строки.

Самоуверенная и не очень грамотная женщина (говорила: «Поздравляю девочек с восьмым мартом»), она очень любила революционные праздники. Весь класс знал, почему. К этим дням приурочивалось потаенное вручение родительских даров. Мережка умела поощрять взятки, исподволь переводя средних учеников в разряд отстающих и намекая их слабовольным мамам на угрозу второгодничества. Родители евреев делали вид, что намеков не понимают. Кажется, еще и поэтому не любила их чад классная руководительница.

Она хотела, чтобы ее боялись.

Ее, главную школьную активистку, нельзя было бояться. Нельзя было жалеть. Ее следовало презирать.

А я... я начал понимать ее нескрываемое злобное чувство к евреям.

Судьбе было угодно немилосердно испытать меня.

Новое «вживание в образ» было способно сместить взгляд, содрать кожу, оставив на долгие годы незаживающую боль. К тем дням невольно возвращался, читая у Расула Гамзатова: «Да будет трижды проклят тот, кто, злобствуя, питается чернить чужой народ!».

Я еще вспомню о Мережке. А пока...

Превращение в антисемита

Декабрьской ночью 1937 года к нам молча вошла жена сапожника дяди Миши Захарова и, положив на стол скомканную записку, сказала прокуреным голосом:

— Я нашла это за мусорным ящиком. Увидела, как Невтон что-то вынул из кармана, поглядел вокруг, смял и выбросил. Любопытство окаянное одолело, я подняла, прочитала. Завсегда говорила, будьте с ним осторожными. Прощевайте покуда.

Мама развернула записку. Горько улыбнулась. До сих пор помню улыбку.

* * *

Ах, Невтон, Исаак Невтон, как начать рассказ о тебе?

Перед глазами мама твоя, сухонькая и хлопотливая старушка. Это у плохих людей старость искажает лик, отпечатывая грехи прожитых лет. На лице Баси Самуиловны, хранившем следы былой красоты, читались мудрость и достоинство. Тебе было в кого пойти. В кого же ты пошел, несчастный?

Невтона дал миру небольшой народец, который обитал в Азербайджане и насчитывал от силы 15-16 тысячч. Половина его говорит на еврейском, а половина, как написано в энциклопедии, — на мусульманском. Невтон знал оба этих языка, а еще и русский, хотя, владел двумя первыми ничуть не лучше русского, в котором одинаково презирал падежи и роды.

Был Невтон главой громкоголосой семьи... Большой крючкообразный нос, слезящиеся невинные глаза и руки как на плакате: «Вступил ли ты в Осоавиахим?». Им правила тощая и сварливая жена, по мере взросления ей ассистировали дочери, как бы в отместку за то, что отец наградил их такими носами... На люди без нужды старались не выходить, вечера проводили дома, когда ссорились, ссо-

рились на весь мир. Жила семья худо. Мать шила, старшие дочери что-то покупали, что-то продавали, отец, путевой обходчик, чинил керосинки и примусы.

Как-то Невтон пришел к нам и сказал, что хотел бы стать проводником и просительно посмотрел на отца. Вот если бы кто-нибудь помог ему подготовиться. Говорят, трудный экзамен надо сдавать... а у него с русским языком...

Как ни много времени отнимала у отца работа в пассажирском управлении, они начали заниматься.

Невтон, то и дело вытирая слезящиеся глаза, выводил огромными руками корявые буквы и никак не мог сладить с пером. Но он был упорен, этот человек, казавшийся мне стариком. И отец был упорен тоже. Ему помогали мои старые учебники. Иногда он просил меня взять букварь и по слогам неторопливо диктовать.

— «Вот моя деревня, вот мой дом родной»...

Я терпеливо ждал, когда сосед осилит фразу. А он застывал, вспоминая свою деревню в горах и дом, неподалеку от ручейка.

Однажды сказал:

— Занимаемся, занимаемся, а начнется война, ифсе куда уйдет? Сколько шпионов паймали, а сколько не паймали.

Кругом говорили о вредителях.

Невтон рассматривал в увеличительное стекло обложки тетрадей, рубли, почтовые марки, поворачивая их и так и сяк: «Говорят, здесь такие знаки».

Они переходили теперь к более сложным вещам:

«Красный флаг служит для...»

«Тормозное устройство состоит из...»

«Предупредительный сигнал является средством...»

Кляня себя и переживая, Невтон произносил и писал: «пердипердительный». Никак не мог иначе. И обрадовался, как маленький, когда однажды написал правильно.

Все пункты неподвластного его разумению хитрого железнодорожного устава он заучивал наизусть, и хотя отец понимал все несовершенство «системы», догадывался, что иначе экзамена не сдать.

Когда сосед через полгода все же стал проводником, первым же рейсом привез из Батуми два апельсина и стыдливо протянул их мне. Апельсины решили отдать младшей дочери Невтона. Она глянула благодарно и заперлась в уборной, чтобы никто не отобрал. После этого в уборной долго пахло апельсином. Исаак шепотом рассказывал отцу о «шпионах, которых паймали в Батуми».

Как-то вечером Невтон разглядывал мой альбом с марками, то и дело поворачивая его «вверх ногами». В это время в дверь постучали. Почтальон принес письмо с персидскими марками на конверте. Его прислали долго молчавшие крестные родители Боб и Пепела Саад². Нахмурился Невтон, засуетился, сослался на боль в пояснице и ушел. Больше он к нам не приходил.

² В 1922 году демобилизованного красного офицера Василия Кикнадзе, владевшего восточными языками, пригласили на работу в Тегеранское торгпредство РСФСР. Ему помогала молодая жена Вероника, хорошо говорившая на французском и немецком. В Персии познакомилась и подружилась с представителем компании «Зингер» ассирийцем Бобом Саадом и его женой грузинкой Пепелой.

Не избывает из памяти неожиданно нахлынувшее предчувствие беды, которое заставило меня, четырнадцатилетнего мальчишку, выбежать из кинотеатра «Красный Восток», не досмотрев до конца «Анненковщину», и помчаться на работу к отцу. С тем, чтобы прочитать несколько торопливо написанных слов: «Ушел в НКВД. Скоро вернусь». Хотя правильнее было бы: «Взяли в НКВД, больше не вернусь. Никогда. 23 декабря 1937 года».

Ночью был обыск.

Среди изъятых вещей оказалась фотокопия одной неразгаданной иберийской пластины, которую отец пробовал расшифровать с помощью древней грузинской письменности.

Как родилось странное увлечение?

В 1922 году Боб и Пепела познакомили отца с баскским археологом Боке-ри Эчеверия, участвовавшим в раскопках под Тегераном. Какой-то срок спустя Эчеверия и Кикнадзе составили полусуточный баскско-грузинский словарь, в который, дав волю воображению, внесли четыре десятка общих или отдаленно похожих слов (в настоящее время науке известно более 360 совпадений).

Присутствовавшая на обыске в качестве понятой дворничиха распустила слух: у Кикнадзе нашли шпионский шифр. Нас с мамой стали сторониться самые близкие соседи.

В течение одной ночи все изменилось, все ушло в прошлое, мир приобрел расплывчатые контуры, а будущее... его просто не стало. Его не могло быть. Нас выселяли. Когда начали выносить вещи, на второй этаж торопливо поднялся старый сапожник дядя Миша Захаров. Отдышавшись, сказал:

— В соседнем доме есть место в подвале. На первых порах можно туды. Соглашайтесь, Вероника Евграфовна, обойдется, даст Бог.

(«На первых порах» превратились в годы).

Низко пригнув головы, проходим в проем без дверей. Дядя Миша зажигает заботливо припасенную свечку. Мокрые покрытые плесенью стены, крысиные норы, около шести квадратных метров. Помещаются в новой комнате кухонный столик, бамбуковая этажерка и шкаф. «Остальное не влазит», — сокрушается провожатый.

На следующий день к нам молча вошла жена дяди Миши Захарова. Положила на стол ту самую скомканную записку.

Мама прочтала каракули вслух. Скорей всего это был черновик: «Считаю обязанностью пердипирдить про связь с заграницем моего соседа Кикнадзе по имени Васо».

Так и не научился бедный Невтон правильно писать слово «предупредить».

Претворялось в жизнь указание И.В.Сталина, повлиявшее на судьбы многих миллионов; чем больше успехов будет достигать и чем больше побед одерживать первая в мире страна социализма, тем активнее будет сопротивление не до конца уничтоженных эксплуататорских классов, тем ожесточеннее надо вести борьбу, безжалостно выкорчевывая и истребляя их.

Но кто думал о том, что может ждать завтра? Было важно выжить сегодня. Как это делать, учили писатели. Их облеченные в литературную форму доносы

и статьи, одобрявшие политику партии и правительства, публиковались во всех без исключения газетах. Инженеры человеческих душ призывали укреплять бдительность и быть безжалостными к врагам народа. Какие имена! Какие статьи! К. Федин «Есть ли большее предательство?», Е. Долматовский «Мастера смерти», А. Прокофьев «Ненависть, настигни и убей!», Р. Фраерман «Мы вытащим их из щелей на свет»... Весь жар восточной души вложил народный поэт Джамбул в поэму о наркомех внутренних дел Н. Ежове. Авторы, как один, благодарили Сталина за счастливую жизнь.

А еще... как не вспомнить вдохновенного слова одного сексота, написавшего «Марш НКВД»:

Фуражек синих стройный ряд
И четкий шаг подкованный,
Идет по улице отряд
Железными колоннами.

Мы те, кого боится враг
На суше и воде,
Не одолеть ему никак
Войска энкаведе.

Шпион, троцкист, оппортунист
На правый бок шатается,
Но на посту всегда чекист,
Он с ними рассчитается.

Врага загонит на курорт —
В таежный дикий край,
А кой-кого, какой комфорт!
Отправит прямо в рай.

Товарищ Сталин нас ведет
К борьбе жестокой, классовой,
И благодарный наш народ
Сплотится еще массовой.

Врага мы будем истреблять
И истребим совсем,
На Колыме, ни дать, ни взять,
Простора хватит всем!

Этот марш заучил в лагерные времена будущий академик историк М.А. Коростовцев. Помнил, что автором текста назывался М. Григорьев. Но и то помнил, что под этим псевдонимом скрывался недоучившийся филолог Моисей Грейдинг, арестованный, как часто случалось, за один только анекдот и уже в лагере завербованный в сексоты. Эту историю хранил в памяти и сосед М.А.-Коростовцева по бараку Виктор Луи, ставший с годами известным журналистом-международником. А музыку к маршу предложили (приказали — точнее) написать Матвею Блантеру, автору знаменитой «Катюши». Но тот сумел «ка-

ким-то образом увильнуть» (свидетельство родственника Блантера писателя Владимира Красильщикова). Хотя эта версия и не кажется правдоподобной. Трудно поверить, как можно было увернуться от **такого** предложения в **такие** времена.

* * *

Невтон, хоть и был малограмотен (читая газеты, он шевелил губами), обстановку понимал правильно. Был принят в партию, год спустя стал бригадиром проводников. Голос его окреп, взгляд стал суровее, проводники боялись его, и это ему нравилось.

Он бы пошел и дальше...

Никогда, ни в одной самой цивилизованной стране мира высшее образование не ценилось так высоко, как ценилось низшее в первые двадцать лет социалистического государства... Неуч — значит, наш человек из рабочих или крестьян, классово чуждых элементов чувствует за версту, интеллигенцию (разве не Ленин назвал ее говном?) презирает и не верит ей ни на грош. Неуч труслив и исполнителен, его выдвигают, его делают опорой государства. И он отвечает на доверие как может, его служение будет сказываться на жизни отечества многие десятилетия.

Небезынтересно проследить, на какие высоты были возведены к середине тридцатых годов выходцы из рабочих и крестьян, имевшие низшее образование. Председателем Ленинградского Совета депутатов трудящихся был А.Петровский, секретарем Сталинградского обкома ВКП(б) — П.Сморозин, наркомом Пищепрома СССР — А.Гишинский, секретарем ЦК ВЛКСМ — С. Богачев, одним из руководителей разведцентра Рабоче-крестьянской Красной Армии — Х.Салнынь, членом правления Всесоюзного общества культурных (!) связей с заграницей В.В.Смирнов. Ну а вторым по значению верховодом отдела кадров НКВД был капитан госбезопасности С. Балаян. Также гражданин с низшим образованием. По какому принципу шел тогда подбор кадров, теперь известно хорошо.

Между прочим, всех этих несчастных выдвигенцев расстреляли тоже.

Низкая образованность еще долгие годы будет напоминать о себе в делах кремлевских вожаков, пагубно влияя на судьбы большой страны.

Ведя в конце 1979 года протокол сверхсекретного заседания Четверки (Брежнев, Устинов, Андропов, Громыко), секретарь ЦК КПСС Черненко напишет: «Слушали. А вводе советских войск в Афганистан». (Свидетельство бывшего заведующего международным отделом ЦК КПСС Л.Замятина; телепередача «Совершенно секретно» 23 августа 1997 года.)

К. У. Черненко, входивший, по выражению А.Вольского, в ограниченный круг ограниченных товарищей, — будущий Генсек... Надо же: «А вводе войск!» Сколько тысяч загубленных и искалеченных жизней стоили несчастным народам двух стран то варварское решение, тот безграмотный протокол. Он должен стать одним из главных экспонатов музея новейшей нашей истории. Одна только буква, а сколько — за ней.

Пройдет не так уж много лет, и Отто Лацис напишет в «Известиях»: «Советская эпоха, с ее презрением к интеллекту, оставила в наследство крайнюю деградацию кадров во всех сферах умственного труда».

Обстоятельства... что же они делали с людьми, в кого превращали! Невтон и его семья стали обходить нас. Я спрашивал себя, как отомстить жалкому человеку? И сделать ему так же больно, как сделал нам он.

Гость

Весенним днем тридцать восьмого года ко мне в гости пришел Яшин отец дядя Миша (Мойша) Герштейн, сосед с верхнего, первого этажа. Он был невелик ростом, кривоног, ступал небоязно, широко расправив плечи. Он начал ходить так — широко расправив плечи, после того, как случилось в его семье великое несчастье — в пожаре погибла жена, а сына Яшу спасли еле-еле. Отец был готов кончить счеты с жизнью. Но на него смотрел большими испуганными глазами сын. И надо было научить сперва себя, а потом уже Яшу жить, не подличая, не принижаясь, надеясь на свои руки. А руки у Герштейна, слесаря паровозного депо, были золотые. И котелок варил, что надо.

...Гость держал в руках зембил, плетеную восточную сумку.

И вот какую повел речь:

— Значит, у тебя нашли что-то в легких? Потому сидишь дома и не ходишь в школу? Но я хочу тебе сказать, человек ты молодой, все пройдет, немножко чаще надо на воздух, немножко меньше думать, какие мы несчастные...

Гость вынул из зембиля два свертка, как бы размышляя, какой из них открыть первым.

— Ну и немножко лучше питаться, это еще никому не вредило. У меня вчера купили два замка, а я сегодня... Тоже кое-то. Через пять минут (дядя Миша бросил взгляд на ходики) начнется еврейский праздник, в наших церквах, зовут их синагогами, зажгут свечи. И каждый уважающий себя еврей принесет в храм немножко денег, чтобы помочь другим. Но я, даже если бы очень хотел сделать это, не смогу, потому что у меня тысяча причин. Во-первых, через полчаса надо собираться на работу. А еще я подумал, будет делом, угодным Богу, если я помогу сыну человека, которого помню.

Дядя Миша сантиментов не любил, а потому перешел прямо к делу:

— Тут немного сала, пачка какао и несколько кусочков сахара. Надо варить, перемешивать, пусть не совсем вкусно, но полезно.

Глядя на ходики, слесарь развернул второй сверток:

— Это замок. Когда ты его возьмешь в руки, будешь иметь вещь. Что это за дом без двери, без замка? Мы договорились с Захаровым приладить дверь, а потом повесим этот красавец-замок, а посмотри, какие ключи...

Став взрослым, я узнал, что в этот час наступал еврейский праздник Шаббат шаклим. В синагогах начинали читать главы Мишпатим из книги «Исход»... «...Чем более изнуряли его, тем более он умножался».

Я рассказал дяде Мише о Невтоне.

Он не удивился, не возмутился: измена становилась нормой.

И, видно, чтобы не остаться в долгу, повелал мне историю об Иосифе, нашедшем в себе силы и мудрость простить предавших его.

Крепко сжал мои руки, посмотрел в глаза:

— Яша признался, для кого он взял трубку из моего сундучка, и что ты сделал с нее. Прошу тебя, как друга, дай мне твой пистолет. Выкини из головы несчастного Невтона, его накажет Бог, поверь старому еврею, накажет Бог.

Что помнил Мойша Герштейн

Жил в нашем дворе юный лоботряс Эдик Джем по прозвищу Повидло, сын вечно озабоченного и нелюдимого начальника коммунальной службы. От его отца Феодосия Генриховича зависело распределение комнат в железнодорожных домах, путевок и разных скромных фондов, считал он себя и царем, и богом, на соседней поглядывал сверху вниз, видя в них одних лишь просителей.

Эдику высокомерие передалось по наследству; жил он с убеждением: что бы ни натворил, его простят. Однажды он сказал Яше Герштейну:

— Дай покататься, — и, не ожидая разрешения, схватился за руль его велосипеда.

А Яша, не отказывавший другим ребятам, вдруг ответил:

— Тебе не дам.

Эдик опешил от неожиданности и пригрозил:

— Дождешься, жиденек, пожалеешь.

Не знал юный бездельник того, что люди узнают с годами (а некоторые так и не узнают): нельзя унижать национальность. Кто-то пропустит мимо ушей, кто-то поднимет скандал, скликай свидетелей, еврей на всю жизнь запомнит обидчика и отомстит³. Это в нем — с молоком матери.

А дальше, рассказывали, вот что произошло. Яша прислонил велосипед к стене, залепил Эдику пощечину и заплакал.

³ Много времени спустя, году в 1997-м, а может быть и в 1998-м, чуждедальная радиоволна, рассказывая о ходе президентской избирательной кампании на Украине, сообщила: «Одна из газет лидера социалистов Александра Мороза поделилась с читателями таким откровением: «Все евреи — бандиты». Я подумал: ну и социалисты нынче пошли, что осталось от их интернациональных лозунгов? На каких отморозков рассчитано? Знать, немало голосов могут принести своему уважаемому товарищу, А еще подумалось вот о чем: неужто не найдется на свете то ли Абра́мович, то ли Абрамо́вич, а может быть, Рабинович, который вернет все это Морозу «в теплом виде»? Через несколько лет Рабинович-таки нашелся. Оказался им украинский олигарх с израильским паспортом Вадим Рабинович, президент неведомой мне доселе Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Вот отрывок из интервью с ним, опубликованного 24 апреля 2001 года: «Я редко ввязываюсь в драку, но когда прочитал ту самую статью, то сказал себе: все мои возможности должны быть поставлены на службу тому, чтобы такие люди не добрались до власти... А если вы помните, перед выборами у Мороза был самый высокий рейтинг. Я подал в суд на его газету. Выступал, митинги устраивал, издавал газеты. По моему убеждению, страна, где я родился и которую называю своей родиной, достойна иметь лучшего президента, чем Александр Александрович Мороз. И я считаю, что успешно справился со своей задачей».

Дело было под вечер, мой отец, вернувшийся с работы, увидел, как сильный мальчишка, повалив слабого, колошматит его из всех сил. Отец оттащил Эдика, тот выругался, получил подзатыльник и заревел на весь двор: «Меня избили!».

В выходной мы с отцом возвращались из расположенного напротив дома парка имени Дзержинского. У подъезда нас поджидал нервно прогуливавшийся Феодосий Генрихович. Показалось, что он выпил, очевидно, для храбрости. Злобно глянув, спросил у отца:

— Ты почему чужих детей избиваешь?

— Кто дал вам право разговаривать со мной на «ты»?

— Я сам взял его, чтобы предупредить: имей в виду, еще раз что-нибудь позволишь себе...

— Очень не хотел бы этого говорить, но вас дурно воспитывали.

— Ты что ли ...твою мать, будешь меня воспитывать?

Лучше бы он так не говорил и не поднимал руки. За плечами отца была не только сокольская гимнастическая школа, но и школа офицерская. Дородного начальника долго приводили в чувство.

Когда арестовали отца, слово на митинге предоставили Феодосию Генриховичу. Он восславил мудрую политику партии и правительства, которые очищают нашу счастливую жизнь от троцкистов и прочих заклятых врагов народа.

Отец Яши ту давнюю историю запомнил.

* * *

Не знаю, как это называется. Не знаю, чем это объяснить. Далек от мысли предположить, что Невтона замучила совесть и только потому исстрадавшееся тело не смогло перебороть заражение ангиной. Подхватил он ее в рейсе, изнывал от удушья. В конце концов болезнь ударила в сердце.

Неведомая сила повела меня на похороны.

Над могилой вдова рвала на себе волосы.

Увидев меня, от удивления открыла рот.

Подошла и, оглядываясь кругом, прошамкала сквозь рыдания:

— Какие мы с тобой несчастные! Каких людей потеряли! Как они любили друг друга!

«Не пропади!»

Крохотный подвал с низким потолком был пропитан запахом крыс и мокрых стен. Начался отсчет двадцати лет, которые предстояло прожить с клеймом сына врага народа... Отец погиб в ГУЛАГе, написав в последнем, чудом дошедшем письме: «Не пропади, голову выше, сынок!»⁴.

В Тбилиси меня не замечали два родных дяди и родная тетя. Теперь круг «незамечавших» невероятно расширился, образовалась некая мертвая зона. До нас — никому никакого дела.

⁴ О том, как мужественно вел себя на допросах отец — ни одного имени не назвал, ни одного протокола не подписал, — я узнал лишь в 1996 году, получив из прокуратуры копию дела № 13713. О Василии Кикнадзе и пытавшем его следователе Тимине я рассказал в «Тайнописи».

Отца посмертно реабилитировали в 1956 году.

Через две недели после выселения, не зная, куда себя деть, отправился в школу. Увидел пустую парту, за которой со второго класса сидел рядом со славным парнем Гариком. Обнаружил его в дальнем углу. Высунув от усердия язык, делал вид, что погружен в учебник. С превеликой силой поднял глаза и пролепетал, что на нашу парту падает солнце, а у него слабые глаза, и только поэтому он выбрал новое место.

Мережка вызвала меня к доске и предложила прочитать заданное на дом стихотворение. Беспомощно развел руками. Подошла, внимательно всмотрелась:

— Ты совсем совесть потерял. Что за невероятные пропуски? — И вдруг: — Ты пришел в школу с грязной шеей. Если будешь ходить с грязной шеей, пойдешь по стопам отца.

Главная школьная активистка и групповод не думает, как плохо мне, думает о себе, ей надо показать, как она презирает *такого* ученика. Если смирюсь, дам право измываться над собой, оскорблять отца, чего стою тогда? Сейчас отвечу. Пусть после этого мне будет плохо, но ведь хуже не будет никогда.

— Лучше ходить с грязной шеей, чем с грязным сердцем.

Вылетаю в коридор, она что-то кричит мне вслед, и начинаю тихо плакать. Что заставит теперь ходить на ее уроки?

Удивительно, но через шестьдесят лет вспомнили ту историю мои одноклассники из школы № 32.

Как поступить в университет по записке?

У моего соседа по подвалу Володи Пирогова, такого же, как я, «члена семьи врага народа» были ровные, угловатые, не иначе по ватерпасу скроенные плечи и лицо, заросшее рыжеватой, будто изъеденной молью, щетинкой.

Услышав, что я решил сделать попытку поступить в университет, Володя попробовал ввинтить в висок указательный палец. Его левое плечо поползло к уху, а проплешины слились цветом с окружающей растительностью. Он пробасил осуждающе:

— Ты что, с печки упал? Многих видел фраеров, а такого — первый раз. Кто же тебя примет? Кому охота в политическое дело вступать?

Сосед (он был на шесть лет старше) опекал меня и хотел избавить от новых переживаний. Фартово предводительствуя шайкой трамвайных карманников, Володя имел необоримый философский взгляд на жизнь и любил давать советы.

Да и сам я понимал, сколь ничтожен шанс, и не хотел обольщать надеждами ни себя, ни, тем более, мать. И вдруг увидел давно забытую улыбку судьбы. На седьмом, последнем, экзамене по географии достаточно было получить четверку.

В южных городах на душу среднестатистического обывателя приходится раз в десять, а может быть, и в сто больше знакомых, товарищей и друзей, чем в широтах холодных и неуютных. Впрочем, и недоброжелателей, и завистников — тоже: чувства обнаженнее, языки — длиннее, нервы — взвинченнее.

Интроверт, носящий свое в себе, живущий своим внутренним миром и не спешащий лобызать тамаду в благодарность за душевный тост, достигнет на юге большего, чем его не менее способный коллега, любящий болтать, восторгаться, разочаровываться, а делом заниматься как бы между прочим.

Зелик Иосифович Ямпольский, Божьей милостью историк, избрал для исследований времена, освобождавшие его от спекулятивного классового подхода. Времена очень давние. Доклассовые. Первобытные племена на территории Закавказья, их расселение, зарождение ремесел и культур, начала языков и обычаев — вот темы его бесчисленных работ. Он был невысок ростом, мало-разговорчив, много курил (курил даже во время лекций), еще больше работал. К нему приезжали за консультациями из Москвы, Ленинграда, Еревана и Тбилиси молодые ученые, ставшие впоследствии знатными историками. Он тихо радовался тому, что во времена крутых, замешенных на политике обсуждений среди них «не оказалось ни одной проститутки».

Зелик Иосифович приходил в гости к обрусевшему немцу-ориенталисту, жившему в большом доме на Балаханской улице рядом с моим дедом Евграфом Евграфовичем Песковским. Впервые он зашел к нему по какому-то делу, споря с упрямым историком. После этого Ямпольский наносил визиты бывшему статскому советнику Евграфу Евграфовичу еще несколько раз и меня запомнил. Через восемь лет во время вступительного экзамена в университет попросил рассказать о восстании Спартака. Как показалось, со значением посоветовал тщательно подготовиться к последнему экзамену по географии. Предупредил:

— Там любят подводить к немой карте.

Он знал, что случилось с моим отцом, и, судя по всему, сочувствовал мне. Я лишь позже узнал, столько близких потерял он.

Опыт стихосложения:

...Экзамен принимал
Надменный кандидат
С бесстрастной речью и холодным взором.
Ему не в вуз — ему бы в трибунал
На должность прокурора.

Он вел допрос, придирчиво пытлив,
Ответы скорбным вздохом порицая.
Он был, как древний дервиш, терпелив
И, словно монумент, непроницаем.

...Мне надо совершить вояж
Вдоль берегов Италии.
И перечислить все моря,
Заливы и так далее.

Я не путешествую — блуждаю по немой карте вдоль Апеннинского полуострова. Экзаменатор Касум Кязимович Гюль с тоской глядит, как Тирренское море оказывается у меня на месте Лигурийского, а Венеция и Генуя совершают, выражаясь шахматным языком, длинную рокировку...

...Южная ночь отступила незримо,
Лениво вставал рассвет.
Случилось мне ехать в Неаполь из Рима
Спустя ровно двадцать лет.

Близ городка Террачина,
У бензоколонки «Маджоре»
Шофер заправлял машину.
А рядом — Тирренское море.
А рядом — Тирренское море,
В котором тонул я когда-то.
Я бросился в воду.
Соленые волны
Держали меня, словно брата...

А тогда, в сороковом, в час экзамена, я все глубже погружался на дно

Соль на губах, а в горле — комок.
Похоже, что это конец...
«Не пропади,
Голову выше, сынок!» —
Так написал отец.
Его не почта донесла,
Помятое письмо.
И было запахом лесов
Пропитано оно.
И было три десятка слов
В письме, пропитанном тоской
И запахом лесов.
...Средь взбаламученной зимы,
Не знавшей мирных снов,
Когда задолго до войны
Отцов теряли сыновья,
А старики — сынов,
Ворвалось горе в дом.
Не сосчитать ночных потерь
В несчастном доме том.
— Я не могу с тобой... теперь. —
Стыдливо съежился комсорг
И на другую парту пересел.
Постыдный год, ознобный год
Под знаком «тридцать семь».
...Карта, немая карта,
Холодный взгляд кандидата.
Кандидат произнес только:
«Не достойны хорошей оценки».
И здесь проклятая тройка,
И здесь проклятая стенка.

Или прав Пирогов Володя:
— Мы же дети врагов народа!
Кто тебя примет, фраер?
Подайся-ка к нам, в трамвай.

— Больше тройки я вам поставить не могу. Приходите в будущем году, — сказал Гюль.

Обмакнул перо в чернильницу-непроливайку, механически извлек из-под нее листок и словно что-то вспомнил.

На листке было несколько фамилий столбиком.

Он открыл мою книжку и тут (так показалось) обнаружил, что одна из фамилий сходится.

Почему-то отложил ручку.

Поправил булавку на воротничке.

Заложив руки за спину, начал вышагивать — от окна к двери, от двери к окну. При этом время от времени бросал на меня вопросительные взгляды.

Резко повернул стул, положил локоть на его спинку, оперся подбородком на ладонь.

— Вы грузин? Первый раз встречаю грузина, который говорит без акцента. Снова заходил по аудитории.

И задал странный вопрос:

— Назовите столицу Америки.

— Вашингтон.

— Верно. До вас ответили: «Нью-Йорк». А столицу Англии?

Нет, он не смеялся надо мной. Он был серьезен и озабочен до предела.

— Лондон.

Так же серьезно спросил про столицу Франции. И Португалии.

Заглянув еще раз в ведомость, заключил:

— Четверки вам должно хватить. Ставлю «хорошо». Вы знаете географию лучше, чем я предполагал.

Так я стал студентом филфака.

Если бы Касум Гюль не бросил мне спасательный круг, я бы, скорее всего, не совершил в последующие годы ни тех итальянских, ни прочих путешествий, потому что жизнь пошла бы «не по той путе», как говаривал мой первый благодетель сапожник дядя Миша Захаров.

Только что за таинственная записка лежала на столе экзаменатора под чернильницей-непроливайкой?..

Прошло немало лютых зим
И бурных половодий.
Героem пал у Березины
Бывший карманник Володя.
Подался в бакалейщики
Сознательный комсорг...
На улице болельщики
Вели веселый спор.
У театра буйно расцвела старая акация,
Как будто бы и к ней пришла
Реабилитация.

* * *

А в театре была премьера.
И в десятом ряду партера
Мы оказались рядом —
Я и профессор Гюль.
Давно мне спросить его надо,
Только слов не найду.
Он сам поспешил навстречу,
Воспоминаньем согрет.
Вот и настал этот вечер...
Через шестнадцать лет.
— Тогда, в сороковом,
За час перед экзаменом
Мне дали пять фамилий
И с выраженьем каменным
Бесстыдно процедили:
«Всем этим
Не самым желательным детям —
Двойки и тройки».
И пока вы блуждали в краях апеннинских,
Я вдруг вспомнил,
Что вы тоже в том самом списке.
Не сразу решился... Да ладно... Я рад... —
И вот приподнялась завеса.
Что сказать мне тебе,
Чем ответить, тебе,
Дорогой ты мой кандидат,
Дорогой мой профессор?

* * *

— А это не мне надо говорить, — тихо молвил Гюль. — ведь я по рассеянности чуть все не испортил. Накануне экзамена ко мне обратился уважаемый историк Ямпольский Зелик... Зелик...

— Иосифович.

— Зелик Иосифович. Сказал, что кадровики раздают списки. В том, который «для меня», будет фамилия одного грузина. Ее я не запомнил, решил, что угадаю грузина по акценту. Не угадал. И лишь когда увидел вашу фамилию в билете...

Я знаю теперь, делать жизнь с кого —
С Гюля и Ямпольского.

* * *

Гибелью своей отец помог мне поступить в университет, чтобы много лет спустя смог я продолжить диалогией его работу, связанную с тайной двух Иберий. Со временем к ней подключится Василий Кикнадзе-внук, испанист, автор большой телевизионной передачи «Грузины и баски».

* * *

Людам, руководствующимся девизом: «Честь превыше всего!», благоволил судьба. Касум Кязимович Гюль стал академиком республиканской Академии наук, автором фундаментальных исследований, посвященных Каспийскому морю.

В 1961 году, когда я уже жил в Москве, Гюль предложил мне стать его соавтором в работе над большой географической книгой «Азербайджан». Встречались то у него в Баку, то у меня. А когда три года спустя рукопись была готова, я сказал:

— Дорогой учитель. Я не географ и не имею права подписывать такой капитальный труд. И вообще я никогда не рассчитаюсь с вами.

Он энергично запротестовал. Мне же удалось настоять на своем.

* * *

Ходит из Баку в Красноводск большой красивый паром.

На борту написано: «Академик Гюль».

В конце трагических восьмидесятих годов, когда бакинцы спасались, как могли, от пуль, заливавших город, паром принял на свой борт и увез подальше от скованного страхом и распаленного гневом берега сотни семей.

Даже после кончины своей необыкновенный человек Касум Кязимович Гюль продолжал спасать людей.

* * *

В сороковом году за учебу в вузах начали взимать плату.

Предстояло наскрести на первый взнос двести рублей. Дома не было и ста.

О моей заботе через общих знакомых узнал Арон Кричевский, ответственный секретарь газеты «Молодой рабочий», с которой я сотрудничал. Пригласил, положил передо мной чистый лист бумаги:

— Я буду диктовать — ты не перебивай. Времени у меня совсем ничего, так что приступим. Пиши: «Прошу выплатить сто двадцать рублей за подготовленные по поручению редакции и не прошедшие не по моей вине корреспонденции: «У моря без воды», «Рекорды пилота». — Кричевский задумался, сочиняя название третьего материала, и решительно молвил: — «Рукопашный бой — в массы».

— Может быть, лучше — «в каждую семью»? — поинтересовался я.

— Остроты оставь при себе. Отработаешь позже, — только и буркнул Кричевский.

* * *

Лет через тридцать пять после нашего знакомства корреспондента «Строительной газеты» по Закавказью Арона Кричевского подстерегла беда. Движимая жадной мести покинутая женщина разослала по разным адресам письма, в которых обвиняла Арона в развале семьи, «ячейки социалистического общества». Вместо того чтобы пойти навстречу женщине, просившей вернуть «негодяя мужа» в семью (что было делом нелегким), в редакции пошли путем простым и испытанным: без всякой волюнки корреспондента уволили. Кричевского никуда не хотели принимать на работу — кому нужен развратник да еще еврей?

Редактор «Строительной газеты» Л.П.Кравченко руководил президиумом федерации спортивной прессы СССР. Я же, возглавлявший в шестидесятые годы международный отдел пятимиллионного «Советского спорта», в этот президиум (по старой памяти) входил. И когда узнал о беде, попросил Леонида Петровича лично разобраться в деле. Кравченко, несмотря на высокие посты (позже он возглавлял Гостелерадио), оказался благородным человеком. После недолгой проверки моего друга восстановили. Кто помог ему, он не догадывался.

Зелик и Касум

Когда в разгар борьбы с космополитизмом сгустились тучи над Ямпольским, завистники подсчитали, столько его трудов посвящено истории Азербайджана и сколько — Армении, и написали в доносе: «Пусть едет в Ереван». Но нашлись люди, которые смогли поддержать и защитить профессора.

Да только неуязвимость строптивого человека оказалась кратковременной. В 1957 году небольшой группе тщательно отфильтрованных ученых было предписано поработать над новым (третьим, а может быть, и четвертым) вариантом истории большевистской организации Азербайджана. Работу направлял московский консультант-академик. Войти в группу Ямпольский отказался. Будучи человеком, острым на язык, спросил у коллеги:

— А для чего это делать? Уйдет Хрушев, придется переписывать снова.

Коллега, не мешкая, известил руководство о только что почерпнутом знании.

Руководитель группы хорошо знал Зелика и потому заявлению хода не дал, только спросил:

— Ну что вы за странные люди, евреи? И дня не можете прожить, чтобы не напомнить о себе. Хотя и знаете, что кроме новой беды на голову ничего не свалится.

* * *

Немало пробежит лет, доведется мне встретиться в столице Новых Гебрид — Виле с этнографом и живописцем Пилиокой, удостоенным чести войти в американскую книгу «пять тысяч наиболее знаменитых современников». Еще час назад Пилиока водил по музею истории народов Океании группу японских ученых, присел отдохнуть. У меня на кончике языка вертелся вопрос, и я не удержался:

— Рассказываете ли вы историю Новых Гебрид как и десять, и пятнадцать лет назад? Все те же книги в музее и те же учебники в школе за углом? Переписывать... —э—э... что-то вычеркивать, что-то дописывать не приходилось?

— А как это можно переделывать историю? — простодушно спросил меланезец, далекий собрат моего учителя.

* * *

Марк Твен писал: «Результаты любого поступка, даже самого незначительного, живут и множатся на протяжении десятилетий, постепенно опутывая земной шар, влияя на судьбу грядущих поколений».

Если бы не мужественный поступок Ямпольского и Гюля... С большей долей вероятности можно написать и о том, что могла бы сложиться по-иному и

жизнь... двух братьев-кинематографистов. И тогда... Тогда мир не увидел бы один из лучших фильмов XX века — «Белое солнце пустыни».

* * *

Когда-то молодому парню из Шемахи Касуму Гюлю, приехавшему на учебу в Баку, по-отечески помог его земляк, учитель географии Мамед Ибрагим Ибрагимбеков. Не случайно стал географом и Гюль, на всю жизнь сохранивший преданность старшему другу. Одна линия вела от Мамеда Ибрагимбекова к Касуму Гюлю. Вторая — от Гюля ко мне. Но где-то впереди был черед линий третьей. Ибрагимбеков, делая добро Гюлю, не догадывался о ней. Не мог догадываться о ней, разумеется, и Гюль, делая добро мне. «Ни одно хорошее дело не остается бесследным».

Когда в конце 1961 года я приехал в Баку в командировку, мне позвонил Кямран Багиров⁵, старый товарищ, преподаватель Политехнического института:

— У нас на строительном факультете учится один студент. С успеваемостью так себе, но, по-моему, интересно пишет. Мне кажется, у вас возникнет желание помочь ему, не могли бы мы прийти к вам?

На следующий день мы встретились.

Студент нерешительно переступил порог, стеснительно представился, не смело вынул из старенького портфеля десятка три страничек.

Мы посидели, поговорили, я пообещал гостям прочитать рассказы в течение трех дней. А прочитал за ночь — оторваться было трудно.

Юного автора звали Максуд Ибрагимбеков. Он был сыном Мамеда Ибрагима. Рукописи я увез с собой в Москву.

Первый рассказ, опубликованный в центральной газете, назывался «Брат». У меня есть основание помнить 25 февраля 1962 года. В тот день я дал Ибрагимбекову телеграмму: «Поздравляю с «Братом», меня можешь поздравить с сыном»,

А второй рассказ сравнительно быстро вышел в журнале.

Хорошо понимая, сколь опасно давать советы, способные круто изменить жизнь, я все же сказал однажды Максуду:

— Тебе надо уходить из политехнического и серьезно заняться литературой. К счастью, он так и сделал.

Потом по стопам Максуда пошел его младший брат Рустам, прославившийся с годами «Белым солнцем пустыни».

Сегодня эти имена стоят рядом в энциклопедическом словаре. Их книги, пьесы и фильмы известны и любимы. На одной из книг они написали: «Нашему крестному отцу»,

Я же думаю, что меня правильной было бы сравнить не с крестным отцом, даже не с повивальной бабкой, а с той дежурной сестрой, которая надевает на ногу младенца номерок.

* * *

Раз уж зашел разговор о братских дуэтах... Немало лет назад попалась мне на глаза занимательная повесть молодых авторов «Я — следователь», которую

⁵ С годами Кямран Багиров стал первым секретарем ЦК КП Азербайджана.

со вкусом разнесла газета, гордившаяся правом изрекать истины. Рецензент, не скрывая возмущения, писал: «Удивления достойно, с какой легкостью берутся описывать уголовный процесс люди, не имеющие о нем представления». Я же знал, что один из братьев, следовательно, имел за плечами немало раскрытых дел, а второй, журналист, вел криминальную рубрику в ТАСС. Написал рецензию и я.

В одной редакции сказали:

— Мы не считаем возможным вступать в литературную дискуссию по поводу произведения, уже получившего резко отрицательную оценку.

В другой же редакции сказали:

— Мы навели справки и выяснили, что издательство «Московский рабочий» решило рассыпать набор второй повести ваших соавторов. Но вместо того чтобы с уважением отнестись к доводам оппонентов, они устроили скандал. Слишком уж много думают о себе.

— Вас бы больше устроило, если бы они думали о себе мало?

— Не считаем возможным продолжать разговор в таком духе.

Тогда я отправил рецензию братьям. И дописал: «Ребята, накакайте на разнос. Через все это надо пройти. Иначе не бывает. И, пожалуйста, продолжайте думать о себе больше. Еще больше. Еще чуть-чуть больше».

Если бы они смирились с первыми бессовестными приговорами и скусились, не было бы последующих песнопений в их адрес. Не было бы фильма «Место встречи изменить нельзя». А на моей полке рядом с книгами Ибрагимбековых не стояли бы десять книг, подаренных такими же славными братьями Аркадием и Георгием Вайнерами.

Василий Федоров:

И я подумал не без грусти,
Что понапрасну мы спешим,
Когда еще не видим устья,
А над истоком суд вершим.

Рекомендация

В шестидесятые годы после первой поездки в Испанию я опубликовал в «Неделе» несколько очерков «Баски. Откуда они?».

Позвонил Лев Абрамович Кассиль. Сказал, что и ему довелось когда-то познакомиться с басками и услышать легенды о двух Ибериях — Пиренейской и Кавказской, которые были давным-давно населены одним народом. Поразили лексическим, музыкальным и архитектурным схожестьям, пригласил в гости, попросил принести свои первые книги.

...Вы скажете, что так не бывает? И я скажу, что так не бывает. По крайней мере в наше суперэгоистическое время. Но так было. Известный писатель позвонил малознакомому журналисту, снова пригласил в гости и сказал:

— В прошлый раз я не случайно интересовался составом вашей семьи и вашими заработками. В этом конверте то, что может представлять для вас определенный интерес. Дайте слово, что воспользуетесь тем, что в конверте, лишь, когда у вас на книжке будет пять тысяч рублей.

— Их долго не будет, Лев Абрамович. Мы переселились в кооперативный дом... Но это ни меня, ни, главное, мою жену не беспокоит. Мы оба, кажется, умеем работать.

Лев Абрамович задумался, как бы спрашивая себя, а стоит ли ему показывать то, что в конверте:

— Здесь рекомендация в Союз писателей. Она может круто изменить вашу жизнь. От вас зависит, в какую сторону. Не торопитесь покидать хорошую газету, хорошую должность.

— Я не убежден, что те скромные книжки, которые у меня уже вышли...

— Есть такое понятие «авансированное доверие». Хочу сказать, что верю в вас.

— Спасибо, Лев Абрамович. Постараюсь запомнить и то, что вы сказали, и то, что написали.

...Знаю хороших прозаиков, которые имели книг куда больше, чем я, и которым отказывали в приеме в писательский союз и два, и три, и пять раз. Меня приняли с первого раза.

Я прекрасно понимал, что заслуга в этом не столько моя, сколько удивительного человека, поверившего в меня больше, чем верил в себя я.

* * *

Дача Льва Кассиля в Переделкине находилась рядом с домом творчества, куда по весне начинали стекаться отягощенные кавказскими и молдавскими винами, среднеазиатскими сухофруктами, жизненной мудростью, самомнением и, как правило, комплексом недооцененности знатоки человеческих душ. Вот где можно было излить собрату по перу собственную душу, сказать во весь голос о проклятых надменных издателях, скрасить полночную беседу заздравной чашей и вообще хоть немного пожить себе в удовольствие, не заботясь о хлебе насущном и забывая о множестве всевозможных житейских проблем. В те годы еще не было «обкомовского корпуса» с его номерами «люкс» и «полулюкс», еще торговали в баре армянским коньяком по четыре рубля бутылка и шоколадными наборами — по шесть, в кинозале крутили новые фильмы, устраивались турниры по шахматам, нардам и пинг-понгу. Не знаю, где еще, на какой территории Советского Союза, так торжествовали идеи свободы, равенства и братства.

Здесь коротали вечера, а часто и ночи, многие писатели, жившие поблизости на дачах. Все хорошо знали, что предоставлялись эти дачи не только литературным талантам, но и тем, кто отсутствие их компенсировал талантами административными, обладал искусством руководить, претворяя в жизнь указания партии и правительства о том, какими должны быть советские литераторы, о чем им полагается писать и о чем писать не полагается. Но и к этой разновидности писателей относились снисходительно, при встрече с ними не воротили носы, и компаний с ними чурались далеко не все.

Не помню, чтобы автор «Швамбрании» хоть раз перешел дорогу и ступил на территорию, огороженную фундаментальным забором. В гости приглашал тех, кому симпатизировал, а главное — тех, от кого не зависел. Ему нравилась его собственная подтянутость — не столько внешняя (он даже и на даче работал в галстук), сколько внутренняя, вынужденные литературные перерывы пор-

тили ему жизнь; если и был стол, притягивавший его с юных лет, это был не стол под белоснежной скатертью с бутылками и бокалами, обещающий сладостные минуты раскрепощения, а стол с белоснежной писчей бумагой, сулящий муки сочинительства.

Так я и думал: не ходит Лев Абрамович к нам в гости, потому что много работает. Но однажды...

Во время детского праздника рядом с библиотекой Чуковского (плата за вход — десять еловых шишек; костер, концерт, хоровод и пр., и пр.) Лев Абрамович сказал:

— Я прочитал у вас, Саша, ссылку на книгу Кречмера «Внешность и характер», и, насколько понял, вы симпатизируете одному белорусскому педагогу, который выделяет ребят с живыми и добрыми глазами.

У самого Кассиля были именно такие глаза, но что-то ему в этом способе селекции, кажется, не понравилось.

— Вполне возможны попадания, но система, если ее можно так называть, таит в себе большую опасность, — сказал он.

— Тренера, о котором вы вспомнили, клятнут почему зря, а он слушает, да не слушается, гнет свою линию и превращает в чемпионов и увальней, и хилияков. Или не называли око зеркалом души?

— Ну, хорошо, тогда позвольте обратить ваше просвещенное внимание на одну симпатичную даму в белом воротничке, за нами... Сразу не оборачивайтесь, пожалуйста. Что вы думаете о ней?

Лев Абрамович отошел подбросить шишек в костер.

...Это была женщина лет пятидесяти, с копной седеющих волос, молодым и озорным взглядом, источавшим приветливость, и массивным, ничуть не портившим точеного лица, подбородком. Она беседовала с безусым литератором, взиравшим на нее с немым обожанием и зыркавшим глазами по сторонам — догадывается ли общественность, кто удостоил его внимания?

Эту женщину в строгом твидовом костюме с рядом разноцветных планок на груди я встречал в доме творчества не раз, была она и прозаиком, и критиком. Зловредная профессия критика, однако, таинственным образом не отразилась на ее облике. Ее литературные позиции, как и массивные ступни, упрятанные в модные туфли на платформе, свидетельствовали об устойчивости и надежности.

Лев Абрамович предложил немного погулять и по дороге спросил:

— Ну, что скажете о моей давней приятельнице?

— Приветливость, жизненная устойчивость... Добрые, умные глаза, расположенность к людям.

— Меня всегда привлекало в ней именно это последнее качество: расположенность к людям. А догадываетесь ли вы, за что получила она одну из своих медалей?

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Минутку, дайте возможность выпятить грудь: за меня! Она писала: «Ах, какой это писатель Лев Кассиль!», только добавляла при этом: «Какой вредный для дела воспитания подрастающего поколения... Кому нужны сегодня его книги, в розовых тонах рисующие нравы дореволюционной школы?». Писала в закрытых рецензиях и обзорах, напоминавших доносы.

— А сказали: «Симпатичная дама»...

— Кроме того, ей не нравилось, что в некоторых моих книгах обнаруживается противопоставление хоть и талантливой, но отдельной личности сплоченному коллективу. По советам этой стервозы из моих повестей выброшено немало смешных страниц: с юмором у нее были натянутые отношения. Назвал же я ее симпатичной дамой, чтобы сбить вас с панталыку. А глаза у нее действительно живые. Лучистые, можно сказать. Между прочим, у Медузы Горгоны тоже был на редкость лучистый взгляд.

Я вспомнил ту встречу, прочитав мартовским днем 1993 года в «Известиях» заметку «Возвращение «Золотой Библиотеки»: «Ни одна книга Льва Кассиля не выходила в свет, не подвергаясь жесточайшим экзекуциям цензуры. А после 1937 года, когда был арестован его брат, один из героев книг «Кондуит» и «Швамбраня», эта повесть была фактически запрещена».

* * *

Ему полагалось жить долго, рядом была красивая, спокойная, полная достоинства супруга Светлана Леонидовна Собинова, дочь великого певца, создавшая дома атмосферу той благожелательности, без которой писатель — не писатель. Рядом была дочь, с ранних лет выказывавшая способности к искусству и языкам. Он имел учеников и последователей в разных городах страны и немало друзей за рубежом. А еще спортивную закваску (видели бы вы, как лихо развезжал он на велосипеде по олимпийской деревне в Токио). Она, эта закваска, заставляла держать себя в форме, ценить время и превращать в радость муку самосовершенствования.

Ему полагалось жить долго...

Летом семидесятого перед отлетом на футбольный чемпионат в Мексику я пришел попрощаться. За рабочим столом в уютном кабинете, увешанном спортивными вымпелами (это было небольшое увлечение писателя — он привозил из разных стран вымпелы и спортивные значки), сидел немолодой человек. На нем были костюм светлых тонов, галстук, начищенные туфли, будто в гости собирался.

Сказал с грустной улыбкой:

— Готовлюсь смотреть футбол.

Врачи не разрешили ему лететь за тридевять земель. Он не мог скрыть огорчения.

...Самолет из Мехико приземлился в Нью-Йорке. Служащий американской авиакомпании негромко сказал:

— В Москве умер писатель Лео Кесл.

Мы стали вспоминать такого писателя и подумали: должно быть, ошибка. Но по дороге в отель кто-то спросил полушепотом: «Неужели Лев Кассиль?».

«Не может быть!» — невероятной, нелепой, неправдоподобной казалась эта мысль.

Потом пришли вечерние газеты...

Одна из версий внезапной кончины (ее высказал Леонид Зорин): Льву Абрамовичу стало плохо, когда он увидел на телеэкране, как уругвайцы, выковыряв мяч, ушедший за лицевую линию, донесли его до наших ворот мимо оцепеневших защитников... А судья засчитал гол.

Он оставил память о себе в потомках, учениках, книгах и фильмах.

А еще в знаменитой когда-то и живущей вот уже почти шесть десятилетий «Книжкиной неделе» — веселом, добром, общегосударственном фестивале детской литературы. Он придумал этот праздник в годы войны, привлек к нему писателей, артистов, художников, издателей... Делал все, чтобы лихие годы не разлучили дорогих его мальчишек и девчонок с книгой.

Хорошо, что ему не было дано догадываться, в какое заорганизованное, фарисейски-благостное мероприятие, в какую саморекламу превратят с годами этот праздник литературные заседатели.

Тат на высоте 115,2

В 1961 году, желая искупить мысленные прегрешения перед татами, породившими Ньютона, я поехал к ним в гости — в Шемаху и Кусары. Прожил радостные дни среди людей доброжелательных, доверчивых и, как показалось, более открытых, чем другие евреи. Сумевших сохранить обычаи, песни и танцы далеких предков и, что было совсем не просто, их веру. И постепенно забывавших язык. Узнал, что маленький этот народ дал миру непревзойденного хирурга Гавриила Илизарова⁶, бесстрашного защитника Сталинграда лейтенанта Михаила Кабрибова и трех почитаемых Хануковых — архитектора, журналиста и боксера. Очерк о Михаиле Кабрибове опубликовал в «Огоньке». О чем он был?

5 ноября 1942 года «Комсомольская правда» поместила репортаж военкора Ивана Давыдова «Высота 115,2» — о том, как геройски пала горстка бойцов, защищавших неизвестный клочок земли под Сталинградом: «Имена лейтенанта Михаила Кабрибова и его боевых друзей мы запомним на всю жизнь. А высокий холм понесет в будущее славу и бессмертие героев великой войны».

Но Кабрибов не погиб. С простреленным горлом попал в плен. Выжил, научился ходить. В морозную метельную ночь, когда часовые отсиживались в будке, бежал. Метель была врагом — сбивала с ног, перехватывала дыхание, но была и помощницей — заметала следы. Добрел до села Старо-Бешево близ Краснодона. Его приютила, выходила и спасла Пелагея Петровна Борлова, тетя Паши Ангелиной, знаменитой трактористки. Пряталась в курятнике. Делилась последним. Поздней весной сорок третьего лейтенант двинулся к своим. Он знал, что немцев расколосматили под Сталинградом, не знал только, что сам посмертно награжден орденом Ленина, а мать его накинула на голову черный платок. Дивизия, в которой служил теперь Кабрибов, приближалась к Краснодону, где-то недалеко оставалось Старо-Бешево. Первой разрешили ворваться в село роте Кабрибова. Когда выбили и пленили врагов, он бросился к дому Пелагеи Петровны. Та не верила глазам, плакала и обнимала второго своего сына (первого, Ивана, она потеряла на войне). Кабрибов оставил старушке все свои фронтовые запасы. Повоевав еще под Севастополем, взял к себе в Баку

⁶ В иные годы из уст рекордсмена мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля я услышал, как после тяжелой мотоциклетной аварии его взял к себе в Курган Гавриил Абрамович. И сделал то, чего не смог бы сделать ни один другой ортопед: научил ходить, потом бегать и... в конце концов прыгать. Спасенных Илизаровым и его учениками — многие тысячи.

на воспитание двух внучек Борловой — Лиду и Свету. Поставил на ноги, помог получить профессию, обзавестись семьями.

Вот какие они, таты.

* * *

Писал о Кабрибове и вспоминал стихотворение Бориса Слуцкого «Про евреев»:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в Рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши не разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Чем отплатила армия?

Двое подтянутых молодцов в штатском, гордые тем, что взяли на месте преступления, повели нас через весь парк Кирова в отделение милиции. Увешанный фотоаппаратами, с тяжеленным кофром за спиной, Евгений Халдей не попадал в ритм:

— Живей! Не отставать! — приказал старшой.

— Жень, тебя хотят предупредить: шаг влево или шаг вправо сам знаешь, чем может кончиться. Давай-ка я понесу твой кофр.

— Посмотрим, как будете шутить через десять минут, — пригрозил второй конвоир.

...На дворе весна 1957 года.

В Москве замыслили выпуск больших фотоальбомов, посвященных столицам союзных республик. Лучших фотокорреспондентов разослали по разным городам. Халдей выбрал Баку и предложил мне стать соавтором, а если громко

говорить — сценаристом. Решили открыть альбом панорамой весеннего Баку. С тем чтобы на другом развороте поместить фотографии старого города, который Горький когда-то назвал гениально сделанной картиной мрачного ада.

Поднялись в Нагорный парк, к тому месту, где стоял памятник Кирову. Водя объективом слева направо, Халдей неторопливо снимал большой красивый, амфитеатром сбегавший к бухте город.

За нами до поры до времени равнодушно наблюдал некий зевака. Но как только Евгений глянул фотоглазом в сторону баиловской бухты, где дремали корабли Каспийской флотилии, зевака дунул что было мочи в свисток. Словно из-под земли вырос второй свидетель. Подойдя к нам решительным шагом, произнес:

— Баку— закрытый город. Вы снимали запрещенные объекты. Извольте следовать за нами.

— Предъявите документы, — сказал хозяин кабинета — лейтенант.

И добавил с явным подтекстом: — На кого работаете?

Мой скромный, застенчивый товарищ, огорошенный неожиданным оборотом благого дела, имел удостоверения крупнейших газет. Но почему-то протянул удостоверение внештатного сотрудника мало кому известного издания.

— И это все, что имеете? — с сарказмом поинтересовался лейтенант. — А где разрешение на специальную съемку? Разрешения не имеете? Прекрасно. А вы кто такой будете? — спросил меня.

— Помогаю гостю из Москвы носить треногу и камеры.

— Хотите сказать, что вроде ни при чем? Займемся и вами. А вы, гражданин Халдей, извольте положить на стол все катушки и кассеты.

Халдей глянул на меня с плохо скрываемым презрением: что же ты, такой-рассякой, уверял меня, что все будет в порядке и показывал панорамы Баку, публиковавшиеся в московских и заграничных газетах и журналах. А теперь выдаешь себя за носильщика. Нечего сказать, товарищ...

Я знал, кому позвоню в нужную минуту. Пока же меня чрезвычайно занимал сам собой идущий в руки сюжет.

В коридоре, недалеко от входа в кабинет начальника, бросилась в глаза слегка поблекшая стенная газета «За образцовый порядок», посвященная Дню Победы. На месте передовой статьи красовалась фотография моего товарища: «Знамя Победы над рейхстагом».

Лейтенант куда-то позвонил, на «эмке» прибыл капитан милиции, во взгляде и поведении которого читалось: «От кого, от кого, а от меня еще никто не уходил». Спросил по-азербайджански у отдавшего честь лейтенанта:

— Голубчики, конечно, не признаются?

— Никак нет.

— Посмотрим, как они запоют сейчас.

Тогда я сказал:

— Видите ли, товарищу Халдею — уже приходилось снимать панорамы разных городов с самой высокой точки. И одна из его фотографий украшает вашу стенную газету, которая висит в коридоре.

Капитан бросил на Евгения подозрительный взгляд:

— Что за фотография?

Мой товарищ почему-то покраснел и не ответил.

Выйдя в коридор и быстро вернувшись, капитан сказал:

— Между прочим, под снимком не написано, кто его сделал. Врете, чтобы отпереться? Выньте из аппаратов и положите на стол кассеты.

Тогда я попросил разрешения позвонить по телефону. Набрал номер знакомого милицейского начальника, рассказал в двух словах, с кем и почему меня задержали, и известил, что разрешение на съемку дал первый секретарь горкома партии.

После нескольких слов, услышанных от генерала капитан помрачнел, но, повесив трубку, быстро изменился в лице и стал смотреть на нас ласково, как на очень дорогих гостей.

Конечно, я поступил глупо. Надо было погасить обмен мнениями в самом начале. Да уж больно хотелось поглядеть на развитие неожиданно начавшегося сюжета.

Но пока мы сидели в милиции, опустился вечер.

Снимать панораму было уже нельзя. А следующие два дня выдались сумрачными. Знакомы мы были с Евгением Ананьевичем не первый год. И мне была известна его достойная уважения способность образно выражать свое отношение к тем или иным явлениям социалистической действительности. Но в те дни я подумал, что такого искусного матерщинника раньше встречать не приходилось.

* * *

Он мог жить, как Крез. Если бы за его фотографии, публиковавшиеся на всех пяти материках, ему платили хотя бы сотую часть того, что платят за такие работы на Западе. И дачу бы построил, и большущий дом в Москве, а ютился с семьей в двух комнатках.

Это он снимал войну с первого до последнего ее — дальневосточного — дня! Это он сделал тысячи снимков, которые вошли в золотой фонд отечественной фотопублицистики! Это он отдал четыре десятилетия благороднейшему делу — поиску героев его военных фотографий и семей погибших воинов!

Чем отплатила ему армия, служению которой он отдал большую часть жизни?

* * *

На похоронах Евгения Ананьевича Халдея не было ни одного представителя Армии Российской Федерации. Ни одного венка от нее. Ни слова соболезнования не прислали дочери Анне Евгеньевне. Чье сердце не сжалось от оскорбления, чье горло не перехватила обида?

Армия, кто же будет служить тебе так верно и честно, как служил отчаянно смелый, добрый и умелый офицер с «лейкой»?

Разве так надлежало осуждать Бориса Пастернака? Ведь можно было и иначе

Поэт Ираклий Абашидзе со свойственным ему прямодушием сказал:

— Саша, начитавшись твоих сочинений о родстве басков и грузин, я почему-то... это самое... поверил в них. Но это еще не такая беда, хуже, что в них поверил Зураб.

Он перевел взгляд на двухметрового симпатягу, тот засмутился, с укоризненной посмотрела на супруга Нелли Давидована, мол, что же это ты так в гостях?.. Ираклий же продолжал:

— Он поверил и решил стать баскологом. Но у нас баскологов не готовят нигде, сын начнет учиться на испаниста, мечтает о московском институте Мориса Тереза, что ты об этом думаешь?

Я ответил, что думаю.

— Хорошо, тогда стань ему старшим братом, помоги в непростой московской жизни. Да и в учебе⁷.

Разговор происходил в шестьдесят восьмом. Пять лет пролетели быстро, мы встретились снова. Ираклий молвил:

— Саша, я твой должник, мог бы я?..

— Можете, Ираклий Виссарионович. Мне рассказывали, что в свое время вам пришлось председательствовать на собрании творческой интеллигенции Тбилиси, которому было предписано, во-первых, осудить Пастернака за его «Живаго», а во-вторых, возмутиться тем, что реакционные западные круги присудили роману Нобелевскую премию. Говорят, любопытное было собрание. И если вы вспомните его со всеми подробностями, считайте, что мы квиты.

Дело было после небольшого застолья, поэтому я и осмелился высказать необычную просьбу. А так, вообще, какому поэту приятно вспоминать, что он председательствовал на подобном собрании?

* * *

— Как ты знаешь, Пастернак был большим другом Грузии, — начал Ираклий Виссарионович. — Много хорошего написал о ней, а скольких поэтов перевел и сделал известными не только России, но и миру! Провести такое собрание значило ответить черной неблагодарностью. Меня три раза приглашали в Центральный комитет партии, я отказывался, как мог, в конце концов, решил: уж лучше я, чем кто-нибудь другой. Во всяком случае, расправы не допущу.

Были три-четыре правильных бездарности, которые горели желанием выступить на собрании и сказать все, что они думают о человека, «оклеветавшем нашу прекрасную действительность». Их никто не знал и никто не читал, а теперь о них напишут в газетах, расскажут по радио. Трое из них позвонили мне и попросили дать им слово первыми, чтобы задать тон осуждению. Я этому не удивился. Удивился, когда поздно вечером позвонил известный композитор Андрей Баланчивадзе и... попросил о том же.

Подумал я в сердцах; ну вот, и он... А ведь вел себя достойно в самые крутые времена. Ты знаешь, конечно, что его брат Георгий в двадцать четвертом эмигрировал и с годами создал в Америке известную на весь мир балетную школу Джорджа Баланчина. Как относились к тем, кто имел родственников за границей (сколько лет существовала такая графа в замечательных наших анкетах!), рассказывать не буду. Андрей Мелитонович жил музыкой, был далек от политики, и вот этот звонок. Шли разговоры, что композитор давно

⁷ В 2000 году Зураб Абашидзе стал Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в России.

должен был получить звание Народного артиста СССР, да где-то что-то за-
топорилось. Почему, догадаться было не трудно. Грешно я подумал, грешно.

Началось собрание. В президиуме председатели творческих союзов, я — в
середине, по бокам от меня секретарь ЦК по пропаганде и первый секретарь
городского комитета партии. Чувствую себя прескверно. Утешаюсь тем, что
докладчику сейчас хуже в сто раз. С каждой минутой начинаю все лучше ду-
мать о нем. Он умудряется ни словом не выразить своего отношения к Борису
Леонидовичу и к его роману. Ограничивается пересказом всевозможных партий-
но-правительственных заявлений и решения президиума Союза писателей
СССР — считать книгу таковой, какой ее считают те, кому свое руководящее
мнение иметь надлежит.

— Не доклад, а политически недостаточно выдержанная информация, —
недовольно шепчет мне секретарь горкома.

Чувствую, как под столом начинает плясать его нога. Пляска прекращается,
едва получает слово Андрей Баланчивадзе, но потом, словно бы наверстывая
упущенное, набирает двойной темп.

— Уважаемые товарищи, — говорит композитор, — просто представить себе
не могу, что такого нехорошего был способен написать всеми нами уважае-
мый поэт Борис Пастернак. Ведь у этого человека доброе сердце и талант,
подаренный Богом. Многие поэты писали о Грузии, но разве кто-нибудь луч-
ше Пастернака написал? Вспомним, например это...

Откашлявшись и вскинув голову, Баланчивадзе прочитал наизусть:

«Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность,
Ад — на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
И мы поймем, сколь в тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь».

— Последнюю строчку Баланчивадзе повторил, — продолжал Ираклий
Виссарионович. — Повторил со значением: «Чтоб вышел человек, как здесь».
Можно сказать, великий поэт ставит нас в пример человечеству, а мы... гото-
вимся сегодня стать предателями своего друга. Этой мысли Андрей Мелито-
нович не высказал, но она подразумевалась.

Напряженное и вместе с тем какое-то веселое ожидание повисло под по-
толком. А патриарх-композитор продолжал, как ни в чем не бывало, читать стихи
Пастернака.

Секретарь горкома сказал мне:

— Надо поправить выступающего. Не на тему говорит или забыл, для чего
собрались?

— Мне не пристало перебивать уважаемого человека. Лучше дать ему воз-
можность высказаться до конца.

Через несколько минут терпение моего соседа достигло точки кипения.
Он встал, почему-то застегнул пуговицу на пиджаке и произнес елеяно:

— Глубокочитимый сударь Андро, вы хорошо знаете, как все мы вас уважаем. Поэтому чувствую себя не совсем уютно, подавая эту реплику. Мы собрались сегодня не для того, чтобы читать пусть даже хорошие стихи Пастернака. А для того, чтобы дать должную оценку антисоветскому произведению под названием «Доктор Живаго». Не мне говорить вам, какую радость, можно даже сказать, какое ликование вызвало появление этого рыхлого и ядовитого романа в антисоветских кругах. Я бы очень попросил уважаемых выступающих не отклоняться в сторону от повестки дня.

Спокойно выслушал тираду композитор. Озорно блеснул глазами. Дождался, пока, расстегнув пуговицу на пиджаке, облегченно сел партийный секретарь Ответную реплику произнес четко, чувствовалось по всему, заранее подготовил ее:

— Уважаемые товарищи, хотел бы сказать, что перед собранием я сделал несколько попыток разыскать книгу «Доктор Живаго», чтобы прочитать ее и сегодня говорить о ней. Только о ней. Но оказалось, однако, что в Тбилиси нет ни одного экземпляра этого романа. Даже в ЦК, даже в Совете Министров. Я уже не говорю о республиканской библиотеке. Так что я ее не читал и могу говорить только о том, что хорошо знаю. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале кто-нибудь, прочитавший «Доктора Живаго»?

Андрей Мелитонович бросил взгляд в сторону моих соседей по президиуму, те сделали вид, что пишут нечто важное и не могут отвлечься от высоких дум.

— Выходит, никто не читал. Как же мы собираемся обсуждать и осуждать книгу, которую и не видели? Сможем ли мы после этого честно смотреть в глаза друг другу? Не засмеют ли нас, представителей так называемой творческой интеллигенции? У меня всё.

Пока за моей спиной один секретарь спрашивал другого, что будем делать, я заметил, как, полусогнувшись, покидали зал литературные прохиндеи, прошившие предоставить им слово первыми.

А два дня спустя позвонил Борис Пастернак. Сказал, что знает о нашем собрании. Добавил, что другого от грузинских друзей не ждал. И почему-то поблагодарил меня. Я же ответил, что моей заслуги нет и на грамм и дал домашний телефон Баланчивадзе. На конце языка вертелись три слова: «Надо продержаться, Борис!» — но я их тогда не произнес.

* * *

Время жалеет стойких и жалит малодушных.

До глубокой старости дожил народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Андрей Мелитонович Баланчивадзе, композитор, автор оперы «Мзия», балетов «Сердце гор» и «Мцыри», профессор Тбилисской консерватории: имя его окружено почетом и далеко за пределами Грузии.

А вот другая судьба.

О чистом человеке, поэте-фронтовике Борисе Слуцком вспоминает писатель Григорий Анисимов:

«Грянул 1958 год. Какая муха укусила Слуцкого, он и сам никогда не мог объяснить. Любое упоминание об этом вызывало у него смертную тоску. Речь идет о выступлении Слуцкого на собрании, где осуждался роман «Доктор Живаго».

Осуждался его автор — гениальный поэт Борис Пастернак. Осуждалось присвоение ему Нобелевской премии. Голос Слуцкого обнаружился в протяжном шакальем идеологическом вое. В конце концов Пастернак от премии отказался, написал в «Правду» покаянное письмо. И умер от безысходной тоску-удаки. А Слуцкий впал в жестокую депрессию. Потерял любимую жену-друга, уехал к брату в Тулу, где прожил шесть лет. Там и умер... Вот такая печальная история вышла».

* * *

После аутодафе (сожжения во имя веры) романа Пастернака минуло тридцать лет.

Теплоход «Белоруссия» с австралийскими, американскими и новозеландскими путешественниками вышел из Гонконга и взял курс на Сидней; неблизкий предстоял переход. Один из вечеров посвящался встрече с московским писателем, «который ответит на ваши вопросы о перестройке». Это слово успело войти едва ли не во все языки мира, не случайно был переполнен музыкальный салон.

Один из первых вопросов:

— Кого следует считать зачинателем ваших преобразований? Только ли с Горбачева все началось?

Отвечаю:

— У Михаила Сергеевича был один замечательный предшественник: не политик, не дипломат, простой доктор.

— Чем прославился? Вылечил одного из ваших постоянно болеющих вождей?

— Нет, он хотел вылечить народ. Ему не дали.

— Имя, назовите, пожалуйста, имя.

— Доктор Живаго.

— Первый раз слышу.

Зал недоуменно обернулся в сторону седовласого изможденного господина средних лет, сидевшего в заднем ряду между двумя телохранителями.

Живаго и Пастернака уже нельзя было не знать.

Оскар Брумер

У отца моей жены Ирины, старшего инженера завода «Серп и молот» Оскара Яковлевича Брумера, обнаружили в 1937-м, насколько мне дано судить, три вины перед государством.

Учился в Германии, в совершенстве владел немецким, а когда в 1935-м году были приглашены для реконструкции завода зарубежные специалисты, общался с ними. Хотя и по долгу службы, все равно «зачли».

Вопросы, которые задавали ему, оригинальностью не отличались и очень напоминали те, что фигурировали в «деле» моего отца:

— В пользу какого иностранного государства вели шпионскую работу? Каким способом передавали информацию? Назовите имена, чистосердечные показания облегчат вашу участь.

Если бы что-нибудь мог сказать инженер, сказал бы, не выдержав пыток.

Но следователь, собрат далекого Тимина, был терпелив. Не добиться признания арестованного значило расписаться в бессилии и профессиональном неумействе. А еще имелся в запасе вопрос, который можно было задать любому подозреваемому инженеру:

— С кем и когда вели разговоры об отсталости советской техники?

— О какой отсталости может идти речь, если по темпам экономического развития мы обогнали передовые капиталистические страны? — благоразумно отвечал Оскар Яковлевич.

— А про ваш завод что говорили?

— Раз его реконструируют, значит, он пока не такой, каким хотим его видеть. Это что, военная тайна?

«Серп и молот», называвшийся до революции заводом Гужона, был построен в 1883 году, производил сталь, прокат, фасонное литье. Разворотливый и удачливый русский промышленник Юлий Петрович Гужон успел полюбоваться делами революционных преобразований всего год; сердце приказало: «Хватит, нам с тобой вполне достаточно».

Новые кадры, «пришедшие жать, что не сеяли», довели процветавшее некогда предприятие до ручки. Вернее, до двух ручек — держалок серпа и молота. Восстанавливали порушенное натужно и долго, одновременно создавая сверхзасекреченный цех. На нем и имел несчастье работать Оскар Яковлевич.

Судила его военная коллегия Верховного Суда СССР.

Дома остались жена, врач Александра Николаевна, и девятилетняя дочь Иришка. Письмо, полученное ими (скорее всего, оно было выброшено из оконца теплушки), напоминало несказанно и горько письмо, пришедшее в ту же самую пору от моего отца: знайте, я ни в чем не виноват... храните друг друга, буду жить надеждой увидеть, обнять и крепко-крепко расцеловать вас, моих бесконечно дорогих!

Не все десять отпущенных ему лет провел Оскар Брумер в ГУЛАГе. Началось освоение богатейших месторождений Севера, и его перевели в Норильск. После истечения срока, словно премию за хорошую работу, впяли новый, небольшой: специалист такого класса был очень нужен набиравшему силу металлургическому комбинату. Как и мой отец, реабилитации не дождался. Как и моя мать, мать Ирины сохранила верность мужу.

Не знаю, где похоронен посмертно оправданный Василий Кикнадзе.

Мартовским днем 1977 года я повез одну большую красную розу, чтобы возложить ее не могилу посмертно оправданного Оскара Брумера.

Долина, лежавшая на пути от аэропорта Дудинки до Норильска, была в давние времена провидчески названа «Кайеркан» — «Долина смерти».

— Это здесь, — сказал водитель «Урала», знавший, зачем я прилетел.

Проваливаясь по поясу в снег, положил розу на один из ближних бугров. Стал спиной к ветру. Холодно было на душе.

Бугры простирались до горизонта.

Безвестные могилы безвинно павших.

С великой печалью, сжимавшей горло, думал о них. И великой любовью и благодарностью — о двух женщинах, с надеждой и верностью ждавших мужей.

За границей, как во хмелю, наш человек открывается быстро. Экономный становится скупердяем, осторожный — подозрительным, а привыкший командовать — невыносимым занудой. Там будто только и ждут очереди на выход заносчивость, фанаберия и снобизм, расталкивая друг друга локтями.

Ну, а хороший становится лучше, добрее, остроумнее, терпимее к чужим суждениям и поступкам.

Таким и открывался Ян Абрамович Френкель. Экзотическая Мексика помогала лучше узнать большого, усатого и добродушного музыкотворца.

Мы немало часов провели рядом на трибунах стадионов и немало путешествовали: Гвадалахара, Куэрнавака, Пуэбло, Таско. Мой спутник мог спать три-четыре часа в сутки. Это были самые мучительные часы для обитателей большой квартиры на Вилле Коапа, им удавалось «смыкать усталые вежды», лишь когда композитор просыпался. Его обожали днем и беззлбно поругивали ночью. Его храп (бас-профундо) был оглушительным, такого мне больше в жизни, к счастью, слышать не приводилось. А он звонил спозаранку и, ни о чем не догадываясь, говорил: «Поднимайтесь, соня, через час автобус в Таско, отоспимся в Москве», Другому бы я такого издевательства не простил.

Он заражал своим желанием как можно больше увидеть, запомнить, почувствовать, а главное — «услышать» народ с душой открытой, немного наивной, полной песнями. Я худел на глазах и был счастлив.

Вскоре после возвращения домой Ян Абрамович пришел в гости. Поставил букетик роз в вазочку на полке, поцеловал руку жене, приветливо растормошил волосы малышей, а со мной, что-то свое имея на уме, поздоровался сдержанно.

— Саша, у меня к вам просьба... Вы не должны отказать, дайте слово, что выполните ее.

— От такого благородного человека, как вы, может исходить только благородная просьба. Поэтому говорю: да! — Я постарался придать лицу приличествующее случаю торжественное выражение.

— Вот я и подцепил вас, — не без самодовольства изрек гость. — Теперь извольте, сеньор, написать предисловие к сборнику моих песен.

— Стоп, не пойдет, — попытался отговориться я. — Вы же знаете, сколь напряженны отношения моих природных талантов с музыкой... Я о ней не осмеливался писать ни-когда! Договор не действителен. Во время заключения его я... это самое... на всякий случай сплел пальцы. Догадываетесь, что значит?

— Слово есть слово, сеньор. Ирина (Френкель бросил взгляд на мою жену и перевел его на детей), Нина, Вася и Кирилл, пожалуйста, дайте понять папе, что он показывает не слишком хороший пример подрастающему поколению. Хоть вы поддержите меня.

— Все в порядке, дядя Ян, папа напишет, — заверил мальчик Вася от имени детей, постепенно становившихся определителями моих поступков. В знак солидарности кивнула головой жена.

— Боюсь, что меня убедили, — процедил я.

...Вместе со сборником⁸, вышедшим очень быстро (композитора любили все, даже... издатели!), Ян Абрамович привез в подарок малышам педальный автомобиль, который в иные времена стал стоить много больше, чем тогда стоил всамделишный «Москвич». Выход книги мы отметили небольшим ужином, гость был оживлен, весел, самоироничен.

Он всегда держался с достоинством. И лишь один только раз я увидел его не то что подавленным, но сумрачным и предельно сосредоточенным.

Он спросил по телефону, не могли бы мы встретиться по неотложному делу. Почему-то заметил, что звонит не из дому, а по уличному автомату. Мне это не понравилось. Гуляли по безлюдным аллеям Измайловского парка, он рассказывал:

— Сегодня утром меня известили, что представили к званию (это представление, может быть, вы знаете, пролежало в чиновничьих столах несколько лет), и еще, как бы между прочим, о том, что к шести часам придут уважаемые люди... Они принесут одно антисионистское письмо, которое я должен буду подписать.

— Они так и сказали: «должны»?

— Нет, сказали вежливее: «Хорошо бы его подписать». Я услышал имена известных писателей, композиторов, художников и артистов, услужливо «выразивших чувства». Оказаться в этом почтенном кругу... — Френкель соорудил мину, лучше слов говорившую об его отношении к «музыкантам в штатском», истинным авторам доноса, и к мастерам искусств, которые недвусмысленно заявляли о себе. Резко обернулся:

— Саша, нужен совет.

Он-то прекрасно знал и без меня, как поступить. Просто хотел утвердиться в своем решении. Следовало бы сказать ему, что композитор, написавший

⁸ Были в предисловии такие строки:

«Если ты провел в самолете восемнадцать часов и за эти восемнадцать часов, миновав три материка, оказался на противоположном конце земли, и если на этом противоположном конце идет дождь, какого ты раньше и не видывал, и ломаются все планы первого же дня, — тебе не до песен.

А на эстраде стоял роль. А к роялю подсел Ян Френкель и запел:

И в Италии, и в Бразилии
Побывали с тобой.
Солнца вроде бы изобилие,
Только тянет домой.

Он начал, а зал подхватил... Не было ливня, не было двух бессонных ночей. Сидел за роялем высокий добрый человек с усами, в которых можно спрятать улыбку, сидел волшебник с теплым взглядом и прогонял далеко-далеко дурное настроение.

Его песни, как и он сам, быстро располагают к себе. Их нельзя петь громко. Их надо петь доверительно. И взгляд исполнителя должен дополнять мелодию, передавая и мысль, и чувство, и настроение.

Чтобы в наш век музыкально-песенного переизбытка запомнилась всей стране, а потом пошла радиоволнами по всему миру не одна, не пять, а много твоих песен, надо быть отмеченным Божиим поцелуем, надо хорошо знать — о чем пишешь, и тех, для кого пишешь».

«Русское поле» и «Журавлей», вполне может прожить и без официальных званий, раздаваемых не столько с целью поощрения, сколько с целью подкупа талантов.

— Не уехать ли вам из дому на неделю-другую? Наташа женщина умная, пусть что-нибудь сочинит. Можете и у меня пожить. Никого не стесните, семья будет приятно.

— Спасибо.

Мне предоставлялась возможность догадываться, за что благодарил Ян. За приглашение или за совет?

— Вы сегодня вечером дома? — спросил он. — Я позвоню из автомата.

* * *

— Не мог ли Ян Абрамович поехать к Ваншенкиным? — спросила жена.

— Он поехал бы к ним раньше, чем к нам. Но телефон Константина не отвечает, нет его и в Переделкине.

Смутная тревога закралась в душу. Ян не подавал о себе вестей.

* * *

Я собирался было рассказать Яну Абрамовичу одну историю, связанную с Александром Алехиным. Раздумал. А история поучительная. Однажды этот благородный и бесстрашный шахматный рыцарь сделал ход, о котором спустя годы горько жалел. Да поделаться ничего не мог: жизнь, как и шахматы, не позволяет брать ходы обратно.

...Несмотря на войну, в Германии продолжала выходить газета «Дойче шахцайтунг». В апреле и мае 1941 года в ней появились большие, перепечатанные из парижского пронацистского издания, статьи Александра Алехина «Еврейские и арийские шахматы». Чемпион мира, живший во Франции под оккупантами, боявшийся их и надеявшийся обезопасить себя, решил продемонстрировать лояльность, не заглядывая в будущее, не предвидя, чем обернется бездумный шаг. Раньше Алехин не раз с восхищением отзывался о первых чемпионах мира Стейнице и Ласкере (называя их своими учителями) и о таких выдающихся мастерах, как Шпильман и Нимцович. В сорок первом же году дал всем им скопом оскорбительную характеристику как представителям «еврейской опасново защитной школы».

После войны с Алехиным отказались играть многие гроссмейстеры. Отозвали свои приглашения организаторы крупных соревнований. Попытки Алехина выдать те злосчастные статьи за фальшивку оказались безуспешными. Шахматы были его жизнью. Единственной настоящей любовью, привязанностью, делом. Теперь ему предоставлялась возможность участвовать лишь во второразрядных турнирах.

Отвергнувший родную страну и отвергнутый друзьями, он скончался в Португалии вскоре после войны. За анализом шахматной партии. Ему было только 64.

* * *

Дней через пять в нескольких газетах разом, по команде, появилось то самое письмо. Я пробежал подписи и почувствовал, как отлегло от сердца.

Наконец, раздался звонок.

— Ян, дорогой, где же вы были все эти дни?
— Бездельничал под Москвой. Подробности — не по телефону. Жду вас сегодня в семь вечера в ресторане ЦДЛ.

* * *

Френкель поступил так, как подсказывал ему главный советчик, «голос, идущий из глубины души» (выражение, приписываемое Сократу). И до-о-о-лго еще ждал звания, которого заслуживал как истинно народный музыковторец.

Ну стоило ли так мучиться, переживать, лишать себя спокойного сна?

Не проще, не удобнее, не выгоднее ли, наконец, было поступить так, как поступают блюдолизы?

Цезарь и Александр

Зевс людям память дал как месть за прошлые грехи,
Я ж осчастливил их предвиденья лишив, —

Говорит прикованный к скале Эсхилос Прометей.

Предвиденья лишив...

Если бы редактор А.Б.Чаковский догадывался, каким бесславием (когда настанут новые времена) будет окружено его имя и имена тех, кто холопски служил ему в перенаселенной евреями «Литературной газете»... Тотчас возник бы перед мутными очами партийного повелителя, выложил на стол орден, медали и мандаты, присовокупил бы к ним не тридцать, а девяносто сребреников (за годы верноподданнического служения солидные набежали проценты) и жалобно молвил бы:

— Возьмите все это, возьмите, только дайте честно прожить хотя бы остаток жизни.

О мертвых — хорошее или ничего?

Нет. Истину! Чтобы ни один нечестивец не надеялся, что смерть спишет его прегрешения. Может быть, поубавится тогда число продажных властолюбцев.

Не обойтись без отступления.

* * *

В конце 1972 года позвонил ответственный секретарь федерации спортивной прессы СССР Альберт Лейкин:

— Нехорошо получается. Перед Олимпиадой в Мюнхене «Литературная газета» не пожалела красок, рекомендуя вас как своего спецкора. И о призе — фотоаппарате новейшей конструкции для лучшего советского олимпийца раструбила на весь свет. Когда в Мюнхене чествовали киевлянина Валерия Борзова, вы произнесли речь, вручили диплом «Литературки» и пообещали, что фотоаппарат чемпион получит дома. Прошло несколько месяцев, а газета забыла о своем призе. Что происходит?

— Альберт Львович, я уже два раза обращался к редактору Чаковскому, послал ему возмущенную телеграмму. В ответ — молчание.

— Тогда я вам вот что скажу. Мне только что позвонил коллега из Украинской федерации. Заметил, что если бы две спринтерские дистанции выиг-

рал в Мюнхене не украинский, а российский бегун, приз вручили бы ему незамедлительно. Россия снова, который уже раз, демонстрирует пренебрежение к младшему брату. Вы-то хоть что-нибудь понимаете?

Я понимал хорошо.

* * *

Господи, Боже наш, Царь вселенной... Не вводи нас ни во власть порока, ни во власть преступления, ни во власть греха, ни во власть искушения, ни во власть позора; не дай одолеть нас дурному побуждению; удали нас от злого человека и злого товарища; привяжи нас к доброму побуждению и добрым делам; склони побуждение наше к покорности Тебе; дай нам обрести днесь и всякий день благоволение, любовь и милость в глазах Твоих и в глазах всех, видящих нас, и окажи нам благие милости.

(Утренняя еврейская молитва)

...Благоволение, любовь и милость в глазах Твоих и в глазах всех видящих нас...

Читали ли эти строки два героя Цезарь и Александр? А если читали, задумывались ли над ними?

Слишком надо презирать «всех видящих», чтобы поступить так, как поступили они. А себя?

* * *

5 сентября 1972 года, Мюнхен, Олимпиада.

Рано утром приезжаю по журналистским делам в олимпийскую деревню. Это единственное, кажется, место в Мюнхене, где не действуют аккредитационные удостоверения: строжайший режим, нудная процедура получения пропуска.

Едва выхожу из машины, вижу взволнованного корреспондента «Красной звезды».

— Туда не ходи, там стреляют. Арабы напали на израильскую делегацию. Видишь на балконе людей в черных масках с автоматами? Это они.

Корпус окружен германскими полицейскими. Все пропуска отменены. Следующие три часа провожу на травке недалеко от входа, среди журналистов, фотокорреспондентов, теле- и кино- операторов. Снимаю то, что происходит в деревне и на ближних подступах к ней. Прибывают все новые и новые отряды полиции. На крышах и балконах корпусов — снайперы. Пока никто не стреляет. Становятся известными подробности нападения. В схватке убиты два израильских штангиста. Недалеко от нас большая группа журналистов окружает их тренера, который провел ночь у проститутки и вернулся домой в начале шестого, после того как отгремели выстрелы. Кто она, эта жрица любви, спасшая жизнь тренера? В специальных выпусках газет ее портреты (в полный рост, в фривольной позе и такой же одежде, если можно назвать одеждой то, что на ней) украсят первые страницы. Тут же будут названы и адрес, и телефон.

Арабы взяли в заложники не то девять, не то одиннадцать израильских спортсменов, требуют предоставить им два вертолета и возможность беспрепятственно покинуть Германию. Лишь после этого можно будет начать пере-

говоры об обмене заложников на тех арабских террористов, которые арестованы в Израиле.

Я, приглашенный «Литературной газетой» спецкором на Олимпиаду, должен забыть обо всех других делах. Моя обязанность — передать в редакцию то, что увидел и услышал. В машине по дороге к прессхаусу набрасываю тезисы репортажа. В Мюнхене полно корреспондентов советских газет, все они знают о том, что произошло, но почему-то никто не торопится заказывать Москву. Коллеги поглядывают на меня свысока:

— Ну, ну, давай поглядим, что у тебя получится.

Получается вот что. Связываюсь с заведующим отделом. Тот с главным редактором А.Б. Чаковским. Он обо всем уже знает. Мне отвечают, что сообщение, если и пойдет, то по официальным каналам.

— Я хотел бы все же сделать свое дело, а вам решать.

— Сосредоточьтесь на главной цели вашей командировки, подготовьте зарисовки о победах советских мастеров... Это пожелание главного.

Следующие сутки провожу в гостинице, не отрываясь от телевизора. Аэропорт, два вертолета. Огни мощных прожекторов, вдруг осветивших поле и вереницу людей, которых медленно ведут к самолету. Гулкие щелчки, раздавшиеся в динамике... Взрыв, рухнувшая наземь вереница и кто-то, бросившийся бежать к лесу... Еще один взрыв — вертолета, в котором была вторая группа заложников. Взволнованная скороговорка телекорреспондента. Три или четыре фигурки, бросившиеся вдогонку за прихрамывающим беглецом...

На следующий день. Экстренные выпуски газет. «Это была самая бездарная и беспомощная операция мюнхенской полиции за все годы ее существования». По телевизору отклики из разных стран. Заявления глав государств и правительств, соболезнования, траурные митинги и шествия. Тель-Авив и Вашингтон, Бонн и Париж, Рим и Мадрид... А что же Москва? Москва молчит. О трагедии — ни слова. Зато бурный поток радиосообщений о победном шествии советских олимпийцев, о медалях, добытых за последние дни «на мирных ристалищах» баварской столицы. Близится пятидесятилетие образования СССР, и посланцы Москвы все ближе к выполнению социалистического обязательства — ознаменовать юбилей пятьюдесятью золотыми медалями.

Объявлено о траурном митинге, который состоится на олимпийском стадионе. Руководство советской делегации строго предупреждает своих олимпийцев, журналистов, туристов: на митинг не ходить! Бойкотируют митинг и подневольные делегации социалистических стран. У телевизора в холле пресс-центра большой вальяжный, с продолговатым черепом кагебист, заместитель руководителя нашей журналистско-писательской группы, комментирует высупление плачущего посла Израиля:

— Крокодилы слезы. Сами все заварили, а теперь делают вид.

Лишь один болгарский редактор кивает в знак согласия головой и что-то бормочет.

Те, до кого доходит смысл этих реплик, демонстративно отодвигаются от «комментаторов» подальше. Держа блокнот наготове, к болгарину приближается шаркающей походкой писатель Цезарь Солодарь.

— Повторите, пожалуйста, что вы сказали. Знаете, я тоже об этом подумал.

Искательно заглядывает в глаза тому, с продолговатым черепом. Что-то пишет. Почему-то подходит ко мне:

— Было бы неплохо вспомнить изречение древних: иши, кому выгодно. Как, по-вашему, кому это на руку, на чью мельницу льет воду? Мне кажется, было бы небесполезно сделать интервью на эту тему.

Я не хочу показаться красивым и потому не приведу своего ответа. Все это присказка. Теперь — сказка.

* * *

11 октября 1972 года «Литературная газета» публикует корреспонденцию «Кто же убил израильских спортсменов?». Приводится напечатанная в софийской газете «Вечерни новини» переписка ее читателя Иосифа Стоянова «с другом детства, поселившимся в Палестине вскоре после Второй мировой войны». «Израильские правители, по существу, намеренно воспрепятствовали спасению израильских спортсменов, дабы впоследствии использовать их гибель для осуществления широкой террористической акции против арабских стран».

Через несколько дней ко мне домой звонит Солодарь:

— Помните, что мы услышали в Мюнхене от болгарского коллеги? Я рассказал о той встрече Александру Борисовичу Чаковскому. Он попросил меня подробно написать о ней. И сослаться при этом на вас как на свидетеля. Вы позволите, надеюсь? Это личная просьба редактора «Литературки».

— И у меня к вам одна личная просьба: передайте, пожалуйста, редактору... Все это — вранье, от начала до конца.

Он решил сразить меня:

— Вам просто не дано знать, откуда поступило указание. Александр Борисович будет огорчен вашим ответом.

Не сомневаюсь, что исполнительный собеседник передал мои слова своему еще более исполнительному редактору без искажений. Того, видимо, задело за живое.

«Литературная газета» отомстила находчиво.

Она так и не выслала обещанный приз — фотоаппарат — лучшему спринтеру Олимпиады Валерию Борзову, поставив меня в двусмысленное положение. Представляю, что мог думать Борзов.

Ну, а свою статью Цезарь Солодарь, конечно же, опубликовал. 18 октября. Не постеснялся:

«Присланное в болгарскую газету «Вечерни новини» письмо потрясает доказательствами чудовищно провокационной роли, которую сыграло израильское правительство в финале разыгравшейся на мюнхенской Олимпиаде кровавой трагедии... Тель-авивские правители не очень-то, мягко говоря, дорожили жизнью израильских спортсменов... Голда Меир отказалась не только освободить двести пленных палестинцев, но вообще вести какие бы то ни было переговоры об условиях спасения девяти человеческих жизней».

...Прав автор письма в Софию, утверждая, что «правда, в конце концов, обязательно всплывет на поверхность». Непременно всплывет, какой бы чудовищной и бесчеловечной она, как это можно сейчас предполагать, ни оказалась!

Цезарь Солодарь».

* * *

Когда-то я набросал две странички комментариев к этому непристойному произведению давно исписавшегося и забытого писателя, выдававшего себя, в зависимости от обстоятельств, то за друга Анатолия Софронова, то за друга Юрия Нагибина. Спрашивал себя: для чего все это было надо старому несчастному еврей? Мечтал заслужить благосклонность Центрального Комитета партии, «разворачивавшего очередную кампанию»? Добиться ордена? Издания или переиздания? Может быть! Услужливость, граничившая с предательством, всегда высоко ценилась в мире литературном и надлитературном. Только думал ли Солодарь, что настанет час, когда он с улыбкой подойдет к поэту Константину Ваншенкину и протянет руку, а тот демонстративно и брезгливо отвернется. Сколько писателей последует этому примеру!

И все же главным героем позорной истории был не писатель, носивший имя великого полководца.

Был редактор, тезка Александра Македонского.

Писатель Андрей Яхонтов, проработавший не один год в «Литературной газете», вспоминал: «Вальяжный, благополучный, хитрый Александр Борисович Чаковский с блеском выполнял поручения по запудриванию мозгов».

Обидно, честное слово.

Обидно читать такой отзыв ученика.

И все же, как мягко написано.

Я бы написал так: «Александр Чаковскому, долгие годы возглавлявшему «Литературную газету», принадлежит выдающаяся, не выдерживающая сравнений роль в оболванивании народа. Другим редакторам было далеко до этого немногословного, блеклого, малость скособоченного публициста».

Говорят, что старость — зима для человека никчемного. И осень — пора сбора урожая — для человека, честно служившего честному делу.

С чем подошел к зиме своей патриарх?

Он был кавалером всех самых высоких наград. И лауреатом всех самых высоких премий. Депутатом Верховного Совета СССР и, что куда престижнее (и выгоднее!) — кандидатом в члены ЦК КПСС.

Да только что осталось?

* * *

Автор этих строк немало лет возглавляет жюри Международного кинофестиваля, проводимого Домом Ханжонкова.

В декабрьский вечер 1999 года мне предстояло огласить судейский вердикт и вместе с директором Дома кино Расимом Даргяхзаде вручить призы. Вдруг увидел вошедшего в зал Валерия Борзова. Обратился к сценаристу Евгению Богатыреву:

— Женя, к вам просьба. В середине пятого ряда сидит Борзов. Пожалуйста, найдите повод и выведите его из зала. Мне надо сказать ему что-то важное.

— А стоит ли? — спросил милый и мудрый человек, хорошо знавший историю редакционного обмана. — Ведь прошло столько лет...

Глянул вопросительно, но просьбу выполнил.

Валерий молча выслушал мой сбивчивый рассказ. Молвил, словно утешая:

— Да, всякое случается.

Не убежден, что он поверил мне. Разве на его месте поверил бы?

На сцену в тот вечер я не вернулся.

«Литературная газета» новой формации, освободившая себя от постыдного балласта! Вспомни о давнем долге перед одним из самых ярких атлетов нового времени. Жест твой будет благородным. Ведь прошло-то всего три десятилетия.

«А теперь расскажите про поэзию декабристов»

Мне много лет, и нет никакого желания выглядеть лучше, чем был, чем есть. До сих пор не могу понять, как это случилось: грузин, родившийся в Персии, сын врага народа, живущий с матерью в крысином подвале, с четвертого курса начинает получать Сталинскую стипендию. Единственную в Азербайджанском Государственном университете.

Спасибо дорогой маме Веронике Евграфовне за ее теплоту и нежность, спасибо красивой и стойкой женщине, спасшей меня от опасной болезни... У меня и сегодня перед глазами негасимый материнский пример того, как преодолевать жизненные невзгоды.

Но разве могу не сказать спасибо университетской подруге Тамаре Митник? Не влюбиться в эту милую умницу было невозможно. Пять лет студенческого приятельства скрасили годы тягостных лишений, сохранились чистой светлой полосой.

Безответная любовь способна подкосить человека. Превратить в ипохондрика, но если существует хоть самая малая надежда... Мне казалось, что существует. Столь сильные стимулы жизнь дарит редко. Старался не отставать от Тамары, хотя и было нелегко. Учебу совмещал с работой. Как чемпиона Азербайджана по стрельбе меня с первых же недель войны назначили инструктором стрелкового спорта в обществе «Спартак» (в его тире на улице Чапаева прошло подготовку много будущих солдат и офицеров), а весной сорок второго утвердили корреспондентом «Красного спорта» по Баку и республике. Но, повторю, у меня был стимул, какого не имела Тамара. Для того, чтобы получить диплом с отличием, ей надо было сдать последний госэкзамен по русской литературе на пятерку.

Дожидаюсь ее в коридоре. Сейчас она выйдет, я поздравлю ее и первый раз в жизни поцелую. Открывается дверь — узнаю и не узнаю Тамару: лицо заливают яркий румянец, в глазах невыразимая скорбь, на реснице застыла слеза.

— Что случилось?

Отвечает, с трудом сдерживая рыдания:

— Он спросил меня о поэзии декабристов... После того, как ответила на вопросы билета. И выставил четверку... Двое членов комиссии возражали... Он настаивал на своем.

«Он» — доцент Никифор Станиславович Клешинов, краса и гордость факультета. Не много сыщется в мире людей, так знающих русскую литературу XIX века. До войны его приглашали в Ленинградский университет, он поблагодарил и вежливо отказался: считал, и может быть, не без оснований, что более теплого и дружелюбного города, чем Баку, на свете быть не может. Ко мне относился так, как только и может мечтать студент, я считал его (не только поэтому) человеком глубоко порядочным.

А он оказался...

Бывают антисемиты скрытные и стыдливые, любящие порассуждать о пороках милой нации на кухне, в компании собутыльников-единомышленников. На людях же сдержанны и нутро свое таят в себе.

Но бывают и открытые, смелые особой смелостью и осязающие прилив новых сил, если сотворят — даже и прилюдно — пакость еврею. Мог ли я думать, что окажется среди них и добрейший Никифор Станиславович?

Во время предэкзаменационного собеседования Тамара спросила его:

— В одном билете фигурирует тема: «Поэзия декабристов», но таких лекций не было, а серьезных работ, посвященных ей, в библиотеках нет.

Доцент:

— Поэзия декабристов столь невелика, что кафедра приняла решение не останавливаться на ней. Такого вопроса в билете не будет.

Его и действительно не было. А он, не стесняясь ничтожности своей, спросил о той самой поэзии, глядя Тамаре прямо в глаза.

Она первый раз увидела человека, ненавидевшего ее. И запомнила тот день на всю жизнь. Не тогда ли родилась ее мысль уехать из этой страны, чтобы с ее потомками никогда не случилось ничего подобного?

Но имею ли я право писать: «На всю жизнь»?

Через пятьдесят шесть лет Тамара напишет мне из Тель-Авива: «Дорогой мой друг, ты опять увел меня в далекое прошлое. Хорошо помню, что после злополучного экзамена ты ушел «выяснять отношения», да уже ничего не могло помочь. Что сказать? Жалею, что день, который должен был стать самым радостным, я и тебе испортила. Тот экзамен — первое мое самое большое разочарование. Было и другое, когда в Москве два с половиной года не могла устроиться на работу. Я обращалась в многочисленные организации, в которых сотрудники отделов кадров (все на одно лицо), прежде всего, заглядывали в паспорт, а затем, не удосужившись посмотреть другие документы, просили позвонить через неделю, прийти — через две, и далее по известному сценарию».

Муж Тамары Лев Левин — специалист в области металлургии. Осенью 2000 года мы встретились в Москве. Не помню уже, как во время застолья зашел разговор об одном странном свойстве металла. Крохотная, не замеченная при анализе трещинка в слитке имеет свойство расширяться сама по себе, это в ее нраве, упрямом и не поддающемся исправлению. Может пройти год, а может и десять лет — трещинка будет делать свое дело. Крыло самолета или колесо тепловоза, изготовленные из такого металла, неизлечимо больны. Полость взрывается и неисчислимые приносит жертвы.

Лев хорошо знает все, что связано с металлом.

А я не знаю ни черта.

Но начинаю в ту же минуту думать о крохотных поначалу трещинах в так называемой политике дружбы народов. Они разрастались, а их не замечали, их старались не замечать.

Кровавые межнациональные раздоры, потрясшие, а в конце концов взорвавшие «монумент» Советского Союза, имели свои истоки. Никто не понес наказания за демонстративные преследования евреев в конце сороковых и начале пятидесятых годов, не было ни одного суда, ни одного показательного

процесса. Вот и кажется мне порой: если бы погасили тот пожар быстро и решительно, не было бы последующих межнациональных трагедий.

Тамара Митник — знаток литературы и языков. Лев Левин — знаток металлов. Государству они оказались не нужны.

Их внуки еще многого не знают, но не желают изучать русский язык, литературу, историю. «Поэзия декабристов»...

Ее муж Из жизни народного артиста

Гость был терзаем неведомой хозяйину мукой и все не знал, как начать разговор, ради которого пришел. Лишь перед уходом, вертя в руках пепельницу, как бы через силу молвил:

— Вася, эту миссию должен был взять на себя другой наш товарищ. Но я решил, пусть уж лучше я, чем он, мне ты поверишь больше. Сколько лет нашему дружеству?

— Да-а, много лет, — раздумчиво ответил хозяин, не догадываясь еще, к чему клонит гость.

— Ну, тогда пойми и не осуди. Сразу не отвечай. Подумай, обещаешь?

— Обещаю.

— Взгляни на календарь, только-только начался пятьдесят третий год, непростым, ох непростым обещает стать. Дело врачей, космополиты. А у тебя жена еврейка, дочь врага народа Мейерхольда. Опасность велика. Ирина продолжает встречаться с еврейками, тебе запросто могут припать связь с сионистами. Не я один так считаю, наверху считают. — Гость устремил взгляд к потолку, быстрее закутилась в руках пепельница. — Тебе надо развестись с Ириной. Не ломай жизнь, не ломай карьеру.

— Еще кофе? — спросил хозяин, излучая теплоту.

— Я рад, что ты понял меня, дорогой Вася. И очень тебе признателен. А что касается квартиры — оставь ее Ирине и ее детям, тебе дадут новую. Я это знаю точно.

Оба крепко обнялись, и хозяин вышел на лестничную клетку проводить гостя...

* * *

С обаятельным человеком и остроумным собеседником, улыбавшимся одними только глазами, Василием Васильевичем Меркурьевым мы познакомились в Ленинграде и встречались не раз во время его приездов в Москву, где артист был желанным гостем радио и телевидения, участником спектаклей и литературных передач.

Помню длиннющие очереди в кассы Ленинградского театра драмы имени Пушкина, когда играл Меркурьев. Ценители искусств, равно как и билетные спекулянты, не чаяли в нем души. Кинозрителям же он был известен по фильмам «Повесть о настоящем человеке», «Верные друзья», «Глинка» и многим другим.

Однажды, после затянувшейся выездной съемки в Лужниках, Василий Васильевич пригласил меня поужинать в местном ресторане, заботливо уведолив: «Посидим вдвоем»,

В конце зала за длинным столом гуляла лихая компания. Меркурьева узнали, и целая ватага делегатов попросила его почтить виновника тожества. Извинившись, Василий Васильевич удалился «на несколько минут», вернувшись же, сказал, криво улыбувшись:

— Виновник торжества — администратор универсама. Сегодня приняли в партию. От радости нализался до чертиков, полез лобызаться и заверил, что если мне когда-нибудь что-нибудь понадобится... Рядом восседала строгая женщина — губы в ниточку, взгляд снулой воблы. Когда нас представили, не улыбулась, всем своим видом показала, как я должен благодарить небо за такое знакомство. Мне с почтением шепнули: жена именинника — второй секретарь райкома партии. Я подумал: теперь этот тип с плутовато бегающими глазами пойдет далеко.

— Не кажется ли вам, Василий Васильевич, что надо иметь железную волю, чтобы полюбить такую мымру?

— И ясную жизненную цель, к тому же.

* * *

Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна познакомились за несколько лет до войны. Она была ассистентом режиссера на Белорусской киностудии, он молодым артистом, приглашенным из Новосибирска на главную роль. У Ирины от двух предыдущих мужей было трое детей. В 1938-м Меркульевы взяли на воспитание трех детей арестованного брата Василия Васильевича — Петра, руководителя крупной строительной организации (Василий и Ирина нарекут именем Петр и своего сына). В годы войны многодетную семью приютит Новосибирск, оттуда поплыли по Оби в Нарым. Земляки дали с собой «на дорогу» корову. Благодаря ей и продержались. Верная девизу многих еврейских жен «надо так надо!», режиссер Ирина стала дояркой. Домой в Ленинград вернулись полным составом. В городе было трудно сыскать семью более сплоченную, согретую неутихающей все преодолевшей любовью.

Василий Васильевич наполовину — по матери — немец. Если бы был немцем по отцу, в сорок первом не эвакуировали бы, а выслали.

В пятьдесят третьем гость-доброжелатель предупредил:

— Вася, за связь с сионистами арестовали знаешь кого? Жену Молотова, второго человека в государстве. Некому было защитить Жемчужину. Не-ко-му. Помни это!

* * *

— Василий Васильевич, вы сказали, что вышли на лестничную клетку, обнялись. А что было потом?

— Потом? Я спустил его с лестницы. По подъезду долго раздавались проклятья.

На лице артиста заиграла, но вмиг погасла простодушная улыбка шекспировского Мальволио.

Успеть за три минуты?

В летний день, аккуратно поделивший 1992-й год на две ничейные половинки, позвонил Геннадий Швец из «Комсомольской правды»:

— Пришла скорбная весть. Скончался Таль. Через четверть часа номер подписывается к печати. Пожалуйста, несколько слов о вашем старом товарище. На размышления — минута. На передачу — три. Готовы?

— Будет трудно за три минуты...

— Можно тезисами. Диктуйте, записываю.

— Сверходаренность Михаила Талья проявлялась не только в шахматах. Ему легко давались языки, он хорошо знал русскую, английскую, немецкую литературу. А память... В дни международных турниров приходилось видеть, как он, прибегая к записям и импровизируя, предавал в Москву комментарии к партиям, держа в уме ходы — от первого до последнего. От такого ума было горе не только в грибоедовские времена... Миша повидал много радостей, но и бед достаточно. Один раз не разрешили выехать на международный турнир. Потом долго отказывали в праве сыграть отборочный матч к первенству мира. Его выпустили с зубовным скрежетом, после того как назрел крупный скандал... В трудные дни Миша работал зло. Понимал, что только труд, только ум, только от века данное терпение помогут ему. В ряд главнейших талантов Талья я поставил бы унаследованную от еврейских предков жизнестойкость, способность преодолевать беды и несправедливости без стенаний и жалоб на немилосердную судьбу. Этому искусству полезно учиться всем. Во все времена. В наше же время — особенно. И еще...

— У нас осталось несколько секунд, — предупредил Швец.

— Последний абзац. Шахматы неподвластны анкетному отбору и идеологическим взнуздываниям. Еще никто не становился чемпионом благодаря происхождению, связям или искусству подлаживаться и угождать. Шахматы — от королей до пешек — на все это плюют. У них свои законы. Они не позволяют чернопольным офицерам жульнически ходить по белым клеткам, а пехотинцам отступать. Здесь честь — по уму и трудолюбию. Поэтому среди евреев так много...

— Все, — выдохнул Швец. — Спасибо. Бегу на машинку.

...Я положил трубку и мысленно вернулся к только что произнесенному.

Еврейская жизнестойкость... Способность преодолевать превратности судьбы... Держаться и не падать духом... Искусство, полезное всем, во все времена... Нам в наше время — особенно...

То, о чем сказал я за несколько минут, вынырнуло из глубин памяти не случайно. Это жило во мне, заставляло то делать торопливые, трудно разбираемые ночные записи в дневнике, а то исписывать целые страницы воспоминаниями... «Их» опыт невзгод исчисляется тысячелетиями. «Наш» — куда скромнее. Они умудрены, выносливы, жестоковыжны и трудолюбивы. И не так легковверны. Их врожденное критическое отношение к любой действительности, в том числе и такой непорочной, как наша, именовалось зловредным на кухонном уровне и опасным для государства — на уровне кремлевском. Их подозревали, их подзуживали и затирали...

...Записал на память беседу с Геней. Пришел час дневных известий, включил телевизор. И сразу же оказался в глубине митинга под кумачовыми знаменами. Прямо на меня — лоб в лоб — вышел человек с одутловатым лицом и горящими глазами. Камера показала ряд орденских колодок на поношенном

пиджаке, заскользила вверх. Демонстрант держал в руках плакат: «Спасем Россию от евреев!».

Показалось, что завибрировали стены дома. Надо мной живут евреи. Он знаток итальянского языка. Она — английского. Когда они читают такие плакаты, им становится плохо. Они перестают работать. Они думают только об одном: как уехать.

А вечером звонит старый товарищ-журналист, приглашающий на прощальный ужин. На следующий день встречаемся. Не виделись года три. Он постарел на десять. Глубокой старушкой выглядит шестидесятилетняя супруга. Они берут с собой двух детей, трех внуков и мать жены, прикованную к инвалидной коляске. Какой же непреодолимой должна быть сила, вытолкнувшая их, заставившая двинуться в таком составе в изнурительный путь!

Прощай, умытая Россия!

Что значит «умыть»? То же самое, что и «обуть»

(По В. Далю)

Большая страна имеет в недрах запасы многовекового благоденствия.

Крохотная не имеет «под собой» ни нефти, ни газа, ни алмазов.

Большая запрещала верить в Бога и возвела в идолы Карла Маркса, ненавидевшего русских (не он ли призывал к беспощадному терроризму против славян?), и Владимира Ленина, чьими приказами были уничтожены тысячи священников и разрушено бесчисленное множество церквей. Держава скатилась в разряд бедствующих стран с непомерными долгами словно для того, чтобы показать миру удел отвернувшихся от Творца.

Я объездил Россию из конца в конец. А за две поездки в Израиль — лишь меньше его половины. Но именно здесь, у берегов Мертвого моря, чаще всего вспоминал некрасовские строки:

Воля и труд человека
Дивные дива творят.

Крохотная страна превратилась, несмотря на войны и колоссальную плату за безопасность, в быстро развивающееся государство. Уровни жизни не-со-по-ста-ви-мы!

* * *

За полтора года из Москвы на родину предков выехало больше евреев, чем их насчитывалось сто лет назад (по переписи 1901 года в Первопрестольной обитало 4879 потомков Моисеевых).

Уезжают честолюбивые физики и инфантильные лирики, безработные металлурги и орденоносные драматурги, многомудрые журналисты и неприкаянные кагебисты, левые крайние марксисты и правые крайние футболисты. Повидал много горьких расставаний, когда спазм в горле мешал отчетливо произнести последнее «прощай!».

Валерий Дранников, журналист разнообразных дарований, являет изумленному кругу друзей поэтический дар. Провожая сородичей сочиняет песню на мотив давно знакомых «Дроздов»:

Вы слышали, как поют жида,
Нет, не те, под флагом бело-синим...
Как поют советские жида,
Бедные изгнанники России?

Вот они расселись по местам,
До прощанья несколько мгновений,
И слеза, печальна и чиста,
Льется по тебе, страна гонений.

И летят картавые слова
Про опавший лист и про березу,
Про родные трели соловья,
Чудные, как утренние росы.

Льются, льются слезы из очей,
А в душе звучат раскаты грома,
И забыты все дела врачей,
И забыты пункты и погромы.

В дальний путь до голубой звезды
«Боинг» полетит, настанет время...
А пока в порту поют жида...
Так зовут на родине евреев.

Кому стало лучше и кому — хуже?

В годы молодые, да и не очень молодые, было у меня несколько спортивных увлечений. Участвовал в соревнованиях, случалось, занимал неплохие места.

Когда же настала пора по-новому ценить время, побежавшее вперед с непредугаданной скоростью, от турниров отказался. Пришли невинные, казалось, пристрастия: лыжи и велосипед.

Особенно много разнообразия внес в жизнь велосипед. Новое появилось хобби. Ломать ноги.

Первый раз это случилось в семьдесят пятом. Я не убежден, что пьяный водитель грузовика был повинен в происшествии больше, чем я. Забыл о законе: чем быстрее передвигаешься по грешной земле, тем больше у тебя шансов встретиться с неприятностью, оказаться выбитым из седла...

Был перелом шейки левого бедра. Предстояла операция, которая на языке хирургов носит название тяжелой.

Профессор — хирург Владимир Юльевич Голяховский казался человеком милейшим до той минуты, пока не произнес:

— Операция назначена на послезавтра, четверг, побрейтесь, внутренне подготовьтесь. Будет общий наркоз.

— Профессор, — попросил я, — если можно, не в четверг. Это не мой день.

— Что значит, не ваш день?

— В четверг я на спаде в физическом и эмоциональном цикле. И если вы работаете в субботу...

— Первый раз слышу. Выдумки какие-то. Не хватает, чтобы операцию делали не тогда, когда это удобно хирургу, а когда... Отменять ничего не будем.

Я плохо подумал о профессоре. Загрустил. Оставалась маленькая надежда переубедить доктора. Слушать доводов он не захотел. Может быть, согласится прочитать их.

Незаметно до того ленинградский журнал «Аврора» опубликовал мою статью, которая называлась «Что такое счастливый час и можно ли предвидеть его наступление?». Прежде чем написать ее, постарался познакомиться с приверженцами гипотезы биоритмов во время поездок в Японию, ФРГ, Францию, Италию и США, а главное — с разработками ленинградской исследовательницы Валентины Ивановны Шапошниковой. Это по совету Валентины Ивановны осенью 1972 года, уже после Олимпиады, когда результаты шли на спад, принял участие в малоприметных соревнованиях мастер тройного прыжка Виктор Санеев. Вышел, потому что ленинградка пообещала и прыгну, и его тренеру Акопу Керселяну... мировой рекорд. Рекорд был действительно установлен, после чего многочисленные яростные, как на подбор, оппоненты Шапошниковой скукисились, а на исследования обратили, наконец, внимание медики, спортсмены, космонавты.

Отклик на публикацию был своеобразным. Мне позвонили из двух московских библиотек:

— Не могли бы вы подарить или продать нам тот самый номер «Авроры»? Из всех экземпляров бессовестные читатели вырвали страницы с вашей статьей.

Голяховский взял «Аврору» домой. Вечером позвонил дежурной медсестре и попросил передать мне, что операцию перенес на субботу. Позже я узнал от ассистента, что он одновременно «перенес с субботы» семейный праздник.

Косточки раздробленной шейки бедра предстояло нанизать на титановый штырь с микронной точностью (месяца три спустя об операции рассказывали на всесоюзном симпозиуме, демонстрируя рентгеновские снимки «до и после»).

...Среди четырнадцати врачей, сестер и сиделок, приглашенных на товарищеский ужин в день «сожжения костылей», был только один невеселый, неразговорчивый, не похожий на себя человек — профессор Голяховский.

Когда мы развезли гостей по домам и остались одни, он сказал как-то откровенно, будто не о себе:

— Два плохих хирурга, после операций которых люди ходят утицей или становятся до конца жизни инвалидами, написали против меня письмо. Руководству Минздрава. Они понимали, что долго я их терпеть не буду, и нашли свой способ выживания.

— Я слышал отзывы о них от потерпевших. Простите, но что эти эскулапы могут вообще?

— Они — всё. Один секретарь партийного бюро, другой председатель местного комитета. Раньше не очень ладили друг с другом, а теперь... Создана комиссия, которой поручено «разобраться и доложить».

— Чего же вам тогда беспокоиться?

— Немного знаком с теми, кто вошел в комиссию. Хорошего ничего не жду.

— У меня есть одна маленькая идея. Мог бы я позвонить вам завтра?

— Конечно, но боюсь, что ни маленькая, ни большая идея не помогут. Там все схвачено крепко.

В течение ближайших суток удалось известить редакцию «Недели» о готовящемся бесчинстве:

— Мне бы хотелось помочь хорошему хирургу и поэту, члену Союза писателей.

— Почему бы не подготовить беседу с ним? Что испытывал во время операции он, что вы? Дайте слово психологии. Порассуждайте о стрессе, спутнике нашего времени. О проблемах хирургии.

Профессор отнесся к моему предложению скептически.

Удалось уговорить его, а потом разговаривать.

Сперва интервью сократил Владимир Юльевич, потом — я, слегка поджали в редакции. Послали в набор. Известили:

— Ставим в номер.

За три дня до выхода еженедельника позвонил Голяховский. Произнес чужим голосом:

— Беседу публиковать нельзя.

— Что случилось?

— Я вынужден был принять сегодня решение: уезжаю. Афишировать знакомство со мной не следует. А вам и вашей семье желаю всего самого доброго. Прощайте.

— Прощайте, дорогой друг.

Благородный человек позвонил, чтобы избавиться от неприятности не себя (интервью в такой газете только прибавило бы ему на новом месте известности). Чтобы избавиться от разных бед меня, общавшегося с «изменником».

Он оставлял свой кабинет, в котором висели портреты академика Мстислава Келдыша и балерины Майи Плисецкой с благодарственными надписями. Оставлял клинику. Квартиру в писательском доме. Друзей и учеников.

У его гонителей началась новая счастливая жизнь. Их объединенной партийно-профсоюзной клевете поверили. Их возвысили в глазах общественности. А главное, рядом не было мастера, с которым их, жалких ремесленников, волея-неволей сравнивали.

Словно подсказывая ответ на вопрос: «Кому стало хуже от того, что евреи уезжают?», судьба подкинула мне вторую велосипедную каверзу. Случилось это через одиннадцать лет, апрельским днем восемьдесят шестого, когда на отдаленную аллею Измайловского парка вылетела мчавшаяся наперегонки свора рокеров. Был перелом шейки теперь уже правого бедра. Врач «скорой помощи», напоминавшая пиковую даму предпенсионного возраста, поинтересовалась первым делом, какими привилегиями я обладаю. Признался бесхитростно: «Никакими». Она назвала шоферу ту самую больницу, в которой когда-то делал операцию профессор Голяховский, и в которой сегодня... Мне стало еще хуже, когда я представил, в чьи руки могу попасть. Став противным самому себе, проблеял:

— Я... это самое... в некотором роде, писатель.

— Сами себя считаете писателем или являетесь членом Союза писателей?

— Являюсь членом Союза.

В голове ее что-то заработало, показалось даже, что послышался скрип шестеренок. Приказала шоферу.

— Поворачивай! Не туда едем.

И дала новый адрес.

В этой больнице делал операцию сокурсник Голяховского, тоже ставший с годами профессором. Только все ему в этой жизни давалось легче, не таким потом и кровью, как врачу-еврею. Я не питаю к нему неприязни, тем более зла. Он делал только то, что мог делать. И хотя операция была менее сложной, чем та, одиннадцатилетней давности, профессор вбил шестнадцатисантиметровый гвоздь не так и не туда, куда надо было. Мне принесли извинения.

Ногу пришлось ломать, и все начинать снова.

В результате я ковлял на костылях не два месяца, как «после Голяховского», а пять.

Сам же Голяховский, переехав в Америке экзамен, получил новый диплом врача и открыл под Нью-Йорком свою клинику.

Вот и весь сказ о том — кому стало лучше и кому — хуже.

Ч. П.?

А несколько тысяч коллег Владимира Юльевича оказались в Израиле.

Манила земля далеких предков. Отторгала земля отцов, с которой сродни-ла извечная, присущая более, чем другим нациям, способность к приспособлению и выживанию, земля раздольная, населенная народом доверчивым и наивным, который советская власть отучила перегибаться. Зато научила пить. О настоящей конкуренции, борьбе за выживание здесь знали понаслышке; человеку сообразительному, умеющему выкладываться и к тому же сохранять трезвую голову, как и трезвый взгляд, было не так уж и сложно заявить о себе.

«О, если бы мы, русские, научились так поддерживать друг друга и возвышать друг друга, как это делают евреи, у нас была бы совсем другая жизнь. От нас бы не бежали, к нам бы стремились», — сказала на одном писательском собрании немало лет назад прозаик Лилия Беляева⁹. На нее зашикали. Ее

⁹ Вспоминаю осень 1961 года. В Баку близится к концу чемпионат СССР по шахматам. Лидирует Борис Спасский. На очко отстает Лев Полугаевский. Если выиграет отложенную партию, сможет догнать. Я приехал на турнир спецкором и, естественно, хочу узнать, насколько велики его шансы. Лев приглашает зайти после полуночи. Застаю молчаливую, погруженную в многотрудную аналитическую работу компанию: гроссмейстеры Таль, Бронштейн, Тайманов и бакинский мастер Листергатен. Со всеми знаком не первый год, приглашают присесть. Идет лаконичный обмен мнениями: «А если на шестом ходу конь-эф три? Тогда последует ферзь це-четыре, вынуждая размен. А если отступить ладьей? Тогда возможна жертва пешки с прорывом. А если? Тогда...».

Надо отыскать двадцать, а может быть и больше единственных ходов, которые приведут к ладейному эндшпилю с лишней пешкой; маленькая, но все же надежда на выигрыш.

У гроссмейстеров, анализирующих Левину позицию, свои турнирные заботы. Хороший сон не помешал бы. Но они сидят до двух, до трех, до половины четвертого ночи. Только ли запутанная отложенная позиция собрала их? Только ли профессиональный возник интерес?

В соседнем номере Борис Спасский в одиночку корпит над своей отложенной партией.

перебили. Не понравилось русским: «Товарища Беляеву надо осудить... так принижать одну нацию и незаслуженно возвышать другую... вы что, действительно убеждены в том, что мы хуже евреев?». «Я этого не говорила», — вскипела бедная Беляева. «Если не говорили, то подразумевали», — раздалось в ответ. Не понравилось высказывание темпераментной писательницы и евреям: «Только и слышишь кругом: евреи все делают по родственному благу. Вам, Лилия Ивановна, эти обывательские разговоры не надоели, неужели вы верите в эту чепуху?». «Конечно, верю», — спокойно отвечала та.

* * *

Популярная мотивировка отъезда: портили жизнь антисемиты. Но они портили жизнь и своим соплеменниками, как и вообще всем вокруг. Как тот неумолкаемый оратор из Государственной Думы, который демонстративно развалился в кресле, чтобы не почтить вставанием память шести миллионов жертв Холокоста. Изумленная публика задается вопросом: это за какие заслуги обласкивают его, награждая званием заслуженного юриста (будто он выиграл хоть один процесс), за какие заслуги присваивают ему звание полковника (будто он не штаны протирает в Думе, а ведет победоносное сражение где-нибудь в Чечне).

Юдофобией еврея оскорбишь, но не удивишь. Даже в большой беде может быть что-то и от счастья. Сказал Илья Эренбург: «Начните притеснять рыжих где только и как только можно... сменится несколько поколений, и рыжие окажутся самыми жизнестойкими представителями рода человеческого».

...До дефолта, обесценившего в августе 1998 года рубль, были потери не менее трагичные: обесценивались надежды, обещания, реформы. Да и вся страна стала по-особому котироваться в мире. Радостно ли жить в такой стране, где кормила превращены в кормушки, а тебя обдирают, как липку? За счет облапошенного населения реформаторы набивали мощну, обзаводились дачам-дворцами, «мерседесами», личной охраной. Прощай, Россия, не поминай лихом!

В краю обетованном возникнут проблемы особого рода: локоть ближнего реже станет локтем друга, но чаще — конкурента, мечтающего отпихнуть тебя как можно дальше.

В 1994 году, когда я впервые приехал в Израиль, друзья принесли мне кипы местных русских газет, и все они рассказывали — кто с горечью, кто с негодованием — об одном чрезвычайном происшествии. Для пересдачи экзаменов на право получить израильский диплом съехались несколько сот бывших советских терапевтов, кардиологов, хирургов, невропатологов. Все шло своим чередом: новые абитуриенты отвечали гораздо лучше, чем этого хотели, чем могли представить суровые экзаменаторы. И вдруг произошло нечто, чего не выдержали нервы самых закаленных невропатологов: у одного из соискателей обнаружили шпаргалку. Вердикт экзаменаторов был вынесен незамедлительно; испытания прекратили и дипломы (к великой радости уже устроившихся врачей) не выдали никому. Журналистам объяснили: паршивая овца все стадо может испортить. Было много горя и слез, протесты не помогли. Уезжающий, будь готов и к таким оборотам! Не удивись, если на тебя и здесь будут смотреть как на представителя не самой престижной категории. Любовь к земле предков священна. Но ее недостаточно для лучезарных надежд. Выросший в безбожной стране, ты не успел впитать в себя все, что с молодых ногтей впитывает в себя

еврей израильский. Из письма моей милой университетской подруги Тамары Митник, датированного апрелем 2001 года: «Мы севой переживаем за внуков. Эти молодцы не желают изучать русский, говорят: кому он теперь нужен? Упрямо осваивают иврит и компьютеры. Все свободное время отдают футболу. Одна надежда: вырастут — поумнеют. Да только боимся: не будет ли поздно?»

Языковая проблема — действительно одна из серьезнейших. Да только евреи — отчаянные мужики.

Две купели Льва Бородулина

В Монреале на порог дома, где живут советские журналисты, гости Олимпиады-76, не положен, а демонстративно выброшен букет алых роз. Нет предела возмущению Анатолия Софронова, редактора «Огонька»:

— Вы подумайте, какую провокацию собрался совершить Лев Бородулин в мое отсутствие! Пытался всучить цветы Эвелине. Хорошо, что жена отказалась принять. А он, вместо того чтобы забрать, оставил их на столе. Люди видели, что могли подумать? Что я поддерживаю дружеские отношения со своим бывшим фотокорреспондентом? Или он не понимал, как подставил меня, уехав в Израиль? А теперь, замаливая грех, принес эти розы. Но я как только вернулся, взял и выбросил их... И это тоже видели люди. Пусть расскажут перебежчику, как отнеслись к его «подарку».

Будто не ведал Софронов, какая это честная и наивная душа — Бородулин. Поверить, что замыслил сотворить зло человек, с лица которого не сходила застенчивая улыбка, мог только тот, кто сам привык жить двумя жизнями и строить козни с высоким профессионализмом.

Сколько помню Льва Бородулина, все его бытие состояло из чередований радостей и печалей. Познакомились мы за шестнадцать лет до Монреаля, на Олимпийских играх 1960 года в Риме. В один из более или менее свободных дней укатили в Неаполь. По дороге к Везувиям был небольшой привал. Лева купил две многоцветные ручки. Заплатил продавцу десять тысяч лир (это были немалые деньги), а сдачу получил с тысячи. Лишь когда немного отъехали, обнаружил обман. Тихо известил о нем соседа, а тот громко — весь автобус. Тертые советские граждане (не хватало еще, чтобы нас и за границей надували!) попросили водителя повернуть назад. Лишь один замшелый обозреватель, радовавшийся чужим бедам не меньше, чем своим радостям, изрек:

— Если будем возвращаться из-за каждого пустяка, до Везувия доплетемся вечером. Господин переводчик, передайте шоферу: «вперед!».

Все еще больше возненавидели обозревателя, которого знали в журналистских кругах как редкого жмота. Поэтому дружно запротестовали против его приказа. Лишь один пассажир поддержал мизантропа: сам Бородулин. Ему не хотелось омрачать настроение даже такого дерьмового человека.

И все же он его омрачил, да еще как!

Когда вернулись в Рим, оказалось, что без нас разыгрывали журналистскую лотерею. И на аккредитационное удостоверение Бородулина выпал самый дорогой выигрыш — ультрасовременная машинка «Оливетти». Обозреватель (его номер был рядом) спал с лица и, утешая себя, пробурчал: «Обыкновенное еврейское счастье», — вкладывая в эти три слова неожиданно новый смысл.

В тот же вечер Лева разыскал старого приятеля Владимира Откаленко из «Красной звезды» и сказал ему:

— Тебе, пишущему, машинка нужна больше, чем мне, снимающему, бери ее на память.

Володю не пришлось долго уламывать. Я встретил их за полночь в баре Дома прессы. Оба были счастливы и пригласили меня разделить с ними счастье.

Но не долго радовался жизни Бородулин. Прошло еще 24 часа, и до Рима долетели отголоски того, как оценили дома в высших партийных кругах его снимки на обложке «Огонька». В номере, который посвящался началу Олимпиады.

Фотография изображала двух прыгуней в воду. Стройных, легких, изящных, как ласточки. Их прелести были видны невооруженным глазом. Но если вооружиться обостренным коммунистическим учением о прекрасном и опять же коммунистическими взглядами на порочное...

Обложка привлекла внимание одного из самых замечательных жизнелюбов, каких только знали история ВКП(б) и история КПСС, главного идеолога партии Михаила Суслова. Чем дольше глядел он на полуобнаженных бесстыдниц, тем больше мрачнел взор. В конце концов нажал на кнопку, пригласил к себе двух товарищей, отвечающих за прессу, и так глянул на них, что у седоволосых, много повидавших на веку выдвиненцев застучало в висках. Протянул им журнал, но прежде чем высказать свое мнение, решил (так было принято) выслушать «других товарищей»:

— Как по-вашему, кому нужны летающие жопы на снимке, как его, Бородулина?

Я живо представляю себе эту сцену. Всем своим видом показывают приглашенные, что данные летающие задницы никому не нужны, и высказывают предположение, что редактор Софронов не проявил чувства ответственности.

— Скажите, пожалуйста, чему могут научить нашу советскую молодежь такие безнравственные кадры?

Еще громче стучат молоточки в висках. Какие кадры имеет в виду Суслов, уже поломавший столько жизней? А если не только фо-то-графические? Но и кадры партийные? Какую большую неприятность может сотворить мастер всяческих интриг из неприятности малой? Не коснется ли она и их, преданно глядящих в блеклые, скучные глаза блюстителя партийной непорочности?

— Ничему хорошему научить не могут, Михаил Андреевич, — чуть не хором отвечают оба и еще лучистее, еще преданнее глядят в очи хозяина. — Надо будет вразумить Софронова, да и фотографа проучить. «Огонек», небось, не «Плейбой».

— Я сам поговорю с Софроновым, а вы побеспокойтесь, пожалуйста, чтобы подобного рода скабрзости больше не проникали в прессу, сделайте соответствующие выводы.

— Можете не сомневаться, Михаил Андреевич, выводы будут сделаны, и самые серьезные.

Как поступил Анатолий Владимирович Софронов после нагоняя от Суслова? Он поступил благородно. Разыскал по телефону Бородулина и сказал ему в конце разговора:

— Намотай на ус. Слишком близко к сердцу не принимай и работай спокойно.

Те слова и запомнил Лева. Как и то хорошее, что сделал для него и многих других сотрудников «Огонька» Софронов. Вот почему шестнадцать лет спустя, став гражданином другого государства, он принес бывшему редактору своему и его миловидной супруге букет пышных роз.

Но Анатолий Владимирович был уже другим человеком. Куда более опасливым. Потому-то и выбросил розы за порог. Демонстративно и бесстыдно. Я аккуратно собрал их и поставил в вазу не общей кухне.

— Вас никто не просил этого делать, — сказал без ласки Софронов. Но цветы не тронул. И простояли они до самого конца Олимпиады.

Ну а тогда, в шестидесятом, в Риме...

Уже на следующий день после того, как мы с Левой и Володей расстались в баре Дома прессы, из Москвы пришло известие о том, что **другая** фотография Бородулина взяла приз на международном конкурсе.

Как героя известной сказки, Леву закалили купания то в ледяной, то в кипящей воде. Потому-то он без труда адаптировался к новой жизни, стал известным в Израиле фотографом, победителем множества конкурсов. В начале девяностых годов «Огонек», извиняясь за все прегрешения перед Бородулиным, опубликовал серию его действительно замечательных работ.

В январе 1998 года Лева побывал у меня в гостях. Нам было что вспомнить и за что выпить. Когда же зашла речь о том самом сакраментальном снимке на обложке «Огонька», Лева по обыкновению смущенно улыбнулся и молвил:

— Сулов сделал фотографии рекламу, лучше не придумает. «Летающие жопы» были выставлены недавно на международный аукцион. И проданы за две с половиной тысячи долларов.

У нас появился повод выпить еще по одной рюмке. За то, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не вешать носа.

Судьба полковника милиции

Осенним вечером 1990 года мы с журналистом Аркадием Галинским провожали в Израиль давнего товарища, полковника милиции Виталия Герштейна.

Аркадий — публицист высокого класса. Думаю, не ошибусь: никто не писал о проблемах и язвах родимого футбола так честно и смело, как он. Прорабатывали на собраниях, объявляли взыскания, снимали с работы, а он продолжал гнуть свою линию. Отваги не занимать — фронтовик. Орденов и медалей хватило бы на грудь, да не носил их, и о боевых подвигах своих не вспоминал никогда. Считал, и не без оснований, что скромность — лучшее украшение мужчины.

Виталий же полагал, что скромность — кратчайший путь к безвестности, и не считал зазорным рассказывать о встречах с врагом через много лет после войны. Он с ранних офицерских погон отвечал за безопасность полетов. Террорист, проникший на борт самолета вместе с другими, ничего не подозревающими пассажирами... Этого врага не сразу определишь. Определить офицера безопасности было куда легче: замечательные существовали правила.

Рассказывал:

— Среди моего начальства немало мудрецов. Втолковываю им: хоть я и переодет в штатское, меня любой, даже начинающий террорист высчитает в два счета. Во-первых, на всех рейсах нам дают одно и то же место — в последнем

ряду салона, у прохода. Во-вторых, меня иногда обходят, когда раздают завтраки или обеды. А еще был приказ: если среди пассажиров объявится угонщик, ни за что не дать ему изменить маршрут. Значит, я обязан выхватить из-под мышки пистолет и стрелять, стрелять. Поймут террористы, что мы не слюнтяи, один самолет взорвут, погибнут сами, второй взорвут, погибнут тоже, охота отпадет.

— Не вспомнил ли ты Некрасова: «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе»? — поинтересовался Галинский.

— Ему-то придется, а пассажирам, а мне? Хотя с годами и отменили приказ, по-настоящему бороться с терроризмом на транспорте не научились.

Провидческие слова произнес Герштейн.

Но была в мире страна — Израиль — с лучшей в мире разведкой, имевшей опыт. Опыт оказался не востребуемым — ни нашими ослабелыми службами безопасности, ни самонадеянными американскими.

Сентябрьские взрывы 1999 года в Москве и 2001 года над Нью-Йорком и Вашингтоном (еще вспомню о них) подтверждали эту горькую — горше не бывает — истину.

А служба безопасности Израйла сыграла свою роль в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Спецподразделения Израйла смогли обезвредить угонщиков и спасти жизни многих пассажиров самолета, летевшего из СССР. Видя слезы радости на глазах освобожденных заложников, кто из нас не шептал благодарно: «Будем помнить... обязаны помнить»...

* * *

Прошло (пронеслось... промчалось...) одиннадцать лет. На календаре 31 июля 2001 года. Виталий у меня в гостях. Вспоминаем добрым словом Аркадия Галинского, ушедшего из жизни: то ли война достала, то ли продажные и боязливые чиновники, перекрывавшие ему пути на телевидение и в газеты, свою привычную сыграли роль.

И вдруг происходит нечто, возвращающее нас из грустного прошлого в безрадостную действительность.

На беззвучном телевизоре появляется картинка: пассажирский автобус, захваченный на Северном Кавказе террористом. Включаем звук. Возникает новая тема для короткого обмена репликами.

— И ваш, и наш бич, — говорит Виталий.

— Посмотри, сколько генералов съехалось. Что бы ты делал на их месте? Как обезвредить бандита и спасти заложников?

И тут мой гость говорит как бы между прочим:

— Много лет назад, когда я был еще подполковником, мне поручили написать инструкцию, которая отвечает на твой вопрос.

— О ней давно забыли?

— Нет, ею пользуются и сегодня.

— Скажи, ты не преувеличиваешь малость?

— А зачем мне это делать?

— Значит, надо прежде всего...

— Начать неторопливые переговоры. Потянуть время. И за эти часы разыскать близких родственников террориста. Подключить их к переговорам. И

одновременно составить психологический портрет безумца. Погляди, выступает генерал Зданович. Он должен первым делом заявить, что силовые меры предприниматься не будут. Надо, чтобы эти слова дошли до террориста. Все правильно, так и говорит. Вот это да! Успели разыскать и привезти мать преступника. Ее слова повисают в воздухе. Похоже, что угроза взрыва автобуса — не просто угроза. Хорошо, если бы пассажиры, ссылаясь на сильную жару, открыли окна автобуса или просто выбили стекла. Молодцы, догадались. Вот он, бандит с гранатой в руке. Самонадеянно вышел погулять... В него надо стрелять так, чтобы он упал на гранату и прикрыл ее своим телом.

Слышен шелчок. Бандит падает. Животом на гранату.

Крупным планом показывают растерянные, счастливые лица освобожденных пассажиров. Среди них немало детей.

— Скажи, Виталий, негодились ли твои специфические знания и опыт в Израиле?

— Я думал, что пригодятся. Но оказалось, что я никому не нужен. Мне шел шестьдесят второй год. И этим сказано все. Там исключений из правил не признают.

— Ну, и как сложилась жизнь?

— Моя дочь Слава начала изучать иврит еще в Москве. Продолжила с особым усердием в Тель-Авиве, сдала экзамены на высший балл, пошла э... э... по моим стопам, только в полицию, а не в милицию. Там сделала быстрые шаги, работая в следственном управлении, достигла звания майора. Ее супруг после нескольких лет безуспешного поиска работы был в конце концов приглашен в американскую компанию, производящую сердечные клапаны, выдвинулся. Они подарили мне трех внуков. Говорят, мы входим в один процент наиболее благополучных переселенцев.

— И все же... Не скучаешь ли? Чем занимаешься?

— Лучше расскажу, чем пытался заниматься на первых порах. Создал партию, скорее, подобие партии — «Алия». Вошло в нее поначалу человек пятьдесят. Но тут любопытную обнаружил закономерность. Тот, кто раньше работал в СССР санитаром, называл себя фельдшером, а кто фельдшером — назвал врачом, счетовод именовался бухгалтером, а бухгалтер — старшим экономистом. И все, как один, были борцами за свободу слова и демократию.

Виталий многозначительно замолк, как бы выясняя, интересно ли мне узнать, что это такое свобода слова по-израильски. Заметил:

— Когда этой свободы мало — плохо. Но когда ее много... слишком много...

— Знаешь, после реформы 1861 года, когда отменили крепостное право, года через три, один смешливый поэт, кажется, это был Василий Курочкин, написал:

Эпоха гласности настала,
Везде прогресс, а между тем,
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.

— Это не про нас. Слишком много было рассуждающих. Все были переполнены идеями, иногда интересными, но чаще всего — бредовыми. Послушал бы — понял, что такое кагал. У каждого Абрама — своя программа.

— Ну, и надолго ли хватило твоего терпения?

— Нет, ненадолго. Я партию распустил. Некоторые ее наиболее мудрые члены вступили в партию Щаранского, возвысились, стали депутатами кнессета. Я же занялся благотворительной деятельностью. Помогаю, как могу, если правду сказать, — советами, больше советами — своим землякам. Меня благодарят, и это придает силы.

* * *

Через сорок дней, в трагический вторник 11 сентября, когда после налетов террористов на Америку от ужаса содрогнулся мир, я позвонил Виталию Герштейну домой. Возникло неодолимое желание узнать, что думает о возможном развитии событий офицер, вся жизнь которого была отдана борьбе с террористами? Как восприняли страшное известие в Тель-Авиве? Верит ли он, что впереди третья мировая война, которую, якобы, напроорочил автор «Столетий» Нострадамус: «Всемирная битва начнется осенью, когда Король ужаса ударит с неба и разорвет на части двух братьев-близнецов»?

Телефон Виталия не отвечал.

Израильтяне, как и мы, лучше американцев знающие, какую угрозу миру несет терроризм, замерли в тревожном неведении.

Разве в такой вечер усидишь дома?

Давиды и Соломон

В восьмидесятом году позвонил сотрудник постоянного представительства Грузии в Москве Ираклий Сакварелидзе:

— Мне задали работенку — переводить документы группы веселых ребят из Рачи, чуть не все село подалось в Израиль. Они получили один закодированный сигнал. Если любопытно, приходи.

Еще на дальних подступах к постпредству увидел большую группу старых и молодых переселенцев, полных достоинства, готовых ждать документов, если понадобится, до окончания века. Сакварелидзе познакомил с их упломоченными, независимо раскуривавшими в его кабинете американские сигареты:

— Пока я пойду диктовать машинистке, поговори с молодцами.

В кабинете сидели и впрямь молодцы. Похожие на атлетов полутяжелой категории. И стáтью, и натруженными руками они мало напоминали потомков Моисея. Трех звали Давидами, это были электромеханик, тракторист и «просто колхозник», а одного — с ушами «морская капуста», выдававшими борца, — Соломоном. Нетрудно было заключить, что именно он, в недавнем прошлом бригадир, является в компании верховодом.

Разговор шел на грузинском, и этикет был соблюден грузинский: «Ну, как вы поживаете? Надеюсь, что имеете счастье пребывать в благополучии», — только после этого и позволялось спросить о закодированном послании.

— В самом письме были приветы и пожелания родным и близким, — заметил Соломон, — а в конце приписали: «У нас, с помощью Бога, все в порядке, чего и вам желаем, присылаем на память то, что обещали». Мы условились: как только устроятся на новом месте, сфотографируются, и если все идет ничего, кто-нибудь покажет большой палец. А если хорошо идет, нам покажут два больших пальца. Посмотрите, что прислали.

Соломон открыл кейс и вынул снимок, на котором было изображено человек двадцать пять. И все они, за исключением двух старцев, чинно восседавших в центре, показывали большие пальцы. На лицах было написано шальное озорство.

— Мы показали односельчанам это приглашение, проголосовали и двинулись в путь.

— А что, знаменитые рачинские повара, они тоже?..

— Все мы немного повара, — ответил электромеханик Давид, — а те настоящие мастера, которые уехали, уже успели открыть там два грузинских ресторана.

Мне взгрустнулось. В Рачинском районе жили лучшие в Грузии, а это значит (поспорит ли кто-нибудь со мной?) и в мире кулинары. Когда-то на них держались фирменные рестораны не только Тбилиси, но и Москвы, Петербурга, Харькова. Трудно было предвидеть в те дни, что придет пора, когда у Грузии надобность в поварах отпадет, ибо повседневным кушаньем станут блюда, напоминающие «меню» еврейского седера в ночь Песаха: карпас — кусочек лукавицы или очищенной вареной картофелины и хазарет — тертый хрен и салат. Грузия бедствует и голодает... Как сообщает Министерство здравоохранения, забыв за годы независимого существования о вкусной, но нездоровой пище, граждане республики стали стройнее, подтянутее, и то, что каждый из них в среднем потерял в весе восемь килограммов, не такая уж большая беда. Не избывает, к счастью, не избывает извечный грузинский оптимизм! Ну да ладно... Может быть, в конце концов, обойдется. Только когда, при жизни какого по счету поколения? Не слишком ли дорогой ценой заплачено за то, что принято называть независимостью?

...Через несколько лет после того, как рачинские переселенцы приехали из земли необетованной на родину предков, роль «писательского шефа морского флота» привела меня в Суэц.

Теплоход «Белоруссия» шел вдоль берега, хранившего советские следы израильско-арабской войны: обгоревшие танки, самоходки, перевернутые грузовики... Привычка совать свой не единожды битый нос в чужие дела не исчезла. В те же дни горели наши танки и самоходки примерно на той же параллели — в Афганистане. Чем порочная внешняя политика обернулась для политики внутренней? Чем обернется еще?

Он невеселых мыслей отвлек пассажирский помощник:

— Не хотите посмотреть, как живет соотечественникам в Израиле? В кюмпании настроились на тель-авивскую программу.

Я спустился вниз и увидел на экране... старого знакомого, электромеханика Давида. Только теперь это был не улыбчивый колхозник, а дышащий гневом портовый израильский рабочий. Его окружала группа таких же озабоченных молодых людей. Давид говорил по-грузински, толмач переводил его речь на иврит, один звуковой ряд накладывался на другой, грузинский различался едва-едва, но все же можно было что-то понять.

— Нас пригласили и обманули. Сказали, что помогут построить дома, получить работу. В Советском Союзе нам давали квартиры бесплатно. Здесь, чтобы получить крышу над головой, надо ишачить десять, а то и больше лет. А что с

работой? Мы что, хуже, чем здешние? А почему нам платят меньше? Почему дают самую грязную работу? Мы долго терпели и решили, в конце концов, бастовать. Да, мы, грузинские еврей-портовики, стали первыми забастовщиками среди репатриантов, Многие жалеют, что приехали, хотя обратно в Грузию. Те, кто вернутся, расскажут, что это такое израильский рай. Он ничуть не лучше колхозного ада. По крайней мере, в Грузии жили дружно, а здесь каждый — для себя. Как можно так жить?

И тут оратор-забастовщик произнес фразу философской глубины:

— Хорошо там, где нас нет. Или где нас мало. Где мы поддерживаем, а не топим друг друга.

Толмач с подчеркнутым равнодушием переводил «по-рабочему прямой» пассаж.

Глобальной значимости мысль! Разве нельзя сказать то же о нас: «Там хорошо, где нас мало, а где много — в Афганистане, Анголе, Эфиопии и др. и др., где пулей насаждался человеколюбивый марксизм, хреннее и не придумаешь!».

Проходит еще несколько лет, и в начале мая 1993 года телеграфные агентства передают сообщения о беспрецедентной демонстрации иммигрантов из бывшего СССР в Иерусалиме.

«В ней приняла участие 12 тысяч (по другим сообщениям — 15 тысяч) человек. Участники митинга выразили резкий протест против невнимания израильского правительства к решению проблем, стоящих перед иммигрантами, в первую очередь проблем трудоустройства и жилья».

В прессе появляется высказывание бывшего советского диссидента Натана Щаранского. В беседе с корреспондентом израильского телевидения он с болью говорит о том, что каждый второй ребенок и каждый второй престарелый живут в Израиле ниже уровня бедности, Десятки тысяч семей не имеют никаких шансов купить или снять квартиру, семьдесят пять процентов реэмигрантов не работают по специальности.

В те же дни радио «Свобода» доносит голос моего многолетнего шахматного партнера Рафаила Бахтамова, которого я помню как въедливого экономического обозревателя. Поменял профессию и он. Поменял счастливо. Умница не пропадает нигде. Стал Рафаил таким же въедливым политическим обозревателем. И достается от него израильскому правительству по первое число. Он говорит о пренебрежительном отношении израильских властей к репатриантам (слова «им наплевать на нужды сотен тысяч своих новых сограждан» произносит со смаком, но как всегда, спокойно)... «Терпение раздробленных, терзавшихся противоречиями многочисленных союзов и объединений выходцев из бывшего СССР когда-то должно было подойти к концу... оно и подошло... Давно надо было собраться вместе, давно сообща заявить во весь голос о своих требованиях»...

Представил, что стало бы с редактором «Бакинского рабочего»¹⁰, если бы обозреватель Рафаил Бахтамов попробовал написать в подобном стиле о бывшем своем родном правительстве, обворовывавшем, как только могло, нефтяни-

¹⁰ Между прочим, мой давний товарищ Михаил Окулов тоже в Израиле. За такой прелестной женой, как у него, можно было вообще на край света.

ков. (Даже в лучшие советские годы Азербайджан получал за свою нефть не более четырех процентов от того, что она стоила... в то же время наши газеты с гневом писали о том, как прожорливые империалистические акулы объедают несчастных трудящихся Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и прочих нефтдобывающих стран, платя им за бесценные подземные сокровища «лишь пятьдесят жалких процентов».)

Эти сведения всезнайка Бахтамов крепко держал при себе и лишь изредка, в перерывах между шахматными партиями, спрашивал: «А знаете ли вы?..». При этом в его глазах, увеличенных очками немислимых диоптрий, вспыхивал азартный огонек.

Я бы очень хотел узнать, как живется, дышится и работается на новом месте моим товарищам и коллегам. Кто они?

В Израиле оказались многие друзья и коллеги, знавшие свое дело и любившие его.

Журналисты Давид Гликштейн, Натан Зорин, Мануил Пейсаченко, Сава Перец, Ефим Шапиро, инженер Павел Пташка, редактор одной из первых моих книг Михаил Заверин-Вайнштейн...

Михаилу, немногословному, дотошному энциклопедисту, давали дружеский совет:

— Ну, на что тебе две фамилии, оставь первую э... э... возьми пример с гроссмейстера, не пишется же он Каспаров-Вайнштейн, материнскую сохранил фамилию, ничего зазорного в этом нет.

А Миша мысленно посылал советчиков в гости к людоедам племени «ням-ням». Моему редактору было уготовано до самой пенсии просидеть на своем протертом стуле... Прощаясь с Тбилиси, он плакал, как маленький.

Родственники купили штурмовик

До войны и после нее Юрий Гальперин летал радиоспецкором в самые интересные точки планеты. А в самые горячие ее точки летал уже не как доставщик новостей, а их создатель. О подвиге штурмовика, сражавшегося с фашистами на собственном «иле» (его купили в складчину близкие и дальние родственники Юрия), писали многие газеты. Вернулся — грудь в орденах. И все та же скромность, столь мало свойственная иным выдумщикам собственных боевых подвигов. Замечу с грустью, что мой давний друг не разрешил опубликовать эти строки при его жизни... Увы, теперь можно.

Он был писателем, автором многих запомнившихся книг. В том числе о русских летчиках, прославившихся в годы Первой мировой войны. Решительность, которая так помогала Юрию на фронте, чуть не сгубила его много лет спустя. В 1956 году спецкор Всесоюзного радио сопровождал Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е.Ворошилова в одной чрезвычайно важной поездке в Китай. К той поре «братья навек» изрядно перессорились... Кремль с нетерпением ждал, что скажет на официальном приеме Мао Цзэдун, Председатель Коммунистической партии Китая. Гальперин уже наговорил на диктофон отчет о начале встречи, осталось дополнить его самой важной частью. На столике перед Мао был установлен микрофон. Начав речь, Председа-

тель взял его в руку. Юрий побледнел: рука оратора дрожала, речь вибрировала, передача срывалась. Не растерявшись, журналист подошел к Мао, взглядом попросил извинения и, отобрав микрофон, установил его на место. Когда шел вперед, думал об одном — как выполнить задание. И лишь когда возвращался, понял: охранники Мао едва не расстреляли его.

Критик по фамилии Резник

Художник Аркадий Александрович Лурье — воспитанный человек, но сегодня в его голосе рокотал прорвавший преграду горный поток:

— Почему вы думали только о себе и не думали о художнике, который сделал к вашей «Пирамиде Солнца» четыре варианта обложки и два десятка рисунков? Почему отказались снять те жалкие полторы страницы, на которых настаивал редактор? Вы, очевидно, думаете, что ваша рукопись пошла в набор? Если вы узнаете, куда она пошла на самом деле, вы будете плохо спать ночью, это говорю вам я. Не понимаю, что вам стоило — хорошо, пусть это редакторский каприз — снять всего полторы страницы?

— Дорогой Аркадий Александрович, представьте себе художественного редактора, который потребовал бы у вас отсечь половину носа или, скажем, ухо у одного из ваших рисованных героев. И мотивировал бы это тем, что именно таким видится ему, редактору, тот персонаж. И сослался бы на очень талантливую Надю Рушеву, которая вообще не рисовала ушей, ибо была убеждена, что они «портят человека»... Как бы вы поступили?

Собеседник трудно размышлял.

— Ну ладно, — в конце концов, со вздохом произнес он, — теперь об этом поздно говорить. Роман, если честно, вряд ли выйдет. Потому что послали рукопись на рецензию товарищу Резнику. Это имя вам что-нибудь говорит? Что, заскучили небось? Вы, слышали, возможно, что его фамилия происходит от слова «резать». Думаете, неудачная шутка? Напрасно, напрасно. Вам придется подготовиться к худшему.

— Дорогой Аркадий Александрович, спасибо за совет.

Издательство долго не напоминало о себе. Наконец меня известили ледяным тоном, что получена новая рецензия (по счету она была пятая), пригласили приехать. Протянули восемь страниц и сказали, через силу изобразив нечто, отдаленно напоминающее застенчивую улыбку:

— Можете прочитать.

То была на редкость доброжелательная рецензия. Суть ее сводилась к тому, что автор имеет право на свое видение мира, что его опыт и воображение могут породить ситуации и характеры, отличные от тех, которые видятся редактору, считающему себя вправе оценивать литературные законы законами жизненными. Те три небольших замечания, которые высказал критик, возражения не вызвали: на всю работу хватило и часа.

Одним словом, книга вышла. Вышла быстро, с теми же полутора страницами, которые смутили душу редактора, и с теми рисунками, которые выполнил заметно повеселевший художник Лурье.

Правда, на последней странице стояла фамилия нового редактора, ибо прежний отказался подписывать ее «в таком виде»,

В дальнейшем выяснилось, что тот «прежний» страдает легкой формой слабоумия, но это долго не обнаруживалось по той простой причине, что авторы, имевшие с ним дело, без ссор соглашались со всеми замечаниями, чтобы, не дай Бог, книгу не переставили в план следующего года. А на профсоюзных собраниях выступал он по делу, всегда на одну и ту же тему, о том, какое счастье работать под руководством такого вдумчивого директора издательства.

Я же сохранил на годы глубокое уважение к серьезному, строгому и благожелательному критику Осипу Сергеевичу Резнику, спасшему книгу.

Письма из Таганрога

Из Таганрога пришло письмо незнакомой мне женщины Риммы Львовны Львовской... Две странички, исписанные мелким интеллигентным почерком.

«Вот уже три года я прикована к постели, оторвана от общения, от жизни, не могу трудиться. И хотя живу в семье, есть друзья, тяжело переживаю свою беду, стены дома давят на меня... Хочу вырваться, хочу работать, вечерами ходить к морю, которое видно из наших окон. Но пройти даже это небольшое расстояние не под силу. Прочитала Ваши книги. Вы пишете о людях, которые смогли перебороть большую беду, обрушившуюся на них, найти свое место в жизни.

Я, конечно, стараюсь держаться и крепиться. Так хочется верить и не терять надежду. А что Вы посоветуете мне? В чем обрести смысл жизни? Где и в чем искать выход? Буду очень признательна, если Вы найдете возможность ответить».

Так в 1985-м году началась наша переписка. Постарался настроить Римму Львовну на дело и предложил несколько тем для газеты «Таганрогская правда», которые можно было бы разрабатывать, не выходя из дому. Позвонил редактору Владимиру Андреевичу Кукушкину. Он записал адрес и телефон Львовской и обещал послать к ней сотрудницу. К счастью, оказался человеком слова.

Строки из второго письма:

«Спасибо за письмо, за внимание, за совет.

Мне постоянно снится один и тот же сон — я начала работать, я начала двигаться, стала кому-то полезной своим опытом, своими взглядами на жизнь... Если Вам не трудно, напишите, какой видите будущую рубрику, в чем должна заключаться моя работа. Искренне Ваша...»

Строки из третьего письма:

«Добрые, отзывчивые люди в «Таганрогской правде». С радостью отнеслась к их (и Вашему) предложению — ведь это выход, о котором давно мечтала. Мне приносят очерки, стихи, письма, я должна высказать свое мнение и обосновать его, написать рецензии. Одновременно работаю над темой, которая живо заинтересовала, — о взаимоотношениях в семье взрослых детей и родителей. Писем на эту тему в редакции достаточно. Постепенно втягиваюсь в работу. Многое для меня сложно, но интересно. Главное — занята делом, ухожу от своих горьких мыслей. А какую новую тему могли бы Вы мне посоветовать? О первом же моем опубликованном материале в редакции сказали: «неплохо».

Строки из четвертого письма:

«Продолжаю работать над статьей о семейном воспитании, перечитываю редакционную почту, вспоминаю случаи из жизни, знакомлюсь со специальной литературой. Сколько кругом горьких разочарований и сетований! Мы, мол,

им все отдали, а они? Растим потребителей, живущих по принципу: меньше дать, больше взять. Непостижимо, что таких детей и внуков воспитывают люди, познавшие тяготы военных и послевоенных лет, скромные, трудолюбивые. Предложили читателям анонимно ответить на анкету: «выросли ли ваши дети такими, какими вы хотели их видеть?» Половина читателей (подумать только, половина!) ответила: «нет!». Кто виноват? Готовлю статью на эту тему.

Отрывок из статьи Р.Львовской «Отец»:

«Теплота взаимоотношений, сердечность, душевная мягкость — все это и создает эмоциональный микроклимат, без которого семья — не семья. Многие, очень многое зависит от отца. Редакционная почта бьет тревогу: неясная, полная сомнений и тягот жизнь плодит никудышных отцов. Они — несчастье семьи, беда общества.

После выходных Оля К. приходит в детский сад понурой, взвинченной, озлобленной. Говорит воспитательнице:

— Все радуются воскресеньям, а я плачу. Знаю, что папа напьется, ночью будет скандалить, а я долго не засну, все буду бояться, что он снова обидит маму. Научусь писать, напишу в Москву, чтобы навсегда отменили все праздники. И запретили бы таким папам, как мой, называться папами.

Отцы-пустоцветы, запомните эти слова, подумайте, о чем мечтает маленькая затравленная Оленька. У вас не защемило сердце?»

... Раз, а то и два раза в месяц приходят из Таганрога письма. Теперь их более ста тридцати. Почти в каждом — газетная вырезка. Занимаюсь тем, от чего отрешивался, как мог, всю свою литературную жизнь: становлюсь добровольным рецензентом. За все более серьезные темы берется Римма Львовна, обостряется ее взгляд, оттачивается перо. Ближе знакомлюсь с теми, кто помогает женщине, прикованной к кровати. А весной 1988 года получаю приглашение на праздник семидесятилетия «Таганрогской правды»...

На родине Антона Павловича Чехова, в переполненном театре, носящем его имя, идет юбилейный вечер «Таганрогской правды». Главный редактор В.А. Кукушкин называет имена тех, кто победил в творческом конкурсе общественных корреспондентов. Поднимаются на сцену удостоенные дипломов третьей и второй степени, а к той, кому присуждена первая премия, редактор подходит сам. Она сидит в ложе, которую по въевшейся привычке принято называть правительственной, и, получая награду, поднимается с места. Она поднимается с места! **Я смотрю на нее, и верю и не верю глазам. Это дорогой мой человек Римма Львовна Львовская. Она начала ходить!** И поставили ее на ноги не врачи. Ее поставила на ноги работа. И сознание того, что она снова служит людям. Зал аплодировал стоя.

* * *

В апреле 2001 года Римма Львовна и ее супруг инженер-фронтовик Вениамин Михайлович отпраздновали золотую свадьбу. Было много душевных пожеланий, цветов и подарков. Свой подарок преподнес сын Марк, преподаватель физики в московской школе № 1116: участвуя в конкурсе «Лучший учитель России», стал лауреатом Северного административного округа. Порадовала и внучка Анюта — хорошей учебой в Израиле и успехами в иврите.

Я откликнулся скромным посланием.

Римме Львовской

От порога до порога —
От Москвы до Таганрога —
Простирается дорога
В добрый дом.
Написал совсем немного
(Мог бы — том),
Сколькo света неземного
В доме том.
...Суетимся, что-то ищем,
Столькo говорим...
Стал бы мир добрей и чише,
Будь в нем много Римм.

Жаль человека

У бакинского журналиста Марка Пейзеля заболела пожилая мама. Пришел врач и, оглядев пузырьки, таблетки и микстуры на тумбочке рядом с кроватью, спросил:

— Не скажете ли, что и против чего вы принимаете?

Больная обстоятельно ответила. Улыбнулся эскулап, шутиливо заметил:

— Вам бы еще экзамен по основам марксизма-ленинизма сдать, можно будет выдать диплом врача.

А мать чем больше вглядывалась в лицо доктора, тем больше мрачнела. Что-то хотела спросить, долго не решалась, наконец, молвила:

— Простите, а как ваша фамилия?

— Петров.

— Аркадий?

— Да, когда-то мы с Марком учились в одной школе, а живу на соседней улице.

— Простите, это не вы ли Аркадий Гинзбург?

* * *

— Скажи, Марк, зачем ты пригласил ко мне этого человека?

— Разве я знал, кого направит поликлиника? Ты уж извини, друг Аркадий, видишь, как получилось, — покраснел Марк.

Врач торопливо одевался.

— Мама, ты не вини Аркадия, его много раз заваливали при приеме в мединститут. В пятьдесят третьем сумел поменять отцовскую фамилию на материнскую и сразу же поступил.

— Жаль человека, — прошептала мама.

3.000... 2.000... 1.000

Иерусалим — город, пронизанный символами и знаменами.

Время в нем течет неторопливо, но каждый отрезок его — глава в истории человечества. Три тысячи лет назад здесь правил царь Давид, создавший Изра-

ильско-Иудейское государство. Две тысячи лет назад родился Иисус Христос. Тысячу лет назад сюда пришли крестоносцы, одержимые идеей освобождения Гроба Господня. Этот крохотный клочок земли был и остается самым беспокойным местом планеты. А в глубинах святой земли и над ней живет, пульсирует и разносится по миру сила любви и добра.

...У церкви «Отче наш», построенной на месте, где Иисус рассказывал ученикам о Втором пришествии; у русской церкви, посвященной святой Марии Магдалине; в комнате Тайной Вечери, где Иисус последний раз ужинал с учениками и открыл им таинство причастия; на Виа Долороза, дороге, по которой прошел Иисус, неся свой крест; у церкви Гроба Господня, святая святых христианства; у арки на месте, где Понтий Пилат сказал: «Се человек», — возникает трепетное чувство причастности к истории. И тихая радость: ушли в небытие обалдуи, запрещавшие это знать.

Заключение

Я жил среди русских, грузин, азербайджанцев, армян, помогавших мне в нелегкую пору; в книгах, вышедших ранее, постарался никого не забыть.

Но как же случилось, что именно евреи сыграли решающую, ключевую роль в судьбе школяра, студента, журналиста, писателя, наконец?

Да, они, быть может, лучше, чем кто-нибудь другой, умеют поддерживать друг друга, возвышая тем самым свой народ. Но в этом ли их главное отличие? Не правильной ли сказать: претерпев на протяжении тысячелетий множество бед и унижений, они были готовы инстинктивно помогать тем, поддерживать тех, кто хлебнул тоже.

Мойша Герштейн потерял жену при пожаре, Зелик Ямпольский лишился двух близких родственников в тридцать седьмом. Льву Кассилю не давали издавать **его** книги.

Судьба послала мне в жены прекрасного человека — литературоведа Ирину Оскаровну Брумер. Не знал я и раньше, тем более не знаю теперь, чем заслужил ее любовь, преданность и заботу. Мы потеряли отцов в течение одних суток — 22-го и 23-го декабря 1937 года. И у меня не было желания святее, чем перенести на нее, вернуть то тепло, которое некогда получил.

* * *

Дядя Мойша Герштейн, немало лет проживший в Тбилиси, уверял меня — грузинская ритуальная песня «Мравалжамиер»: «То, что зло разрушало, добро возводило снова» — представляет собой пересказ древнего еврейского завета.

ТРУМЕН*

1. Человек, который не должен был стать президентом

Весь день 12 апреля 1945 г. в Вашингтоне шел дождь. Это был четверг, обычный деловой день в американской столице. Президент Франклин Рузвельт уже почти две недели находился на отдыхе в штате Джорджия, вице-президент Гарри Трумен председательствовал на очередном заседании Сената. На следующее утро Трумен должен был лететь в Провиденс, чтобы выступить на собрании демократов штата Род Айленд. День близился к вечеру, и ничто не предвещало того, что Америка стоит на пороге больших перемен, которые надолго определят направленность политического развития во всем мире.

В пять минут шестого Трумену позвонили из Белого дома и попросили приехать туда, как можно скорее. Позже в своем дневнике Трумен напишет, что он подумал, что Рузвельт прилетел на один день в столицу на похороны своего старого друга епископа Этвуда из Аризоны и хочет заодно встретиться с вице-

* Эта работа написана с привлечением множества уникальных документов, хранящихся в различных архивах США, значительная часть этих документов еще не была введена в исторический оборот. Среди архивов, в которых работал автор, — Государственный архив США в Вашингтоне, архив Гарри Трумена в г. Индепенденс, штат Миссури, архив Франклина Рузвельта в г. Гайд-Парк, штат Нью-Йорк, архив Дуайта Эйзенхауэра в г. Абелин, штат Канзас, архив Уинстона Черчилля в г. Фултон, штат Миссури, Архив национальной безопасности в Вашингтоне и ряд других. Публикуемая статья является промежуточным результатом работы над книгой о жизни и деятельности 33-го президента США Гарри Трумена, которую готовит автор.

**Николай
ЗЛОБИН**

— родился в 1957 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова. Работал в МГУ с 1983 года, в 1991 году стал ведущим научным сотрудником. С 1993 по 2000 год работал профессором ряда университетов США, в настоящее время — директор русской программы Международного Центра в Вашингтоне. Редактор американского академического журнала «Демократизация. Журнал постсоветской демократизации», выходящего в Вашингтоне. Автор 11 книг и нескольких сотен статей по проблемам истории, политики, международных отношений. Книги и статьи были опубликованы во многих странах, в том числе в США, Франции, Польше, Германии, Японии.

президентом. Однако интуиция, видимо, подсказывала ему другое. Свидетели разговора вспоминают, что лицо Трумена, когда он положил трубку, было серым и он сказал окружающим: «Ребята, что-то произошло»¹. Вице-президент бегом спустился в гараж в подвале Капитолия, на ходу захватив из своего офиса шляпу и, не информируя даже своих охранников, только с шофером помчался в резиденцию президента страны. Было пять пятнадцать вечера.

В Америке в то время не перекрывали движения, когда ехал вице-президент, к тому же был час пик, движение в центре Вашингтоне было очень напряженным. И хотя от Капитолийского холма до Белого дома рукой подать, на дорогу потребовалось 15 минут. В полшестого привратники встретили Трумена у северо-западного входа Белого дома, взяли его шляпу и провели его в маленький, отделанный дубовыми панелями и установленный еще в начале века лифт, который медленно поднял Трумена на второй этаж, в частные апартаменты, занимаемые по очереди всеми американскими президентами. Там Трумен был встречен миссис Рузвельт, которая положила свою руку на его плечо и мягко сказала: «Гарри, президент умер». На мгновение Трумен потерял дар речи, затем сказал: «Чем я могу Вам помочь?», на что Элеонора Рузвельт ответила: «Чем, Гарри, Я могу помочь *Вам*? Теперь все проблемы на Ваших плечах»².

Трумен немедленно отдал распоряжение собрать правительство, известить членов Конгресса и прессу, послать машину за своей женой и дочерью. В 5 часов 47 минут радиостанции Америки прервали свои передачи и сообщили о смерти Рузвельта. В сообщениях говорилось, что президент скончался в результате кровоизлияния в мозг в 4 часа 45 минут в «малом Белом доме» в городе Уорм Спрингс штата Джорджия. Он подписывал бумаги, сидя за картонным столом. Потом пожаловался на «ужасную головную боль», упал и, не приходя в сознание, через 2 часа скончался. Франклину Делано Рузвельту было только 63 года.

Новость немедленно распространилась по всему миру. Посол в России Аверелл Гарриман узнал про смерть президента во время дипломатического приема, который он давал в своем посольстве. В Берлине уже было далеко за полночь, но Йозеф Геббельс, не дожидаясь утра, разбудил фюрера и заявил, что смерть Рузвельта является поворотным моментом в войне, давно предвещанным звездами. Недалеко от Берлина, в своей фронтальной резиденции в Марбурге три главных американских генерала — Дуайт Эйзенхауэр, Омар Бредли и Джеймс Паттон в глубокой депрессии обсуждали происходящее. «Отсюда Трумен кажется абсолютно неспособным занять место Рузвельта», — писал Бредли³.

В семь ноль восемь в присутствии сотрудников администрации, членов правительства и своей семьи Трумен принял присягу президента страны. «Я, Гарри С. Трумен, — сказал он, держа правую руку на Библии, — торжественно клянусь честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и буду делать все для сохранения, защиты и охраны Конституции Соединенных

¹ *Alonzo L. Hamby. Man of the People. A Life of Harry S. Truman. Oxford University Press, New York, Oxford, 1995, p. 290.*

² *David McCullough. Truman. Simon and Schuster, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1992, p. 342.*

³ *Ibid, pp. 349-350.*

Штатов». «Да поможет Вам Бог», — добавил Харлан Стоун. «Да поможет мне Бог», — повторил Трумен и неожиданно для всех поцеловал Библию. Церемония продолжалась одну минуту. В 7 часов 9 минут Америка получила нового, 33-го президента. С момента смерти старого прошло всего 2 часа 24 минуты. Если бы Трумен стал президентом в результате выборов, то получил бы два месяца для подготовки к вступлению в должность, приему дел, созданию своей команды, но теперь у него не было и минуты...

Сразу же после принятия присяги Трумен принял первое решение в качестве президента. Государственный секретарь Эдвард Стеттиниус спросил президента, не хочет ли он перенести конференцию по принятию устава ООН, которая должна была открыться через 12 дней в Сан-Франциско. Сидя за столом, за которым Рузвельт принимал свои важнейшие внешнеполитические решения, и глядя на портрет основателя Лиги Наций Вудро Вильсона на противоположной стене, Трумен твердо сказал, что конференция должна пройти так, как ее планировал его предшественник⁴. На коротком заседании правительства Трумен заявил, что собирается продолжать рузвельтовскую внешнюю и внутреннюю политику, однако быть «самостоятельным президентом» и что намерен слушать всех, но «окончательные решения будет принимать сам». Затем он позвонил своему приятелю Эдди Маккиму и отменил назначенную на вечер игру в покер⁵.

Все, кто общался с ним в этот вечер, отмечали, что новый президент с неожиданной уверенностью взял в свои руки бразды правления. Сам же Трумен в дневнике за этот день записал, что «не знал, как страна отреагирует на смерть человека, которого все практически боготворили. Я волновался насчет реакции в вооруженных силах. Я не знал, как это скажется на военных действиях, контроле за ценами, военной промышленности... Я знал, что президент имел множество встреч с Черчиллем и Сталиным. Я не был знаком с этими вещами и необходимо было обдумать много чего, но я решил, что лучше всего будет поехать домой, как можно лучше отдохнуть и послушать музыку»⁶. В полдесятого Трумен приехал домой. Только там он осознал, что не ел целый день. Соседи принесли сэндвичи с индейкой, Трумен позвонил своей 92-летней матери, которая сказала своему 60-летнему сыну: «Гарри, старайся, но играй по своим правилам»⁷. Затем президент отправился спать и, как записал он в своем дневнике, «больше ни о чем не волновался»⁸.

На следующий день рано утром Трумен, сядя в машину, увидел в толпе репортеров, окружавших подъезд его дома, корреспондента Ассошиэтед Пресс Тони Ваккаро и пригласил его с собой в президентский лимузин. Это было

⁴ *Robert H. Ferrell*. Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*. University of Missouri Press, Columbia and London, 1980, p. 15.

⁵ *David McCullough*. *Truman*, p. 348.

⁶ *Robert H. Ferrell*. Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*. University of Missouri Press, Columbia and London, 1980, p. 16.

⁷ *Margaret Truman*. *Bess W. Truman*. Macmillan Publishing Company, New York, 1986, p. 253.

⁸ *Robert H. Ferrell*. Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 16.

его первое интервью прессе. Ровно в 9 утра он вошел к Овальному кабинету, приказал очистить стол от бумаг предшественника и в первый раз подписался в качестве президента под официальным заявлением о смерти Рузвельта⁹. Через два дня тело бывшего президента будет опущено в землю на его родине в городе Гайд Парк штата Нью-Йорк. Эпоха великого Рузвельта закончилась, но никто и предположить не мог, что его место занял человек, которого через полвека историки станут называть одним из лучших президентов в истории. А пока политики в Вашингтоне обсуждали, каким президентом будет Трумен, и подавляющее их большинство склонялось к тому, что он быстро провалится, вся страна, да и весь мир обсуждали другой вопрос: что за человек Гарри С. Трумен и откуда он взялся?

2. «Очкарик с девчачьим ртом...»

Трумен явился первым представителем нового поколения мировых политиков — политиков эпохи холодной войны и ядерной бомбы. Его личностные характеристики, психология, манера действий и принятия решений оказали колоссальное влияние на формирование типа политического лидера второй половины XX века. Даже сам путь Гарри Трумена в Белый дом разительно отличался от пути, проделанного его предшественником. Трудно найти людей с более противоположными биографиями, чем 32-й и 33-й президенты США. Франклин Делано Рузвельт родился в богатой семье и провел детство в имении родителей в окружении гувернеров и домашних учителей, с ежегодными поездками в Европу. Трумен родился на два года позже в глухой деревне в доме фермера, с малолетства ухаживал за скотом и помогал отцу пахать землю. В Европу он попал, лишь пойдя добровольцем на фронт в годы Первой мировой войны.

Прапрабабушка Трумена Нэнси была племянницей десятого президента страны Джона Тейлора. Кстати, именно Джон Тейлор был первым вице-президентом, ставшим президентом после неожиданной смерти Вильяма Генри Харрисона, умершего от воспаления легких ровно через месяц после вступления в должность. Харрисон стал первым президентом, умершим во время своего срока, и Джон Тейлор добился того, что вице-президент в таком случае автоматически становится полноправным президентом, а не просто «исполняющим обязанности», как это было до него. На основании этого закона ровно через сто лет его потомок станет 33-м президентом США. Но родство с Джоном Тейлором, которым Трумен так гордился, не сделало его жизнь легче или более обеспеченной...

Проучившись несколько лет в элитарной частной школе, Франклин Рузвельт по примеру своего родственника Теодора, в это время президента страны, закончил Гарвардский университет, а затем, после обучения в Колумбийском университете, сдал экзамены на юриста. Трумен учился в публичной школе в маленьком провинциальном городке Индепенденс, штата Миссури, лишь в возрасте 39 лет поступил было в городской университет Канзаса, но был вынужден через год бросить его, так как не имел денег на оплату учебы.

⁹ *David McCullough*. Truman, p. 354.

С самого детства Рузвельт был нацелен на амбициозную политическую карьеру, вел активную общественную жизнь, в Гарварде даже был редактором университетской газеты. Гарри, который с детства был вынужден носить очки с толстыми линзами, никогда не был центром внимания. Выступая, уже будучи в отставке, перед школьниками, Трумен говорил: «Я никогда не был популярным. Популярными были те парни, которые побеждали в играх и имели большие, сильные кулаки. Я никогда не был таким. Без моих очков я был слеп, как летучая мышь, и, говоря по правде, я был в определенной степени маменьким сынком. Если возникала драка, я всегда убегал...»¹⁰. Не имея возможности участвовать в активных играх, Гарри посвящал много времени чтению Библии, книг по истории, биографий, учился играть на пианино. «Очкарик с девчачьим ртом», скажет он однажды, «я всегда побаивался девочек моего возраста и старше»¹¹. В то время, когда Рузвельт был сенатором штата Нью-Йорк, а затем заместителем министра военно-морских сил, Трумен работал в поле, чтобы помочь родителям, которые, чтобы свести концы с концами, были вынуждены в конце концов продать ферму и перебраться в город, где отец будущего президента устроился работать ночным сторожем.

Канзас-сити в то время был 19-м по размеру городом страны с населением свыше 300 тыс. чел. Гарри сначала работал приемщиком писем в местной газете за 7 долларов в неделю, а затем учетчиком на строительстве железной дороги с оплатой 35 долларов в месяц. Каждые две недели он выплачивал зарплату рабочим, причем это обычно происходило в одном из местных салунов. Как позже вспоминал Трумен, именно там он узнал английский язык во всем его богатстве. В президентском архиве сохранился отзыв строительного бригадира о 18-летнем Гарри. Очищенный от нецензурных слов, он выглядит так: «Гарри — отличный парень от задницы до макушки»¹².

После окончания строительства Трумен устроился клерком на работу в местный банк, где быстро завоевал отличную репутацию и повышение зарплаты до 100 долларов в год. Жил он в то время в меблированных комнатах, где за пять долларов в неделю получал койку, завтрак и обед. Его соседом по комнате и приятелем был другой банковский клерк, приехавший в Канзас из небольшого городка Абелин. Его звали Артур Эйзенхауэр, его младший брата Дуайт сменит Трумена в Белом доме.

Франклин в Рузвельт возрасте 23 лет женился на своей троюродной сестре Элеоноре, племяннице президента Теодора Рузвельта, чья девичья фамилия также была Рузвельт. У них было шестеро детей. Трумен женился в 35 лет, и их единственная дочь Маргарет родилась, когда Трумену исполнилось 40 лет. Свой медовый месяц Рузвельты провели, путешествуя по Европе, Трумены лишь съездили в Чикаго. Сегодня историки находят все больше свидетельств того, что семейная жизнь Рузвельтов не была такой уж спокойной и благополучной. Одни обвиняют Франклина, который всю жизнь изменял жене, другие го-

¹⁰ *Alonzo L. Hamby, Man of the People, p. 3.*

¹¹ *Harry S. Truman. Memoirs, vol. 1, p. 115; HST, memorandum on Pickwick Hotel Stationery (hereafter Pickwick memo) May 14, 1934, PSF, Longhand Notes.*

¹² *HST, Pickwick memo, May 14, 1934, PSF.*

ворят, как же ему было не изменять, когда она была такой холодной. Все больше пишут о том, что Элеонора была лесбиянкой.

Чету Труменов можно было демонстрировать в качестве образца семейного идеала. Гарри и Элизабет Уоллас встретились впервые в воскресной школе, когда ему было пять лет, а ей — четыре. Как вспоминал Трумен, он влюбился с первого взгляда. Они закончили школу в один год, и чем бы дальше ни занимался Гарри, его сердце было отдано Бесс. Он делал ей одно за другим предложения о замужестве, которые она отклоняла, но при этом оставалась верной своему поклоннику. Когда читаешь их переписку — а сохранилось около 2000 их частных писем, — понимаешь, что они с самого начала считали себя предназначенными друг для друга.

В 1906 г. отец Трумена переехал на ферму своей матери в Миссури и обратился к сыну за помощью в работе на ней. Гарри уволился из банка, приехал на ферму и следующие одиннадцать лет провел там, выращивая кукурузу, разводя свиней и коров. Он быстро приобрел известность среди фермеров как здравомыслящий и прогрессивный молодой человек и после смерти в отца в 1914 г. он «унаследовал» его маленькую политическую должность смотрителя местных дорог. Одновременно, как миллионы американцев в эти годы, Трумен занялся предпринимательством. Он пытался добывать нефть и заниматься инвестициями, но не разбогател, хотя и приобрел опыт и друзей. «Я родился, — писал Трумен в это время, — под знаком Нептуна или какой-то другой далекой и несчастливой звезды».

Как только 6 апреля 1917 г. президент Вудро Вильсон объявил о вступлении США в войну против Германии, Трумен записался в артиллерию национальной гвардии. Гарри был освобожден от военной обязанности и по возрасту, и как фермер, но счел своим долгом вступить в армию. «Я был до глубины души взволнован посланием Вудро Вильсона, — напишет позже Трумен. — Я понял, что я должен пойти. Я чувствовал, что мы должны Франции за Лафайетта»¹³. Бесс, чтобы не допустить его ухода в армию, наконец, согласилась выйти за него замуж, но на это раз Гарри сам отклонил ее предложение. «Я не думаю, — написал он ей, — что будет правильно с моей стороны просить тебя связать себя с потенциальной калеккой...»¹⁴. Офицерская должность в национальной гвардии США в это время была выборной. И Гарри, неожиданно для себя вскоре был избран лейтенантом, а затем и капитаном.

13 апреля 1918 г. на пароходе «Джордж Вашингтон» батарея Трумена прибыла в порт Брест во Франции. Для Трумена, который не был дальше Чикаго, шесть дней в Бресте явились первым опытом общения с Европой, который навсегда сформировал у него двойственное отношение к ней. Он ни минуты не сомневался в правильности того, что он — американский офицер — делает на старом континенте, был приятно польщен приемом, оказываемым американским военнослужащим со стороны местного населения, видел те жертвы, на которые шли французы, да и все европейцы в ходе войны. В одном из писем Бесс он рассказал о матери, которая потеряла девятерых сыновей. Однако он

¹³ *Alonzo L. Hamby, Man of the People, p. 57.*

¹⁴ *Ibid, p. 58.*

не мог серьезно воспринимать ни культуру, ни образ жизни французов и, как все провинциальные американцы тех времен, постоянно боялся, что его надуют «пронирыливые европейцы». В своих письмах он с насмешкой описывал чрезмерно разукрашенные мундиры французской армии, толкотню на улицах, железную дорогу с «маленькими паровозиками», жаловался, что американцы вынуждены платить в десять раз больше в ресторане, чем французы, и т.д. Особенно его удивляло, что границы фермерских полей были не прямыми, как в его Миссури, а шли «в разных направлениях, и я не понимаю, как они смогу даже просто описать часть своего владения, если захотят обменять его». Однако он писал: «я не соглашусь обменять никакую часть Соединенных Штатов на равную часть Франции, но, если я не смогу быть жителем Миссури, моим вторым выбором будет гражданство Франции»¹⁵.

В августе 1918 г. батарея Трумена была переведена в Германию, и в сентябре он приобрел первый боевой опыт. Как и большинство военнослужащих американского экспедиционного корпуса, Трумен провел в Европе около года, причем, несколько месяцев, принимая участие в военных действиях, остальное время — ожидая отправки домой. Только в апреле 1919 г. ему удалось попасть на трофейный корабль «Цеппелин». Как вспоминал он позже, 11-дневное путешествие было ужасным. Кораблем управляли американские офицеры, не имеющие опыта работы с такого рода кораблями, всю дорогу будущий президент промучился морской болезнью, потерял 10 килограммов. Нью-Йорк, в котором Гарри оказался первый раз, не произвел на него впечатления. «Сходил в зоопарк в Бронксе, — писал он Бесс. — Это похоже на толкучку»¹⁶. Вернувшись домой, Трумен первым делом женился на Бесс, молодые переехали в дом тещи и для них началась обычная жизнь американского среднего класса.

В сельское хозяйство Трумен больше не возвращался. Он продал свою ферму, занял деньги в банке и вместе со своим армейским приятелем Эдди Джексонном открыл в 1919 г. в Канзасе магазин мужской одежды. В «Трумен и Джексон» можно было купить носки и мужское белье, рубашки и галстуки, ремни и перчатки, шляпы и воротнички. Магазин был открыт с восьми утра до полуночи. Оба владельца платили себе зарплату в размере лишь 40 долларов в неделю, все доходы шли на оплату банковского займа. Однако после воодушевляющих первых лет работы прибыли стали постепенно уменьшаться. Стремясь спасти свой бизнес, в 1921 г. партнеры создали акционерное общество, сохраняя контрольный пакет акций за собой. Но это не помогло, деньги таяли, банк стали требовать возврата кредитов. Магазин пришлось закрыть¹⁷.

Партнер Трумена объявил себя банкротом, что давало ему возможность избежать уплаты долгов и начать новое дело. Трумен, руководствуясь собственными принципами морали, отказался признать себя банкротом. Хотя он и потерял

¹⁵ April 23, 1918. In: *Robert H. Ferrell*, Ed. *Dear Bess: The Letters from Harry to Bess Truman, 1910-1959*. Norton, New York, 1983, p. 260.

¹⁶ *Harry S. Truman to Bess Wallas*, March 24, 1919, HST, Diary, April 20-May 2, 1919, FBP.

¹⁷ *Robert Ferrell*, *Harry S. Truman. A Life*. University of Missouri Press, Columbia and London, 1994, p. 87.

на магазине 30 тыс. долларов, он обязался постепенно выплатить все долги. На это у него ушло более 15 лет¹⁸. Критики 33-го президента всегда использовали неудачу с магазином, как пример того, что он не знал, как обращаться с деньгами. Сторонники, напротив, заявляли, что неудача лучше, чем любой успех, научила Трумена ценить деньги. Справедливо, скорее, второе утверждение: с тех пор Трумен всегда стоял на позициях финансового консерватизма. Финансовые успехи его правительства были потрясающими — четыре года из восьми доходы государства превышали расходы, несмотря на огромные траты в корейской войне и необходимость противостоять Советскому Союзу¹⁹.

3. Самый бедный сенатор в Вашингтоне

В 1922 г. Трумен решает заняться политикой. К этому времени у него уже есть определенная известность и связи с местными политическими воротилами, особенно с главным из них — Томом Пендергастом, фактическим хозяином Канзас-сити. После работы на небольших политических должностях в Миссури, Пендергаст к середине 1910-х годов сумел стать признанным лидером демократической партии в Канзас-сити и штате, одним из крупнейших политических воротил США этого времени. Дружба с ним сыграла критическую роль в начале политической карьеры Гарри Трумена. С помощью политической машины, управляемой Пендергастом, Трумен избирается судьей одного из графств Миссури, куда входят и Канзас-сити, и Индепенденс. Одной из главных его обязанностей был контроль за строительством дорог и мостов, расходом денег на их содержание, назначение местных должностных лиц.

На этой почве у него возник конфликт с местным отделением Ку-клукс-клана — в то время весьма массовой и политически активной организации в Миссури. Сначала Трумен даже вступил в Клан, произнес клятву, заплатил 10 долларов членских взносов и подписал нужные бумаги. Однако Клан поставил перед молодым политиком условие — принимать на работу только протестантов²⁰. Трумен, который был воспитан пресвитерианином, но в 18 лет стал баптистом, отказался, забрал назад свой вступительный взнос и вышел из Клана. Это ему так не прошло, и на следующих выборах через два года ККК выступал против Трумена, распространяя информацию о том, что Трумен якобы еврей, ибо одного из его дедов звали Соломон Янг. Трумен проиграл, и это было его первым и последним поражением на выборах. В 1934 г. с помощью Пендергаста и под лозунгом «Новый курс» для Миссури» он был избран сенатором США. Политические противники называли его «сенатором из Пендергаста».

Накануне нового, 1935 года семья Труменов прибыла в Вашингтон. На первой встрече с Рузвельтом, как потом вспоминал Трумен, у него от волнения «отнялся язык». С большим трудом Гарри удалось найти четырехкомнатную квартиру, на аренду которой у него хватило бы денег («Я, — говорил он, — безусловно, самый бедный сенатор в Вашингтоне») — 150 долларов в месяц.

¹⁸ *David C. Whitney and Robin Vaught Whitney*, *The American Presidents*. Eighth Edition. The Reader's Digest Association, INC, Pleasantville, New York, Montreal, 1996, p. 281.

¹⁹ *Robert Ferrell*, *Harry S. Truman. A Life*, p. 89.

²⁰ *Alonzo L. Hamby*, *Man of the People*, p. 114.

3 января 1935 г. Трумен впервые сел в одно из 98 сенаторских кресел. Одной из главных проблем его были постоянные обвинения в связях с Пендергастом, хотя нет никаких свидетельств того, что тот пытался управлять сенатором. Президент Рузвельт, невзирая на то, что Трумен был наиболее твердым его сторонником, соблюдал дистанцию, опасаясь быть замеченным в связях с хозяином политической машины Среднего Запада. Интересно, однако, что в 1937 г. президент сам позвонил Пендергасту и попросил того оказать влияние на Трумена в вопросе поддержки Альберта Баркли на пост лидера сенатского большинства. Но тот уже обещал свою поддержку другому кандидату и, хотя Баркли был приятелем Трумена, он не изменил позицию, чем еще больше подтвердил свою репутацию человека слова. Трумен при этом не только сохранил дружбу с Баркли, но и сделал того своим вице-президентом в 1949 г.

Особенно трудно пришлось сенатору Трумену на перевыборах в Сенат в 1940 г., когда раздраженный Рузвельт выступал в поддержку другого демократа из Миссури. Более того, за несколько месяцев до выборов правоохранительные органы арестовали Тома Пендергаста по обвинению в сокрытии доходов, неплате налогов и получении взяток. Он был осужден и отправлен в тюрьму. Все ожидали, что Трумен откажется от своего бывшего босса, но этого не произошло. К всеобщему удивлению, сенатор Трумен сделал все, чтобы спасти Пендергаста. Выступая в Конгрессе, он заявил, что Пендергаст может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела с той же вероятностью, с какой на это может рассчитывать еврей в гитлеровском суде или троцкист в суде Сталина²¹. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Он был моим другом, когда я нуждался в нем. Я не из тех, кто покидает корабль, когда он начинает тонуть»²².

На перевыборах в Сенат Трумен был поддержан рядом ведущих политиков страны. Альберт Баркли приехал в Миссури, призывая голосовать за своего друга, финансист Бернард Барух финансировал избирательную кампанию. Трумен был легко переизбран в Сенат, хотя так никогда и не изменил Пендергасту. Когда тот умер в январе 1945 г., Трумен, который был к тому времени всего неделю вице-президентом, на военном бомбардировщике прилетел в Канзас на похороны, чем вызвал колоссальную негативную реакцию среди оппозиции, обвинявшую нового вице-президента в преданности к преступнику. Трумен же считал, что совершил достойный поступок.

Отношения Гарри Трумена и президента Рузвельта всегда носили двойственный характер. Они не любили друг друга. Однако безоговорочная поддержка, которую оказывал Трумен политике «Нового курса», была Рузвельту необходима, ибо Трумен представлял Средний Запад страны, где сам Рузвельт не пользовался большой популярностью. Но сделать Трумена слепым исполнителем своей воли, «мальчиком на побегушках у Белого дома» президент так и не смог. Трумен знал, что президенту нельзя доверять, ибо поддержку от него можно ожидать только, если ты нужен Рузвельту в его политических целях. Тем не менее, как Гарри писал жене, «политика, которую он проводит, по мо-

²¹ Congressional Record, 75 Congress, 3rd Session, 1938, February 15, pp. 1962-1964.

²² St. Louis Post-Dispatch, 1939, April 7.

ему мнению, лучшая для страны, и работа не должна смешиваться с общими принципами»²³. Однако взаимная неприязнь постепенно нарастала. В конце 1941 г. Трумен напишет жене, что «готов послать президента к черту. Он так чертовски боится, что не будет обладать всей властью и всей славой, что мешает даже его друзьям помогать ему»²⁴.

Однако во внешней политике все эти годы Трумен оставался приверженцем традиционного изоляционизма. «Я провел год во Франции, — писал он своему приятелю, — и занимался самым тяжелым делом, которым когда-либо был занят человек, — пытался спасти их страну от немцев. И сегодня, после всего, что было сделано, я, честно говоря, желал бы быть на стороне Германии. Я до сих пор так считаю. «Лягушатники» обязаны заплатить нам то, что должны»²⁵. В 1935-37 годах сенатор из Миссури голосовал за нейтралитет США, поддерживал все акты, сдерживающие внешнеполитическую активность администрации Рузвельта.

Поворотной точкой в умонастроении Трумена стал Перл-Харбор. С этого дня и до конца жизни он стал активным и последовательным сторонником укрепления военной мощи страны и увеличения вовлеченности США в мировую политику. Обратившись сразу после японской атаки к командующему армией генералу Джорджу Маршаллу, который через несколько лет станет его государственным секретарем, Трумен попросил призвать его на фронт. Как вспоминал он позже, Маршалл «спросил меня, сколько мне лет, и я сказал, что мне пятьдесят шесть. Тогда он опустил свои очки для чтения на кончик носа и сказал: «Нам не нужны старики, вроде Вас, это война молодых людей»²⁶. Трумен теперь голосовал за новый призыв в армию, горячо поддерживал программу Ленд-лиза. «Я никогда особенно не огорчился, — говорил он теперь, — оттого, что деньги, которые мы дали взаймы Европе, никогда не были возвращены. Я, откровенно говоря, считаю, что лучше посылать на фронт деньги, а не кровь»²⁷.

В 1941 г. Трумен возглавил специальную комиссию по контролю за расходованием средств в ходе выполнения государственной военной программы. Комиссии, которую стали называть «Комиссией Трумена», удалось найти много нарушений и злоупотреблений, Трумен приобрел национальную известность и вскоре стал одним из самых популярных сенаторов. В 1943 г. журнал «Тайм» поместил его портрет на обложке и опубликовал большую статью, где назвал Трумена «честным и отважным человеком», не отказывающимся от друзей, даже, если это преступный Том Пендергаст, и сделавшим много для усиления воен-

²³ Harry S. Truman to Bess Truman, 1939, September 24, Harry S. Truman Papers. Family, Business, Personal File. Harry S. Truman Library and Archive.

²⁴ Harry S. Truman to Bess Truman, 1941, December 21, Harry S. Truman Papers. Family, Business, Personal File. Harry S. Truman Library and Archive.

²⁵ Harry S. Truman to Carter Harrison, 1936, February 29, March 6. Miscellaneous Historical Documents Collection. Harry S. Truman Library and Archive.

²⁶ Harry S. Truman. *Memoirs*, vol. 1, pp. 169-170.

²⁷ Harry S. Truman to Eddie Miesburger, 1943, July 23. Senatorial and Vice Presidential File, Harry S. Truman Papers. Harry S. Truman Library and Archive.

ной мощи страны²⁸. В мае 1944 г. журнал «Лук» назвал его одним из 10 наиболее влиятельных людей Вашингтона. Интересно, что он был единственным сенатором в этом списке²⁹. К этому времени Трумен стал восприниматься страной как лидер либерального крыла демократической партии.

В начале 1944 г. лидеры демократической партии стали все больше тревожиться о преемнике Рузвельта. И хотя об ухудшающемся здоровье президента мало кому было известно, его нарастающие раздражительность, нетерпимость и высокомерие были видны невооруженным глазом. Рузвельта не устраивало, что война быстро приближалась к концу. Это означало, что ему надо больше заниматься не судьбами всего мира, а не приносящими славы домашними проблемами. Однако он решил баллотироваться в четвертый раз, и хотя многие поднимали вопрос о том, что, может быть, демократам пора поискать другую кандидатуру, никто не был достаточно смел, чтобы попытаться остановить Рузвельта.

На пост вице-президента, которому сам Рузвельт не придавал никакого значения, он опять предложил Генри Уолласа, но встретил серьезное сопротивление. За предыдущие четыре года благодаря своим левым взглядам Уоллас нажил много врагов — он слишком активно выступал за гражданские права, расширение дружеских отношений с СССР, увеличение контролирующей функции государства в экономике. Лидеры партии предложили Трумена. Популярный сенатор со Среднего Запада, по их мнению, мог обеспечить столь нужные администрации симпатию и поддержку тамошних фермеров и финансистов. Рузвельт, сказав, что ему, по большому счету, все равно кто, согласился. Ни Рузвельту, ни Трумену, как и никому в мире, не приходило в голову, что это согласие очень скоро сделает Трумена хозяином Белого дома. Только газета «Чикаго трибьюн» написала, что «голосовать за Рузвельта, вполне вероятно, значит голосовать за президента Трумена»³⁰, но это скорее была отчаянная попытка остановить Рузвельта, чем мало-мальски серьезный политический прогноз.

Сам Трумен не рвался в вице-президенты. «Я могу поспорить, — говорил он, — если мы сейчас спустимся на улицу и остановим первых 10 человек, они не смогут назвать имена двух из последних десяти вице-президентов»³¹. Трумен понимал, что влиятельный сенатор может играть гораздо более серьезную политическую роль, чем вице-президент, занятый с утра до вечера церемониальными обязанностями, встречаясь с людьми, которые, по словам Трумена, «хотят посмотреть, как выглядит вице-президент, может ли он ходить и имеет ли зубы»³². Бесс Трумен тоже не радовалась возможным изменениям. Когда в Чикаго, после того, как на съезде демократической партии Трумен был назван официальным кандидатом в вице-президенты, они под жестким эскортом по-

²⁸ Billion-Dollar Watchdog, Time, 1943, March 8, pp. 13-15.

²⁹ The 10 Most Useful Officials in Washington, Look, 1944, May 16, pp. 26-27.

³⁰ Chicago Tribune, 1944, October 28.

³¹ Richard S. Kirkendall, Ed. The Harry S. Truman Encyclopedia. G.K. and Co. Boston, 1989, p. 379.

³² Harry S. Truman to Martha and Mary Jane Truman, 1945, April 11. Harry S. Truman Papers, Post-Presidential Papers, Memoirs Files, Harry S. Truman Library and Archive.

лиции пробирались через толпу к машине, она с ужасом спросила у мужа: «И так мы теперь будем жить до конца нашей жизни?»³³.

Так как на фоне успешно завершающейся войны критиковать самого Рузвельта было нелегко, вся сила его оппонентов во время предвыборной кампании обрушилась на Трумена. Ему опять припомнили связи с Пендергастом, с Ку-клукс-кланом, опять заговорили о его якобы еврейских корнях. «Я не еврей, — отвечал Трумен. — Но, если бы я и был евреем, я бы этого не стыдился»³⁴. Оппозиционные газеты издевались над «неотесанностью» Трумена, его неумением произносить публичные речи. «Тайм» назвал Трумена простоватым и провинциальным, но добавил: «Нет никаких оснований надеяться, что Трумен станет выдающимся президентом, но нет никаких оснований считать, что он будет наихудшим президентом»³⁵. «Мои проблемы, — говорил Трумен журналистам, — заключаются в том, что я не фотогеничен и чертовски плохой публичный оратор»³⁶. Известно, что в ходе предвыборной кампании Рузвельт даже приказал Трумену «прекратить свои чертовски глупые заявления»³⁷. Однако Трумен внес, пусть не очень большой, но вклад в четвертую победу Франклина Делано Рузвельта. Когда стали известны результаты выборов, Трумен послал президенту телеграмму: «Я очень рад более чем впечатляющей поддержке, которую Вы получили. Изоляционизм мертв. Надеюсь на скорую встречу»³⁸.

20 января 1945 г. Гарри Трумен принес присягу вице-президента США. Через день президент Рузвельт секретно уехал из страны для встречи с Черчиллем и Сталиным в Ялте. До своей смерти Рузвельт был в Вашингтоне всего около тридцати дней и только дважды встретился со своим вице-президентом. Последний раз это произошло 1 марта, когда президент выступил с отчетом перед Конгрессом. Рузвельт выступал, сидя в инвалидном кресле, и впервые публично признал, что использует стальные протезы вместо своих ног. В следующий раз Трумен увидел Рузвельта 15 апреля уже лежащим в гробу во время траурной церемонии в Гайд Парке.

4. Президент Трумен и СССР: встреча в Потсдаме и атомная бомба

Гарри Трумен стал президентом в то время, когда в Белом доме в результате Великой депрессии и войны сконцентрировалась значительная власть. «Я слишком мелок для этой работы», — признавался он. По крайней мере два года займет у Трумена выработка уверенности, что это ему вполне по силам. Он часто называл свою резиденцию «Белой тюрьмой», подчеркивал, что работа прези-

³³ Margaret Truman. Bess W. Truman. Macmillan Publishing Company, New York, 1986, p. 231.

³⁴ Harry S. Truman to Archibald Reid, 1944, August 17. Senatorial and Vice Presidential File, Harry S. Truman Papers. Harry S. Truman Library and Archive.

³⁵ Time, 1944, November 6, p. 22-24.

³⁶ Alonzo L. Hamby, Man of the People, p. 286.

³⁷ Ibid.

³⁸ Harry S. Truman. Memoirs, vol. 1, p. 194.

дента — «ужасная работа», ибо он вынужден выслушивать оскорбления «от разного рода лжецов и демагогов», призывал родителей «не воспитывать детей в желании стать президентом». На 26-й день его президентства закончилась война в Европе. 8 мая 1945 г., свой 61-й день рождения Трумен провозгласил Днем Победы. 26 июня он подписал в Сан-Франциско Устав ООН. Опрос, проведенный Гэллопом, показал, что деятельность нового президента одобряют 87% американцев, что больше, чем одобрение, полученное когда-либо Рузвельтом.

С самого начала одной из главных проблем Трумена был недостаток информации. Рузвельт никогда не информировал своего вице-президента о принимаемых им решениях, планах и обещаниях, сделанных на самом высоком уровне. Трумен признавался своей дочери, что Рузвельт «никогда не разговаривал со мной конфиденциально по вопросам войны, международных дел и о том, что он думает о послевоенном мире»³⁹. Новый президент не знал и деталей «советской» политики своего предшественника.

Думается, что у Трумена в 1920-30-е годы не было какого-либо определенного мнения об СССР. Принимая во внимание постоянную необходимость для него конкурировать с теми, кто изначально стоял на более высокой ступени социальной лестницы, он мог отчасти симпатизировать идеям классового конфликта. Но, как и все, выбившиеся благодаря тяжелому труду наверх, он отвергал отказ от частной собственности и капитализма, социальной помощи, рыночной демократии. Постепенно Трумен стал относиться к СССР как к преступному режиму, вроде нацистской Германии. Он не увидел, в отличие от большинства американцев, ничего неестественного в советско-германских договорах о дружбе. СССР для него был однозначно «недружественной силой».

В июне 1941 г., отвечая на вопрос о своем отношении к нападению Германии на СССР, Трумен сказал: «Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, и если будет побеждать Россия, мы должны помогать Германии. Надо дать им возможность убивать друг друга как можно больше, хотя я при любых условиях не хочу видеть победу Гитлера»⁴⁰. Трумен рассматривал СССР как страну, «которой нельзя доверять, так же, как и Гитлеру или Аль Капоне», писал он жене в конце 1941 г. Однако публично он вынужден был быть более дипломатичным. «По моему мнению, — говорил он в 1943 г. — до тех пор, пока русские занимают 192 германские дивизии в Европе, это не шутка. Я вполне поддерживаю помощь России до тех пор, пока они противостоят Германии»⁴¹.

Отношение президента Трумена к СССР с самого начала было двойственным. В начале лета 1945 г. он записал в дневнике: «Каждый раз, когда мы в хороших отношениях с русскими, какой-нибудь идиотский умник на полпути вдруг нападает на них... Я не боюсь России. Они всегда были нашими друзьями, и я не вижу никаких причин, почему бы им всегда ими не быть. Един-

³⁹ Margaret Truman, Letters from Father. The Truman Family's Personal Correspondence. New York, Arbor House, 1981, p. 106.

⁴⁰ New York Times, 1941, June 24.

⁴¹ Jonathan Daniels, Man of Independence. Philadelphia, Lippincott, 1950, p. 229.

ственная проблема — это сумасшедшие американские коммунисты. Их у нас только один миллион, но они преданы Сталину, но не президенту США. Я бы с удовольствием послал бы их в Россию. Я уверен, дядя Джо немедленно отправит их в Сибирь или в концентрационный лагерь. Но я не могу этого сделать, и не сделал бы, если бы мог. Эмма Голдман и Вильям Фостер на собственном опыте убедились, что диктатура пролетариата не отличается от диктатуры царя или Гитлера. В России нет социализма. Это рассадник особых привилегий. Обычный человек может высказать о своем правительстве столько же, сколько держатель акции «Стандарт Ойл» в Нью-Джерси о своей компании. Но мне наплевать, что они делают. Они, очевидно, любят свое правительство, иначе они бы не умирали за него. Я люблю наше правительство, поэтому давайте ужиться... Я знаю, что американцы — забавные типы. Они всегда засовывают свои носы в чьи-нибудь дела, которые никак не являются их делами»⁴².

Однако уже к этому времени Трумен был достаточно раздражен тем, что Москва нарушила почти все договоры, заключенные в Ялте. Впервые это раздражение выплеснулось открыто, когда министр иностранных дел Вячеслав Молотов по дороге на конференцию в Сан-Франциско остановился в Вашингтоне и нанес визит Трумену. Трумен сказал советскому гостю, что США готовы выполнить все заключенные договоренности и в резкой форме выразил свое недоумение тем, что СССР одно за другим нарушает их. Особенно жестко президент США высказался по поводу советской политики в Польше и отношении к ООН. США будут делать то, что необходимо для создания ООН, сказал президент, а если СССР не хочет это делать, то «может убраться к черту». Молотов был шокирован. «Никто в моей жизни никогда не разговаривал так со мной», — заявил он. «Соблюдайте договоры, и с Вами не будут так разговаривать», — возразил Трумен.

Чуть позже в дневнике Трумен напишет: «У меня нет веры в любые тоталитарные государства, будь это Россия, Германия, Испания, Аргентина, Даго или Япония. Они все строятся на ложной посылке, что ложь справедлива и что старая, разоблаченная иезуитская формула о том, что цель оправдывает средства, права и что необходимо поддерживать власть правительства. Я не согласен и не верю, что эта формула поможет человечеству в осуществлении его надежд. «Честный Коммунизм», как сказано в Деяниях Апостолов, будет действовать. Но «Русская Безбожная Извращенная Система» работать не будет».

В середине лета Трумен, после долгих колебаний, согласился приехать на встречу с Черчиллем и Сталиным в пригороде Берлина Потсдаме. Перед самым отъездом он встретился с делегацией Сената, только что вернувшейся из поездки по Европе. Сенаторы пугали президента, что «Франция может стать коммунистической так же, как Германия, Италия и Скандинавия; и что есть большие сомнения, что Англия окажется здравомыслящей... Все они... уверяли меня, что европейский мир приближается к концу». Трумен не воспринял это всерьез. «Европа, — считал он, — так часто была разрушена за последние 2000 лет и

⁴² June 1, 1945, pp. 1-2. — Papers of Harry S. Truman. President's Secretary's File. Longhand Notes. Box 333. Longhand Personal Memos, 1945 to Longhand Personal Memos, 1952. Folder «Longhand Notes, 1945».

всегда восстанавливалась лучше или хуже, чем была, кому как больше нравится, так что их ораторские упражнения на меня не произвели совсем никакого впечатления». Трумен назвал делегацию «умниками», которые, в отличие от Юлия Цезаря, Ришелье, Вудро Вильсона, Чемберлена, «знают *все* ответы»⁴³.

Начало Потсдамской конференции было отложено на два дня из-за легкого инфаркта у Сталина, что дало Трумену возможность ознакомиться с Берлином и встретиться с Черчиллем. Берлин произвел на него тяжелое впечатление, и, как вспоминал он, единственное, что примиряло с увиденным, было осознание того, что немцы поступали не лучше на территории СССР. «Как жалко, — записал он в дневнике, — что человеческие создания не в состоянии привести мораль в жизнь. Я боюсь, что машины уже несколько столетий стоят впереди морали... Мы всего лишь муравьи на планете, и, может быть, когда вгрызаемся в планету слишком глубоко, может наступить расплата, кто знает?»⁴⁴.

Разговор с Черчиллем показался Трумену интересным, но в тот же день в своем дневнике он записал: «Он самый обаятельный и очень умный человек — имея в виду умный в английском смысле слова, а не в кентуккийском — лошадином — смысле. Он высказал мне много ерунды о том, какая великая моя страна и как он любил Рузвельта, и как он намеревается любить меня т.д. и т.п.». Как позже признался Черчилль, Трумен показался сначала ему туповатым, он не пускался в дискуссии, твердо стоял на своих позициях. В конце концов Трумен очень понравился британскому премьеру, особенно его скромность и простота, твердость и критическое отношение к Сталину. Дочь Черчилля Мэри заметила: «Папа чувствует себя спокойно и уверенно. Президент понравился ему чрезвычайно. Он уверен, что они смогут работать вместе»⁴⁵. Черчилль был убежден, что ему, как самому опытному и заслуженному политику, теперь предстоит возглавить весь Запад, включая США, во главе которых стоит не обладающий никаким международным опытом президент. Парламентские выборы в Англии опрокинули его надежды.

17 июля Трумен впервые встретился со Сталиным. Их разговор продолжался два часа. С улыбкой на лице Трумен называл Сталина «Дядя Джо», объясняя, что он не дипломат и всегда после выслушивания аргументов отвечает да или нет. Сталину понравилась такая постановка вопроса, и он тут же стал выдвигать свои предложения. После беседы Трумен записал в своем дневнике, что установил хорошие отношения с советским лидером и добавил: «Он прям, но чертовски умен»⁴⁶. Сталину удалось произвести на Трумена (как обычно он производил на Рузвельта) хорошее впечатление. И хотя президент США писал своей матери и сестре, что «никогда не видел таких упрямых людей, как

⁴³ Robert H. Ferrell, Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 48.

⁴⁴ Harry S. Truman, *Diary*, 1945, July 16, President's Secretary's File, Charles Ross File, Harry S. Truman Library and Archive.

⁴⁵ Churchill. Taken from the *Diaries of Lord Moran. The Struggle for Survival. 1940-1965*. Boston, 1966, pp. 292-306.

⁴⁶ Harry S. Truman, *Diary*, 1945, July 16, President's Secretary's File, Charles Ross File, Harry S. Truman Library and Archive; *Foreign Relations of the United States: (Potsdam)*, 1945, 2:43n.3, 1582-1587.

русские» и что он «надеется ему больше никогда не придется участвовать в каких-либо конференциях с ними, но конечно, придется», сам Сталин — не такой. Своей жене Трумен писал в конце июля 1945 г.: «Мне нравится Сталин. Он прямолинеен. Знает, чего хочет, и готов идти на компромисс, когда не может получить того, что хочет. Его министр иностранных дел не такой откровенный». Позже Трумен скажет о советском лидере: «Сталин похож на Пендергаста больше, чем кто-либо, кого я знаю»⁴⁷.

В ходе переговоров стало очевидно, что американский президент не будет ручным, он будет стараться добраться до основания каждого предложения, и когда Сталин вел себя грубовато, Трумен показывал, что и он может быть жестким и даже грубым. Попытка Сталина посеять неприязнь между Труменом и Черчиллем оказалась безуспешной. Одновременно Трумен и Сталин обменивались комплиментами. «Я пригласил его, — отмечал Трумен, — посетить Соединенные Штаты. Я сказал ему, что пошлю броненосец «Миссури» за ним, если он согласится. Он сказал, что хочет сотрудничать с США в мире, как мы сотрудничали во время войны, но это будет сложнее. Сказал, что он был явно ложно понят в США, так же, как я был ложно понят в России. Я сказал ему, что каждый из нас может помочь исправить ситуацию дома и что я изо всех сил постараюсь сделать это у себя. Он улыбнулся мне чрезвычайно сердечно и сказал, что будет не меньше стараться у себя в России»⁴⁸. Сталин формально принял приглашение посетить США, но, вернувшись в Москву, не подтвердил своего согласия. В марте 1946 г. после речи Черчилля о Железном занавесе, произнесенной в присутствии президента США в городе Фултон штата Миссури, Трумен повторил это приглашение и предложил Сталину также выступить в Фултоне. Сталин ответил саркастическим отказом.

Больше Трумен свое приглашение не повторял. Более того, когда в 1952 г. вернувшийся на пост премьер-министра Англии Черчилль прибыл с первым официальным визитом в Вашингтон и предложил Трумену новую встречу Большой тройки, тот категорически отказался, заявив Черчиллю, что «искренне надеется, что Вы не предложите публично встретиться со Сталиным, ибо это поставит меня в неудобное положение и я должен буду сказать, что, хотя я всегда буду рад видеть Сталина в Вашингтоне, я не желаю посещать его в его столице»⁴⁹. Что касается встречи Большой тройки (или четверки, с участием президента Франции), то Трумен сказал, что «не верит, что русские хотят этого». Он «примет участие только в конференции, которая способна принести реальные результаты. Но он не поедет в Россию, хотя встретится с русски-

⁴⁷ Harry S. Truman to Bess Truman, 1945, July 29. Harry S. Truman Papers. Family, Business, Personal File; Harry S. Truman, Diary, 1945, July 30, President's Secretary's File, Charles Ross File, Harry S. Truman Library and Archive, Harry S. Truman Library and Archive; *Jonathan Daniels*, Man of Independence, p. 278.

⁴⁸ *Robert H. Ferrell*, Ed. Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, p. 54.

⁴⁹ Big Four Meeting or Other High Level Negotiations with the USSR, pp. 4 — 5. — Papers of Harry S. Truman. President's Secretary's File. Box 116. General File «Churchill-Truman meetings», Folder «Churchill-Truman Meetings — Papers, Prepared for USSR Problem».

ми, если они сами приедут в Вашингтон»⁵⁰. Черчилль отступил, и больше до смерти Сталина предложение о встрече на высшем уровне не выдвигалось.

В Потсдаме 21 июля Трумен был информирован об успехе испытания американской ядерной бомбы. Как показывают документы того времени, американцы не подгадывали сроки этого события к конференции Большой тройки, и Трумен строил свою стратегию в Потсдаме без учета такой возможности. По свидетельству очевидца, узнав об успехе, «президент был чрезвычайно взволнован, снова и снова заговаривал об этом. Он сказал, что успех дал ему абсолютно новое чувство уверенности в своих силах». Так как англичане принимали участие в проекте «Манхэттен», Черчилль был полностью информирован. Он назвал происходящее «вторым пришествием»⁵¹. Трумен заметил, что «мы нашли самую ужасную бомбу в мировой истории. Она может являться тем огненным разрушением, которое было предсказано после Ноя и его замечательного Ковчега»⁵².

Президент США немедленно отдал распоряжение использовать атомную бомбу против Японии до 10 августа. «Я сказал военному министру Стимсону, — писал 25 июля Трумен в своем дневнике, — использовать бомбу для поражения военных объектов, солдат и моряков, но не детей и женщин. Даже если японцы — дикари и варвары, беспощадны и фанатичны, мы как лидеры мира не можем сбросить эту ужасную бомбу на старую столицу (Киото) или новую (Токио)... Мы оба согласились с этим. Цель будет чисто военной, и мы предупредим японцев и предложим сдаться, чтобы спасти жизни. Я уверен, что они этого не сделают, но мы дадим им такую возможность. Без сомнений, замечательно, что люди Гитлера или Сталина не разработали этой атомной бомбы. Она является наиболее ужасным открытием, когда-либо сделанным, но может быть наиболее полезным»⁵³.

Трумен и Черчилль решили информировать Сталина, но сделать это как бы между прочим, не придавая сообщению специального значения. Позже Трумен вспоминал, что он «между прочим упомянул, ... что у нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы». Сталин не показал никаких чувств, только заметил, что надеется, что США найдут этому оружию хорошее применение против Японии. То, что глава СССР не задал никаких вопросов и не сделал никаких комментариев, стало основанием для многолетних подозрений, что Сталин просто не понял значения того, что ему было сообщено. Никаких дальнейших обсуждений ситуации с атомной бомбой на встрече Большой тройки не было — ни одна сторона к этому готова не была.

29 и 30 июля переговоров не было из-за нового недомогания Сталина, и Трумен записал в своем дневнике: «Если Сталин вдруг умрет, это будет концом

⁵⁰ Meeting Of The President With Primer Minister Churchill in The Cabinet Room of The White House, January 8, 1952, 5:00 P.M., p. 5. — Papers of Harry S. Truman. President's Secretary's File. Box 115. General File. «Ch. — Churchill». Folder «Churchill, Winston — Meeting with President Truman (Folder 1)».

⁵¹ Foreign Relations of the United States: (Potsdam), 1945, 2:225, 1361.

⁵² Robert H. Ferrell, Ed. Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, p. 55.

⁵³ Harry S. Truman, Diary, July 25, 1945, President's Secretary's File, Charles Ross File, Harry S. Truman Library and Archive

первоначальной Большой тройки. Сначала — смерть Рузвельта, затем политическое поражение Черчилля, потом Сталин. Мне интересно, что случится в России и Восточной Европе, если Джо неожиданно умрет. Если какие-либо демагоги на конях возьмут контроль над мощной военной машиной России, это на время может посеять хаос в европейском мирном процессе. Мне интересно, есть ли человек, достаточно сильный и способный встать на место Сталина и поддерживать мир и единство в доме. У диктаторов нет привычки готовить преемников для своей власти. Я не увидел никого среди русских на этой конференции, кто был бы способен работать на этом месте. Молотов будет не в состоянии. То же и Вышинский, а Майскому не хватает искренности. Но поживем — увидим. Дядя Джо еще очень силен психически и физически, но любой человек приходит к своему концу, и мы не можем помочь, но только гадать»⁵⁴.

Трумен уезжал из Потсдама в хорошем настроении, ему казалось, что процесс послевоенного устройства набирает силу и три главные державы имеют очень близкие позиции по всем основным вопросам современности. Он предложил провести следующую встречу Большой тройки в Вашингтоне. «Да поможет нам в этом Бог», — заметил Трумен⁵⁵. В обращении к собственной нации Трумен сказал, что «были достигнуты фундаментальное согласие и договор по вопросам, стоящим перед нами... Три великие державы сегодня ближе друг к другу, чем когда-либо в своем стремлении достичь мира. От Тегерана и Крыма, через Сан-Франциско и Берлин мы должны продолжать маршировать вместе к продолжительному миру и счастливому человечеству»⁵⁶. Как мы знаем, этот марш не состоялся...

Через много лет, вспоминая о Потсдамской конференции в неотправленном письме своему бывшему государственному секретарю Дину Ачесону, Трумен писал: «У России там не было иной программы, кроме захвата свободной части Европы, убийства как можно большего числа немцев и одурачивания западных союзников. Англия хотела контроля над восточным Средиземноморьем, сохранения Индии, нефть из Персии, Суэцкий канал и все остальное, что осталось в подвешенном состоянии. И был там на одном углу круглого стола невинный идеалист, который хотел освободить водные пути, канал Дунай—Рейн—Киль, освободить полностью проливы Черного моря и Панамы, восстановить Германию, Францию, Италию, Польшу, Чехословакию, Румынию и Балканы и добиться соответствующего отношения к Латвии, Литве, Финляндии, дать свободу Филиппинам, Индонезии, Индокитаю, Китайской Республике и освободить Японию.

Ну и спектакль это был! Но большое количество соглашений было все же достигнуто назло препятствиям — но только для того, чтобы быть нарушенными, как только неопикуемый русский диктатор вернулся в Москву! И мне еще нравился этот маленький сукин сын! Он был на целых пятнадцать сантиметров ниже меня, и даже Черчилль был на семь сантиметров выше Джо! И все

⁵⁴ *Robert H. Ferrell*, Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 58.

⁵⁵ *Richard S. Kirkendall*, Ed. *The Harry S. Truman Encyclopedia*. G.K. and Co. Boston, 1989, p. 285.

⁵⁶ *Ibid*, p. 285.

же я был самым маленьким в росте и интеллекте! Так, по крайней мере, написала пресса. Что же, посмотрим...»⁵⁷.

6 августа американский самолет «Б-29» сбросил атомную бомбу, прозванную «Малышом», на Хиросиму. И хотя Хиросима — город, где располагался штаб японской армии, и Нагасаки — центр военной и военно-морской промышленности — на самом деле были избраны из-за своего стратегического значения, японцы все же не были предупреждены об атаке. Советники Трумена опасались, что, получив такую информацию, японцы переведут военнопленных из армий стран антигитлеровской коалиции в места возможных атомных ударов. В один момент было убито более 75 тыс. жителей города, десятки тысяч вскоре умрут от радиации. Никогда еще в истории человечества не было такого количества жертв от одного взрыва. Новость достигла корабля, на котором президент возвращался из Европы домой, только через 12 часов. Военный министр Стимсон писал в телеграмме: «Большая бомба сброшена на Хиросиму в 7:15 вечера по вашингтонскому времени. Первые отчеты свидетельствуют о полном успехе, более впечатляющем, чем был недавний тест». Трумен воскликнул: «Это самое выдающееся событие в истории»⁵⁸.

Противники Трумена до сих пор, вспоминая об этом замечании, говорят о его бесчувственности. Сторонники Трумена, защищая его, говорят, что эта бомба была для него, по сути, окончанием войны. А это означало, что жизни 250 тыс. американских солдат, которые, по расчетам американского командования, должны были бы погибнуть при вторжении в Японию, были сохранены. К этому можно прибавить также не менее четверти миллиона японцев, которые погибли бы в случае военного вторжения союзников⁵⁹. И, конечно, нельзя забывать о колоссальных потерях, которые понесли бы советские войска. 8 августа СССР объявил войну Японии. Это произошло на шесть дней раньше согласованного в Потсдаме с союзниками срока, ибо в Кремле не без оснований полагали, что война может закончиться без СССР и тот не получит возможности принять участия в распоряжении результатами победы на Востоке.

Однако и после уничтожения Хиросимы и вступления СССР в войну японские власти не объявили о капитуляции. 9 августа Трумен принимает решение сбросить еще одну бомбу. Первоначальными целями были Кокура и Ногата, но из-за плохой погоды было решено направить самолет с бомбой в Нагасаки. В 11 утра бомба, прозванная «Толстяком», уничтожила 70 тыс. человек. Сегодня взрыватель «Толстяка» хранится в музее Трумена в Индепенденсе. Пентагон тем временем приготовил третью бомбу, на этот раз для Токио.

10 августа император Японии прислал сообщение о капитуляции, но она не была безоговорочной, и Трумен отверг ее. Он требовал безоговорочной капитуляции, и как можно скорее, ибо хотел закончить войну до того, как СССР оккупирует Манчжурию. Однако, как заявил он на заседании правительства, он все же не даст разрешение на использование третьей бомбы. Как вспоми-

⁵⁷ Robert H. Ferrell, Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, pp. 348-349.

⁵⁸ Harry S. Truman. *Memoirs*, vol. 1, p. 421.

⁵⁹ Harry S. Truman to James F. Cate, 1953, January 12. President's Secretary's File, Harry S. Truman Library and Archive.

нал Генри Уоллас, Трумен «сказал, что мысль об уничтожении еще 100 тыс. человек была слишком ужасной. Ему не нравилась мысль об убийстве, как он выразился, «всех этих детей»⁶⁰. Один из создателей бомбы Роберт Оппенгеймер осенью 1945 г. попросил о встрече с президентом и заявил ему, что находится в ужасном состоянии и чувствует кровь на своих руках. Трумен был очень разозлен видом «хныкающего» ученого. «Кровь на *моих* руках, — сказал он. — Это всё *мои* проблемы» — и передал помощникам, что надеется больше никогда не видеть этого человека⁶¹.

14 августа по радио Японии было зачитано императорское заявление о безоговорочной капитуляции. Вечером этого дня Трумен объявил об окончании Второй мировой войны. Когда корреспонденты бегом покидали Овальный кабинет, чтобы передать сообщения об окончании войны в свои редакции, Трумен и его жена вышли вслед за ними из Белого дома. Огромная толпа приветствовала их. Президент поднял руку и развел пальцы буквой V. Затем он вернулся назад и позвонил на ферму своей матери.

Однако окончание войны не привело к установлению надежного мира. 1946 г. прошел под знаком нарастания остроты локальных конфликтов, способных перерасти в новую мировую войну. Особенно тяжелая ситуация складывалась в Иране, Китае, Центральной Европе... В феврале из Москвы была получена знаменитая «длинная телеграмма» посла Джорджа Кеннана, где он в восьми тысячах словах анализировал советскую политику и намерения лидеров СССР. Кеннан писал о том, что сталинский режим «фанатически убежден» в невозможности «мирного сосуществования» с миром капитализма, в первую очередь США, что правители СССР, как это всегда было в истории России, делают ставку на военную агрессию с целью «обеспечения внутренней безопасности своего слабого режима». Но они, как писал Кеннан, очень чувствительны к «логике силы» и всегда отступают перед ней⁶². Через год он опубликует статью в журнале «Форейн Аффферс», где впервые предложил концепцию «сдерживания» Советского Союза. Статья была подписана «Х», и многие читатели воспринимали ее в качестве официальной позиции администрации Трумена.

Одновременно Трумен поручил двум своим ближайшим помощникам Кларку Клиффорду и Джорджу Элси подготовить отчет по вопросам американо-советских отношений. В отчете делался вывод, что СССР будет препятствовать любым попыткам США добиться долгосрочного мира, ибо это сделает невозможным для Красной Армии продолжать «легально» находиться в «враждебных странах». «Генералиссимус Сталин и его окружение, — говорилось в документе, — предпочитают мощные вооруженные силы любым возможным союзам с заграницей и как можно быстрее создают мощную и самообеспечивающую экономику. Они имеют любые возможности увеличить — прямо или косвенно — область своего контроля для обеспечения дополнительной безопасности в жизненно важных районах Советского Союза». Далее говорилось, что «язык военной силы», явля-

⁶⁰ *Henry Wallace, Price of Vision*, p. 474.

⁶¹ *David McCullough, Truman*, p. 475.

⁶² *George F. Kennan, Memoirs. 1925-1950. An Atlantic Monthly Press Book*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1967, pp. 548, 550-551.

ется единственным средством разговора с Кремлем, и делался вывод о том, что США «должны поддерживать и помогать всем демократическим странам, которым угрожает СССР». Интересно, что, прочитав отчет, Трумен спросил у Клиффорда, сколько копий было сделано, и приказал все копии спрятать немедленно под замок. «Отчет слишком горяч», — сказал он⁶³. Это было осенью 1946 г.

Записывая для себя, что надо сделать, Трумен отметил: «1. Объявить российскому послу «персоной нон грата», этот конюх должен оставаться в конюшне. Он не может быть в Вашингтоне. 2. Уговорить Сталина приехать с визитом. Мы пошлем броненосец «Миссури» за ним, если он приедет в Одессу или Ленинград, и привезем его охрану. 3. Решить корейский вопрос на основе московского соглашения... или, еще лучше, дать Корею собственное правительство. 4. Решить проблему Манчжурии (оккупированной коммунистическим Китаем, поддерживаемым Советами) на основе китайско-советского договора и поддержки Чан Кайши в целях усиления Китая. 5. Согласиться обсудить российские долги по ленд-лизу Соединенным Штатам. Жизненно важно. 6. Согласиться на договор по торговым полетам на взаимной основе. 7. Объяснить ясно, что у нас нет территориальных амбиций. Мы хотим только мира. Но мы будем за него сражаться!».

Трумен даже написал маленькое эссе для самого себя в добавление к этим семи пунктам, где, в частности, писал: «Умники, журналисты, радиокомментаторы и др. интересуются, почему Россия стала более сговорчивой сейчас, чем год назад. Никто из них не подумал сказать в печати или в эфире, что, возможно, кто-то сказал им, что соглашение может быть достигнуто на мирной основе, если они этого хотят. Но если мирная основа — это не то, чего Россия хочет, Соединенные Штаты готовы говорить с ними на другой основе. Президент заявил на встрече в Берлине в июле 1945 г., что свободный Дунай необходим для мира в Центральной Европе и для экономики Центральной Европы. Триест должен быть свободным портом для всей Центральной Европы. Что Дарданеллы, Кильский канал, земля между Рейном и Дунаем должны быть свободны на такой же основе для всех стран, что Манчжурия должна быть китайской, что Дайрен должен быть открытым портом, что Россия должна получить Курилы и Сахалин, что мы будем контролировать Японию и Тихий океан, что Германия должна быть полностью оккупирована экономически четырьмя державами, как это было договорено в Ялте; что отношение к Австрии не должно быть, как к враждебной стране. Со всем этим Россия была согласна.

Но они незаконно присоединили часть Восточной Пруссии до самого Одера на западе к Польше, они сами аннексировали Латвию, Эстонию, Литву и присоединили часть Восточной Пруссии к России, так же, как большую часть восточной Польши.

Я говорил год назад, что мы должны защищать справедливость и не позволим сронять себя с землей. Мы должны быть настойчивы в этой политике... Потому что они — такие же скоты, быки и ничего больше. Мы хотим только мира и справедливости. Мы добьемся этого. Нет никакой разницы между тоталитарными режимами, называй их нацизмом, фашизмом или коммунизмом —

⁶³ *David McCullough, Truman*, pp. 544-545.

все они одно и то же. Нынешний диктаторский режим в России ужасен так же, как всегда был ужасен царский»⁶⁴.

Отношение к СССР администрации Трумена становилось таким же, как отношение к фашистской Германии. В марте 1947 г. Трумен послал эмоциональное письмо дочери, где, в частности, писал, что «попытки Ленина, Троцкого, Сталина и других одурачить мир и американскую ассоциацию полоумных, представленную Джозефами Дэвисами, Генри Уолласами, Клодом Пепером, актерами и артистами из аморальной Гринвич Виллэдж, это то же самое, что гитлеровское и муссолиниевское так называемые социалистические государства. Твой папа должен был сказать это миру вежливым языком»⁶⁵.

5. Доктрина Трумена, План Маршалла и война нервов

Рекордно холодная зима 1946-1947 гг. в Европе поставила многие страны Запада в ситуацию, когда они больше не были в состоянии выполнять свои международные обязательства. 21 февраля 1947 г. посол Англии в США лорд Инверчепел позвонил в Госдепартамент и попросил о срочной встрече с государственным секретарем. 66-летний генерал, командующий объединенными штабами при Рузвельте Джордж Маршалл, только что сменивший на этом посту Джеймса Бирнса, немедленно принял английского посла, и эта встреча резко изменила международное развитие второй половины XX века.

Посол сообщил, что военные потери, экономический кризис и самая суровая зима в новейшей истории вынуждают правительство Англии прекратить экономическую помощь Греции и Турции, находящимся под угрозой советской агрессии и гражданской войны, в случае которой верх наверняка возьмут коммунисты. Лондон, сообщил посол, прекращает свою помощь через несколько недель, и если США не возьмут на себя эту обязанность, обе страны очень быстро окажутся в коммунистическом лагере. Было очевидно, что Турция с ее 19 миллионами населения, пятисоттысячной армией и протяженной границей с СССР станет легкой добычей Кремля, который готовит ей участь Польши. Еще хуже было в Греции, где английская армия не справлялась с контролем ситуации, инфляция приобрела катастрофические размеры, и в ответ на советскую военную помощь правительство страны было готово пойти на территориальные уступки Югославии, Албании и Болгарии. «У меня нет сомнений, — написал Трумен в неотправленном письме госсекретарю Джеймсу Бирнсу еще в 1946 г., — что Россия намерена вторгнуться в Турцию и захватить черноморские проливы в Средиземноморье. До тех пор, пока Россия не будет видеть железный кулак и жесткий язык, мы будем приближаться еще к одной войне. Единственный язык, который они понимают, это — «Сколько у вас дивизий?»⁶⁶.

Эта встреча привела к самому тяжелому кризису администрации Трумена, которая оказалась совсем не готова к быстрым решениям. Но времени на разду-

⁶⁴ Undated, President's Secretary's File, Box 60. «Campaign Strategy data». Harry S. Truman Library and Archive.

⁶⁵ Harry S. Truman to Margaret Truman, 1947, March 13, reprinted in Margaret Truman, Harry S. Truman, New York, Morrow, 1972, p. 343.

⁶⁶ Robert H. Ferrell, Ed. Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, p. 80.

мя уже не было. Правительство США немедленно стало работать над возможными путями решения проблемы. Трумен, Маршалл и его заместитель Дин Ачесон полностью погрузились в работу. Никогда в мирной истории США, включая даже разработку в 1940 г. программы ленд-лиза, администрация и правительство не работали в таком бешеном темпе. 27 февраля лидеры Конгресса были приглашены в Белый дом. «Кризис колоссальной важности и срочности возник в Греции и в какой-то мере в Турции, — сказал им Джордж Маршалл. — Этот кризис имеет прямое и непосредственное отношение к безопасности США... Советское доминирование может расшириться на весь Ближний Восток до границ Индии. Невозможно переоценить влияние этого на Венгрию, Австрию, Италию и Францию. Не будет преувеличением сказать, что мы стоим перед первым кризисом из серии, которая может привести к советскому доминированию в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии»⁶⁷. На заседании правительства через несколько дней Трумен сказал, что «он стоит перед необходимостью принять решение более серьезное, чем когда-либо принятое любым президентом»⁶⁸. Для самого Трумена период неопределенности уже кончился — он понимал, что никакие внутренние проблемы и настроения не смогут удержать США в изоляции от остального мира. И хотя при подготовке речи в Конгрессе было решено, что он не назовет в открытую Советский Союз, как писал сам Трумен, «это был ответ Америки на расширяющуюся экспансию советской тирании. Это должно быть ясно без разночтений и недомолвок»⁶⁹.

В среду 12 марта 1947 г. Трумен выступил с речью в Конгрессе, которая стала, вероятно, самым знаменитым и самым противоречивым президентским выступлением в американской истории XX века. Одетый в черный костюм и темный галстук, президент США медленно читал текст из своего блокнота. Трумен просил у Конгресса 400 миллионов долларов экономической и военной помощи. Но он просил эти деньги не для того, чтобы создать еще одну программу зарубежной помощи, а для того, чтобы начать совершенно новую внешнюю политику, политику, которой никогда еще не было в истории этой страны. «Одной из главных целей внешней политики Соединенных Штатов, — медленно читал президент, — является создание условий, в которых мы и другие народы будем жить в свободе от принуждения. Это было главным вопросом в войне против Германии и Японии. Мы победили страны, которые хотели навязать свою волю и образ жизни другим народам...

Для того, чтобы обеспечить мирное, свободное от насилия развитие народов, Соединенные Штаты сыграли лидирующую роль в создании Организации Объединенных Наций. ООН создана для того, чтобы обеспечить вечную свободу и независимость для всех своих членов. Мы, однако, не сможем достичь наших целей, если не захотим помочь свободным народам сохранить их демократические системы и национальное единство против агрессивных движений, стремящихся навязать им тоталитарные режимы. Это не более, чем честное признание того, что тоталитарные режимы, навязанные свободным народам через

⁶⁷ Foreign Relations of the United States, 1947, 5: 29-62; Harry S. Truman, *Memoirs*, 2: 104.

⁶⁸ *Walter Millis*, Ed. *The Forrestal Diaries*. New York, Viking, 1951, 250-252.

⁶⁹ Harry S. Truman. *Memoirs*, vol. 2, p. 105.

прямую и косвенную агрессию, разрушают фундамент международного мира и безопасность Соединенных Штатов».

«Народы ряда стран, — говорил президент, — недавно были поставлены в условия тоталитарного режима, который был навязан им вопреки их желанию. Правительство Соединенных Штатов постоянно протестовало против принуждения и запугивания в Польше, Румынии и Болгарии в нарушение ялтинских соглашений. Я должен также отметить, что аналогичное развитие происходит еще в ряде стран. В настоящий момент мировой истории почти каждый народ должен сделать выбор между различными образами жизни. И часто этот выбор не свободен. Один образ жизни базируется на воле большинства и имеет свободную политическую систему, представительное правительство, свободные выборы, гарантии личной свободы, свободы выступлений и религии, свободы от политических репрессий. Второй образ жизни основан на воле меньшинства, силой навязанной большинству. Он базируется на терроре и репрессиях, контролируемой прессе и радио, предreshенных выборах и отсутствии личной свободы»⁷⁰.

Президент ясно давал конгрессменам понять, что речь идет о более серьезных вещах, чем просто безопасность страны. «Я считаю, — говорил он, — что политика Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке свободных народов, которые сопротивляются попыткам вооруженного меньшинства или через внешнее давление подчинить их. Я считаю, что мы обязаны помогать свободным народам самим определять свою судьбу. Я считаю, что наша поддержка должна быть в основном оказываема через экономическую и финансовую помощь, являющиеся принципиальными для стабилизации экономики и упорядочения политического процесса»⁷¹.

Обращаясь к Конгрессу, Трумен напомнил, что цена Второй мировой войны для США составила 341 миллиард долларов, которые «стали нашим вкладом в мир на Земле и свободу», и просил еще 400 миллионов долларов в период до 30 июня 1948 г. для Греции и Турции. «Семена тоталитаризма вырастают в нужде и нищете, — закончил он. — Они распространяются и прорастают на злой земле бедности и раздора. Они вырастают во весь рост, когда умирает людская надежда на лучшую жизнь»⁷².

Все это заняло 18 минут. Аудитория сидела в полной тишине, почти никто не двигался, некоторые следили за речью по заранее напечатанному и розданному тексту. Только политический противник президента республиканский сенатор Роберт Тафт, сын президента Вильяма Тафта, демонстративно зевал.

Когда Трумен сходил с трибуны, наконец раздались аплодисменты. Всем было ясно, что США стоят перед поистине историческим выбором. Но подавляющее большинство в Конгрессе понимало, что на самом деле выбора уже нет. Хотя реакция на выступление была в основном положительная, оно вызвало немало протестов и споров. Так, Роберт Тафт заявил: «Если мы предполагаем особое положение Греции и Турции, у нас нет причин протестовать

⁷⁰ *Thomas G. Paterson*, Ed. *Major Problems in American Foreign Policy*. Volume 2: Since 1914, D.C. Heath and Co. Lexington, Massachusetts and Toronto, 1978, p. 290.

⁷¹ *Ibid*, pp. 290-291.

⁷² *Ibid*, p. 292.

против продолжающегося доминирования России над Польшей, Югославией и Болгарией». Элеонора Рузвельт обратилась с письмом к Трумену, где утверждала, что деньги нужны на укрепление прогрессивной политики внутри страны, а не то, чтобы бороться с коммунизмом за рубежом. В ответ президент писал, что мы не должны «просмотреть тот факт, что так же, как мир нуждается в прогрессивной Америке, американский образ жизни выживет, только если другие народы мира, которые хотят выбрать этот путь, смогут сделать это без страха и с надеждой на успех»⁷³. «Нью-Йорк Таймс» сравнила речь Трумена с «доктриной Монро» 1823 г.

Обе палаты Конгресса одобрили предложения президента. 22 мая во время поездки к своей матери в Миссури в маленькой гостинице фермерского домика Трумен подписал соответствующий указ. Программа помощи Греции и Турции стала законом. Это открыло новую эру в американской политике, эру глобализма. Однако, как говорил Дин Ачесон, «доктрина Трумена» не является доктриной, охватывающей весь мир. Президент США старался восстановить лишь баланс силы в Европе и не имел на этом этапе ни намерений, ни возможностей добиваться мирового господства. Однако ситуация в мире будет упорно толкать его в этом направлении.

Следующий шаг администрации США последовал очень быстро. По решению президента 5 марта 1947 г. была создана специальная комиссия, включающая заместителя госсекретаря Дина Ачесона, военного министра Роберта Паттерсона и военно-морского министра Джеймса Форрестала для изучения «ситуаций в тех частях мира, где может понадобиться аналогичная финансовая, техническая и военная помощь с нашей стороны». Позже к этой группе подключился Джордж Маршалл, который только что вернулся из поездки в Москву на совещание министров иностранных дел. В Москве ему стало ясно, что Сталину выгоден хаос в Европе и советское правительство будет делать все, чтобы его усугубить. Американцы хотели договориться о будущем Германии, но Молотов, по словам Маршалла, на переговорах делал все, чтобы показать, что СССР в этом не заинтересован. Тогда Маршалл решил позвонить напрямую Сталину, но Сталин сказал, что нет никакой разницы, будет или нет достигнута договоренность. «Мы можем договориться в следующий раз, — сказал он изумленному американцу. — Или, если не в следующий, то потом». Выступая по национальному радио США, Маршалл заявил: «Восстановление Европы идет медленнее, чем ожидалось. Пока доктора раздумывают, пациент умирает»⁷⁴.

Маршалл попросил своего помощника Чарльза Болену с помощью Джорджа Кеннана и заместителя министра экономики Вилла Клейтона подготовить для него черновик выступления на собрании выпускников Гарварда и включить туда идею срочной экономической помощи Европе. 5 июня 1947 г. Маршалл выступил с речью, положившей начало программе европейского восстановления, стартовавшей весной 1948 г. и получившей название «План Маршалла». Государственный секретарь в своем выступлении особо подчеркнул, что его предложения «не направлены против какой-либо страны или

⁷³ *Richard S. Kirkendall*, Ed. *The Harry S. Truman Encyclopedia*, p. 366-1, 2.

⁷⁴ *David McCullough*, *Truman*, p. 561.

какого-либо мировоззрения, но против голода, бедности, разрушения и хаоса» и служат «восстановлению работающей экономики во всем мире» и при этом «способствует созданию политических и социальных условий для существования свободных институтов».

Предложения Маршалла затрагивали только Европу. Китай оставался в стороне. В Белом доме считали, что, какую бы финансовую или военную помощь Америка ни была бы готова выделить, предотвратить коммунизацию Китая уже невозможно. И хотя определенные надежды еще возлагались на Чан Кай-ши, чье правительство Трумен называл «самым коррумпированным правительством в мировой истории»⁷⁵, Китай был вычеркнут из списка внешнеполитических приоритетов США, за что Америка будет долго и тяжело расплачиваться в будущем...

Когда Маршалл выступал со своей речью в Гарварде, никакого «плана» еще не было. Была только идея необходимости срочной финансовой помощи странам Европы. Европейские лидеры с самого начала горячо ее поддержали. «Я хватаю это предложение обеими руками», — заявил, к примеру, британский министр иностранных дел Эрнест Бевин еще до получения текста речи Маршалла. 11 июня, выступая в парламенте Канады, Трумен уже публично поддержал еще не существующий «план Маршалла» и отдал распоряжение начать его конкретную разработку.

После окончания войны Соединенные Штаты получили от правительств большинства европейских стран просьбы о помощи в восстановлении их национальных экономик. «План Маршалла» предлагал европейцам взглянуть на проблему шире, объединиться и вместо восстановления национальных экономик заняться восстановлением экономики всего континента. Европейцы создавали своего рода всеобщий «пакет нужд», с тем чтобы американская экономическая, в первую очередь, финансовая помощь была использована наиболее эффективно в решении главных задач — восстановлении европейской промышленности, поддержке денежной системы, стимулировании европейской и евро-американской торговли, спасении системы социального обеспечения и, наконец, создании индустриальной базы для противостояния коммунизму. В свою очередь, США обязывались перевести европейцам значительные суммы денег под целевые экономические программы. Часть этих денег передавалась на очень льготных условиях, часть — просто безвозмездно в рамках американской программы помощи иностранным государствам и в расчете на то, что восстановление Европы в качестве главного торгового партнера США крайне выгодно для Америки.

С самого начала было очевидно, что «план Маршалла» и «доктрина Трумена» являются, как говорят в миссурийской провинции, откуда Трумен родом, «двумя половинками одного и того же ореха». Президент видел, что этот план может служить трем целям одновременно. Во-первых, он приведет к «восстановлению производства за рубежом, что очень важно для демократии и мира, основанного на демократии и мире», то есть именно к тому, чему, по мнению

⁷⁵ Harry S. Truman to A.E. Weston, 1951, April 25. President's Secretary's File, Harry S. Truman Library and Archive.

американцев, СССР всячески препятствовал. Во-вторых, этот план крайне важен для восстановления международной торговли, «от которой выигрывают наши бизнесмены, фермеры и рабочие». В-третьих, гуманитарное значение «плана Маршалла», то есть восстановление Европы теми, кто, как говорил Трумен, помогал ее разрушать.

Трумен с самого начала считал, что СССР и его восточноевропейским партнерам должен быть дан шанс принять участие в плане. По политическим, моральным и личным соображениям он не хотел брать на себя ответственность за окончательное разделение Европы на Западную и Восточную, что неизбежно должно было случиться в случае отказа пригласить коммунистический блок. Однако Трумену было ясно, что СССР вероятнее всего отвергнет приглашение. Он также отлично понимал, что если СССР примет приглашение, это резко уменьшит шансы на благоприятное прохождение плана через Конгресс. Поэтому когда в Париже Вячеслав Молотов на встрече с министрами иностранных дел Франции Джорджем Бидо и Англии Эрнестом Бевиным от имени СССР ответил отказом, в Вашингтоне никто не только не удивился, но многие вздохнули с облегчением. Отказ Москвы привел к тому, что все страны Восточной Европы, в том числе еще независимая Чехословакия, также ответили отказом. 3 июля официальные приглашения все же были посланы всем 22 странам Старого Света, включая Турцию, но исключая франкистскую Испанию. Положительный ответ поступил только от 16 западноевропейских стран. Стоимость первого этапа программы составила 17 миллиардов долларов. 70 процентов этой суммы должно было пойти в Англию, Францию, Италию и Западную Германию. 3 апреля 1948 г. Конгресс США одобрил план.

Ближайший помощник президента Кларк Клиффорд предложил назвать программу помощи Европе «планом Трумена» или «концепцией Трумена». «Нет, — сказал президент. — В обеих палатах у нас республиканское большинство. Любая вещь, идущая туда под моим именем, пару раз дернется, перевернется на спину и умрет... Я решил отдать все это генералу Маршаллу. Наихудшие республиканцы на Капитолийском холме проголосуют за это, если мое имя будет спрятано за именем генерала»⁷⁶. Много раз в свою бытность президентом Трумен говорил, что трудно представить, сколько можно добиться, если не думать о том, кто на этом прославится. Используя имя очень популярного у сторонников обеих партий госсекретаря, президент значительно облегчил прохождение плана через Конгресс. Популярность же самого президента в апреле 1948 г. составляла 36 процентов.

Экономический успех Программы европейского восстановления, как она формально называлось, превзошел все ожидания. К 1950 г. уровень промышленного производства в Европе превысил довоенный на 40 процентов, сельского хозяйства — на 20 процентов, долларовый дефицит был почти полностью уничтожен, резко уменьшился уровень безработицы. Были созданы Европейский финансовый Союз и Европейское сообщество по углю и стали, заложившие основы будущего общеевропейского рынка. В 1952 г. страны Западной Европы полностью оправились от последствий мировой войны и вступили в пе-

⁷⁶ *Clark Clifford*, Council to the President. New York, Random House, 1991, p. 144.

риод растущего благосостояния, который продолжается до сего дня. Американская экономика, как и доказывал Трумен оппонентам плана, неизмеримо выиграла экономически от восстановления Европы — своего основного партнера.

На одной из пресс-конференций президента спросили о том, ожидают ли Соединенные Штаты какой-либо благодарности за посылку такой огромной помощи Европе. «Я делаю это, — ответил он, — не в расчете на благодарность. Я делаю это потому, что считаю, что это правильно. Я делаю это потому, что это обязательно должно быть сделано, если мы сами хотим выжить». В частном письме он писал в эти дни: «Во всей мировой истории мы являемся первой великой страной, которая кормит и поддерживает побежденных. Мы являемся первой великой страной, которая создала независимые республики на захваченной территории на Кубе и Филиппинах. Наши соседи не боятся нас. На их границах нет крепостей, нет солдат, нет танков, не стоят пушки»⁷⁷.

«План Маршалла» также сыграл огромную политическую роль в мире. Так, сразу после его утверждения в Конгрессе первые американские деньги были посланы Италии, что решило исход выборов 18 апреля, на которых коммунисты потерпели сокрушительное поражение. Популярность коммунистов стала падать во всех западноевропейских странах, особенно во Франции. В рамках «плана Маршалла» было практически создано независимое государство Западная Германия, созданы условия для заключения Североатлантического договора.

Трумен всегда расценивал «план Маршалла» в качестве одного из самых главных своих достижений. «План Маршалла», — сказал он однажды, — спас Европу, в достижении чего я был очень счастлив участвовать». В сентябре 1947 г. Трумен получил записку от Черчилля, где, в частности, говорилось: «Я преклоняюсь перед политикой, в которую Вы направили свою великую страну, и благодарю Вас из самой глубины моего сердца за все, что Вы делаете для спасения мира от голода и войны».

В конце 1947 г. известный американский журналист Уолтер Липпманн опубликовал книгу, в название которой он поставил слова из недавней речи Бернарда Баруха «Холодная война». С этого момента эти слова, так же как и «Железный занавес» Черчилля, навсегда стали частью мирового политического словаря. Однако сам Трумен не любил и не использовал выражение «холодная война», а называл это «войной нервов».

6. Берлинский кризис: «ничья» в Европе

Ситуация в Европе между тем продолжала оставаться крайне напряженной. Принятие «плана Маршалла» вызвало повышение активности внешней политики Кремля. В феврале 1948 г. коммунисты взяли власть в Чехословакии, что напомнило всему миру ее захват в 1939 г. Гитлером. Наиболее прозападный политический деятель Восточной Европы, министр иностранных дел Чехословакии Ян Масарик, был выброшен из окна. Становилась все более реальной угроза военных действий в Германии. СССР не выполнял договоры

⁷⁷ Robert H. Ferrell, Ed. *Off the Record*, p. 133.

по Германии и Австрии, заключенные в Ялте и Потсдаме. В ответ на это Запад объединил свои зоны оккупации и создал новую валюту, что сделало невозможным со стороны СССР влиять на экономику страны. В свою очередь 24 июня 1948 г. Кремль блокировал все дороги в Берлин, обрекая город на судьбу блокадного Ленинграда. Берлинский кризис стал первым серьезным конфликтом между Западом и Востоком, когда все ощутили дыхание уже новой войны, на этот раз горячей. Газеты писали, что послевоенный мир в один день превратился в предвоенный.

Советская блокада Берлина поставила Трумена перед тяжелым выбором. С одной стороны, США могли попытаться прорвать блокаду и, вероятнее всего, таким образом начать Третью мировую войну в Европе, что было на руку Кремлю. С другой стороны, можно было отдать Западный Берлин русским, что повлекло бы за собой катастрофические последствия для западных позиций в Германии и во всей Европе, а репутация США была бы безнадежно подорвана. Это тоже вполне устраивало Сталина. Главный вопрос для США был: стоит ли Берлин того, чтобы ответить на блокаду военными действиями? А если не стоит, то надо просто вывести западные гарнизоны из города. Их численность составляла 6,5 тыс. чел. — 3 тыс. американцев, 2 тыс. англичан и 1,5 тыс. французам, в то время как советский гарнизон насчитывал 18 тыс. человек в самом городе и 300 тыс. в Восточной зоне Германии⁷⁸.

Трумен не знал, что предпринять. Сначала он заявил, что «мы из Берлина не уйдем. Точка». На следующий день он разъяснил, что имел в виду, что западные силы должны оставаться в городе «как можно дольше», но, однако, не считает, что Берлин стоит того, чтобы начать из-за него новую войну, на этот раз с Советами. Затем он сказал Джеймсу Форрестолу, что «наша политика остается без изменений. Мы будем находиться в Берлине до тех пор, пока все дипломатические меры не окажутся безуспешными в целях недопущения войны». Однако его личный дневник показывает, что из Берлина он уходит не собираясь. «Я принял решение... *оставаться в Берлине*, — писал он. — Мы остаемся в Берлине в любом случае. Я не передаю никому ответственность и не отменяю никакие собственные решения»⁷⁹.

В таком случае оставался один путь — попытаться спасти Берлин и его жителей от голода, холода и болезней путем переброски всего необходимого — продуктов, горючего, медикаментов и т.д. — по воздуху. Командующий западными войсками в Берлине американский генерал Джулиус Клей по собственной инициативе уже 25 июня использовал самолеты для переброски грузов в блокадный город. Однако здесь возникало сразу несколько серьезных проблем: снабжение огромного города с большим населением потребует колоссальных средств и горючего, значительного количества самолетов и экипажей; налаживание и поддержка массивированного «воздушного моста» требовала огромной организационной работы, координации деятельности многих служб нескольких стран. Была большая вероятность того, что Кремль попытается заблокировать воздушные пути

⁷⁸ Phillips W. Davidson, The Berlin Blockade. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1958, p. 105.

⁷⁹ Robert H. Ferrell, Ed. Off the Record, p. 145.

в Берлин, что может прямо привести к новой войне. Но в последнем случае ответственность за ее развязывание ложилась бы на СССР. Однако Трумен пошел на риск и отдал распоряжение начать операцию «воздушный мост»⁸⁰.

Ничто не обещало успеха. Администрация США обсуждала различные сценарии, в том числе вопрос о возможности применения атомного оружия. 13 сентября Трумен записал в своем дневнике: «Форрестол, Бредли, Ванденберг (генерал, не сенатор), Саймингтон информировали меня о базах, бомбах, Москве, Ленинграде и т.д. После этого у меня было ужасное чувство, что мы очень близки к войне. Надеюсь, что нет. Обедал с Маршаллом и почувствовал себя лучше, хотя с Берлином полная неразбериха»⁸¹. Интересную запись о своей беседе с директором департамента бюджета Джэймсом Веббом в тот же день сделал в своем дневнике глава комиссии по атомной энергии США Дэвид Лилиенталь: «Джим Вебб приходил ко мне сегодня. Он сказал, что ситуация в Берлине очень плохая. Похоже на то, что русские готовы дать нам по зубам в каждом вопросе. Их самолеты находятся сегодня в коридоре, и все может случиться. «Абсолютно все — они могут прийти завтра и убить генерала Клея». Форрестол усиленно толкает президента к решению использовать атомные бомбы, но Совет национальной безопасности, полагает Джим, не будет советовать президенту решать этот вопрос прямо сейчас. «Президент всегда был настроен оптимистически в отношении мира. Но сейчас у него хандра, ужасная хандра. Ему очень тяжело, особенно сейчас»⁸².

Трумен все же не пошел на применение атомного оружия. «Я не думаю, — заявил он в решающий момент многодневных обсуждений этого вопроса, — что мы можем позволить себе использовать бомбу, по крайней мере до тех пор, пока это абсолютно необходимо. Как ужасно отдавать приказ об использовании такого колоссального разрушительного оружия, более разрушительного, чем мы когда-либо имели. Вы должны понять, что это не военное оружие. Оно используется для стирания с лица Земли женщин и детей, невооруженных людей, а не в военных целях. Поэтому мы должны научиться относиться к этому оружию по-другому, нежели к стрелковому оружию, пушкам и другим обычным вещам... Сейчас не время жонглировать атомными бомбами»⁸³. Несколько лет назад Трумен считал атомное оружие военным оружием, а Хиросиму и Нагасаки — военными целями. Теперь его позиция была другой. Президент специально вызвал Форрестола в Белый дом и заявил ему, что атомное оружие в США всегда будет оставаться под контролем не военной, а гражданской власти⁸⁴.

Советское руководство так и не решилось на активные действия, хотя зачастую советские истребители «эскортировали» западные грузовые самолеты. «Мы блокированы везде русскими и отчасти французами, — отмечал Трумен

⁸⁰ Memorandum by James H. Rowe, Jr. Miscellaneous Historical Documents, Harry S. Truman Library and Archive.

⁸¹ Robert H. Ferrell, Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 148.

⁸² The Journal of David E. Lilienthal. Vol. 2. *The Atomic Energy Years, 1945-1950*. New York, Harper and Row, 1964, p. 406.

⁸³ Ibid, p. 388-389.

⁸⁴ James Forrestal, *The Forrestal Diaries*, New York, Viking, 1951, p. 461.

в письме Элеоноре Рузвельт. — Русские не выполняют соглашения, подписанные в Потсдаме... Мы находимся в самой серьезной ситуации после 1939 г. Мы готовы встретить ее всем, что у нас есть». Выступая в Конгрессе 17 марта 1948 г., президент США прямо заявил, что, по его мнению, все неурегулированные мировые проблемы сегодня «в основном существуют благодаря тому, что одна страна не только отказывается от сотрудничества в установлении справедливого и почетного мира, но — даже хуже — активно препятствует этому». Этой страной в глазах Трумена был Советский Союз.

Между тем британские и американские летчики работали на износ, совершая полет за полетом из западных зон оккупации Германии, Панамы, Аляски, Гавайев в Западный Берлин. Всего за 14 месяцев существования воздушного моста было совершено почти 278 тыс. полетов. Самолеты приземлялись каждые четыре минуты. Расстояние между Франкфуртом и Берлином было около 550 километров. Ремонтные бригады работали круглые сутки. В один рекордный день — 16 апреля — было совершено 1400 полетов и доставлено 13 тыс. тонн груза. В этот день самолеты приземлялись каждую минуту. Со своей стороны, жители Берлина мужественно преодолевали трудности зимы 1948-1949 годов, рационально использовали получаемые ресурсы, делали все, чтобы облегчить работу авиации союзников. В результате нормы продуктов для жителей Берлина даже были повышены по сравнению с предблокадным периодом⁸⁵.

Наконец Кремль сдался, и 12 мая 1949 г. блокада Берлина была прекращена. Однако на случай, если СССР снова пойдет на блокаду, было решено создать стратегические запасы в городе и поэтому «воздушный мост» существовал до 30 сентября. За все это время по воздуху в город было переброшено около 3,5 миллионов тонн груза. В глазах всего мира Берлинский кризис стал символом решимости Соединенных Штатов и лично Гарри Трумена сделать все возможное для защиты Западной Европы от советской экспансии. Однако он также стал символом решимости советского руководства не отдавать Западу страны Восточной Европы. По сути дела, «ничья» в Берлине зафиксировала своего рода «статус-кво» разделенной Европы, который вскоре получил свое юридическое оформление.

4 апреля 1949 г. министры иностранных дел США, Канады и десяти западноевропейских стран подписали в Вашингтоне договор о создании Североатлантического военного союза — НАТО, который стал первым военным союзом после аннулирования в 1800 г. французского альянса 1778 г. Выступая на церемонии подписания договора в здании Государственного департамента, Трумен, в частности, сказал, что «если бы такой договор существовал в 1914 и 1939 годах и включал страны, присутствующие здесь сегодня, я полагаю, что он бы предотвратил акты агрессии, которые привели в двум мировым войнам». На торжественном обеде после подписания договора Трумен назвал его актом добрососедства и заявил: «Мы действительно заложили краеугольный камень в истории»⁸⁶. Первым главнокомандующим войсками НАТО был назначен ге-

⁸⁵ *Robert Ferrell*, Harry S. Truman. A Life, p. 259.

⁸⁶ *Harry S. Truman*, Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, pp. 250-251.

нерал Дуайт Эйзенхауэр, который менее чем через четыре года сменит Трумена в Белом доме.

В июле Конгресс ратифицировал договор, что стало окончательным свидетельством того, что политический изоляционизм Соединенных Штатов похоронен навсегда. США не только вступили в альянс с европейцами, что трудно было представить еще три-четыре года назад, не только взяли на себя расходы по чрезвычайно дорогой программе европейского перевооружения, но и впервые в своей истории передали некоторые права на принятию решений, касающихся военных действий с участием военнослужащих США, международной организации. Трумен всегда оценивал НАТО в качестве одного из главных своих достижений, как «исторический шаг к миру во всем мире, свободному миру, миру без страха»⁸⁷.

Через месяц министры иностранных дел встретились опять и предложили СССР объединить советскую зону оккупации с западными в рамках единой демократической Германии. Никто, впрочем, не удивился, когда из Кремля последовал отказ. Сталин не хотел расставаться с самой западной частью своей империи. Конференция закончилась безрезультатно 20 июня, развязав обеим сторонам руки. 21 сентября была создана Федеративная Республика Германия. На первых выборах победу одержал Союз христианских демократов во главе с Конрадом Аденауэром, сделавшим все возможное для развития тесных связей с США и странами Западной Европы. Ее создание, однако, не привело автоматически к независимости страны и прекращению контроля со стороны союзников. Это случится позже, в президентство Дуайта Эйзенхауэра. 7 октября 1949 г. была создана Германская Демократическая Республика, во главе которой стали коммунисты Вильгельм Пик и Отто Гротеволь. Послевоенный раздел Европы формально завершился. В таком виде Старый Свет незыблемо просуществовет четыре десятилетия.

Интересно, что Трумен все это время продолжал верить Сталину и считал, что лишь Политбюро мешает тому выполнять принятые на себя обязательства. Выступая в июне 1948 г. в штате Орегон президент, в частности, сказал: «Я очень сблизился с Джо Сталиным и мне нравится старик Джо! Он честный парень. Но Джо является пленником Политбюро. Он не может делать то, что хочет. Он заключает договоры, и, если бы он мог, он бы, конечно, выполнял их; но люди, руководящие правительством, очень четко говорят ему, что он не может их выполнять»⁸⁸. Президент США хотел послать в качестве своего специального представителя председателя Верховного суда США Фреда Винсона в Москву. «Если мы только дадим Сталину возможность открыться кому-нибудь с нашей стороны, — считал Трумен, — кому бы он полностью доверял, я полагаю, мы кое-чего сможем достичь»⁸⁹.

В течение некоторого времени Трумен даже считал, что если он напрямую поговорит со Сталиным по телефону, многие проблемы можно будет решить.

⁸⁷ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1949. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 385.

⁸⁸ Eben Ayers Diary, 1947, October 18. Eben A. Ayers Papers and Diary. Harry S. Truman Library and Archive.

⁸⁹ Harry S. Truman, Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 215.

Он считал, что политика США будет понята Сталиным, если он, Трумен, лично разъяснит ее советскому вождю. Но советники выступили резко против. «Вы не говорите по-русски, — говорили они Трумену, — и он не знает английского. Кроме того, есть проблемы идентификации. После своего разговора что Вы будете иметь? Нет ни свидетелей, ни документов. И нет никакой возможности говорить о договорах или обещаниях в отношении будущего». Трумен был очень разочарован⁹⁰.

Сегодня легко говорить о том, что правительство США, лично Трумен имели весьма неполную информацию о том, что происходило в Москве. Это справедливо. Но нельзя забывать, что советское правительство представляло собой большую тайну для всего мира, не было надежной информации, советская пресса полностью контролировалась, не допускались контакты граждан страны с иностранцами, особенно журналистами и дипломатами, границы страны тщательно охранялись. Никогда еще американское правительство не имело дело с противником настолько засекреченным, настолько трудным для понимания, как СССР. Значительная часть информации, которой располагали США в это время, была получена из захваченных архивов нацистской Германии — карты, пленки аэросъемок, материалы разведки и т.д. Определенная информация была получена от возвращавшихся из СССР немецких и японских военнопленных, но и этот источник иссяк в конце 1940-х.

Только во второй половине 1950-х гг., после первых успешных полетов разведывательных самолетов У-2, американцам стало ясно, что советская система противовоздушной обороны гораздо слабее, чем их собственная. Это доказали в начале 1960-х и полеты спутников, которые были способны фотографировать советскую территорию даже сквозь облака. Администрация Трумена строила свою политику на основе крайне ограниченной информации, но ее недостаток был не виной, а бедой американского правительства. При этом Трумену удавалось в основном делать правильные тактические и стратегические прогнозы. Справедливости ради надо заметить, что и советская политика в отношении США строилась на еще менее надежной, более искаженной информации о Соединенных Штатах. И, может быть, Трумен был не так уж неправ, когда говорил, что им со Сталиным надо сесть и открыто объяснить друг другу свои позиции...

7. На второй срок. Как можно, проигрывая, победить

1948 г. закончился поразительной победой Трумена на выборах, ставших уникальным событием в истории США. Ни один президентский кандидат, начиная с 1788 г., не имел такую низкую стартовую популярность, как Трумен. И тем не менее он выиграл. Все ведущие журналисты страны предсказывали полную победу республиканского кандидата, губернатора штата Нью-Йорк Томаса Эдмунта Дьюи. 65 процентов редакторов газет было за Дьюи, 78 процентов читателей. Опросы демонстрировали его огромное преимущество. Чле-

⁹⁰ *Tom Connally, My name is Tom Connally. New York, Crowell, 1954, p. 331; Arthur H. Vandenberg, Jr. and Joe Alex Morris, Eds. The Private Papers of Senator Vandenberg. Boston, Houghton Mifflin, 1952, pp. 456-459.*

ны президентской администрации, советники Трумена и его друзья не верили в победу. Джозеф Кеннеди и Бернард Барух отказались от поддержки «заранее проигравшего кандидата». Даже первая леди ожидала поражения и спрашивала у помощников своего мужа: «Неужели он на самом деле полагает, что может победить?»⁹¹.

Дьюи пользовался большой популярностью как первый губернатор, открыто объявивший войну гангстерам Нью-Йорка и посадивший многих из них в тюрьму. На выборах 1944 г. он был соперником Рузвельта—Трумена и, хотя и проиграл, доставил много неприятностей команде демократов. Кампанию против него Рузвельт выиграл с самым маленьким преимуществом в своей жизни. Поэтому в 1948 г. он всеми считался безусловным победителем. Всеми, за исключением одного человека — самого Трумена, который с самого начала был убежден, что победит сам.

Собственная партия не хотела Трумена. За несколько недель до съезда, на котором должен был быть избран кандидат в президенты, ряд демократов начал большую кампанию в поддержку генерала Дуайта Эйзенхауэра, в то время президента Колумбийского университета в Нью-Йорке. Во главе их стоял сын Франклина Рузвельта Джеймс. И хотя никто в стране не знал, был ли Эйзенхауэр демократом или республиканцем, идея стала получать определенную поддержку. Трумен обратился за разъяснениями к самому генералу, который ответил, что «не отождествляет себя в настоящее время ни с какой политической партией и не принимает никаких предложений на занятие общественных должностей». Увидев слова «в настоящее время», Трумен сильно разозлился на генерала и назвал его «засранцем». Позже Эйзенхауэр все же откажется от участия в президентской гонке 1948 г., и оба политика сохранят на время цивилизованные отношения⁹².

Трумен нашел возможность выяснить отношения и с Джеймсом Рузвельтом. «Твой отец попросил меня согласиться на эту работу, — сказал он Рузвельту-младшему, упершись указательным пальцем ему в грудь. — Я не хотел ее. Я был вполне доволен своим положением в Сенате. Но твой отец попросил меня, и я согласился. Давай выясним все до конца — нравиться тебе это или нет, но я буду следующим президентом Соединенных Штатов»⁹³. В своих мемуарах Трумен напишет, что «я зажал его в угол и сказал: «Ты негодяй! Я пытаюсь проводить политику твоего отца, и ты не можешь выдергивать ковер из-под моих ног». В другом месте Трумен описал это так: «Я завел его в заднюю комнату и сказал, что он заслужил, чтобы его стукнули по голове, так как его отец никогда не был бы президентом без поддержки людей, на которых его сын теперь пытается клеветать... он выскочил оттуда, чтобы не получить по голове»⁹⁴.

⁹¹ *Clark Clifford*, Council to the President, p. 189; *Margaret Truman*. Bess W. Truman, p. 318.

⁹² *Eben Ayers Diary*, 1948, July 6. *Ayers Papers and Diary*. Harry S. Truman Library and Archive; *New York Times*, 1948, July, 6, 10.

⁹³ *Robert J. Donovan*, *Conflict and Crisis. The Presidency of Harry S. Truman*. Berkeley, University of California — Berkeley Press, 1974, p. 401.

⁹⁴ Truman interview, 1959, October 21, «Mr. Citizen» file, Box 2, Folder 2. Harry S. Truman Library and Archive

Своим вице-президентом Трумен избрал 70-летнего Албена Баркли, лидера большинства в Сенате с 1937 г. Возраст Баркли сказывался постоянно — Трумен, к примеру, говорил, что тому понадобилось не менее пяти минут, чтобы написать свое имя. Однако это был хороший выбор: Баркли был отличный оратор, мог держать внимание аудитории, особенно в южных штатах, обладал чувством юмора, представлял «старую школу» политиков. Трумену, который к этому времени так и не научился выступать ярко перед толпой и чья внутренняя политика раздражала многих традиционалистов, а новая антисоветская внешняя политика еще не принесла никаких дивидендов, требовался именно такой партнер.

Трумен организовал напряженную избирательную кампанию, в которой главная рабочая роль отводилась ему самому. Эта кампания, как многое при Трумене, явилась началом пересмотра всех традиционных «избирательных технологий». Центром программы были поездки Трумена на специальном поезде по стране, с остановками, во время которых президент обращался к собравшимся с большими речами или неформальными беседами. Трумен путешествовал в специальном 142-тонном «президентском» вагоне «Фернан Магеллан», который располагал всеми мыслимыми удобствами — гостиной, отделанной дубом, роскошной столовой, пятью спальнями, каждая со своей ванной комнатой. Задняя часть вагона была сделана в виде трибуны, на которой могло помещаться 6 или 7 человек и которая была снабжена динамиками и микрофонами. Это был последний вагон в 17-вагонном поезде, который обычно вез 125 человек — 60 журналистов, президентских помощников и обслуживающий персонал. Один вагон был оборудован для пресс-конференций, другой — для приемов. Поезд имел постоянную связь с Вашингтоном.

Расписание поездок было чрезвычайно напряженным. За первые две недели Трумен произнес шесть больших «официальных» речей и около семидесяти «неформальных». В каждой своей речи он старался упомянуть местную историю, всегда представлял свою жену: «это — мой босс», дочь: «это — босс моего босса» и вообще старался представить себя как обычного американца, мало чем отличающегося от местных жителей, занятых в малом бизнесе, на ферме или служащих в банке. Иногда на коротких остановках он появлялся на задней платформе в пижаме или купальном халате и приветствовал собравшуюся толпу. В городе Миссула, штат Монтана, он сказал собравшимся: «Я решил показать вам, как я выгляжу без одежды». Обычно сразу после выступления поезд покидал вокзал, а Трумен и его семья, стоя на задней платформе, еще долго махали руками, прощаясь с собравшимися⁹⁵.

Столь интенсивной кампании не было еще в истории Соединенных Штатов. За 10 дней в начале октября Трумен посетил 10 штатов и произнес восемь больших речей. За последние 10 октябрьских дней — еще 10 штатов и 12 больших выступлений. Практически каждый день президент выступал не менее шести раз, часто — восемь или десять, стоя на задней платформе своего вагона. Немало времени уходило на раздачу автографов. На одной остановке президента попросили показать знание лошадей — он вышел из вагона, ос-

⁹⁵ *Alonzo L. Hamby, Man of the People*, pp. 441-444.

мотрел лошадь, ее зубы и точно ответил на вопрос о ее возрасте. В другом месте он сошел с платформы, чтобы пожать руки группе первоклассников, которые были слишком малы, чтобы рассмотреть президента за спинами взрослых. Как 64-летнему Трумену удавалось вынести такую нагрузку, никто не знает. Он спал между остановками, ел на ходу, изредка подбадривал себя рюмкой коньяка. Столь же интенсивно работали его помощники. Кларк Клиффорд вспоминал, что потом его долго мучили ночные кошмары, в которых он был заперт в президентском поезде⁹⁶.

В день выборов Трумен отдыхал. Вечером он попарился в турецкой бане, съел бутерброд с индейкой, выпил стакан молока, послушал по радио первые результаты — он проигрывал. Затем выпил коньяку и лег спать. Проснувшись в полночь, он опять прослушал новости — как предвещали все комментаторы, он должен быть проиграть. Трумен лег снова спать и в четыре часа утра был разбужен своим охранником, который сообщил ему, что он победил. Трумен немедленно выпил с ним за победу и отправился завтракать. В десять утра он получил сообщение от Дьюи с признанием поражения⁹⁷. В день выборов газета «Чикаго трибьюн» вышла под огромным заголовком «Дьюи победил Трумена!» — именно с этой газетой, поднятой над головой, Трумен сфотографируется сразу после объявления результатов. Они были шокирующими — он получил 24,1 миллион голосов, его соперник — 21,9 миллионов. Трумен получил 303 голоса выборщиков, Дьюи — только 189. Газета «Вашингтон пост», отдававшая безусловно победу Дьюи, пригласила Трумена на прием, где авторы статей и несбывшихся политических прогнозов торжественно съели свои статьи. Специалисты по опросу общественного мнения, включая знаменитого доктора Джозефа Гэллопа, выступали с публичными извинениями за свои прогнозы.

За Трумена проголосовали жители маленьких городков, где он не гнушался останавливаться, чтобы выступить перед парой сотен жителей, фермеры, члены профессиональных союзов, транспортники, военнослужащие... Нельзя забывать и про Баркли, который на самолете ДС-3 облетел полстраны, выступая перед избирателями. Он стал первым политиком в истории США, использовавшим преимущества воздушного способа передвижения. На следующих выборах в 1952 г. и Эйзенхауэр, и его соперник Эдлай Стивенсон будут проводить немало времени в самолетах. Выборы 1948 г. стали первыми выборами, на которых телевидение играло свою, пусть пока скромную, роль.

Если бы Трумен проиграл выборы, его политическая карьера была бы кончена. Доктрина его имени и «план Маршалла» остались бы в учебниках истории. Республиканский президент занял бы Белый дом, многое в американской и мировой истории в следующие полвека было бы по-другому. Победы Дьюи, вряд ли страна погрузилась в дебаты на тему «кто потерял Китай» или по вопросам войны в Корее. Ричард Никсон, Джо Маккарти, Линдон

⁹⁶ *Clark Clifford, Council to the President*, pp. 226-230; *Eben Ayers Diary*, 1948, October 2. *Ayers Papers and Diary*. Harry S. Truman Library and Archive.

⁹⁷ *Irwin Ross, The Loneliest Campaign: The Truman Victory of 1948*. New York, New American Library, 1968, p. 228; *Robert J. Donovan, Conflict and Crisis. The Presidency of Harry S. Truman*, pp. 432-435.

Джонсон и многие другие не получили бы своего шанса. Неизвестно, пришла бы Америка к вьетнамской войне...

Инаугурация Трумена прошла 20 января 1949 г. торжественно и красочно. Баптистский священник, еврейский раввин и католический епископ провели религиозную часть церемонии. Глава верховного суда Фред Винсон принял присягу президента на той самой Библии, на которой Трумен присягал четыре года назад, — точной и очень дорогой копии Библии Гуттенберга, полученной Труменом от одного из своих друзей из Индепенденса. Речь Трумена, посвященная миссии Соединенных Штатов, по мнению многих, была самой лучшей речью, когда-либо им произнесенной. На вечернем приеме, по самым скромным подсчетам, Трумен пожал более 7,5 тысяч рук. Как отметят потом историки, это был самый лучший день его второго президентского срока, за которым последовало четыре тяжелых и противоречивых года.

В самом начале января 1949 г. Трумен выступил перед Конгрессом с развитием своей программы, названной им «Справедливым курсом», в отличие от «Нового курса» Рузвельта, и определил основные моменты своей политики на второй срок. Президент заявил, что будет добиваться широкого экономического контроля со стороны государства, введения новых налогов для сбалансирования национального бюджета и снижения национальной задолженности, отмены закона Тафта-Хартли, ограничивающего права профессиональных организаций, повышения минимальной зарплаты, создания национальной сельскохозяйственной программы и программ по рациональному использованию ресурсов, резкого расширения социального обеспечения, совершенствования медицинского страхования, увеличения федеральных расходов на образование, создания министерств здоровья, образования и социального страхования, создания программы строительства жилья для бедных, упрощения иммиграционных законов, особенно в отношении беженцев, углубления законодательства по вопросам гражданских прав⁹⁸. Вскоре был принят закон о социальном страховании, ставший историческим шагом в развитии системы социального обеспечения США. Число людей, попадающее под страхование выросло на 10 миллионов, пенсии по возрасту, а также пособия для вдов и вдовцов были увеличены вдвое, резко выросли пособия на детей и по инвалидности. Были приняты законы, запрещающие детский труд и покупку компаниями акций конкурентов⁹⁹. И хотя большинство экономических программ, проводимых президентами страны, оказались в настоящее время глубоко забытыми, «Справедливый курс» Трумена американцы хорошо помнят и ценят.

Однако немедленная реакция на объявленную президентом программой была неоднозначная.¹⁰⁰ В целом это была предсказуемая реакция на либеральные реформы в период консерватизма. Экономика теряла обороты, и в обществе все сильнее распространялись опасения возврата к депрессии. Безработица

⁹⁸ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1949. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 7.

⁹⁹ Robert Ferrell, Harry S. Truman. A Life, p. 288.

¹⁰⁰ George H. Gallup, The Gallup Poll: Public Opinion, 1935 — 1971. New York, Random House, 1972. Vol. 2, pp. 781, 801, 810, 813-814, 829, 837, 870, 880, 882, 889, 908.

постепенно стала расти и достигла в середине 1949 г. 6 процентов, возросли цены, доходы фермеров стали падать.

В этих условиях президент создает знаменитый комитет экономических советников во главе с 40-летним экономистом Леоном Кейсерлингом, ставшим надолго главным идеологом американской экономики. Имея полную поддержку президента, знавшего по себе, что значит оказаться в условиях экономической депрессии, Кейсерлинг настоял на расширении участия правительства в экономике, обеспечении максимальной занятости для всех групп американского населения, наращивании ресурсов, укреплении конкуренции, увеличении возможностей для малого бизнеса. Как говорил он сам, цель реформ заключалась в превращении подавляющего большинства американцев в представителей среднего класса. Полвека экономического процветания США доказали правильность этого курса.

Однако тогда американцы никак не могли выработать устойчивого мнения о своем президенте. В начале 1949 г. деятельность Трумена одобряли 57 % населения, в январе 1950 — только 45 процентов. Весной 1950 г. число людей, одобряющих деятельность президента, упало до 37 процентов. Однако когда институт Гэллопа попросил американцев указать человека, которого они уважают больше всех, большинство назвало Трумена и лишь затем — Черчилля, Эйзенхауэра, генерала Макартура, бывшего президента Герберта Гувера и Папу Пия XIII¹⁰¹.

Одним из важнейших решений, принятых Труменом в это время, был указ о расовой интеграции вооруженных сил. В вопросах расового равенства Трумен проделал большой личный путь. Так, в 1938 г. он откровенно говорил своему другу о голосовании в Сенате по закону, запрещающему линчевание: «Ты знаешь, что я против запрета, но если дело дойдет до голосования, я буду голосовать за. Я разделяю твои чувства, но голоса негров в Канзас-сити и Сент-Луисе для меня слишком важны». Сестра Трумена Мэри Джейн рассказывала, что на ферме, где рос Гарри, никогда не было никаких негров и «никто их там не хотел», что «Гарри сторонник равенства негров не больше, чем я сама»¹⁰². Став президентом, Трумен постоянно в частных беседах делал расистские замечания и долго не хотел признавать вопиющее социальное неравенство.

Но в один день его представления были полностью перевернуты. В сентябре 1946 г. Трумен встретился в Белом доме с представителями черной общности. Гости рассказали Трумену о случаях расовых преступлений в течение последних месяцев. Все они были ужасны, но один особенно потряс президента. Черный ветеран войны Исаак Вудард, одетый к тому же в свою военную форму с наградами на груди, был ссажен с автобуса в городке Батесбург, штат Южная Каролина, и местный белый полицейский выбил ему оба глаза своей дубинкой. Как вспоминают свидетели, было ясно видно, как президент, который относился с безграничным уважением к армии и военной форме, был шокирован. Его пробирала дрожь возмущения, на глазах стояли слезы. «Мой Бог! — воскликнул он. — Я и не представлял, что такие ужасные вещи все еще происходят! Мы должны немедленно действовать!».

¹⁰¹ Ibid, pp. 800, 834, 860, 875, 890, 903.

¹⁰² Robert Ferrell, Harry S. Truman. A Life, p. 293.

Сразу после этой встречи Трумен создал специальную комиссию по разбору расовых отношений, поставив во главе ее президента «Дженерал электрик» Чарльза Вильсона. В феврале 1948 г. Трумен предложил Конгрессу программу из 10 пунктов по защите негритянского населения, куда вошли законы против суда Линча, восстановление Комитета по честному найму на работу, ликвидация дискриминации на транспорте, защита права голоса и т.д. Трумен стал первым президентом, выступившим с речью в Гарлеме. Я, подчеркнул Трумен, намерен «добиваться достижения цели предоставления равных прав и равных возможностей». Выборы показали, что он получил широкую поддержку национальных меньшинств. Именно при Трумене современная Америка вступила на непростую, полную конфликтов и противоречий дорогу к расовому и этническому равенству, по которой она идет и сегодня.

8. Маккартизм. Гарри Трумен — агент Кремля

Второй президентский срок Трумена вошел в историю и как время шпиономании и «охоты за ведьмами». Немало из того, что будоражило американское общество того времени, оказалось правдой, но и немало было результатом внутренней политической борьбы, стремлением обвинить Трумена в недооценке «красной угрозы», остановить либеральные тенденции, набирающие силу при поддержке президента.

19 сентября 1949 г. правительственные эксперты с ужасом обнаружили, что СССР провел взрыв атомной бомбы. Только через четыре дня обескураженный Трумен обнародовал заявление, в котором говорилось: «У нас есть свидетельства того, что несколько недель назад в СССР был произведен атомный взрыв». Эта новость явилась для него большой и неприятной неожиданностью. Всего пять месяцев назад президент сообщил министрам иностранных дел стран НАТО о том, что «по нашим наиболее реальным расчетам у нас есть несколько лет и мы рассчитываем на эту передышку»¹⁰³. Американцы полагали, что даже когда у русских и появится через несколько лет атомная бомба, им понадобится еще несколько лет на то, чтобы достичь по размерам существующий уже сейчас американский потенциал — более чем 200 бомб, каждая из которых по крайней мере в пять раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму¹⁰⁴.

Создание СССР атомной бомбы поставило Трумена перед непростой моральной дилеммой — необходимостью принять решение о начале работ над термоядерной бомбой. Он понимал, что разница в силе между новым оружием и существующей атомной бомбой будет больше, чем между атомной и обычной авиационной бомбой. Использование термоядерного оружия может привести к концу человеческой жизни на планете. Трумен запросил мнение комитета по атомной энергии — мнение его членов разделилось: 2 — за, 3 — против производства. Тогда он создал специальную комиссию во главе с Дином

¹⁰³ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1949. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 485; Harry S. Truman, Memorandum of Conversation, 1949, April 3. . Miscellaneous Historical Documents Collection, Box 626. Harry S. Truman Library and Archive.

¹⁰⁴ *McGeoge Bundy*, *Danger and Survival*. New York, Random House, 1988, p. 203.

Ачесоном, которая рекомендовала приступить к разработке новой бомбы и «пересмотреть наши военные и мирные доктрины». Основанием такого решения была уверенность, что СССР будет создавать (или уже создает) такую бомбу и что если США официально откажутся от термоядерного оружия, это не остановит Советы. А если СССР все же заявят о своем отказе, у Вашингтона не будет никакой возможности проверить это.

Трумен принял решение о начале производства новой бомбы, подчеркивая, что это было сделано под воздействием международной политики Кремля. У США, сказал президент, просто нет выбора¹⁰⁵. Сразу после своего заявления Трумен сказал своим помощникам, что ситуация напоминает обсуждение его решения оказать помощь Греции и Турции — тогда тоже раздавались голоса, что это ведет к концу света. Но ничего не случилось, сказал Трумен, так же будет и на этот раз¹⁰⁶. 80 процентов американцев считали, что президент принял правильное решение¹⁰⁷. Через несколько месяцев Трумен одобрил решения знаменитого заседания Совета национальной безопасности № 68, которые вносили существенные изменения в американскую внешнюю политику и в отношения с СССР.

Ядерный успех СССР вызвал не только страх у американцев, осознавших, что их ядерной монополии больше не существует, но и серьезные подозрения, что СССР не смог бы добиться его так быстро без получения секретной информации из США. Осень 1949 г. стала началом массовой и истеричной шпиономании. В наиболее громкие дела были вовлечены не шпионы из СССР, а завербованные советскими спецслужбами граждане западных стран. Особенно прославилась британская тройка — Ким Филби, Дональд Маклин и Клаус Фукс, представляющие, соответственно, разведку Англии, ее дипломатическую службу и атомную науку. Они сумели проникнуть в ЦРУ, Госдепартамент и Комиссию по атомной энергии США. К концу президентства Трумена Филби был почти вычислен, Маклин сумел уехать в СССР, а Фукс был осужден и находился в тюрьме. Не остались без внимания и американцы. Наибольшую известность получили казненные на электрическом стуле супруги Юлиус и Этель Розенберг, а также Дэвид Грингласс, Гарри Голд, Эджер Хисс и ряд других. Спецслужбы США нашли подтверждения, что СССР имел своих людей в атомном проекте «Манхэттен» и что все руководство советской сетью шло из посольства СССР в Оттаве.

В ответ на все большее число такого рода прецедентов Конгресс создал Комиссию по проверке лояльности, а затем и федеральную программу, в соответствии с которой началось осуществление проверки всех сотрудников государственных служб. К середине 1952 г. было проверено более 4 миллионов человек, под подозрение было поставлено чуть больше 9 тыс. из них, а 2961 чел. был затребован для личных слушаний. В результате было уволено 378

¹⁰⁵ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1950. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 138.

¹⁰⁶ David E. Lilienthal, The Journal of David E. Lilienthal. Vol. 2. The Atomic Energy Years, 1945-1950. New York, Harper and Row, 1964, p. 632-633.

¹⁰⁷ George H. Gallup, The Gallup Poll: Public Opinion, 1935 — 1971. Vol. 2, p. 888.

федеральных сотрудников — 0,002 процента от всех проверенных, однако ни один из них так и не был обвинен в шпионаже.

Именно в эти годы особенно широко развернуло свою работу Федеральное бюро расследований во главе со своим директором Джоном Этгаром Гувером, одним из самых известных в истории Америки представителем сексуальных меньшинств, который постоянно настаивал на усилении проверки лояльности и неоднократно публично заявлял, что Трумен недооценивает опасность коммунизма. Число агентов ФБР выросло с 898 чел в 1940 г. до 4886 чел. в 1945 г. и до 7029 к концу президентства Трумена¹⁰⁸. Отношения президента с директором ФБР были далеки от дружеских, и Трумен неоднократно выступал за уменьшение политической роли ФБР, запрет на сбор информации о частной жизни и т.д. В своем дневнике он писал: «Мы не хотим гестапо или секретной полиции. ФБР же двигается в этом направлении»¹⁰⁹. Но уволить его всесильного директора Трумен не сумел, даже когда стало известно, что тот секретно передавал информацию консервативным политикам, таким, как Джозеф Маккарти и Ричард Никсон. К слову сказать, ни один из следующих президентов не посмел сместить Гувера, который в возрасте 77 лет умер во сне от инфаркта в 1972 г., чем установил абсолютный рекорд, возглавляя федеральную структуру на протяжении 48 лет.

Немало проблем доставил Трумену и Комитет по антиамериканской деятельности. Трумен не обладал никакой властью над этим комитетом, ибо тот был создан в рамках Конгресса. Самые большие неприятности этот комитет доставил Трумену в связи с тем фактом, что государственный секретарь Дин Ачесон, консерватор-антикоммунист, был знаком с Элджером Хиссом и дружил с его братом Дональдом. Дональд Хисс был не только партнер Ачесона по предыдущей работе в адвокатской фирме, но и подпольным коммунистом. В январе 1950 года, когда Хисс был осужден, Ачесон сказал на пресс-конференции, что «не намеревается рвать отношения с Элджером Хиссом», чем вызвал яростную критику администрации Трумена. Однако президент, верный своим принципам, не убрал Ачесона в отставку, хотя тот и обратился с соответствующей просьбой. Республиканцы прямо обвиняли президента в потакании коммунистам. Особенно активно участвовал в этом будущий 37-й президент страны Ричард Никсон, который, оказался единственным конгрессменом, сумевшим успешно построить свою политическую карьеру на антикоммунистической активности во времена Трумена. После своей отставки Трумен публично заявил, «что Комитет по антиамериканской деятельности Палаты представителей был самой антиамериканской вещью в Америке»¹¹⁰.

Но самым шумным проявлением идеологических конфликтов Америки в период президентства Гарри Трумена стала деятельность 42-летнего сенатора из штата Висконсин Джозефа Маккарти. В феврале 1950 г., через месяц после осуждения Элджера Хисси и через неделю после собственного признания Клауса Фукса в атомном шпионаже, Маккарти выступил в женском республи-

¹⁰⁸ *Richard S. Kirkendall*, Ed. *The Harry S. Truman Encyclopedia* p. 128-1.

¹⁰⁹ *Robert H. Ferrell*, Ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 22.

¹¹⁰ *Harry S. Truman, Truman Speaks*. New York, Columbia University Press, 1960, p. 111.

канском клубе в городе Вилинг, штат Западная Виржиния, где заявил, что Америка проигрывает холодную войну, «из-за предательского поведения тех, кто получает все преимущества, которые способно дать самое богатое государство на Земле, — отличные дома, замечательное университетское образование, хорошие места в правительстве...». Далее Маккарти сказал: «Хотя у меня нет времени перечислять имена всех сотрудников государственного департамента, известных как членов коммунистической партии и шпионской сети..., я держу в руках список из 205 фамилий, известных государственному секретарю, которые, тем не менее, продолжают работать и формировать политику государственного департамента». Другими словами, по его словам, настоящие враги Америки были не в Кремле, а находились в Вашингтоне.

Маккарти отправил президенту телеграмму, где вкратце изложил свои обвинения и потребовал доступа к личным делам сотрудников государственного департамента. «Отказ с Вашей стороны сделать это, — говорилось в телеграмме, — обозначит то, что демократическая партия является пособницей мирового коммунизма»¹¹¹. Разъяренный Трумен обратился к Маккарти с письмом: «Я сам был в Сенате десять лет и впервые за все время я слышу, как сенатор США старается дискредитировать собственное правительство в глазах всего мира. Вы понимаете, что честное официальное лицо так поступить не могло бы. Ваша телеграмма является не только неправдой, но и наглой попыткой решить проблемы, которые должны решаться между двумя людьми. Она ясно показала, что Вы не в состоянии даже понять, как работает правительство Соединенных Штатов. Я абсолютно уверен, что народ штата Висконсин чувствует себя исключительно неудобно, что представлен человеком, который имеет такое слабое чувство ответственности»¹¹². Госдеп опубликовал заявление, опровергающее обвинения, выдвинутые Маккарти, а Трумен на пресс-конференции 16 февраля заявил, «что нет ни слова правды в том, что говорит сенатор»¹¹³.

Как выяснилось позднее, списка у Маккарти не было, а когда он, наконец, его составил, в нем оказалось всего 81 имя, потом список сократился до 57 имен. Однако пресса и республиканские политики подхватили обвинения Маккарти и цифра в 205 чел. получила широкое распространение. Сенатор Роберт Тафт назвал обвинения «нонсенсом», однако порекомендовал Маккарти продолжать на них настаивать: «если одна попытка не сработает, предпримем другую».

Было очевидно, что мишенью всей кампании является Трумен и его политика. Сенат сформировал специальный комитет по расследованию обвинений, выдвинутых Маккарти, но никаких подтверждений не было обнаружено. Трумен писал министру торговли Чарльзу Сойеру: «Я думаю, что настало время...

¹¹¹ *David Oshinsky, A Conspiracy So Immense: The World of Joe McCarthy*, New York, Free press, 1983, pp. 108-112; Thomas C. Reeves, *The Life and Time of Joe McCarthy*. New York, Stein and Day, 1982, pp. 222-227.

¹¹² Harry S. Truman to Joseph McCarthy, 1950, February 11(?), President's Secretary's File, Harry S. Truman Library and Archive.

¹¹³ *Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953*. Vol. 1950. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 163.

предъявить доказательства, в результате которых Маккарти окажется в неприятном положении и у нас больше никогда не будет необходимости упоминать его в связи с политикой»¹¹⁴. На своих пресс-конференциях Трумен постоянно говорил, что в обвинениях Маккарти «нет ни слова правды» и что сенатор и его сторонники являются «самой большой разрушительной силой, которой располагает Кремль». Однако популярность Маккарти была высока — его фотографию можно было увидеть на обложках журналов «Ньюсвик» и «Тайм», появилось даже новое слово — маккартизм. Сенатор из Висконсина стал фигурой международного масштаба, в 1950 г. он был легко переизбран на новый срок. Популярность же президента составила в это время 37 процентов.

Во время кампании 1952 г. Маккарти обвинял министра обороны Джорджа Маршалла в предательстве, государственного секретаря Ачесона в коммунистических симпатиях, кандидата от демократической партии Адлая Стивенсона в том, что его поддерживают только коммунисты, а самого Трумена — в алкоголизме. «Этот сукин сын, — говорил он, имея в виду президента, — должен быть подвергнут импичменту». Однако, как известно, Трумен не был «импичт», а судьба самого Маккарти оказалась незавидной. При Дуайте Эйзенхауэре его влияние постепенно пропало, сторонники его покинули, пресса не упоминала его, так как после смерти Сталина и окончания войны в Корее радикальные правые взгляды большой популярностью не пользовались. Джо-зеф Маккарти умер в возрасте 48 лет от острого алкоголизма.

9. Война в Корее: крах мирных надежд и генерала Макартура

В субботу 24 июля 1950 г. Трумен совершил на президентском самолете «Индепенденс» короткий визит в Балтимор, где присутствовал на открытии нового аэропорта, а затем отправился в Миссури на выходные. В коротком письме другу, отправленном этим утром, он писал: «Из Балтимора я лечу домой повидаться с Бесс, Марджи, моими братом и сестрой, осмотреть там строительство забора — не политического — заказать новую крышу для фермы и послать некоторых политиков к черту. Отличная поездка, я надеюсь»¹¹⁵. В два часа самолет приземлился в Канзас-сити, еще через час Трумен был у себя дома — 219 Северная улица Делавэр, в городке Индепенденс. После ужина семья Труменов перешла на веранду, где, как вспоминала Маргарет, «говорили обо всем и ни о чем». Около десяти часов из Вашингтона позвонил Дин Ачесон и сообщил, что войска Северной Кореи масштабно атаковали границы Южной Кореи. Первоначальная реакция президента была спокойной. «Я останусь здесь на ночь, — сказал он своей семье. — Все может быть не так серьезно, как кажется. Я хочу, чтобы завтра все занимались своими делами, как обычно»¹¹⁶.

¹¹⁴ Harry S. Truman to Charles Sawyer, 1950, April 20, President's Secretary's File, Box 155 «Commerce, Sec. of — Charles Sawyer», Harry S. Truman Library and Archive.

¹¹⁵ Harry S. Truman to Stanley Woodward, 1950, June 24. Stanley Woodward Papers, Harry S. Truman Library and Archive.

¹¹⁶ *Margaret Truman*. Bess W. Truman, p. 356.

Как позже выяснят историки, Сталин не знал точно, когда северокорейские войска перейдут границы Южной Кореи. Правительство коммунистической Кореи на протяжении длительного времени добивалось от Кремля разрешения на открытие военных действий — сохранилось более 48 телеграмм с этой просьбой, посланных в Москву из Пхеньяна. Наконец, Сталин дал «добро», но только после того, как северокорейцы дали твердые гарантии, что Соединенные Штаты вмешиваться не будут. Сталин дал ясно понять, что если войска Северной Кореи окажутся в тяжелой ситуации, они должны рассчитывать на помощь из Китая, а СССР окажет только материально-техническое содействие, но проливать кровь своих солдат пока не намерен. Как писал тогда эксперт по советской политике Чип Болен, нападение стало «очень ясным случаем типичных сталинских методов — везде, где возможно, инициировать активные действия, не вовлекая формально и напрямую Советский Союз, которые он будет целиком поддерживать, лишь если проявятся слабости противников»¹¹⁷.

Но, как известно, Соединенные Штаты вмешались, и Сталин дал было полный «отбой». Есть свидетельства, что Москва была уже готова отдать распоряжение о возвращении северокорейских войск в места постоянной дислокации. Но неожиданно вмешался Китай, и Сталин, который заключил в феврале 1950 г. договор с Китаем о взаимной обороне, не мог больше не только единолично решать судьбу конфликта, но и просто оставаться в стороне. Цели Пекина были понятны — успех корейской операции мог переместить Китай на лидирующие позиции в мировом коммунистическом движении, а Мао стал бы затмевать стареющего Сталина. Трумен был уверен, что в случае объединения Кореи под властью коммунистов, СССР на этом не остановится. Для Кремля, по его мнению, это было проверкой того, как далеко им будет позволено пойти — после Кореи последует Иран и, если все будет развиваться успешно, Западная Германия, что может привести к массовой коммунизации Западной Европы. При этом США вплоть до начала корейской войны не оставляли надежды на улучшение отношений с Пекином, рассчитывая, что может быть Мао Цзедун пойдет на сближение с Вашингтоном, а не Москвой. Июльский вечер развеял эту иллюзию и привел к тому, что разгневанные США отказывались пойти даже на простое дипломатическое признание Китая на протяжении еще более 20 лет.

Начало военных действий в Корее поставило Трумена в трудную ситуацию. В обществе не хотели никаких войн, Соединенные Штаты не располагали лишними военными резервами, значительная часть их требовалась для защиты Западной Европы. Да и Корея никогда не рассматривалась Вашингтоном в качестве жизненно важного объекта для интересов США. Генерал Макартур, описывая в марте 1949 г. сферу военных интересов США, оставил Корею в стороне. В июне этого года последние американские солдаты оставили Южную Корею¹¹⁸. В январе 1950 г. Дин Ачесон в своей знаменитой речи в нацио-

¹¹⁷ Foreign Relations of the United States, 1950. Vol. 7, pp. 174-175.

¹¹⁸ Memorandum, 1949, November 14, President's Secretary's File, Box 170, «PSF Subject». Harry S. Truman Library and Archive; *Matthew B. Ridgeway*, *The Korean War*, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, p. 7; *Omar N. Bradley and Clay Blair*, *A General's Life*, New York, Simon and Schuster, 1983, p. 528.

нальном пресс-клубе в Вашингтоне также исключил Тайвань и Южную Корею из сферы жизненных интересов США. Сам президент Трумен не упоминал Корею в своих выступлениях и пресс-конференциях. Из секретных документов, полученных советскими спецслужбами через английского дипломата Дональда Маклена в Вашингтоне было известно, что Трумен озабочен положением дел в Европе и не намерен перебрасывать куда-либо американские войска со старого континента. Таким образом, Советский Союз и Китай могли вполне сделать вывод, что нынешняя американская администрация не пойдет на активную защиту Южной Кореи. Но вывод, как известно, оказался ложным. В конце 1950 г. на вопрос американского дипломата о том, почему русские постоянно думают, что США готовятся напасть на них, Андрей Вышинский ответил напрямую: «Вы делали все, что только возможно, чтобы сказать нам, что у вас нет интересов в Корее. Но когда туда двинулись северокорейцы, вы ввели туда и свои войска. Мы просто не можем доверять вам, американцам»¹¹⁹.

Для Гарри Трумена нападение Северной Кореи на Южную было концом его личных надежд на установление мира. Как позже писал заместитель госсекретаря Джеймс Вебб, «необходимость вступать в войну действительно подействовала на президента очень сильно»¹²⁰. Но колебался Трумен недолго. В воскресное утро Маргарет помогла своему отцу собирать чемодан и записала в своем дневнике, что «мы собираемся сражаться». Генерал Уоллес Грам этим же утром сказал журналистам: «Босс собирается сильно ударить по этим ребятам»¹²¹.

Прилетев в Вашингтон, Трумен встретился со своими помощниками, которые выработали уже различные варианты американских действий и предложили их президенту. «Боже мой, — сказал он, — они у меня получают!» Как вспоминали позже присутствовавшие, царил всеобщее мнение, что Кремль решил проверить решимость западного мира, что северокорейская акция является акцией СССР. Принимая решения о вводе войск, Трумен, в частности, сказал, что «надеялся и молился, что мне никогда не придется принимать такое решение, какое я только что принял. Я верил в Лигу Наций, но она провалилась. Многие думали, что это случилось потому, что мы не поддержали ее. Теперь мы создали ООН. Это была наша идея, и на этом первом серьезном экзамене мы не можем позволить им ее разрушить. Если коллективная система под руководством ООН может действовать, мы должны задействовать ее и именно сейчас время это сделать»¹²². В частной беседе со своим помощником Джорджем Элси президент заметил: «Корея является дальневосточной Грецией. Если мы будем просто стоять, они (коммунисты) двинутся в Иран и захватят весь Ближний Восток. Нет никакой возможности предсказать, что они будут

¹¹⁹ *Thomas J. Schoenbaum*, *Waging Peace and War. Dean Rusk in the Truman, Kennedy and Johnson Years*. New York, Simon and Schuster, 1988, p. 208.

¹²⁰ James Webb to John W. Snyder, 1975, April 25. Webb papers, box 465 «General Correspondence — S, 1973-1975», folder 2. Harry S. Truman Library and Archive.

¹²¹ *Robert J. Donovan*, *Tumultuous Years: The Presidency of Harry S. Truman*. New York, Norton, 1982, pp. 195-196.

¹²² *John D. Hiskerson*, *Oral History Transcript*. Harry S. Truman Library and Archive.

делать, если мы сейчас не вступим и не начнем сражаться»¹²³. Трумен в тот день записал в своем дневнике: «Россия разрабатывает план нападения в Черном море и в Персидском заливе. Оба эти приза Москва хочет, начиная с Ивана Грозного, который в эти дни является их героем вместе со Сталиным и Лениным»¹²⁴. Сразу после совещания приказ о введении американских вооруженных сил в Корею был послан в Токио командующему вооруженными силами на Дальнем Востоке генералу Дугласу Макартуру. Впервые с августа 1945 г. войска США были приведены в боевую готовность. Ни Конгресс, ни пресса ничего об этом решении не знали.

25 июня Совет Безопасности ООН назвал в своей резолюции Северную Корею агрессором. 7 июля ООН передала свои войска под командование Соединенных Штатов. Представитель СССР в Совете Безопасности демонстративно отсутствовал уже седьмой месяц в знак протеста против того, что место Китая занимал посланник не Пекина, а тайваньского правительства китайских националистов, и не смог воспользоваться своим правом «вето» при принятии всех этих решений. Единственным логичным объяснением этого может быть только то, что решимость американцев ввести свои войска в Корею явилась полной неожиданностью для Кремля.

С самого начала администрация Трумена полагала, что СССР не пойдет на широкомасштабную войну, но, конечно, полной уверенности ни у кого не было. Атомные запасы в США насчитывали к этому времени более 500 бомб и 264 самолета, способных доставить их к месту назначения. По соглашению с Англией и Канадой Соединенные Штаты полностью и единолично распоряжались продукцией урановых рудников в бельгийском Конго. Плутониевые бомбы были заменены новыми, получившими название Марк-4, где использовалась смесь плутония и урана. Эти бомбы делались уже не вручную, как Марк-3, а на заводских конвейерах. В США знали, что после разоблачения Дональда Маклена, СССР не имеет доступа к атомным секретам Соединенных Штатов и не знает наверняка размеров ядерного запаса США¹²⁵. Советские запасы были гораздо меньше — на уровне Америки 1947 г. Индустриальные возможности Соединенных Штатов значительно превосходили возможности СССР. Американцы полагали, что, невзирая на численное превосходство в наземных войсках, СССР потерпит сокрушительное поражение в большой войне¹²⁶. В Вашингтоне все большую популярность приобретала мысль о том, что «если нам и суждено схватиться с Советами, то почему бы и не сейчас?»¹²⁷.

¹²³ *George Elsey, President's Conversation with George M. Elsey, 1950, June 26, Elsey Papers. Harry S. Truman Library and Archive.*

¹²⁴ *Robert H. Ferrell, ed. Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman, p. 185.*

¹²⁵ *Verne W. Newton, Cambridge Spies: The Untold Story of MacLean, Philby, and Burgess in America. Lanham, MD, Madison, 1991, pp. 148-149, 178-179.*

¹²⁶ *Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford, Stanford University Press, 1992, pp. 306-308, 369-370; Foreign Relations of the United States, 1950. Vol. 7, pp. 139, 149, 158, 169, 174-177, 203.*

¹²⁷ *John Garner to Harry S. Truman, 1950, November 23, President's Secretary's File, Box 311, «Garner, John Nance». Harry S. Truman Library and Archive*

В этой ситуации Трумен допустил целый ряд серьезных ошибок. Во-первых, была недооценена сила северокорейской армии. Как признавался генерал Омар Бредли, «никто не верил, что Северная Корея будет такой сильной, какой она оказалась»¹²⁸. Северокорейские солдаты оказались очень хорошо подготовленными, обеспеченными новейшим советским оружием в необходимых размерах. Они легко прорывали позиции южнокорейцев. Первые американские подразделения, прибывшие из Японии, рассчитывали на легкую победу и не были готовы к встрече с таким сильным противником. Во-вторых, для того, чтобы избежать долгих дискуссий в Конгрессе, Трумен решил не объявлять войны Северной Корее и даже не называть это войной. На пресс-конференциях президент обозначал действия американской армии «полицейской акцией», «уничтожением бандитов»¹²⁹.

В-третьих, воодушевленный массовой поддержкой своего решения ввести войска, Трумен не учел возможной экономической реакции, а между тем, только за первые шесть месяцев войны индекс цен вырос на 10 процентов, цены на основные продукты питания — еще выше¹³⁰. В-четвертых, Трумен поверил генералу Макартуру, что Китай не введет свои войска в Корею и можно будет быстро закончить войну. Он разрешил генералу пересечь тридцать восьмью параллель, что стало для Пекина формальным основанием вступить в войну. Мао заявил, что истинной целью США является не Корея, а Китай, и ввел 300-тысячную армию в дело. Это стало неожиданностью для войск ООН и США, которые всего через два дня были отброшены назад и понесли огромные потери. Это было самым тяжелым военным поражением США за всю их историю, и Трумен никогда не простил Макартуру его просчета.

Разразился самый глубокий кризис внешней политики США в послевоенный период. Трумен объявил особое положение в стране, а 30 ноября заявил о возможности использования в Корее атомной бомбы, чем вызвал всеобщую панику. На вопрос о том, требует ли использование атомной бомбы в Корее одобрения ООН, Трумен сказал, что «военное командование на театре военных действий ответственно за использование оружия, как обычно»¹³¹. Это означало резкое изменение позиции президента. Незадолго до этого, когда генерал Хойт Вандерберг сказал на совещании: «Если китайцы вступят в войну, то мы применим атомную бомбу, так как это является частью нашей стратегической доктрины». «С чего Вы это взяли? — резко возразил президент. — Не суетитесь и приготовьте себе лучше другую стратегическую доктрину!»¹³².

¹²⁸ Military Situation in the Far East. Hearing Before the Committee on Armed Service and the Committee on Foreign Relations, United State Senate. Eighty-second Congress. US Government Printing Office, 1951, p. 948.

¹²⁹ Foreign Relations of the United States, 1950. Vol. 7, pp. 125-270; Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1950. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 504.

¹³⁰ *Alonzo L. Hamby*, *Man of the People*, p. 549.

¹³¹ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1950. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, pp. 726-727.

¹³² *Dean Rusk*, *As I Saw It*. New York, Norton, 1990, p. 126.

Услышав «ядерное» заявление Трумена, в Вашингтон немедленно прилетел премьер-министр Англии Клемент Эттли, который стал обвинять президента США в провоцировании ширококомасштабной войны с Китаем и игнорировании мнения западноевропейских союзников. Трумен не согласился с мнением англичан, что национализм Пекина ведет к его независимости от Кремля. В долгосрочной перспективе, сказал он Эттли, Китай будет вести себя, как советский сателлит. Единственный способ противостоять коммунизму — уничтожить его. Если они захватят Корею, то потом к их ногам падут Индокитай, Гонконг и Малайзия. Трумен сказал, что, хотя он не против переговоров с Пекином, но не верит в их успех¹³³. Он был откровенен в своем дневнике: «Иметь дело с коммунистическим правительством — это как честный человек будет пытаться иметь дело с разными королями мошенников или главами наркотических структур. Коммунистическое правительство, как вожди наркотических банд и нелегальных азартных игр, не имеет понятия о чести и законах морали. Мы устали от этих фальшивых призывов к миру, когда нет намерений предпринять честную попытку установить мир. Недавно произошли события, которые позволяют сделать ясный вывод о том, что советское правительство не хочет мира. Оно нарушило практически каждый договор, подписанный в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Оно изнасилоало Польшу, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Эстонию, Литву и Латвию. Граждане этих стран, кто верил в самоуправление, были либо убиты, либо находятся в рабских трудовых лагерях. Военнопленные Второй мировой войны, общим числом около 3 миллионов, все еще содержатся в рабских трудовых лагерях вопреки условиям прекращения огня. В каждой стране, оккупированной Россией, тысячи детей были похищены и никто больше о них не слышал.

Явно, что эта программа все еще продолжается. Это должно быть прекращено и прекращено сейчас. Мы в свободном мире уже достаточно долго страдали. Выкинуть китайцев из Кореи. Предоставить Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию и Венгрии их свободу. Прекратить поставки военных материалов гангстерам, которые нападают на свободный мир и установить достойную политику соблюдения договоров, которые уже были заключены. Это означает, наверняка, большую войну. Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Одесса, Сталинград и все работающие заводы в Китае и Советском Союзе будут уничтожены. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы выжить или нет».¹³⁴

В эти же дни произошло покушение на Трумена — два вооруженных эрториканца пытались прорваться в его резиденцию. Один был убит, другой схвачен охраной. Он выйдет из тюрьмы через 29 лет. Если бы они подождали 15 минут, то смогли бы убить Трумена, который собрался выйти из дома к автомобилю. Позже президент фаталистки написал: «Я был единственным

¹³³ Foreign Relations of the United States, 1950. Vol. 7, pp. 1361-1374.

¹³⁴ January 27, 1952, pp. 4-7. — Papers of Harry S. Truman. President's Secretary's File. Longhand Notes. Box 333. Longhand Personal Memos, 1945 to Longhand Personal Memos, 1952. Folder «Longhand Notes, 1952».

спокойным человеком во всем доме. В меня уже стреляли специалисты, и если твое имя не написано на пуле, нет нужды бояться. Но так как тебе это не известно, зачем вообще бояться?»¹³⁵. С этого дня охрана президента была утроена и он больше никогда не смог передвигаться иначе, как в бронированном лимузине. Еще один удар ожидал Трумена 5 декабря — его лучший друг, одноклассник по школе в Индепенденсе и президентский пресс-секретарь Чарльз Росс неожиданно скончался во время записи телевизионного интервью. Для президента это были, видимо, самые трудные недели в его жизни и, по-видимому, его нервы стали не выдерживать напряжения.

Так, утром 6 декабря Трумен прочитал буквально разгромную рецензию в «Вашингтон Пост» на концерт своей дочери-певицы. Как заметил позже генерал Маршалл, единственная вещь, которая не критиковалась в газете, была полировка рояля аккомпаниатора. Президент полностью потерял контроль над собой и написал личное письмо рецензенту. «Только что прочитал твою вшивую рецензию на концерт Маргарет, — было написано в письме. — Я сделал вывод, что ты крайне противный человек, которому, к тому же, явно недоплачивают за противность. Ты — неудовлетворенный старик. Когда ты пишешь для газеты, где ты работаешь, свои глупости, такие, как эта, можно догадаться, что ты ни в чем не разбираешься, и, по крайней мере, твои четыре язвы обострились. Я надеюсь, что однажды встречу тебя. Когда это случится, тебе понадобится новый нос и много холодного мяса для синяков под глазами и, возможно, костыли! Я надеюсь, что ты примешь это письмо в качестве гораздо большего оскорбления, чем отзывы о твоей матери. Г.С.Т.»¹³⁶. В своем дневнике в тот вечер, видимо, оправдываясь перед самим собой, президент написал, что «я хотел оскорбить его сильнее, чем просто сказать что-то о его матери. Я никогда не смог бы отозваться плохо о чьей бы то ни было матери, ибо нельзя нападать на матерей». И дальше: «В дополнение к личным проблемам, у меня шли совещание за совещанием на тему опасного положения, в котором находится страна. Эттли, Формоза, коммунистический Китай, Чан Кайши, Япония, Германия, Франция, Индия и т.д. Я работал над установлением мира пять с половиной лет, а сейчас все выглядит так, как будто начинается Третья мировая война! Я надеюсь, что пока нет, но мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы!»¹³⁷.

В этих условиях Трумен принимает самое непопулярное решение за всю свою политическую карьеру — он смещает генерала Дулгаса Макартура с поста командующего на Дальнем Востоке. Уволить его в отставку Трумен не мог, так как Макартур был «пятизвездочный генерал». 70-летний Макартур был самым знаменитым из живых американских генералов. Он был начальником генерального штаба в период с 1930 по 1935 г., командовал американскими войсками в сражениях против Японии, в боях на Тихом океане, освободил Филиппины, был фактическим главой Японии с 1945 г. Его любили и уважали все — и его собственные солдаты, и солдаты противника, и простые американцы. Отношения

¹³⁵ Robert H. Ferrell, ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, 1980, p. 199.

¹³⁶ *Independence Examiner*, 1966, August 18.

¹³⁷ Robert H. Ferrell, ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 204.

Трумена и Дугласа Макартура никогда не были очень хорошими. Трумен считал Макартура не просто плохим военачальником, но и заносчивым, нескромным и самоуверенным типом. Формальной причиной смещения генерала стало то, что его стратегия в Корее стала постоянно расходиться с политикой Вашингтона. Макартур твердо стоял на позиции «войны до победного конца». Он все чаще проявлял недовольство политикой Трумена, шел на прямое игнорирование приказов президента. Бредли объяснил это так: «В течение долгого времени мы видели в Советском Союзе главного противника, а в Европе — наш главный приз... Стратегия Макартура вовлекает нас в неправильную войну в неправильном месте, в непраильное время и против неправильного противника»¹³⁸.

Макартур узнал о решении президента раньше, чем получил официальный текст, что дало ему возможность заявить о своем добровольном уходе. Утром 9 апреля президент узнал об этом и заявил: «Этот сукин сын не уйдет от меня добровольно! Он будет отставлен!». В газетах была опубликована карикатура, изображающая генерала Макартура, говорящего: «Кто, Трумен воображает, он есть? Президент Соединенных Штатов, что ли?». Трумен отклонил просьбу Макартура об уходе, а на следующий день было опубликовано официальное сообщение об его отставке¹³⁹. Позже Трумен заметил: «Я — простой гражданин Америки, но сейчас я — президент Соединенных Штатов и нет в мире должности, которая подразумевает столь много ответственности. Наверное, существует миллион американцев, которые смогут работать на этой должности не хуже меня, но занимаю эту должность именно я, и я намерен работать с полной силой, на которую я способен. Я буду ..., если я передам своему преемнику эту должность с прерогативами, уменьшенными американскими генералами»¹⁴⁰.

Общественная реакция на смещение Макартура была исключительно негативной. «Огромный взрыв, — признавался Трумен в дневнике. — Я ожидал этого, но я был обязан действовать. Телеграммы и письма с оскорблениями приходят десятками»¹⁴¹. Подавляющее большинство американцев не понимали и не принимали решение президента. Сенатор Вильям Дженнер: «Эта страна сегодня находится в руках секретной группы, которая управляется агентами Советского Союза». Представитель штата Миссури О. Армстронг: «уход Макартура является новой величайшей победой коммунистов после захвата Китая». Будущий президент, а пока сенатор от Калифорнии Ричард Никсон: «самой счастливой группой в стране сегодня являются коммунисты и их марионетки». Газета «Чикаго трибьюн»: «Президент Трумен должен быть отстранен и осужден. Он не соответствует должности, морально и психологически не может занимать столь высокий пост»¹⁴².

¹³⁸ *Francis O. Wilson*, Oral History Transcript, pp. 118-119. Harry S. Truman Library and Archive

¹³⁹ *Harry S. Truman*, Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 449.

¹⁴⁰ *Frank Pace*, Oral History Transcript, p. 106. Harry S. Truman Library and Archive.

¹⁴¹ *Robert H. Ferrell*, ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 211.

¹⁴² *John Spanier*, *The Truman-MacArthur Controversy and the Korean War*. New York, Norton, 1965, p. 212; *Robert J. Donovan*, *Tumultuous Years: The Presidency of Harry S. Truman*, p. 359.

Смещение Макартура вызвало новый взрыв маккартизма в стране. Сам сенатор обрушился на администрацию с лавиной обвинений. «Вы и Ваши преступные сообщники, — говорил он, обращаясь к Дину Ачесону, — предали нас. Вы не только обязаны уйти в отставку из Госдепартамента, но вы должны убраться из этой страны и переехать в ту страну, на стороне которой вы так долго воюете». Маккарти обрушился на Джорджа Маршалла, называя его центральной фигурой «в заговоре таком огромном и таком позорном, что затмевает все предыдущие, случившиеся в истории человечества»¹⁴³. Что касается президента, Маккарти заявил просто: «Этот сукин сын сам должен быть отправлен в отставку»¹⁴⁴.

В октябре 1951 г. опрос института Гэллопа показал, что 56% американцев назвали войну в Корее «бесполезной». Популярность самого Трумена после апреля 1951 г. никогда уже не поднималась выше 33 процентов¹⁴⁵. В ноябре она даже упала до 23 процентов, что на один процент ниже популярности Ричарда Никсона перед тем, как он был вынужден уйти в отставку. Подбадривая себя, Трумен писал в своем дневнике: «Интересно, как далеко бы продвинулся Моисей, если бы он сначала провел в Египте опрос общественного мнения? Что бы проповедовал Иисус, если бы он начал с опроса общественного мнения в земле Израиля? Где была бы Реформация, если бы Мартин Лютер проводил опросы? Не опрос и не общественное мнение в данный момент должны приниматься в расчет. Надо принимать в расчет то, что правильно и что неправильно. Лидер — человек с силой духа, честностью и верой в правду — вот что делает эпоху в мировой истории»¹⁴⁶.

Отъезд генерала Макартура из Японии был обставлен очень торжественно. Сам император нанес ему прощальный визит, 250 тыс. японцев вышли на улицы приветствовать американского генерала по дороге в аэропорт. Когда самолет с Макартуром приземлился в Сан-Франциско, его приветствовали более полумиллиона американцев. Вернувшись в страну, где он не был с 1937 г., Макартур выступил перед Конгрессом, а затем совершил триумфальную поездку по штатам. На каждой остановке его, как главного американского героя, приветствовали толпы народа. Только в Нью-Йорке встречать генерала на улицы вышли 7,5 миллионов человек. Это было сравнимо только с тем, как страна приветствовала Чарльза Линдберга после его знаменитого полета или вернувшегося из Европы генерала Эйзенхауэра. Но постепенно интерес к Макартуру стал падать, хотя во время предвыборной кампании 1952 г. он опять появился на страницах газет. Тогда одним из кандидатов от республиканской партии на пост президента был сенатор Роберт Тафт, который обещал Макартуру пост вице-президента. В отсутствие Дуайта Эйзенхауэра, который долго решал, баллотироваться или нет, Тафт мог легко стать президентом — было ясно, страна выберет республиканца. Как известно, Тафт умер от рака в 1953 г.

¹⁴³ *Alonzo L. Hamby*, *Man of the People*, p. 564.

¹⁴⁴ *David Oshinsky*, *A Conspiracy So Immense: The World of Joe McCarthy*, New York, Free press, 1983, pp. 194-195.

¹⁴⁵ *George H. Gallup*, *The Gallup Poll: Public Opinion, 1935 — 1971*. Vol. 2, pp. 1052-1053.

¹⁴⁶ *Robert H. Ferrell*, ed. *Off the Record. The Private Papers of Harry S. Truman*, p. 310.

Тогда вице-президент Дуглас Макартур стал бы президентом. Но этого не произошло, и генерал прожил остаток своей жизни в Нью-Йорке, где и умер в 1964 г. в возрасте 84 лет.

Тем временем кровь продолжала обильно литься в Корею. Преемнику Макарута генералу Маттью Риджвею удалось добиться определенного успеха. К середине 1951 г. бои происходили примерно вдоль демаркационной линии, существующей и сегодня. В июле начались мирные переговоры, которые закончились только через два года, в течение которых было пролито еще немало крови, особенно с корейской и китайской стороны. 23 июля 1953 г., когда Овальный кабинет в Белом Доме будет занимать Дуайт Эйзенхауэр, стороны подпишут перемирие, которое, в отсутствие мирного договора, станет основанием для прекращения военных действий. Соединенные Штаты потеряли 33629 человек. Обе корейские армии потеряют около 800 тыс., Китай — более 900 тыс. человек. Общее число жертв этой войны превысило 4 миллиона. Большая часть мирных жителей была убита в результате американских бомбардировок Северной Кореи. Корейская война окончательно покончила с остатками изоляционизма в США. «Не Вторая мировая война, — сказал Чарльз Болен, — а война в Корее сделала нас мировой военной сверхдержавой»¹⁴⁷. О мире с СССР теперь не могло быть и речи, холодная война стала необратимой.

10. Последние решения.

«Придет время изменений в советском мире...»

Немногим американским президентам выпадало столько проблем в последние два с половиной года в Белом доме, как Гарри Трумену. Уже в апреле 1950 г. он записал в дневнике: «Я не буду кандидатом на съезде демократов. По-моему, быть восемь лет президентом достаточно — и иногда более чем достаточно для любого человека. Есть притягательность власти. Это может проникнуть в кровь человека — так же, как азарт и желание богатства. У нас республика, самая великая в мировой истории. Я хочу, чтобы эта страна продолжала оставаться республикой». Через несколько недель Трумен вернется к этой же теме: «Я уже говорил, что третий срок меня не привлекает. Нам бы надо найти человека, который сможет взять все в свои руки...»¹⁴⁸.

Однако найти такого человека было нелегко. Некоторое время Трумен надеялся, что командующий войсками НАТО генерал Эйзенхауэр согласится стать кандидатом от Демократической партии. Однако Эйзенхауэр заявил о том, что он стал республиканцем и согласился стать кандидатом в президенты от этой партии. Трумен смертельно обиделся на генерала, заявив журналистам, что «генерал понимает в политике не больше, чем свинья в апельсинах»¹⁴⁹.

В какой-то момент Трумен засомневался в своем решении не баллотироваться, тем более, что принятая при его поддержке в 1951 г. поправка к Кон-

¹⁴⁷ *Lawrence S. Kaplan, The United States and NATO: The Formative Years. Lexington, University Press of Kentucky, 1984, p. 146.*

¹⁴⁸ *Harry S. Truman, Diary, 1950, April 16; May 8. President's Secretary's File. Harry S. Truman Library and Archive.*

¹⁴⁹ *New York Times, 1952, January 8.*

ституции страны, запрещающая президенту баллотироваться больше, чем два раза или больше, чем один раз после занятия этой должности в силу тех или иных причин более двух лет, на него не распространялась. Однако в конце марта Трумен заявил, выступая в Вашингтоне: «Я не собираюсь быть кандидатом на перевыборах. Я служил своей стране долго и, полагаю, эффективно и честно. Я не приму новое выдвижение. Я не чувствую, что я должен провести еще четыре года в Белом доме». Один из присутствующих взглянул на радостно взволнованную Бесс Трумен: «Она выглядела так, как выглядит человек, вытянувший четырех тузов». Маргарет написала, что в этот день ее мать была самым счастливым человеком в Вашингтоне¹⁵⁰.

Трумен выступил с поддержкой демократического кандидата губернатора штата Иллинойс Эдлая Стивенсона, внука вице-президента у Гровера Кливленда в 1893-1897 гг., который был на целое поколение моложе команды Трумена — ему было лишь 52 года. Однако Америка проголосовала за республиканцев. Решающим стало обещание Эйзенхауэра лично отправиться в Корею и покончить с войной. Раздраженный Трумен писал: «Семь лет страна отражала коммунистические угрозы — в Иране, Греции, Турции, в Берлине, Корее, в Индокитае — и отражала успешно. Однако одно демагогическое заявление заставило людей забыть это!». Дуайт Эйзенхауэр получил более 55 процентов голосов и стал 34-м президентом Соединенных Штатов. Республиканцы получили большинство в обеих палатах Сената. Трумен послал победителю телеграмму, поздравляя «с более чем убедительной победой»¹⁵¹.

18 ноября 1952 г. только что выбранный президент посетил Белый дом, где у него состоялась короткая беседа с Труменом, посвященная, в основном, передаче дел. Трумен писал, что дал несколько советов новому хозяину Овального кабинета, но «все они влетели в одно ухо и вылетели из другого». Он с некоторым удовлетворением записал в дневнике: «Генерал Эйзенхауэр был ошеломлен, когда понял, что ему предстоит». Позже Трумен сказал своим сотрудникам: «Он будет сидеть здесь и распоряжаться: Сделайте это! Сделайте то! И ничего не будет происходить! Бедный Аик! Это совсем не так, как в армии. Он будет очень расстроен»¹⁵².

15 января 1953 г. Трумен выступил с прощальной речью к гражданам страны. Его выступление транслировалось по радио и телевидению. «Я полагаю, — говорил он, — история будет помнить мое президентство как годы, когда холодная война стала затмевать нашу жизнь. У меня практически не было ни одного рабочего дня, который не был бы занят этой всеохватывающей борьбой. И в конце концов всегда вопрос вставал об атомной бомбе». Однако, продолжил Трумен, «для разумного человека является невыслышимым начать атомную войну. Но когда история будет говорить, что мой срок стал началом холодной войны, необходимо будет добавить, что за эти восемь лет мы выработали курс, который приведет к победе».

¹⁵⁰ *Margaret Truman*. Bess W. Truman, p. 383.

¹⁵¹ *Harry S. Truman*, *Memoirs*, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 505.

¹⁵² *John Hersey*, *Aspects of the Presidency*. New Haven and New York, Ticknor and Fields, 1980, p. xvi.

Самым важным своим решением в качестве президента Трумен назвал решение участвовать в отражении коммунистического нападения на Южную Корею и заметил, что радикальные изменения в Советском Союзе будут вызваны проблемами в странах-сателлитах. К чему ведет холодная война и как она может закончиться? — спрашивал уходящий президент. Советский блок силен и обладает большими ресурсами, говорил Трумен, однако у коммунистов есть одно слабое место — «в долгосрочной перспективе силы нашего свободного общества, его идеи возобладают над системой, которая не испытывает уважения ни к Богу, ни к человеку... Свободный мир усиливается, становится более единым и привлекательным для людей по обеим сторонам «железного занавеса». Надежды Советов на легкую экспансию разбиты. Придет время изменений в советском мире. Никто не может сказать наверняка, когда и как это произойдет: путем революции, конфликтов в сателлитах или путем изменений внутри Кремля. Сами ли коммунистические лидеры по своей воле сменят курс своей политики или это произойдет другим образом, но у меня нет сомнений, что эти изменения произойдут. Я глубоко верю в предназначение свободного человека. С терпением и смелостью мы однажды войдем в новую эру...».

Последний раз обращаясь к американцам из Овального кабинета, Трумен объяснил свое понимание роли президента: «Президент — кто бы он ни был — должен принимать решения. Ответственность он не может передать никому. Я хочу, чтобы вы поняли, как тяжела эта работа — не ради меня, ибо я ухожу — но ради моего преемника. Независимо от ваших политических взглядов, являетесь ли вы республиканцем или демократом, ваша судьба связана с тем, что происходит в этой комнате». Вспоминая 1945 г., Трумен сказал: «Когда умер Франклин Рузвельт, я понимал, что существует миллион человек, лучше подготовленных, чем я, для того, чтобы занять президентское место. Но это была моя работа, и выполнять ее надо было мне. И я старался изо всех своих сил...»¹⁵³.

Прощальная речь произвела большое впечатление, ей аплодировали все — и сторонники, и противники президента. Его постоянный критик Вальтер Липпманн написал, что «в том, как он уходит, Трумен является президентом до кончиков ногтей — достойным этого великого кабинета. Его прощальная речь является речью человека, о котором можно честно сказать, что он имел много оппонентов, но мало врагов, что гораздо больше людей желали ему добра и любили его, чем поддерживали его политически. Он часто злился, и было не трудно злиться на него. Но ни он, ни его оппоненты не могли заставить себя сохранять эту злость... Он был очень хороший по природе человек и со своей женой и дочерью, которые пользуются всеобщим уважением и любовью, он не оставляет горького осадка, покидая со своей семьей Белый дом»¹⁵⁴.

Дауйт Эйзенхауэр отказался следовать традиции и не заехал в день инаугурации в Белый дом отдать дань уважения уходящему президенту, а сразу отправился на Капитолийский холм для принятия присяги. Трумен поехал туда со своей семьей. По дороге Маргарет обернулась к отцу и сказала: «Привет,

¹⁵³ Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. Vol. 1952-1953, pp. 1197-1202.

¹⁵⁴ *Walter Lippmann*, New York Herald-Tribune, 1953, January 19.

мистер Трумен!». Бывший президент счастливо улыбался¹⁵⁵. После церемонии семья Труменов отправилась на ланч в дом Дина Ачесона в Джорджтауне. Джон Снайдер застал там бывшего президента, стоящим одиноко у окна. «Два часа назад, — сказал задумчиво Трумен, — я мог сказать пять слов и через 15 минут они цитировались в каждой столице мира. Теперь я могу говорить хоть два часа. Всем наплевать...»¹⁵⁶.

Вечером Трумены прибыли на вокзал, откуда на «Фернанде Магеллане» отправились домой в Индепенденс. На вокзале собралась такая большая толпа, что потребовались усилия сотен полицейских и охранников, чтобы расчистить дорогу к вагону. Люди приветствовали Трумена, желали всего хорошего, старались пожать руку. На каждой станции вокруг поезда собиралась толпа и приветствовала бывшего президента. 10 тысяч человек ожидали его на вокзале в Индепенденсе, еще 5 тысяч стояли вокруг его дома. Это была самая большая демонстрация в истории города, собравшая практически все его население. Трумен был растроган до слез. «Это плата за 30 лет чертовской и тяжелой работы», — записал он в своем дневнике.

11. Гарри С. Трумен: итоги человеческой жизни, итоги политической эпохи

Семья Труменов поселилась в своем старом доме в Индепенденсе, который они привели в порядок и покрасили в белый цвет. Гарри и Бесс зажили обычной жизнью обеспеченной семьи среднего класса. Дом был старый, и они не прилагали больших усилий для приведения его в порядок. После их смерти кто-то пошутил, что только краска удерживала дом от разрушения. Переехав в Миссури, Трумен начал работу над своими мемуарами, которая заняла у него почти два года. Два тома вышли в 1955 г. и хотя продавались с большим успехом, не сделали бывшего президента богатым. Согласно договору с «Лайф», он не получал процент от продаж, а его одноразовый гонорар составил 670 тыс. долларов. После выплаты налогов и зарплаты своим помощникам по работе над книгой, Трумену осталось всего 37 тыс. долларов. Мемуары Трумена получили широкий резонанс, хотя не являлись ни хорошей литературой, ни хорошей, правдивой историей и, как большинство мемуаров, служили целям самозащиты и самооправдания. Сам Трумен сказал однажды, что должно пройти не менее полувека, чтобы можно было написать полноценную историю его президентства.

Пока позволяло здоровье, первые 12 лет после отставки Трумен каждый день появлялся в офисе своей библиотеки. Обычно он вставал в 5 утра, совершал пешую прогулку со своим телохранителем, затем читал газеты. В семь он съедал свой обычный завтрак — яйцо, кусок ветчины, кофе и сок. Около восьми утра он уже разбирал почту в своем офисе, принимал посетителей, диктовал письма, говорил по телефону. В 11-30 он возвращался домой на ланч, потом опять приходил в библиотеку и работал до вечера. Перед обедом он обычно спал. По вечерам, как писал сам Трумен, «обычно мы ничего не делали. Я проводил вре-

¹⁵⁵ *Alonzo L. Hamby, Man of the People, p. 618.*

¹⁵⁶ *Robert J. Donovan, Tumultuous Years: The Presidency of Harry S. Truman, p. 409.*

мя, наверстывая чтение, которым я пренебрегал»¹⁵⁷. В 1956 г. дочь Трумена Маргарет вышла замуж и вскоре четыре внука стали большой заботой Гарри и Бесс.

Отношения Трумена с президентом Эйзенхауэром продолжали оставаться плохими. Спрошенный однажды об этом, Трумен ответил: «Мне наплевать», а в частных беседах он не раз называл Эйзенхауэра «куриными мозгами» и «тупоголовым»¹⁵⁸. В свою очередь, Эйзенхауэр однажды выразился, что «Трумен знал о политике не больше, чем собака о религии»¹⁵⁹. Когда президент приехал однажды в Канзас-сити, Трумен позвонил в отель и сказал, что хочет нанести визит вежливости Эйзенхауэру, но никто ему даже не перезвонил. На инаугурации Джона Кеннеди Трумен и Эйзенхауэр сидели рядом, но не сказали друг другу ни слова. Вице-президента при Эйзенхауэре — Ричарда Никсона, который назвал Трумена в 1952 г. национальным предателем, Трумен так никогда не простил до конца. На протяжении многих лет Трумен отказывался быть в одной комнате с Никсоном. «Он назвал меня предателем, и мне это не нравится», — говорил Трумен. Он уверял, что «Никсон не сказал ни слова правды в своей жизни» и те, кто «будет голосовать за Никсона, прямиком отправляются в ад»¹⁶⁰. Став президентом, Никсон сам приехал в библиотеку Трумена, встретился со своим предшественником и сыграл ему «Миссурийский вальс» на рояле, стоящем в фойе административного здания библиотеки.

Хорошие отношения у Трумена сложились с Джоном Кеннеди, хотя сначала Трумен отказывал ему в своей поддержке, называя «плейбоем» и зеленым юнцом. В определенном смысле сказывалось то, что Трумен не любил его отца Джозефа Кеннеди, который стоял на позициях изоляционизма и поддерживал Маккарти¹⁶¹. Зимой 1961 г. Кеннеди пригласили Труменов в Белый дом, куда Гарри и Бесс не приезжали с января 1953 г. Трумену очень понравилась семья Кеннеди и в одном из писем он даже признавался другу, что поцеловал Жаклин в Розовом саду. Убийство Кеннеди потрясло отставного президента, он заболел и слег в постель.

До конца своей жизни Трумен оставался резким в своих суждениях. Так, в одну из своих поездок в Нью-Йорк он был спрошен репортерами о том, как он оценивает присуждение Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. «Я бы ему ее не давал», — ответил Трумен. На вопрос о гражданских правах Трумен ответил, что равенство является неотъемлемым правом всех американцев. Но, добавил бывший президент, «лично он не хотел бы быть связан с неграми». «А Вы бы отдали свою дочь за негра?» — спросил он задавшего вопрос белого журналиста¹⁶². Во время поездки в Европу в 1956 г. он встретился с Пабло Пи-

¹⁵⁷ Truman interview, 1959, September 10, «Mr. Citizen» file, Box 2, Folder 1. Harry S. Truman Library and Archive

¹⁵⁸ Margaret Truman, Ed. *Where the Buck Stops: The Personal and Private Writing of Harry S. Truman*. New York, Warner, 1989, pp. 62, 68, 72.

¹⁵⁹ Clarence B. Randall Diary, 1953, October 2. Randall Journals, Box 1, Dwight D. Eisenhower Library.

¹⁶⁰ Alonzo L. Hamby, *Man of the People. A Life of Harry S. Truman*, p. 625.

¹⁶¹ Merle Miller, *Plain Speaking*. New York, Berkley, 1984, pp. 199-201.

¹⁶² *New York Times*, 1963, September 12.

кассо, который произвел на Трумена неприятное впечатление. После поездки он получил письмо из университета Рузвельта, где говорилось о возможности предоставления финансовой помощи художнику. «Мне кажется, — ответил Трумен, — что университет, названный в честь Рузвельта, должен поддержать одного из наших способных художников, а не этого французского коммунистического карикатуриста»¹⁶³. Трумен любил повторять, что штат Миссури дал трех знаменитостей — писателя Марка Твена, разбойника Джесси Джеймса и его — Гарри Трумена и, поскольку только он один из них еще в живых, всем вокруг приходится его терпеть.

В октябре 1964 г. Трумен поскользнулся на полу ванной комнаты у себя дома и упал, сломав несколько ребер и сильно ударив голову. Он так никогда и не оправился от этого падения. Кроме того, у бывшего президента развился колит и артрит. В июне 1969 г. Трумены скромно отпраздновали свою золотую свадьбу. В начале декабря 1972 г. Трумен вынужден был лечь в больницу, где он пробыл 22 дня и домой уже не вернулся. Его комната в больнице стоила 60 долларов в день, но оплачивалась программой медицинского страхования, которую он «пробивал» через Конгресс как часть «Справедливого курса». Карточка медицинского страхования, которую Трумену вручил в 1965 г. на специальной церемонии президент Линдон Джонсон, имела № 1. 26 декабря 1972 г. личный врач Трумена Уоллас Грам объявил о смерти бывшего президента, последовавшей в 7 часов 50 минут утра в результате «отказа внутренних органов, повлекшем за собой коллапс сердечно-сосудистой системы». Ему было 88 лет, 7 месяцев и 18 дней.

На следующий день во всех газетах появились некрологи и комментарии, где отмечалась выдающаяся роль Гарри Трумена в истории XX века. В «Нью-Йорк Таймс» только сам некролог занял 7 газетных полос. Было проведено специальное траурное заседание Конгресса Соединенных Штатов. В соответствии с традицией, Гарри С. Трумен был похоронен во дворе своей библиотеки. Церемония похорон заняла пять дней. Трумен, который однажды увидел сценарий своих похорон, выразился так: «Чертовски шикарное шоу. Я ненавижу думать о том, что меня там не будет, чтобы видеть его»¹⁶⁴. Бесс Трумен прожила еще 10 лет. В октябре 1982 г. она будет похоронена рядом с мужем.

Когда Трумен ушел в отставку, он не пользовался большой любовью и уважением американцев. Но за последующие несколько десятилетий он постепенно превратился в национального героя. Он стал постоянно входить в десятку или пятерку самых лучших президентов за всю историю страны. Так, в 2001 году, по данным Института Гэллопа, Трумен был назван большинством американцев третьим великим президентом в истории страны¹⁶⁵. Книги и фильмы о Трумене пользуются все большей популярностью. Американские политики постоянно приводят Трумена в пример, а в ходе всех президентских выборов 1990-х годов все главные кандидаты, борясь за голоса, публично старались идентифицировать себя с 33-м президентом Соединенных Штатов.

¹⁶³ Harry S. Truman to Dale Pontius, 1958, June 15. Miscellaneous Historical Documents File, Box 10, Document 327.

¹⁶⁴ Harry S. Truman, Late a President of the United States: Memorial Tributes Delivered in Congress. Washington, Government Printing Office, 1973, p. 117.

¹⁶⁵ AP, February 19, 2001, Web posted at: CNN.com

Люди всегда будут помнить его как человека, отдавшего приказ сбросить первую атомную бомбу, и каждый будет по-своему относиться к этому решению. Однако эпоха Трумена вобрала в себя чрезвычайно много, и 33-й президент не зря гордился достигнутым. В письме своему другу Карлу Хатчу Трумен перечислил то, что считал важным: реформу администрации президента; реорганизацию оборонной структуры, государственного департамента и министерства финансов; создание Центрального разведывательного управления; создание Совета национальной безопасности и Совета по национальным ресурсам; определение обязанностей помощников президента и членов правительства. «Я оставляю офис в гораздо лучшей форме, чем какой-либо другой президент», — писал Трумен¹⁶⁶. К этому можно добавить еще очень много: Аляска и Гавайи стали штатами; была создана система медицинского страхования; резко увеличилась система социального обеспечения; начала реализовываться жилищная программа; были определены правила функционирования округа Колумбия, то есть столицы страны Вашингтона; создана постоянная комиссия по гражданским правам; учрежден экономический совет; усовершенствована налоговая система; внедрена юридическая защита равноправного присма на работу и права голосовать для афроамериканцев; отменена сегрегации в армии и т.д.

К заслугам Трумена надо, безусловно, отнести восстановление разрушенной войной Европы и создание западноевропейского сообщества с помощью «доктрины Трумена» и «плана Маршалла». Было создано НАТО. Сохранив Западный Берлин, Трумен воспрепятствовал советскому доминированию в Германии и всей Западной Европе. Он добился того, что Германия и Япония, еще недавно бывшие яростными врагами США и большей части европейских стран, навсегда превратились в дружественные нации. Трумен открыл первое учредительное заседание Организации Объединенных наций, причем Соединенные Штаты не просто стали ее членом, но сделали многое для сохранения престижа этой организации. Президент США стал одним из основателей государства Израиль, который увековечил память о Гарри Трумене в памятниках, именах школы, больницы и библиотеки. Ему удалось удержать в своих руках контроль над атомным оружием и воспрепятствовать приходу коммунистов к власти в Италии, Греции, Турции, на Филиппинах, в Бирме, Австрии и многих других странах.

Были, конечно, ошибки, причем очень большие. Можно вспомнить неудачную военную стратегию в Корее и провал целого ряда социально-экономических программ в рамках «Справедливого курса», катастрофу американской политики в Китае. Хотя до первого советского спутника оставалось лишь четыре с половиной года, Трумен так и не выступил с инициативой космической программы. Некоторые из его предложений, проваленные Конгрессом, будут реализованы следующими президентами.

Но главное, при Трумене и благодаря ему Соединенные Штаты стали той страной, какой мы ее знаем на протяжении последующих пятидесяти лет — мощнейшей экономической и военной сверхдержавой. При Трумене и благодаря ему был сформирован новый мировой порядок, существовавший почти полвека — до начала 1990-х годов — когда рухнул главный геополитический противник США —

¹⁶⁶ Harry S. Truman to Carl Hatch, 1952, December 1. President's Secretary's File. Harry S. Truman Library and Archive.

СССР. Основы международной системы второй половины XX века, которую мы прожили мирно, были заложены 33-м президентом Соединенных Штатов.

Трумен рос очкариком, не умеющим драться, но берущим уроки игры на пианино. Он прошел через годы грязной физической работы на ферме, через разорение своего магазина. Трумен пришел в политику как человек Пендергаста, но сумел добиться полной самостоятельности, сохранив при этом уважение как своих друзей, так и врагов. Трумен не имел харизмы, как его личный герой Вудро Вильсон, как имели ее Рузвельт или Эйзенхауэр. Ему все давалось труднее, чем его соперникам и коллегам. Он унаследовал от своих родителей и учителей систему ценностей викторианской эпохи: опора на семью, храбрость в бою, честность в отношении с другими, вера в святость обещания, даже устного, личная честь и порядочность, постоянный оптимизм, следование которым стоило ему немало усилий и нервов. Он верил в идеи Джефферсона и Джексона о маленьком правительстве и роли личного предпринимательства как экономической основе демократической республики. В своей политике он был открытым «социальным либералом», верящим в необходимость глобальной роли США и борющимся с изоляционизмом во всех его проявлениях.

Трумен был ярким приверженцем своей демократической партии, старался сохранить ее единство и массовость. Это неизбежно влекло за собой некритическое отношение к коррупции в партийной машине и к существовавшим «дружеским» или «родственным» связям внутри партийной верхушки. Внутри самой партии Трумен часто был циничным оппортунистом и скрытым расистом. Он так и не сумел преодолеть свой партийной приверженности и стать «президентом для всех американцев». Это сказалось и на его возможностях проводить политику «Справедливого курса», и на внешней политике, особенно во время второго президентского срока. Однако, принимая во внимание все ошибки президента Трумена, надо сказать, что главные свои приоритеты он выстроил, как показала история, абсолютно правильно и сумел их добиться. Во внешней политике — противостояние коммунизму и превращение Соединенных Штатов в сверхдержаву во главе Западного мира. Во внутренней политике — либеральные реформы, основанные на идеях равных гражданских прав.

После своей отставки на встречах со студентами и школьниками Трумен часто называл себя профессиональным политиком. Причем он подчеркивал разницу между политиком и государственным деятелем. Государственный деятель, говорил он, это умерший политик. Но большинство американцев думают о Трумене не как о политике. В их представлении он — воплощение американской мечты. Они помнят Трумена как простого американца со Среднего Запада, который, оказавшись в Белом доме, отстаивал их интересы и принимал замечательные решения, заботился о достатке среднего человека и продемонстрировал всему миру потенцию Соединенных Штатов. Как писал биограф Трумена Алонзо Хамби, «в конце концов, не то, что совершил Гарри Трумен сделало его американской иконой, а *кто*, по мнению американцев, он был»¹⁶⁷.

Он был настоящим американским президентом, он был настоящим американцем, он был — сама Америка.

¹⁶⁷ *Alonzo L. Hamby, Man of the People, p. 641.*

РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА В США

По материалам Пятых Международных Максимовских Чтений

5 мая 2001 г. в Нью-Йорке, в рамках масштабного Русского Форума, прошли очередные (пятые) Международные Максимовские Чтения — ежегодная конференция, проводимая журналом «Континент». Традиционная тема конференции — «ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ РОССИИ» — на этот раз была конкретизирована применительно к проблемам жизни и деятельности российской диаспоры в Америке.

Такой поворот традиционной темы был, конечно, не случаен. Пал «железный занавес», наглухо закрывавший перед русскими эмигрантами Россию, а от россиян — жизнь их бывших соотечественников за рубежом. Сегодняшняя Россия открыта для внешнего мира, те, кто был захвачен мощными волнами нескольких русских эмиграций, распространившимися по всей планете, обрели возможность духовного и культурного слияния с исторической родиной, и прежняя тема России естественно и органично стала вбирать в себя частный сюжет: «русская эмиграция».

И сюжет этот — богатый и интригующий. Ведь диаспора — это тот осколок зеркала, что хранит в миниатюре память о целом. Она вобрала в себя многие лучшие, отборные интеллектуальные и духовные силы прошлой России. За долгую и трудную свою историю она накопила колоссальный опыт по сохранению и развитию национальной культуры и ее традиций в условиях «чужбины». Прошедший апробацию целым столетием, опыт этот тем более уникален, что современная мировая цивилизация переживает сегодня сложнейший период своего развития — период глобализации, когда все национальные культуры вынуждены вариться в общем котле, грозящем им опасностью нивелировки.

Почувствительна и плодотворна в этом отношении и судьба российской диаспоры Северной Америки. Долгие годы вдали от родины, отторженная и поруганная ею, она тоже превратилась в хранительницу огромного культурного богатства, которое может и должно быть востребовано сегодня возрождающейся Россией.

Но жизнь самой российской диаспоры в США складывалась все эти годы непросто. Сложная, кровавая российская история Нового времени не могла не отразиться на ее внутренних проблемах, конфликтах и противоречиях. Признаемся себе: русская диаспора Америки не сложилась — да и не могла сложиться в силу вынесенных из России духовных и политических различий — в единую общность. В ней, в сущности, сосуществуют сегодня и ведут свой нескончаемый спор несколько отдельных диаспор, жизнь каждой из которых подчиняется собственным правилам и устоям. И, пожалуй, единственное, что позволяет выходцам из России, до сих пор очень разным, а нередко и прямо враждебным друг другу, сесть за единый Круглый стол — это сама Россия, столь же раздираемая вечными противоречиями и столь же единая в этом раздоре.

Немалый комплекс накопленных российской эмиграцией в Америке противоречий, с одной стороны, и столь же внушительное богатство достигнутых

ею бесспорных завоеваний, с другой, и определили собою характер прошедшей в Нью-Йорке конференции «Континента». Никогда прежде российская диаспора Северо-американского материка не была представлена за общим Круглым столом так полно и объективно. Здесь собрались представители всех крупных исторических волн эмиграции — монархисты и социалисты, верующие и атеисты, бизнесмены и гуманитарии, — собрались для общего разговора о роли российской диаспоры в жизни многонационального государства США, о значении российской эмиграции для сегодняшней России. Председательствовали члены редколлегии журнала «Континент» Наум Коржавин, Эрнст Неизвестный, Эдуард Лозанский и Марина Адамович, которая вела Круглый стол.

Перед началом конференции участники ее были ознакомлены с письмом главного редактора журнала «Континент» **Игоря Виноградова**, высказавшего свое понимание нынешней ситуации в России и тех главных исторических задач, перед которыми оказалась после ельцинского правления страна. Он кратко проанализировал с этой точки зрения также и деятельность путинской администрации за первый год нового президентства, подвергнув ее той критике, о характере которой читатель может судить по выступлению И. Виноградова в РГГУ, напечатанном в 108-м номере «Континента». Итоговый же вывод письма звучал так: «России опять придется ждать, когда, наконец, ее власть обретет тот государственный разум, который будет адекватен ее проблемам и ее исторической судьбе. Можно ли надеяться, что это когда-либо произойдет? Я все-таки надеюсь. Но мой прогноз на ближайшее будущее — пессимистичен».

Затем с приветственным словом выступил член редколлегии журнала «Континент», организатор Русского Форума **Эдуард Лозанский**. Он кратко рассказал о целях и задачах собравшегося в Нью-Йорке форума¹.

Первым на конференции выступил **Петр Колтыпин-Валловской**. Судьба его типична для эмигрантов первой волны: бегство из красной России в Югославию (оба родителя — участники Белой Армии Юга России), образование — в Югославии, Германии, потом — в США; он первым из русской эмиграции был номинирован в Конгресс США и участвовал в выборах; основатель Объединения за Свободу России, 25 лет был начальником Российского Имперского Союза, председатель Российской Зарубежной Экспертной Комиссии по останкам Императорской Фамилии; известный публицист, антикоммунист. В своей речи Петр Колтыпин-Валловской говорил о необходимости решительного отмежевания от советского прошлого России.

На эту же тему выступил и профессор **Евгений Магеровский** — вице-председатель Русской Академической Группы, соредактор «Записок РАГ» (см. информацию об этом альманахе в 102-м номере «Континента»), вице-председатель Российской Зарубежной Экспертной Комиссии по останкам Императорской Фамилии, полковник генерального штаба Армии США в отставке, в прошлом — преподаватель многих американских университетов, политолог. «Я

¹ «Континент» благодарит организаторов Русского Форума и русскую редакцию «Голоса Америки» (Вашингтон) за предоставленную магнитофонную запись конференции и выражает сожаление, что по техническим причинам запись эта не была полной.

и мои сверстники — это последний отзвук старой, императорской России», — так начал свое выступление Е. Магеровский, отстаивая свое право действительного «наследника славного русского прошлого» на «недоуменные вопросы». С падением советской власти у людей его биографии затеплились были надежды на возрождение России. Но вместо государственного переустройства началась «вакханалия», с какими-то «олигархами», «киллерами», «бизнесменами», необычайно разросшимся преступным миром и, самое главное, со старым коммунистическим аппаратом во главе страны. «Неужели русская интеллигенция исчезла в России?.. Неужели у вас никого нельзя найти более подходящего, кроме четырехразрядных бывших чекистов?» Далее выступавший заметил: «...поражает то, с какой легкостью они (т.е. интеллигенция, — М.А.) приспосабливаются к воле тех, кто у власти. Над российской армией развеивается... красное знамя, знамя революции; пятиконечная звезда, символ коммунизма, — на кокардах военноморского флота; мотивы советского гимна «Союз нерушимый...» — национальный «русский» гимн, все военные знамена — красные тряпки отжившего коммунизма. И это все принимается в порядке вещей, без какого-либо протеста. Происходит одно из двух: либо у всех русских совсем отшибло память, или они ходят как какие-то невменяемые, «Иваны не помнящие родства», которым все равно... Не знаю, сколько сейчас миллионов составляет собой Россия, ...неужели ...не найдется ни одного действительно заслуживающего внимания, способного управлять государством человека?»

О фантомной сверхдержавности, свойственной русскому человеку, о его наполеоновском комплексе говорил в своем коротком выступлении профессор **Александр Янов**, давший сжатую характеристику исторического развития Российской империи, наследницей которой, по его мнению, была и остается и нынешняя Россия при всех ее политических режимах.

Одной из самых болезненных тем для русской эмиграции всегда была тема взаимоотношений США и России. С падением коммунистического режима естественно было ожидать и поворота в «русском вопросе» со стороны американской администрации. Именно об этом — о формировании внешнеполитической стратегии и тактики по отношению к России у американского правительства — прошлого и нынешнего, о сегодняшних тенденциях в развитии американо-русских государственных отношений — и о частных проблемах русского эмигранта в контексте больших политических игр, — говорил политолог, директор Международного Центра (Вашингтон), главный редактор «Вашингтон-он-лайн», соредактор журнала «Демократизация» (США) проф. **Николай Злобин**.

Выступление проф. Злобина было поддержано известным музыковедом, публицистом **Соломоном Волковым**. Он посвятил свое короткое выступление анализу роли России на современном мировом культурном рынке. По мнению С. Волкова, перед Россией сегодня стоит парадоксальная задача — принципиальное изменение традиционного подхода к мировому рынку культуры.

Россия — традиционно литературно-центристская страна. В основе ее культурного дискурса всегда была, есть и будет литература. В то время как на мировом культурном рынке наиболее востребованный русский «товар» — музыка и балет. С. Волков заметил, что в западном сознании музыка и балет России занимают больше места, чем литература; имена Стравинского и Баланчина говорят

западному человеку неизмеримо больше, чем имена Ахматовой и Платонова. Об этой странной ситуации можно долго размышлять, анализировать причины, но, по мнению Волкова, это установленный факт, с которым нельзя не считаться. Скажем, Валерий Гергиев, дирижер из Санкт-Петербурга, российский гражданин, является главным приглашенным дирижером Метрополитен-опера, Юрий Темирканов, также петербургский дирижер и тоже российский гражданин, возглавляет симфонический оркестр в Балтиморе, — вряд ли можно найти в других областях культуры подобные примеры, когда российские творческие деятели были бы приняты на руководящие должности в той же Америке. Именно здесь, в музыке и балете, по мнению С. Волкова, должны начать сходитьсь позиции России и Запада в осуществляемом ими культурном диалоге. Однако, с горечью заметил выступавший, Россия выказывает странную незаинтересованность в пропаганде русской культуры за рубежом. Так, во всех странах мира существуют специальные знаки отличия, которыми награждаются творческие люди, внесшие особый вклад в дело пропаганды своей национальной культуры — во всех, кроме России. Вот и получается, что тот же Баланчин был награжден орденом Почетного Легиона Франции (за организацию фестиваля Равеля), но за распространение по всему миру славы русского балета он не получил ничего. Стоило бы подумать, считает С. Волков, о том, чтобы создать, наконец, некую структурированную иерархическую систему поощрения и вознаграждения тех людей, которые занимаются пропагандой русской культуры за рубежом и утверждают славу России как высокодуховной и культурной державы.

О реальном вкладе русской эмиграции в дело сохранения и умножения отечественной культуры говорил **Никита Моравский**, представитель американского Комитета «Книги для России». Говорил он и о реальной помощи, которую оказывает русская диаспора в Америке переживающей сложный кризисный период России. Эмигрант с более чем пятидесятилетним стажем, попавший в США с волной русских беженцев из Китая, Моравский теплыми словами помянул страну, приютившую таких, как он: Америка открыла невероятные возможности для обездоленных, бежавших от «красного террора» русских. Сам Моравский в прошлом был заместителем директора американской художественной выставки для Советского Союза «Американская графика», работал атташе по культуре в посольстве США в Москве в период холодной войны. Благотворительный Комитет «Книги для России» был основан в Вашингтоне в 1997 г. по инициативе Никиты Струве (председателя парижского общества ИМКА-Пресс), при поддержке Фонда Солженицына и правительства Москвы. Цель Комитета — создание в России так называемой Библиотеки фонда «Русское зарубежье», состоящей из книг русской эмиграции, — для того, чтобы заполнить ту культурную брешь, которая образовалась при советской власти. На призывы Комитета активно откликаются русские американцы — они жертвуют книги, журналы, архивы. В Москве все это собирается и предоставляется российским читателям. Библиотека призвана знакомить российских ученых и общественность с духовным достоянием всех волн русской эмиграции. С другой стороны, мобилизуя людей жертвовать книги, Комитет нацеливается и на задачу пропаганды русской культуры среди американской общины: собирая средства для Фонда, он устраивает различные культур-

ные мероприятия, концерты и т.п. Такого рода деятельность, по убеждению Н. Моравского, пусть и дело малого масштаба, но вполне способно послужить культурному диалогу США и России.

Вслед за Н. Моравским выступила директор Толстовского Фонда в Америке **Ксения Воеводская**, рассказавшая о многолетней деятельности Фонда, основанного еще дочерью Л.Н.Толстого Александрой Львовной, о последних Программах Фонда по поддержанию российских детских домов, помощи русским сиротам. Выступление Воеводской было дополнено **Владимиром Толстым**, директором Дома-музея «Ясная Поляна», председателем Центрального Совета Ассоциации Музеев России (АМР).

Следует заметить, что выступления столь разных по политическим пристрастиям, профессиональным интересам и историческому опыту участников конференции концентрировались именно на тех проблемах, которые казались первостепенными прежде всего самим выступающим. Попытку свести все сказанное в некое единое тематическое поле, обобщить все частные выводы и наблюдения предпринял член редколлегии журнала «Континент» поэт **Наум Коржавин**. В своем очень эмоциональном выступлении он заметил, что не может согласиться с высказанным Е. Магеровским упреком в том, что интеллигенция медлила и ничего не сделала, чтобы взять власть в свои руки. По мнению Коржавина, она не медлила, а действовала ошибочно. Именно она призвала Гайдара с его программой приватизации, и «Гайдар весь народ толкнул к пропасти». Столь же безрассудным представляется Коржавину и тогдашнее поведение США, поставивших перед собой странную задачу продвижения НАТО на Восток. «Зачем? Кому это нужно было?» — на эти риторические вопросы Коржавин дал свой ответ: «я думаю, что — советологам, у которых были *проекты*, да им не удалось их раньше пробить, а тут — удалось, хотя для этого не было уже никаких причин». Несправедливым посчитал выступавший и упрек в сохранении верности коммунистам. «Могу Вас заверить, — сказал Коржавин, — что коммунистов в России нет ни одного. Коммунистическая партия кончила свое бесславное и кровавое существование еще в 1935 году. Потом началась КПСС — ее так и надо называть, ибо это партия безыдейности. Безыдейность — это вовсе не отсутствие идей. Это отсутствие идей при декретированной идейности. Это — насаждение *пустоты*. Именно в ней воспитывались миллионы. Зюганов, вождь коммунистов, является сегодня председателем *патриотического* фронта. Коммунисты выступают как главные патриоты — и в России никого это не удивляет, хотя здесь налицо смешение понятий. Коммунисты всегда стояли на позиции интернационализма, они по определению не могут быть патриотами. Само же понятие «патриот» — понятие хорошее, правильное, если его не мешать с шовинизмом. Русские люди в своей массе — хорошие люди. «Но я ощущаю их бессилие, — сказал Коржавин. — Свежий пример тому — история с НТВ, история еще одной капитуляции». Тем не менее, убежден он, «Россия сумела сохранить ум, она еще может справиться с теми глобальными проблемами, которые встали перед нею после крушения советской сталинской диктатуры. Но это нелегко и это надо делать направленно и сознательно».

Жизни Русской Православной Церкви Зарубежом, ее прошлому и настоящему, посвятил свое выступление священник **о. Михаил Меерсон-Аксенов**, настоя-

тель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке. «Мы с вами сегодня являемся свидетелями и отчасти — участниками довольно беспрецедентного явления, — заметил о. Михаил, — а именно: появления православия, православной Церкви на мировой арене как *общественно-инициативной силы*, которой православие не было в течение уже многих веков. В Византии церковь была в фарватере имперской политики, в России только в средние века церковь была инициативной силой. Она потеряла эту инициативу уже в московский период, и конечно, была совершенно спеленута в советское время. На наших глазах церковь в традиционно православных странах Восточной Европы выходит на арену современной жизни буквально из средних веков. Последние десять лет мы видим, что православие довольно успешно разрастается и осваивает язык современной культуры». Что же касается российской диаспоры и церковной ситуации в Америке и на Западе, то тут, заметил о. Михаил, тоже все завязано на исторической традиции православия с ее слабыми и сильными сторонами. Культурные особенности Православной Церкви сохраняются и в России, и здесь, в США, они помогают, но, отчасти, и — мешают организационной деятельности Церкви в эмиграции. Главная проблема, по мнению выступающего, заключается в том, что «Православная Церковь всегда была лишена творческого активного культурного языка. Славянский язык был всегда языком богослужения; церковь не имела языка, на котором она могла бы говорить или писать». Это значит, что «у нее не было культурного самосознания. Она не могла посмотреть сама на себя со стороны». Эта проблема была усугублена в имперский петровский период, когда «образованные классы стали силой, как бы *оставленной* от Церкви», а на сегодняшнем Западе осложнена еще и тем разделением Русской православной зарубежной церкви на несколько юрисдикций, которое до сих пор очень сильно в Америке». В результате здесь, в Америке, русская церковь еще больше, чем в России, лишена собственного *культурного* языка. Исторически таким языком был язык церковной журналистики и интеллигенции, которая касалась церковных проблем. И те немногие деятели русской культуры, которые обращались в своем творчестве к православию, не случайно оказывались исключительно влиятельными (скажем, Лесков, Достоевский). О. Михаил напомнил в этой связи и о том, как небольшая группа интеллигенции, прикоснувшаяся к Церкви в период русского религиозного Ренессанса и очутившаяся после революции на Западе, где создала Свято-Сергиевский Православный институт в Париже и Христианское Студенческое Движение, «оказалась настолько влиятельной, что выплеснула это влияние за пределы собственно богословно-церковного влияния в общекультурное влияние и не только в Европе, но и в Америке. Их воспитанники оказались деятелями уже в американском православии, в частности, основателями Свято-Владимирской Духовной Академии, которая является сегодня наиболее влиятельным и известным центром богословского образования и научной работы». Что же до нынешней ситуации, то о. Михаил привел лишь один пример такого влияния, назвав имя участника конференции известного публициста Марка Поповского — его «книга об архиепископе Луке (Войно-Ясенецком. — *М.А.*) превратилась в некую хрестоматию для самих церковнослужителей. Она повлияла, думаю, и на решение канонизировать архиепископа Луку». Во всяком случае, напомнил о. Михаил, Марк Поповский получил письмо от Патриарха с благодарностью за эту работу.

Естественно, слово было предоставлено и **Марку Поповскому**. Он посвятил свое небольшое эмоциональное выступление судьбам русских писателей за рубежом. Он сказал, в частности: «Сегодня я чувствую себя отцом, дождавшимся поры, когда его дети — книги — зажили своей независимой жизнью. Когда я вхожу в свой кабинет, глаз незаметно задерживается на полках, заставленных книгами моих коллег. У меня их более 200 томов. Значит, каждый из нас по-своему осуществил свою мечту. То, что прежде скрывалось, стало доступно читателю. И за это мы все должны быть благодарны Америке».

О жизни российской диаспоры в Канаде рассказали радиожурналисты русской редакции «Радио Канады» **Евгений Соколов** и **Юрий Боголепов**. Они подчеркнули необходимость сотрудничества русских диаспор в деле, начатом еще первой русской эмиграцией: развенчание ложных мифов о России — старых и новых. «Нам и самим следует взглянуть на Россию и увидеть ее такой, какой дал нам ее Господь Бог» — со всеми ее недостатками и неоспоримыми достоинствами, — заметил Евгений Соколов.

В своем выступлении писатель **Валерий Попов** заметил: тема русской диаспоры — совсем неожиданная для него (гость Нью-Йорка только накануне прилетел из Петербурга и был приглашен нами на конференцию. — *М.А.*), но она, несомненно, задевает его. «Действительно, русская нация как-то менее всего преуспела на международном пространстве. Уже есть китайцы конгрессмены, а русских все не видно. Одна из причин — создание усиленного антирусского мифа». «Конечно, ангелов у нас в стране нет, но боюсь, что в результате некоторых выступлений мы склоним американцев и вовсе не иметь с нами дело. Что я могу сказать? — Не надо иметь иллюзий — тогда не будет горьких разочарований. Скажем, один из наших замечательных писателей как-то признался: в Америке птицы не поют. И в первую же ночь в Нью-Джерси (один из центральных штатов США. — *Ред.*) проснулся от оглушительного пения птиц. Словья меня просто замучили. И то же — о российском мифе: у нас, мол, птицы не поют. Поют, не будем преувеличивать. А миф о резком ухудшении жизни в России в сравнении с 1914 годом? — Это тоже иллюзия... А обвинять интеллигенцию, что Путина не поправляет? Да интеллигенции нигде никогда не было у власти. И никто не любит путинского ледяного взгляда, да и тусклого взгляда Брежнева мы не любили. Правит чекист — это так, это неприятно, но и Буш-старший, помнится, тоже не институт благородных девиц кончал». «Мы, люди искусства, делаем жизнь прекраснее, — заключил прозаик, — а потому задача что-то изменить — неправильно поставлена».

О русскоязычной прессе в США, об интеллектуальной жизни русских эмигрантов, об их контактах с американской культурой рассказали главные редакторы журналов **Валентина Синкевич** («Встречи»), **Игорь Михалевич-Каплан** («Побережье»), **Лариса Шенкер** («Слово/Word») (об этих изданиях см. «Континент», № 102).

О литературной ситуации в русском зарубежье и во всей русской диаспоре говорил писатель и критик **Александр Генис**. «Эмиграция и метрополия — два сообщающиеся сосуда: чем больше давления в одном, тем выше уровень жидкости в другом. И когда ситуация в России становится тяжелой, эмигрантская литература переживает свой рассвет». В эти дни в России ситуация становится

все более напряженной, заметил выступавший, а «это значит, что у эмигрантской литературы появляется свой шанс сыграть важную роль на русской литературной арене. Готова ли русская зарубежная литературная общественность к этому? — Конечно же, нет. В 70-х здесь была группа литераторов, журналистов, писателей, которые весьма эффективно повлияли на литературную ситуацию в России. Сегодня происходит все прямо наоборот. Те, кто действительно есть в эмиграции, печатаются в России. Там читатели, там, кроме прочего, еще и деньги». Ситуация в эмиграции, — продолжил Генис, — «мне кажется чрезвычайно убогой». Поэтому выступавший предложил проект создания единой русской газеты, которая могла бы сыграть роль объединяющей силы для всей русскоязычной империи за рубежом. Несколько миллионов русскоязычных людей разбросаны по всему миру, «русскоязычная империя без границ простирается от Берлина до Австралии, от Вашингтона до Южной Африки. Кажется естественным и назревшим создание всемирной русской газеты, которая могла бы консолидировать литературные силы всей русскоязычной общины, где бы она ни жила. До тех пор, пока нет такого объединяющего органа, наша русскоязычная литература будет искать себя в России» — закончил свое выступление А. Генис.

Философ проф. **Михаил Эпштейн** поддержал высказанное Генисом предложение. Темой его выступления стала проблема жизни эмиграции в период глобализации. «Если представить сложенный вдвое лист бумаги, на одной стороне которого написано «Америка», а на другой — «Россия», то эмиграция — это линия сгиба, место точек, крайне удаленных от центров обеих культур, — сказал он. — Этот сгиб не виден в плоскости ни одной из культур. Но если разогнуть лист, то место сгиба окажется в центре листа. Именно это и происходит в век глобализации, когда, выражаясь языком древних пророчеств, «книги разогнутся». И тогда места сгибов окажутся в середине разогнутых книг. Появляются люди — «глобалы», которые могут видеть обе стороны листа — и их все больше. Они разгибают сложенный вдвое лист и воспринимают его трехмерно. В этом третьем измерении, которое открывается глобализацией, сгиб оказывается посередине. Глобализация перемещает эмиграцию с краев в центр культурных процессов. До сих пор мы существовали как цитаты в тексте чужой культуры, мы носили на себе невидимые кавычки. Мы — русские цитаты в тексте американской культуры, и американские — в тексте русской. И вот сейчас мы раскавычиваемся, потому что весь язык глобального сообщества становится сплошь переводным и цитатным. Эмигранты — это протоглобалы эпохи разделенных национальных государств. Диаспора — это споры будущей глобальной культуры».

Выступление члена редколлегии журнала «Континент» скульптора **Эриста Неизвестного** было посвящено «Континенту» — журналу, роль которого в жизни русской эмиграции, считает он, трудно переоценить и вклад которого в развитие и упрочение независимого слова русской культуры трудно не признать. «Я буду говорить о «Континенте», поскольку эта тема не только прошлого, она спроецирована в сегодняшний день, и о том движении, которое недостаточно удачно названо диссидентским, — так начал свое выступление знаменитый скульптор. — Во-первых, сказал он, соединить диссидентство в

некую партию или общность — практически невозможно, это то же самое, что называть различных деятелей искусства и литературы — шестидесятниками. В нормальных условиях эти люди были бы очень часто враждебны друг другу, никакой единой школы «шестидесятников» не существовало. И когда тоталитарный пресс вдруг ослабевал, в один и тот же день могли проявить себя эстетически самые противоположные направления — скажем, театр маски Любимова и театр реализма Ефремова. Нас объединяло то, что все неординарное становилось враждебным государству. Мы как бы представляли один лагерь. Поэтому, когда говорят — диссидент, практически это ничего не значит». «В действительности, диссидентское движение, в основном, отраженное и в «Континенте», — это не цельное и плотное движение, обладавшее ясной четкой политической платформой... У оппозиции, которую представляло это движение, не было ни политической, ни экономической — *никакой* программы. Но было недовольство тиранией. Диссидентское движение было благороднейшим движением — эдакое *гуманитарное движение*. Это были гуманные люди — такие, как христианин Максимов, защитники прав человека, но по сути — не политические мыслители. Вот почему, кстати, ни State Department, ни Конгресс США не могли отнестись к нашему движению как к полноценному политическому. Но в этом есть — *высокое достижение*. Потому что политические предложения о реорганизации армии и хозяйства — не дело интеллектуалов-гуманитариев. А вот совесть — это наше дело. И Максимов, и Сахаров, и все им подобные — были такой *совестью*. Все движение было подернуто неким флером благородства и трагизма. В чем состоял трагизм моих друзей Максимова, Зиновьева и других? Трагизм был в том, что вольно или невольно, но мы все были учениками марксистской диалектики. Мы впитывали ее — желая того или не желая... Маркс был велик тем, что он — гениальный критик капиталистической системы и талантливый памфлетист. Критический метод он преподавал нам здорово, мы его всосали, сами того не замечая. Это время марксистского мышления я так и назвал: *время Не*. У моих друзей оказался в руках ключ: они умели критиковать. Но как только начиналось позитивное строительство — предложить было нечего. Маркс был никчемный футуролог, абсолютно поразительно, как он был в этом глуп. И потому когда всей нашей когорте не стало, что критиковать, когда свершилось все то, чего мы хотели, движение вдруг превратилось в чистом виде в движение гуманитарных защитников прав человека. И оно продолжало критиковать Российское правительство именно с этих позиций. Потому как других позиций у движения не было. Не было разработано позитивное мышление. Это — недостаток. Но вместе с тем это и огромное достоинство. Именно сегодня, например, журнал «Континент», который продолжает свою эстафету, выходит, по-моему, даже на большие высоты, чем это было в годы его эмигрантского существования. Вспоминаю, что основным конфликтом моим с Максимовым было то, что журнал чрезмерно политизирован, что главным средством влиять на умы являются не столько политические факты, которые каждый день меняются, сколько *глубинное* исследование в области духовной жизни, в области гуманитарного строительства, в области строительства интеллекта. Кстати, я замечал, что советское правительство не так уж боялось всяких экономических замечаний (они и сами любили

подиссидентствовать в этом направлении); они боялись главного — подлинной религии и подлинной свободы духа. Это и в самом деле наиболее мощная сила. И я очень рад, что сегодня журнал «Континент» не ввязывается в думские дискуссии, а занимается *духовными* проблемами».

Здесь, как было уже сказано, по техническим причинам запись конференции была неожиданно прервана. Поэтому редакция «Континента» не может, к сожалению, представить читателям полный отчет о выступлениях на конференции. Сообщаем, что среди выступивших на Круглом столе были также издатель **Эдвиг Арзунян**, искусствовед **Наталья Колодзей**, академик **Петр Короткевич**, художник **Леонид Пинчевский**, философ **Ушанги Рижинашвили**, представитель Конгресса Русских Американцев **Сергей Рогозин**, писатель **Гарри Табачник**, писатель **Владимир Торчилин**, педагог **Леонид Школьник** и др.

Обзор подготовила Марина Адамович

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ В РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ

Второй-третий кварталы 2001 г.

Традиционная для русской *социально-философской мысли* тема *особого пути России* и так называемой «*русской идеи*» обсуждалась в периодике истекшего полугодия особенно, пожалуй, активно. Ей оказалось посвящено сразу несколько значительных публикаций.

«Октябрь» (№ 6) напечатал ответы на анкету с вопросами на эту тему, которые дал в свое время известный русский философ **Федор Степун**, высланный после революции вместе с рядом других русских писателей и ученых за границу («*Идея России и формы ее раскрытия*»). Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что всякий великий народ имеет некую историческую миссию, свою национально-историческую идею, Степун заметил, что двух ответов здесь быть не может, ибо идея всякого народа — это не что иное, как «образ Божьего замысла о народе». Есть свое величие, своя идея и своя трудная миссия и у русского народа. Раскрытие же этой идеи требует тщательной живописи исторического пути и лица России. «Божий замысел о России, — считает Степун, — весьма существенно ознаменован тем, что православная церковь была в противоположность католической и протестантской прежде всего призвана к блюдению образа Христа и опыта христианства, зачастую в ущерб богословскому и религиозно-философскому углублению в проблемы христианства; что Россия не была в своих недрах столь глубоко взволнована Реформацией и Возрождением, Просвещением и индивидуализмом, как Запад, почему и осталась мыслью и жизнью верна своему убеждению, что высшая идея есть единство всех идей. Все подлинное, глубокое и органическое русское творчество, как философское, так и художественное, запечатлено этой идеей, откуда действительность и жизненность даже и слабых, даже и малооригинальных русских мыслей... Может быть единственным преимуществом русского человека: его первичность и настоящесть».

В № 1-2 международного журнала «*Ab imperio* (теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве)», издающегося в Казани, **А. Тузиков** в статье «*О «русской идее» in english замолвите слово*» ведет диалог с западными коллегами — в частности с Т. МакДаниэлом. Обсуждаются три тезиса, отрицающие «русскую идею», и четыре — утверждающие ее. Отрицания таковы: 1) «русская идея» не является специфически русской и уникальной, она — лишь версия западных теорий модернизации общества и истоки ее лежат в немецкой классической философии; 2) вдобавок «русская идея» не имеет отношения к культурным корням русского народа, а потому вряд ли может быть основой, объединяющей социум; 3) ко всему сказанному «русская идея» не является идеей по своей сути. Это идеологический сплав социальной мысли и социального действия.

Утверждения же таковы. Первое: согласно «русской идее» общество должно базироваться на неких универсальных духовных ценностях, а не на материальном интересе. Второе: российское общество обладает большей, по сравнению с Запа-

дом, социальной солидарностью, «соборностью» и единением. Третье: в отличие от западной версии, идея равенства понимается не как равенство возможностей, а как равенство разумной достаточности в обладании имуществом и отсутствие социальной иерархии. И четвертое: сакральная природа власти; единство народа и власти, когда власть ищет легитимацию своих действий у народа, а народ проектирует на власть свои представления о сакральности политической сферы.

Об историческом пути России в статье **«Россия и Ренессанс»** пишет и **А. Арутюнян** («Общественные науки и современность», № 3). Автор напрочь отвергает концепцию Д.Лихачева, пытавшегося уместить русскую культуру в рамки, по которым шло развитие культуры западной, и нашедшего в ней ренессансные явления. Арутюнян утверждает: развитие России происходило в антизападной ориентации, по законам православной цивилизации — византизма. В искусстве это означало деспотию консервативно-традиционных художественных канонов, в политике — автократическую систему власти, имперские притязания, подавление частной инициативы. История Новгорода — «боярской республики» — с историей демократии никак не связана. Дихотомии церкви и государства в России не было. Православная церковь была интегрирована в авторитарную систему власти, став идеологическим рупором самодержавия. Понятия свободной личности, индивидуализма, демократии считались «западной заразой». Идея «третьего Рима» требовала в качестве геополитического императива экспансии православия, расширения границ путем завоеваний, приумножения земель, создания империи. Однако византизм, глубоко проросший в антизападном по сути российском менталитете, не смог противостоять притягательной силе западной культуры и вовлек Россию в лоно Европы. Европой она и обречена быть.

О Чаадаеве как основоположнике утопии особого пути России пишет **Р. Черепанова** в статье **«Петр Чаадаев мифический и реальный»** («Общественные науки и современность», № 3). Схематично эта утопия изображается автором в виде противоположения: «мы хуже всех — мы лучше всех». Первая часть формулы конкретизируется в противопоставлении истории России и мировой истории; вторая подразумевает: духовное избранничество компенсирует материальную отсталость. По мысли автора, критикуя историю России, Чаадаев отнюдь не имел целью сближение ее с современной европейской цивилизацией. Его утопию можно назвать консервативно-теократической: прогресс — как нравственное совершенствование, авторитарность власти, недоверие к частному разуму, главенство передающих волю Провидения традиций, моральность красоты, искусство как проповедь идеала. Мы можем стать лучше всех, если осознаем свои основы, достоинства и волю Провидения в приближении «мирового апокалиптического синтеза», ибо истинное национальное сознание народа заключается в постижении настоящего путем уяснения прошлого и предугадывании своего будущего предназначения.

Д. Платонова в статье **«Проблема национальной самобытности в свете антропологических взглядов западников и славянофилов»** («Общественные науки и современность», № 3) указывает на то, что в развитии русской культуры славянофилы выражали центристремительную тенденцию. В процессе формирования личности они придавали первостепенное значение национальной самобытности, основанной на православии и соборности. С их точки зрения, об-

щечеловеческие ценности — отвлеченная абстракция, а полноценная личность возможна только в цельной русской православной культуре. Рациональная Европа, исказив религиозную веру, потеряла целостность, деградировала и оказалась неспособной к порождению подлинной личности. Западники же выражали центробежную тенденцию, утверждая, что Россия должна преодолеть национальную замкнутость и приобщиться к общечеловеческим ценностям, ибо полноценная личность может сформироваться только в европейской культуре.

О позитивном влиянии татаро-монгольского ига на формирование русского суперэтноса размышляет Э.Кульпин в статье **«Цивилизационный феномен Золотой орды (колонизация южнорусских степей в XIII-XV веках)»** («Общественные науки и современность», № 1). Автор считает, что практика Золотой орды была попыткой цивилизационного прорыва в истории человечества — не до конца реализованной евразийской цивилизацией. Так, в Южнорусских степях была создана система мегаполисов. Разноплеменное городское население, со временем сплавившееся в единое целое, способствовало объединению народов, сложению из разных этносов единого суперэтноса. Системообразующим этносом был тюркский, культурная ориентация была направлена на арабские страны, Иран и Китай. Однако социально-экологический кризис — двадцатилетняя засуха, Великая Замятня (смута 1360—1380 гг.) и нашествие Тимура — вызвали массовую миграцию населения степи на Север — в Литву и Русь. Выбранный путь эволюции не выдержал испытания, смена системообразующего этноса была неизбежна. Он стал русским. Русь должна была заново не только собирать земли, но и создавать новую государственную культуру.

С темой особого «русского пути», особой «русской идеи» напрямую связаны и некоторые публикации,

Из работ, обращенных к *концептуальному осмыслению процессов, происходящих в современной России, и ее возможного будущего*, отметим следующие.

Для выработки *методологии, необходимой для описания и понимания сложившейся в России ситуации*, автор статьи **«Архаизация как категория общественных наук (на опыте России)»** А.Ахиезер («Журнал социологии и социальной психологии», т. 4, № 1) предлагает ввести в лексический обиход социальной философии понятие «архаизация». «Архаизация» — это реакция общества или личности на кризисную ситуацию, представляющая собою обращение к программам, которые сложились в пластах исторически минувшей культуры и уже не отвечают возросшей сложности современного мира. Волны архаизации вызываются проведением экономических и политических реформ. Столкновение архаизации со стремлением к реформам создает картину раскола общества, но это не классовая борьба. Столкновение архаизации и прогресса происходит прежде всего в сфере культурных ценностей, в формах поведения и образа жизни, в ориентации на статику или динамику. Другими словами, причины разрушительных конфликтов во время кризисных ситуаций связаны не с фактом существования противоположных векторов социального развития, а с культурной отсталостью общества, с его неумением вести продуктивный диалог, тогда как единственное средство разрешения таких конфликтов — это именно диалог.

С. Кургинян, автор статьи **«Архаизация и прогресс»** («Россия XXI», № 1), тоже претендующей на методологическую значимость, использует тот же термин, но

наделяет его другим смыслом. Он описывает мировой порядок, который устанавливает США. Власть единственной сверхдержавы основана на абсолютном технологическом превосходстве, но есть некий предел технократической нагрузки на земную цивилизацию, он вычислен и называется «барьер Питерса». Качественное поднятие уровня технократической нагрузки в США вызывает и должно вызывать поэтому необходимость качественного снижения этого уровня в других точках земного шара. Так что датеchnологизация, деиндустриализация — или, иначе, *архаизация* — России как раз и является компенсацией подъема в США.

Между тем на самом деле, считает Кургинян, мир устроен (или должен быть устроен) иначе. Существующему принципу системно-антисистемного консенсуса, где система — Запад, антисистема — все остальное (ближайшая аналогия: Рим и варвары), есть альтернатива. Ибо внутри всего этого существует интисистема — СССР, Российская империя (прогресс, гуманизм, универсальность, христианство). Если интисистемы нет, выбор приходится делать между системой и антисистемой. Система — отвратительна (порнография, насилие, интернет и так далее). Антисистема — столь же отвратительна (чего стоит хотя бы «суррогатный ислам»!), так как она является необходимой периферийной частью системы. Как исковую парадигму и механизм противодействия устанавливаемому системно-антисистемному консенсусу нового мирового порядка автор и предлагает рассматривать коммунизм и СССР (только где они?..)

Наконец, и авторы статьи **«Неомарксизм в России: новые ответы на вызовы социальных проблем XXI века»** («Альтернативы», вып. 2), преподаватели МГУ А. Бузгалин и А. Колганов, тоже предлагают свои методологические рецепты для исследования и практического изменения социальной жизни XXI века. И тоже не могут обойтись при этом без теней прошлого. В качестве наиболее адекватной нашей современности методологической парадигмы они выдвигают некий *неомарксизм*, вкратце излагая суть его так. Мир стремительно уходит с «магистральной дороги социального прогресса» и приходит в тупик. Необходимо его вернуть на путь «всестороннего развития человека в ассоциированной творческой деятельности в диалоге с природой». Путь этот введет в Царство свободы. Основа Царства — ассоциированное социальное творчество. Это общедоступная деятельность по совместному творению истории, мера же продвижения по этому пути — социальное освобождение. Оно достигается формированием таких общественных условий, в которых основная масса трудящихся окажется «пропитана» энергией социального протеста и «возвышена» до включения в мир культуры. На пути социального освобождения единственно доступной и наиболее эффективной формой творчества является социальная революция, ее цель — коммунизм. Социализм трактуется как переходный процесс, подготавливающий общество к состоянию «по ту сторону» материального производства и рынка. Неустанное ассоциированное социальное творчество ведет и к отмиранию политических форм (партий, государства, в том числе, представительской демократии) и развитию «базисной демократии». Последняя охватывает все признанные права и свободы человека, все формы экономического и территориального самоуправления, всю власть массовых организаций, всю законодательную, исполнительную и судебную власть, и это все при отсутствии президентского или аналогичного ему института. Тезисно прилагается даже и некий

проект форм и методов ассоциированного творчества на пути к Царству Свободы в условиях царства необходимости (мир в нем все еще пребывает).

Подобного рода сказочные обороты в речах нынешних отечественных любомудров — еще одно опровержение ходячей иллюзии о якобы демифологизированном характере современного сознания. Утешительная мифология по-прежнему властвует в головах и сердцах не только многих рядовых российских граждан, но и в умах некоторой части нашей так называемой интеллектуальной элиты.

Перейдем к статьям, авторы которых предпочитают быть ближе к реальности и заняты прежде всего анализом и осмыслением того, что действительно происходит в сегодняшней России.

Обозревая *политические итоги* последнего десятилетия, автор статьи «**Сильное государство — объективная потребность времени**» («Вопросы философии», № 7) **Б.Топорнин** констатирует слабость нашего государства как института власти. Оно не добилось улучшения дел в экономике, не гарантировало конституционные права и свободы, не смогло побороть преступность. Такому государству не под силу вывести страну из кризиса. Чтобы переломить ситуацию, государство должно стать сильным. Идею сильного государства часто трактуют как отказ от демократии, возвращение к тоталитаризму, к командно-административным методам управления. По мнению автора (академика РАН), это не так. Сильное государство (в истинном смысле слова) он определяет как демократическое государство, которое знает только одну власть — власть закона. Решить сложную задачу совмещения понятия «сильное государство» с понятиями «демократическое государство», «правовое государство», «социальное государство» должна юридическая наука. Задача реальной власти наполнить эти понятия содержанием.

В.Анурин в статье «**Постмодернизм: в поисках материального фундамента**» («Общественные науки и современность», № 3) пытается подойти к *анализу современной российской действительности с критериями постмодернизма*, который трактуется им как социально-экономическая формация. Автор указывает, что наиболее важный момент, ускользающий от внимания критиков, — связь идеологии постмодернизма с возникновением постиндустриального общества. Он прослеживает макросоциологические изменения, вызванные информационной революцией — последней из глобальных революций. Для общего очерчения социального устройства постиндустриального общества характерно усиление прозрачности национальных границ и возрастание влияния наднациональных сообществ (ООН, НАТО, ОБСЕ и т.п.). Благодаря новейшим компьютерным технологиям участие членов общества в управлении предельно расширяется и активизируется. Экономические отношения характеризуются возрастанием роли информации, снижением значения частной собственности и возрастанием интеллектуальной, глобализацией всей экономики, появлением электронных денег, превращением информации в основное средство обмена, возникновением новой экономической категории «интеллектуальный капитал».

В сфере социальной организации и управления стремительно возрастает уровень социального интеллекта. В сфере занятости подавляющее преимущество обретают секторы сервисный и информационный. Характер населения — субурбанистический (пригородный). И конечно резкое возрастание значение высшего образования для жизненной карьеры.

Печальный итог статьи состоит в том, что ни одна из перечисленных постмодернистских тенденций социальных изменений современной России, по мнению автора, не свойственна.

Зато как об одной из *основных характеристик социальных изменений* в современной России приходится говорить, к сожалению, как показывает **Н.Симония**, о коррупции. В статье **«Особенности национальной коррупции»** («Свободная мысль», № 8) он анализирует ее отличительные черты и главную из них видит в тесной взаимосвязи российской коррупции с процессами неконтролируемого «первоначального накопления» и почти анархического становления бюрократического капитализма. Только одно перечисление механизмов этого накопления убеждает в огромных масштабах присвоенных капиталов. Автор показывает, как в ходе приватизации чиновники незаконно подыгрывали фаворитам, заранее предопределяя исход «аукционов»; сами выбирали особую группу коммерческих банков и присваивали им статус «уполномоченных». Через них происходило бюджетное финансирование государственных предприятий; через Центральный банк или Минфин пускали в рост не по назначению целевые кредиты. В сфере внешней торговли занижали цены импортных и экспортных товаров, скрывая за рубежом до 30% валютной выручки; самые высокие чиновники (президент, премьер-министр, некоторые вице-премьеры) предоставляли экспортные квоты на нефть. Завышались объемы работ и цены в сфере государственного финансирования проектов и госзаказов, незаконно предоставлялись налоговые льготы избранным предприятиям и компаниям, допускалась фиктивная уплата налогов, корыстно предоставлялись таможенные льготы специфическим общественным организациям («афганцы», спортсмены, инвалиды), которые занимались коммерческой продажей наиболее ходовых импортных товаров.

В эту вакханалию первоначального накопления были втянуты многие представители верховной власти и значительная часть правоохранительных структур. Именно это обстоятельство стало главным препятствием для сколько-нибудь успешной борьбы со всеобщей коррупцией.

По мнению автора статьи, фундаментальным условием искоренения коррупции может быть только глубокое изменение социально-экономической структуры и блокирование дальнейшего развития паразитического и деструктивного варианта бюрократического капитализма, перевода его в русло регулируемого верховной властью позитивного варианта «нормального капитализма». Но на это понадобится как минимум 20 лет.

Проблеме *взаимоотношений общества и власти* посвящена статья **В.Ачкасова** **«Россия как разрушающееся традиционное общество»** («Журнал социологии и социальной антропологии», т. 4, № 1). Автор считает, что основным способом проведения российской модернизации является грандиозная имитация. Создается видимость полной вовлеченности социума в процесс навязанных «сверху» реформ. В действительности же общество в целом к радикальным переменам не готово и его ответ на модернизацию вполне традиционен — неприятие, массовое сопротивление новациям, накопление недовольства. Новое российское государство построено на основе сговора новых и старых привилегированных элит, которые цинично игнорируют интересы подавляющего большинства населения. «Простой советский человек» остро почувствовал свою

ненужность стране и новому либеральному государству. В этой ситуации вопрос «а зачем государство мне?» звучит вполне оправданно. Пассивное большинство отрицает все авторитеты. Возникающие демократические институты граждане просто игнорируют. В такой ситуации автору наиболее вероятными видятся два сценария будущего России: или «обвал» в новый тоталитаризм, или беззаконие, неэффективное управление, экономическая стагнация.

К той же проблеме обращается и **Н.Тихонова** в статье «**Личность, общность, власть в российской социокультурной модели**» («Общественные науки и современность», № 3). Но она рассматривает современный российский способ взаимоотношений общества, личности и государства прежде всего с точки зрения *наличного состояния общественного сознания*. Судя по эмпирическим данным, констатирует автор, для сознания россиян характерен приоритет интересов общества над интересами личности и за государством признается функция быть выразителем такого приоритета. Личность сохраняет право отстаивать свои интересы, а государство обязано учитывать все их многообразие. Государство персонифицируется в образе президента. Государственный аппарат (чиновничество всех рангов) воспринимается как неизбежное зло. Свобода личности для россиян ограничивается правом «быть услышанным» при выработке некоего единого принципа развития страны. Интересы отдельных личностей, или меньшинств, создают реальную угрозу для общественного спокойствия, однако государство — как выразитель общих интересов — должно принимать их во внимание. Но — на базе консенсуса, направленного на благо всего народа как единой общности. Автор признает описанную модель отношений народа и власти весьма желанной, но далекой от действительности.

Определенное представление о состоянии современного российского общественного сознания дает и статья «**Имидж Москвы глазами россиян**» («Социс», № 2). Ее авторы — **Е.Башкирова** и **Н.Лайдинен** — обращаются к данным всероссийского опроса, которые рисуют образ столицы в представлении провинциалов. Большинство опрошенных достаточно трезво оценивают благополучие москвичей и не считают город обиталищем сплошных олигархов. Стереотипно восприятие Москвы как города, где гарантии личной безопасности не существует. Что до чистоты улиц, она устраивает менее половины опрошенных. Значительная часть граждан считает сложной столичную экологическую ситуацию; большинство придерживается мнения о чрезвычайно высоком уровне коррупции и преступности. По мнению абсолютного большинства, культурная жизнь и спорт города весьма разнообразны и богаты событиями. Инфраструктура удовлетворяет всех. Безопасность бизнеса — наличествует. Возможность отдыха (ночные клубы, рестораны, казино и т.п.) — большинство удовлетворено. Итак, вопреки информации СМИ, однозначно негативного отношения к Москве нет. Есть острое и болезненное восприятие проблем коррупции, преступности, личной безопасности и благополучия граждан, но это проблемы, увы, не только московские.

Не прекращаются попытки *самоидентификации российской интеллигенции*. Вот версия, основанная на историческом экскурсе. Кандидат философских наук **В. Жуковский** в статье «**Русская интеллигенция и религия: опыт историко-софской реконструкции смысла**» («Философия и общество», № 1) открывает потаенную сущность русской интеллигенции. Если свободный человеческий дух, воплощенный

в деятельности интеллигенции, рассуждает автор, сталкивается с заведомой социальной несправедливостью и откровенным диктатом, будь то светская или духовная власть, он встает в решительную оппозицию официозу. А если он желает противостоять не только морально, но и практически, то на смену духовной лояльности и универсальности приходят жесткость и категоричность. Непременным качеством противостояния становится максимализм. Иначе говоря, чтобы бороться с заведомым злом власти, интеллигенции самой приходится прибегать к злу в форме подчеркнутого революционизма, одновременно вытесняя в себе зло пустого морализаторства и бездействия. Это значит, что позиция интеллигенции и мера ее радикализма всегда производна от позиции властей и степени их деспотизма.

Тему продолжает статья **Б.Фирсова «Интеллигенция и интеллектуалы в конце XX века»** («Звезда», № 8). По мнению автора, понимать под «интеллигенцией» относительно сплоченную группу интеллектуально развитых людей, объединенных общей оппозицией к властям, — феномен чисто русский. Для жителя России интеллигент — человек высокой идеи, посвятивший себя заботам об общем деле служения истине и справедливости. В изменяющемся обществе — это ресурс модернизации, наставник, поводырь, учитель непросвещенной массы.

Интеллектуал — понятие западное. Оно определено профессиональным составом не связанных между собой индивидов-производителей идей. Они могут быть в разных отношениях с обществом — и отчуждения, и конструктивного критицизма, и социальной ангажированности (наемная служба).

Слой образованных советских граждан, отождествившись с дореволюционной интеллигенцией, попросту сложил о себе миф. Миф этот несправедливый, ибо только дореволюционная интеллигенция действительно олицетворяла духовность и на деле противостояла власти. Противостояние власти советской интеллигенции было настолько незаметно, что в массовом сознании к интеллигенции причисляли и саму властную элиту, партийно-государственное чиновничество, номенклатуру. Эта, с позволения сказать, интеллигенция поддержала реформы 1990-х, увидев в них исторический шанс решить свои проблемы. Бывшей коммунистической элите удалось создать видимость смены исторического курса, но при этом сохранить механизм социальной преемственности власти и осуществить передел государственной собственности в свою пользу. Теперь у бывшей номенклатуры нет нужды в коммунистическом равенстве и братстве. Кое-кого из советских «интеллигентов» взяли на кормление, большинство же осталось на ветру перемен.

Человек умственного труда оказался в пренебрежении. Зато взамен он получил интеллектуальную свободу и вполне реальную возможность найти такие формы существования, которые соответствуют его природе и могут стать его опорой в будущем, когда общество призовет его к сотрудничеству в качестве интеллектуального потенциала науки, культуры, образования. Таким образом появилась возможность из мифологического состояния интеллигента перейти в реальное состояние интеллектуала, диктующего обществу условия партнерства.

По наблюдениям автора, постсоветские интеллигенты в своей массе интеллектуалами не стали.

Обзор подготовил Александр Денискин

БОМОНД НАД КЛОАКОЙ

Передо мною книга с длинным названием:

М.М. Яковенко. Агнесса. Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о счастье и горестях трех ее замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову, о шикарных курортах, приемах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории. М., «ЗВЕНЬЯ», 1997. Издательская программа общества «МЕМОРИАЛ».

Я давно уже собирался написать об этой примечательной книге, но это не будет рецензия на нее. И отнюдь не потому, что книга лишена литературных достоинств. Просто интересует меня в ней другое. Я понимаю, что это «другое» не выступало бы так ярко, если бы не литературные достоинства, и благодарно отдаю им дань, но писать буду не о них.

Книга эта, конечно, свидетельство. И свидетельство яркое, неожиданное, хотя никаких новых фактов рассказчица не сообщает, догадки ее о причинах событий, основанные на слухах, ходивших в той средневысокопоставленной среде, в которой она вращалась, не всегда точны (хотя это и само по себе уже информация, но — косвенная). А уж о репрессиях и лагерях рассказано достаточно и без нее. Ценность этой книги в другом — в свидетельствах, которые могут быть переданы прежде всего именно художественными средствами...

Чтобы покончить с литературной стороной дела, я приведу два заключительных абзаца из серьезного и квалифицированного послесловия к ней, написанного Ириной Щербаковой.

«Она (то есть автор книги М.М. Яковенко. — Н.К.) затрудняется определить жанр этой своей книги. Конечно, это и не мемуары в чистом виде, и не

**Наум
КОРЖАВИН**

— родился в 1925 году в Киеве. В 1945 году поступил в Литературный институт им. Горького, в 1947-м был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Отбывая ссылку в Караганде, окончил там Горный техникум. В 1954 году амнистирован, в 1956-м реабилитирован. В 1959 году окончил Литинститут. Автор известных поэтических книг, вышедших у нас в стране и за рубежом («Годы», 1963; «Времена», 1976; «Сплетения», 1981; «Время дано», 1992, и др.), пьес и многих статей о литературе (в «Новом мире», «Континенте», «Гранях» и др.). Член редколлегии журнала «Континент» с 1974 года. В 1973 году вынужден был эмигрировать. Живет в Бостоне.

литературная запись, и не роман. Тут всего понемногу. Но для нас сейчас важно только то, что перед нами замечательный текст, возникший в результате встречи двух ярких талантливых женщин. Эта книга — их общее творение. Героиня рассказывает о событиях своей жизни, о людях давным-давно «унесенных ветром», автор — о времени.

В основе этого текста — услышанная жизненная история и точно переданная сказовая интонация, которая помогла передать то, что не могут зафиксировать никакие документы: характеры, чувства, ощущения, наконец, мифы ушедшей эпохи. Словом, все то, что создает историю повседневности».

С этой оценкой книги и ее обеих «соавторш» я вполне согласен. Но добавлю все же, что эта «история повседневности» возникает так отчетливо именно потому, что перед нами не просто биография женщины, свидетельствующей о том, что она видела и претерпела, а именно женская биография. Все, что она рассказывает, увидено глазами женщины, озабоченной, в общем, исключительно своей женственностью..

Нет, она вовсе не глупа, не темна, не суперэгоистична. Скорее умна, культурна и, в общем, добра. Даже к другим женщинам. Правда, не к тем, кто дерзает встать на ее женском пути, — таких она сметает. Причем, не прибегая к посторонним средствам (допустим, через могущественных знакомых — она порядочна), а ограничиваясь опять-таки чисто женскими методами. Умеет проявить свое превосходство и подавить им соперницу. Но такие были редки. В основном, везде, где она вращалась, она царила беспрепятственно, и на ее корону никто не посягал. В этом она была уверена до конца, и это, по-видимому, было недалеко от истины. И писать бы об этом вовсе не надо было, если бы не тот исторический фон, на котором развивалась ее чисто женская биография, и если бы не те люди и события, с которыми она была опять-таки чисто по-женски связана и которых тоже воспринимала чисто по-женски, то есть политически и идеологически непредвзято..

Это дает возможность увидеть историческую повседневность времени, в котором она жила, в несколько непривычном, бытовом ракурсе. В том ракурсе, который существенно ничего не меняет в моих, например, представлениях об этой эпохе, но дополняет их новыми красками. Яркая женская биография этой женщины интересует меня здесь поэтому не сама по себе, не из-за особой симпатии или антипатии к ней (точнее к ее образу — женщину эту я никогда не видел), а только из-за той самой «исторической повседневности», которая столь выразительно просвечивает сквозь ее восприятие. Об этом и будет моя работа.

Но разговор о биографии этой женщины и об отношении к ней тоже не избежать.

Отношусь я к этой женщине пусть не очень сложно, но двояко. Симпатизирую ее женственности, сочувствую ее стремлению состояться и даже «царить» в *beau monde*, но уж слишком упрямым было то легкомыслие, с которым она не замечала, что этот *beau monde* — над клоакой. Что с первой минуты ее второго замужества все, кто ею восхищался и целовал ей руки, приходили из клоаки и в клоаку возвращались, ибо *beau monde* этот был чекистским конца двадцатых—начала тридцатых годов.

Но в этот мир она попала не сразу. Перед вторым замужеством было первое. А перед ним девичество до и во время гражданской войны. Родилась она

в городе Майкопе, росла в кругах, весьма далеких от какого-либо beau monde'a вообще — в семье, относившейся, как теперь говорят, к «среднему классу». Отец ее мечтал разбогатеть, но не смог и так и остался приказчиком. Но это позволяло ему содержать семью на приличном уровне и даже обеих своих дочерей Лену и Агу (то есть самое Агнессу Ивановну) учить в гимназии.

Этническое происхождение Аги тоже весьма сложное, экзотическое даже для южного города. Отец ее, был греком (девичья фамилия Агнессы — Аргиропуло), а мать — русской сибирячкой с примесью якутской крови. Обеим сестрам это пошло на пользу: они выросли красавицами. Мать участвовала в жизни дочерей до самого конца, а с отцом произошла такая история. Он под давлением родственников развелся с матерью, а после гражданской войны с разрешения советского правительства реэмигрировал на историческую родину. Развод не оборвал его связей с дочерьми, а вот реэмиграция, куда он хотел увлечь и их, — оборвала. Тем более, что кончилась она и для него трагически. Греческое правительство реэмигрантам не доверяло, видело в них большевистских агентов и не шибко их впускало. Он так и умер в карантине, где прожил несколько месяцев и заболел. Так что в советской жизни своих дочерей он участия не принимал.

Судя по тому, что Агнесса Ивановна о себе рассказывает, она в юности вовсе не была похожа на тургеневских героинь. Да и просто на интеллигентную девушку с «умственными интересами». Даже не принадлежала к тому кругу, где такие «интересы» у девушки котируются (впрочем, как бы развивались ее интересы, если б не было революции, неизвестно). Не знаю, выигрывала ли от этого она сама, но мы от этого сейчас безусловно выигрываем. Ибо в кругах, где это котируется, такие «интересы» часто имитируются. Это могло задеть и ее и снизило бы достоверность ее «показаний». Но уж чего-чего, а имитации в Агнессе Ивановне не было ни на грош. Она была именно тем, чем была, и никем другим и не хотела ни быть, ни казаться. В этом и ценность ее воспоминаний как историко-психологического источника.

Если же говорить о влиянии на нее в ее юности общей духовно-интеллектуальной атмосферы всей страны, то и оно было минимальным. В стране все взорвалось и изменилось, но реально Майкопа, города, где родилась, жила и училась в гимназии Ага, изменения не касались сравнительно долго. Несколько лет, то есть большую часть Гражданской войны, в городе стояли белые, то есть продолжалась привычная жизнь. И были кавалеры, воспитанные люди, офицеры, причем иногда такие, о каких раньше уездные барышни и мечтать не могли, каких забросить в Майкоп могли только экстраординарные обстоятельства. Правда, с этим у Аги были связаны и огорчения. Увивались-то эти кавалеры больше вокруг ее старшей, уже кончившей гимназию сестры Лены, она и впрямь была невеста (и скоро стала женой одного из них). А младшая оставалась в тени, как маленькая. Ее это очень огорчало. Но под конец и у Аги завелся роман, И вполне настоящий (конечно, настоящий по тем временам: тогда не считалось, что настоящие романы начинаются с приглашения «у койку»). Герой этого романа, есаул Петровский, дворянин, выпускник университета (физмат окончил), был много старше ее и как человек порядочный берег шестнадцатилетнюю девочку. Даже на поцелуи пошел не сразу, а дальше — ни-ни. Если

бы не внешние обстоятельства (уход белых), дело бы, может, все-таки кончилось браком и была бы нормальная жизнь. Но пришлось проститься и уйти. По договоренности с красными город сдавался им без боя и даже тем офицерам, которые пожелают остаться, гарантировалась неприкосновенность. Но многого ли стоили большевистские гарантии? Кто-то мог их дать даже искренне, а кто-то другой, кто не давал, спокойно бы их нарушил.

А вот муж Лены поверил гарантиям и остался. Зарегистрировался, как положено, и, действительно, первое время жил спокойно, работал где-то. Но недолго. Вдруг пришел приказ всем зарегистрированным явиться на станцию Тихорецкая в такой-то день, в такое-то время, и все кончилось. Лена проводила мужа до Тихорецкой. Ехали на подводе. Муж, прощаясь, плакал. И плакал не зря. Сначала от него приходили письма, а потом перестали. Как рассказал один случайно уцелевший, всех явившихся расстреляли из пулеметов. Как в Крыму Землячка с Белой Куном¹...

Интересно, как восприняла Лена необходимость разлуки с мужем. Проводив его как нормальная верная жена, она, по ее словам, на обратном пути испытала облегчение, почувствовала себя свободной. От кого, от чего? От мужа, который ей опостылел? Но ведь она могла уйти от него раньше и уж, конечно, не сопровождать его в эту прощальную поездку. Нет, непохоже. Скорее, почувствовала она свободу не от него, а от лежащей на нем — а значит, на них обоих — печати прокаженности. Сама, по своей воле она бы его не предала, но раз так получилось «само собой» (вряд ли она понимала, что проводила его на смерть), испытала облегчение.

Я знаю многих женщин, которые разделили со своими мужьями трагедию Белого Дела в тягостях эмигрантского и советского «учетного» существования. Я восхищаюсь этими женщинами, но Лену осуждать не берусь. Ей я сочувствую. Но я, мало сказать, осуждаю — я испытываю омерзение к тем, кто счел себя вправе подвергнуть ее (да только ли ее? — всю страну) этому нечеловеческому испытанию. Задело это испытание только старшую из сестер Аргиропуло. Но наверняка отразилось и на младшей, стало памятью и ее сердца, вошло в состав ее личного социокультурного опыта. И навыков.

Впрочем, хватало у нее и непосредственных впечатлений. В начале Гражданской семья Аргиропуло сняла квартиру в доме отставного генерала, доброго старика, который весь день возился со своим садом, пестовал его, гордился им. Охотно рассказывал о каждом растении, с любовью произносил их названия. И вот что с ним произошло:

«Пришли красные. Генерала убили, «надели», как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так».

Видимо, это произвело на Агнессу сильное впечатление, раз она об этом рассказывает спустя столько лет, после всех своих *beaumont'ов*, этапов и лагерей. Но тогда ей было восемнадцать лет, и ее собственная жизнь занимала ее больше всего. А вся ее дальнейшая жизнь, даже в ближайшие недели, требовала заб-

¹ Так бывало, по-видимому, чаще всего. Однако какие-то офицеры, состоя на учете в ОГПУ и НКВД, но скрывая свое прошлое от всех остальных, дожили до войны. По какому признаку отделяли «овец от козлищ», никому не известно. Думаю, что и самим отделявшим.

вения этой страшной картины. Но в этом она была неоригинальна: тогда таких впечатлений, требующих забвения, было много. Для того чтобы выжить, надо было забывать, точнее — не вспоминать. Это забвение тогда и потом было путем и способом жизни и выживания всего населения страны. Ситуация у Аги в этом смысле была стандартно тяжелой — такой, как у всех. К таким стандартам приучили народ заигравшиеся фанатики. Потом эти стандарты обернулись против них самих, но кому от этого стало легче? Страна уже была затянута в трясину.

Мне грустно констатировать способность людей к такому забвению, но на ней держатся все тирании. Ничего не поделаешь — это так. Далеко не все люди способны к адекватной реакции на подобные «вертеле» или просто на «таинственные» исчезновения людей; большинство застывает в страхе и хватается за любые утешения и позы. И живут. Но это уже люди взрослые, пожившие. Что же удивительного, что расцветавшую как раз тогда недавнюю майкопскую гимназистку Агу больше всего на свете занимало ее несмотря ни на что радостное и распространяющее радость цветение?

Она цвела. И даже то, что ее с семьей переселили из генеральского дома в более бедное и менее удобное жилище, не очень отвлекло ее от этого. Неудобство этого переселения она ощущала, но это было на втором или на третьем плане. Интересовала ее только сама жизнь, переполнявшая ее, обаяние ее собственной женственности, которой она сама не могла и не хотела противостоять. И ожидания, с нею связанные — естественно, в наличной социальной реальности. Ее можно было бы осуждать, если бы она она была воспитана в сознании ответственности за социальную жизнь, но этого не было. Она была умной, часто проникательной, одевалась со вкусом, но интеллектуалкой не стала, да и не собиралась стать. Не потому что не могла — просто интересы у нее были другие. Впрочем, настоящая женственность — это тоже высокая ценность, в том числе и культурная, выработанная веками. И жалко будет, если человечество ее лишится. Ага была от природы расположена к веселому легкомыслию, сама себя так рекомендует, но, как у всех ее сверстников, жизнь ее сложилась так, что думать пришлось о многом, о чем она думать не хотела и в нормальное время бы не думала. Но в нормальное время она бы вообще не прожила такой интересной жизни. И никому не пришлось бы в голову записывать устные рассказы об этой жизни.

Хотя жизнь ее все равно была бы полной. Скорее всего вышла бы замуж за какого-нибудь блестящего офицера, который потом стал бы генералом, или за преуспевающего инженера. Блистала бы на балах не только красотой и нарядами, но и разговором: ей ведь многое было интересно. И предмет особых ее забот — сметала бы своих соперниц, если б такие возникали,

Хотя, в общем, она относилась к своим приятельницам хорошо. Да и вообще была доброй. И где б она ни оказалась, на локальном или столичном уровне, там бы и царила. И этим бы и удовлетворялась. Абстрактного честолюбия или тщеславия у нее не было. Само собой были бы у нее и дети. И поскольку была она человеком, в общем, порядочным, никакие моральные проблемы перед ней бы не вставали.

Случившаяся революция внесла существенные коррективы в ее жизнь, но изменила не суть ее женственности, а только обстоятельства, в которых она

должна была проявляться. Ее отношение к ценностям не меняется на всем протяжении ее жизни и рассказа о ней. Много лет проведя в непосредственной близости к высокой политике, она и теперь не выдает себя за когда-либо жившую ее интересами. Ее всегда устраивало, что она просто женщина — красивая и обаятельная, но просто женщина. И так при всех извивах своей и исторической судьбы.

Но перейдем непосредственно к ее жизни. Глава об ее первом замужестве, о первом выборе, начинается с эпизода, прямого отношения к этому не имеющего. Когда Ага кончала гимназию, Майкопом уже владели красные, и гимназисткам объявили, что им придется сдавать политэкономии. Прислали специального лектора, на вид весьма хилого, но пылавшего невероятной страстью «ко всем этим коммунизмам и диктатурам» (выражение Агнессы Ивановны). Излагал он им суть учения так: «Вот есть у меня пинжак. И если у тебя его нет, то я должен его тебе отдать, и я с радостью отдам. Или рубашка, которая, как говорится, ближе к телу»...

За этим «лектором», его «политэкономией» и вообще за его представлением о том, за что борется и чем «пылает», — своя судьба и своя трагедия, имеющая немаловажное значение для понимания нашей общей трагедии. Мне он напомнил Кушлю из «Сентиментального романа» Веры Пановой. Это исторический характер, о котором безусловно стоит говорить, но, к сожалению, не в этой статье. В этой статье важен не он, а впечатление, которое он произвел на слушателей. Это впечатление Ага выразила кратко и точно одной фразой, завершающей рассказ об этом «лекторе»: «Мы, барышни, смотрели на него с удивлением».

Фраза эта с виду незначительна, но за ней стоит многое. Смешно ли им было слушать такие лекции? Вероятно, смешно, но вряд ли чтоб очень. Это было первое настоящее соприкосновение «барышень гимназисток» с непонятным миром, в котором им отныне предстояло жить. Лекторов с таким языком они на гимназической кафедре никогда не видели и представить бы себе не могли. Однако он там стоял и говорил. И в удивлении этом наверняка был и привкус отчаяния: если такие люди могут преподавать в гимназии, то что их вообще ждет впереди? Они ведь не знали, что так не будет, что это всего лишь «милые детские глупости только что родившегося нового строя».

В основном эти девушки относились к тому же «среднему классу», что и Ага — милые, порядочные, привыкшие к культурному быту и обиходу. Среди них могли быть и будущие интеллектуалки, но о таких Ага не вспоминает. Впрочем, если они и были, то тогда они тоже, наверно, были растеряны, если не подавлены. Ведь все они были в том возрасте, когда девушки сознательно и подсознательно думают о суженых и об устройстве своей жизни. А как ее устраивать? С кем?

Раньше Ага очень завидовала сестре, ее успеху в офицерской среде, ее замужеству и вообще жизни. А теперь, когда Ага подросла, кончила гимназию и получила свободу маневра, все это оказалось как бы ни к чему: все ушли с белыми. Гимназисты, растерянные, как и она сама, ее, по-видимому, не привлекали. Она, сознавая это или нет, нуждалась в прекрасном принце, в победителе. Неужели в этой жизни оказались победителями одни «пинжаки»? Неужели все, что ей дано (а цену себе она если не знала, то чувствовала), пропадет втуне?

Но скоро она воочию убедились, что это не совсем так. Однажды вечером к ней прибежала ее подруга Лиля, и вот что она ей сообщила: «Агнеска, что ты тут сидишь? Ты что, ничего не знаешь? Еще вчера вошла в город башкирская бригада, а ты тут сидишь взаперти! И командиры у них культурные, интересные. Солдаты у них башкиры, а командиры — ну как белые офицеры! Честное слово, пойдем скорее в городской сад! Как раз они там гуляют. Сама увидишь».

Еще Лиля рассказала подруге о своем конфузе. В городском саду Лиля и ее подруга Ира оказались, вероятно, вполне намеренно рядом с этими командирами. На фуражках у этих предполагаемых кавалеров было, по выражению Лили, «красное нашито». И Лиля — в основном, чтоб показать, что и она не лыком шита, — сказала подруге по-французски (предполагала, что уж по-французски-то те не понимают), что красное — цвет дурака, ибо, как известно, дурак красное любит. Но вышел конфуз: самый юный из командиров, очень еще молоденький, поднял перчатку и по-французски же разъяснил милым барышням, что они ошибаются: красное — цвет не дурака, а свободы. Девушки, смутившись, убежали, но были счастливы — молоденький командир был идейным, но интеллигентным, вполне им под парю: в жизни опять появилась перспектива.

Агнесса это почувствовала и не заставила себя долго уговаривать, быстро собралась и побежала вместе с Лилей навстречу вновь открывающимся возможностям. Раз и на этой стороне есть такие люди, значит, не все еще потеряно. Недавние их кавалеры если и были живы, были теперь или еще в Крыму, или уже в Галиполи. Впрочем, может быть, и на родине — в гибельных концлагерях у Белого моря или даже на воле — на учете до определенного времени. Барышни — может, тогда еще даже «кисейные» (почему бы и нет и что в этом дурного?) — им ничем не могли помочь, но понимали, что юность длится не вечно и не повторяется. А эти командиры были здесь и тоже были хорошими, но за ними чувствовалось дыхание жизни и победы. Ни они, ни барышни не знали, что скорей всего их тоже ждут трагедии, вполне сравнимые с трагедией Белого офицерства и эмиграции. Барышни мало разбирались в идеях, боялись не их, а грубости и хамства. Теперь появлялась надежда отвести от себя эту угрозу, остаться в привычном для себя мире. Вот они и побежали навстречу этой надежде.

С момента, когда Агнесса побежала в городской сад, чтобы увидеть там красных командиров, похожих на белых офицеров, и началась ее одновременно и советская, и женская биография. Это у нее совпало.

Следует подчеркнуть: она бежала тогда навстречу своему женскому счастью, а не советской идеологии, с которой всегда только сосуществовала, а не сливалась (как было бы, наверно, и со всякой другой идеологией, но другие не столь ревнивы). С идеологией она не сливалась никогда, хотя именно с людьми, осуществлявшими власть этой идеологии, всегда была связана ее судьба. Бежала она не зря, предчувствия ее не обманули. Там и тогда, в этом саду и этим вечером она встретила своего в скором времени мужа — первого из трех, которые были в ее жизни, Ивана Александровича Зарницкого.

О перипетиях и развитии ее романа с Зарницким я рассказывать не буду. Отмечу только, что это вправду был роман, что она действительно полюбила, что это не был цинический брак по расчету — таких у нее вообще не было.

Но несколько слов о ее первом суженном сказать все-таки придется. Он был сыном священника и какое-то время был горячо и заразительно верующим. Но потом отказался от веры и фактически от родителей, поскольку совершенно искренне отправился воевать «за народ». Был ли он тогда членом партии, из рассказа Агнессы Ивановны понять трудно. Потом, когда его подчиненный, впоследствии печально знаменитый Фриновский, подселел его и он лишился своей должности (что она отмечает), он уже был беспартийным, но вряд ли он был им и к моменту своей женитьбы. В это время он служил уже не в Майкопе, а в Ростове и командовал всеми погранвойсками Северного Кавказа. Беспартийный мог быть военспецом, но не чекистом.

Впрочем, тогда еще ничего не устоялось и все могло быть. А начальником он был большим. Ему тогда подчинялись и местные органы ЧК. Когда она направлялась к мужу в Ростов и проезжала Армавир, там ее и всех, кто ее сопровождал, по его просьбе опекали — встречали-проводжали, принимали и кормили — местные чекисты. Для нее это были просто мужчины, сослуживцы будущего мужа.

Она в этом смысле — никак, конечно, того не желая — оказалась его злым гением. Потребовала венчания в церкви, а через некоторое время и поездки к его родителям-«клерикалам» — другими словами, восстановления связи с ними. Да и сама она не отказывалась от религии никогда. По ее представлениям, съездить к родителям было обязательно. Все это было выполнено, чем потом не преминул воспользоваться Фриновский, когда «копал» под ее мужа. Но предвидеть такие последствия она по политической наивности не могла. Он никогда не корил ее этим и отнесся к ударам судьбы стоически. А может, даже был рад, что был отстранен от этой работы: он ведь, судя по всему, был порядочным человеком. Такие тоже иногда примыкали к большевизму даже и во время Гражданской войны, то есть когда, по нынешнему восприятию, это было наименее возможно. Кстати, в конечном счете это отстранение пошло ему на пользу: исключенных в начале двадцатых в годы «ежовщины» замечали редко.

Фриновский появился в Ростове, прибыв туда в составе чекистской «бригады Евдокимова», назначенного представителем ВЧК (а потом, видимо, и ОГПУ) по Северному Кавказу. О личности Е.Г. Евдокимова почти никто ничего не знает (лишь должность и инициалы — и то и другое мне известно только из примечания к этой книге), но его фамилия в связи с сыгранной им ролью известна мне давно. В этом смысле он фигура весьма значительная. Можно даже сказать — историческая. Даром, что без лица. Он (во всяком случае, так это выглядело) — изобретатель и инициатор первого абсолютно сфальсифицированного публичного судебного процесса — «Шахтинского дела». Конечно, «первого» — это сильно сказано. Ведь и до этого у большевиков «бывало». Был «Процесс ЦК правых эсеров» с фантастическими обвинениями, но это была расправа с политическими противниками. Тут большевики совершенно искренне были уверены, что «все дозволено» — удалось разоблачить или нет, но засудим врагов! Было от начала до конца высосанное из пальца «Таганцевское дело». Эта фальшивка (из-за которой был расстрелян Н.С. Гумилев) оправдывалась, как им (но только им!) казалось, крайней пропагандистской нуждой доказать творящимся связь кронштадских повстанцев с монархическим

офицерством и «буржуазной» интеллигенцией. Уж очень трудно было найти «правильное» (то есть соответствующее большевистской фразеологии) «классовое» объяснение Кронштадского восстания. Но публичным в «Таганцевском деле» был только приговор.

«Шахтинское дело» по мотивам возникновения приближается к «Таганцевскому», но в нем идеологическое оформление играло чисто вспомогательную роль. Правда, именно тогда Сталин выдвинул свой гениальный тезис-отмычку, что «по мере нашего продвижения вперед растет сопротивление эксплуататорских классов», — тезис, которым на всю остальную жизнь он обеспечил себе удовлетворение своих душевных потребностей (в наведении ужаса на всё и вся) и который был предназначен исключительно для партийных умников — чтобы заткнулись. Но в случае «Шахтинского дела» власть главным образом заботило не идеологическое неудобство, не стремление идеологически пристойно объяснить неприятный для нее факт (как это было, например, когда случился «контрреволюционный» мятеж «красы и гордости революции»), а желанием запудрить мозги тем, кого идеологические объяснения (и даже несоответствия) мало интересовали, а тем более утешали, — широким массам. Ибо к 1928 году результаты экономической гениальности Сталина стали сказываться на уровне жизни простых людей и, в первую очередь, возлюбленного партией рабочего класса. И Сталин решил объяснить все вредительством «буржуазных» специалистов — инженеров и ученых. Чтобы трудящиеся воочию увидели тех, по чьей вине страдают, кто сознательно им вредит. Между тем бросали с раската как раз тот отряд русской интеллигенции, который наиболее тесно сотрудничал с советской властью и в которой непосредственно нуждался сам Сталин для реализации своих замыслов. Но из замыслов ничего хорошего не получалось, и нужны были виновники...

Инициатива Е.Г. Евдокимова, главы той чекистской «группы», с которой прибыл Фриновский, состояла в том, что он подкинул Сталину карту в мать — нашел конкретное воплощение его замысла: группу инженеров из города Шахты (Ростовская область, российская часть Донбасса) он обвинил в сознательном вредительстве. Обвинение было настолько диким, что и выдавшие виды старые большевики — и тогдашний глава ОГПУ Менжинский, и наркомюст Крыленко — отказались принять фальшивку Евдокимова всерьез. Но это шахтинцам не помогло. «Ценную инициативу» подхватил и «поддержал» Сталин, который к тому времени (1928 год) уже полностью прибрал ОГПУ к рукам. По моему глубокому убеждению, именно он был подлинным изобретателем этого дела, а Евдокимов только первым выполнил его желание, нашел и «обработал» (избиением и пытками) «объект». Процесс прошел «как надо», как потом такие проходили всегда: «все во всем сознались». Массам показали виновников их страданий. Это было новое. Я отнюдь не из тех, кто склонен преувеличивать умственные способности «корифея наук», но то, что он тонко понимал и чувствовал низменные стороны массовой (а иногда и не только массовой) психологии и умел их использовать, — вне сомнения.

Но сейчас речь не о Сталине, а о Евдокимове. Ни о его личности, ни о судьбе мне ничего не известно. Впрочем, в его конце можно не сомневаться: Сталин не любил оставлять в живых исполнителей своих замыслов. Ясно, что

он исчез, но неизвестно, когда и как. Никто этим не поинтересовался. Ни воспоминаний о нем, ни упоминаний я не встречал. О Миронове хотя бы Агнесса Ивановна вспоминает, рассказывает о своей любви к нему. А о Евдокимове, по видимому, никто. Похоже, оставил он глубокий след «только» в истории российской, а может быть, и мировой, но не в чьем-либо сердце. Да и в истории это след почти безымянный, осталось не его имя, а последствия его усердия.

Я пишу так много о «Шахтинском деле» только потому, что ранние раскаты этой грозы ударили и по первому мужу Агнессы Ивану Александровичу. Ибо истерия с «вредительством» раскручивалась (во всяком случае, в Ростовской области, вотчине Евдокимова) постепенно. Правда, до «дела» это выглядело все-таки иначе, чем после. Но тоже подло и разлагающе. Тем более, что таких малых «дел» было много.

Происходило это так. Начинались придирки, травля на собраниях с освещением в печати (натравливали рабочих на «антилигенцию»), насылались неграмотные и недобросовестные ревизии и тому подобное. Потом происходил суд при наэлектризованной публике. Тогда ведь люди еще не предполагали, что сама власть может фальсифицировать дела, а многим социальная демагогия явно была по сердцу. Так что приговор встречался на «ура».

Через все это должен был пройти и Иван Александрович Зарницкий. Каким образом это могло его коснуться? Так складывалась судьба. Как уже отмечалось, его подсел Фриновский, и Иван Александрович был вышиблен из органов. Он стал работать в милиции. Но кто-то наверху решил, что его, как человека знающего, с высшим образованием, целесообразно использовать иначе. Его куда-то (куда, не знаю) пригласили и попросили занять должность заместителя директора обувной фабрики. Но поскольку «в директорах там был малограмотный выдвиженец, который ничего не понимал, ничего не делал, только шумел и ругался матом», Иван Александрович стал там фактическим директором и вершил всеми делами. Ни тот, кто его приглашал, ни он сам, конечно, не могли предвидеть, что начнется такая кампания. Но она началась: повсюду стали искать вредителей и саботажников, и Зарницкий понадобился уже не для работы (черт с ней, с работой!) а для показа, ибо вредителей и саботажников надо было обнаружить и на обувной фабрике — с обувью-то было не очень хорошо.

Дальше буду говорить словами Агнессы Ивановны (конечно, в изложении М.М. Яковенко), ибо короче не расскажешь:

«Нашли какие-то созревшие кожи и тут же состряпали дело. Якобы кожи опрыскали каким-то раствором, способствующим гниению, и дали им залежаться, а лаборатория делала фальшивые анализы и признавала годным то, что не годилось. Обвинили во всем Ивана Александровича и еще несколько человек. Лет через пять они бы ни минуты не пробыли на свободе с таким обвинением, но тогда еще были другие времена, и их до суда не арестовали. Главным «вредителем» сделали Ивана Александровича. Конечно же, беспартийный, попвич, с отцом связь поддерживает — как же не вредитель!»

Иван Александрович свое нахождение на свободе использовал с толком: собрал все нужные документы, опровергающие обвинение. А когда начался суд, стал предъявлять их один за другим суду, опровергая ушаты грязи, которые

на него и других выливали оболваненные «свидетели». И, представьте себе, подействовало. Собранностью, мужеством, логичностью он переломил настроение и публики, и суда. Обвиняемых оправдали. Сталин, впрочем, извлек урок из подобных процессов, и вскоре уже никому, чьи дела имели пропагандистское значение, не давали возможности собирать документы в свою защиту. Да и в судьи на такие процессы допускались только те, кто «понимал», что здесь он должен не судить, а «проводить линию партии и не мешать важному делу». Но тогда еще могло случиться и такое.

Это никак не уменьшает заслуги Ивана Александровича. Потому что уже и при этих условиях переломить ту наэлектризованную обстановку, сложившееся — пусть даже идиотское — предрешение было совсем нелегко. Но он вообще был не только умным, но хорошим, достойным человеком, безропотно тянул на себе всю семью Агу, даже когда она от него ушла. И как его занесло в красные офицеры?!

Но тогда еще Агнесса Ивановна от него не уходила и даже не собиралась, хотя у нее уже давно был роман с другим, с ее будущим вторым мужем, в которого она влюбилась без всякой меры. Этот будущий второй ее муж был тогда в силе, но она оставалась верна ему и когда он оказался в тюрьме — пока не узнала, что он расстрелян. Как личность он в подметки не годился ни первому ее мужу, ни третьему. Так и тянет повторить за Пушкиным: «Сей Грандисон был важный франт, / Игрок и гвардии сержант». Он был не сложней того, о ком вздыхала в девичестве мать Татьяны Лариной, но обстоятельства его жизни были и сложней, и страшней. И требовали от него страшного. И он — главная тема этой статьи.

* * *

Передаю слово опять Агнессе Ивановне: «Я преклонялась перед силой разума Ивана Александровича. Но когда я с восторгом рассказала Мироше (чекисту Миронову, своему будущему второму мужу, о котором уже шла речь. — *Н.К.*) о суде, он вдруг нахмурился, словно его стегнули.

— И я мог бы так! — сказал он самолюбиво».

Мне кажется, что этот всплеск самолюбия был не на пустом месте. В том-то и дело, что не смог бы. Забегая вперед, скажу, что и не смог, когда пришлось. Потому что не за что было схватиться. Ивану Александровичу постоять за себя было бы куда проще. Отношения души с миром и с людьми, с собственной совестью, были бы у него проще.

Мне не хочется начинать разговор об этом человеке с поношений, хотя его чекистские должности, особенно в сочетании с годами, когда он их занимал, к этому располагают. И то, что именно такой человек стал главной любовью Агнессы Ивановны, не делает мне ее образ антипатичным, но, как бы сказать, снижает его.

Впрочем, я уже предупреждал, что пишу не апологию Агнессы Ивановны, хотя и не собираюсь ее осуждать и презирать. Ее упоенное существование в наличном *beau monde* и упорное игнорирование того факта, что это *beau monde* над клоакой, что из клоаки выходят и туда возвращаются ВСЕ, кого она покрывает, восхищает, кто ей с восхищением целует ручки, можно понять и простить,

но не апологизировать. Но она сама и ее чувства для меня здесь — только критерий достоверности той информации, которой я сейчас буду пользоваться. Я верю Агнессе Ивановне, верю непредубежденности и непосредственности ее восприятия в том смысле, что она воспринимала людей и события именно так, как она это излагает

Итак, ее возлюбленный. Прежде всего — имя: «Мирошей Сережу звали в семье, друзья и близкие. Настоящее его имя было Мирон Иосифович Король. Но он взял псевдоним (тогда многие так делали) и стал Сергеем Наумовичем Мироновым». Почему он так сделал (тем более — зачем «многие так делали») и когда это произошло, — на этом она внимания не акцентирует. Ее это, наверно, и не интересовало. Но мне любопытно. Из другого источника мне известно, что подавлением восстания в Чечне он занимался под своим «родовым» именем, его карательный отряд так и назывался: «группа Короля». Когда же и почему он вдруг решил его изменить? И зачем? Неужели, чтоб скрыть свое инородчество?

Происходил он из небогатой еврейской, но имевшей право жительства в Киеве семьи. Стараниями бабушки был водворен в гимназию. Там, несмотря на несомненные способности, учился с прохладцей. Но бабушка и с этим справилась, и, несмотря на скромные успехи, он при процентной норме стал студентом Коммерческого института. Для того, чтоб дать представление о его дальнейшем пути в жизнь и в революцию, предоставим опять слово Агнессе Ивановне:

«В 1915 году его призвали в армию. Он горел патриотическим чувством и желанием воевать «за веру, царя и отечество». Я думаю, что хотел и отличиться на войне. Это ему удалось. Он был призван простым солдатом, но вскоре ему удалось выделиться. Когда в 1916 году высочайше было разрешено евреям — но только лучшим из лучших — присваивать офицерские звания, он сразу получил звание прапорщика, а в 1917 году был уже поручиком.

Но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять, но с его характером он не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию. В Первой Конной Буденного он сразу отличился, был выбран красным командиром и в 1925 году вступил в партию. Революция ему, еврею, открыла все дороги. Это оказалась его революция».

Последняя фраза этой цитаты повторяется в книге многократно, это как бы объяснение и извинение жизненного пути ее «Мироши». Фраза странная. Мало ли кому что где открывается? Это не оправдание. Мало ли какие возможности засветили нынешним «новым русским», когда настал беспредел, то есть их революция, — так что же, уважать их и славить за это? Но фразу эту Агнесса Ивановна не придумала. Мне семьдесят четыре года, а я ее помню с детства. Она вошла в плоть и кровь советского воспитания и казалась естественной. В 1945 году, когда англичане выдали Сталину воевавших против него казаков, они выдали — уже совершенно противоправно — и нескольких белых офицеров и генералов, которые никогда не были советскими гражданами и ни выдате, ни обвинению в измене не подлежали. Среди них были и лица с известными именами: Краснов, Шкуро. И вот в помещении, где они содержались, движимые естественным любопытством, появились высокопоставленные советские военные. Не гебисты, а просто военные — судя по описанию (сле-

ланному племянником П.Н. Краснова — Н.Н. Красновым) люди вполне интеллигентные. Поговорили вполне пристойно с «белыми», называли их вполне уважительно «господами», а потом осведомились: «А говорят, что среди вас тут есть и наши «господа», служившие до войны в Красной Армии?». Получив утвердительный ответ, советский генерал сказал:

«С вами, господа, мне все ясно. Вы всегда воевали против советской власти и вот теперь пошли против нас с немцами. Тут нельзя отказать если не в уважении (генерал знал, где живет. — *Н.К.*), то в последовательности. А вот этих «господ» я не понимаю: ведь им советская власть дала все...»

Я отнюдь не так, как этот генерал, отношусь к людям, оказавшимся на «той» стороне: среди них бывали всякие, и причины принять такое решение (по-моему, неправильное) у них были. Но не собираюсь тут полемизировать ни с ними, ни с этим генералом. История наша слишком тяжела и запутанна для таких полемик. Я коснулся этого эпизода только для того, чтобы подчеркнуть живучесть этого представления, сводящегося к странному силлогизму: «Раз тебе дали все, то ты должен быть верен тому или тем, кто дал, кто бы он ни был и что бы ни творил». Кстати, многим (как выдвигенцу-директору ростовской обувной фабрики) «давали» то, чего они не заслуживали, на что не «тянули», за что потом расплачивались другие, а в общенациональном масштабе — вся страна.

Приведенная цитата из воспоминаний Агнессы Ивановны для меня очень важна. Собственно, она и толкнула меня писать об этой книге. Здесь открывается в «Мироше» нечто такое, что рассказчица, которая смотрела на героя глазами любящей женщины, увидела, но не поняла, иначе бы умолчала. Я отнюдь не собираюсь отрицать существования в дореволюционной России уничительных ограничений для евреев: процентной нормы, черты оседлости, некоторого ограничения на профессии. Они не были тотальны (как все в России), постепенно даже отмирали, но они были и многих унижали. Я этого не отрицаю, я только утверждаю, что к судьбе «Мироши» это не имело ни малейшего отношения. В чем он был притеснен? В том, что он после гимназии не мог попасть ни в какое престижное учебное заведение, то есть полностью реализовать свои возможности? Но из ее же изложения выходит, что он этой чести и не заслуживал. Другие ведь попадали.

Возможно, у него и впрямь были способности к учению, но он явно не был склонен их перенапрягать, учился с прохладцей, предпочитал как можно дольше оставаться сорванцом и шалопаем. Это, как говорится, его право, но шалопаи — независимо от их происхождения и религиозной принадлежности — в университете тогда, как правило, не поступали. Да «Мироша» и не чувствовал себя угнетенным. Попав в армию, он с патриотической готовностью и желанием отличиться воевал «за веру, царя и отечество» и — по свойству натуры — отличился. И как только в 1916 году было разрешено отличившимся (и все-таки, вероятно, грамотным) евреям присваивать офицерские звания, он был произведен в прапорщики, а вскоре и в поручики. Значит, революцию он встретил в том же чине, что и М.Н. Тухачевский, хотя не был, как тот, блистательным выпускником престижного Александровского военного училища. Так какие дороги ему лично были перекрыты — причем настолько, чтобы при падении этих препон пуститься во все тяжкие, стать чекистом?

Впрочем, он это и сделал не сразу. Скажем прямо, если бы не революция, он бы вообще не догадался, что он революционер. Да и когда она произошла, он, судя по изложению Агнессы Ивановны, скорее растерялся, чем обрадовался. Перечтем: «но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять». «Снял форму!» Вряд ли он сделал это охотно, это ведь перечеркивало все, чем он гордился и чего достиг. И что теперь в изменившихся обстоятельствах могло для него (тут он не отличался от остальных офицеров) в иные моменты стать опасной уликой несуществующего преступления. Никаких следов жажды переделать человечество в плане всемирной гармонии (а без этого идеологического компонента коммунизма просто не существует) в его поведении не замечается. Он просто «не знал, что предпринять» в обстановке, свалившейся на него, как снег на голову. Видит Бог, те, кто ждал революцию, как к ним ни относишься, принимали ее приход не так.

Однако потом он революцию принял. Почему? Вопрос интересный. Перечтем опять: «...но с его характером он не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию». Так что все дело было в характере и обстоятельствах: больше некуда было ему деваться, а также девать свое честолюбие, вот и вступил. Нельзя сказать, чтобы это обнаруживало в нем, говоря марксистским языком, признаки «критически мыслящей личности» — он их и дальше не обнаруживал. Но и палаческие наклонности тоже не обнаруживает. В общем, человек был как человек, как многие другие, кого, как щепку, несло «ветром истории». Только очень честолюбивый. Но и такие «щепки» были тогда не редкость. Это не мешало ему быть храбрым и распорядительным командиром. Насчет военной карьеры своего возлюбленного сведения Агнессы Ивановны явно неотчетливы, подробности и хронология ее не очень занимали. Для нее важно, что он всегда был молодец.

Можно понять, что воевал он в Первой Конной у Буденного, там отличился, был выбран красным командиром, воевал на польском фронте, получал по революционным праздникам поздравления, а то именные подарки от Буденного. Правда, и от Дзержинского тоже. Но его связь с Дзержинским началась, видимо, уже после Гражданской войны. Впрочем, в другой роли мы его не видели. Ведь и в Ростов он прибыл в составе чекистской «группы Евдокимова» — той же, что и Фриновский. Последнего Агнесса Ивановна, надо ей отдать справедливость, на дух не переносила с самого начала. И не только из-за его пошлой, по ее мнению, жены Гали, которая раздражала ее тем, что так роскошно и безвкусно одевалась. Этот человек был подлецом по натуре, а не от обстоятельств. У Агнессы Ивановны было чутье...

Впрочем, «чекизм» ее «Мироши», судя по всему, тогда был еще почти только военным. Он «командовал войсками ВЧК которые вместе с пехотой Уборевича подавляли в Осетии и Дагестане (в Чечне тоже. — *Н.К.*) мятеж имама Гоцинского». Вроде бы и совсем не «чекизм» — на войне, как на войне. Но часть, которой он командовал, безусловно была карательным отрядом, той «группой Короля», о которой уже шла речь. И инструкции она имела самые безжалостные. Да и соотношение сил не такое, как на войне. Но все-таки тогда он «не расстреливал несчастных по темницам», а участвовал в боях, рисковал, мог и пулю получить.

И тем не менее война в составе войск ВЧК была школой чекизма. Она приучала не только к беспредельной жестокости, но и к вероломству. Орден Боевого Красного Знамени кумир Агнессы Ивановны заполучил за поимку имама. Поимки, правда, никакой не было, но «группа Короля» действительно загнала имама с его ополченцами в какое-то ущелье, откуда не было выхода. Вероятно, это было не просто и далось недешево. Но там они «предложили ему (имаму). — *Н.К.*) сдаться, а за это жизнь и прощение».

На этих условиях имам сдался. Прощение явно задерживалось, но обещание сохранить жизнь на первых порах действовало. Агнесса Ивановна однажды даже встретила этого имама (правда, в сопровождении двух чекистов) в Ростове, когда гуляла с Мирошей. И тут выяснилось, что и насчет сохранения жизни все стало качаться. Обратимся опять к Агнессе Ивановне:

«Потом имама увезли в Москву.

— Что ему будет? — спросила я Сережу.

Он отвечал, что не знает.

— Расстреляют?

— Возможно».

Некоторое неудобство он, видимо, все же чувствует, отсюда и лаконичность ответов: «не знаю» и «возможно». Как-никак, сам от имени советской власти обещал этому имаму прощение и жизнь, а что теперь решит эта власть, он не знает. Но в этом «возможно» есть и привычка к «высшим соображениям», свойственная вообще «творцам новой жизни», к которым он приобщился. Которая позволяет не вдаваться в эти материи и «подробности» и как-то нивелирует его вероломство и обеспечивает привыкание к таким «нормам бытия». Это своеобразное «воспитание чувств». Так, подобным привыканием, и воспитывался «новый человек» — не человек и гражданин, не социалистический «ангел во плоти» (освобожденный от материальных забот, а потому и от дурных качеств), как несколько веков мечталось всякого рода утопистам, а безжалостный и бессовестный функционер, способный выполнить самое преступное задание своего руководства и воспринимать получаемые за эту «ответственную работу» незаконные привилегии как нечто заслуженное и совершенно естественное. И за посягание на эти привилегии — имеются в виду не только материальные, но размах, важность, карьера — он готов был ненавидеть и расстреливать «белогвардейцев», имамов и кого угодно. Конечно, эти привилегии были освящены «идейностью» (как тоже нечто необходимое для быстрейшего достижения торжества справедливости), но при этом и удобны, и особенно приятны потому, что окружающая жизнь становилась, мягко выражаясь, все менее удобна.

Кончил он, как уже предупрежден читатель, плохо. Это можно было и предвидеть. Но он, как и Агнесса Ивановна, не был интеллектуалом. Он больше был расположен к действию, чем к размышлению. От этого конца сравнительно долго отделяла его жизнь, полная таких возможностей, какие ему раньше и сниться не могли не столько как еврею, сколько как нерадивому гимназисту. И вообще так быстро возвыситься можно было только при общем смещении ценностей. Так что ему было за что быть преданным революции — правда, не по тем причинам, которые имела в виду Агнесса Ивановна.

Безусловно, его драма — драма соблазна. Но это не соблазн ложной веры и улучшение экзистенциальной сущности человека. Как здесь уже отмечалось, его это не очень занимало. В отличие от чекистов, посещавших салон Бриков, он не был левым интеллигентом. Он вообще не был идеологичен. Хотя Агнесса Ивановна заметила его и ближе с ним познакомилась именно на идеологических мероприятиях. Первый раз она его увидела в Ростове на общегородском митинге, посвященном дню Красной Армии. Вот как она описывает этот митинг:

«Ораторы были малокультурные, неинтересные — наши ростовские партийные.

И вдруг на трибуне появился совершенно незнакомый мне человек, весь в черном, в кожаном, в фуражке, с наганом у пояса. Говорил он что-то про мировую революцию, про интервентов, которых отогнали, но которые зарятся опять на нас напасть». Ну и дальше в том же духе. Агнесса Ивановна говорит, что она не слушала, только любовалась этим оратором. Все так. Но и не слушая, она кое-что запомнила и, если бы было в его речи еще что-то, она бы тоже заметила и запомнила — женщина она была умная и чуткая. Просто остальные партийные были мало культурны, а в этом сказывался бывший гимназист: он был опять-таки свой, «культурный», а к тому же красивый и динамичный.

Потом это впечатление забылось. Но вот жен комсостава вызвали в штаб (какой, не сказано) и сообщили им, что они погрязли в мешанстве, интересуются только тряпками и, дабы они не отставали от своих мужей, будут отныне каждый вторник приходиться на курсы по овладению политграмотой. Интересно она рассказывает об этих курсах:

«И вот мы сидим и болтаем, а сами оглядываем друг друга, кто как одет, у кого какой кулон на шее, у кого ожерелье из настоящего жемчуга или поддельного и т.п. Многие были одеты богаче, чем я, но безвкусно...»

Жены комсостава, судя по этому описанию, избавляться от мешанства не собирались. И как их мужья могли им обеспечить такое драгоценностное соревнование? Из каких источников? И что это? Награбленное их мужьями во время Гражданской войны или централизованно распределенная между ними часть награбленного? Ведь это еще первые «романтические» годы советской власти, мечта моего отрочества и юности...

Политически просвещать этих женщин в порядке общественной нагрузки явился тот самый оратор с митинга, который ей тогда понравился. Вблизи он оказался еще красивей и значительней. Короче, все его подопечные влюбились в него, старательно записывали все, что он говорил, чтобы повторить. И наша героиня, чтоб не ударить лицом в грязь, — тоже. Потом и мужа попросила, чтоб он ее поднатаскал, и на следующее занятие явилась во всеоружии. «Не выдержала, подняла руку. Миронов кивнул мне, дал слово, и я так отбарабанила ему про интервенцию и зловердную Антанту, что он нахвалиться не мог». Другими словами, всех затмила, стала первой ученицей и, главное, была им замечена. С этого и начался их роман. «Вот когда я была политически грамотной! Единственный раз в жизни! Боже мой, у другого я эту скучищу и слушать бы не стала! Но даже скучищу эту Мироша преподносил интересно. Мироша, Мироша, какой он был способный!»

Фразы эти все невинны. Дело не в этих женщинах, так сказать, поверженных соперницах Агнессы. Конечно, их восприятие и поведение чисто женские,

может быть, даже дамские, характерные, может быть, для женщин не самого высокого пошиба (некоторые, несмотря на жару, напяливали песка себе на плечи — женственность тоже бывает разная), но вполне нормальных. В них нет ничего, что могло бы вызвать мое осуждение. В конце концов ухищрения большинства из них имеют подсознательной целью удержать и тянуть обычную и нелегкую женскую лямку. И хорошо, что и в этот, «романтический» период нашей истории жен краскомов больше занимала их женственность, чем эти «высокие» материи, иначе бы жизнь прекратилась.

Агнесса, конечно, отличалась от них вкусом, культурностью, но не по существу. Ее так же, как и остальных, заинтересовал оратор, а не его «проповедь». И, по моему сегодняшнему восприятию, ее можно понять. Это действительно «скукота» — все эти «мировые революции», «Антанты» и пр., и пр. «По моему сегодняшнему восприятию»... Но в юности у меня восприятие было другое, эти слова жгли. Жгли ностальгией по временам «настоящей веры», то есть как раз по тем временам, когда жены краскомов повышали на курсах свою политическую грамотность.

А как воспринимали эти слова их мужья? Безусловно, среди них были и такие, для кого эти слова вовсе не были скучны или пусты, — сознательные фанатики (среди женщин они тоже встречались). Были еще и беспартийные «военспецы», которые в массе считали, что служат не «Третьему Интернационалу», а России, которая ни в каком случае не должна оставаться без армии, и с них в этом смысле взятки гладки. А остальные?

А остальные, я думаю, служили за то, что революция открыла им все дороги, и это считали идейностью. То есть каждый на свой салтык были, как «Мироша». Конечно, участия в разрушении своей страны такая цель (как она ни подсознательна) оправдать не может, она не адекватна творимому. Но все же это еще в рамках человеческого. Конечно, и адекватная творимому утопическая задача — экзистенциальное исправление человечества — тоже не может оправдывать преступления, более того, оно превращает преступление в последствие личного выбора, усугубляет вину. Но эта противоестественная адекватность повышает и ответственность, а с ней часто ощущение тупика и поиски выхода из него.

Но вот благодарность за открытие дорог (а ничего иного Агнесса Ивановна при всей своей чуткости у своего «Мироши» нащупать не могла) ни к чему такому не располагает: Только к «преданности» и «верности», но никак не к ответственности (хотя бы в такой степени, как в этом путался Н.И. Бухарин). Таких, как мы говорили, было много, и судить их строго не стоит.

«Мирошу» от большинства из них отличает только то, что его занесло на передний край идейности — в ВЧК-ОГПУ-НКВД, что так или иначе ему, в отличие от Есенина и многих-многих других, «расстреливать несчастных по темницам» все-таки в той или иной форме пришлось, а этого *открытие* (ему лично) *всех дорог* оправдать уже никак не может.

Еще раз подчеркиваю: любовь Агнессы Ивановны к «Мироше» была чиста от материальных расчетов. Когда они решили жить вместе, у их любви было, по его выражению, шесть лет «подпольного стажа», и она вовсе не торопилась выйти за него замуж, не зарилась на его материальные возможности. Пожени-

лись они только потому, что продолжать эти «подпольные» отношения стало невозможно. Ибо «Мирошу» перемещали с Кавказа, где служба давала ему возможность сравнительно часто посещать Ростов и встречаться с Агой, в Алма-Ату, откуда так просто не приедешь, да и официального повода не будет.

Видимо, это не устраивало обоих, и он увез ее прямо со свидания, в чем была. Произошло это просто, почти само собой. Она пошла его проводить, вошла с ним в купе на минутку, да так там и осталась. И поехала, ужасаясь, что оставляет так неожиданно Ростов, а там своих мать и сестру на попечении ни о чем не подозревающего мужа. Правда, сначала она собиралась вернуться с первой же станции, потом со второй, потом уже из Москвы (путь ее «Сережи» — так она его теперь называла — в Алма-Ату лежал через Москву, где у него еще были дела). Странное это намерение — вернуться после такого отъезда. Но на то и любовь, чтоб подминать под себя логику. Какие могли быть при этом расчеты? Вела ее именно любовь.

Но начиналась другая жизнь. Когда она чуть опомнилась и, естественно, ужаснулась тому, что уехала в чем была — в легком платье, жакетке и с маленькой сумочкой в руках, оказалось, что для «Мироши» это не проблема: «Не беспокойся, мы все-все купим, у тебя будет все», — говорил он.

И действительно: «В первый же день мы пошли вместе в магазин, и я выбирала все, что мне нравилось, а он только платил. Мне хотелось то и то, запросы мои все росли, я иной раз стеснялась, но он замечал, что мне нравилось, и покупал все. Правда, не все уже тогда можно было найти».

Хочу напомнить, что это «не все уже тогда можно было найти» в нашей стране всегда совпадало с тем, что не всем (далеко не всем!) можно было купить и все из того, что продавалось. Но с этим, похоже, у ее возлюбленного проблем не было. И это ей понравилось. Не вернулась она в Ростов (не рассталась навсегда со своим «Мирошей») не из-за этого: его «могущество» она обнаружила гораздо позже, чем полюбила Но, конечно, оно ей импонировало.

А он сам? Воюя на Кавказе, он ни разу не предложил Аге стать его боевой подругой и разделить с ним радость борьбы за освобождение трудящихся Востока: для этих нужд у него была другая, более идейная жена — Густа. Но теперь, когда перед ним открылись иные перспективы, он в личной жизни освободился от тенет идейности. И стал хотеть того, что ему на самом деле было нужно: чтобы его жена была прежде всего настоящей женщиной. Он сам в этом потом ей сознавался. Что ж, на мой взгляд, это вполне естественно, это нужно каждому настоящему мужчине. Но с тех, кто поет иногда даже в атаках: «Мы наш, мы новый мир построим!» и сурово внедряет в жизнь такое отношение к вещам, другой спрос. Ибо нехорошо (скажем по-детски) продолжать насильно гнать людей в мир новых ценностей, при этом то и дело открывая для себя прелесть старых и позволяя себе в качестве привилегии право пользования ими.

Но тогда этим двоим, как всем любящим, было не до таких мыслей и прозрений, и в Ростов к мужу Агнесса Ивановна не вернулась. Она стала законной женой любимого ею и любящего ее «Мироши-Сережи». Произошло это в 1931 году, на старте его феерического взлета, в начале обретаемого им могущества. Тогда она и получила допуск в тот *beaumont* над клоакой, о котором я, собственно, и пишу. Получила в связи с тем, что сам он получил доступ в самую

клоаку: его назначили заместителем полномочного представителя ОГПУ по Казахстану: полпредами тогда назывались послы, но ОГПУ, видимо, любило звучную таинственность. В переводе на современный язык его должность называлась бы «Заместитель начальника казахстанского управления ОГПУ». Тоже красиво. По-видимому, это была его первая чекистская должность. И получил он ее, вероятно, в порядке очередной махинации Вождя с заменой кадров.

Безусловно, преступным и жестоким учреждением ВЧК-ОГПУ была с момента своего возникновения. Не случайно к работе этого учреждения в качестве «социально-близких» часто привлекались самые настоящие уголовники (которые и вели себя соответственно). Но это не главное. Преступниками с самого начала были, прежде всего, интеллектуальные руководители этой организации, ее «мозговой центр», даже если субъективно ощущали себя честными людьми и, допустим, в отличие от многих «соратников», не присваивали конфискуемого имущества и взяток не брали. Например, Дзержинский. Преступниками они были просто потому, что взялись быть «карающим мечом партии». Партия в самом идеальном случае есть группа частных лиц, объединенных общей целью, и никакого права на свой «карающий меч» она не имеет. Но почти с самого начала и чем дальше, тем больше, это учреждение становилось «карающим мечом» даже не партии (образования хоть и дисциплинированного, но аморфного), а партократии, готовой на все ради удержания власти. И эта вседозволенность развращала (даже и в самом примитивном смысле) и саму партократию, и тем более ее «меч». Так что ничего хорошего во всех своих звеньях и в свой «романтический» период (выдуманный, как мне кажется, писателями-«попутчиками») это учреждение никогда не представляло. А прибранная к рукам Сталиным, то есть приблизительно года с 1928-го, сотворив за это время по его подсказке несколько фиктивных публичных процессов (Шахтинский, меньшевистский, Промпартии, историков и т.п.), эта организация к 1931 году уже была полностью разложившейся даже в своей «партийной» функции. Конечно, все это были проделки чекистской «элиты», непосредственно якшавшейся с Вождем, но элита и создавала тот общий моральный климат, тот воздух, которым дышали, в частности, и «полпредства» на местах.

А ведь «место», о котором идет речь, Казахстан 1931-го, — давнее (по тогдашним советским меркам) место ссылки всякого рода социалистов и менее давнее — коммунистов-оппозиционеров. Теперь он вдобавок стал местом, где не только, как везде, проводится коллективизация и раскулачивание, но и куда (а не только откуда) депортируются раскулаченные и где их часто высаживают из теплушек прямо в пустую снежную степь: как хотите, так и выживайте.

Я в Караганде снимал квартиру у людей, которые это пережили сами. Они все претерпели и выжили, но — многих близких похоронив. Люди, особенно дети, мерли там, как мухи. И отвечало за все подобные «операции» как раз то учреждение, в котором новый и любимый муж Агнессы Ивановны ехал занимать «видное» положение. Хотя вряд ли он тогда до конца представлял, с чем это «положение» сопряжено. Впрочем, он не имел права делиться с ней служебными впечатлениями, а она не больно этим интересовалась. Но вот что происходило на уровне ее посвященности: «В первый же день завхоз принес мне груду отрезов крепдешина, я взяла. Миронов рассердился: «Отдай все!».

Мне пришлось идти к завхозу домой. Его жена удивилась: «Что, неужели не подошло?».

Так сказать, устоявшийся быт. Особенно мило удивление жены завхоза. Мила и сама Агнесса Ивановна, решившая, что раз принесли, значит, все в порядке. Неожиданна для меня такая «интеллигентщина» в Миронове. Видимо, он привык быть карателем (перед новым назначением он, видимо, участвовал в подавлении чеченского восстания против коллективизации, которое тогда как раз развернулось), но не саатрапом.

А нравы в Алма-Атинском ГПУ были более чем простые. Полномочным представителем ОГПУ, то есть прямым начальником Миронова, был некто Каруцкий, в каком-то смысле коллекционер: собирал порнографию. Он был вдов. Жена его недавно кончила самоубийством, не выдержав разлуки с сыном, еще совсем мальчиком, которого по настоянию мужа отправила к бабушке. У ее мужа было серьезные основания для такой настоятельности: Каруцкий был вторым мужем своей жены, а ребенок этот был от ее первого брака. Все бы ничего, но этот первый ее муж был белым офицером (что делать! «барышни» во время Гражданской войны иногда выходили замуж без должной политической сознательности), он с этим ее недостатком мирился, но последнее время «полпреду» стали этим колоть глаза: дескать, коммунист, чекист, а пригрел белогвардейского отпрыска. Это было опасно, так можно было и «полпредства» лишиться. Вот он и поступил как коммунист: велел жене отослать своего классово-чуждого сына подальше. Впрочем, это вообще соответствовало его облику.

«Каруцкий очень любил женщин (оставим на совести рассказчицы этот эвфемизм «любил», мало подходящий тому, что она имеет в виду. — *Н.К.*), и у него был подручный Абрашка, который ему их поставлял. Высматривал, обхаживал, сводничал».

Отметим вскользь, что, выходит, Лаврентий Павлович был среди чекистских кавалеров не новатором, а традиционалистом, и вернемся к Агнесе Ивановне. Дело в том, что этот Абрашка стал «подбивать клинья» и под жену Миронова. Тот приходил в ярость, кричал жене: «Гони его!», но Абрашка был профессионал: то одно принесет, то другое — втирался. Но однажды Миронов пришел мрачный и сказал: «Теперь я знаю, зачем Абрашка приходит. Каруцкий посылает меня на месяц в командировку для инспекции по всему Казахстану. Это он нарочно, чтобы я уехал, а ты бы тут одна осталась. Может быть, ты это хочешь, не знаю...

— Сережа! Этот пузатый Каруцкий!

— Не хочешь? Ну тогда... Что если мы его перехитрим?! Мне ведь дают целый вагон... Поедешь со мной?

— А можно?

И я поехала с Сережей в командировку.»

Перехитрили. Только и всего. Следовательно, у начальников такого ранга возможность так себя вести и иметь при себе такого «Абрашку» была уже тогда. И уже тогда такой человек, как Миронов, силач (гнул монеты в ладони), храбрец (наверняка георгиевский кавалер, а иначе не видать бы ему офицерского чина), вместо того, чтобы при всех дать этому гадкому склизкому сластолюбцу в рожу, как всегда в России били подлецов, должен был спасать от него свою законную жену бегством, увозя ее, «аки тать в нощи», хотя «тать» тут был совсем

не он. И независимо от нашего отношения к самому Миронову и его биографии, это его унижение касается всех. Ведь все это творилось на глазах у многих и утверждалось как порядок вещей. Как право, которым наделяются не все, а особо заслуженные. Такой становилась атмосфера в стране, где мы все жили.

Каруцкий исчез из памяти людской (воскресила его только Агнесса Ивановна), но Абрашка не исчез. При Л.П. Берии его функции выполнял полковник Саркисов... Надо сказать, Берия в качестве чекистского героя-любовника был предусмотрительней Каруцкого: он соперников удалял (а в отдельных случаях и устранял) более мастерски. Впрочем, у него и возможности были другие: он мог использовать всю мощь сталинского государства. Каруцкий же был на предыдущем витке прогресса, в его возможностях было только в командировку на месяц соперника услатить, а это, как оказалось, средство ненадежное.

Впрочем, Абрашка не исчез вместе с Каруцким не только как явление, но и персонально. Приходилось мне читать, что был такой и в свите Абакумова. И по описанию (которое я когда-то где-то читал) очень похоже, что это был тот самый алма-атинский Абрашка, он ведь и в Москве навещал Мироновых. Так ли это и пережил ли этот «чиновник по особым поручениям» при Абакумове самого Абакумова, я не знаю. Конечно, если это тот Абрашка, то при бескомпромиссном антисемитизме Рюмина мог и пропасть. Но не так это мне интересно. Пропадали в этом застенке и при Рюмине, и до него в больших количествах гораздо более достойные люди. О них и стоит скорбеть. Как и о том, что в судьбоносный период истории страны под контролем человека, нуждающегося в услугах такого Абрашки, оказалась громадная территория, населенная живыми людьми. Та самая Казахская АССР, в которую и выехал в сопровождении жены инспектировать Сергей Наумович Миронов.

К сожалению, мы лишены возможности увидеть то, что он инспектировал, глазами самого Миронова; будем довольствоваться тем, что видели глаза его жены. Напоминаю: он не имел права и не любил говорить с женой о своих служебных делах, а у нее не было потребности вникать в эти «чисто мужские» дела. Она и не вникала. Но жизнь проникала в нее сама. Поездка в комфортабельном салоне-вагоне по Северному Казахстану была в высшей степени приятной. Правда, за пределы вагона она, южанка, выйти не могла — мерзла. «Тогда мне доставили доху, мех вот такой — в ладонь ширины, густой! Я в нее закуталась — и куда угодно, в пугру, в мороз! Мне тепло».

С этих пор и до ареста Сережи ей вообще все, если нужно было, «доставляли». По-видимому, с неба. Но ведь это было так естественно: красивой женщине — закутаться в доху, когда вокруг холодно, или жить с любимым в такой приятной обстановке, где повара, они же проводники, «готовили на славу» и где всегда было из чего готовить («мы везли с собой замороженные окорока, кур, баранину, сыры, в общем, все, что только можно было везти»). А вокруг...

Что бы ни было вокруг, поездка, в общем, была очень приятной. Но вот странность, которую она стала замечать: «Все бы хорошо, только почему-то Сережа с каждым днем становился все молчаливей, угрюмей, даже я не всегда могла его растормошить».

Действительно, с чего бы мрачнеть инспектору ОГПУ в Северном Казахстане в конце 1931 года? Когда все так приятно. Но кое-что разъяснилось,

когда поезд стоял на заснеженном полустанке у поселка «Караганда», уже тогда громко именовавшегося городом. Часть населения вагона, сотрудники Миронova, пошли посмотреть, «что за Караганда», Агнесса Ивановна хотела пойти с ними, но «Сережа не пустил». Однако потом, когда «экскурсанты» вернулись, а муж уснул, Агнесса Ивановна пошла послушать, что они видели. Оказалось, что весь «город» состоит из хибар, наскоро склоченных «высланными кулаками» (так выражались рассказчики). В магазине одни пустые полки, про хлеб продавщица сказала, что он «забыли, как и выглядит» и вообще она не работает, не торгует: нечем. Только где-то завалилась бутылочка ликера (самый необходимый товар для «высланных кулаков». — *Н.К.*). Она предложила пришедшим взять ее. «Взяли. Разговорились с нею. Она рассказала: «Сюда прислали эшелоны с раскулаченными, а они все вымирают, так как есть нечего. Вон в той хибарке, видите отсюда? Отец и мать умерли, осталось трое маленьких детей. Младший, двух лет, вскоре тоже умер. Старший мальчик взял нож и стал отрезать и есть и давать сестре, так они его и съели».

Все помолчали, потом попили горячего чая и.. отвлеклись. Про голод они, оказывается, в отличие от жены своего начальника, уже знали. Потрясенная, она рассказала про это мужу, но, оказывается, и он про это знал.

«Знаю, говорит, заходим в домишко, а там трупы... Вот такая командировочка». Он очень тогда переживал, я видела...», — вспоминает его жена. Еще бы не переживать! Но именно к этой «командировочке» привели бывшего киевского гимназиста и поручика российской армии «все дороги», открытые ему «его» революцией! Лично он именно тогда окончательно ступил на тот магистральный путь, который вел через гибель других к его собственной. Другого выхода теперь уже не было — только психологическая самоанестезия. Вот продолжение цитаты:

«...Но он (ее «Мироша». — *Н.К.*) уже старался не задумываться, отмахнуться». Эта фраза позволяет вылить на ее «Мирошу» и на нее саму ушаты грязи. Но как раз по этому поводу я не собираюсь на них «катить бочку». Ибо вот где уместно сказать: я теперь обращаюсь ко всем, кто тогда жил или родился от живших тогда в СССР: кто из вас без греха, киньте в него камень!.. Разве мы всей страной не отмахнулись от этих детей и взрослых, разве не жили так, словно этого не было? Даже теперь, когда я с горечью вспомнил о веселом и счастливом смехе, которым киевляне, жители города, с тротуаров которого только недавно убрали трупы умерших от голода крестьян, сопровождали демонстрацию фильма «Веселые ребята», мне указывали на то, что я слишком жесток, сетую на то, что люди получили возможность забыться. Вот и забывались, хотя те, кто вымарывал этих людей, продолжали править нами и только входили во вкус. И в этом Миронов ничем не отличается от всех нас. И я обращаю сейчас внимание не на это, а на то, что он во время этой своей «командировочки» с каждым днем становился мрачней и угрюмей, что такие впечатления не проходили у него от глотка горячего чая в «своей» компании. Это говорит о том, что кое-что человеческое в нем тогда все-таки еще оставалось. Отчасти, наверно, потому, что он, как уже говорилось, только сейчас заступил на такую должность. А значит, не он лично высылал сюда этих несчастных и не он устраивал им такую жизнь на новом месте.

Кстати, тут к сталинскому беспределу мог быть в какой-то степени (незначительной на общем фоне, но во все же) добавлен беспредел жестокого равнодушия Каруцкого и таких, как он. Что ни говори, реально Миронов столкнулся с этой проблемой только сейчас. Конечно, к этому времени он, скорее всего, был уже преступником, но, по-видимому, бессмысленным палачом сталинской формации («сталинским псом», как он потом выразался) он тогда еще не был. Только становился. Конечно, отмахнуться от этих страшных впечатлений хотели все, но не все отмахивались при этом от того, что должны были сами продолжать делать. А ему надо было и продолжать, и покрывать эту «работу».

Я упирал тут на нашу общую вину, но, конечно, вина Миронова тяжелей, чем вина большинства его сограждан. Но нельзя забывать, что и их (наша) вина была и имела значение. Хотя я не знаю, что бы мы могли тогда сделать? После того, как люди (не чета Миронову — такие, как Бухарин и Рыков) из верности партии (и причастности к ее преступлениям, которые должны были окупиться в будущем) позволили Сталину завести страну в такой тупик, в такое царство торжествующей патологии, откуда выхода уже не было ни для кого. А может, нет и сейчас. Для того, чтоб сойти с пути, на который ступил Миронов, нужно было быть личностью гораздо более крупной, чем он. И даже чем Бухарин и Рыков. Что ни говори, они что-то из себя представляли, потому у меня к ним и претензии. Да и сойти Миронову все равно уже было некуда, кроме как в могилу.

Конечно, никто, даже самый благородный человек (редкие исключения не в счет) не может перестать есть и пить, перестать жить из-за того, что другие голодают и умирают. Но ведь тут речь идет о тех, чьими руками (пусть даже не волей, только руками) этот голод устроен. Какие «интервенты» (кроме нацистских), разгромом которых он так гордился, были бы страшней для тех «трудящихся», которых такие, как он, «освобождали от нужды»?

Но такие мысли, может быть, приходили в голову Бухарину (и то он гнал их и, как я слышал, позволил им легализоваться в своем сознании только перед казнью), а уж Миронову такие духовно-интеллектуальные подвиги, видимо, были не по силам.

Он не мог переступить через жизнь, которая у него сложилась именно так. И не мог от отказаться от того, что она ему давала. Например, доставлять своей очаровательной жене те невинные, но весьма дорогостоящие радости, которые приводили ее в восторг. Только его «ответственная», как тогда говорили, «работа» могла предоставлять ему такие возможности, это чисто мужское удовольствие. Как говорится, спасибо, что он хоть какое-то время сохранил способность ужасаться и мрачнеть перед тем, как отмахнуться и забыть.

Да ведь и жена его отмахивалась. Ей ведь тоже нравилась эта жизнь и до, и после того, как услышала историю о детском людоедстве и о «домишках», где одни трупы. Она сочувствовала, ужасалась, но это было вне ее жизни. А ее жизнь, которая протекала и далеко, и одновременно рядом с этим страшным, ей нравилась. Нравилась, потому что она жила с человеком, которого она любила. Нравилось потому, что он все-таки отличался от начальственного жлобья — был и успешливый, и все-таки свой. Например, он не строил из себя перед подчиненными, которых к тому же прибыл инспектировать, большого начальника, а обращался с ними по-товарищески:

«Завтра мы начнем работать, — сказал он дружески (начальнику петропавловского отделения. — Н.К), — а сегодня приходите к нам с женой на обед, у нас будет жареный поросенок».

Оно, конечно, простота в отношении с товарищами — качество прекрасное. И если бы не фон, можно было бы умилиться. Но от «фона» отвлечься нельзя. «Жареный поросенок», столь весело, дружески и демократично предлагаемый «товарищам» после того океана человеческого горя, по которому он только что плыл в полном всяческой изысканной провинции салоне-вагоне, не может не коробить. Конечно, ему хотелось отвлечься от страшных впечатлений в компании понимающих (то есть, виноватых в том же) людей. Это понятно. Но к чему тогда относилась та «преданность» ее Сережи, о которой столь часто вспоминает Агнесса Ивановна? Впрочем, и сталинские энкаведисты, с самого начала жившие принципом «падающего подтолкни!», тоже всегда, особенно когда летели вверх тормашками, оправдывались своей «верностью». Но к чему могла относиться такая «верность», если не к поймавшему их на свой крючок дьяволу?.. А в общем — шла жизнь. Вечером местные начальник с женой, действительно, навестили их в салоне-вагоне. Агнесса Ивановна принимала гостей, оценивала красоту, вкус и туалеты своей гостью Ани — вела светскую жизнь. Нет такой клоаки, в которой не было своего *beau monde*'а...

Правда, это был такой *beau monde*, где высокопоставленная гостья могла устроить истерику повару, случайно пролившему ей на платье соус, но уж какой был! Впрочем, по сравнению с теми, кто сменил ее мужа (который все-таки пытался ее урезонить), она была гуманисткой. Повар, правда, стоял ни жив, ни мертв, но подумашь: истерика! Через несколько лет, при других, более «современных» начальниках, если такое случалось на приеме у Сталина, до истерик (истерика все-таки связана с человеческими отношениями) никто не унижался. Просто в кухню выходил Берия и «наводил порядок» (государственный, конечно) — и человек исчезал. Берия был не сумасшедшим, но царедворцем, квалифицированно обслуживавшим сумасшествие, а иногда его и использующим. Но о Берии потом. Разговор идет об еще «честном и гуманном» периоде ОГПУ, уже полностью подмятого под себя Сталиным. Об его *beau monde*'е.

На следующий вечер местный начальник давал ответный обед прибывшим гостям. «Там-то был пир, так пир! Много всяких прислужников, слуг, каких-то подхалимов, холуев. Подавали всякие свежие фрукты, подумайте, даже апельсины. Ну уж про мороженое всяких сортов и виноград и говорить нечего».

За таким столом, зимой, в Сибири (Петропавловск расположен между Курганом и Омском) кому захочется вспоминать об окружающем голоде и детском людоедстве? Это даже выглядело бы неприлично. Кругом серьезные сознательные люди, получившие все эти блага (для себя и семьи) за исполнение важных и тяжелых функций. Ведь надо же им и отдыхать от этой тяжести! Чего же к ним лезть с этими неправдоподобными умирающими детьми и тому подобным? Что они, сами не знают? Знают, но понимают! А ты куда лезешь со своей мещанской жалостью, да еще к классовому врагу? Только следишь лаптями на паркете, когда заслуженные люди отдыхают, отравляешь им заслуженную светскую жизнь!

Но никто с этим и не лез. Тем более, что высшее «понимание» этих людей заключалось в приобретенном навыке отмахиваться от того, что ужасает, и усиленно верить, что «там» (пока еще не «ОН», а «там») знают, зачем это нужно. Этого никто не говорил, но сама обстановка, в которой они жили и сами стихийно создавали, это внушала. Так они действовали друг на друга и друг друга поддерживали. Эта обстановка выглядела присущей жизни и определяла критерии престижа. Конечно, для тех, кто с ней духовно взаимодействовал.

Агнесса Ивановна была одновременно дамами красотой, туалетами, «культурностью» и вкусом. Но это я попутно. Главным в ее жизни была любовь к мужу при полном отсутствии интереса к тому, чем он занимается на работе. Его сотрудники, тот же Каруцкий, занимали ее только как светские знакомые. И о том, за что ей был обеспечен уровень жизни, роскошный по любому времени, а не только в обстановке голода, она тоже не думала, принимала как данность.

А голод в Казахстане был страшный. И не только среди «высланных кулаков». Еще страшней (мне рассказал об этом поэт Олжас Сулейменов) сказались коллективизация на аборигенах. Дело в том, что казахи в большинстве своем были скотоводами и никакой пищи, кроме мяса, не представляли, все остальное, включая хлеб, считали приправой, «травой». Спасаться лебедой или крапивой они просто не умели. И когда у них стали отбирать (пардон, «обобществлять») скот, им стало нечего есть. Кто мог (существенная часть казахского населения и почти все уйгуры), ушли в китайскую провинцию Синдзян, а остальные стали умирать. Толпы голодных казахов бродили по Ташкенту и умирали на улицах. Казахстан, по словам Сулейменова, лишился половины своего коренного населения. За точность цифр я ручаться не могу, но ясно одно: Казахстан тогда благодаря «гениальной решительности» Сталина и духовной безответственности большевистской партократии постигла, говоря по-нынешнему, «гуманитарная катастрофа».

А учреждение, в котором занимал столь высокую должность муж Агнессы Ивановны Сергей Миронов, имело к этому «мероприятию» и к его последствиям самое непосредственное отношение. Даже если Миронов с женой приехали сюда после этого «исхода». Если при нем уже не проводились мероприятия, приведшие к исходу, это учреждение должно было заниматься заметанием следов и вылавливанием «недовольных». Так что хоть он и «был предан», но, в отличие от своей жены, не знать о масштабах этого несчастья не мог. Но «мужественно» это переносил (это равнодушие к приносимым несчастьям культивировалось в их среде именно как мужество).

Конечно, относилось это не только к Казахстану. И даже Агнесса Ивановна имела об этом представление. Вот ее свидетельство:

«Когда мы жили в Алма-Ате, не только в Казахстане вымирили сперва раскулаченные, потом казахи, но и на Украине был голод. Про это я, конечно, не знала, потому что у нас было все». Выразительней этого «потому что» сказать невозможно. Она бы и до конца ничего не знала, но в ответ на свое от сердца предложение жившей с семьей в Ростове сестре Лене поделиться с ней своими богатствами — прислать шелк, чулки, платья — получила в ответ странное письмо. Его в целом русский текст бы малозначащим, но в середине

его была одна фраза, написанная по-гречески (отец научил дочерей писать и читать на его языке): «Одежды не присылай, пришли лучше еды». И вот ее реакция: «Но, знаете, сытый голодного не разумеет, говорю маме небрежно: «Ты там собери что надо...». Но мама смысл этой «странной» фразы поняла правильно. Тем более, что человек, побывавший недавно на Украине, сказал: «Да что вы, там настоящий голод!» И Ага с какими-то сотрудниками мужа, которые туда ехали поездом, отправила не шелка и бархаты, а «мешок муки, пшено, картошку, все, что «подвернулось под руку». Мало кому тогда могло «подвернуться под руку» такое богатство — только наиболее преданным, с помощью кого осчастливленную партией страну и держали на голодной пайковой диете. Так или иначе, причастность к этой среде давала Агнесе Ивановне возможность не только жить, как в оазисе, но и поддерживать своих близких, для которых каждая ее посылка и каждый приезд были отдохновением от недоедания. Близкие в то голодное время (начало тридцатых) только и жили ее продовольственной поддержкой. И она старалась ее оказывать.

Так что голод как будто был ею осознан. Но голову она себе им не забивала. У нее были более важные дела — блистания в своем *beaumont'e*, в привилегированных кавказских санаториях, где обязанностью персонала было предупреждать желания своих сановных отдыхающих, а ее — не давать окружающим забывать об ее красоте и исключительности. Туда они ездили и из Алма-Аты, и потом из Днепропетровска, где в 1934 году ее Сережа сам стал полномочным представителем (начальником) ОГПУ. Значение этого поста чувствовал даже его малолетний племянник-детсадовец, его выделяли и взрослые, и даже дети.

А Агнеса Ивановна цвела. При ней был целый двор фрейлин, которым она покровительствовала. И вообще ей ее жизнь нравилась. Она любила, и человек, которого она любила, давал ей все, что ей нужно было для счастья, в царстве горя и мук устроил ей роскошный оазис, куда с удовольствием приходил отдыхать от трудов (далеко не праведных). И приходилось ему, наверно, нелегко. Возможность устроить себе и ей столь роскошный оазис, который Агнеса Ивановна воспринимала как естественную среду обитания, товарищ Сталин задешево никому не предоставлял.

Мне кажется, что удачнику Сергею Миронову в его чекистской карьере очень не везло. Он каждый раз оказывался в какой-нибудь местности в самый неприятный момент. В 1931-м во время коллективизации — в Казахстане, когда там мерли и сосланные, и местные, а он обязан был искоренять недовольство по этому поводу. И вот теперь, в 1934-м, на Украине. А в чем, собственно, тяжесть? Искусственно организованный там страшный голод 1933-го, «Голодомор», еще свирепствовал, но уже кончался.

Надо сказать, что Агнеса Ивановна его заметила — и не только в семье сестры. Но казалось, что страна постепенно зализывает раны. Правда, война показала, что зализать их не удалось, но до войны еще оставалось семь лет. А пока царил покой, пусть и без особого благоденствия. По советским меркам, вполне нормальное время. Все так. Но если это время где-то и было нормальным, то только не на Украине. На Украине в 1934-м начался 1937-й.

Именно тридцать седьмой. Но не только. Производились чистки среди украинских интеллигентов, организованные вокруг фиктивного «процесса

СВУ»², но в этом не было ничего необычного: «буржуазную интеллигенцию» громили и до тридцать седьмого года, и без связи с ним. Правда, теперь репрессии против украинских интеллигентов были усилены в связи с недавним «Голодомором». Сталин считал, что они опасны, ибо никогда не простят ему вымаривание своего народа. Думаю, что он преувеличивал: украинская интеллигенция, как и все остальные в СССР, к этому времени обескровленная и обесценившая, опасности для него не представляла.

Но все это была привычная, хоть и преступная, повседневность той эпохи. Принципиально новым в нынешних репрессиях было другое: теперь удар наносился и по коммунистам. Собственно, и это не было новостью. Коммунистов-оппозиционеров сажали уже несколько лет. Но сажали их именно за оппозиционерство, ничего им не приписывая и направляя их или в ссылки, или в привилегированные партийные тюрьмы-«политизоляторы». Сажали как «своих».

Теперь низовых и не только низовых работников сажали «в общем порядке», предъявляли фиктивные, но уголовные обвинения, навязывали чистосердечные признания и отправляли в настоящие лагеря. То есть проделывали над ними все, что над коммунистами всей остальной страны начали проделывать только в годы, относящиеся к комплексу лет, именуемому «одна тысяча девятьсот тридцать седьмой год», то есть начиная с 1936-го.

Некоторые видят в событиях этого комплекса лет историческое возмездие и считают это «мероприятие» полезным для России (освобождение от коммунизма), а жертв этого времени — людьми, свою участь заслужившими. С последним я согласен, если речь идет о «сознательных партийцах» и об их «участи». Но, во-первых, они составляли только малую часть тогдашних жертв, а во-вторых, и они заслуживали самого сурового наказания, но все равно не клеветы. И прежде всего этого не заслужили мы. Мы не заслужили того потока патологической лжи о них, в котором мы долгие годы жили и который навсегда искривил сознание многих и многих.

Почему полигоном для отработки таких методов стала Украина 1934 года? Думаю, что произошло это, как многое у Сталина, эмпирически. Просто он хотел убрать всех свидетелей и проводников устроенного им «Голодомора». Приказ об этом был отдан в надлежащей форме (для догадливых), а методы... Методы выработали сами исполнители «в ходе проведения «операции». Сталин заметал следы. Но ведь не сам, а руками таких, как Миронов.

Был ли он подонком от природы? Думаю, нет. Все-таки подношения в Алматы велел отнести назад, этой стороны тамошнего «профессионального быта» не принял (видимо, заговорила вдруг приобретенная в детстве порядочность) и опять-таки все же мрачнел, видя прелести раскулачивания. Но начальник Днепропетровского ОГПУ не мог не знать того, что творилось в его застенках, и не мог не поощрять своих подчиненных к активности в этой деятельности. И самому приходилось быть активным в этих фальсификациях. «Верность» приводила к коррозии личности, к неверности. Ведь приходилось врать и себе самому.

Но Агнесса Ивановна, естественно, больше пишет не о его работе, а о том, как она использовала то, я бы сказал, безлимитное вознаграждение, которое

² СВУ — Спилка вызволения (Союз освобождения) Украины — фиктивная организация, сфабрикованная ОГПУ в провокационных целях

он за эту работу получал. Как вращалась в своем *beau monde*, как ездила в Киев, как покупала там себе ткани в торгсине (значит, и боны получали) и как хорошо было в правительственных санаториях. Описывает новогодний вечер в санатории украинского ЦК. Были Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян. Но все было весело, запросто. Так же было и на импровизированной свадьбе в Киеве. Дело в том, что Агнесса со своим Мирошей расписались (официально оформили свой брак, что тогда не считалось обязательным) только в Днепрпетровске. Слух об этом событии достиг Киева, и когда Мироновы в очередной раз приехали в Киев, по инициативе Балицкого (тогда уже Наркомвнудела Украины) им была устроена веселая импровизированная свадьба.

Агнесса Ивановна рассказывает об этом периоде своей жизни с упоением и подробностями, иногда красочными. Очень любил Миронов резаться с коллегами в карты. И иногда проигрывал крупные суммы, которые тут же непостижимым образом восстанавливались. Оказалось, что все областные начальники регулярно получали премиальные, а замнаркома по своей должности получать их не мог. Эта вопиющая несправедливость устранялась просто и по-товарищески. Он каким-то образом выписывал им лишнюю премию, которую они и проигрывали ему в карты. Скорее всего, это делалось без уговора, а просто на товарищеском взаимопонимании (при уговоре не был бы нужен этот спектакль с картами). Судить о предосудительности этой операции, вникать в их взаимоотношения с казной не берусь. Во-первых, не знаю всех обстоятельств, а во-вторых, то, что эти люди делали каждый день по долгу службы, было, с нормальной точки зрения, гораздо более предосудительно. Напоминаю, что тяги к стяжательству у Миронова не было.

И вряд ли это было «гешефтом»: «ты мне, я тебе» (это, повторяю, не требовало бы карт по ночам). Думаю, что тут сказывалась спайка, которая тогда еще была у этого круга: товарища выручали. Пусть в смысле привилегий, одной из которых его случайно (скорее всего, по бюрократическому недосмотру) обошли, но выручали товарища. Причастие к привилегиям было образом жизни этого круга. Как же было смириться с отлучением от него одного из товарищей?

Что это был за круг? Ведь это действительно был еще круг. Существовал он, конечно, по инерции, но существовал. Сталин уже к этому времени уничтожил основание для существования каких бы то ни было кругов в политической элите, но еще не уничтожил самого их существования. Что это был за круг? Что объединяло его членов? Некая инерция представлений о своей верности «идее революции» и даже (это после всех раскулачиваний) «интересам рабочих и крестьян». Но беззаветных революционеров, которые эти слова понимали буквально, среди его членов уже не было — те больше льнули к Троцкому и из «элиты» были исключены. Подвергнуты остракизму (то есть выведены из строя) были и «правые» большевистские интеллектуалы, которые пытались сочетать утопический нахрап большевизма со здравым смыслом. Все это происходило при полном молчании и не без стыдливого соучастия всех, кого Агнесса Ивановна встречала тогда в своем *beau monde*. Во всех санаториях, домах отдыха, на всех приемах, свадьбах и везде, где бывала.

Нет, это еще не были люди сталинской формации. По сравнению с Александром Хватом, следователем МГБ, пытавшим академика Вавилова, который и

по прошествии лет никак не мог понять, какие к нему могут быть претензии, они были верх осознанности и осмысленности. Да и веселья их были еще похожи на человеческие. Это был еще круг. В нем еще и Микоян, и Постышев, и Уборевич могли почти на равных встречать Новый год с нижестоящими товарищами. И даже общаться друг с другом они могли. Потом людям их ранга такие вольности «не рекомендовались»: Вождь вообще не любил, чтоб люди общались в неорганизованном порядке, а вышестоящие с нижестоящими тем более. Ведь они могли договориться если не о заговоре, то о том, что Вождь у нас не столь велик и не столь благостен, а это колеблет устои государства. Сталину нужны были гомункулы. Не обязательно глупые или темные (Вышинский был весьма образован), но обязательно лишённые чувства ответственности за смысл поручаемого дела. Хотя бы за тот коммунизм, которым они клялись.

Конечно, кроме ответственности за исполнение этой клятвы, сталинские гомункулы чувствовали, да еще как! Только «не умом, а поротой задницей», как выразился однажды А. Н. Толстой. Разве что иногда, во время Великой Отечественной, работала и совесть.

Beaumont, в котором блистала Агнесса Ивановна, был еще не совсем таким. Личной ответственностью за происходящее они уже не обладали, но никогда бы в этом не сознались и самим себе. Ибо слышали, что такая бывает, и помнили еще, что не иметь ее неприлично. Кроме того, почти все они участвовали в установлении этой власти, все пользовались плодами этой победы и подсознательно верили, что это дает им особые права. Эти чувства и общность воспоминаний и объединяли их в один круг.

Они не были еще «деятелями сталинской эпохи», но они были теми, без чьей беспринципности и эластичной запроданности (кто еще в те голодные годы мог так купаться в роскоши?) эта эпоха бы не наступила. Они (в том числе и Ежов, который в конце концов тоже ведь был одним из них) считали себя людьми революции (да не заподозрит меня читатель в симпатии к этой «ценности»), но ведь именно свою революцию они предавали.

Речь идет не о предательстве своей человеческой сущности — таким предательством был весь большевизм и уж, конечно, весь чекизм. «Классовая борьба», «не ограниченная законом и опирающаяся на насилие власть пролетариата над буржуазией»³ определяли стрельбу по площадям. Так что такие гнусности, как «Шахтинское дело», «дело Промпартии» и прочие антиинтеллигентские фальшивки, как-то еще можно было сочетать с их «партийной совестью», — все равно, дескать, классовые враги. Хотя, добываясь таких признаний, уже нельзя было оставаться человеком. Недаром даже такие «неангелы», как Менжинский и Крыленко, пытались воспротивиться нелепости обвинения: оно унижало и их человеческое достоинство. И всех остальных «мирош» тоже, хотели они это замечать или нет. Ибо не могли они совсем не чувствовать, что эти «мероприятия» определялись не столько классовой борьбой, сколько личными интересами Иосифа Сталина, которому надо было замести следы своих гениальных решений. И что постепенно они сами и все ОГПУ превращаются в его личные когти. Но это они старались не замечать, все это, повторяю, хоть

³ Формулировка Ленина, вошедшая в Уголовный кодекс РСФСР.

и с трудом, но вписывалось в «верность революции». Хотя и раньше было не гладко. Но аресты коммунистов-оппозиционеров, авторитетных вождей их революции, их учителей, в эту «верность» вписывались гораздо трудней.

И многое другое, что даже касалось их «круга», тоже могло бы заставить их задуматься. Был, например, у Миронова в Тбилиси друг по прежней работе, потом заместитель главы Закавказского ОГПУ Абулян. Человек независимый, он конфликтовал с секретарем ЦК Закавказья Берией. Что ж, бывает. Но однажды Миронов прочли в газете, что этот Абулян погиб в автомобильной катастрофе. Что ж, и такое случается. Миронов, правда, прочитав это, потемнел лицом. Ничего странного: переживал за друга. Но когда они с Агнессой Ивановной в следующий раз были в Тбилиси и Агнесса Ивановна выразила желание посетить вдову Абеяна, Сережа почему-то сказал: «Ты сходи одна, без меня».

В доме Абуяна все было пронизано страхом, и говорили шепотом. И шепотом вдова рассказала гостье, что мужа ее убил «Лаврентий». И объяснила, как он устроил «автомобильную катастрофу». Вдаваться в детали нам здесь незачем. Для нас важна реакция Миронова, когда он услышал рассказ жены об этой трагедии. «Хочешь жить, молчи об этом. Никому ни слова!» — сказал он ей. Он тогда командовал Днепропетровским ОГПУ, был могуществен, купался во всех земных благах. И знал, что никакого иного способа спасти любимую жену от гибели у него нет. Чему же он, опять-таки, был верен?

Абуяны уехали в Москву. А когда через несколько лет Агнесса попыталась их разыскать по адресу (это было, когда Берия уже перевели в Москву заместителем Ежова), там уже жили другие люди, которые о них ничего не знали. «Абуяны исчезли бесследно... Берия «позаботился»⁴. Но это уже было в конце «ежовщины», в другой стране, где уже ничье положение ничего не значило. А ведь свою фразу о необходимости молчания Миронов произнес, когда к этому только шло.

Дело ведь не в том, что Берия был гнусен, а что свою гнусность мог проявлять вполне безнаказанно. А они, «железная когорта», это терпели и следили за тем, чтоб это терпели все остальные. Это их руками Сталин втянул всю страну в сталинщину. Но зато как веселились в приятном обществе!..

Робость жила в них и без Берии. Еще когда Мироновы были в Алма-Ате, туда из Ростова к Агнессе приехала знакомая женщина, родственница друзей ее первого мужа (и ее тоже), просить заступиться за своего арестованного сына. Ага очень жалела эту женщину, но когда попросила мужа помочь ей, он резко отказался. Мотивировал он свой отказ тем, что не может вмешиваться в дела других управлений. И вообще он потребовал у своей горячо любимой жены, чтоб она впредь никогда ни за кого его не просила.

⁴ Берия был гнусен — достаточно вспомнить его «любовные похождения». Судя по всему, это был криминальный тип. Убийство из личной ненависти с использованием (как и в «любовных» делах) возможностей руководимых им учреждений — для него естественный стиль поведения. Индивидуальных подлоостей, в том числе и кровавых, за ним тьма. Но массовые репрессии в основном были связаны не с ним. И, кроме того, после смерти Сталина только у него (и отчасти у Маленкова) были серьезно продуманные программы выхода их ситуации. Он обладал государственным умом, но в личном плане был очень гнусен. И такое бывает.

Такими мелочами, как суть дела, как виновность и невиновность, этот рыцарь революции даже не поинтересовался. Видимо, у этих рыцарей был взаимодобный договор не интересоваться делами друг друга. Что ж, задания у них у всех были все больше такие, что лучше было не интересоваться. Хотя (вроде бы, по их представлениям) каждое фиктивное дело — подрыв авторитета революционной власти. Но им было уже не до своих представлений. Важно было угадать, что происходит. Ведь все эти пиры и свадьбы происходили в 1936-м, когда кое-кто и из них уже тоже начал исчезать. А первый звонок — убийство Кирова и все с ним связанное — прозвенел еще в конце 1934-го. Нельзя сказать, что он их не встревожил — встревожил. Как «профессионалы» они обратили внимание на то, что проштрафившиеся руководители Ленинградского ОГПУ Медведь, Запорожец и другие были поначалу наказаны несоразмерно мягко. Это было непонятно и поэтому, вероятно, наводило на тайные и очень нерадостные догадки. Да и слухи поползли. Было страшно, что исчезают свои, но исчезали они и, главное, обрабатывались в «нужном» духе не без их помощи. Это именно они втаскивали в этот ад не только всю страну, но и друг друга. Тем не менее, как мы видели, весь круг как бы продолжал существовать в прежнем стиле, словно всех пирующих в правительственных санаториях это не касалось в первую очередь.

Какую веселую, изысканную свадьбу устроил Балицкий Агнессе и Сереже, как сам веселился, словно большевистский нимб — петля — уже не примерялась к его отнюдь не святой голове (и не нависала над его маленькой некрасивой женой, раздражавшей Агнессу Ивановну тем, что та мешала своему мужу отдавать ей «законную» дань восхищения)!.. А ведь «нимб» этот неминуемо должен был коснуться головы Балицкого, и он не мог этого не чувствовать. Хотя бы по составу арестованных, от которых его подчиненные должны были добиваться идиотских «чистосердечных признаний». И Миронов, буквально пропадавший в те дни «на работе», тоже это чувствовал, не зря же он все чаще и чаще бывал мрачен. Тем более, что Ягода уже оказался «врагом народа» (в буквальном смысле слова он им и был, но имелся в виду смысл отнюдь не буквальный), а Миронова могли запросто записать в «ягодинцы» (поскольку он был назначен при Ягоде). Но ему повезло — пронесло. Он благодаря случаю оказался «ежовцем». Случаем этим был Фриновский. Тот самый Фриновский, который «подсидел» первого мужа Агнессы Ивановны в пограничном управлении Северного Кавказа. Теперь он командовал всеми пограничными войсками страны.

Агнесса Ивановна его недолюбливала и не терпела его вульгарную, по ее мнению, жену Нину. Но летом 1936 года в сочинском санатории Нина выглядела прекрасно. Они с Мирошей удивлялись, но оказалось, что Нина сейчас прямо из Парижа. «Там, — как ехидно рассказывает Агнесса Ивановна, — ее «сделали», нашли ее стиль, показали, какую и как делать прическу, подобрали косметику, костюмы». Меня в этом факте интересуют только «их нравы». То, что такие дорогостоящие «курсы по повышению элегантности» могли позволить своим женам (за чей только счет?) наиболее верные стражи завоеваний революции в не очень сытой (по их же вине) стране.

Конечно, Агнессу Ивановну такие проблемы по понятным причинам не беспокоили. А особого уважения к этой Нининой удаче в ее словах не слышится

по другой причине. Вероятно, раздражало, что дуракам счастье. Ей бы самой, падали она в Париж, консультанты бы не понадобились. Но у Мироши с Фриновским были хорошие отношения: они когда-то вместе служили на Кавказе и подружились. И это временно отвело от Миронова занесенный над ним меч.

Как раз когда Фриновские были вместе с Мироновыми в санатории, в газетах появилось радостное (для Фриновских) сообщение о том, что Наркомом внутренних дел СССР назначается Николай Иванович Ежов. «Как только это известие до нас дошло, Нина и вовсе расцвела. Она не скрывала своих надежд, говорила мне: «Это очень хорошо. Ежов нам большой друг». Они вместе где-то отдыхали и подружились семьями. И в самом деле, через некоторое время читаю в газете: заместителем наркома внутренних дел назначен Фриновский. Что тут в санатории сделалось! Все подхалимы так и кинулись к Нине обхаживать ее».

Такой была верхушка «революционного авангарда» к тому времени. Да только ли к тому?

Фортуна поворачивалась лицом и к Мироновым. Пошли толки, что теперь возвышаться начнут бывшие пограничники, сослуживцы Фриновского. Повидимому, к ним относился и Миронов. Во всяком случае, ждал возвышения и он. И дождался: стал начальником краевого Управления НКВД всей Западной Сибири (тогда Западная Сибирь была краем).

На этом, собственно, можно и кончить эту статью. Она, повторяю, о тех, кто сам еще не был сталинским гомункулусом, то есть искусственным существом, на этот раз созданным не из мертвой, а из живой материи, из живого человека. А как иначе назвать представителя «идейной власти», не имеющего никого представления ни об идейности, ни даже об идее, которую, тем не менее, воплощает в жизнь? И не представляющего, что творимое им по приказу может иметь отношение к его личной совести и что ответственность бывает не только перед начальством, а и перед людьми и самим собой.

Нет, речь здесь не о таких людях, а о тех, может быть, еще более виноватых, кто какое-то, хотя бы самое смутное, представление об этом имел, но кого Сталин привилегиями (и страхом их потерять вместе с головой) эластично вовлек в свои губительные комбинации и без кого не была бы внедрена в жизнь и сознание людей сталинщина, вариант царства Сатаны. Вот по поводу кого было бы уместно вспомнить: коготок увяз — всей птичке пропасть...

Ведь и возлюбленный Агнессы Ивановны, как уже говорилось, не был от природы подлецом. Но после Казахстана и Днепропетровска за ним наверняка уже числилось много подлостей. А теперь он ехал в Сибирь творить новые, еще более страшные. В 1936-37 годах ничем иным на своем сибирском посту он заниматься бы не мог.

Правда, масштабы этих подлостей он пока не представлял, ибо не представлял, что такое ежовщина. Ничего удивительного. Заключение, арестованные при Ягоде, радовались, узнав, что теперь его сменил новый нарком, и ждали благотворных перемен. Он знал больше, чем они, и таких перемен не ждал.

Между тем, перемены наступали одна за другой. Но только отнюдь не благотворные. Он это понял, как только стал принимать дела. Его заместителем стал родственник Ежова, Успенский, которого Миронов называл слизью (его

и Солженицын в ГУЛАГе описал с отвращением) за то, что тот творил фиктивные дела. Сделать с ним ничего нельзя было. Миронов видел причину его безнаказанности в родстве с Ежовым, а тот просто действовал по инструкции.

Впрочем, Миронов скоро это понял. Уже при нем пришел циркуляр из Москвы, где назидательно сообщалось об аресте тех начальников областных управлений НКВД, которые разоблачили мало врагов. Москва нацеливала местных работников на создание фиктивных дел⁵. Миронов так это и понял, опять помрачнел и даже с женой поделился, хотя циркуляр был секретным.

Оставалось теперь «рыцарям революции» только сажать и облыгать «своих», чтобы самим не быть посаженными и оболганными, жить еще на воле по лагерному присловью: «Умри ты сегодня, а я завтра».

И мрачнеть теперь Миронову приходилось все чаще. Это неудивительно: больно близко к нему стали ложиться снаряды. И он стал бояться теперь уже не вообще, а конкретно за себя. Страх был патологичен и пока еще не адекватен ситуации. Однажды он даже побледнел, увидев из окна кабинета развод караула. Решил, что все: это за ним. Хотя этот развод он до этого наблюдал многократно. Но страх целиком раздавил его. И только ли его? Большинство остальных «рыцарей» тоже. Оно, конечно, страшно было попасть в сталинский застенок, особенно тем, кто знает, что это такое. Но на фронте тоже бывало страшно — ничего, выдерживал. Все предав, став псами Сталина и пнутые им ногой — что они могли противопоставить его вероломству? Они соглашались быть палачами Сталина и совсем не были готовы быть его жертвами.

Особое место в повествовании Агнессы Ивановны о ее жизни в Новосибирске занимает тогдашний секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Роберт Эйхе, тот самый, чье письмо приводилось Хрущевым в его «секретном докладе» на XX съезде. С ним и его идейной и ученой женой Еленой Евсеевой (кончила два факультета) отношения у Мироновых были полудружеские. Впрочем, Агнессой, которую вообще раздражали женщины-интеллектуалки, и сама Елена Евсеевна, и все ее товарки воспринимались как «синие чулки». Эта пара, несмотря на роскошный загородный дворец для приемов, все-таки больше вяжется с представлением о «ленинской гвардии», чем Миронов и его приятели. Они были более адекватны исповедуемой идеологии, чем чета Мироновых. И поэтому к тому времени еще больше были предателями своего дела, чем они или их приятели.

Уточняя: я не считаю предателями людей, которые гласно (или хотя бы негласно) порвали с коммунизмом или вообще изменили взгляды. Но людей, которые позволяли подменить то, чему вроде бы служили (и за службу чему одарялись всеми земными благами), таковыми считаю. А эти позволили провести раскулачивание и коллективизацию (в формах, которую не принимала ни одна фракция, даже самые левые) и даже покорно принимали в этом активное участие, позволили шельмовать как врагов людей, остававшихся верными тому делу, во имя которого якобы все творилось. Кто ж тогда предатель, если не они?

⁵ Анализ одного из таких приказов Ежова (на самом деле — Сталина) за № 0047 дан мной в статье «Будни тридцать седьмого года» («Континент» № 91)

Я говорю не только об этих двоих, но и обо всем слое «старой гвардии», притерпевшейся к Сталину. Эти люди прежде всего предавали (конечно, используя для успокоения совести диалектику — на что-то же должны были сгодиться два факультета или хотя бы просто чтение марксистских книг) самих себя. Такие не только наиболее жалки, но и наиболее опасны. Мне не жалко дела, которое они предавали (оно не заслуживало лучшей участи), не жаль подчас (по этой же причине) и их подельников, но мне отвратительна та атмосфера высокопоставленного предательства, которую они установили и в которой чувствовали себя, как рыба в воде. Это единственное наследство, которое они оставили после себя.

И тут большой разницы между ними и не шибко образованным Мироновым нет. Об Агнесе я не говорю. Они ее считали «барынькой», что ее почему-то задевало. И это странно. Ибо кем она еще была или хотела быть, за кого еще себя выдавала, на что еще претендовала? Впрочем, потом, когда продолжать жизнь «барыньки» стало невозможно, она не растерялась и вела себя вполне достойно. Как, впрочем, и многие настоящие барыни, когда пришлось. Но Агнесса, строго говоря, вообще не участник этой драмы и за нее не отвечает.

И еще хочу подчеркнуть, что оба они — и Эйхе, и Миронов — хотя и были представителями слоя, приведшего Сталина, но все-таки субъективно были разными. Миронов только мрачнел, получив директиву, стимулирующую массовые репрессии, а Эйхе все-таки пытался выручить невинных, даже (о, ужас!) давно «раскаявшихся» троцкистов, а это в те сумасшедшие месяцы выглядело ритуальным преступлением: по внушаемой тогда мифологии они все равно уже навсегда оставались причастны дьяволу. Агнесе потом кто-то сказал, что Эйхе даже выступил на пленуме ЦК против репрессий. Может, такое и было, но я об этом больше нигде не слышал и не читал.

Расстались Мироновы с Эйхе в момент, когда и эта чета испытывала патологический (адекватный обстановке) страх. И даже стали лебезить перед Мироновыми (особенно узнав о том, что того повысили по «их» службе) в наивной надежде, что раз повысили, то, может быть, Миронов сможет замолвить «там» словечко за них. Хотя в нормальном состоянии они, наверно, прекрасно понимали, что ничьи словечки уже не помогают, что времена изменились, что доверять и не доверять теперь мог один только товарищ Сталин, а к нему попробуй доберись я его реакцию попробуй угадай. Так что теперь уже никто ни за кого никакого слова замолвить не мог.

Поднятые им из ничего «начальники нового духа» (Я. Смеляков) это принимали как данность, а те, кто помогал создать эту обстановку, никак привыкнуть к ней не могли. К тому же страх иногда порождает эйфорию. За это не сужу.

Миронов, перед которым так лебезил Эйхе, и сам боялся так же патологически. Но случилось чудо (почему Эйхе и начали перед ним лебезить): когда он уже находился на дне отчаяния, пришел приказ, предписывавший ему немедленно сдать дела и через три дня быть готовым подсесть в специальный поезд, следующий из Москвы. Куда, не сообщалось. И опять Миронов побледнел, заподозрил, что в этом поезде их арестуют и прикончат. Но он успокоился, узнав, что во главе этого мероприятия стоит Фриновский и что везет этот поезд специальную дипломатическую миссию в Монголию, а сам он благодаря тому же

Фриновскому направлен теперь послом в эту же Монголию. Следовательно, не лишился доверия (а с ней и жизни) и не выпал из системы. Поняв это все, он сразу стал прежним, уверенным в себе, даже окрыленным. Хотя знал и то, что людоедский циркуляр продолжает действовать. Но — пронесло.

Правда, по дороге ему пришлось еще два раза мрачнеть: когда пытали «своих». Он присутствовал при том, как Фриновский избивал допрашиваемого — кстати, допрашиваемого не им. После экзекуции, видя подавленность Миронова, высокопоставленный палач не минувал блеснуть столичной осведомленностью — сообщил, что товарищ Сталин приказал бить, пока не «сознаются». Видимо, этим избиением он передавал передовой опыт непросвещенным местным кадрам. Кроме того, на каком-то полустанке Миронов с женой слышали душевраздирающие вопли истязаемого. Этим истязаемым, как догадался Миронов, был его предшественник на посту посла в Монголии, выдающийся советский разведчик Таиров. Это не вдохновляло. Но на общем состоянии Миронова это не отразилось. Он чувствовал себя спасенным и приобщенным.

Впрочем, дипломатическая миссия эта была довольно странной. Руководил ею такой «опытный дипломат», как Фриновский, и осуществлять ее ехали по большей части работники НКВД. Да и новоиспеченный посол, которого они спешно прихватили по дороге, был, как мы знаем, из того же ведомства.

Потом всплыла еще одна деталь, относящиеся к этой «миссии», тоже немаловажная. «Потом» — это когда члены миссии в Улан-Удэ пересели из вагонов в машины: тогда еще железной дороги до Улан-Батора не было, и туда от Улан-Удэ шестьсот километров добирались на другом транспорте. И вот, совершая это путешествие, наши «дипломаты» везде натыкались на следы недавно здесь прошедшей крупной кавалерийской части. Как откуда-то знала Агнесса Ивановна, это был конный корпус Конева. Тут перестает быть загадкой и чекистский состав «миссии». Видимо, Сталин производил тогда в Монголии нечто вроде государственного переворота: нельзя же было не охватить монголов «тридцать седьмым годом». И передислокация корпуса Конева была военным прикрытием этой «миссии».

Кстати, «миссия» эта была такова, что Миронову в другие времена отказали в посмертной реабилитации именно на основании его «дипломатической» деятельности в Монголии. Превысил он там полномочия дипломатические, видимо.

Справедливо или нет были оценены его личные «заслуги» (Агнесса Ивановна считала, что несправедливо, но признавала, что не знала, чем он там занимается; ее касались только дипломатические приемы), но о характере «миссии» это говорит достаточно ясно.

Очень боюсь, что причиной того поведения в Монголии, которая потом мешала его посмертной реабилитации, и была та радость воскрешения, которую он испытал в поезде, а также столичные новости Фриновского и потрясшие его «дорожные впечатления». Естественно, он там отнюдь не «превысил свои полномочия», как объяснялось официально, а только правильно их понял, знал, чего от него ждут, доказывал свою пригодность, хотел приобщиться к «новым веяниям», не отстать, идти в ногу со временем. И то, что это вроде выходило, его окрыляло. Сохранялась причастность. Только к чему?

Вероятно, та же радость возвращенной причастности окрыляла и Эйхе, когда его на короткое время перед посадкой сделали наркомом сельского хозяйства. Как известно, и для Миронова, и для Эйхе их возвышения оказались только отсрочкой гибели. Впрочем, Миронов возвращался в Москву как бы на коне, с чувством исполненной миссии. То, что он узнал о происходящем, никуда не ушло — ни стоны истязаемых, ни инструкции Сталина на этот счет, ни его требование фальсифицировать дела, но у него лично, казалось, было все в порядке, и Сталин опять был прав.

Надо сказать, что его двоюродный брат, Михаил Давидович Король, который, после того как Миронов был расстрелян, а жена Михаила Давидовича умерла, стал третьим мужем Агнессы, воспринимал все это иначе. Да, он тоже верил в коммунизм и в советскую власть. Но они были связаны для него с высоким идеалом. Поэтому он остро переживал все прелести сталинщины, сам факт, что она могла произойти. Переживал как свою духовную драму, даже когда его «не трогали»: это ставило под сомнение правильность всего, на чем построил жизнь. И потому он и задал вопрос Миронову в один из домонгольских приездов того в Москву: «Что вы делаете?». И посоветовал ему поскорей сойти с этого корабля. Но тот ответил: «Я сталинский пес». В этом ответе, конечно, была и горечь, и безыходность, но и гордость тоже. Тогда ведь все «сталинское» многими воспринималось как абсолютная ценность. Апофеоз верности и преданности, но опять-таки неизвестно чему. Когда-то купился он не на кормушку, а на размах деятельности, но так по-настоящему и не задумывался о том, что совместимо с ее объявленной целью, а что нет. Да и побавился он уже тогда — знал, что ему каждый день грозит отлучением уже не только от этого размаха, а от жизни вообще. Так он и жил: в минуту опасности падал духом, а как только тревога оказывалась ложной, духом возносился. И хотя ему не нравились ни пытки, ни ложные обвинения (по-видимому, только «своих»; «классово-чуждые» «контр-революционеры», «Ка-эРы» — так обращались к ним в двадцатые годы — ведь и политическими-то не считались), но псовая преданность всегда брала верх и воскресала в нем всегда с новой силой, как только проходило ощущение опасности.

После Монголии оно совсем прошло. Ведь он вернулся в ореоле, с победой. И поскольку он теперь уже был «дипломатом», то и работать направили в наркомат иностранных дел (НКИД) — заведующим отделом стран Дальнего Востока (Японии, Монголии и Китая). И квартиру им предоставили соответствующую, престижную, в правительственном «Доме на набережной».

Он был креатурой Фриновского, заместителя Ежова, и пока Фриновский был на месте, он мог чувствовать себя в полной безопасности. Но Ежова потихоньку стал сменять назначенный его заместителем Берия, и скоро они оба полетели — и Ежов, и Фриновский. И теперь стали сменять (то есть сажать) «ежовцев», как раньше «ягодинцев». Тогда Миронов боялся оказаться «ягодинцем», теперь он вполне мог оказаться «ежовцем».

Он опять перестал спать по ночам, опять стало страшно. Но постепенно вроде все утихло. Опять пронесло. Спасало его то, что он теперь работал в другом наркомате. А уж после того, как его с женой пригласили в Кремль на встречу Нового года, он совсем успокоился. И кто его знает, может быть, он так бы и

прожил годов до сорок восьмого — сорок девятого, когда таких деятелей из таких мест увольняли за еврейское происхождение, но именно этот прием его, по мнению Агнессы Ивановны, и погубил. Ибо на этом приеме Мироновы лицом к лицу столкнулись с Берия. И Берия, который вообще недолюбливал служивших с ним на Кавказе (знали о нем больше, чем он хотел), узнал в них друзей убитого им Абуляна. И через неделю Миронова в неурочный час вызвали в НКВД, где и «взяли».

Конечно, это могло произойти и не из-за этой встречи. Просто кто-то мог заметить, что еще один «ягодинец»-«ежевец» пока гуляет на свободе и, поскольку такая инициатива ценилась, обратить внимание начальства на этот беспорядок. Но на инициативу Берии это больше похоже, особенно принимая во внимание близость дат (31 декабря — 6 января). Этот человек обладал государственным умом и натурой уголовника. Решать все свои вопросы, даже сексуальные, при помощи аппарата было для него вполне естественно. А уж так разрешать свои антипатии — тем более.

Таких людей привели к власти своим честолюбием, тщеславием и другой корыстью такие люди, как Миронов, Эйхе, Киров, Рудзутак и другие, от этого погибшие..

Когда-то, услышав рассказ Агнессы о том, как ум и мужество ее первого мужа Зарницкого одолели клеветнический процесс против него, Миронов самолюбиво сказал:

— И я мог бы так!

Так вот — не мог бы! Он не был от природы ни бездарью, ни подлецом, ни трусом, но соблазнился и постепенно превратился в сталинского пса. А псы так не могут. Думаю, что смерть его была страшна. Ничем, кроме как тотальным страхом, несмотря на «грудь в крестах», он встретить ее не мог. Все остальное позволил из себя вынуть и растоптать.

А если бы не было Великого Октября, его честолюбие нашло бы (и уже находило) лучшее применение. Жаль, что так не случилось. Но это уже не только в связи с ним.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ в зеркале прессы

(сентябрь — ноябрь 2001 г.)

(Краткий обзор)

1. После 11 сентября

XXI столетие, начавшееся с массовых убийств в Нью-Йорке и Вашингтоне, на мгновение вернуло нас в эпоху религиозных войн. Призвав к «крестовому походу» против терроризма, президент Буш как бы задал общий тон. Не было таких обвинений, которые не вылились бы на мусульман после взрывов в США. Многие СМИ всерьез заговорили о войне Христа против Мухаммада. Однако спустя некоторое время все чаще стали звучать заявления политиков о том, что нельзя отождествлять исламский мир и террор. И это совершенно справедливо.

Тем не менее очевидно, что у нынешнего конфликта есть и религиозная сторона. И вовсе не случайно, что после теракта в Америке в русскоязычной прессе активно обсуждались религиозные аспекты случившегося.

В «Аргументах и фактах» (26 сентября 2001 г.) выступил глава **Духовного управления мусульман азиатской части России муфтий Нафигулла Аширов**. «Взрывы в США немедленно отозвались в России обысками, посещениями квартир, исламских культурных и издательских центров, где были проведены тотальные проверки документов. Это оскорбляет нашу честь и достоинство. Мы постоянно находимся под подозрением, как в советские времена рецидивисты, которые совершали тяжкие преступления, а потом их всю жизнь проверяла милиция. Но мы-то преступлений не совершали. А оскорбленный человек не всегда патриотичен... В России сегодня проживают более 20 млн мусульман, и те, кто вбивает клин между христианами и мусульманами, как минимум стремятся к ослаблению России, а как максимум — к ее распаду», — сказал он. Подобные заявления сделали и другие российские мусульманские лидеры.

Журнал «Профиль» (8 октября 2001 г.) предоставил свои страницы главе **Совета муфтиев России Равилу Гайнутдину**. Говоря о конференции «Ислам против терроризма», которая пройдет в Москве в конце года, он отметил, что мусульманские лидеры стремятся найти путь к мирному диалогу с другими религиями: «Мы с благодарностью и пониманием восприняли заявление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II о том, что нельзя смешивать теракты и ислам. Я разделяю позицию патриарха, что новое тысячелетие не должно начинаться с войны между представителями ислама и христианства».

«Независимая газета» (11 октября 2001 г.) поместила **интервью с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином**, который заявил по поводу терактов в Америке: «Верующий в Бога человек — и мусульманин, и христианин, и иудей — никогда такого не сделает».

В этой связи возникает естественный вопрос: «Можно ли считать фундаменталистов, тех, кто провоцирует террор, религиозными людьми?» Ответ на

него не столь однозначен, как кажется на первый взгляд. «**Аргументы и факты**» (10 октября 2001 г.) опубликовали **телеобращение бен Ладена**, пронизанное религиозной фразеологией. Вот некоторые отрывки из него: «Аллах благословил группу мусульман, которая является передовым отрядом ислама, на разрушение Америки... Каждый мусульманин, после того как политики в Америке во главе с президентом Бушем официально заявили, что начинают войну против нас и посылают войска, должен бороться за свою религию. В Японии погибли сотни тысяч людей, и они не посчитали это преступлением. В Ираке гибнут миллионы детей, и они тоже не называют это терактами. Я говорю им, что все эти события разделили мир на два лагеря: лагерь, в котором есть вера, и тот, где ее нет. Да защитит нас Аллах от них! Каждый мусульманин должен подняться на защиту своей религии».

По мнению **Сергея Хайтуна** («**Московские новости**», № 42, октябрь 2001 г.), «и Иисус, и Будда, и Лао-цзы, и другие пророки действовали словом, а не оружием, поэтому завоевывать новые территории их именем было сложно. Когда рыцари-крестоносцы распространяли христианство огнем и мечом, они отклонялись от линии поведения Иисуса, когда же это делали мусульмане, они следовали Мухаммаду».

Специалист по исламу **Джованни Бенси** в интервью киевской газете «**День**» (10 октября 2001 г.) назвал талибов фанатиками, «которые выходят за пределы исламских традиций». Другое мнение высказал **Андрей Десницкий** в газете «**Русская мысль**» (25 октября 2001 г.), говоря о них как о людях решительно религиозных: «Они молятся, изучают Коран и стараются жить по шариату. Под предлогом богословского образования они вербуют верующих юношей и посылают их на «священную войну». Вся их деятельность вытекает из прочтения Корана — пусть, с чьей-то точки зрения, неверного прочтения. Пусть их ислам — неправильный, но он остается исламом». «**Независимая газета**» (26 сентября 2001 г.) напечатала статью **Андрея Тувинова** «Многоликий фундаментализм», в которой доказывается, что «фундаменталисты есть везде, и ни одна из конфессий не свободна от их влияния». Это касается и некоторых православных в России, которые после 11 сентября заняли не только антиамериканскую, но и откровенно антиисламскую позицию, представляя ислам и всех мусульман исключительно в черном свете (см., например, **интервью свящ. Петра Иванова** под названием «Не заблуждайтесь: это тот самый ислам» и другие материалы в газете «**Радонеж**», № 15—16 за 2001 г.).

Подготовка к военным действиям в Афганистане вызвала незамедлительную реакцию духовных лидеров. **Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл** в газете «**Труд**» (22 сентября 2001 г.), признавая право США на контртеррористические удары, настаивает на том, что они должны быть соразмерны теракту в Америке. В свою очередь **российские мусульманские лидеры** обратились к общественности с целым рядом заявлений против военной акции. Информирова своих читателей об этих высказываниях, «**Независимая газета**» (11 октября 2001 г., «Война идет в регионы») отмечает, что руководители республик, где проживают традиционно мусульманские народы, не выступили с заявлениями против крупномасштабной операции.

События в США и война в Афганистане способствовали росту религиозности (например, в Америке Библия продается сейчас четверо больше, чем

раньше). К сожалению, зачастую это свидетельствует не столько об искреннем обращении к Богу и покаянии, сколько о страхе и суевериях. Это отмечает **Светлана Самоделова** в газете «Московский комсомолец» (9 октября, «Вырос спрос на Всевышнего»): «Почувствовать, насколько боятся люди, решившиеся, несмотря на последние происшествия, воспользоваться услугами авиакомпаний, можно, когда заходишь в часовню Архангела Михаила, открывшуюся на пике последних событий в аэропорту «Домодедово». Пожалуй, ни одна церковь в Москве не знает сегодня такого ажиотажа».

2. Состоится ли воссоединение РПЦ и РПЦЗ?

Тема объединения Московской Патриархии и «зарубежников» осенью вновь оказалась в центре внимания как печатных, так и электронных СМИ. После ухода на покой главы РПЦЗ митрополита Виталия (Устинова) появились реальные предпосылки для начала процесса объединения. Синод РПЦ в преддверии внеочередного Архиерейского собора «карловчан» направил «Братское послание Архиерейскому Синоду Русской Православной Церкви Заграницей». В нем патриарх и члены Синода выразили готовность предпринять реальные шаги для ведения переговоров.

Свящ. Максим Обухов (сайт «Религия в России», 6 ноября 2001 г.) отмечает политические выгоды объединения: «Есть надежда, что российское правительство и администрация Президента РФ поймут значительные политические преимущества объединения с Зарубежной Церковью, которое усилит рычаги влияния российского государства на Западе, и предпримет дипломатические усилия по преодолению раскола. К сожалению, до сих пор в российской внешней политике не учитывается и не используется такой мощнейший и надежнейший козырь, как русская диаспора, тогда как страны, имеющие развитую диаспору: Армения, Израиль, Китай, — давно поняли ее стратегическое значение и извлекают из нее все возможные выгоды. Почти полное игнорирование существования русской диаспоры во всех уголках мира — один из серьезных просчетов российской внешней политики. При наличии реальной поддержки из России она могла бы превратиться в инструмент, приносящий как политические, так и экономические дивиденды стране». При этом о. Максим говорит о подводных рифах, которыми являются: партия непримиримых внутри РПЦЗ, интересы США («скорее всего, их наиболее устраивает тот вариант, когда РПЦЗ будет сохранять свою «русскость» и в то же время непримиримость по отношению к РПЦ, создавая источник нестабильности в виде контролируемой оппозиции»), «зарубежные» приходы в России и «обновленцы» («для которых сближение с довольно консервативным духовенством РПЦЗ будет означать ослабление их позиции»). Под последними, скорее всего, имеются в виду либерально настроенные православные.

В этой связи важной является позиция ведущего православных передач «Голоса Америки» «зарубежника» **прот. Виктора Потапова**. Надежда на воссоединение — таков лейтмотив данного им Наде Кеворковой интервью под заголовком «Слишком долгим был плен» («НГ-Религии», 24 октября 2001 г.). Другой тон — в статье священника РПЦЗ **Дмитрия Каплуна** на проправительственном сайте **Страна. Ру**: «Патриарший синод во главе с Алексием II, стремясь уско-

речь события, даже подготовил специальное «Братское послание» к зарубежному Собору, которое в неслыханных ранее выражениях дружелюбия давало понять, что со стороны РПЦ МП никаких препятствий к объединению не будет. И это неудивительно — ведь вместе с РПЦЗ Патриархия получала бы в свое распоряжение немалый кусок церковного имущества за рубежом, состоящий из большого количества прекрасных храмов и земель в центре Европы и Америки», — пишет он. В то же время он призывает «к Великому Поместному Собору Русской Церкви, на который смогли бы собраться представители всех разрозненных «ветвей» Русского Православия — «катакомбники», «москвичи», «зарубежники», «староверы». Кое-кто называет идею созыва Великого Собора чересчур романтической и утопичной. Но другого выхода, кроме как собраться на Поместный Собор и попросить друг у друга прощения, у православных нет», — считает священник.

В связи с проходящим в Нью-Йорке Архиерейским собором РПЦЗ исполняющий обязанности секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным связям и заграничным учреждениям **протоиерей Николай Балашов** дал 24 октября 2001 года интервью **радиостанции «Маяк»** (оно размещено на официальном сайте РПЦ). О. Николай сетует на отсутствие официальных контактов между двумя Церквями. По его мнению, «прежде всего следовало бы начать с восстановления молитвенного и Евхаристического общения, и только потом можно будет решать вопросы канонического, юрисдикционного устройства церковной жизни». «При этом я полагаю, — говорит далее он, — что те части Русской Церкви, которые находятся за границей, могли бы иметь автономию в своем внутреннем церковном управлении, вместе с тем находясь в духовном и каноническом единстве с Русской Православной Церковью. Ведь даже в пределах канонической территории Московского Патриархата у нас есть самоуправляемые Церкви». Судьба общин «зарубежников» в России видится о. Николаю вполне определенной: «Приходы Зарубежной Церкви в России — это, согласитесь, нечто нелепое, какое-то противоречие в терминах. Действительно, среди духовенства этих приходов были священники, которые за канонические нарушения были подвержены взысканиям со стороны своего церковного начальства. Были люди, которых неудовлетворенные амбиции толкнули на этот путь. Например, хотелось одному архимандриту в течение многих лет стать епископом. Но, видя некоторые его качества, Священноначалие не благословляло его на епископство. И он перешел в юрисдикцию Зарубежной Церкви, чтоб получить епископский сан. А когда получил, то ушел из Зарубежной Церкви, сказав: вы мне теперь больше не нужны. И продолжает свое самостоятельное существование в одном древнем российском городе. Какова будет дальнейшая судьба этих людей, трудно сказать. Но Церковь, из которой они ушли, готова с любовью принять их, если они надумают с покаянием вернуться».

Стоит напомнить читателям, о чем идет речь. В России существует несколько альтернативных Московской Патриархии православных юрисдикций. Самая крупная из них — Российская православная автономная церковь (РПАЦ), которую возглавляет митрополит Суздальский Валентин (Русанцов). Именно его имеет в виду о. Николай. На 1 января 2001 г. в Минюсте РФ зарегистриро-

вано 65 организаций РПАЦ, 40 — РПЦЗ, 29 — т.н. «Свободной церкви», 10 — юрисдикции т.н. «Киевского Патриархата». Так что даже в случае благоприятного для РПЦ сценария воссоединения с РПЦЗ «альтернативное» православие в России останется.

Священник РПАЦ, известный мемуарист **Михаил Ардов** в «**Новой газете**» охарактеризовал шаги по сближению как «успешно проведенную операцию» спецслужб. Вскоре он высказался еще более резко: «Сейчас вопрос стоит только так: как скоро и в какой форме Зарубежная Церковь будет поглощена Московской Патриархией» (сайт **Страна. Ру**: «Безумно жаль, когда большая тигровая акула съедает маленькую рыбку», 9 октября).

Близкие по тону высказывания принадлежат **управляющему Канадской епархией РПЦЗ епископу Михаилу (Донскову)**, который в газете «**Коммерсантъ**» (23 октября 2001 г. «Братское послание могут послать») так прокомментировал послание Патриарха Алексия II и Св.Синода РПЦ: «Мне представляется, что определение «братское», которое предпослано этому документу, если понимать его по-церковному, не совсем к нему приложимо. Мне послание видится формально мирской бумагой, составленной мирским учреждением с мирской же целью. В чем же состоит наше братство? Ведь издавна считалось не только допустимым, но и вполне справедливым отнять у зарубежной церкви при посредстве мирских политических сил больше половины наших владений в Иерусалиме (в 1948 году), а недавно, в 1997 году, таким же методом отняли нашу обитель в Хевроне».

Александр Солдатов рассказал об итогах внеочередного Архиерейского собора РПЦЗ в газете «**Московские новости**» (№ 44, октябрь 2001 г. «Лавр русского зарубежья»): «Главным итогом Собора стало избрание нового главы РПЦЗ, объединяющей почти 500 православных приходов во многих странах мира, в том числе в России. Им стал архиепископ Лавр (Шкурла), которого через несколько дней после избрания возвели в сан Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского. Новый Митрополит — очень осторожный и дипломатичный сторонник слияния РПЦЗ с Московским патриархатом».

Александр Правдин в статье «Объединение обернется расколом» («**НГ-Религии**», 14 ноября) констатирует, что процесс сближения замедлился: «Пока не заметно, чтобы последователи нового первоиерарха проявляли готовность ускорить этот процесс. Умеренные «зарубежники» по-прежнему критически настроены к «сергианству» и к участию РПЦ в экуменическом движении. Патриарх Алексей II уже высказал некоторую обеспокоенность по поводу «медлительности» нового руководства. Он заметил, что зарубежная Церковь может упустить самое благоприятное время для воссоединения с матерью-Церковью. Патриарх не считает «сергианство» серьезной проблемой и напоминает: знаменитая декларация митрополита Сергия была вызвана историческими условиями 20-х годов прошлого века и представляла собой попытку спасти Церковь от разгрома. Что же до экуменизма, то Патриарх заявил о необходимости диалога с другими христианскими конфессиями и охарактеризовал участие РПЦ в экуменическом движении следующим образом: «Никто из православных участников международных христианских форумов ни на шаг не поступался своей верой. Мы всегда свидетельствовали о Православии, помогая представителям западных ис-

поведаний понять нашу позицию». Алексей II надеется, что в РПЦЗ «возобладает здравый смысл» и победит мнение большинства, выступающего за начало диалога по проблемам воссоединения Русской Церкви».

Среди духовенства и мирян РПЦЗ быстро образовалась партия «непримиримых», поддержанная неожиданно вернувшимся к церковным делам митрополитом Виталием. Эту ситуацию прокомментировал на сайте **Страна.Ру Евгений Соколов**: «Можно предположить, что РПЦЗ начнет свое медленное движение в сторону Московской Патриархии, а «непримиримые» образуют свое собственное церковное управление. Для этой группы было бы логично сближение с Российской Автономной Православной Церковью, возглавляемой митрополитом Суздальским Валентином (Русанцовым). Только вот из-за архиерейских страстей такое сближение в настоящий момент маловероятно».

Тем временем раскол в РПЦЗ фактически уже стал реальностью церковной жизни. Митрополита Виталия поддерживает около трети «зарубежников», которым он предписал именовать его как «Первоиерарха Русской Православной Церкви в Изгнании» (РПЦИ) и возносить за него молитвы. РПЦИ считает себя законной правопреемницей РПЦЗ и не признает каноничным избрание нового первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра. К середине ноября митрополит Виталий рукоположил трех новых архиереев для своей юрисдикции. Как сообщило агентство **«Благовест-инфо»**, Архиерейский Синод РПЦЗ инициировал судебное разбирательство, целью которого было установление юридической недееспособности 91-летнего митрополита Виталия и его принудительная госпитализация в психиатрический стационар. Однако в результате проведенной 1 ноября в госпитале канадского города Шербрука экспертизы было установлено, что митрополит Виталий вполне дееспособен, а производство по делу, инициированному Синодом, было прекращено. Позднее, 22 ноября, епископом Михаилом (Донсковым), которого сопровождали свьящ. Павел Ивашевич и шесть человек в штатском, была предпринята попытка принудительной депортации митрополита Виталия в США из Спасо-Преображенского монастыря в Мансонвилле, под Монреалем, где он находился. Эта попытка не увенчалась успехом, однако она свидетельствует о резком обострении отношений между двумя частями «карловацкой» Церкви. (Подробности об этом инциденте — на сайте www.listok.com.)

В то же время нынешний секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ епископ Манхэттенский Гавриил (Чемодаков) принял участие в торжественном приеме, устроенном 13 ноября в российском посольстве в Вашингтоне по случаю государственного визита Президента РФ в США, и в течение 40 минут общался с Владимиром Путиным в узком кругу. Основным итогом этой беседы стало официальное приглашение Президента РФ посетить Россию, адресованное новому предстоятелю РПЦЗ Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому Лавру (Шкурле). Комментируя в интервью российской государственной телекомпании раскол в РПЦЗ, епископ Гавриил заявил, что «небольшая группа людей» убедила бывшего Первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Виталия в том, что «мы уже сейчас на грани какого-то объединения с Московской Патриархией». Секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ назвал «совершенно неканоничной» возглавляемую митрополитом Виталием

Русскую Православную Церковь в Изгнании и заявил о «недействительности» хиротоний ее иерархов, совершенных в ноябре в Канаде («Благовест-инфо», 21 ноября).

3. Новые следствия конфликта в Санкт-Петербургских духовных школах

Осенью снова появились сообщения о последствиях конфликта в Санкт-Петербургских духовных школах, который разразился еще весной 2000 года. **Максим Шевченко** в статье «Новый виток противостояния» («НГ-Религии», 10 октября 2001 г.) так прокомментировал последние события:

«Разгром, учиненный в прошлом году среди студенческого и преподавательского состава, продолжается. Напомним, что его причиной послужил канонический протест студентов, предпринятый по всем церковным правилам и в соответствии с нормами церковной жизни.

Учащиеся протестовали против рукоположения своего однокашника, про которого они точно знали, что он стукач и вымогатель (денег и продуктов). На вопрос епископа о том, достоин ли кандидат в священники (вопрос во время службы звучит по-гречески — «аксиос?»), студенты единогласно ответили «анаксиос» — «недостойн». В наивности своей они полагали, что церковную службу Священноначалие РПЦ воспринимает всерьез и буквально, полагая, что слова, произносимые в храме и особенно в алтаре, не просто ритуальное сотрясение воздуха, но имеющие соборный и мистический смысл служебные формы; что когда участников службы (верных) спрашивают о чем-то, то они могут и обязаны ответить так, как им то подсказывает их христианская совесть. Студенты ошиблись. Епископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петербургских духовных школ, растоптал канонические нормы, показал, что церковная служба для него — пустая формальность. Он раз и навсегда объяснил студентам, что ложь в храме Божием не только допустима, но и является чуть ли не обязанностью «богобоязненного» верующего.

...Первого октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир (Котляров) подписал указ о смещении с должности проректора СПбДА по воспитательной работе профессора-протоиерея Георгия Тельписа. Заслуженный педагог, 40 лет отдавший Духовной академии, назначен вторым священником в церковь Образа Спаса Нерукотворного в г. Всеволожск (Ленинградская область). Исполняющим обязанности проректора назначен 27-летний иеромонах Дамиан (Залетов). Последний, по мнению наблюдателей, причастен к установке подслушивающего устройства в одной из комнат общежития, которое студенты обнаружили в декабре 2000 г.

Решение было принято, как полагают, под давлением ректора СПбДА епископа Тихвинского Константина (Горянова). Назначенный на должность в 1996 г. ректор стремился к созданию режима личной власти, что сопровождалось нарушением академического устава и пренебрежительным отношением к студентам и преподавателям. Результатом этого был целый ряд скандалов и студенческих бунтов в 2000—2001 гг. Несогласные с политикой ректора учащиеся изгонялись в каникулярный период, а преподаватели увольнялись с нарушением трудового законодательства или лишались лекционных часов. Протоиерей Георгий Тель-

пис был одним из тех, кто пытался настаивать на соблюдении прав студенчества и соблюдении традиций Санкт-Петербургских духовных школ.

Однако ректор перед лицом митрополита и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II перенес вину за углубляющееся противостояние на проректора, обвинив его в организации студенческих беспорядков. Именно эти обвинения и предъявил профессору Академии митрополит Владимир, подписывая рапорт об отставке.

Православные верующие, сохранившие хотя бы минимальное понимание того, что есть «соборность» и «каноническое право», расценивают решение митрополита как нарушение традиционных прав Священного Синода. До сих пор процедура утверждения и снятия с должности второго лица в иерархии духовных академий находилась в его компетенции. Очевидно, митрополит Владимир и епископ Константин заручились поддержкой Патриарха Алексия II, посетившего СПбДА 10 сентября. Отсутствие гласной реакции Патриарха на обострение ситуации в Академии расценивается как одобрение действий митрополита и ректора.

Отставка священника, пользовавшегося авторитетом у студентов семинарии и академии, по мнению аналитиков, приведет к еще большему отчуждению ректора и его окружения от преподавателей и студентов. Результатом такой атмосферы будет дальнейшее снижение образовательного уровня в области богословских наук, потеря академией авторитета в обществе и новые конфликты и скандалы.

Напомним, что никакого гласного расследования событий в Санкт-Петербургской академии не было. А церковный суд, в котором верующие могли бы искать защиты от произвола отдельных распоясавшихся иерархов, остается фикцией, несмотря на бесчисленные решения по этому поводу Архиерейских Соборов последних лет».

4. «Дело» священника Георгия Кочеткова

В конце лета и начале осени 2001 г. вокруг обсуждения печатных трудов свящ. Георгия Кочеткова наступило затишье. «Вдогонку» прошедшему весной валу публикаций появилось лишь несколько реплик.

Сдержанно-благожелательно откликнулся на неопределенность дальнейшей ситуации французский православный ежемесячник SOP (№ 260, июль—август 2001 г.), сообщивший, что «о. Георгий Кочетков должен быть приглашен в ближайшее время на комиссию, чтобы дать объяснения по некоторым пунктам, которые вызывают вопросы. В интервью, размещенном на информационном электронном сайте «strana.ru» митр. Филарет сказал: «Мы полны благожелательности [...] Посмотрим, как пойдет наша беседа с ним». Негативно оценивая заключение специальной комиссии, состоящей в большинстве из преподавателей Свято-Тихоновского института, по отношению к о. Георгию Кочеткову, митрополит заметил: «Может быть было бы правильнее сразу этот вопрос передать в Синодальную Богословскую комиссию, потому что мы здесь как-то шире смотрим на эту проблему. Локальная московская комиссия, может быть, отнеслась с каким-то пристрастием, не хватило, может быть, широты взглядов. Но мы попытались это исправить, как могли. Надеемся, что с помощью Божией эта проблема будет разрешена». Основатель Свято-Филаретовс-

кого института в Москве, ведущего с 1988 года активную деятельность по миссионерству и катехизации в Русской православной церкви, о. Георгий Кочетков, стал объектом критики со стороны части московского духовенства из-за своей пастырской и литургической практики, расцененной как «реформистская». В июне 1997 года после инцидента в своем приходе он был запрещен в священнослужении. 12 марта 2000 года эта дисциплинарная мера была снята, но о. Георгий остается без прихода, пока синодальная богословская комиссия не вынесет окончательного решения». (Перевод с франц. — А., Б. К.)

Традиционно озлобленно отреагировал на возможность мирного разрешения ситуации **«Благодатный огонь»** (№ 7, 2001 г.), перепечатав с язвительным комментарием по адресу о. Георгия резюме так называемой «московской» комиссии и опубликовав статью В. Львова, где «кочетковцы», «лица» которых «скованы тяжелыми заскоружеными экзальтированным-зомбированными масками» безоговорочно противопоставляются «православным христианам», у которых они вызывают лишь «неприятие и отторжение». Помешанные в «Благодатном огне» статьи с нескрываемым удовлетворением перечислил и прокомментировал в прямом эфире **радио «Радонеж»** литературовед **М. М. Дунаев**. Известный своей страстью к беспепелляционным вердиктам («Ф. М. Достоевский здесь, конечно, недодумал...»), он и теперь был резок: «Я удивляюсь тому, что как-то уж очень благодушное мы видим отношение некоторых наших иерархов к этому учению, потому что те еретики, по поводу учения которых собирались Вселенские соборы, это просто, знаете, цветочки, это невинно по сравнению с тем, что Кочетков обрушивает на незрелые умы своих, как он их считает, духовных чад».

С другой стороны, взвешенная и осторожная статья **Н. Константинова** «О пользе церковных начинаний» («НГ-религии», 14.11.2001 г.) настраивает на разумный и конструктивный, по-настоящему церковный подход к проблеме: «Возвращаясь к «делу Кочеткова», стоит вспомнить, что его истоки, по существу, коренятся в разных, иногда почти антагонистических взглядах на актуальную для нынешней церковной жизни проблему воцерковления современных взрослых людей. Она особенно остра потому, что абсолютное большинство наших соотечественников — люди с атеистическим прошлым, лишенные реальных (а не вымышленных) православных традиций и корней».

Само наличие проблемы наконец-то не оспаривается никем. Теперь на первый план выходят вопросы о практических формах воцерковления, о том, как помочь ищущему человеку войти в Церковь и укорениться в ней. Священник Георгий Кочетков рискнул предложить некий систематический подход к проблеме, естественно, давая этим повод для вопрошаний, несогласий и даже полного неприятия. Но разве не очевидно, что всяческие недоумения по этому поводу лучше разрешать, обсуждая именно реальный опыт? Обращаясь к опыту Русской Православной Церкви, «когда, например, еще до революции 1917 г. в отдельных приходах правящие архиереи (а в 30-е гг. и сам Синод) разрешали настоятелям служить с открытыми царскими вратами на русском языке с чтением «тайных» молитв вслух», автор предлагает «придать этому опыту характер открытого для всех начинания». «Зачем заведомо бояться ошибок, в том числе и в переводах, когда есть возможность церковно их исправлять?» — спрашивает он.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО И АНТИМОДЕРНИЗМ В ВОСТОЧНОМ ПРАВОСЛАВИИ

1. Антизападничество в Российской Церкви

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Запад как был, так и остался главнейшим противником России», — этой емкой формулой покойный митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн (Снычев) выразил весьма распространенное среди православных верующих отношение к Западу, обнажив тем самым печальный факт, что Церковь оказалась среди наследников мышления эпохи «холодной войны»¹. Конечно, отношение православия к Европе этой простой формулой не охватишь. «Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее и опять возьмем и не захотим быть перед нею неблагодарными», — эти слова принадлежат куда более авторитетному православному мыслителю, хотя и XIX века, — Ф.М. Достоевскому².

Сложность *православного* отношения к Европе и Западу отражают не только взгляды таких православных «антизападников», как А. Хомяков или Ф. Достоевский. Согласно социологическим исследованиям страт современного российского общества, православные верующие составляют категорию, по своим мировоззренческим и социологическим характеристикам наиболее близкую к, казалось бы, противоположной категории «западников»³.

¹ Митрополит Иоанн (Снычев). Чуший да разумеет — http://www.rusk.ru/Transact/tr1_10.htm.

² Цит. по: Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. М., 1993. С. 385.

³ См. Клямкин И.М., Кутковец Т.И. Русские идеи. Полис, 1997, 2., С. 118-137.

**Константин
КОСТЮК**

— родился в 1967 г. в Москве. Окончил философский факультет МГУ, в 1994-1998 гг. преподавал социологию политики на социологическом факультете МГУ. С 1998 — аспирант Католического университета Айхштетт (ФРГ). Член Международной ассоциации христианского социального учения (Брюссель). Автор ряда статей по проблемам социального учения христианских церквей, истории философии, социологии, социальной этики, социологии религии. Принимал участие в переводе на немецкий язык «Основ социальной концепции РПЦ», участвовал в организации Международной Интернет-конференции «Христианские основы экономической этики» и в выпуске одноименного сборника. В ноябре 2001 в издательстве Фаир-Пресс под его редакцией выходит книга переводов с немецкого «Политическая и экономическая этика» (серия «Современные направления социальной этики»). В настоящее время живет в Германии.

И в то же время должен быть отмечен парадоксальный факт: уровень антизападничества внутри Церкви значительно выше, чем в обществе в целом. Парадоксален этот факт потому, что именно христианство, казалось бы, должно было бы быть особым связующим звеном между Европой и Россией. И, наоборот, фактором, отделяющим Россию от исламских и иных азиатских культур. К тому же стоит напомнить, что в советскую эпоху Церковь, внутренне не имевшая ничего общего с коммунистическим государством и с «холодной войной», ощущала моральную поддержку прежде всего со стороны Запада и строила «мосты мира».

Но за прошедшие десять постсоветских лет все изменилось. Настолько, что сегодняшнее церковное антизападничество следует считать в значительной степени продуктом именно этого последнего десятилетия российской истории, сформировавшимся под влиянием разного рода характерных для него факторов.

Так, здесь сказались, несомненно, и перегруженность негативным опытом «холодной войны», и растерянность перед активной прозелитической деятельностью различных религиозных организаций западного происхождения, и неспособность разобраться с новыми европейскими ценностями и культурными образцами. Иными словами, «Запад» в каком-то смысле послужил как бы своего рода «козлом отпущения», на который удобно было списать собственную слабость. С другой же стороны, бесспорно и то, что в современной России антизападничество — не только в Церкви, но и в обществе в целом — получило мощную подпитку и со стороны реального негативного опыта интеграции России в мировое сообщество после распада Советского Союза. В этом отношении кульминационным моментом — на уровне массового сознания — стали известные события в Югославии.

Современное российское антизападничество — и в церкви, и в обществе — представляет собою, однако, явление не просто некоего непосредственно-эмоционального, психологического порядка. Антизападничество в современной России все больше концептуализируется, приобретает характер и некоего *теоретического* феномена. И здесь оно опирается на определенные идеологические традиции, будучи связано прежде всего со сложностью решения проблемы европейской идентичности России, хотя, казалось бы, сама по себе принадлежность России к Европе осознается и признается всеми, включая и открытых противников Запада (поскольку историческая Россия — это прежде всего ее европейская часть). Однако на пути к обретению и признанию такой идентичности существует целый ряд как достаточно традиционных, так и относительно новых концептуальных возражений, порождающих и поддерживающих теорию «особого русского пути». При этом наиболее, пожалуй, существенные из них выдвигаются как раз *от имени православия*. Так что именно православие (наряду с национализмом и коммунизмом) и является сегодня в России главным *теоретическим* основанием для концептуализации антизападничества.

Какие для этого имеются причины и в каких направлениях происходит сегодня такая концептуализация антизападничества со стороны православия?

Схематизируя, здесь можно обозначить три основные группы проблем

Особость и самостоятельность пути России выводится, во-первых, из особенностей ее культурного и духовного опыта, причем ключевым фактором здесь

становится именно *культурно-историческая специфика православия*. Именно на этой почве развивались, как известно, *славянофильские* теории «Святой Руси».

Особенность российской истории и концепция «своего» пути России обосновывается, во-вторых *геополитическим* фактором — огромной территорией, а также «азиатскими» корнями России. На этой почве была развита весьма популярная сегодня *евразийская* теория, и в ней ключевое место отводится, как известно, опять-таки православию — его «*восточности*».

Есть, наконец, и третий подход, согласно которому на Россию возложена миссия хранения православия (его можно назвать *фундаменталистским*). В соответствии с этой концепцией, православие было «предано» западным христианством, а поэтому Запад играет роль средоточия зла и является главной угрозой для России. С этой точки зрения, источником культурной идентичности России является *религиозно-конфессиональный принцип* в его наиболее чистом проявлении.

Итак, все эти три концепции — в отличие от других концепций — заявляют себя в качестве «православных». Но являются ли они в действительности таковыми?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться прежде всего к тем исходным принципам, которые лежат в их основе. Они заслуживают того, чтобы попытаться хотя бы вкратце рассмотреть их отдельно и проследить, как в них переплетаются секулярные и религиозные мотивы.

2. Конфессиональные обоснования православного антизападничества

Православие определяет себя как «правильную веру». И, следовательно, вероучительный его спор с западным христианством — как спор «правильной» веры с «неправильной» — уже и сам по себе не может не составлять внутреннего импульса, порождающего антизападничество. Иными словами он, этот спор, уже и сам по себе может служить для православия достаточным основанием к тому, чтобы отделять себя от Запада.

Вопрос, однако, в том, насколько жестко можно отделять себя от других направлений христианства в ситуации, когда все Церкви живут в секулярном окружении: ведь секуляризм заключает в себе большую опасность, чем иноконфессиональное христианство. В современном обществе секуляризм подрывает основания веры как таковой. В то же время этого не происходило, например, на Западной Украине, где христианам неоднократно приходилось переходить из православия в католичество и обратно.

И тем не менее *христианство* никаким образом не является для православия в его отношениях с другими христианскими конфессиями объединяющим моментом. Мало того — сегодня в еще большей мере, чем раньше, спор православия с ними интерпретируется его сторонниками как столкновение Истины и ереси.

Однако при этом крайне показательно, что объединяющим моментом для православия не является в настоящее время и само православие — достаточно принять во внимание напряженные отношения РПЦ почти со всеми «пра-

вославными соседями». И это доказывает, что главная причина отчуждения от Запада заключается, следовательно, вовсе не в догматических различиях. Другими словами, это доказывает, что «конфессиональный принцип» — даже в его радикальной фундаменталистской формулировке — имеет, в сущности, отнюдь не собственно религиозные корни, а какую-то иную мотивировку.

3. Исторические обоснования православного анизападничества

Известно, что проблема отношений православного Востока с христианским Западом восходит к разделению Римской империи, то есть к проблеме различия исторических путей византийского Востока и романо-германского Запада. Однако вопрос о том, является ли Греция колыбелью европейской цивилизации и принадлежит ли Византия к «европейскому ареалу», часто решается в соответствии не с аргументами, а с определенными настроениями. Если для современной науки это вопрос исторического исследования, то для православной мысли — как сегодня, так и в прошлом⁴ — он носит практически-актуальный характер. Для православия Россия — «правопреемница» именно византийской традиции и в качестве таковой — европейская страна лишь в той же мере, в какой ею являлась и Византия. Так, например, политолог Н. Нарочицкая говорит о существовании «византийского буфера», к которому она относит православные страны Европы. В соответствии с этой концепцией, Россия должна «отвечать» за Балканы и защищать их от «посяганий Запада»⁵.

Таким образом, можно, конечно, сказать, что антизападные устроения в российском православии в какой-то мере питаются и теми реальными сложными проблемами, которые существовали в исторических отношениях России и Запада. Но ведь в то же время обращает на себя внимание тот факт, что светская общественность воспринимает эту проблему значительно мягче. Исторические раны заживают, и все более остро воспринимается как раз задача взаимодействия с Западом. А вот в православном сознании эта задача интеграции с Западом даже и *не возникает*. Для этого сознания все еще актуальна проблематика «религиозной конкуренции», и именно поэтому оно гораздо более болезненно относится к историческим ранам, чем российское общество в целом.

Но, как уже было показано в предыдущем разделе, межконфессиональная «конкуренция» православия с другими христианскими вероисповеданиями имеет вовсе не религиозные корни и сама является, видимо, лишь инструментом какой-то иной идентификации. А из этого, в свою очередь, следует, что, стало быть, и обращение к историческим «аргументам», включаемым в религиозно-конфессиональный контекст, тоже не имеет самостоятельного значения в православном антизападничестве, но подчинено, видимо, тем же «другим» целям, что и его конфессиональные обоснования.

⁴ Примером могут служить панславистская идея православной империи со столицей в Константинополе, которую еще в XIX веке развивали некоторые мыслители (К. Леонтьев, Н. Данилевский, Ф. Тютчев).

⁵ См. Нарочицкая Н. Россия и Европа в XX столетии. — Сайт «Православие» (<http://www.pravoslavie.ru>).

4. Геополитические обоснования православного антизападничества

Геополитические причины на первый взгляд имеют светский характер. Очевидно, что Россия включена в особую констелляцию стран и культур и имеет особые интересы по сравнению со странами Запада. Эта специфика положения России и выражена в понятии Евразии. Страны Балкан и Восточной Европы — «полоса» между Россией и Западом — традиционно составляли предмет их геополитического спора. Геополитический фактор был ключевым в эпоху «холодной войны», и тем более сейчас, с возникновением на месте СССР геополитического вакуума, он остается актуальным для политиков.

Однако православное сознание вносит *собственные* элементы и в геополитическую проблематику. Ключевой момент здесь, как ни странно, — это не линия, разделяющая христианство и ислам (хотя и она важна), а критерий для определения евразийской территории, которая воспринимается как каноническая и миссионерская территория православия. На эту территорию Русская Православная Церковь не хотела бы никого пускать. Иначе говоря, жесткая «религиозная граница» проводится не по отношению к исламу, а опять же по отношению к Западу и призвана обозначить линию противостояния его религиозным влияниям на Востоке⁶.

Таким образом, критерием для обоснования геополитического (как и исторического) антизападничества в православии опять являются, как видим, конфессиональные интересы. Но при этом конфессиональное сознание мобилизует и берет на свое вооружение именно секулярные по своей природе исторические и геополитические мотивы, так что процесс культурно-религиозной самоидентификации православия в России неизбежно стимулирует и общий рост антизападнического сознания общества.

Столь своеобразная и неразрывная связь светских и религиозных аспектов в процессе культурно-религиозной самоидентификации православия позволяет сделать вывод, что в России не только судьбу светского, но и судьбу православного антизападничества (которая во многом зависит, очевидно, от будущего экуменических контактов) решат прежде всего те контакты, которые будут развиваться с Западом *светское* общество. Потому что только открытость светской России навстречу Европе может способствовать интенсификации межхристианских, экуменических обменов.

Подведем некоторые предварительные итоги нашему курсу.

Итак, антизападничество в православном сознании в значительной мере отражает определенное понимание православием секулярно-государственных интересов. Но при этом, как было уже сказано, бросается в глаза и тот очевидный факт, что светское сознание не способно генерировать столь сильный антизападнический импульс, как сознание религиозное.

⁶ С точки зрения геополитической проблематики показательны распространенные в православной публицистике оценки процессов глобализации, которая рассматривается как экспансия *западной культуры*, угрожающая идентичности традиционных православных культур.

В то же время этот импульс никак нельзя объяснить и потребностями собственно конфессиональной идентификации, ибо иначе он с той же силой определял бы отрицательное отношение и к другим религиям. И это, на наш взгляд, и означает, что главные истоки православного антизападничества лежат в какой-то иной, более глубокой области.

В какой же?

На наш взгляд, их следует искать в мировоззренческих основаниях, в социальной теологии православия и в вытекающей из нее *антимодернизационной* установке.

5. Социальная теология и православный антимодернизм

В этой связи следует прежде всего заметить, что «Запад», в отличие от «Европы», является культурно-историческим понятием. Совсем недавно ни Германия, ни Италия, ни Испания не были «Западом». Было время, когда «Западом» не была и Франция, как не была и Великобритания. Более того, почти все из них пережили «болезнь антизападничества». Под географическим термином «Запад» на самом деле скрывается *вызов модернизации*, который рано или поздно приходит извне (а также и *изнутри*) в любое традиционное общество. Отождествление этого вызова с определенным географическим телом лишь мешает понять его суть и пути решения тех проблем, которые он выявляет *внутри самого общества*.

Во всех проявлениях антизападничества в православии заметен один мотив: неприятие культурной составляющей поступающих с Запада технологий. Причем это касается не только религиозных или культурных ценностей, но и *социального порядка*, который эти ценности приносят с собой, заставляя менять порядки в «собственном доме».

Речь идет в первую очередь о либерализме, правах человека, демократии, рыночной экономике. Я имею в виду настроения, господствующие в православной публицистике. С либерализмом ассоциируется исключительно мировоззрение, равнодушное к религии или откровенно атеистическое. Принцип признания и защиты прав человека не принимается на том основании, что человек находится в падшем состоянии, а поэтому речь может идти только об обязанностях, а не о правах. Свобода совести, с этой точки зрения, только узаконивает греховное состояние человека, связанное с возможностью выбирать грех и ложь. Демократия и правовое государство подвергаются критике за анархию, безвластие, за согласие с секулярным характером государства. Рыночная экономика ассоциируется с потребительством, с торжеством материальных потребностей над духовными. В итоге получается, что с Запада на Восток идут только такие «ценности», как бездуховность, потребительство, культ самодостаточного человека.

Надо признать, что в современной России западные ценности и реализуются по большей части именно в такой форме. Но ведь дело не в том, что происходит, а в том, что должно происходить, то есть в *общественном идеале*. Если ценности демократии и модернизации в принципе не являются для Церкви ценностями, она не может помочь их реализации на практике даже в самой благоприятной ситуации.

Между тем не только в выступлениях иерархов можно услышать уверения в том, что Церковь несет в себе положительный нравственный потенциал, — подобные ожидания свойственны и самым широким слоям населения. Можно с уверенностью утверждать, что со стороны государства и общества Церкви сделан *социальный заказ на современную этику*. И вот центральный вопрос — как Церковь отвечает на эти ожидания? Так ли уж редко наряду с привычными высокими словами «о добром и вечном» можно слышать от ее лица заявления и совсем иной — такой, например, — направленности: «Согласно соответствующим богодухновенным пророчествам столпов Церкви, приход лжемессии-Антихриста близок. Глобальные масоно-демократические группировки готовят наступление лжемессианской эры... Тем не менее возможность воссоздания единой, неделимой, могучей Православно-самодержавной Монархии воспринимается уже не в качестве утопии, а как реальность ближайшего будущего?»..

Эта цитата принадлежит тому же митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычеву)⁷. Но даже если оставить за скобками подобного рода фундаменталистские политические программы, сильно заряженные националистической агрессивией и тоталитаризмом⁸, «позитивное» политическое кредо умеренной части православной общественности тоже складывается по большей части из идеи сильного государства (державность), отвергающего принцип свободы совести и религии, из антилиберальной национально ориентированной политики, из изоляционизма и антизападничества. И лишь в лучшем случае эти социально-этические взгляды демонстрируют политический романтизм и утопизм, чаще же всего — поразительную социальную некомпетентность⁹. Добавим к этому, что названные принципы — то есть отвержение свободы совести, превосходство теократии по сравнению со всеми формами секулярного государства, сдержанное отношение к частной собственности, глобализации, демократии — заявляются и в соответствующем *официальном* церковном документе, — в «*Основах социальной концепции Русской Православной Церкви*»¹⁰.

В этой ситуации можно говорить о *растущем противоречии* между ожиданиями общества по отношению к Церкви и ее реальной общественной миссией, между этикой современного общества и социальной этикой, развивающейся из

⁷ Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) Православная державность // Православие. Армия. Держава. СПб., 1993.

⁸ Красноречивы названия некоторых из них: «Православие или смерть», «Черная сотня».

⁹ Пример политической наивности дает высказывание главы миссионерского отдела РПЦ епископа Белгородского Иоанна (Попова): «Нужен закон, который бы объявил, что именно Церковь является носителем тех нравственных начал, на которых будет строить свое основание русское государство... Законы должны проходить церковную экспертизу, достаточно внести эту строчку в Конституцию, и тогда будет все нормально» (см.: Выбор судьбы. Проблемы современной России глазами русских архиереев. СПб., 1996, с. 233).

¹⁰ Некоторые положения «Основ социальной концепции РПЦ» непосредственно противоречат Конституции РФ и поэтому «де юре», согласно закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), допускают вмешательство государственных органов и ограничение религиозной деятельности Церкви.

ориентированного на традицию мировоззрения Церкви. Показательно, что это противоречия еще не было десять лет назад — в угнетенной Церкви; оно возникло и нарастало *по ходу свободного развития православного мировоззрения*.

Разумеется, в данном случае не следует искать злого умысла или «врожденного порока» православия. Указанное противоречие возникает из-за того, что некоторые социальные представления, свойственные церковной традиции, *переносятся* на современное общество и это перенесение обнаруживает их *несоответствие* современным условиям. Я обозначаю это как *противоречие между социальной метафизикой православия и философией модерна*.

6. Основания социальной метафизики православия

Мировоззренческие и философские основания православия во многом восходят к эпохе восточных отцов Церкви, то есть христианской неоплатонической традиции позднего эллинизма (каппадокийцы, Иоанн Златоуст и др.).

Не составляет труда проследить философскую эволюцию неоплатонизма. Метафизика Платона покоилась на учении о едином бытии, которое постигается как высшее благо сквозь призму совершенных идей. В неоплатонизме платоновская онтология становится лишь элементом более иерархичной картины, в которой высшее начало — Единое — стоит выше бытия. В христианском неоплатонизме этим началом является Творец, Бог, а платоновская онтология служит атрибутами Бога в рамках катафического богословия. Мир видится как *единая пирамида ниспадающего совершенства*, вершина и начало которой — Божество. Эта картина очень хорошо передана в сочинениях Дионисия Ареопагита.

В христианской теологии мировоззрение становится теоцентричным, а промежуточные метафизические этапы «снимаются», но не исчезают. Главный интерес перемещается на познание совершенства и воли Божией через общение с Богом. Посредством этого перемещения в богословии совершается *перескакивание метафизики*. Метафизические размышления теперь понимаются как суетное, языческое занятие. Однако тем самым лишь накладывается вето на рефлексию и на пересмотр *наличных* метафизических концепций, которые так или иначе все равно впадают в теологические построения. Так, платоновское учение об идеях давно получило бескомпромиссное церковное осуждение. Но сама *методология* платонизма, согласно которой идеи единства и совершенства являются единственно верным фокусом познания вещей, осталась в православном богословии неприкосновенной. В соответствии с ней и создаются «конкретные метафизики» бытия, к которым принадлежит и социальная метафизика православия.

В православной традиции при осмыслении *социального бытия* на общественную структуру проецируется универсальное строение духовного космоса. Первым эту проекцию осуществил Евсевий Кесарийский (IV в.), утвердивший формулу: «Один Бог — один Царь». То, что в небесной иерархии начинается с Бога, в земной иерархии начинается с царя. Царь получает *сакральное значение центра социального бытия*, источника земной власти. В российской традиции рядом с царем как хранителем Православия в мире не может быть поставлен никакой иерарх. Формой социального бытия, то есть проявлением совершенства в социальном мире, является государство. Народ же в этой картине является социальной материей, еще не оформленной массой.

Надо сказать, что такой однолинейной социальной метафизике в православной традиции не совсем удалось утвердиться. В ней не очень понятно место Церкви. Альтернативной концепцией, которая разрушает монолитность первой, изначально становится концепция симфонии властей, в которой Церковь рассматривается как иерархия, параллельная государству. Чем более значения придавалось Церкви в земном бытии, тем более отчетливыми становились контуры двулинейной метафизики. Именно на ее основе в русской философии XIX века, у славянофилов, начинается разрушение монархического богословия. Церковь постигается как социальный институт; рядом с государством появляется общество как самостоятельная инстанция социального бытия. Разрушение монолитной социальной метафизики получает формулировку в учении о соборности, которое развивали русские религиозные философы. Тем не менее и альтернативная концепция остается метафизической (см. «Новое средневековье» Н. Бердяева).

Социальная метафизика, имеющая общие религиозные основания для всего Средневековья, начинает активно разрушаться на Западе в процессе социальной модернизации в Новое время и в особенности в XIX–XX веках. На место представления об иерархичности и монолитности социальной структуры приходит концепция *плюралистического общества*. Государство утрачивает свою исключительную роль и становится одним из социальных институтов с утверждением концепции правового государства. Принцип разделения властей разрушает единство и абсолютизм власти как метафизического начала. Демократизация переносит источник легитимации власти сверху вниз. Но наибольшее значение имеет концепция прав личности. Представление о неотъемлемых свободах человека выводит личность из иерархического порядка, в котором свободы могут лишь делегироваться. Утверждение концепции, которая ставит личность выше всего социального порядка, означает *полное разрушение традиционной метафизики*.

Именно эти представления идут в Россию с Запада — и именно их и не согласна принять Православная Церковь.

Действительно, подобная картина социального мира идет в разрез с православной традицией. Если раньше речь шла о едином источнике социального бытия, то теперь появляется много таких источников. Этим источникам может приписываться абсолютное значение, что с неизбежностью порождает секуляризационный процесс. Сама секуляризация отражает процесс разрушения метафизики. Поэтому естественно, что православие видит путь сопротивления секуляризации в том, чтобы противостоять разрушению социальной метафизики, то есть занимает *антимодернистскую позицию*, подвергая критике общество эпохи модерна.

Однако при этом надо иметь в виду обратный эффект: чем сильнее критика, тем меньше места для этики. Указанное противостояние порождает фундаменталистов, воинов священной борьбы с модерном. При этом Церковь все более утрачивает свою нравственную, этическую роль: выступая против конституционного порядка, против прав и свобод человека, против демократии и гражданского общества, *она направляет свою работу не на укрепление основ социальной жизни, а на их разрушение*. Не удивительно, что это порождает встречную критику со стороны общества и подрывает общественное доверие к Церкви.

7. Задача преодоления социальной метафизики

Между тем, защищая основания социальной метафизики, Церковь никоим образом не защищает основания веры. И — не укрепляет ее в обществе. Ведь православное христианство не зависит от каких-либо философских конструкций, даже освященных традицией.

Православие богословски четко различает Предание и предания. Философское содержание, которое присутствует в богословских построениях, необходимо отделять от богословского и сопоставлять с современной ситуацией. Это сделает слово Церкви лишь более действенным и освободит ее от ненужных конфликтов с обществом. Бесспорно, что в своем мирозерцании православие метафизично, поскольку все начала бытия оно возводит к Богу. Но эта *предельная* метафизика не влечет за собой необходимости в метафизиках *конкретных*. Христианство безболезненно прошло этап разрушения натурфилософии, поэтому способно безболезненно отказаться и от социальной метафизики, как это уже произошло в католичестве и протестантизме. Для этого православию не надо изобретать нового богословия, требуется лишь развивать уже имеющиеся элементы традиции — например, учение о богоподобии личности, богословие соборности и т.д.

С этой точки зрения интересно оценить новые возможности, которые открываются для Русской Православной Церкви с принятием «Основ социальной концепции». Это весьма противоречивый документ. Он существенно отличается от тона «православной общественности», которая охвачена социально-метафизической романтикой и утопизмом. Хотя и в нем, как уже сказано, отдается определенная дань «социальной метафизике», тем не менее он инспирирован все-таки прежде всего реальными этическими задачами времени и достаточно трезво оценивает этические границы и возможности социальных изменений. Апеллируя к Писанию, он сознательно отказывается от псевдофилософских суждений. Осторожно относясь к новейшим изменениям (например, к проблемам биоэтики, к процессам глобализации), он тем не менее демонстрирует открытость к диалогу с обществом и ориентирует православных на активное участие в общественных процессах. Поэтому неудивительно, что этот документ позитивно оценивается как внутри Церкви, со стороны представителей самых разных направлений, так и в обществе, со стороны его консервативных и либеральных сил. В «Основах социальной концепции» нет места ни национализму, ни антизападничеству — и, наоборот, там выражена готовность к диалогу и сотрудничеству между нациями.

Это внушает надежду на то, что православие тоже пройдет-таки сложный порог разрушения социальной метафизики и разработает язык, на котором оно сможет продуктивно разговаривать с современным обществом, выполняя в нем свою истинную миссию.

К ПРОБЛЕМЕ ДИАЛОГА СО СТАРООБРЯДЦАМИ: УРОКИ ИСТОРИИ

Многие проблемы, с которыми сталкивается Русская Православная Церковь сегодня, имеют давнюю историю. В частности, они отсылают нас к спорам со старообрядцами, к жестам и способам поведения духовных и светских лиц, призванных преодолеть раскол.

В 1893 году Н.С. Лесков в «Вестнике Европы» опубликовал полные горечи «Сибирские картинки XVIII века». На основании документов, хранившихся в архивах сибирских консисторий, духовных правлений губернских и воеводских канцелярий, а также живых, устных рассказов он живописал нравы и труды азиатского духовенства в царствования Петра Великого и Екатерины II. Неспешно и обстоятельно повествует автор о разного рода поборах, коими занимались тамошние священники. Одни экспроприации совершались ради государева слова и дела, другие — корысти для. И все в целом идеологически оправдывалось неусыпной заботой господствующей религии о спасении заблуждающихся.

Отправной точкой для автора стал изданный 28 февраля 1716 года указ императора о взимании со старообрядцев государственных податей в двойном размере — так называемый «двойной оклад». Закон этот, в сущности, повторял указ 1714 года, но реально стал работать не в 1714-м и не в 1716-м, а только начиная с 1718 года. Петр отправил на казнь своего сына и круто изменил политику в церковных делах. До этого в вероисповедных вопросах он придерживался достаточно либеральной линии. Сохранилась собственноручная записка Петра от 1715 года, в которой сказано: «С противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, бых незаконным яко незаконен да незаконных приобрящу, бых всем вся да вси спасу, и не так как ныне жестокими словами и отчуждением» (Г. Есипов. «Раскольничьи дела XVIII столетия». СПб., 1861. Т. 2. С. 218. — далее: Есипов.). Странники старого обряда были призваны из своего кармана пополнить казну, но не спешили нести денежку господину чиновнику. Прекрасно понимавший психологию подданных, законодатель предусмотрел способы поиска и поимки злостных неплательщиков. Историк сообщает: «Вспомогательным средством для открытия раскольников в указе 1716 года было повеление всем и каждому по всей России исповедоваться ежегодно, а кто не будет исповедоваться, о тех подавать именные росписи от духовного начальства губернаторам и ландратам (т.е. дворянам, назначенным в совет при губернаторе. — Б.К.), а светской власти повелено брать штраф денежный и заставлять исповедоваться» (Есипов, 219).

**Борис
КОЛЫМАГИН**

— родился в 1957 г. в пос. Редкино Тверской области. Окончил Литературный институт в 1989 г. Журналист, автор многих статей по современной литературе и проблемам церковной жизни. Живет в Москве.

«Наложение штрафа за неявку к исповеди сначала поручалось светским властям... Ландраты поняли так, что раскольников нужно «записать в двойной оклад», а церковных, не явившихся к исповеди, следует оштрафовать втрое... Православные, увидав из этого, что им гораздо выгоднее совсем «записаться по двойному окладу», объявили себя раскольниками... Другие же люди, которые не хотели зачислять себя в раскольники, «по двойному окладу», стали обращаться к «приходским попам» с подкупками, чтобы «попы показывали их бывшими» (на исповеди. — *Б.К.*). Попы брали за это «посулы» и показывали небытейщиков «бывшими», и таким образом реестрация вместо того, чтобы выяснить дело, повела к усиленной лжи. А как «посулы» за фальшивые отметки небытейщиков «бывшими» брали одни попы и не делились этими доходами с причетниками, то среди сих последних запылала всеобщая зависть против настоятелей и пошли на них доносы» (Н.С. Лесков. Собр. соч. в 12 тт. М., 1989. Т.12. С. 240. — далее: Лесков).

Борьба светских и духовных обличителей выявила любопытную подробность: «Многие священники в поданных ими духовных росписях за 1716 и 1717 годы многих детей своих духовных неисповедовавшихся написали исповедовавшимися, а действительно бывших у исповеди по злобе своей на них записали небытими». Битва за доходы сопровождалась бесконечными доносами, сыском и очными ставками. Правительство подливало масла в огонь, издав, например, такой указ: «А буде о тех, кто у исповеди не будет, а священник о том не донесет и за такую его ману взять на нем штраф первое пять рублей, второй десять, а третий пятнадцать рублей. А ежели по тем явится в такой же мане и за то извержен будет священства» (Лесков, 141). Лесков добавляет, что «повелено было «по извержении» священников «взять их имение», а самих их «отсылать для наказания к гражданскому суду и в каторжные работы»» (Лесков, 142).

Хождение к исповеди в Сибири осложнялось огромными расстояниями между приходами и малым числом действующих храмов: «Церквей на всю Сибирь было тогда числом 160, и из них половина приходилась на город Тобольск и на селения, ближайšie к этому городу» (Лесков, 150). Крестьянину часто проще было никуда не ехать и заплатить «двойной оклад», чем тащиться по ужасным дорогам за сотню верст в церковь без всякой гарантии, что удастся исповедоваться и причаститься. Священники нередко бывали в разъездах, один иерей порой окормлял несколько приходов.

Надолго отрываться от земли и хозяйства, конечно, сложно. Но, с другой стороны, непонятно, как жила сельская община совсем без храма. Допустить, что молитва совсем не звучала в диких таежных местах, нельзя: в XVIII столетии секуляризм еще не настолько разрушил духовные основы жизни, чтобы породить целые селения безбожников. Скорее всего, это была нормальная «беспоповская» жизнь, так что беспоповство имело в тех краях подготовленную почву.

Как бы там ни было, число лиц, подлежащих «двойному окладу», росло вместе с ростом империи. В своих произведениях (в том числе в рассказе «На краю света») Лесков выявил главные причины бессилия православной проповеди: во-первых, внутренний отход от христианства самих православных, их нежелание отнестись к церковной жизни всерьез и, во-вторых, вторжение светской власти в церковную область, куда она вторгаться не имела права. Это касается, в частности, попыток полицейскими методами решать духовные проблемы.

В России так называемая внутренняя миссия была направлена прежде всего на людей, оставивших официальную, государственную церковь. Как отмечает церковный историк И.К. Смолич, «борьбу с расколом Церковь поставила во главу всей своей миссионерской деятельности, растрчивая почти бесплодно свои силы и упуская тем самым из виду другие важные задачи пастырского служения» (И.К. Смолич. «История Русской церкви». Т. VIII. Ч. 1. С. 23. — далее: Смолич). Иными словами, положительную миссию вытеснила контр-миссия. Это сказалось прежде всего на самой господствующей церкви, укрепив ее, как пишет тот же историк, обрядовый характер и сделав «почти невозможными всякие дальнейшие улучшения (например, в богослужении), хотя они и казались желательными» (Смолич, 31).

Современный исследователь старообрядчества М.А. Дзюбенко обратил внимание на удивительные параллели в судьбе двух частей Русской Церкви. Так, гонение на приверженцев старых обрядов «прообразовало» преследование верующих в советские годы, а постановления по делам раскола порой очень похожи на решения пресловутого Совета по делам религий и его уполномоченных на местах. Как во времена «Соловецкого сидения», в годы осады Соловков царскими войсками, страдали приверженцы древнего благочестия, которые позже же содержались как в тюрьме, так в 1920-е годы в обители на Белом море томились и погибали православные новомученики и исповедники. И если при Николае I сторонники официальной Церкви закрывали «раскольнические» монастыри (и бывало, при этом поливали монахов на морозе водой, чтобы те поскорей уходили — как тут не вспомнить легендарного генерала Карбышева?), то в ленинско-сталинскую эпоху ту же участь разделили почти все монашеские обители.

Политика государства и официальной Церкви по отношению к старообрядцам находилась в зависимости от имперской идеологии и задач внутренней политики. Когда по экономическим или политическим причинам государству было выгодно не замечать старообрядцев, те бурно развивались (по некоторым данным около трети населения отошло от пореформенной, «никонианской» Церкви). Когда же эти причины отпадали или становились менее существенными, церковно-государственный аппарат начинал «закручивать гайки», лишая воздуха тех, кто напрямую конкурировал с синодальным православием.

Мы можем говорить о старообрядчестве как о сложном, динамическом единстве разнопорядковых элементов (нелегальные монастыри, скиты и села, профессиональные проповедники и сочувствующий народ, легальная и нелегальная, чаще всего рукописная, литература, хозяйственная и коммерческая деятельность). Все эти элементы были объединены общими преданиями и общим негативным отношением к «никонианской» Церкви, то есть своего рода общим ценностным кодом. В свою очередь в структуре старообрядческого сообщества можно различить центр (связанный прежде всего с традициями таких духовно значимых для приверженцев протопопа Аввакума мест, как Выг и Белая Криница), который вырабатывал общий язык самоописания этого сообщества, и периферию.

Однако язык старообрядцев, находившихся в оппозиции к церковному официозу, во многом был начетническим и не мог выразить истинную природу Церкви. Раскол выявил и укрепил богослужebное сознание, для которого Евхаристии перестает быть центром общинной жизни. Например, у современ-

ных старообрядцев во время чтения в алтаре Евхаристической молитвы (анафоры) на клиросе могут звучать песнопения молебна, что разрывает и без того слабую связь между литургическим собранием и его предстоятелем и еще больше затемняет центральную часть Евхаристической литургии. Однако эти черты старообрядческого сознания характерны и для «никонианской» Церкви. Такой подход к богослужению устраивал большинство духовенства, так что использование государственной машины для подавления инакомыслия можно считать отдаленным следствием того разделения клира и мирян, которое происходило в храме. И это относится не только к официальной Церкви. Ничуть не оправдывая тех жестоких преследований, которым подверглись сторонники старого обряда, замечу, что и сами старoverы — тот же протопоп Аввакум — более чем резко высказывались против «никониан» и готовы были поступить с ними со всей суровостью, свойственной XVII веку.

Одним из активных миссионеров петровской эпохи считается Нижегородский епископ Питирим. Основной принцип его деятельности может быть выражен его же собственными словами: «Следует хватать, ловить раскольников, под тесноту штрафов увещевая Писанием» (А.Л. Синайский. «Из истории мероприятий против русского раскола старообрядчества». СПб., 1906. С. 41. — далее: Синайский). Находясь на нижегородской кафедре с 1719 по 1739 годы, он, по его же словам, обратил в православие до 80 тысяч раскольников. Однако цифра эта явно завышена. Как сообщает Синайский, «документы свидетельствуют о немногих и частных обращениях раскольников к церкви, а не о массовых и многочисленных» (Синайский, 83).

Владыка Питирим занимался не только активной борьбой с расколом, но и поиском сочувствующих старой вере. Его беспокоил тот факт, что многие верующие скрывают свои истинные убеждения «по согласию с попом церковным». Питириму принадлежит проект клятвы, которая позволила бы вывести таких хитрецов на чистую воду: «То повелеть того раскольщика исповедати иному попу суще верному, который не укрыл бы раскольщика, а по исповедании оный раскольщик, аще бы он был и недостоин святых таин причащения, но убо ради о нем достоверного свидетельства, подобает архиерею оный грехи возбраняющие от святого причащения разрешить и Св. Таин повелеть причастить, но непросито: пред часами повелеть оному раскольщиков проклинать и себя самого сицевым образом: проклиная всех тех, которые святейшего патриарха Никона называют еретиком, проклиная всех, иже ныне не крестятся тремя первыми персты, проклиная всех таковых, иже ныне говорят по псалмех аллилуиа по дважды, а не по трижды» (Есипов, 215).

Иными словами, нижегородский архиерей предлагал использовать исповедь и причастие в качестве орудий государственного сыска. В проекте Питирима очень показательно требование проклинать людей перед причащением. Но Церковь вообще никого не проклинает. Анафематствование же является не ветхозаветным проклятием, а терапевтическим приемом отсечения от церковного тела тех его членов, которые упорствуют в заблуждении или грехе, но совершается оно в надежде, что они через покаяние вернуться в лоно Церкви. Таким образом, в случае с «клятвой Питирима» налицо кощунственное отношение к таинствам, их профанация.

В своей деятельности Питирим шел дальше требований использовать богослужение в качестве полицейской дубинки. Вот достаточно показательный пример: опасаясь дальнейшего распространения раскола среди монашествующих, епископ предложил царю запретить монахам «жить в лесах и полях, на погостах и по мирным домам», а причину для отвода глаз «выставить такую, что в лесах немало разбойников и беглых солдат» (Есипов, 221).

Подобная «миссионерская» деятельность церковных деятелей способствовала быстрому росту того умастроения, которое сегодня приняло форму фундаментализма. Для иллюстрации приведем выдержку из донесения Питирима Петру I от 26 февраля 1721 года: «Объявляю Вашему Величеству во епархии Нижегородской есть Мордва и других родов непросвященных крещением а крещению не склоняются, и мне присмотрелся о них к лучшему, чтобы детей их малолетних от осьми лет и до двенадцати побрать и научить русской грамоте, и таким образом уразумеют пользу св. крещения удобнее крестятся и крестятся сами станут и других научат» (Есипов, 267). И это не единственный пример подобного подхода к христианскому просвещению. Известно, что в 30-е годы XVIII столетия «Розыскная раскольных дел канцелярия» отбирала детей у старообрядцев, а родителям «чинила наказание» — была кнутом (Синайский, 74). Подобная практика существовала и в XIX веке, и в начале XX; вплоть до введения веротерпимости она теоретически не возбранялась.

Жесткие меры по отношению к старообрядцам не способствовали диалогу, хотя такой диалог был возможен — например, в случае с диаконом Андреем, к которому генетически восходит единоверие. «Собеседование» в петровскую эпоху означало насильственное действие (если старообрядцы не шли на разговор добровольно, миссионеры обращались к помощи солдат), во время которого защищающаяся сторона должна была отвечать на различные каверзные вопросы, и если ей это не удавалось сделать, она должна была сдаться на милость победителей. Характер этих собеседований напоминал средневековую схоластику. Церковь навязывала старообрядцам такой уровень и способ разговора, который неизбежно приводил к начетничеству: на любое суровое вопрошание всегда находился витиеватый ответ.

Чтобы почувствовать атмосферу таких «собеседований», обратимся к рассказу упомянутого диакона Андрея, который так описал случившееся с ним царю: «В прошлом 1716 году епископ Питирим прислал к нам скитожительствующим последним богомольцам твоим убогим старцам, 130 вопросов за своею рукою прося у нас на те вопросы ответов; и мы убогие тако ж написав, подали ему епископу Питириму своих вопросов 240, желая чрез его ответы в сомнении нашем от Святого писания решение получить. И мы за недостатки книг и за скудость ума нашего ответствовать отрицались... за что он велел держать нас за караулом близ года, и мы убогие за оным принуждением на вопросы его, сидя в узах, писали к своим чтоб ответы готовили, и елико возмогли, собрав от Святого писания ответы, написав подаша ему епископу в мае, за то он обещал нас выпустить, а принявши наши ответы своих ответов он, епископ, тогда нам не отдал и в правде своей не устоял и нас не свободил...» (Есипов, 649). Ответы Питирима были вручены на специальном собрании общины диакона Андрея. Как пишет Есипов, дьякону нечего было сказать (попробуй скажи, когда солдаты рядом): «Рек прео-

священный диакону со товарищи: извольте отвещати на всякий свой ответ подлинно. Диакон поклонися епископу до земли... «прости нас и не истязуй нас, мы не можем ничего иного отвещати точию что в доношении нашем написано...»

Питирим отпустил Андрея при условии, что община полностью перейдет под его начало. Андрей же, памятуя, что Петр прагматично относится к старообрядцам, поехал в столицу, надеясь там найти правду и спасти общину от разрушения. Но в 1720 году здесь дули уже совсем ледяные ветра. Петр приказал диакона казнить, и ему отсекли голову в Нижнем Новгороде.

Справедливости ради надо сказать, что владыка Питирим материально поддерживал людей, вышедших из раскола. Совсем как современные борцы с тоталитарными сектами, создающие «реабилитационные центры». У Питирима такими центрами были монастыри, где жили покаявшиеся старообрядцы (всего около 270 человек). Он выдавал каждому из них до пяти рублей ежегодно. Правда, такая возможность у него была только до 1726 года, затем денежный поток на «миссионерские нужды» уменьшился. Произошло это потому, что духовное ведомство было отстранено от сбора «двойного оклада». А так как деньги на содержание штатных миссионеров и миссионерские нужды (в том числе и на питиримовскую благотворительность) брали у тех же старообрядцев, Синоду пришлось урезать свои программы и ликвидировать ряд учреждений. Теперь их осталось только два: «Розыскная раскольнических дел канцелярия» в Санкт-Петербурге и духовная Дикостерия в Москве. Интересно, что в 1728 году при Дикостерии была учреждена особая должность «увещателя раскольников», на которую назначались духовные лица, хорошо знавшие Св. Писание. Как утверждает Синайский, она была чисто миссионерской, освобожденной от административного и фискального элементов. Из документов, правда, не видно, чтобы деятельность такого рода получила развитие.

Среди миссионеров, занимавшихся «обращением» староверов, кроме людей духовного звания были и миряне. История XVIII столетия сохранила нам имена некоторых из них: П. Зиновьев, И. Рожнов, Ю. Ржевский. Постепенно таких миссионеров становилось все больше. Претендуя на роль «истинных поборников старины», на деле сии «подвижники» способствовали замораживанию приходской жизни, выступали против введения патриаршества, очень специфически понимали проблемы перевода богослужебных текстов на другие языки. Вот, например, характерное и откровенное высказывание одного из них — иеромонаха Александра, размышлявшего на страницах «Миссионерского обозрения» (№2, 1905) о книге епископа Хрисанфа «К вопросу о переводах на инородческие языки» (Казань, 1904): «Конечно, никто не будет отрицать пользы переводов на инородческие языки там и тогда, где без этих переводов нельзя обойтись. Сам преосвященный Хрисанф не отрицает пользу переводов, вызываемых жизнью, ибо лучше что-либо, чем ничто... Не будет большой беды, если миссионер воспользуется переводами... Но мы должны помнить, что наша обязанность заключается не только в христианском просвещении, но и в обрусении инородцев».

Указ о веротерпимости 1905 года поставил перед такого рода миссионерами немало проблем. Для их решения в июле 1908 года в Киеве собрался IV Всероссийский миссионерский съезд. Обсуждались вопросы, связанные с действиями против старообрядцев, католиков и сектантов. У наблюдателей созда-

лось впечатление, что собравшихся более всего волновала деятельность христиан-конкурентов. И хотя слышались голоса о необходимости работы среди православных россиян, «питиримовский» пафос возобладал. Однако общество отреагировало по-своему. Князь Евгений Трубецкой высказал общее убеждение, когда сказал: «Чтобы восстановить истинное значение Дома Божьего, следует прежде всего изгнать оттуда миссионеров».

Сегодня, перед вызовом современного мира, вопросы о природе Церкви, о ее жизни приобретают особенную остроту. В старообрядческом опыте сохранилось многое из того, что в РПЦ оказалось приниженным, полузабытым или утраченным. Это и общинная жизнь, и практика духовного причастия, и исповедь перед лицом братьев и сестер, и подлинно соборные начала приходского устройства.

С «колокольни» Церкви, которая не в бревнах, а в ребрах, гонения на старообрядцев выглядят сплошной чередой жестокостей и нелепостей. Стремясь старым путем решить проблемы богослужения, церковная власть фактически отказалась от внутрицерковных механизмов решения спорных вопросов. О соборности, о духе любви и мира никто даже не вспоминал. Миссионеры сражались со старообрядцами, как янычары с неверными: ломали иконы, выкапывали и уничтожали тела почивших, сжигали кресты... Обращая в свою веру, «просветители» даже не замечали, что перед ними тоже христиане. Старообрядцы априори объявлялись неправыми всегда и во всем, их приравнивали к невежественным язычникам. Однако удар, направленный против ревнителей старины, косвенно стал ударом по всему церковному народу. Стагнация приходской жизни, господство схоластики в образовании и полемике, подмена церковного государственным — вот только некоторые плоды масштабной кампании против раскольников. Для того чтобы РПЦ осознала свои грехи перед старообрядцами, она сама должна была испытать гонения, организованные государством. Лишь во второй половине XX века, по инициативе митрополита Никодима, со старообрядцев были сняты «клятвы» и тем самым открыт путь к диалогу, который, однако, идет с большим трудом.

Одной из причин трудности этого диалога является тяжелый груз памяти — слишком много староверы претерпели в пореформенной России. Другая причина, как представляется, заключается в том, что нынешнее церковное руководство в процессе возрождения церковной жизни после советского разгрома во многом ориентируется на те «матрицы», которые существовали в Империи. Так, например, в современных духовных школах изучение старообрядчества до сих пор объединено с сектоведением: «древлеправославных» по-прежнему склонны считать прежде всего конкурентами.

Подлинный диалог со старообрядчеством — дело будущего. Но уже сегодня можно по-новому взглянуть на дела давно минувших дней — взглянуть, не утрачивая подлинно церковной перспективы и стараясь сделать выводы, касающиеся настоящего.

Подавляющее большинство наших соотечественников, недавно обратившихся ко Христу, нуждается в доступной проповеди. В сущности, речь идет о том, что помогать идущим в Церковь может и должна община открытых друг другу, живущих общей жизнью православных христиан. Православная миссия не может сводиться к контр-миссии. История борьбы со старообрядчеством свидетельствует о пагубности «отрицательного», «питиримовского», миссионерства.

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИКЕ

(Третий квартал 2001 г.)

Одной из центральных проблем, связанных с *ролью религии в современном мире*, была посвящена Международная конференция «Христианство и тоталитарные вызовы XX столетия (на примере России, Германии, Италии и Польши)». Конференцию организовали журнал «Вопросы философии» и католический университет Айхштета. В этом городе она и происходила 6 — 8 октября 2000 г. «Тоталитарные вызовы» — неуклюжая переводческая калька, по-видимому обозначающая идеологическое и практическое покушение фашизма и социализма на христианскую духовную традицию европейской культуры. Отметим некоторые наиболее интересные выступления.

В.Лекторский («Христианские ценности, либерализм, тоталитаризм, постмодернизм». — «Вопросы философии», № 4) указал на распространенное убеждение в том, что христианские ценности одержали верх в историческом противостоянии тоталитаризму; история в некотором смысле пришла к концу в связи с торжеством идеалов либеральной демократии, которые как раз и являются эмпирическим воплощением христианских ценностей. Однако насилие в отношениях между людьми и странами не только не исчезло, но возросло и будет, по всей видимости, увеличиваться. До окончательного воплощения христианских ценностей в социальной реальности далеко. Как реакция на неосуществимость идеалов возникло мнение о необходимости отказаться от них. Популярная сегодня философия постмодернизма исходит из того, что традиционный гуманизм себя дискредитировал и должен быть отвергнут. Вместе с иерархией ценностей утратили авторитет и все традиции. Действия личности в пределах этих традиций теряют смысл. Становится невозможным говорить о подлинном существовании, ибо ни один способ бытия не может быть подлинным. Религиозная система ценностей, в частности христианская, столь же не обязательна, как и всякая другая. То есть суть постмодернизма, полагает автор, состоит в провозглашении нехристианской (постхристианской) культуры. Автор отнюдь не разделяет эти позиции, ему милей «христианский реализм» — концепция философа русского зарубежья С.Франка. Франк тоже понимал невозможность осуществления христианских утопий, но не считал, что от них следует отказаться. В каждый данный момент и в данных конкретных обстоятельствах воплощение христианских идеалов может быть только частным. Моральная личность берет на себя ответственность за неизбежную частичность реализации ценностей. То есть, осознавая невозможность достижения цели, стремиться к ней все-таки необходимо. И иного пути нет.

Германский философ П. Элен («Освенцим и теология». — «Вопросы философии», № 4) напоминает: Бог создал человека по образу Своему и подобию, а значит навсегда определил, что есть сущность человека. Тоталитарные же государства XX в. распорядились человеческой жизнью, присваивая себе

право решать, что есть человек. Рассматривая события, обобщенные под именем «Освенцим», с теологической точки зрения, нельзя ограничиться анализом истории первой половины XX в. Здесь нужно поставить вопрос об изначальной чудовищной несообразности искушения самостоятельно решать вопрос, что есть подлинная человеческая жизнь, чего она стоит и кто ее заслуживает. Там, где такое искушение побеждает, снова появляются люди, оспаривающие право на жизнь других людей. Такому искушению подвергается научная элита начала XXI века, пытающаяся путем клонирования осуществить научную утопию человеческого самовоспроизводства, утопию формирования человеческого «продукта». Спасти от этого искушения, считает автор, может лишь религиозная вера — вера в то, что Бог присутствует в каждом человеке.

М. Спикер («Христианство и свободное конституционное государство». — «Вопросы философии», № 4) доказывает, что христианство — основа свободного конституционного секуляризованного государства. Слова «кесарю кесарево, а Божие Богу» положили начало до сих пор значимому различению между *temporalia* (бренное, земное) и *spiritualia* (духовное, вечное), между политикой и религией. Свободное конституционное государство предполагает это различение, имея целью обеспечить свободы граждан. Антропологический фундамент этой свободы — понятие личности, объединяющее все измерения человеческого существования (плоть и дух, индивидуальность и социальность, свободу и ответственность, богоподобие и демонизм). Все основные ориентиры современной политической мысли: правовая демократия, разделение властей, права человека, гражданское общество, интернациональная солидарность, социально-рыночная экономика — все это является прямым христианским наследием. Христианство есть душа Европы, свободное конституционное государство — ее тело.

«Вопросы философии» публикуют ряд статей, посвященных *мыслителям, творчество которых так или иначе связано с тоталитарными идеологиями.*

Н. Лобкович в статье «**Карл Шмитт — католический фашист**» («Вопросы философии», № 5) пишет о наиболее самобытном и спорном германском юристе, ставшем чуть не культовой фигурой в философии права XX века. Автор опускает чисто биографические мотивы генезиса мировоззрения этого католического мыслителя, обратившегося в национал-социалиста, сосредотачивая внимание на теоретической сфере. Как католик К.Шмитта характеризует неприятие либерализма и, конечно, социализма — особенно в марксистском варианте. Как теоретик Шмитт был противником правового позитивизма (право как сумма фактически действующих законов). Его главный тезис — право, чтобы стать законом и вообще быть, требует сильного государства. Парламентаризму Шмитт противопоставлял диктатуру, но понятие диктатуры у него не исключает понятия демократии: диктатура — легитимный авторитет, заполняющий правовые бреши. Шмитту была чужда традиционная католическая философия права, опиравшаяся на теорию естественного права. Он отрицал, что право укоренено в нравственности, исповедуя идею Т.Гоббса «Власть, а не истина дает закон». Автор полагает, что Шмитта нельзя называть католическим фашистом, он стал национал-социалистом независимо от того, что был католиком.

С.Белардинелли в статье «**Джованни Джентиле и христианство**» («Вопросы философии», № 5) анализирует творчество итальянского мыслителя, который

был, вне всякого сомнения, официальным философом фашизма, философом у власти, и стремился воплотить в жизнь свою теорию. Фашизм Джентиле был специфически итальянским. Это не национал-социализм, а своего рода естественное продолжение идей либерализма, коренящихся в Рисорджименто: фашизм как наиболее зрелая и совершенная форма государства — воплощения свободы. Философская система Джентиле — «актуализм» или философия практики. Сущность религии — мистицизм, т.е. осознание того, что человек может стать кем-то лишь путем отождествления себя с Богом. Католическая церковь — пусть и неудовлетворительным способом — сохраняет в силе притяжения на синтез божественного и человеческого, свободы и истории. Реально осуществить этот синтез в состоянии лишь философия. Христианство должно «обрести истинность» с помощью философии актуализма. Католицизм — самая совершенная религия. Джентиле считал себя католиком, «потому что религия есть церковь, она является всеобщей, свойственной субъекту, который простирается в бесконечность. Она есть общность без границ, в которой мой Бог — Бог, если он Бог всех». Религия не может быть частным делом. Несомненно, Джентиле — еретик, ведь он рассматривал религию, как «детство духа», становящегося, развивающегося в истории. Он был убежден, что единственное воистину божественное в обществе — государство, ибо лишь государство воплощает «универсальную волю» индивидуума как самосознание. В этом явно проявляется авторитарный характер мысли Джентиле. Но оправдывая его, автор настаивает на необходимости делать различие между «фашизмом как движением» и «фашизмом как режимом». Как движение фашизм стремился реформировать Италию путем всеобщей радикальной революции, и его специфика заключалась именно в амбивалентном отношении к христианству. То есть в политической жизни государства функции религии признавались основополагающими, но в истории значение религии имело преходящее значение. Джентиле был идеологом движения, а это, по мнению автора, исторически извинительней, чем быть практиком режима.

В число персонажей, ответственных за идеологическое оправдание тоталитаризма, попал и А. Ф. Лосев. **Н. Праг**, автор статьи «**Лосев и тоталитаризм**» («Вопросы философии», № 5. С. 78-84) признает Лосева последним философом русского Серебряного века, но фигурой загадочной. Лосев был христианским философом и не просто христианским, а убежденным последователем и толкователем православной догматики, всякую иную считая еретической. Его социальная философия противостояла либерализму. Интерпретируя Платона, он писал: «общее свойство социального бытия есть диалектическое равновесие идеи и материи и фактическое уничтожение всего личного, индивидуального и частично материального в жертву общему, идеальному и целому». Экстраполируя тоталитарную утопию Платона на разные исторические эпохи, Лосев считал свободные науки и искусства творением либеральных умов и именно либерализм причиной Великой схизмы — разделения церковью на ортодоксальную Восточную (православную) и еретическую Западную (католическую). Основанный на злокозненном либерализме и гуманизме индивидуализм породил капитализм и буржуазный миф о всемогуществе знания. Отсюда выводы автора: Лосев — убежденный сторонник православной монархии, враг свободных наук и искусств,

ненавистник либерализма и капитализма, жесткий критик католицизма и протестантизма, а кроме того идейный антииудаист (чтобы не сказать антисемит) и антикоммунист. Но можно ли назвать его противником коммунистического тоталитаризма? Увы, автор этого сделать не может. По его мнению, логика мысли Лосева требовала неумолимого единства идеологии, культуры и социального строя и потому оправдывала тоталитаризм независимо от его конкретных форм, будь то античное рабство, монархия или социализм.

Родившееся в среде русских философов-эмигрантов евразийство **В.Сендеров** («Евразийство миф XXI века». — «Вопросы философии», № 4) считает новаторски-тоталитарным учением и ярко выраженным «европоненависничеством», которое выдумало «внехристианское православие». В одном ряду с фашизмом и большевизмом оно так же было вызовом христианству в прошлом веке и собирает силы для будущего. Термин «Евразия» стал кодом посткоммунистического менталитета, он определяет суть национального мировоззрения. «Православное азийство» предпочитает Чингисхана святому Владимиру и полагает татаро-монгольское иго главным двигателем российского государственного строительства. Чтобы продемонстрировать тоталитарный характер идеологии евразийцев, автор цитирует основоположников, в частности, князя Н.Трубецкого, который декларирует идеократическое государство с идеей-правительницей, государство, руководящее всей жизнью своих граждан; государство с единственной партией, члены которой должны думать, как один. Автор считает, что духовное состояние сегодняшнего российского общества в значительной мере сформировано евразийством, т.е. антиевропейским тоталитарным учением.

К религиозно-политической проблематике обращается и **Ю.Каграманов** («Ислам, Россия и Запад». — «Новый мир», № 7), выясняя возрастающую роль ислама в мировой драме сосуществования государств с разным вероисповеданием. Пользуясь лексикой упомянутой выше конференции, исламский фундаментализм можно назвать антиевропейской и антизападной тоталитарной практикой, а также вызовом христианству начала XXI века. За несколько месяцев до террористической катастрофы в США автор пытается прояснить понимание «исламского фундаментализма» в интонационном ключе, достаточно свободном от возмущения массовым смертоубийством. По его мнению, любое серьезное обозрение современного состояния мусульманского мира надо начинать с Иранской революции 1979 года. Иран — несомненный лидер в мусульманском мире, и Иранская революция представляется Каграманову событием, сопоставимым разве что с Великой Французской. В результате революции возник принципиально новый общественно-политический порядок, не имеющий прецедента ни на Западе, ни на Востоке. Конституция Ирана существенно не отличается от западных демократических конституций. Однако высший надзор над всеми институтами власти осуществляют духовные лица — рахбар (вождь нации) и состоящий при нем Наблюдательный совет. Во всех делах последнее слово остается за ними.

В экономической сфере частная собственность ограждена законом, предпринимательство свободно, рынок поощряется. Причем рыночные отношения основываются на взаимном доверии. Моральная атмосфера в стране такова, что не благоприятствует чрезмерному скоплению богатства в одних руках.

С самого начала Иранская революция заявила о себе как о мировой, однако чувство реальности ограничило ее претензии границами исламского мира. Помехой на пути мирового распространения Исламской революции явился ее шиитский акцент. Другую часть мусульман (четыре пятых) составляют сунниты. Иран первый бросил вызов западному миру, который не ограничивается религиозно-культурной сферой. Идея священной войны с неверными (джихад) не оставляет революционеров. Главный враг — США. В этой борьбе все средства хороши, включая терроризм. Финансирование таких организаций, как «Хезболла» и «Хамаз» в стране допускается, если не прямо, так косвенно. Хотя с точки зрения ислама террор не может быть оправдан. Традиционный фикх (мусульманское право) предписывает убивать врага в честном бою. Понятие справедливости в этом случае у мусульман не отличается от христианского. Вообще автор склонен мерить Исламскую революцию европейскими мерками. Он сравнивает ее с Реформацией, в частности с кальвинизмом, где главным принципом было «правление святых» (надо делать людям добро вопреки их воле). В сегодняшнем сравнении, полагает автор, Запад проигрывает исламу в так называемой человеческой составляющей: в отличие от западного человека мусульманин спрашивает себя не «чего я хочу», но «чего хочет Бог», и в этом его сила.

В заключение отметим две работы существенно иного плана — *работы, авторы которых видят главный смысл любого религиозного учения не в политическом конструировании мира, а в спасительном устройстве человеческой души.*

Архимандрит Плакида (Дезей) в статье «Познание Бога и место богослова в Церкви» («Альфа и Омега», № 2) напоминает, что в христианстве истинным знанием Бога считают знание, которое не проистекает ни из чувственной очевидности, ни из человеческого рассуждения. Оно основывается на Слове Божием, преподаваемом Церковью. Человек способен познать Бога и Его Тайны лишь в той мере, в какой Бог открывается ему, выводя его за пределы человеческих возможностей. Преуспевание в этом познании достигается не рассуждениями, не диалектикой, не учеными изысканиями, а по сути связано с преуспеванием в молитве, в духовной жизни, в любви к ближнему. Это не означает, конечно, что христианин, желающий углубиться в познание тайн веры, не должен ни читать, ни исследовать Писание, ни изучать христианскую традицию в творениях Отцов Церкви. Это делать необходимо. Не бесполезно овладеть и светской наукой, изучив философию и историю Церкви. Однако все это — второстепенное и способно привести только к порогу истинного знания. Открывает Себя Бог одному лишь очищенному сердцу. Ибо не природный разум является органом такого познания, а наше сердце, преображенное благодатью Святого Духа. Понимать Слово Божие и говорить о нем — особый дар и служение, называемое богословием. Получающий его должен быть озабочен тем, чтобы не заниматься самодеятельностью, а с точностью передавать, ничего не прибавляя и не убавляя. Православный богослов находится в живой преемственности с Отцами Церкви, т.е. с богословской традицией, освященной Вселенскими Соборами. Эта связь и близость умозрения, разделенного веками, — норма и правило церковного сознания.

Богослов должен понимать и то, перед кем следует богословствовать. Архимандрит Плакида приводит к этому случаю рекомендацию капподакийского

святителя, богослова IV в. Григория Назианзина: «Перед теми, которые занимаются сим тщательно, а не на ряду с прочим толкуют с удовольствием и об этом после конских ристаний, зрелищ и песней, по удовлетворению чреву ... ибо для последних составляет часть забавы и то, чтобы поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений».

С. Серегин («Ориген и стоическая концепция “вечного возвращения”». — «Вестник древней истории», № 2) анализирует полемику одного из первых христианских философов (мученически погиб за веру в 253 г) со стоической теорией космического циклизма. Последняя предполагала бесконечную смену идентичных космических циклов. Ориген оспаривает идею идентичности циклов, но не суть гипотезы космического циклизма. Допускал он эту гипотезу, имея в виду специфически христианскую концепцию свободы воли. Понятие свободы воли Ориген не ограничивал рамками этики или психологии, но превращал в фундаментальный космологический принцип. Именно свобода разумных духовных существ обусловила их падение в мир телесности, что повлекло возникновение материального космоса. Но эта же свобода обеспечивает возможность апокатастасиса, восстановления первоначального состояния падших душ. Утверждение свободы воли логически предполагало гипотезу множественности миров, что никак не укладывалось в догматизированную впоследствии картину мира. Оригена признали еретиком на V Вселенском Соборе.

Обзор подготовил Александр Денискин

Библиографическая служба «Континента»

**ФИЛОСОФСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ,
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ**
в русской периодике третьего квартала 2001 г.

Из проблем, активно обсуждавшихся в периодике обозреваемого периода, следует выделить прежде всего *проблему статуса рационального знания* (понимаемого как знание научное и наука вообще) *в современной культуре*. Ей был посвящен, в частности, специальный Круглый стол, который собрал видных российских философов и материалы которого напечатаны в журнале «Вопросы философии» (№ 6) под общим заголовком «*Псевдонаучное знание в современной культуре*».

Открывая симпозиум, **В. Лекторский** посетовал на широкое распространение в ученой среде «постмодернистской чувствительности», которая не обнаруживает принципиального различия между знанием и незнанием, между истиной и ложью, между наукой и псевдонаукой. Среди части культурной элиты исчезает «пафос поиска истины» и торжествует игровое отношение к жизни. А без попыток понять реальность, без противостояния истинного знания и «жизни по лжи» современная культура, демократия и вообще современный человек невозможны.

А. Зотов говорил о том, что должен быть сохранен общий «канон рациональности», что «тонус рациональности» является неперменным условием научного образования и что стержнем школьного и вузовского образования должно быть поэтому воспитание культуры рационального мышления.

В. Порус тоже считает, что важнейшим принципом науки является рациональность и защищать ее (рациональность) должна философия. Научная рациональность есть единство и смысловая сопряженность двух стремлений — стремления к строгим критериям и стремления их преодолевать. В конкуренции критериальных систем побеждает та, которая способствует достижениям целей данной науки.

А. Огурцов пытался защитить постмодернизм от огульного обвинения в ненаучности и ввести понятие вненаучного знания, отнеся к нему философию. Научное знание тождественно точному знанию, апеллирующему к методам математики и естественных наук. Вненаучное знание отчасти строится в соответствии с методами и критериями научного знания. Но основание вненаучного знания — многозначность структур смысла. Осознание многозначности смысла слов и предложений естественного языка формирует новое понимание научной рациональности.

Касааясь вопроса об идеалах и нормах науки, **И. Касавин** заметил, что нет оснований говорить об их изменении. Истина, объективность, логичность, системность, доказательность, воспроизводимость эксперимента, теоретичность, наконец, простота и красота — по-прежнему золотые правила науки. Иное дело,

что конкретные методологические требования постоянно меняются, но это не грозит утерей рациональности как таковой.

Б. Пружинин, остановившись на проблеме псевдознания (которое он называет лишь тенью научного знания), заметил, что вред псевдонауки состоит прежде всего в том ущербе, который она наносит репутации и культурному авторитету научного познания. В контекстах, где знание функционирует как основа практической деятельности, где эффект не зависит от истинности, псевдознание обнаружить нелегко. Это особенно заметно в прикладных науках социально-гуманитарной сферы. Здесь на практике эффективно действует как раз заблуждение. Сегодня необходимо определить именно практическую потребность общества в подлинном научном знании.

С. Гусев, обращаясь к «проблеме демаркации» науки и ненауки, отметил, что разрыв между способом мышления профессионала-теоретика и так называемым здравым смыслом, выражающим опыт повседневной человеческой жизни, постоянно растет. Большинство людей узнает о новейших достижениях науки из популярных брошюр. При освоении информации в сознании неспециалиста образуется своя система ложных коннотаций, благодаря чему возникает ощущение сотворчества с профессионалом, убеждение в правильности собственного понимания, а порой и превосходства. В результате возникают «фантомные концепции». Современная наука существует в двух ипостасях: с одной стороны, она замкнутая самоорганизующаяся система, с другой — вынуждена адаптироваться к уровню непрофессионального мышления и порождает особые формы своего «инобытия», которые, увы, многими принимаются за альтернативную форму познания, обладающую более широкими возможностями.

И, наконец, **Д. Фельдман**, говоря о науке как о социальном институте, обратил внимание на то, что ее социально-культурную репутацию портит не столько деградация рациональности, сколько снижение интеллектуального и индивидуально-личностного потенциала научного сообщества, вызванное тем, что в науку пошли бывшие «бойцы идеологического фронта». Необходимо поэтому прежде всего совершенствование самой организации института науки, ее самоуправления и контроля.

С материалами Круглого стола, проаннотированными выше, тематически перекликается статья **М. Чешкова** «Больше, чем смена парадигм», напечатанная в первом номере журнала «НАВИГУТ» (расшифровка аббревиатуры этого названия звучит почти как гимн: «Научный альманах высоких гуманитарных технологий»). Автор констатирует начало нового исторического этапа в судьбе научного знания. Родается Новая наука. Вот ее основные отличия от прежней:

1) Изменяется отношение субъекта и объекта знания, происходит сдвиг от субъекта познания как нейтрального наблюдателя к субъекту как активному агенту познания, объект познания понимается не как единое целое, а как совокупность локальных образований с неопределенной логикой изменений.

2) Изменяется методология: на смену механической, статистической и системной модели идет модель диатропическая (диатропика — учение о разнообразии как причине жизни).

3) Тип мышления от категориального переходит к образному, где образ (метафора) несет в себе и логическую силу.

4) В сфере концепций: разрабатываются новые версии эволюции (универсальный эволюционизм, коэволюция общества и природы, эволюция как процесс самоорганизации).

5) В отношениях научного знания и философии формируется блок общенаучного знания с такими нетрадиционными научными дисциплинами как систематика, синергетика, диатропика и т.п.

6) Философия глубже проникает в конкретные науки, движимая идеями единства всех наук.

7) Границы между гуманитарным и естественнонаучным знанием становятся подвижными и проницаемыми, развиваются много— и междисциплинарные исследования.

8) Изменяется картина мира — образ действующей машины сменяет образ мира-сада.

Основная ориентация Новой науки — антропоцентризм (изучение деятельности и мышления человека). Новая наука противостоит вне— и ненаучному знанию и в своем синтезированном единстве являет его множественность.

Естественно, что обращение к проблемам рационального научного знания не может обойтись без обсуждения и *способов его обретения*.

«Вестник МГУ» (Сер.7. Философия) печатает работу современного итальянского философа Д. Антисери «Эпистемология и герменевтика», в которой рассматривается эффективность умственных процедур, предложенных двумя знаменитыми европейскими мыслителями — К. Поппером и Г. Гадамером. Анализируя их версии, автор приходит к выводу, что эпистемология первого (метод проб и ошибок) и герменевтика второго (метод понимания, толкования, перевода) идентичны. Дело не в методах мышления, а в способности к мышлению как таковому. Существуют определенные философские проблемы, и философские теории суть ответы на эти проблемы. Философские проблемы всегда коренятся вне философии. Философия существует потому, что есть философские проблемы. Этот ряд мыслей приводит автора к дидактическим умозаключениям о необходимости реформ в преподавании философии. Учить следует формулировке проблем, встающих перед умственным взором молодого человека, а учат до сих пор сдаче экзаменов.

Л. Перловский в статье «Мистика духовного и математика интеллекта» («Звезда», № 8.) пытается проникнуть в тайну мистики взаимодействия материального и духовного, основываясь на математической теории. Но, видимо, детально математическая теория интеллекта изложена автором в другом месте, а здесь он знакомит нас лишь с выводами, одним из которых является, в частности, определение творчества (узловой момент взаимодействия материального и духовного). Это — «процесс совершенствования моделей-концепций мышления» — «процесс, в котором содержание априорных вне-сознательных архетипов развивается и проводится в сознание». Следуя путем такого рода математики, автор задается, естественно, и вопросом о том, какая часть нашей творческой силы принадлежит нашей личности, а какая источнику вне нас. И заключает, что основания наших способностей возникли в результате эволюции и находятся в коллективном бессознательном (идея нематематика К. Юнга) — они за пределами индивидуума и не принадлежат человеческой личности. Взаимодействие личности и внеш-

него источника возможно лишь через символы, и создание таких символов и есть общая задача науки, искусства и религии. Каждый человек получает концепции рационального мышления из языка и культуры, но чтобы воспользоваться ими в полной мере, нужно соединить их с глубинными бессознательными инстинктами (последнее автор считает мистическим) и привести в сознание. Такой внутренний синтез — путь к индивидуальному сознанию, а именно оно и является высшим требованием, предъявляемым человеку (Творцом ?).

А у **Н. Абрамовой** («Являются ли несловесные акты мышлением» — «Вопросы философии», № 6) современные исследования в области лингвистики и психологии в значительной мере подорвали как раз былую уверенность в жесткой зависимости языка и мышления. В идеях, высказанных избранными ею художниками (поэтами, писателями и т.п.), она пробует реконструировать некую форму несловесного мышления и находит возможным предположить относительную самостоятельность мысли, ее надындивидуальный надысторический характер, ее независимость не только от речи, но и от иных некоммуникативных обстоятельств. Если это так, то есть если связь языка (не только устного, но, надо полагать, и письменного) и мышления действительно не обязательна, то тогда, конечно, становятся вполне извинительными многие парадоксы, с которыми сталкиваешься в предлагаемом тексте.

Ряд приметных публикаций в периодике обозреваемого периода посвящен **историософской проблематике**. Правда, приметность их весьма разнородна. Так, сугубо *умозрительное моделирование* исторических процессов приводит **С. Крымского** («Метаисторические ракурсы философии истории» — «Вопросы философии» № 6) к не слишком новому выводу, что исход истории имеет множество вариантов. Автор отказывается от однолинейных построений сюжетов истории (традиционно военно-политических версий исторического развития) и рассматривает ее в нескольких ракурсах. Например, в смыслочеловеческом. И тогда история представляется не только ареной величайших сил экономики с «невидимой рукой рыночного регулирования», а захватывающей драмой очеловечивания природы, домостроительства жизненного топоса, развертывания хроноструктуры бытия личностных судеб, утверждения пассионарных форм жизнедеятельности, поиска богоподобия человека. (Но в результате история сворачивается тоже в достаточно однолинейный сюжет — в личностные структуры человеческих биографий).

Однолинейные трактовки истории, рассуждает далее автор, отражают собою неумолимый процесс становления новизны. Между тем существуют вечные непреходящие ценности, определенная база архетипов цивилизационного развития (типа: Истина — Добро — Красота). История исполняется не только в физическом времени. Поэтому автор убежден, что всемирно-исторический процесс не исчерпал еще ни одной из своих эпох. Сегодня сосуществуют и первобытная, и рабовладельческая, и феодальная, и капиталистическая, и социалистическая (как идеал) формации. Проблема конца истории разрешима, по мнению автора, в форме практического использования исторических ценностей «вечно настоящего».

В. Лекторский в статье «Историческое познание» («Свободная мысль», № 7) тоже обращается к теме исторического моделирования и указывает в связи с

этим на трудности, с которым сталкивается исследователь, пытающийся найти законы истории. Это, признает автор, задача неизмеримо более трудная, чем поиски законов в физике или химии. Но в этом ли суть исторического познания? Для историка, считает он, не обязательно формулировать законы. Главное — описание конкретных исторических событий, отбор фактов и их объяснение. В истории твердо установленных истин не так уж много. Зато немало спорного, постоянно меняющегося. Но ведь такова и человеческая жизнь. И это — позитивный вывод автора. Человек, пока он жив, все время меняется, пересматривая свои представления о мире и о себе. История рассказывает человеку о нем самом и поэтому будет всегда интересна. Завершаются эти исторические медитации афоризмом «Человек — существо историческое» и его экспликацией «без знания и понимания истории он (человек) не существует».

Понимания истории как раз и ищет дисциплина с многообещающим названием *философия истории*. В ее недрах в Новое время возник историцизм — секулярный культ познаваемой и доступной познанию *исторической необходимости*. Он подразумевает, что история сама отлично знает, куда она идет, и что она располагает всеми гарантиями конечного успеха. Властью обстоятельств история определяет известные общественные группы (нации, конфессии или классы) на роль своих гегемонов, наделенных естественноисторическим правом командного принуждения к прогрессу. Всякая историцистская доктрина непременно содержит в себе поэтому стремление оправдать зло, несправедливость и насилие как средства достижения наилучшего будущего. В связи с этим Э. Соловьев в статье «**Секуляризация — историцизм — марксизм /тема человекобожия и религии прогресса в философской публицистике С.Н. Булгакова**» («Вопросы философии», № 4) считает критику Булгаковым человекобожия образцом оригинальной аналитики историцизма, которая не менее проницательна и плодотворна, чем критики историцистских идеологий, предпринятые такими мировыми авторитетами, как К. Поппер, И. Бохенский, К. Маннгейм. Человекобожие — это антропоцентризм, метафизическая подоплека всех религий прогресса, которые, в свою очередь, являются разновидностями философии истории. В строгом смысле это всего лишь экстраполяция на будущее некоторых особенностей сегодняшнего наличного социального состояния. Верить в их прогностическую значимость («историческую необходимость») может лишь разум, опустившийся до языческого почитания оракулов и астрологов. Процесс изживания бремени историцизма возможен с помощью двух инвектив (опровержений). Первая сформулирована К. Поппером: историцизм — псевдонаучное образование, не соответствующее научно-рациональному методу, решающим признаком которого является подтверждение или опровержение теории (в данном случае «исторической необходимости»), публично-опытная проверка и готовность исследователя к элиминации ложных гипотез. Вторая инвектива сформулирована С. Булгаковым: историцизм — это образование псевдорелигиозное, противное второй заповеди («не сотвори себе кумира»). В качестве теолого-философского аналога неопозитивистскому принципу опровержимости (К. Поппер) здесь действует формула «верую, Господи, помоги моему неверию» (неопровержимость веры в экзистенциальном опыте неверия). Эти две инвективы автор представляет как результат свободных взаимодополнитель-

ных интеллектуальных усилий. Эти две правды выросли из разных традиций, но принадлежат единому миру христианской интеллектуальной культуры.

И. Савельева и **А. Полетаев** в статье «**Историческая истина и историческое знание**» («Логос», № 2) рассматривают, как на протяжении веков менялись представления о том, что есть истина, объективность, реальность, факт, и констатируют радикальное изменение этих представлений к сегодняшнему дню. Если в привычных рамках теории познания считается, что истина первична и абсолютна и что из истинных высказываний формируется корпус знаний, то в рамках сменившей ее сегодня социологии познания важна не истина, а знание. Это знание являет собой набор представлений о реальности — причем набор, характерный для той или иной социальной группы. Получается, что ценность такого знания относительна и обусловлена внешними социальными и культурными обстоятельствами. Таким образом, выработка «исторической истины» по существу оказывается результатом общих усилий, а корпус исторического знания превращается в «социальный запас». Накопление запаса предполагает постоянный отбор и переоценку признанных ранее и новых знаний на основе разнообразных и изменчивых критериев (они подробно анализируются). Именно этот отбор и обеспечивает достижение «исторической истины».

Значительный ряд публикаций обозреваемого периода посвящен *обсуждению, интерпретации и освоению идейного наследия выдающихся представителей классической и современной философской, социологической и культурологической мысли*. Так, журнал «Новое литературное обозрение» открывает даже специальную новую рубрику — «**Рецепция идей**» (см. № 3), появление которой мотивируется изменением культурного достояния России вследствие колоссальной работы по переводу на русский язык западных гуманитарных и социальных исследований. Необходимо коллективное осмысление переведенной литературы. Редакция берет на себя эту миссию и начинает с обсуждения творчества французского структуралиста, философа, историка и культуролога *Мишеля Фуко*. Исследователи из разных сфер социально-гуманитарного знания ответили на вопросы анкеты, общий смысл которых сводился к проблеме актуальности идей Фуко для России. В этом своеобразном Круглом столе приняли участие историк античной литературы **М. Гаспаров**, которого стиль Фуко приводит в отчаяние; а его концепция «Истории секса» кажется до удивления наивной (Гаспаров, впрочем, считает себя негодным респондентом), социолог **А. Филиппов**, которого беспокоят напряженные интонации адептов, неофитов и прозелитов теории, бывшей актуальной двадцать лет назад (осведомленность в теориях Фуко они делают критерием профессиональной квалификации отечественного гуманитария. Нового «учредителя дискуссии насаждают, как картофель при Екатерине»), а также **Л. Гудков**, тоже полагающий, что для науки Фуко ни в теоретическом, ни в методологическом плане много дать не может, и **И. Герасимов**, считающий, что западная наука догматизировала его идеи, образовав «нормативный фукоизм», который руководствуется правилом «все в тексте, ничего за пределами текста». Это противоречит привычкам большого контингента отечественных ученых, последователей лотмановской семиотики, которые погружают текст в максимально богатый контекст. В противоположность им некоторые другие участники обсуждения находили полезным для современности обращение к оп-

ределенным сторонам наследия Фуко. Так, филолог и историк **В. Живов** считает, что Фуко — не метод, а способ мысли, открывающий механизм принуждения, доказывающий неизбежность несвободы в организованном сообществе людей, и что для осмысления «дискурсивных практик», реализуемых в современной России, чтение Фуко отнюдь не бесполезно. **Б. Дубина** (социолог, переводчик) привлекает антропологический проект Фуко — конструирование субъекта и самого принципа субъективности, обнаружение «насильственных» механизмов учреждения, становления и закрепления форм существования индивидов в Новой истории. Продуктивным кажется ему и «археологический метод» — работа с «низовым» «материалом неклассических форм мысли и речи, практикой повседневной жизни, массивами анонимных «ничейных» мнений. А для **Ю. Савенко** (психиатр) Фуко — эпохальная фигура. Он — теоретик антипсихиатрии, один из немногих крупных философов, обратившийся к обсуждению фундаментальных категорий психиатрии на основе огромного эмпирического и теоретического материала. Его тотальная социологизация, политизация и прагматизация истины привела эпигонов к утверждению, что психические заболевания, их диагностика и лечение суть мифология, придуманная и использованная для подавления всевозможных смутьянов, нарушителей общественного спокойствия. Фуко велик в своей неправоте, но именно это антипсихиатрическое величие стимулирует развитие современной психиатрии.

Как бы ни относиться к постмодернизму, работы Фуко по истории безумия, наказания, клиники, сексуальности неизгладимы из «дискурсивных практик» последующих поколений интеллектуалов, считает **И. Смирнов** (философ, литературовед). Проповедуя маргинальность, сам Фуко был центрирован. Он всегда рассуждал об одном и том же — о власти. Как историк он понимал, что современность обречена на поражение, подготавливаемое будущим, и поэтому нуждается во власти (пассаж достойный истинного фукоиста).

Рецепцию идей персонажей философии XX века представляют и другие журналы. **Г.Ф. фон Вригт**, ученик *Витгенштейна* («**Витгенштейн и двадцатый век**» — «Вопросы философии», № 7.) пытается соотнести мысль учителя с духом времени. Преобладающая черта в этом Stimmung (настроении) XX века — приверженность Модерну, т.е. наследию Просвещения и Французской Революции, рационализму, породившему науку, технику, индустриальный способ производства и демократические формы правления. Тональность модерна оптимистична: неуклонное совершенствование и прогресс. И вот слова самого Витгенштейна о духе модерна: «...Дух этой цивилизации, проявляющей себя в индустрии, архитектуре, музыке, фашизме и социализме, чужд и несимпатичен». Так же чужд ему и господствующий позитивистский дух современной философии, для которой образцом служит научное мышление. Он пытается препятствовать этой напасти, вносящей путаницу в интеллектуальную сферу столетия. Витгенштейна совершенно невозможно определить в рамках имеющихся классификаций. Он и не «аналитический философ» (самый распространенный ярлык), и не феноменолог, и не герменевт, и не экзистенциалист. Он не гегельянец и менее всего марксист. Он явил пример «измененного образа мысли и жизни», найдя лекарство от заблуждений времени. Но нет такого правила, полагает его ученик, руководствуясь которым, можно было бы ему подражать.

К тому же ряду принадлежит и статья Э. Капитонова «Социология экономических систем В. Зомбарта и современность» («Журнал социологии и социальной психологии», т. 4, № 1). В. Зомбарт — видный германский социолог. Национал-патриотические установки сделали его апологетом фашистских режимов. Однако политическая экстраполяция его идей не умаляет цены их содержания. Историко-социологическое исследование капитализма, «капиталистического духа», проведенное Зомбартом, позволяет, по соображениям автора, адекватно интерпретировать процессы движения российского общества от социализма к капитализму.

Зомбарт видел в религии один из основных факторов становления капиталистического духа. Особо он выделяет роль иудаизма и евреев в формировании современного капитализма. Эпоха — это дух, а экономика — лишь явление духовной жизни. Капитализма нет, если нет капиталистического духа. Зомбартовская схема генезиса капиталистического духа выражает тенденцию его постоянного ухудшения: от насильственного героического к еврейскому торгашескому.

Обращение к теории Зомбарта учит, что в развитии капитализма побед не обретают немедленно. Кроме того, замечает автор, то, что в раннекапиталистическую эпоху выглядело естественным (разбойное первоначальное накопление капитала), в начале XXI в. выглядит как осознанное преступление против народа. Формирование и интеграция «новых людей» в капиталистическое хозяйство осуществляется не только с помощью экономических и политических средств, но и в тесной связи с образованием, культурой и религией. Где нет соответствующего хозяйственного духа, нет и адекватной экономической системы. Реформы, проводимые умеренными темпами и в интересах прежде всего «среднего человека», имеют более надежный шанс на успех, чем поспешное, сеющее социальные распри реформаторство.

В ином отношении примечательна статья В. Красикова. «Идея антропологической революции» («Средо», Оренбург, № 1). Здесь автор в духе утопического триллера пытается освоить наследие Ф. Ницше. Основная мировоззренческая установка: сознание — поводырь организма, его обслуга. Суть всех соображений о развитии духа сводится к телу. Тело определяет метафизические горизонты сознания, требует аффективно-волевой деятельности. Идея антропологической революции находится не в сфере духа и политико-экономических преобразований (они не изменяют «антропо-экзистенциального расклада»), а в постепенной тотальной трансформации «тела-психики-сознания». Необходимо прорвать старый антропологический круг существования, совершая «коэволюционные» изменения тела и духа, трансформации и генные конфигурации самого вида, т.е. индивидуального тела человека, его нервную систему. Благодаря достижениям генной инженерии, в перспективе — самодетерминация и обретение бессмертия. Попытка последовательно продумать возможные пути реализации человеческих устремлений к свободе и бессмертию рисует перед автором образ существа без социальных качеств и половых признаков, в сущности — потерявшего вид разумного животного...

Процесс рецепции идей предполагает *взаимопонятный и взаимополезный межкультурный диалог*. Свообразную концепцию современного межкультурного диалога предлагает идеология франкофонии. О ней пишет Н. Силичева

(«Франкофония как современная форма французского мессианизма» — «Философия и общество», № 1)

Франкофония представляет собой международное сообщество, объединяющее 45 франкоязычных стран (бывшие колонии) и ставящее перед собой целью прежде всего защиту, сохранение и процветание французского языка и культуры. Это своеобразная форма миссионизма, который исходит из того, что универсальная цивилизация уже существует и ее высшую и лучшую модель представляет Франция. Опираясь на бывшие колонии, франкофония стремится построить «культурную империю». Прежние патерналистские отношения метрополии и колоний уходят в прошлое и уступают место братскому союзу свободных народов. Развитые страны Севера вступают в равноправные отношения с развивающимися странами Юга. Культурная империя должна стать империей духа. Это многонациональное братское сообщество, федерация равных и сохраняющих свою самобытность и достоинство культур, скрепленных общим языком и приверженным ценностям гуманизма.

Теме межкультурного диалога посвящена и статья **В. Новикова «Слово Запада в диалоге культур»** («Философские исследования», № 2), где как раз и идет речь о понимании друг друга в диалоге различных культур. Но автор куда менее оптимистичен. Запад построил в качестве инструмента взаимопонимания мощный аппарат логико-лингвистического анализа. Однако одного этого аппарата недостаточно. Он основан на постулате ясности и полной очевидности смысла слов и словосочетаний, используемых для выражения мысли, и возможности перевода их с одного языка на другой. Но возникает вопрос: действительно ли очевидно то, что кто-то склонен считать таковым, и есть ли вообще что-нибудь общезначимое? Чем сильнее расходятся культурные традиции и общественное положение людей, тем меньше у них общих очевидностей, тем меньше возможностей применения логико-лингвистического аппарата для ведения диалога. Полного понимания быть не может. Необходимо смирение перед непонятым, участник диалога имеет право оставаться другим.

Так что пока диалог — розовая утопия. Вместо него являются *другие формы межкультурных взаимоотношений*. Например, *терроризм*. До событий 11 сентября, до начала мировой войны с терроризмом его обсуждали и осуждали с разных точек зрения, включая искусствоведческую. Так, **К. Разлогов** задается вопросом, ставшим названием его статьи в «Свободной мысли» (№ 8) — **«Виновато ли кино в распространении терроризма?»** Размышляя о проблематике терроризма в кино (и строго отличая последнее от телевидения), о ее прямой связи с реальной практикой терроризма, автор приходит к выводу, что доказать такую невозможность. Распространение терроризма в современном мире определяется тем, что водораздел проходит не между политическими лагерями, а между конфессиями, и безжалостность людей друг к другу обосновывается фундаменталистским убеждением, что неверные не заслуживают к себе человеческого отношения. Кинематограф лишь фиксирует эту ситуацию, уступая в степени воздействия на зрителя телевидению. Аргумент таков: если телевизионная реклама влияет на поведение покупателей и на ситуацию на рынке, то и телевизионное насилие, по всей вероятности, каким-то образом влияет на поведение людей в быту и в политике.

Впрочем, кино становится нередко предметом внимания и при *осмыслении современных социологически проблем*. В частности — актуальной сегодня *гендерной социологии*. Так, **П. Романов** обращается к «показаниям» кино в связи с проблемой половой идентификации современного мужчины (**«По-братски: мужественность в постсоветском кино»** — «Журнал социологии и социальной антропологии», т. 4, № 2). Производится социологический анализ кинематографической репрезентации мужественности в фильмах Балабанова «Брат» и «Брат 2». Основные герои здесь — мужчины, помещенные в условно-стандартные маскулинные ситуации, связанные с насилием, преодолением преград, завоевательной сексуальностью и борьбой за власть. Главный герой — наш современник мальчик-мужчина, легко и свободно перемещающийся в параллельных мирах российского общества эпохи перемен. Это инсталляция трех аспектов современной мужской идентичности: свободы (возможность равнодушного скольжения по социальным этажам и подвалам); равенства, которое означает не равенство перед законом, а тождество приговора (лица различных национальностей, женщины и мужчины, бомжи, бандиты, «режиссеры» равны в своей зависимости от более сильного); и братства (новый тип солидарности братков). В целом концепция насилия, передвижение в пространстве и секс в этих фильмах легко описывается в терминах компьютерной игры «Doom» — переход с уровня на уровень, поиски и овладение нужными ресурсами (женщины, деньги, оружие), ликвидация вражеских фигур, появившихся на пути. Герой обладает обликом урбанистского фланера, живущего в мире теней, функциональных призраков (видимость исчерпывает их сущность). Его идентичность основана на воле к власти, но в политическом и субъективном смысле она не проявлена и не отрефлексирована. Его маскулинная значимость традиционна — оружие. Отнимая, покупая, получая что-то способное стрелять, герой обретает уверенность и определенность. Российская специфика фланера проявляется в агрессивности и склонности к силовому вмешательству в проблемы, рожденные эпохой перемен.

Среди статей социологической проблематики отметим и работу **В. Бачина** **«Антропосоциология аномативного поведения»** («Общественные науки и современность», № 3). Она посвящена феномену преступности. Оказывается, преступность можно рассматривать как одну из функций цивилизации. Преступность несет в себе начало некой не самоочевидной целесообразности. Открыто противореча нормам цивилизованного общежития, преступность одновременно оттеняет, делает более выпуклым его преимущества. Преступность, вероятно, призвана испытывать цивилизацию на прочность. Преступность составляет «социальное тело» цивилизации постоянно заниматься укреплением своих «мускулов», регулярно совершенствоваться и поддерживать в рабочем состоянии средства сдерживания и блокирования криминальной активности («на то и щука в озере, чтобы карась не дремал»). Кроме того, с антропологической точки зрения преступления как разновидность социальной деятельности позволяют криминалитету реализовывать свои трансгрессивные (видимо, нехорошие) склонности — так, как это делают законопослушные граждане, занимаясь спортом, путешествиями, политикой, искусством или наукой. Автор скорее всего придерживается распространенного убеждения, что будущее всегда лучше настоящего, а настоящее лучше прошлого и будто по мере развития

цивилизации общий уровень преступности будет снижаться сам собой. Нам остается предположить, что чтение подобного рода антропосоциологических статей должно иметь сильный психотерапевтический эффект и избавлять граждан от страха за свою жизнь и благополучие.

Наконец, выделим в отдельную группу публикации, обращенные к анализу *русской философской мысли*.

Статья **И. Сиземской** «Социологическая утопия как архетип русской мысли» («Свободная мысль», № 8) рассматривает утопию как тип сознания, которое находится в несогласии с бытием и которое особенно характерно для россиян. Такое сознание не может реализовать себя в существующих условиях, более того, в этих условиях невозможно действовать в соответствии с этим сознанием. Поэтому утопистам свойственно стремление к коренному переделыванию мира. Они не приемлют никаких социальных компромиссов, они — максималисты и хотят разрушить мир до основания, а затем строить свой совершенный мир. Утопия — это своеобразный архетип духовного творчества. Специфика же русского утопизма — ориентация не на обустройство мира, а на спасение человечества, создание «праведного общества». Русская утопия в отличие от западной искала активных способов «действия». Теоретическим обоснованием действия стала диалектика, рассматривавшая мир как постоянно изменяющуюся реальность, субъектом которой является познающий ее человек. Социальное конструирование осуществлялось по «формуле прогресса» (от худшего к лучшему). Правда, счастьем будущих поколений судьба нынешних приносилась в жертву. Герцен и Огарев вызвали к жизни утопию, названную русским социализмом. Автор подробно рассматривает их идеи, т.е. теоретическую основу того, что многие из нас практически испытали на собственном опыте.

В обозреваемой периодике появился интересный пример и конкретного утопического проектирования из прошлого и настоящего. **В. Алексеева** в статье «Философия бессмертия К. Циолковского: истоки системы и возможности анализа» («Общественные науки и современность», № 3) рассматривает утопическую концепцию основоположника теоретической космонавтики, в основе которой лежат «приключения атома» — вечно существующей субстанции материальной жизни. Эта субстанция суть сумма чувствующих атомов, составляющих более или менее сложные существа. От сложности состава существ зависит степень их чувствительности и развития сознания. Каждый атом, попадая из тела в тело, из организма в организм, раскрывает свои потенции в зависимости от сложности строения организма. Мысль Циолковского заботило не столько конкретное живое существо (его жизнь конечна, и это невозможно изменить), сколько судьба атомов, первичных носителей жизни в перспективе вечности. Ему казалось несправедливым то, что атомы человека, существа высшего порядка, попадают в тела низшего порядка (тела живой и неживой природы). Он не видел возможности избежать пребывания атомов человека в неорганических веществах, но время их пребывания в существах живой природы сократить можно. Для этого следует уничтожить целые классы растений и животных, сохранив лишь то, что необходимо для поддержания жизнедеятельности человека. Идеал жизни будущего — гуманное уничтожение всех животных вообще и сохранение минимума растений. Чтобы избавить

атомы от несчастья пребывания в составе несовершеннолетних людей (злодеев, дураков и т.п.) предлагалось усовершенствование человеческого рода: стерилизация физически, психически и нравственно неполноценных; искусственный подбор родителей (рожать разрешено только совершенным); создание кастового общества. Итак, минимум несовершеннолетних живых существ означает минимум неприятных, отрицательных ощущений и впечатлений. Каждая счастливая индивидуальная жизнь не должна в будущем опускаться на более низкий уровень. Сумма счастья должна возрастать в перспективе как для каждого индивида, так и для общества в целом.

Таков вклад русского космизма в сокровищницу идей глобальных преобразований человечества...

Перипетии русской мысли трактует в драматическом ключе **П. Кузнецов** («Русский Феникс, или что такое философия в России» («Звезда», № 5). Корни драмы — в глубоком прошлом. Древняя Русь получила греческое христианство на славянском языке (это было чем-то вроде перевода золотого запаса в неконвертируемую валюту), была крещена, но не просвещена. Византия передала России апофатическую традицию, согласно которой истина не доступна метафизическому знанию, она невыразима, непостижима, непередаваема, она превосходит все возможные философские формально-логические определения. Важна не истина, а бытие в истине, важно не то, что ты можешь помыслить, а то, кто ты есть. Поэтому возникает русская философия поздно (в середине XIX века) — и не от щедрот ума, а «из темных недр внутренних переживаний». Увы, попытка преобразования падшего бытия, создания другого человека и другого человечества окончилась грандиозной исторической катастрофой. Выброшенная в эмиграцию русская философия пережила свое запоздалое цветение и закат и тихо скончалась в 60-е годы XX века. В конце 80-х — начале 90-х она пережила второе рождение в метрополии, но в перестроечной мясорубке оказалась востребованной. Все рухнуло в пропасть неоязычества, постмодернистского скепсиса и охранительного церковного обскурантизма.

Но драма философии не столько в роковых перипетиях истории, сколько в антропологической сути самого философа. Философ — маг, демиург. Из сырого материала жизни он способен конструировать собственную реальность и существовать в ней. Суть подлинного философствования — принятие и оправдание мира, сколь бы чудовищен он ни был. Философ — всегда конформист, подстраивающий мир под себя. Основной вопрос «постсовременной» мысли — как жить в этой кошмарной жизни интеллектуалу, обладающему не только сознанием, но и телом. Тело, презрительно третируемое в прошлых философиях, оказывается единственно подлинной реальностью, не способной лгать. Телесность превращается в центральный сюжет постклассического философствования. Разрабатываются темы «либидозных инвестиций», «осзания мысли», «кровообращения в культуре», «метафизики раны», «семантики плевака» и т.п. Но результаты подобного рода медитаций довольно скудны, тело остается вещь в себе.

Освоение собственных традиций и мировых интеллектуальных практик, несмотря на отдельные усилия (приводится репрезентативный ряд), пока не удается. Для этого не хватает, рефлексивует автор, крепкого, сильного организма.

В. Фукс («Парадигма критической теории в современной философии: попытка экспликации» — «Логос», № 2) тоже считает, что процесс самоопределения русской философии в постсоветское время еще не завершен. Она находится в стратегической растерянности. Очевидна необходимость разработки масштабных теоретических моделей. Ног ему весьма привлекательным ориентиром в этом творческом поиске представляется современная критическая теория. Ее основные идеи подсказаны Франкфуртской школой. Это — критическая саморефлексия общества, переживающего модернизацию; всеобъемлющая критика тотальной материализации духовной жизни, определение утопических ориентиров (норм) социального развития — словом, полидисциплинарная теория социальной жизни. Конструктивную роль в критической теории играет историческая концепция (в виде операционально оправданного мифа), раскрывающая противоречивость социальной эволюции. Критическая теория может быть формой осуществления революционной политики. Метафилософская этика познания критической теории представляет собой этику эмансипации. Причем эмансипация понимается не в смысле «социального освобождения», связанного с массовыми социальными движениями, классовой или национально-освободительной борьбой. Это — особый опыт, который интеллеktуал проделывает относительно самого себя (нечто вроде освобождения от предвзятостей). Таким образом, критическая теория превращается в осознанную этическую позицию, последовательно проводимую в жизненных практиках индивида, в том числе и в его интеллектуальной практике. Последняя заключается в производстве утопий, в свете которых становится возможным осмысленно критическое восприятие наличного социального мира. Жизненная практика это — осуществление деятельности в любых областях (политика, экономика, наука, секс) на правовой основе.

Похвальное слово критической теории и очерк ее парадигмы не остались втуне. Критика оппонентов автора помещена на следующих за статьей тридцати страницах журнала.

Обзор подготовил Александр Денискин

ВДРУГ ПОКАЗАЛОСЬ...

(Этюд об одном стихотворении И. Бродского)

Стихи Бродского учить наизусть трудно. А Пушкина легко. Я знаю — много учил того и другого. С Бродским, бывает, вообще в тупик встаешь — целая строфа, и хорошая строфа, и нравится, а ничего не понять. Как-то, вроде, и падежи не совпадают, и рода, и к чему глагол относится — непонятно. Думаешь — опечатка, наверное! Не то слово попало, и запятая не там. Пробиешь сам выправить. А оно не поддается! Тогда вопрос — а что же мне в нем, собственно, нравится? Ну, красиво, музыкально... Рифмы интересные... Все? Вот я его уже двадцать раз прочел и только туманно понимаю, о чем речь. А зрителю какво будет? Он же сразу должен понимать, что я произношу. Можно, конечно, на авторитете выехать — дескать, это поэт серьезный, Нобелевский, сами понимаете, лауреат, да и я считаю, не к ночи будь сказано, артистом интеллектуальным. Так что, если чего непонятно — повышайте уровень культуры. Тянитесь! И знакомым особо не распространяйтесь, что ни фига не поняли. Вам же хуже будет.

Можно так. Но лучше не надо.

Это был эпитафия.

Не раз говорил и повторяю, потому что убежден — эпоха русской культуры, которую справедливо назвать ПУШКИНСКОЙ, длилась два века, сквозь войны, перевороты и революции. Несмотря ни на что сохранялся основной строй языка, сохранялась шкала моральных ценностей. И то, и другое нарушалось, изламывалось, извращалось, но ОНО БЫЛО. Этот язык и эта шкала двести лет были точкой отсчета. Эта эпоха кончилась 6 июня 1999 года — в день двухсотлетия со дня рождения Александра Сергеевича.

Примерно к этому сроку были опубликованы в России практически все стихи Иосифа Александровича Бродского, умершего в январе 96 года. Стало совершенно ясно, что он, Бродский, завершил в поэзии эпоху, которую пра-

Сергей ЮРСКИЙ

— родился в 1936 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт. Народный артист России. Работал в Большом Драматическом театре им. Горького (Ленинград), с 1978 — в театре имени Моссовета (Москва). Член редколлегии «Континента». Как прозаик дебютировал в 1977 г. Автор нескольких книг прозы («Кто держит паузу», «В безвременье», «Жест», «Содержимое ящика» и др.) и многих повестей, рассказов, воспоминаний и статей по вопросам культуры, печатавшихся в центральных российских журналах. Живет в Москве.

вильно называть ПУШКИНСКОЙ. Бродский сильно встряхнул русскую поэзию, и она сейчас на большой высоте (хотя современники не хотят это заметить). Бродский впитал, пережил и выразил момент крушения великой империи, где царил русский язык. Он открыл двери в новое пространство, куда, как Моисею в землю обетованную, самому ему вход был заказан.

Но этот ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ сам принадлежал эпохе пушкинской. Он был последним его продолжателем. Он был пропитан Пушкиным. Сознательно или подсознательно на своем языке (языках!) конца XX века он отвечал ему.

Я стал замечать это давно. Но недавно, работая над одним стихотворением Бродского 81 года, я был ошеломлен обилием доказательств этого предположения. Мне показалось...

Это был второй эпиграф.

«ПЬЯЦЦА МАТТЕИ» — сочинение Бродского 1981 года.

Прочел. Понравилось. Не понял, про что, а местами не понял, что к чему. Понял, что для исполнения со сцены не годится — некоторые места прямо-таки похабны. Но отдельные строчки, связки строчек, повороты обожгли — здорово! Музыка стиха вроде здрача и маляще приятна.

Обстоятельства так сложились, что именно на это стихотворение пришел заказ. Фестиваль в Берлине попросил включить его в мой концерт. Начал учить. Было трудно. Отбирал — что возможно для публичного произнесения, а что... даже не знаю, что с этим и делать.

Увидел:

Это большое стихотворение (или небольшая поэма) явно ломается на две части. Первые семь строф — конкретное, личное, интимное. Почти что «не для печати». «Почти» — потому что, вообще-то говоря, у Бродского «не для печати» не бывает — так он устроен.

Со строфы VIII и до конца — до XVIII — совершенно отдельное творение. Колоссальный размах. Взлет от личного.

Я почувствовал (мне показалось...), что ЗНАЮ, как писалось это стихотворение.

Рим. Февраль. Действительно есть эта площадь — Пьяцца Маттеи, и на ней есть фонтан. Где-то близко действительно есть улица Фунари — там Бродский снимает квартиру (или гостит). Действительно есть подружка. Может быть даже зовут ее действительно Микелина. И совершенно точно — есть граф. Ох, этот граф! Как это умудряются иностранцы, то есть иностранец, конечно. Это сам поэт Бродский, а граф как раз местный, но все же — как они умудряются, эти иностранцы так фигуру сохранять? Ведь жрут же от пуза свои макароны, а вот — весь седой уже, а талия, а глаза горящие, а как на баб смотрит!

Вторая половина дня. Моросит дождик. Привычная прогулка от дома к этой самой небольшой площади Маттеи. Зонта, конечно, не взял. Руки должны быть свободны. Можно махать ими, можно в карманы засунуть. Вспоминается, как в прошлый week end ездили с Микелиной к этому графу на виллу. Не хотелось — уж больно часто она давила, что тот именно ГРАФ. И все упоминала павлинов. Там, мол, павлины совсем ручные. Да, граф... тут в Италии каждый третий граф.

Как у нас в Грузии — каждый второй князь! И туповатая рифма крутится: «Микелина» — «Павлина». Как раз и дошел до пъяцца Маттеи. Фонтанчик тихо течет. У нас сейчас все замерзло, а тут...

I

Я пил из этого фонтана
В ущелье Рима.
Теперь, не замочив кафтана,
Канаю мимо.
Моя подружка Микелина
В порядке штрафа
Мне предпочла кормить павлина
В именье графа.

Стих пошел. Шутка, конечно. Но забавно. Попробовал даже произнести вслух в такт шагам. Почему нет — прохожих мало. Дождь. Да. По этим камням ходили в кафтанах, в камзолах, ... в тогах тоже тут? Забавно. Хорошо — «не замочив кафтана» — «канаю» — наше уличное, блатное. Нормально! С Микелиной, конечно, поругались. Но ведь она звала его поехать вместе. А он не хотел. Хватит с него графа. Рванула на виллу сама. Обиделся. Но, с другой стороны, одному побыть очень славно. Поэтому в стихе обиды и грубости, конечно же, преувеличены. На то и сочинение. И измены тут особой нет — наоборот, это она графу изменила с поэтом, и уж точно нет трагедии. Раздражение, укол самолюбия — и только. Но стих САМ уже ведет, и потому:

II

Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина.

Славянином это он себя называет (единственный раз, между прочим), а джентльменом — графа, который «в сущности совсем не мерзок».

Третья строфа сочинилась сходу. Похмыкал довольно, и даже посмеялся вслух. Вот это вломил! Это надо отметить! Дома есть, что выпить, но до дома идти надо. Кстати, немного пробрало холодком. Зашел в бар. Взял коньяку и кофе. То и другое повторил. И записал стишок на клочке. Не для памяти — память держит крепко — а поглядеть — как это будет на бумаге?

III

Граф выиграл, до клубнички лаком,
в игре без правил.
Он ставит Микелину раком,
Как прежде ставил.
Я тоже, впрочем, не внакладе:
И в Риме тоже
Теперь есть место крикнуть: «Бляди!»,
Вздохнуть: «О Боже».

Когда пришел домой, уже стемнело. Еще раз сам с собой отметил веселую строфу. Виски не хотелось, вина не хотелось. А водки не было в доме. Выпил какой-то мексиканской бурды. Бурда и оказалась. Полистал книгу — большой том «Архитектура Рима». Сколько же их тут, площадей с фонтанами! Стих притягивал к себе. Присел к столу. Но легкость ушла. Подыскивал, придумывал.

IV

Не смешивает пахарь с пашней
плодов плачевных,
Потери, точно скот домашний,
блюдет кочевник.
Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом. Отелем, видом
Терм, Колизея.

V

А так он место грусти, выи,
склоненной в баре,
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.

Не спалось. Бродил по комнатам. Бормотал. Пил. Смотрел в окно. Записывал. Много курил. Думалось о разном. Врозь и одновременно. И о разных людях думалось. Менее всех — о Микелине. И уж о ком точно не думалось — это о Пушкине. Причем тут Пушкин? И однако... эта сублимация любовного страдания, превращение печали в стихи... Строчки просто писались — опять пошло легко. А мы сравним.

VI

Как возвышает это дело!
Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.

«Евгений Онегин», Глава 1

Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов.

VII

Нет, я вам доложу, утрата
завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.

Погасший пепел уж не вспыхнет.
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.

Естественно и просто пришла концовка. Но это не все — это глава кончилась. Или большое вступление. Снова вспомнился граф — но это уж так, для закольцевания формы. Еще рюмку! Налил и поприветствовал свое отражение в старом тускловатом трюмо. Выпил. Где-то близко на башенных часах пробило четыре.

Забудем о дешевом графе!
Заломим брови!

Поддать мы в миг печали вправе
Хоть с принцем крови.

Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.
Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу.

Глава вторая

Утром светило солнце. Проснулся рано. Спал, значит, всего часа четыре. Но совершенно выспался. Голова свежая. Удивительный воздух в Риме. А они еще жалуются — машин, говорят, много. У нас бы в Питере по Малой Охте походили возле моста Петра Великого, понюхали бы смог...

Вышел из дома и пошел по виа Фунари снова до пьядца Маттеи. Фонтан на месте. Это сколько же веков он на месте? Вода льется. Но свернул в другую сторону, по новому для себя маршруту. Улица повела вверх. «Дойду до вершинки вон того холма» — подумал Иосиф и закурил очередную сигарету перед подъемом.

Вторая часть стихотворения отлилась, как цельный кусок. Не сразу во всех подробностях, но с ясной перспективой. И определенно виделся финал:

Скрипи перо. Черней бумага.
Лети минута.

«Пьяцца Маттеи» — хорошее название. Только почему Пьяцца Маттеи? Причем тут она? Там все началось — проходя мимо — «Я пил из этого фонтана»... «в ущелье Рима». Правда, там, в этих улицах, как в ущелье. Дома высокие, камни старые, площадь маленькая. Хорошо — точно слово пришло, сперва и не заметил, но сегодня вижу — хорошо. А нынче погода — фантастика, да? А тут, на холме, еще ветерок с моря. Хорошо! Вот тебе и ущелье Рима! Да, Рим он такой — и ущелье, и вершина. Какой же воздух — задохнуться можно от этого хрустального воздуха. Надо закурить.

VIII

Зима. Звонит хрусталь фонтана.

«Евгений Онегин», Глава 5

Зима. Крестьянин торжествуя...

Господи! Я вдруг понял (это я уже, а не он — Бродский), я вдруг понял, что размер-то ОНЕГИНСКИЙ. Там и укороченная вторая строка, и разные нововведения и приемы... и слова, но размер-то основной — ОНЕГИНСКИЙ! То-то мне музыка знакомой казалась, хотя так трудно учил наизусть.

Зима. Звонит хрусталь фонтана.
Цвет неба — синий.
Посчитывает трамонтана
иголки пиний.
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол).

У Иосифа через многие стихи очевиден путь к христианству. Христианство его весьма сомнительно. Но путь очевиден. Он шел двумя разными дорогами. Тогда, еще у нас, в атеистическом Питере — от Ветхого Завета («Авраам и Исаак»). От англичан и поляков, языками которых он овладевал и у которых учился вольному, не испуганному разговору о Боге, свойственному вовремя крещеным людям. А второй путь открылся ему через античность. Рим, Греция и Турция — как реальная среда обитания. Книги (во множестве) и знатоки античности, вроде Сергея Аверинцева, Симона Маркиша — с которым дружил, которого уважал. Отсюда эта игровая легкость — от февральского холода куется то ли цезарь, то ли апостол... Кому памятники-то в античном и одновременно папском Риме? Из страны с оборванной преемственностью, из нашего советского неверия к Богу только двумя ходами идут — от горя-беды или от просвещения. Большинство первым входом движется — за утешением. Бродский — вторым, за обновлением духа.

А погода, между тем! А воздух! А Рим!

IX

«Каменный гость», Сцена 2

В морозном воздухе, на редкость
прозрачном, око,
невольно наводясь на резкость,
глядит далеко —
на Север, где в чаду и в дыме
кует червонцы
Европа мрачная. Я в Риме,
где светит солнце.

ЛАУРА:

А далеко, на Севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело?

Париж — на севере. Европа — на севере. Этот образ «невъездной»-
Пушкин родил в воображении. Бродский испытал.

X

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой
приемыш гордый, —
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций.

Вот уже и пошли античные имена вперемежку с фамилиями возрождения. Пошли навалом, пугая и отпугивая нормального русского читателя. Пошло — Эвтерпа, Парки, Провиденье, Буонарроти, Борромини..

А ведь это у молодого Пушкина такой же водопад новых знаний старой старины. Он также отпугивал необразованного советского читателя. Эвтерпа — муза поэзии — любимица Бродского. К ней многократно обращается. Трудно такое имя рифмовать, а вот рифмует:

От Пушкина тоже растеряешься:

XI

...кириллицею не побрезгав
и без ущерба
для зренья, главная из Резвых
взглянет — Эвтерпа.

«Шишкову», 1816 год

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?

А Буонаротти? Кто еще Микеланджело называл по фамилии? Да Пушкин же!

XII

«Моцарт и Сальери», Сцена 2

Остаток плоти терракоте
подвергнуть, сини,
исколотой Буонаротти
и Борромини.

САЛЬЕРИ:

Гений и злодейство

Две вещи несовместные. Неправда:

А Бонаротти? Иль это сказка

Тупой, бессмысленной толпы — и не был

Убийцею создатель Ватикана?

Иосиф дошел до вершины. Немного задохнулся от крутого подъема. Пришлось выкурить пару сигарет, чтобы наладить дыхание. Вид, я вам доложу, несравненный. (То есть это не я вам доложу, я там не был никогда. Это он вам доложит — у меня это только в воображении.) Но Торквато Тассо (или Тасс) — он ведь единый для всех. И не так уж часто русские поэты его поминуют.

XIV

«Евгений Онегин», Глава 1

С холма, где говорил ОКТАВОЙ
порой иною
ТАСС, созерцаю величавый
вид. Предо мною —
не купола, не черепица
со Св. Отцами,
то — мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами.

И нас пленяла вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, средь ночных забав,
Напев ТОРКВАТОВЫХ ОКТАВ.
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

Он свят для внуков Аполлона,
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной,
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле...

Вот! Теперь интуитивные предчувствия обретают рациональные доказательства. Почти через двести лет это (подсознательно! Уверен, что подсознательно!) ответ Иосифа Александровича Александру Сергеевичу!

Пушкин мечтал об Италии, но не был в ней. Не был за границей (Арзрум не в счет). Он рвался — и не вырвался. Ссылка, надзор, а потом... тоже не выехал. У Иосифа — надзор, ссылка, а потом... выкинули в мир... в Рим...

Вернемся к началу:

Я пил из этого фонтана
в ущелье Рима.

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле.

(Свершившееся, недавно прошедшее.) (Возможное, желаемое будущее)

Стих Бродского взлетает, отрываясь от всего эгоистического. Финальные строфы писались одним махом. Вернее, не писались, а рождались. Я вижу ясно, что на февральском ветру на холме под снова зарядившим мелким дождем и, не замечая его, он шепчет складывающиеся на лету слова. Потом в голос выкаркивает их со своей мягкой картавостью. Он сам удивляется, откуда так легко вываливаются рифмы и образы. Кто ведет его?

XVI

Усталый раб — из той породы,
что зрим все чаще, —
Под занавес глотнул свободы.
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.

«Пора, мой друг, пора!», 1834 год

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.

XVII

Ей свойственно, к тому ж, упрямство,
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство,
(что вряд ли), семя
свободы в злом чертополохе,
В любом пейзаже
Даст из удушливой эпохи
побег. И даже

«Из Пиндемонти», 1836 год

Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать.

XVIII

Сорвись все звезды с небосвода
исчезни местность,
Все ж не оставлена свобода.
Чья дочь — словесность.

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам.

«Осень», 1833 год

Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи перо. Черней бумага.
Лети минута.

И мысли в голове волнуются в отваге
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

А вдруг он знал? Вдруг совершенно сознательно обернул сложным модернистским пируэтом классически простой стих? Ведь даже (в финале!) использовал (тоже финальную) пушкинскую рифму. Ведь у Пушкина дальше:

«Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге»

И тут, и там — «влага» — «бумага».

Так знал или не знал? Не исключаю, господа! Может быть! Иосиф Александрович послал привет Александру Сергеевичу из Рима. Ведь сколько раз пошучивал он по этому поводу:

«Я заражен нормальным классицизмом»

«Служенье муз... чего-то там не терпит»

(«Одной поэтессе»)

Итак, шуточный привет!? — Нет! Чувствую, что не так!

Опять читаю «Пьяцца Маттеи» и слышу: там полет и восторг, там (хотя Бродский более всего боится сентиментальности), там почти слеза от благодарности за то, что СВЕРШИЛОСЬ — и Рим, и рифма... и этот февральский день. Шутка осталась там, в начале — с Микелиной и графом. А далее — ослепительная легкость! Одна из прекрасных минут жизни того, кому Провидение дало и «Италию златую» и «венетианку молодую», и мировое признание в виде премии Нобеля, и — оказывается! — ПРЕНИЗАННОСТЬ его новейшей поэзии далеким, но неослабевающим пушкинским светом.

Менделеево 19 августа 2000

**ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО,
ИЛИ СОН О КРАСНОМ ТЕРЕМЕ**

... А случилась вся эта невеселая история в лето от рождения Вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина пятьдесят восьмое, а от Рождества Христова в тысяча девятьсот тридцать седьмой недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год.

*Юрий Домбровский.
«Факультет ненужных вещей».*

В своем роде литературное событие: Владимир Бондаренко замыслил переписать историю русской словесности последних десятилетий¹. Ни больше ни меньше.

Амбиции критика лезут в глаза с первых страниц. И простираются они далеко. Автор признается, что тяжело болел — но работу над книгой продолжал. Выносил ее, вынынчил, как самое заветное. Не зря ведь книга названа и ценнейшим пособием по современной русской литературе для всех любителей литературы, учителей, студентов и школьников. Если уж пособие, так значит всё там выверено, и нам сообщаются правильные мнения, устоявшиеся, неопровержимые сведения. Опус, стало быть, авторитетный.

...Уже тут, на второй, на третьей странице, сразу после аннотации, начинаешь ощущать неуют. Какой-то подвох есть в такой откровенной идеологической коммерции (притом, что Бондаренко не устает демонстрировать неприязнь к торговым временам). Какое-то лукавство. Да, проект амбициозный. Но откуда у него растут ноги и куда смотрит голова?

¹ Бондаренко В.Г. Дети 1937 года. М.: Изд-во Информпечать ИТРК, 2001. Сноски на страницы книги даются в тексте.

**Евгений
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Доктор искусствоведения, профессор Ярославского педуниверситета. Автор ряда литературно-критических и культурологических журнальных статей, нескольких книг по культуре и истории Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

Как-то так у критика случилось, что лучшие русские писатели второй половины минувшего века родились в 1937—1938 годах. Об этом в 640-страничной книге сказано не раз и не два. Она состоит из концептуального очерка-запева «Легенда поколения» и серии разножанровых, собранных отчасти наспех материалов, портретирующих представителей обретенного критиком поколения. Это Маканин, Распутин, Ахмадулина, Гусев, Битов, Вампилов, Фокина, Шпаликов, Аверинцев, Успенский, Высоцкий, Коваль, Проханов, Чухонцев, Устинов, Бородин, Петрушевская, Шкляревский, Примеров, Крапивин, Вен.Ерофеев и Екимов. Тут — «практически все лидеры русской литературы последних тридцати лет» (2).

Так это или не так, — еще бабушка надвое сказала. Об этом можно спорить. Тем более, что художественный вкус нашего критика весьма уязвим. Его легко уже с налету оценить и по смешению величин в предложенном списке. И даже еще проще, по такому, например, рядовому пассажи: «...окажутся на книжной полке в библиотеке следующего тысячелетия рядом Леонид Соболев, Александр Солженицын и Федор Панферов» (628)...

Важно другое: найденная обойма соотнесена у Бондаренко с очень жесткой системой понятий и ценностей. Это только сначала кажется: критик ограничил свою задачу тем, что выдвигает на авансцену литературного процесса специально отобранную им группу писателей, по некоей случайности родившихся почти одновременно. Но его отбор — не просто попытка задвинуть одних, вытолкнуть вперед других. В списке Бондаренко — не просто «лидеры». Критик, конечно, мирится с большими идейно-творческими разногласиями среди представителей поколения (и даже считает это миролюбие своей заслугой). Иначе ведь, при чуть большей идейной чистоте отбора, ему было бы не собрать сколько-то представительную, яркую компанию. Но практически каждого из «поколения» он подтягивает к набору элементарных идей, которые для него дороги. Кто-то подтягивается легко и охотно, кто-то (и таких больше) — силой, с немалым трудом. Но игра стоит свеч. Это «поколение» для критика — некая *идейная когорта*, которая при всех различиях между ее представителями обладает высоким уровнем духовной общности. Так говорит Бондаренко.

Отметим еще, что не впервой Бондаренко открывает это чудесное поколение. Когда-то, лет двадцать назад, в несколько ином составе, оно носило у нашего критика имя «сорокалетних». Теперь вот у него — поколение 37-го, убойного года.

Но сминилось не только имя. Не только состав обоймы претерпел перемены. Бондаренко резко меняет идеологию поколения. И меняет как бы на ходу, пытаясь старые свои идеи сочетать с новыми. Уже от этого его концепт содержит сильнейшие внутренние противоречия. Иногда даже возникает ощущение, что противоречия чуть ли не сознательно заложены автором в основание концепции. Без них она выглядела бы... слишком куце, слишком неправдоподобно.

Замечаешь и другое: спорить с Владимиром Бондаренко вредно для душевного здоровья. Все равно останешься в дураках. У нашего автора — вечный джокер. А ты обречен без толку путаться с прочей картой, с разменной логикой здравого смысла и арифметикой рассудочных резонансов. Ты ему про Фому, а он тебе про Колыму. Сегодня хвалит и ругает за одно, завтра совсем за другое. То он

националист и обличитель русофобов. То рассуждает о некоей гибридной, мутантной «российско-советской культуре» (163), как будто можно соединить Бога с дьяволом. А то он — и сам готовый русофоб, объявляющий, что «пока не получится при всех стараниях — отдельной русской цивилизации» (166), и воспеваящий «евразийское чувство имперскости» (165)... Семь пятниц на неделе. Да еще и поглядывает победительно гоголем: накось, выкуси.

Так что ловить нашего автора на *всех* имеющихся в его книге несообразностях я, пожалуй, не буду. Не стоит шкурка выделки. Невозможно в рамках этого актуального отклика разобраться и с тем, где и как, за какие уши тянет критик в свою компанию многих персонажей. Вообще спокойнее было бы употреблять именно понятие «персонажи» и считать книгу Бондаренко разновидностью беллетристики, этаким фэнтези на литературные темы. Но мне вовсе не хочется сводить все к легкомысленным игрушкам-почеркушкам. Хотелось бы поискать объяснение затеваемой Бондаренко словесной эквилибристике, сугубой приблизительности и натяжкам, которые характерны для его авторского почерка в критике.

Риску сказать: дело не только в том, что некоторые, а может, и многие тексты из книжки имеют отчетливо газетное происхождение. Да, они изначально предназначались для читателя-единоверца, читателя-соратника, который вовсе не задумывается о силе логических аргументов — для него важны только слова-пароли: народно-патриотический стан, демшиза, режим Ельцина и т.п.; он ценит намеки на самые радикальные и провокационные идеи... Но дело, повторяю, не только в этом. Конечные основания мыслей у Бондаренко уходят в крошечные недра инстинкта, в мистические бездны. Оттуда несет опасным, дергающим за нервы холодком, оттуда тоскливо приванивает серой. Бондаренко и сам, кажется, побаивается тех свинцово мерцающих глубин, которых он неосторожно, всуе касается. Может быть, поэтому он неоткровенен. Он недоговаривает. Умалчивает. Намекает. Имитирует объективизм. Он набрасывает на окаянные бездны случайные, не всегда подходящие покровы... (А может быть, это делает уже кто-то другой, чье имя мы не произнесем.)

По всему по этому размышления о концепции и списке Бондаренко хочется продолжить невольным и невинным признанием, которое само по себе не несет никакой доказательности. Так, простое впечатление. Рефлекс.

Мерзит, граждане. Как если б расступился в дерьмецо. Тоска берет. Хочется как-то встряхнуться, отвлечься — хотя б на милые мелочи жизни. На девичий взгляд, на ласточкин свист...

А отчего? — спросите. Даже не оттого, что Бондаренко тенденциозен. Тенденция есть у всякого мало-мальски заметного критика. И не оттого, что Бондаренко плоско и грубо тенденциозен. Это тоже можно пережить. А оттого, во-первых, что наш автор — не просто даже искренний советский патриот. Больше: он — застенчивый, но верный сталинец. Его нетрезвый, полуистерический державнический вкус за круглосуточными «завтраками» не разбирает добра и зла, принимая за добродетель советского стиля разгон и разбой и высокопарно величая их *прорывом в будущее*. Сомнительным сиянием кровавой державной звезды затмевается у него смысл бытия и истина факта.

Сильно и бескомпромиссно отталкивает в политико-литературном пасьенсе Бондаренко то, что он вмешивает и Бога в свою стыдливо-настойчивую апологию советской державности. Заигрывает, записывает и Бога в свою христопродажу. Как если бы Бог самолично благословил не только рождение писателей, но и имперское зло, и сталинский террор, и всю эту подлую советскую эпоху. Как если бы русское православие (у автора неизменно — «Православие») было синонимом державной мощи и бесчеловечной силы. Как если бы главное в христианстве — «православный патриотизм» (500).

Очень удобный, полезный, выгодный у Бондаренко Бог.

Особенно колоритен беспредельно сочувственный очерк о безумном поэте-самоубийце Примерове, в гибельной ошалелости стихами призывавшем Бога вернуть советскую власть «взад». Казалось бы, страшный грех этого «яростнейшего государственника, державника, сторонника Великой Российской империи в любом ее обличье» (550), почитателя «Петра Великого, Александра Третьего, Иосифа Сталина» должен был заставить Бондаренко чуть призадуматься над печальным уроком примеровской судьбы. Но нет. Изображен он как безупречный герой и патриот. (Не чета обличаемым заблудшим индивидуалистам-«католикам» Чухонцеву да Аверинцеву.)

Если и Бог завербован и прихватизирован, то что уж говорить о прочих персонажах книги! Тут включается механизм вербовки не хуже былого, испытанного в незабываемом 37-м и прочих приснопамятных годах. Критик только делает вид, что заинтересован в личностях и ими отмеряет движение литературы и движение истории. По сути, он презирует личность как самоцель и сверхзадачу. Он не вникает в сложное, в уникальное. Он не любит и не понимает свободу личности. Личность для него приобретает смысл, только если она служит державному (или там национальному) делу. Тогда это — «Личность» (136). Как всякий политик, Бондаренко — упрости́тель. Вот простейшая антитеза: верность империи — или измена ей, все равно с кем. Этой антитезе у Бондаренко подчинено почти все. Причем наиболее настойчиво, совсем почти в духе Розенберга, любовь к Отечеству рифмуется с антисемитизмом. Даже как-то странно, что такой завзятый имперьялист придает так много значения национальности. Уж что-нибудь бы одно. Но тут Бондаренко не боится противоречий, скрещивая национализм (и расизм) с космополитическим пафосом империи.

Даже не задумываясь о точности своего исследовательского метода, критик режет по живому, кроит, калькулирует, шьет, создавая в итоге серию грубых, как правило, гротескных, неправдоподобных писательских портретов. Ему важно притянуть каждого своего героя к тем понятиям, которые исповедует он сам. Почти любой ценой. Средств для этого у нашего критика не так уж много. Но есть у него известная искусность, есть навык и сноровка. Правда, подчас портреты, исполненные Бондаренко, словно бы вырублены топором. Чем сложнее объект, тем тяжелей и прискорбней последствия огрубления.

Так, у Битова в 90-е годы (а о более раннем периоде его творчества говорится крайне скупно, хотя сам критик утверждает: «все лучшее написано Андреем Битовым в советское время» (155)) главным оказывается плач по империи, «ностальгия по Державе» (160).

Пусть теперь Битов оправдывается, что его «империализм» имеет чисто культурный характер. Что он мыслит в культурном, а не в державно-политическом ключе, что он отдается виртуальным фантазиям... Коготок-то — увяз! Если «турсовал» свое «заде» (164) в Пицунде и Коктебеле — теперь плати за это, за «родно-имперское» (159). Мы запишем Битова в патриоты, в «солдаты Империи» (159), и вы увидите: он еще будет крепить наш евразийский фронт против Запада.

Даже если Бондаренко хвалит кого, не всем поздоровится от таких похвал. К банальной антитезе сведена у него логика творческого пути Ахмадулиной. Была де она со всех сторон прикрыта «пелеринками и муфтами», а недавно на нее дунуло «ветром реальной народной жизни». И она стала писать стихи, которые полны критического отношения к современной постсоветской жизни.

Как минимум, Бондаренко проспал тот уже довольно давний момент, когда поэтессу сильно продуло. Да и изначально не сводилась ее поэзия к банальным «пелеринкам». Но пусть сегодня Ахмадулина лепечет, что она жалеет санитарку Таню вовсе не для того, чтобы понравиться Бондаренко. А он все равно снисходительно поставит ей в плюс то, что перестала быть «книжной» и стала чуток «народней» (в традиции «народности», культивируемой в его кругу). Вообще у Бондаренко вагон и маленькая тележка снисходительности к тем, кто не читает газету «Завтра», в кругу которой наш критик подвизается. Он то и дело панибратски похлопывает по плечу, липко заглядывает в глаза, зовет на «ты»... (Никуда не деться от личной ассоциации. Вспоминаю, что примерно так вели себя рядовые вербовщики ГБ году так в 82-м, пытаясь припахать вашего покорного слугу.)

Но Битов и Ахмадулина — они хоть сами могут ответить на замечания в их адрес. Тошной судьба Шпаликова или Ерофеева. Один записан в советские патриоты-идеалисты, другой — в антисемиты-шовинисты. И шанс возразить Бондаренко у них есть разве только на Страшном Суде.

Вот так все, за редким исключением, внесены Бондаренко в красный партийный список. Один — за то, что империалист. Другой — за то, что шовинист. Третий — за национализм. Четвертый — за то, что его затравили либералы-западники. Пятый — за жидоедство. Шестой — за то, что дружил с Куняевым. Седьмой удачно родился. Восьмой удачно умер. Поэтика несущественна. Может быть любой. Главное — идейная близость.

В контексте советско-имперского патриотизма особенно впечатляюща попытка мотивировать появление поколения ситуацией 37-го года. Такая уж, оказывается, тогда была тонизирующая историческая ситуация. Такой случился мистический коленкор, о котором, знаем, дело, нашептал нашему критику Сам Всевышний: «Это был Божий замысел, сотворивший на фоне страсти и страданий самое уникальное поколение в XX веке!» (23).

Автор тут нарочито невнятен и, кажется, даже не хочет никакой ясности, потому что она разрушает его построения. Оказывается, 37-й год можно воспринять как «время мощного пассионарного взрыва народной энергии, заполнившей все пространство советской державы» (6). (Вот и сталинзек Лев Николаич Гумилев пошел в оборот, присобачен за придуманный им термин.) По Бондаренко получается, что сталинская конституция всех уравнила в правах (уточним: в бесправии). Отчего-то это, как и размах репрессий, влечет за собой

«крайнее, яростное напряжение всего общества» (7) и, в частности, «резкое повышение рождаемости» — «...в расстрельном угаре царил не пессимизм и мертвечина духа, а напряжение всех сил» (126). Одни, надо думать, напрягались, чтобы выжить, другие — чтобы угробить ближнего, а третьи, согласно Бондаренко... начитавшись на ночь юбилейного Пушкина и газет с протоколами публичных судебных процессов, «в трагическом напряжении» прыгали в койку, чтоб зачать будущих гениев, славу русской словесности.

В 37—38 годах население страны увеличилось, «несмотря ни на какие репрессии»; а вот нынче, сокрушается критик, народ размножается плохо, население уменьшается, откуда ж взяться в будущем «созвездию талантов»? И «кто же главный погубитель страны — Сталин или Ельцин, исходя из простого такого факта?» (352). Прозорлив был кремлевский горец, высоко сидел, далеко глядел — и провидел грядущий расцвет литературы как прямое последствие затеянного им людомора.

Словом, Бондаренко невзначай открывает главный закон советской селекции: чем больше мы вас давим и гнобим, тем активнее вы плодитесь. Мысль, нечего сказать, богатая. Оставляю ее полную оценку специалистам по демографии и этике. А от себя скажу: подобное словоизвержение не вызывает усмешки только при условии неких политико-мистических опосредований. И Бондаренко это тонко чувствует. Он готов мистически связать уничтожение писателей в 37-м году с рождением новых: примученным, так сказать, на смену. «Да, и на крови строятся Храмы!» — восклицает он (18), а в другом месте и уточнит, на чьей крови и какие храмы: «В крови одного поколения рождалось другое, и вся энергия погибших прямо по-платоновски наследовалась ими. Энергия Павла Васильева и Бориса Корнилова, Николая Клюева и Осипа Мандельштама передавалась в этой насыщенной трагической и энергетической ноосфере Белле Ахатовне Ахмадулиной» (127).

Что-то вампирское, что-то прямо вурдалачье просверкивает тут в камлании Бондаренко. Мрачная мистика крови и почвы, аналогов которой еще поискать.

В свете и тьме новых открытий приходит пора разобраться с теми, кто привычно находился в центре литературного процесса. И поколение тридцатисемигодичников определяется критиком по контрасту, как антипод поколению предшествующему. Собственно, шестидесятникам.

Шестидесятник для Бондаренко — выражение ругательное. Критик создаст миф об еще одном поколении, в которое записывает чуть не всех, кто ему не по нраву. Евтушенко, Аксенов, Окуджава, Вознесенский выбраны в мальчики для битья, а для удобства шельмования скрещены с Кобзоном и чуть ли не с Пляцковским. Тут опять начинает работать примитивная бинарная логика. То ли сильно его обидели в литературном детстве тогдашние кумиры, то ли что, но нет теперь для него поколения презреннее. Сказано про шестидесятников даже так, в сакрально-демоническом регистре: они «были изначально разрушителями», «разрушали церкви», «разрушали оазисы национальных культур» (13). Ах, язык без костей. Бондаренко подчас пишет так, будто мы про все забыли и уже ничего не помним. Ботало бренькает.

Демонизация нелюбимых литераторов выходит на космическую орбиту. Неизвестно откуда взялись эти бондаренковские «недочеловеки» (228), эти «благополученькие» (229), «сытые» эгоисты, «вечно пристроенные» циники (228), эти социалисты с человеческим лицом, эти демократы, эта «прозападнически настроенная» (363) откровенная и прикровенная, и даже «придворная» (219) диссида. Но именно такие мерзавцы и разрушили милую сердцу Империю.

Правда тут одна. Ее-то Бондаренко учуял верно. Именно поколение шестидесятников, вышедшее на арену истории с неистребимым стремлением обрести конечную правду бытия, сыграло решающую роль в крушении советских идеологических миражей, в гибели безбожной, плебейской, фальшивой империи. Вот этого-то наш критик простить, судя по всему, не может — не только Василию Аксенову, но даже и Андрею Дементьеву.

Их оптом он обвиняет в том, что они «за редким исключением, дружно предали свои идеалы» (12). Какие такие идеалы? А советские, батенька, советские, какие ж еще? Ушли «в цинизм и блефованье» (219). Только что кошельки из карманов не таскали.

Но зачем они забыли, «затеряли и бросили» (216) Шпаликова после его смерти, зачем высокомерно не ценили Высоцкого, не принимали в поэты? Этого им справедливый Бондаренко никогда не простит. И умышленно возвысит до необычайности Шпаликова назло его бывшим друзьям, уест, покроет их, отомстит им своей посмертной любовью к бедному поэту. Косноязычной любовью: «Сегодня все былые его соратники изображают из себя жертвы советской власти. И никто им не верит. А Геннадий Шпаликов и сегодня остается для читателей и зрителей знаменосцем романтизма и веры» (221). Еще меньше, замечу, верится в то, что Бондаренко искренне любит Шпаликова. Так и кажется: он его любит из корысти, *любит против* Аксенова и Любимова.

Для других надобностей использован критиком Венедикт Ерофеев. Он превращен пером Бондаренко в шовиниста и антисемита. Для этого иногда с плоским буквализмом толкуется всегдашняя вечничкина игра, вечный его иронический выверт. А самый сильный ресурс достигнут путем грубой фальсификации основных смысловых аспектов пьесы «Вальпургиева ночь». Ее главный герой, Гуревич, усилиями Бондаренко невероятно демонизирован и по логике предпринятого истолкования должен быть понят не иначе, как отравитель русского народа. Неудивительны поэтому и следующие пассажи, относящиеся уже к самому Ерофееву: «Он, как колобок, и от дедушки, и от бабушки ушел, только вот от Гуревича с флягой спирта отравленного, как от лисы, не смог уйти...» (601).

Еще один персонаж бондаренковского театра абсурда — Высоцкий. «Я гарантирую, — уверяет наивных читателей страшно смелый задним числом Бондаренко, — все лучшие песни Владимира Высоцкого можно было опубликовать при его жизни, пожелай того его элитарные друзья» (297). Но для «всех этих Межировых и Слуцких» «Владимир Высоцкий был — лакей с гитарой, хороший певец на пьянку» (297). И только... Нравы и вкусы в писательской среде — тема, конечно, отдельная. Но Бондаренко-то тут вовсе не нравы описывает и не вкусы судит. А также и не творчество Высоцкого анализирует (имеющийся анализ беден и вторичен). Он прежде всего разом решает минимум три политических задачи: отмыть советскую цензуру, представить Высоцкого

не столь уж крутым оппозиционером режиму и даже «тайным» сталинистом (319), а также в очередной раз заклеить «либеральную интеллигенцию», «придворную элиту шестидесятничества», Евтушенко и Вознесенского, «Межировых и Слуцких». Как будто и на самом деле они возглавляли цензуру и решали, что печатать, а что нет.

Еще шаг — и окажется: «принципиального антишестидесятника» (352) Высоцкого сгубили именно шестидесятники. И Бондаренко такой шаг делает. Высоцкий у него погиб не от жуткой безысходности советского климата, которую он ощущал, как редко кто. По Бондаренко, не столько власть, не тотальная идеологическая мерзость и практическая подлость системы вызвали к жизни трагический пафос сопротивления, отчаяния и стоического мужества. Время, конечно, тоже было «гнилое» (352), но вовсе, говорит Бондаренко, не по той причине, о которой нам талдычили те же шестидесятники. Оно, время оттепели, было чересчур либеральное, аморфное (то ли дело — благодатный, плодотворный, боевой и ядерный 37-й год); «верхушка, после смерти Сталина» позволила себе «этакий привал, перекур с дремотой» (352—353), ослабила смертельную хватку. Но не режим, а прежде всего ближний круг «демонов», эксплуататоров таланта и завистников славе, мешал «народному» поэту жить.

Старая погудка на новый лад: именно злодеи-шестидесятники портят и губят простых, хороших, советских парней из честных трудовых семей. Оцените фортель: Высоцкий «чувствовал чуждость своего окружения, он выражал это и в трактовке Гамлета, и в своих песнях, и в своих поступках» (319). Назвался груздем — полезай в кузов. Если ты — «народный» поэт, тебе бы пойти к «своим», к «настоящим людям», хоть к «прозаикам-деревенщикам», уж они бы тебя выправили, наставили на путь истинный, начали бы везде печатать. «Я уверен, попался бы ему на пути Вадим Кожинов, и его поэтическая судьба сложилась бы по-другому» (363). Даже простили бы тебе твое еврейство. Щедрые же, благородные люди. Соль земли русской. А Высоцкий, дурашка, не к тем «прислонился» (358), тянулся «к избранничеству», к славе, мешало ему «актерство» (299). А может, и детство в Германии ослабило у него веру, чужая Европа развратила мальчика.

Что важно: кажется, Бондаренко иногда сам во все это верит. Как-то так воспитывал он себя годами, в таком вращался кругу, что самые бредовые идеи стали для него своими. Или прост чересчур?

Еще одна черта критического стиля нашего автора заслуживает осмысления. Он часто только намекает. Он нарочито смазывает смысл. Обозначает его по касательной, избегая прямого высказывания. Вероятно, это не простое неумение сказать прямо и по существу. Тут есть какая-то робость. Или тайная стыдливость. Нельзя же в самом деле всерьез провозглашать многие постулаты без риска сделаться фигурой вовсе фарсовой. А Бондаренко усиленно желает задержаться в «приличном обществе», среди людей неглупых и чистоплотных. По разбросанным там и сям намекам видно, что ему скучновато среди малоодаренных в массе своей единомышленников. Им посвящены самые неинтересные очерки в книжке, и, кажется, критик не может этого не понимать. Он охотнее писал бы о реальных величинах. Но коса находит на камень, и выйти за пределы идеологизированной критической публицистики Бондаренко не дано, чуть ли не всякая попытка дает

сбой, критика хватает в лучшем случае на несколько абзацев серьезного аналитического текста, а дальше в силу вступают его априорные установки.

Лишь изредка нашему критику как будто отказывает его подход. Это когда он затрудняется что-то противопоставить глубокой, выношенной мысли какого-нибудь своего героя. В конце концов, консерватизм Аверинцева, к примеру, гораздо серьезнее и ответственнее обоснован, и тут Бондаренко подчас на глазах линяет, роняет свои перья, поддаваясь острой и точной логике оппонента. Начинает обильно цитировать. Внутренне соглашается с аверинцевско-блоковско-мандельштамовскими формулами: «запретный клад», «дышать большим временем», «тоска по мировой культуре», «тайная свобода», «ворованный воздух» творчества... Терпит того, с кем не согласен, и даже восхищается им.

И думаешь вдруг, что в некоей идеальной перспективе Лобачевского сходятся наши параллельные прямые, ведь не вовсе чужд Бондаренко Аверинцеву за счет своей консервативной тяги. (Хотя консерв консерву рознь, и это слишком, слишком ясно. Для одних возвращенная музыка Александрова подобна звучанию небесных сфер, а другим в ней слышатся отзвуки бесовской вакханалии. Иной консерватизм пахнет инквизицией, оборачивается недоверием к свободе, неприятием свободы, апологией цензуры, не говоря уж о русопатстве-антизападничестве...)

Наш критик тоже не прочь поговорить о «значительности», как-нибудь поставить себя на одну доску с Аверинцевым. Де у того были свои фундаментальные опоры, а у Бондаренко — свои. Опоры разные, а серьезность — одна. Вот и повод для сегодняшней близости. «Так вдруг тянутся друг к другу фронтовки, когда-то находившиеся по разные стороны линии фронта» (244).

На это, однако, можно бы и возразить. Аверинцев взял на себя и в основном исполнил *миссию*, а Бондаренко... в лучшем случае на это лишь претендует. Да критик и не выдерживает высоты своего собеседника, впадает в фельетонность, явственно обнаруживая в мыслях и манерах именно то, чем страшно огорчен его герой: отсутствие «значительности», серьезной и ответственной позиции. Он тут же так и норовит побить Аверинцевым «эстрадно-исповедальное шумное поколение» (248), поставить Аверинцеву подножку, ущипнуть его как-нибудь, снизить, исподтишка подмигнув единомышленникам.

Доходит до форменных судорог стиля и смысла. Декларируемое уважение к герою не мешает критику, например, намекнуть, что слава к тому пришла случайно, что «свой Аверинцев» был в каждом институте, от Петрозаводска до Петропавловска на Камчатке» (247), а повезло со славой лишь этому «тихому и незаметному византисту» (247). Или еще, оттолкнувшись от статьи Аверинцева о Германе Гессе, вдруг сурово, с привычным косноязычием, возгласить: «Кто подписал в 1993 году расстрельное письмо в «Известия», призывающее Ельцина к расправе над народом? «Раздавите гадину», это же и к вам обращается Герман Гессе, вас обвиняет в отступничестве. Сергей Аверинцев на его стороне» (250—251). Тут мало что в огороде бузина, а в Киеве дядька. Тут какая-то дурнопахнущая провокация, настолько грубая, что после секундной оторопи возникает несправедное желание тоже кого-нибудь «раздавить».

Или еще: можно приписать Аверинцеву католические симпатии, «заигрывание с католичеством» (448) (Бондаренко в этом чудится страшный крими-

нал, что-то стыдное, неприличное, наподобие сексуального извращения). Вообще — знатная, лейтмотивом, проходит у нашего религиозного эксперта мысль о «сползании» не одного Аверинцева, но еще и Ерофеева, Чухонцева, Битова не то в протестантизм, не то в католичество (19). Высоко над ними, сползшими, воздвиг свою цитадель духа наш автор. То ли советскую еще крепость, то ли уже православную, то ли некий противоестественный гибрид. И, кажется, нам нетрудно уяснить для себя, чем Православие, по Бондаренко, отличается от католицизма. Православие — это «народность», это «соборное понятие «мы». А католицизм — «только «я», только личностное, пусть даже героическое начало» (125); «соблазн крайнего индивидуализма» (448).

Больно хорошо такое Православие рифмуется с прочими членами уваровской триады. Христианскому духовному универсализму Аверинцева и Чухонцева Бондаренко противопоставляет то религиозную этничность, то имперско-шинельную «церковность»...

Отсюда, кстати, у него и «главная стратегическая тема русской литературы»: «личность и народ, индивидуальное и соборное, «я» и «мы», единичное и целое» (124). Мы видели и знаем, как эту тему решает сам Бондаренко. Последовательно обличает он «вечный, из столетия в столетие, искус интеллигенции против самой русской «болотной хляби», против «деревянного отечества», протест «я» против «мы», личностного против общественного» (449). Наш критик не без хвастливой нотки ставит себя в пример: «У меня самого несколько твидовых пиджаков, один даже прямо в Оксфорде купил, а кепку клетчатую приобрел в Ирландии, но, ей-Богу, англизироваться не собираюсь» (450). Личности у него предложено преодолеть «желание ощутить себя неким затерявшимся в Руси европейцем» (450), подчиниться «народному», а проще сказать — государственному началу. Это — суть. Все остальное — оговорки, нерешительная сухомятка, робость в мыслях или нарочитая невнятность.

Все в поколении «забрать себе» не удастся. Это критику понятно тоже. И, хотя он проявляет недюжинные способности по впряганию в одну телегу коня и трепетной лани, дается это плохо. Что ж, если кто-то в бондаренкину партию пока не попал, то сам он, отщепенец, в этом и виноват. Значит, он не любит Россию. Идет преступным путем Чаадаева и Печорина. Стал быть, враг народа. Со всеми входящими и исходящими.

У Чухонцева Бондаренко выявил недостаток патриотизма, почвенности, «отказ от понятия Большой Родины, от любой державности, имперскости (450), и даже склонность к измене. И долго на разные лады обличает поэта, бьет его и Юнной Мориц и Андреем Битовым, и даже Давидом Маркишем. Так долго, что возникает слишком много поводов убедиться в том, как казенно и скучно понимает критик *родное, заветное*. Неприятие Чухонцевым России как данности, как эмпирического факта Бондаренко объясняет, по сути, низкопоклонством перед Западом. В то время как вечная русская *ненависть* к реальной родине продиктована совсем другим: высоким взысканием и острым чувством греха, покаянным стремлением этот грех в себе и в народе избыть и изжить. Да и как, по совести, можно сослепу любить грешную эту страну, как гармонически вписаться в этот народ-банкрот, промотавший свое духовное достояние, народ-христопродавец и христорборец? «Родная чужбина» у Чухонцева звенит

стыдом и болью, глубокой огорченностью и неистребимой сопричастностью. Это именно то, глубинное, душевное православие, которое не вмещается в бондаренковские партийно-политические прописи — и Бондаренко видит тут лишь «манифест отчуждения» (452), знак «усталости и поражения» (460).

Возникают сомнения: а существует ли вообще назначенное Бондаренко поколение? Не есть ли оно плод инфантильной тяги в стаю — или дешевого самоутверждения?..

Существует, конечно, то, что объединяет многих из писателей, попавших в список Бондаренко.

Первое. Это — сопротивление советскому режиму, неприятие его, хотя и выразившееся очень различно. Тут, впрочем, рожденные в 37-м мало отличаются от тех, кто родился в другие годы, но был в 50—70-е вовлечен в процессы духовного самоопределения, экзистенциального поиска — при упорном, настойчивом (пусть не всегда бескомпромиссном) отталкивании от советского официоза. В этом состояло основное содержание литературной жизни тех лет. И правильнее считать, что многие из названных Бондаренко литераторов приходят к контркультурному фронту оттепели. Это отчасти, если угодно, *младшие шестидесятники*, еще успевшие вкусить оттепельных плодов, еще витавшие по молодости в эмпиреях свободы, но — за редким исключением — с лету сброшенные в застойное болото. Но Бондаренко, конечно, такого определения не примет.

Качество самоопределения имело индивидуальный характер. И именно оно определило масштаб творческой личности. Из старого, советского списка Бондаренко конца 70-х, по сути, остались в 90-х немногие. Маканин, Курчаткин, кто еще? Да и из нынешнего списка заслуживают особого выделения не все. В первую очередь, мне кажется, если не выходить за пределы изящной словесности, — тот же Маканин, Ахмадулина, Битов, Вампилов, Высоцкий, Чухонцев, Петрушевская, Вен.Ерофеев... Причем каждый — по-своему и за свое.

Иногда, когда нашему критику, удастся взглянуть на свой предмет спокойнее, он готов даже признать факт творческой оппозиции, реальной духовной оппозиции писателей прогнившему советскому режиму. Бондаренко записывает себе в заслугу открытие в конце 70-х «иной личностной литературы», «литературы безыдеального промежуточного героя, не принимающего фальшь своего времени, не верящего в неоленинистские «новомировские» идеи «отблеска большевистского костра», но и не видящего никаких других объединяющих идей». «Это литература экзистенциального личностного наполнения, литература духовной реформации, общества свободных личностей» (9).

Сказать по правде, герой такой появился еще в конце 60-х. В подцензурной литературе — у Трифонова, Владимирова (кстати, в новомирских же сначала публикациях), а в кино по-настоящему переломной вехой стал «Июльский дождь» Хуциева. И тогда же этот герой в жизни и в искусстве был опознан и

² См. об этом в фундаментальном исследовании Нелли Биуль-Зедгинидзе «Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т.Твардовского (1958—1970 гг.)» (М., Культурно-просветительский центр «Первопечатник», 1996. С. 300—306 и др.).

худо-бедно осмыслен, скажем, в критике того же «Нового мира» (И.Виноградов, И.Золотусский, Э.Соловьев, М.Туровская)². Так что открытия Бондаренко немножко запоздали. Да и связаны они не с самыми яркими произведениями экзистенциального поиска в подцензурной литературе (а о другой, андеграундной, тогда Бондаренко, конечно, и не писал: ни о «Пушкинском доме» Битова, ни о бесцензурном Ерофееве, ни, к примеру, о кормеровском «Наследстве»; это прошло мимо него). Но не будем придирааться. «Есть такая буква».

Другое странно. Реформация реформацией, экзистенциалы экзистенциалами, а Бондаренко, когда-то «открывши» новую литературу, сегодня относится к ней как-то двусмысленно. Ему и о заслугах своих хочется напомнить, и одновременно подтянуть к державным ценностям несознательных литераторов-скептиков. Неприкаянный герой — альтер эго автора — ему что-то вовсе не близок. Хорошо, конечно, что он не борется с властями. Но плохо — что не служит. Он воспринят чуть ли не только как выражение противугосударственной болезни. По-настоящему-то не нужно бы было нам такого героя.

Ведь не все так было плохо. Не надо верить «плоским демократическим агиткам» (15). Было скорее хорошо. Все мы были «частичками единого советского народа» (16). «Империя культивировала Культуру» (161). Бондаренко даже на минуту готов признать «фальшь брежневского времени» — для того, чтобы сразу объявить, что для его знакомых «людей Империи» идеология «не имела значения, не в ней было дело. В Державе» (162). Ну да, ну да. Праздники души, именины сердца. Банионис и Магомаев, Иоселиани и Пулатов, Виктюк и «Мамарджашвили» (163). И никакой идеологии. И даже ваш «Сергей Аверинцев подтвердит, что политический упадок, идеологический кризис Империи никогда не связан с расцветом Культуры. А если и связан, то в обратной зависимости» (163).

Характерно, что и происхождение литературного героя-одиночки и скептика критик однажды связывает не с разочарованием в советских ценностях и идеалах, а только с тем, что деревенская цивилизация сменялась городской, где крестьянский сын выпадал из рамок патриархального уклада, вследствие чего и нарождалась личность (51).

Веселое, счастливое время культурного расцвета. Чуть ли не аналог Палеологовского Ренессанса. И на вершине этого расцвета были любимые авторы Владимира Бондаренко. То самое поколение. Сколько бы представителей нашего поколения ни зажимали, сколько ни гробили (чуть-чуть бюрократы, а в основном, до крови и смерти, — либералы, гуревичи, шестидесятники...), — им принадлежит реальный вес в литературе.

Чем хороши, по Бондаренко, литераторы портретируемого им поколения? Их мышлению присуща, говорит он, «советскость» (13). Ким, Киреев, Орлов, Личутин «правильно определили свою литературную задачу, отказавшись от шумного пути вечно мечущихся шестидесятников» (67). Лицемеры-шестидесятники, прихлебатели и челядинцы заслуживают, конечно, только презрения, в то время как советский лауреат, орденосец и советник вождей Распутин достоин лишь восхищения. Они (хвалит своих, отчасти придуманных им писателей Бондаренко) не были разрушителями, «не желали ускорять национальную катастрофу» (13) (это какую, интересно? неужто речь идет о крахе безбожно-го режима?). Хорошо, даже примерно вел себя и Маканин: в политику не

вмешивался, хотя с диссидентами и «соприкасался», но «возвращался в реальную (зиц! — Е.) литературу» реального социализма. Стал «автором многочисленных книг» (подцензурных) «и даже советским орденоносцем» (67).

Мне-то кажется, что опыт приспособленчества и соглашательства в ситуации 70-х и начала 80-х, опыт лицемерного сожительства с режимом сыграл для названных и неназванных писателей роковую роль. Они за редким исключением так и не смогли выйти на иной рубеж в творчестве. У них не случилось своего Куликова поля, они не осознали свою миссию. Да и в целом разговоры о культурном расцвете в позднесоветское время отдают душком лицемерия или... наивности. Это был расцвет для приспособленцев, для тех, кто умел гнуть спину и услужливо дудеть в официальную дуду. Но каким невыносимым бременем тотальной лжи, тотального страха и общей духовной мерзости ложилось то время на плечи честного художника! Как тяжело падали на душу разврат власти и распад общества, вырождение народа. Как стыдно было перед Богом и русской культурой за эту бездарную, фальшивую, мнимую жизнь. И могло ли быть нормальное «общемперское» (то бишь общесоветское) культурное пространство в этом доме на песке? Исторический опыт показал, что оно слишком часто наполнялось фикциями. Ну а то, что было там живого и здорового, оно и осталось таковым. И, Бог даст, еще вернется.

Охотно допускаю, что Бондаренко жилось в те времена неплохо. Он умел грешить по мелочам, «ошибаться» в частностях, сохраняя в целом лояльность властям. Вот и нашел теперь способ и себя, тогдашнего, оправдать, и всяких там диссидентов-андеграундников обругать, и протянуть нить державной преемственности от гнилого советского строя в новый век. Но абсолютное большинство замеченных и отмеченных им писателей, я уверен, едва ли разделят как его восторги, так и его притворное негодование.

За все нужно платить. И мы заплатили за тогдашнюю ложь. Но вовсе не для того, чтобы искать теперь в ней крупницы удовольствия.

Однажды Бондаренко говорит о поколении, «отстаивавшем право на свою личность» (8). И речь тут, обратите внимание, идет о «личности» поколения, а не о личных правах его представителей. Индивидуально-личное, как я уже сказал, волнует Бондаренко в последнюю очередь. Иное его обычно занимает: судьба державы. Критик ошутительно досадует, что одряхлевшая брежневская Страна Советов не востребовала обозначенное поколение. «...им не дали врати в коллективное «мы»». Их отлучили «от глобального имперского замысла», «приучили к обочине» (8).

Брежневская геронтократия, говорит Бондаренко, проигнорировала пассионарных писателей. А ведь «при желании и умении вполне можно было с толком для государства использовать даже сверхкипучую энергию Александра Солженицына (...) Дали бы ему Ленинскую премию, уделили бы побольше внимания и использовали бы его недюжинные возможности заодно вместе с близкими ему деревенщиками» (14)... (Вас не тошнит, читатель, от такой игровой версии? Мне здесь особенно мрачит словцо «использовали бы».)

Венедикт Ерофеев «сделал еще в советское время неплохую карьеру» (16). А чего, спрашивается, тогда выкобенивался, паршивец, в «Москве—Петушках»,

чего ему, жлобине, не хватало? Наверное, все-таки не дали молодцу порулить департаментом в железнодорожном (или там пищевом) министерстве! Вот он и мстил.

От недоиспользованности — и «ранняя смертность» (20).

Так что теперь критик может только горевать, что не прислушались к нему в тогдашних верхах и стало прокламируемое им поколение «поколением затонувшей советской Атлантиды» (10—11). Вот о чем болит сердчишко!

Режим действительно уже плохо справлялся с адаптацией творческих личностей и плодил героев скептического рода. Это так. Но нужно бы сначала спросить у самих этих личностей: они-то бы желали ль влиться в коллективное «мы» и отдаться тому имперскому замыслу, который, помнится, включал в себя и последние судороги богоборчества, и заботы о поддержании в рабочем состоянии механизма госстраха, и перманентный ремонт железного занавеса, и афганскую авантюру, и тотальное лицемерие как форму сделки между властью и обществом?.. О том, что такой вопрос нужно задавать писателю, Бондаренко сегодня вдруг забывает.

Вам казалось, что у нас больше нет партийной критики? Критики, вмененной заботами не просто даже литературной политики, а политики в собственном ее соку — только на поприще литературы. С присущим ей ангажементом, с умышленностью и предвзятостью, неизбежной демагогией и передергиванием... Представьте: такая критика есть. Жива старушка-активистка. Владимир Бондаренко пишет партийные книжки. Империалист, националист, шовинист в той специфической реваншистской тональности, которая нынче (вследствие обстоятельств исторического момента) в ходу.

Критик с идеями и со сверхзадачей. Но не все свои идеи он додумал и довысказал. Иная острая мысль проносится им, как контрабанда через таможенно. И хочется, и колется... И даже подчас не понять: ему ли на самом деле принадлежит выговариваемые им вслух мысли — или они представляют собой лишь некое атмосферическое явление, бродячий флюид коллективного сознания, безличный бред маргинальной прилитературной тусовки?

Профессиональный долг Бондаренко-критика требует от него другого: открыть новые имена и дать реальный масштаб именам старым, стать знаменосцем литературного поколения. Но драма его в том, что сначала он ставил не на ту лошадь, а потом оказалось, что лучшие лошади вообще бегут не туда, куда ему хочется.

В конце 70-х Бондаренко хотел стать голосом новой волны. Не вышло. Волна оказалась слишком хилой и быстро отхлынула. Подцензурные беллетристы не собрались в сильное и значительное поколение ни тогда, ни после. Актуальная попытка уже не столь прямо связана со стремлением к личному самоутверждению в литературе. Точнее, теперь подобная задача решается ценной партийной прописки, членства в идеологическом движении. Критик, начинавший скорей как индивидуалист, вернулся к советской матрице вещания, оценки, суда и приговора, уличения и обличения, от имени и по поручению партии. От идей до слога Бондаренко уже себе не принадлежит. Он добросовестно озвучивает политику своей референтной группы, претендующей

на господство — причем не только в литературе, не только в искусстве. Везде. Далее — везде.

Однако лишь в порядке принудительного привода можно связать Маканина, Киреева и Кима «имперским замыслом». Только причудливым вывертом критической мысли можно обязать прозу 70-х «об одиноком амбивалентном герое» дать «нации новый импульс для нового объединения». Чем, скажите, по моему взгляду такой персонаж в советской словесности, когда-то лоббировавшейся Бондаренко, можно освежить впечатления, взяв давнюю статью Игоря Дедкова «...Когда рассеялся лирический туман», где здраво препарирован социальный тип, воспетый в той прозе: скептик и циник, погрязший в быту и решавший в основном «проблемы ниже пояса». Нет слов, в тогдашней позднесоветской жизни таких героев было навалом. Именно их прототипы, очевидно, и потерпели фиаско на randevу со свободой в 90-е годы, и это во многом определило культурный итог десятилетия «без партии, без цензуры, без власти»...

В современной же русской словесности для Бондаренко почти нет подходящих по взглядам и идеям крупных писателей. Никак не встают собранные им некогда и обозначенные ныне авторы в державную шеренгу (кстати, и списки не тождественны). Так и норовят разбредиться. Лишены они «русского национального мифа» и не стремятся его обрести, — делится Бондаренко своей заботой в минуту трезвой ясности. И еще зачем-то добавляет огорченно: «Китайского варианта не получилось». Да уж. Аллах акбар.

И приходится идти на подтасовки, произвольно перетолковывать очевидные вещи, чтобы создать в начале XXI века и новую историю современной словесности, и миф о срастании писателей-единоличников, литераторов-неврастеников с азиатски могучей и безмятежной державой. Бондаренко усиленно припечатывает литераторов печатью совка. Колдует, например, вот так: «Это последнее советское поколение еще и потому, что другим оно стать не сможет ни в жизни, ни в литературе, как бы сами писатели не (зиц! — Е.) относились к своему прошлому и к советской власти». Словом, без меня меня женили... Но его книжка — выражение усилий заклясть хорошую литературу и привести ее на службу (для начала хоть в «народно-патриотический лагерь») — и свидетельство тщетности подобных попыток.

Скажем прямо: в литературном лагере, тесно связанном с ретроградно-реакционной партией советского толка, с исповеданием старо-нового державничества он, пожалуй, — единственный, кто был способен на такой подвиг: дать относительно завершенную версию литературного процесса на почве «одержимости идей государства». Но качество этой версии невысокое. Книга Бондаренко — характерный памятник современного культурного укладничества. Плохо пережеванный, как будто из вторых рук взятый Леонтьев, патологическое сердце и химерический рассудок.

И в то же время этим своим томом Бондаренко забрасывает крючок в грядущий век. Причем в два адреса: апеллируя и к «простому» читателю — и к новым, постельцинским российским властям.

Критик пишет грубо, неизяшно. Он небрежен, даже неряшлив. Часто повторяется, едва ли не дословно. В книге много опечаток. Некоторые из них даже

меняют смысл сказанного. Но яды его бывают тонки и проникают подчас глубоко. С волнением думаю я о школьниках, в чьих руках может оказаться это, с позволения сказать, «пособие». Попробуй потом выкорчуй примитивные, но доходчивые схемы из детского сознания!

И еще. Он уже сейчас готов быть использованным государственными мужами и девами нового столетия. Нынче-то, нынче — неужто опять, как в бывалые дни, никто за высокими красными стенами не откликнется на пассионарные импульсы писательского державничества, свободного от чрезмерной идеалистической требухи?

Наготове у него, например, уже предложение о возвращении цензуры, «государственного контроля» над литературой. Мысль об ее благодетельности красной нитью проходит в книге. Державность выше идейности, идейной чистности. Государство выше личности. «Цензура как импульс творчества! Несвобода царская, несвобода советская заставляли художника находить истинную художественную свободу в том жанре, в тех рамках, в которых должен был существовать. В результате появлялась мощная духовная русская литература». Вот, оказывается, каков лучший способ получить «мощную» литературу! И горе тому, кто в цензурные эти рамки не впишется. А впрочем, даже запреты благодетельны для художника. Бондаренко быстро забывает, как пространно он горевал по поводу того, что не печатали при жизни Высоцкого, — и вот уже радуется, что Чухонцева не издавали книжкой 16 лет — и тем продлили симпатичный критику «период посадской простоты» в его творчестве.

Есть у нашего критика и другая государственная мысль. Клеймя «русскоязычных» писателей-раскольников, которых «тошнит от самого русского духа» (тут упомянут Евтушенко), Бондаренко вопрошает: «Нужны ли нам (нам! — Е.) две разбегающиеся галактики внутри культуры одной страны?» И так завершает этот свой период: «Такого же нет нигде в мире». (Вообще хороши и ярко характеризуют нашего автора постоянные фантастические отсылки к «передовому опыту» то США, то Франции при оглашении самых мракобесных рацпредложений.)

...Успеть бы высказаться, пока под действием подобных аргументов государственные попечители не примут отеческие меры. Сегодня лавочка торгует, а завтра снова будут раздавать стандартную пайку из маленького, низко врезанного окошка.

И я уже догадываюсь, кто тогда встанет на раздаче.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

(Третий квартал 2001 г.)

1. Художественная проза

А. «Знамя», «Новый мир», «Октябрь»

Проза третьего квартала в главных московских ежемесячниках на редкость неинтересна. На мой вкус, совсем нет ярких событий. Что ж, посмотрим, что есть.

БОЛЬШАЯ ПРОЗА. Такое определение в журнальной прозе сезона трудно чему-то дать с чистой душой. Куда-то она, большая проза, запропала. И еще одно: откуда-то наши писатели берут в жизни столько мрака, что отбивают всякий интерес к чтению. Сдается, это не от реалистической трезвости, а от стремления чем-нибудь эдаким поразить бедного читателя. А чем его поразишь, если не бесстыдными обстоятельствами?.. Возможно, кому-то покажется, что мое истолкование ситуации грешит эстетической обывательщиной. Да делать нечего.

По своему немалому объему в этот раздел может быть помещена **повесть Романа Сенчина «Минус»** («Знамя», № 8). Сенчин — писатель, замеченный взыскательной критикой. За один-единственный рассказ он в прошлом году выдвигался даже на премию Аполлона Григорьева. Так то рассказ. А то повесть. В масштабе повести, оказывается, наш автор теряется. Он только наращивает пространство повествования. Итак, Сибирь сегодняшняя. Правда жизни в очерковом регистре. Минус — символ. Это и город Минусинск, место действия. И качество жизни в нем. И способ бытия главного героя (рабочего театра) и его знакомых из того же театра, из общежития, фанаберийной богемы из соседнего Абакана, родителей, эмигрировавших из Кызыла (где русским стало неуютно) в деревню под Минусинском. Жизнь скудная, беспросветная и материально, и духовно. Нравы грубые, дикие. Пьют, кадрятся, хорохорятся, из книжек извлекают рецепты: как напасть и украсть. Чтобы, значит, жить. Надежда вспыхивает, как спичка, и тут же гаснет во мраке этой жизни, в грязи и холоде. Всё это мы видали и знавали не раз в литературе и в жизни, но, сдается, виной происходящему не столько социальные обстоятельства (на что намекает автор), сколько никчемность людей, попавших ему на глаза. До того они жалки, что и жалеть таких не хочется. У молодого литератора Сенчина почти всегда почти все люди мелки и сломлены бытом. Так уж настроен его острый писательский глаз.

«**Жизнь, которой не было**» липчанина **Александра Попова** («Новый мир», № 8) — **повесть** о современной сельской глубинке. Деревенский тупик. Тупик подробной, очерковой по тональности, бытово ориентированной, но с тонкими психологическими деталями «деревенской прозы» после Екимова. Всё в селе рухнуло — и хозяйство, и мораль, и вера, и надежда. Мир мрачен и уныл. Люди злы. Бога нет. Забуддыги — плотник-старик, трактористы, самогонщица и Батрак (член всех партий сразу) — собираются в избенке у деревенского

дурачка-сироты, выпивают, плетут чушь. Истраченные, никчемные люди. Жуть, жуть. Кажется, при изображении этой компании автор отступает от требований бытового реализма, чтобы включить в нее и некоего философствующего люмпен-интеллигента. И тем придать ситуации больше интересных частностей. Мать-доярка с отцом-трактористом — родители главного героя — тихо ненавидят друг друга. И только юный Митя помогает дурачку выживать, не намерен спиваться и собирается жить как-то иначе — но едва ли в этом оставленном Богом месте. Да может и не выйдет у него ничего.

Отметим еще **«Карагандинские девятины, или Повесть последних дней»** Олега Павлова («Октябрь», № 8). Это последняя часть трилогии, в которую входят **«Казенная сказка»** и **«Дело Матюшина»**. Азия. Армия. Солдаты, офицеры, туземцы. Вязкое, полубредовое повествование. Бытовой реализм плавно переходит в абсурд. Качество вещи оцениваешь по 2-3 страницам, но дальше читать такую прозу нет никаких сил. Она не для простого читателя — а для Бога, наверное, Который поневоле следит за всем, что в нашем странном мире делается.

В романе Юлиу Эдлisa **«Черный квадрат»** («Октябрь», № 7, 8) изображены житейские заботы и угрызения совести филолога и искусствоведа Иванова. Больше всего на свете он любил Пастернака — и отрекся от него в кабинете чекиста в приснопамятные 50-е. Среди других героев — художник, партийный чиновник, правозащитник. В романе есть какая-то недовершенность, недодуманность. Детали здесь интереснее целого.

Вообще журнал «Октябрь» печатал прозу разную и спорную. Взять хоть в № 7 роман **«Книга Легиона»**, который написал мало кому известный **Наль Подольский** (уж не псевдоним ли это?). Роман увлекательный, каким и положено быть мистико-фантастическому детективу, но видеть его на журнальных страницах как-то непривычно. В современном Петербурге следователь Марго занимается серийными самоубийствами при странных сопутствующих обстоятельствах. Виной всему, как можно понять, — принявшая личную форму черная энергия «гаах». Есть в романе и юмор, и игра ума, и интрига, и забавные детали. Так что на довольно тягостном фоне прозы сезона он набирает в глазах читателя много очков.

СОВРЕМЕННОСТЬ

В рассказах **Евгения Шкловского** («Новый мир», № 8) представлена, как обычно, жизнь современных горожан, москвичей. В рассказе **«Зовы»** героя окликают кто-то на улице, и он, не умея опознать пробежавшего мимо человека, начинает вспоминать — кто бы это мог быть. Заодно перед читателем разворачиваются наиболее примечательные страницы небогатой вообще-то жизни. И тихонько, вполголоса звучит тема убления жизни, нестойкости отношений, связывающих людей в современном мегаполисе. Тонкая, лиричная вещь, как и другие рассказы в этой подборке.

«Маленький роман» Леонида Зорина **«Кнут»** («Знамя», № 9) — история о московской светской тусовке, о том, как некий проныра Дьяков путем целенаправленной пропаганды делает из своего приятеля Подколзина властителя дум, великого мыслителя и автора гениального труда «Кнут». Притом, что само Подколзин — только банальный честолюбец, посредственность и никакого «Кнута» не писал. У Зорина есть замах на сатиру. Светская клоака изображена

неприязненно. Феномен дугой величины схвачен из жизни, но в гротеске есть все же некоторая натяжка.

Владимир Тучков в сочинении «**Поющие в Интернете**» представил «11 жизнеописаний новых русских банкиров, терзаемых роковыми страстями» («Дружба народов», № 9). Якобы они писателю сами про себя рассказали всякие правдоподобные и не слишком вещи. Тучков, конечно, свою прозу явно придумывает. Играет. Но делает это остроумно и не без связи (пусть опосредованной) с нашими героическими капиталистическими буднями.

«**Новая секретарша**» **Льва Усыскина** («Новый мир», № 7) — история о том, как девица-неумеха становится секретаршей в офисе. Постепенно Жанна осваивается. Натурально, с ней заводит шашни и трудоголик-начальник. Автор, 36-летний писатель из Петербурга, смотрит на происходящее с пониманием. И даже с явным сочувствием к начальнику, которому нужна же разрядка. Что пользы тщетно спорить с веком и с порядком вещей? А молодое женское тело — оно манит.

Более масштабна заявка в сочинении **Петра Алешкина** «**Русская трагедия**» («Октябрь», № 9). Предприимчивый издатель Анохин там борется против антинародного режима, а режим руками спецслужбы разоряет его, устраивает на него покушение, сживает со свету. Парадокс: в поисках спасения Анохин бежит со случайной девицей в США. Там разворачивается их скоропалительный роман. Попутно выясняется, что девица убила насильника из круга золотой молодежи — и, следовательно, тоже имела основания для бегства с родины. В результате на последней странице выясняется, что девица — это дочь Анохина от его первого провинциального брака, и роман приобретает такой поворот, который ведет прямо в пропасть.

А вот герои **рассказов Андрея Кучаева** («Октябрь», № 8) за границей не пропали, хотя и называется его цикл «**В германском плену**». Живут — не тужат. Быт, нравы, юмор.

«**Привет, красавица!**» **Юлии Песковой** («Новый мир», № 7) — дебют автора. История томлений русской девицы, проживающей в Париже и путешествующей по Испании. Грубый и скучный соотечественник, космополитическая компания в поисках удовольствий, примесь цыганщины. В общем, путевые заметки, разложенные на реплики диалогов. К чему все это в «Новом мире» — непонятно, хотя Пескову нельзя назвать бездарной.

Анатолий Найман посетил Израиль и в «Октябре» («No comment»: № 8) перечислил 26 причин, по которым невозможно об этом написать.

Валерий Липневич ездил ближе. Его очерк «**Путешествие для бедных**» («Дружба народов», № 9) — описание поездки на электричке от Москвы до Минска. Много любопытных деталей. Немало и общих рассуждений — на любителя.

В **рассказе Аллы Боссарт** «**Бабыя благодать**» («Дружба народов», № 8) не совсем уже молодая девушка Светка ищет себя в жизни, да не может найти. Ей бы замуж, но и тут проблемы. Очерк женской судьбы. В **рассказе «Девять дней»** душа старухи-покойницы в первые дни после смерти наблюдает за происходящим в ее комнатке. Попутно изложена и вся история старухиной жизни.

Короткие **рассказы Григория Петрова** «**Такая вот любовь**» («Новый мир», № 9) — о странностях, причудах жизни, человеческих сдвигах и вывихах. Сказ.

Повесть Рустама Ибрагимбекова «Храм воздуха» («Дружба народов», № 8) — история о доме в Кисловодске, о стеченьях обстоятельств и власти некоего рока, закона космической справедливости. Азербайджанцы в России.

В **рассказах Александра Хургина** («Знамя», № 9) предмет изображения, как всегда, — тоскливая жизнь тоскливых людей. Может быть, сами люди-то и ничего себе, но днепропетровский автор по-другому никого представить, видимо, не способен.

В **рассказе Сергея Мирова «Такая работа»** («Знамя», № 7) описаны чудаковатые люди, наделенные тонким чутьем к течению времени. В глухом провинциальном городке они следят за точностью хода городских часов. К этому, чтоб читатель не зевал, добавлены еще некоторые перипетии.

Рада Полищук в «истории о любви и ненависти» **«Суссана с двумя «с»»** («Дружба народов», № 9) завязала тугой мелодраматический узел. Тут вам и поздняя любовь, и подружкина ревность, и злобный сын-наркоман, и внезапная роковая встреча давно расставшихся любовников... И всему этому придан еврейский колорит. Есть чему подивиться. Полищук пишет живо, ярко, болтливо, чувственно. По-женски.

Рассказ Анны Кузнецовой «Геракл, прославленный герой» («Знамя», № 9) — история об актере. Почему-то она посвящается Гатчинскому кинофестивалю.

ИСТОРИЯ

В **рассказе Алексея Алехина «Теннис в 1939-м году»** («Знамя», № 9) москвичка всю жизнь вспоминает детское впечатление: из ее окна был виден двор посольства, где играли в теннис девочка и ее папа. Ну и что? А ничего. Просто так. В **рассказе Алехина «Случай с Фоминным»** современный герой чудесным образом оказывается в Москве 1932 года.

Повесть Василя Быкова «Болото» («Дружба народов», № 7) представляет войну как арену случайностей и испытания моральных качеств. Сброшенная с самолета группа засылаемых в партизанский отряд скитается по лесам. Словом, Быков. Вещь, в общем-то, неплоха, но у писателя бывала проза и посильнее.

Рассказ Виктора Астафьева «Связистка» («Новый мир», № 7) — новая военная история, в центре которой — острая жалость к девочке-связистке. Тема для Астафьева характерная — в других его вещах Астафьева мы с нею тоже встречались. Тут же помещается и новая серия **«Затесей»** — заметок, воспоминаний и наблюдений о жизни.

Специфическую историю рассказал **Алексей Зикмунд** в повести **«Герберт»** («Новый мир», № 7), авансированной весьма лестной аттестацией Милана Кундеры. Подросток в нацистской Германии середины 30-х — оранжерейное растение, которому плохо от окружающей грубой жизни. История первой влюбленности (девочка оказывается еврейкой), путешествия к отцу, некогда уехавшему в Швейцарию (попутно — потеря невинности в купе вагона), и гибели после возвращения от столкновения с жестокой и подлой реальностью Райха. Проза неплохая, но после рекомендации Кундеры ждешь гораздо большего.

Художник и поэт **Леонид Рабичев** в **записках «Манеж 1962, до и после»** («Знамя», № 9) вспоминает о жизни московского авангарда в эпоху оттепели, о знаменитой выставке в Манеже и ее посещении Хрущевым. Много подробностей и имен.

«Рассказы разных лет» известного общественного деятеля **Льва Тимофеева** («Знамя», № 9) — пестрые истории, которые как-то трудно соединить во что-то цельное. Наиболее интересен мемуарный очерк о том, как в советские времена автор написал труд о положении советского крестьянства и сунулся с ним к оч-чень осторожному либеральному профессору и публицисту. Зашифрован он инициалами Д.Д.

«Ваня, Витя, Владимир Владимирович» **Михаила Айзенберга** («Знамя», № 8) — воспоминания автора о молодости, о приятелях, о любви к открытому тогда подпольному Набокову.

«Записки беглого кинематографиста» **Михаила Кураева** («Новый мир», № 8) я определил бы как мастерские безделки. Одна — **«Обед в «Заполье»** — о том, как в середине 70-х годов два офицера из приполярного гарнизона, обедая в ресторане, поставили на место художника с богемно-развратными замашками. Одним из офицеров, как оказывается, и был автор, находившийся в Заполярье в творческой командировке. Вторая — **«Киншик едет!»** — о том, как примерно там же автор превзошел самого комполка при вождении танков на плаву. Умиляет своим простодушием эта невинная похвальба маститого писателя. Еще несколько историй с анекдотической стороны изображают жизнь киношников в СССР.

Вспоминает и **Александр Генис** («Трикотаж»: «Новый мир», № 9). Детство, родственники, знакомые. СССР, Америка. Густая жизнь, юмор, толика ностальгии, всякая пестрая нескладаица.

В рассказе **Владимира Березина** **«A chi Italia?»** («Октябрь», № 9) описана история кружка католической ориентации в Москве. Люди занятные, перипетии разнообразные.

Рассказ Анатолия Курчаткина **«Воспоминание об Англии»** («Знамя», № 8) — скромные мемуары. Автор с семьей впервые оказался в гостях в Англии в августе 91-го года. Именно оттуда они оторопело следили за событиями путча (к юбилею событий и напечатан рассказ). Наиболее сильно звучит в этой вещи рефлексия Курчаткина о возможности невозвращения на родину. Он уже почти расстался с родиной навсегда — и тем сильнее было чувство счастья при возвращении сюда в конце того памятного августа.

ПРОЧЕЕ

Рассказ Александра Кабакова **«Маленький сад за высоким забором»** («Знамя», № 8) — фантастическая проза в тональности антиутопии. Героя по имени Руслан запирают в особое учреждение, чтобы он там как-то вычислял свою жизнь. Забавной подробностью будущей жизни является то, что семья там — чистая условность, в моде же — интимные друзья. Кабаков — отличный беллетрист, но никакой актуальной мысли в этой его прозе нет.

В повести **Юрия Петкевича** **«Беспокойство»** («Дружба народов», № 7) жизнь увидена в традиционном для прозы этого автора несколько абсурдном модусе. За условно стилизованными разговорами, событиями, подробностями следишь не без напряжения, поскольку суть едва уловима.

Рассказ Виктора Шендеровича **«Трын-трава»** («Знамя», № 7) — версия нашей истории. В Голландии царь Петр Алексеевич приохотился к травке — и это решающим образом повернуло судьбу России.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Самым **ПОРАЗИТЕЛЬНЫМ** текстом за отчетный период оказался **роман Игоря Аверьяна «Тень Титана»** («Москва», № 8-9). Написанный на средне-техническом уровне, он едва ли мог бы претендовать на сколько-нибудь серьезное внимание, если бы не *идейное содержание*, выводящее его в ряд шедевров, востину достойных кунсткамеры. Подзаголовок — «Хроника последних времен (1950—2000)» — не оставляет сомнений в серьезности намерений писавшего.

«Последние времена» видятся автору следующим образом: главный герой, талантливый химик, участвует в изобретении эмульсии, способной в мгновение ока уничтожать бетонный слой на любой поверхности — в том числе фресках. На самом же деле герою предназначен совсем иной путь. Он переживает роман, но бежит почти из-под венца: ему невыносима обстановка в семье невесты (отец девушки — член ЦК). К тому же домработница, с которой жених предается параллельным плотским утехам, убеждает его, что невеста отнюдь не беременна (что впоследствии оказывается ложью).

Вскоре он женится на журналистке, но карьера начинает буксовать: член ЦК мстит за поруганную честь. Тогда самоотверженная жена героя решает переспать с еще более главным членом (типа Политбюро), и супруга в одночасье принимают в партию, делают кандидатом наук и отправляют большим начальником в ГДР (с регулярными выездами в ФРГ).

С невероятным сладострастием автор описывает жизнь четы за границей. Чувствуется, что здесь используется глубоко личный опыт. Супруги наслаждаются комфортом, покупают дорогие вещи — и не устают презирать окружающих их *советских ничтожеств*, озабоченных дразнами, сплетнями и материальными благами. Журналистка тем временем становится писательницей. Узнав, что публикации романа ей придется ждать полтора года, она снова звонит своему патрону (до этого автор не раз томил читателя описаниями ее нравственных мук при воспоминаниях о меркантильном соитии) — и роман тут же публикуется. Она вмиг становится знаменитой. Основная идея ее опусов, как, впрочем, и жизненное кредо — свобода заключена в материальном благополучии. Диссидентов она полагает людьми одной породы с революционерами и ненавидит (особенно в связи с тем, что карьере мужа чуть было не нанес ущерб бывший друг-диссидент). Позволим себе одну чрезвычайно показательную цитату: «Че Гевара — всего лишь политический бандит, авантюрист, прохиндей, который нашел свою нишу в политическом латиноамериканском борделе. Наш Паша сделан из другого, русского теста, на благородных дрожжах. Я почему-то ассоциирую его с Белинским... Он так же искренен и страстен в неприятии окружающей жизни, и так же намертво скучен в своих правильных и банальных идеях, и так же неопровержимо не прав в своей борьбе».

Тем временем супруг с чистой совестью продает западногерманским партнерам таинственный порошок, необходимый для ядерного производства, а параллельно, что опять-таки чрезвычайно характерно, уступает западному партнеру секрет и той самой эмульсии, с помощью которой в молодости собирался реставрировать артефакты *русской духовности*. Еще одна цитата: «Да, мы кооператив будем покупать, пятикомнатный!.. У нас двое детей, и мы не хотим

плодить нищих! И еще мы дачу купим!» Нет сомнений, что автор передоверяет героям собственные мысли, не замечая, что создает апологию иезуитски аморального мешанства, вообразившего себя солью земли.

В финале сын умершей писательницы, владелец издательства, намеревается издать собрание матушкиных сочинений. Он благополучен, прекрасно устроился в «последних временах». Отец благословляет его намерение. Автор своими героями — вопреки (или благодаря?) их вопиющему нравственному убожеству — тоже чрезвычайно доволен...

Противоположную идейную концепцию в повести «В озерном краю» предлагает **Анатолий Байбородин** («Наш современник», № 9). Действие происходит в 70-х годах. Герой — молодой провинциальный журналист — едет в родные места делать очерк. В городе он прошел через все тяжкие, ему надоели пьянки и случайные связи, он рад погрузиться в природу, ему импонируют простые нравы. Он встречает свою детскую любовь, теперь *располневшую*, и пытается завязать роман. Девушка симпатизирует герою, но отказывает в физической близости. Кроме того выказывает религиозность. Охваченный яростью, герой пытается ее изнасиловать. Его с позором изгоняют из деревни. В городе он снова пьянствует и томится в изъеденной порчей богемной среде. Внезапно ему открывается бытие Бога. И в тот же день девушка приезжает к нему.

Что до искусства, то повествование, скажем так, весьма наивно.

В рассказе этого же автора «Подарок для жены» («Москва», № 9) тема сравнения города и деревни снова решена не в пользу первого. Молодой парень из глухой сибирской деревни приехал в город, загулял с бывшим однополчанином и пропил все деньги. Рассказчик выслушивает его историю и дает денег на обратный путь. Смысл текста — не оскудела земля русская. В финале парень выбрасывает прикупленный было подарок жене — коробку презервативов. И не оскудеет?..

На удивление много оказалось текстов, построенных на разнообразных «МИСТИЧЕСКИХ» основаниях. Большинство имеет весьма заметный социальный подтекст.

В рассказе все того же **Анатолия Байбородина** «Нежить» («Москва», № 9) заночевавшему в брошенной избушке рыбаку блазнится бесовщина. Автор проводит параллель между поведением нечисти и нравами современного общества. На рыбака-атеиста снисходит озарение, он обращается к Богу с молитвой — и наваждение рассеивается.

В путано многозначительном рассказе **Юрия Балкова** «Мы ждали тебя, а ты все не шел» («Москва», № 9) смешаны три пласта: воспоминания-фантазии старухи крестьянки, пережившей уничтожение села красноармейцами, возвращение на путь истинный наркомана (вплоть до участия его в восстановлении разрушенного храма) и деградация бывшего красноармейца (оний храм разрушившего). Мораль ясна, с искусством — сложнее.

Вячеслав Дегтев в рассказе «Альфа и омега» («Москва», № 9) описывает нечто вроде метемпсихоза на довольно рискованном материале: партизаны расстреливают «фрица», его душа путешествует во времени, воплощаясь то в первобытной женщине, то в каком-то животном, то в микроорганизме — и, наконец, в человеке, который в убитом им хулигане узнает собственного сына.

В рассказе «**Коцаны**» (там же) спившийся вор обнаруживает в украденной сумке руководство по превращению людей в животных. В облике зверя он мстит обществу, сперва расправившись с личным врагом, а затем целенаправленно уничтожая банкиров и других представителей высших классов.

СОБЫТИЯ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ снабжаются, как правило, довольно привлекательным антуражем и туда, в историю, авторы то и дело посылают своих персонажей — устанавливать (или, напротив, разрушать) «связь времен».

Повесть Леонида Бежина «**Конец Собачьей площадки**» («Москва», № 10) построена как семейная сага. Рассказчик якобы листает альбом с фотографиями и объясняет обстоятельства, сопутствующие снимкам. Детство сводных братьев проходит в арбатских переулках, семейные сложности переплетаются с историческими коллизиями 30-х — 40-х годов. Заканчивается сюжет сносом домов для строительства Калининского проспекта. Не до конца понятен ввод в текст мистического кружка то ли спиритов, то ли антропософов, способных предвидеть будущее и даже влиять на него.

Цикл рассказов Юрия Фидельгольца «**На Усачевке**» («Москва», № 10) снова показывает жизнь арбатских переулков 30-х годов. Коммуналки, дворовые компании, аресты соседней. Чувствуется не изжитая автором обиды на «буржуев», владевших сразу тремя комнатами, плюс пианино, плюс иные жизненные блага.

Алексей Шеметов в повести «**Воля и доля**» («Москва», № 8) исследует психологический тип «сильного человека». Его герой всегда действует наперекор обстоятельствам, полагая, в этом основную функцию мужчины. Заподозрив жену в неверности, он сразу убивает соперника, хотя впоследствии оказывается, что подозрения были безосновательны. В зоне он противостоит блатным и подчиняет себе «работяг». Освободившись, становится начальником леспромхозовского участка, где наводит порядок авторитарными методами. Автор приходит к выводу, что на таких людях держится тоталитарная система.

Противоположный взгляд на ту же проблему можно обнаружить в повести Николая Голдена «**УАЗовские перекуры**» («Урал», № 7). Рассказчик повествует о героических буднях завода во время войны. Здесь в миниатюре воспроизводится модель общественных отношений: адский труд в нечеловеческих условиях был обусловлен не только энтузиазмом тысяч людей, но и харизмой директора, который лично вникал во все мелочи, мог и голову снести, и в одночасье решить самые сложные проблемы.

В повести Юрия Сбитнева «**Жизнь Лушина**» («Наш современник», № 10) герой всеми силами стремится попасть в некое место в тайге, которое считается гиблым. По пути он вспоминает разные эпизоды из детства, в финале обе сюжетные линии пересекаются: в воспоминаниях он доходит до ареста отца, в «реальности» — до места его захоронения неподалеку от бывшей зоны. Проводник оказывается другом отца и вручает герою отцовский нательный крест.

Евгний Карпов в повести «**Гога и Магога**» («Наш современник», № 10) пытается совместить несовместимое. Главную нагрузку несет эпизод, где смиренный армянин, вступивший в Красную армию, не может выстрелить в приговоренного к смерти белого офицера, а гуманист-начальник отряда своей волей отменяет казнь и отправляет офицера отбывать пожизненное заключение в сумасшедшем доме (красноармейца, естественно, не наказывают). В фи-

нале три благостных старика предаются живописи и философским беседам, обозревая окрестности города Моздока.

В рассказе Роберта Балакшина «Зигфрид по фамилии Петров» («Наш современник», № 10) немец, еще в детстве изучавший русский язык, бежит из плена и начинает жить по подложному паспорту, выдавая себя за русского человека и мучаясь чувством вины за то, что участвовал в войне. Когда он стал уже почти стариком, в колхоз, где он работал, приехала делегация из ГДР. Он разволновался и умер.

Как водится, много внимания авторы посвящают прямой **КРИТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА**, причем картина мира выглядит, как правило, довольно-таки однобоко.

Андрей Воронцов в почти неструктурированном рассказе «История одного поражения» («Наш современник», № 8) проводит аналогию между падением мятежного парламента в 93-м году и разгромом русского флота под Цусимой. Обильно цитируя исторические документы, он доказывает, что действия командования были не только безупречны с точки зрения стратегии, но и открыли новую эпоху в военной науке. Подвели же русский флот нечестые на руку поставщики и прямое вредительство революционеров, купленных японской разведкой. Вот и в 93-м году... Рассказ заканчивается обращением к малолетнему сыну с многозначительным призывом *стрелять в невидимых врагов*.

В рассказе Валерия Шамшурина «Ниже травы» («Наш современник», № 9) много пафоса, зато подводит жизненная достоверность. Пока пожилой писатель лежит в больнице, сын продает его квартиру и пускает деньги на собственный коттедж. Писатель вынужден стать приживалом у бывшей жены. Не выдержав униженного положения (в дополнение к *бытовым* бедам, навалились и *социальные*: неуважение к писательскому труду и, как следствие, недостаточная его оплата). Писатель готов свести счеты с жизнью. Для этого он едет на родину, где встречает ученого химика, который задумал возродить обезлюдешую деревню. Писатель переживает душевный подъем и решает начать новую жизнь с ремонта местной церкви.

В больнице происходит дело и в рассказе «Белые палаты» Александра Турханова («Москва», № 9). Пациенты обсуждают «окружающую действительность» и приходят к выводу, что все изрушилось. Студент рассказывает историю о подвиге спартанцев в Фермопильском ущелье. Обитатели отделения травматологии переживают разочарование — и рады бы на борьбу, да все инвалиды.

Рассказ Алексея Козлова «Боцман Паша» («Наш современник», № 8) описывает трудную жизнь стареющего боцмана — раньше и порядок был, и люди хорошие. Теперь же одни бандиты и спекулянты. Чтобы не опровергать героя, автор вынуждает его принять мученическую смерть от рук хулиганов.

Героиня повести Владимира Ситникова «Бабье лето в декабре» («Наш современник», № 10) — простая деревенская женщина. Она не очень молода, зато собой хороша (налитая и здоровая). Пока муж, бывший председатель разворованного колхоза, от огорчений хворает в больнице, она бедствует, но надеется на лучшее. Надежды оправдываются. К ней приезжает бывший воздыхатель, ныне провинциальный бизнесмен, поит-кормит, соблазняет, а после, приодев и причесав (!), берет к себе «заместителем». Впрочем, через некоторое время

ему приходится уступить красотку более солидному конкуренту. Красотка мысленно возмущается, но в итоге улетает на Канары.

В рассказе **«Чужой луговой жаворонок»** Анатолия Новикова («Урал», № 8) интеллигент не может смириться с тем, что его дочь пошла торговать в ларек. Он решает уйти из семьи, но перед тем совершить символический акт протеста. Он обливает бензином ненавистный ларек и поджигает. Но, оказывается, месть ему только приснилась. Герой приходит к мысли, что надо учиться «примирению». Всезнающий автор в такую перспективу не верит. В рассказе **«Туда — и сразу обратно»** (там же) герой не может найти успокоения, потому что не имеет чувства родины (он появился на свет в лагере от репрессированных родителей). В конце концов, он решается совершить поездку к месту рождения, но уже в самолете понимает, что этот шаг был напрасным.

Довольно забавен крохотный рассказ Григория Волового **«Сейте»** («Наш современник», № 9). Учительницы встречаются на рынке бывшего ученика, который, пошептавшись с продавщицей, устраивает им грандиозные покупки по минимальным ценам. Снова оказавшись на рынке, одна из них, заметив ту же продавщицу и надеясь снова сэкономить, спросила, помнит ли та ее, и получила ответ: «Конечно... Вы — мафия». Автор оставляет оторопевшую женщину наедине с любимыми стихами: «Сейте разумное доброе вечное...»

Впрочем, некоторые авторы пытаются рассматривать судьбы своих персонажей не в столь жесткой связке с социальными обстоятельствами.

В рассказе Альберта Карышева **«Одесса-мама»** («Наш современник», № 9) описывается ситуация, завязка которой начинается в лондонском доке, где из-за забастовки докеров застряло советское судно. За время долгой стоянки команда знакомится со странным субъектом — почти позабывшим родной язык бывшим одесским вором. Узнав, что судно идет в Одессу, тот буквально не отходит от моряков. В море обнаруживается, что бывший одессит нелегально проник на судно. Сжалившись над беднягой, моряки доставляют его на родину. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В рассказе **«Белый холод»** Викдана Синицына («Наш современник», № 8) два моряка заблудились на лодке в море. Выживший вынужден объяснять следователю обстоятельства случившегося, скрывая личную драму: он потерял самого близкого друга; кроме того, узнав, что он стал инвалидом, от него ушла жена.

Рассказ Александра Чуманова **«Перекури, Сизиф!»** («Урал», № 8) построен как монолог больного раком старика, который с философским спокойствием ждет смерти и просматривает прожитую жизнь, довольно беспощадно анализируя свою личность. За ним ухаживает внучка, перед которой он чувствует себя виноватым, хочет переписать завешание в ее пользу, обделив таким образом горячо любимых дочерей, душевные недостатки которых тоже прекрасно видит. Текст весьма убедительный.

Ольга Шевченко в повести **«Федосеев и Фидель»** («Наш современник», № 9) экспонирует серую жизнь серого человека. То ли эта жизнь действительно настолько скучна, то ли с текстом не все в порядке, но по прочтении в памяти мало что остается: учился в институте, жил в общежитии, женился на женщине, которой все безразлично... В финале автор «знакомится» со своим героем и

приглашает его на вечеринку в общежитие Литинститута. Среди молодежи герою неуютно, и он аттестует себя как лишнего человека.

На сходном материале — убогая жизнь одинокой, ничем не примечательной девушки — построил **рассказ «Корабль, журавль, сон» Станислав Львовский** («Урал», № 8). И добился гораздо большего эффекта. Возможно, разница в поставленной сверхзадаче: не просто нарисовать образ «серой мышки», но обобщить его до некоторой «онтологической безнадёжности». Отметим редкое по нынешним временам владение языком и формой вообще.

Владимир Мешков в **рассказах «Черепаша» и «Время шло, считала кукушка»** («Москва», № 9) предлагает не слишком впечатляющие психологические этюды. В первом девушка, вернувшись из долгой отлучки, решительно рвет с возлюбленным, узнав, что тот украсил барабан панцирем ее черепахи (автор забывает дать герою возможность оправдаться — не исключено, что животное погибло своей смертью). В другом мужчина сбегает от девушки после первой ночи любви, узнав, что предыдущим возлюбленным был его друг.

Проза **Анны Матвеевой** («Урал», № 7) содержит только реплики персонажей. В **рассказе «Возмездие»** девушка тщетно добивается проявления чувств у возлюбленного в телефонных разговорах. **Рассказ «Новое меню»** рисует сцену в ресторане, где довольно неожиданно разрешается противоречие любовного треугольника — оказывается, что всем друг на друга глубоко наплевать. **«Собака»** воспроизводит ситуацию общения в интернете: молодой человек думает, что познакомился с девушкой и выбалтывает ей профессиональные тайны, в финале же выясняется, что это было хитроумной уловкой конкурентов.

Глеб Пакулов в **рассказе «Ведьмин ключ»** («Москва», № 9) углубляется в прошлое. Беглый каторжник оказывается в отдаленном зимовье с лютым мужиком и его странноватой женой. Они добывают золото, подозревая друг друга в самых дурных намерениях. Жена подбивает каторжника бежать, но тот не хочет лишиться доли. В конце концов они убивают друг друга, женщина сходит с ума. Смысл сочинения этой страшилки не до конца очевиден.

Обзор подготовила Мария Ремизова

В. «Звезда», «Нева»

Петербургскую словесность третьего квартала «взрывают», пожалуй, прежде всего две совершенно разновеликие по объему вещи, напечатанные в «Звезде»: небольшой рассказ и очень объемистый, на три журнальных книжки, роман.

В **рассказе «На болотной стежке»** («Звезда», № 8) **Василь Быков** на протяжении нескольких страниц предельно концентрирует подлинную сущность «партизанщины», развенчивая ложную романтику этой — еще так недавно окутанной легендами — страницы истории. А подлинность ее — в жестокости по отношению к местному населению — несчастным детям, старикам и безмужним бабам; в нередкой бессмысленности «подвигов» в глубоком тылу, за которые и расплачивалось мирное население. Религия «кровавого племени» партизан — беспощадность. Они ни за что ни про что расстреливают вдову-учительницу, рискнувшую возразить командиру. Как обычно в последние годы у В.Быкова, рассказ беспросветно мрачен и беспощадно правдив.

Роман Игоря Ефимова «Суд да дело» («Звезда», № № 7—9) поначалу кажется несколько растянутым и многословным. Но это — до тех пор, пока читатель, целиком погрузившись в чтение, не почувствует, что смысл романа не сводится к перипетиям странных любовных отношений между героями. Герои же таковы: разведенный американский режиссер по имени Кипер, замужняя дама Долли и ее муж Роберт. Долли то ли любит Кипера, то ли играет с ним, при этом она одержима идеей создать так называемую полигамную семью с двумя мужьями, где дополнительный муж призван восполнить то, чего не может дать основной. Извивы сюжета приводят героев романа в пансионат «Оленья гора», где как раз и собираются подобные полигамные семьи. Звучащие здесь рассказы о жизни, истории схождения-расхождения, одиночества и семейной неустроенности составляют своеобразный «Декамерон», который переключается с другим своего рода «Декамероном» — но уже в конце романа, когда другие герои делятся самым пронзительным в своей жизни. К отраде читателя, тема полигамности понемногу перестает доминировать в романе и, не найдя окончательного разрешения, как бы исчезает. Зато читателя окружает плотная атмосфера всеобщей слиянности, связанности всего живого друг с другом. Роман буквально пропитан этой атмосферой, отсюда не только обилие разнообразных любовных коллизий, но и вообще любовное отношение людей друг к другу. Здесь есть даже история о том, как сестру выдавали за брошенную жену, чтобы снять с ребенка клеймо незаконнорожденного. Олицетворение любви — Джо-зи, посвятившая жизнь обучению и воспитанию детей, страдающих аутизмом. Словом, сложный по структуре роман превращается в конце концов в дифирамб любви как некоему бытийственному началу.

Переходя к **СОВРЕМЕННОЙ** прозе «Невы», поневоле снижаешь планку. Увы, журнал все заметнее скатывается к почти самодеятельному уровню. Вот и **роман Владислава Петрова «Очень мелкий бес»** («Нева», № № 7,8) — весьма неудачная попытка совместить авантюрное повествование из жизни современного издательского бизнеса с фантастическим и даже фантазмагорическим элементом. Сюжет поначалу заинтриговывает: из закрытой комнаты средь бела дня исчезает один из совладельцев издательства «Проза», а на столе пропавшего обнаруживаются островки засохшей розовой пены. По ходу длинного и запутанного повествования исчезает еще ряд персонажей — причем до поры до времени бесследно. Затем в сюжет включаются мемуары некоего фронтовика, якобы подвергнутого во время войны таинственной «вакцинации», в результате которой люди не то обретают бессмертие, не то превращаются в вампиров (тут как бы между прочим мелькает фамилия Берии). Однако в конце романа все исчезнувшие возникают совершенно из ничего, прямо из воздуха. Оказывается, их исчезновение никак не связано ни с вампирами, ни с войной, ни с Берией. В результате остается совершенно неясным, чего ради написан этот роман. Правда, здесь нет-нет да и угадываются реальные персонажи (особенно узнаваема пышнотелая милиционерша—сочинительница дамских детективов), и мы начинаем подозревать, что перед нами пародия на московские литературные нравы. Но, в конечном счете, все это лишь утомляет читателя, понимающего, что ввязался в очень затянутую и не особенно остроумную шутку.

Рассказ американки Ирины Безладновой «Братья» («Нева», № 8) посвящен памяти Бориса Довлатова. Прототипы узнаются мгновенно. В рассказе действуют человек огромного роста по имени Кирилл — талантливый прозаик, в России почти не печатавшийся, но в эмиграции ставший всемирно знаменитым, и его кузен Марк-режиссер, умерший почти сразу же вслед за братом. Речь идет о таинственной внутренней связи между обоими, а также об их запутанных отношениях с некой Ниной. Текст оставляет впечатление явной рыхлости и незаконченности.

В рассказе прозаика из Мюнхена **Александра Мильштейна «Вмятина»** («Нева», № 8) повествуется о судьбе русского эмигранта, решившего поискать счастья в Америке, где давно обитает его более удачливая подруга. Живет он там в трудовой колонии, в полуподвале, зарабатывает на жизнь, ухаживая за больными стариками в богадельне. Герой томится и не находит себя. Тональность рассказа — пессимистичная.

Два рассказа Сергея Азинцева («Нева», № 7) буквально увязают в липкой паутине бесконечных словес. Тут многое неясно. Вот вроде бы в **«Песни про соседку»** говорится о судьбе несчастной женщины, уволенной с работы, брошенной родной дочерью и в конечном счете замерзшей где-то на помойке, — но повествуется об этом почему-то в ернической манере. А братья, инженеры по профессии, ныне торгующие колодой («Сказка»), почему-то названы Авелем и Каином...

На фоне такой прозы заметно выигрывают неприятзательные **«Короткие рассказы» Виктора Лункевича** («Нева», № 8). Это яркие, явно невыдуманные истории (выдумать такое просто невозможно) из времен советского абсурдизма, не так давно бывшего нормой нашего быта — хоть государственного, хоть поселкового масштаба. Вот, например, в одном из рассказов приводится доподлинная история о странствовании по всяким накладным и прочим казенным бумагам несчастных ста килограммов сливочного масла. Эти килограммы колхоз то якобы продавал государству, то государство отгружало их в магазин, а из магазина снова для сдачи государству выкупал колхоз. За время этих мнимых путешествий неподвижно лежавшее на складе масло благополучно стухло, но все же успело обеспечить успешное выполнение плана и магазину, и колхозу, и государству.

В таком же роде — история с покупкой для больницы кроватей, которые, согласно государственной инструкции, покупать можно было только за наличные деньги, а больница, к несчастью своему, налички не имела. Но сметливое руководство передало безналичную сумму церкви, которая у нас, как известно, от государства отделена, и таким образом получило их уже от церкви в виде наличных средств. Примерно того же ряда и другие истории из коллекции Лункевича. Да, над всем этим сегодня уже можно и подшучивать...

Обратимся опять к прозе «Звезды». **Рассказ Дмитрия Притулы «Доктор Кузин»** («Звезда», № 8) повествует о постепенном и подлом перерождении вроде бы интеллигентного человека. История эта — как бы месть за обыденную, с нередкими выпивками, скучную жизнь, от которой недалеко, оказывается, и до преступления. Последняя привязанность доктора Кузина — молодая привлекательная женщина, внучка какой-то неведомой старушки, разжалобила его

рыданиями по поводу своей неудачной жизни: жить негде, в доме скандалы и постоянные унижения. Кузин взялся помочь несчастной, то есть сделать ее бабушке укол... После смерти старушки внучка исчезла в неизвестном направлении. А к Кузину подходит уже другой человек, уговаривающий — и уговаривший! его — «помочь» своей безнадежно страдающей жене.

В сказовой манере написан и **рассказ** Д.Прутулы «**Старшая сестра**». Обитают в нем две престарелые сестры: одна — прожившая тяжелую, напряженную жизнь, другая — счастливо все это миновавшая. Более счастливая (и к тому же младшая) умирает первой, однако почти следом за ней умирает и старшая. Извлечь из рассказа что-либо иное, кроме скучноватого описания жизни двух старушек, непросто.

В девятом номере «Звезды» опубликованы фрагменты **романа Ю.Слепухина «Не подводя итогов»**. Закончить этот роман автор не успел. Рассказ ведется от лица некоего Николая Львовича Болотова 1900 года рождения, сквозь жизнь которого, естественно, протекли и революция, и гражданская война. Проза стилизована под дневник непосредственного участника событий, что удается сегодняшним писателям крайне редко. Опубликованные в журнале фрагменты, к сожалению, изрядно отдают вторичностью. Видимо, Ю.Слепухин так и останется в литературе фигурой по-своему трагической. Подростком вывезенный в Германию, попавший оттуда в Бельгию, потом в Аргентину, он довольно долго писал весьма стандартную романтизированную прозу (многие помнят его роман «Перекресток»). По-настоящему же этому прозаику удавалось передать лишь то, что он переживал и видел непосредственно. Но как раз об этом-то он и писал меньше всего. Да и немудрено с такой биографией: Слепухину даже запрещено было жить в Ленинграде.

ВОСПОМИНАНИЯ Розалии Блок-Баерс «Нью-Йорк — Москва в Сибирь по этапу» («Звезда», № 9) в литературной записи С.Узина — продолжение воистину нескончаемой эпопеи о людях, прошедших ГУЛАГ. Автор вспоминает не только сибирскую каторгу, но и киевский еврейский погром 1905 года, который она видела пятилетней девочкой, и свою жизнь в Лондоне и Нью-Йорке, где ее впоследствии репрессированный муж работал заместителем советского полпреда по отделу печати. Один из самых интересных моментов в публикации — судьбы женщин-«ЧеСеИРок» («член семьи изменника родины»), с которыми Р.Блок-Баерс сидела в лагере — Анны Лариной, Людмилы Якир, Евгении Ежовой.

60-летию со дня рождения Сергея Довлатова посвящена публикация его писем к Георгию Владимову и его жене, критику и журналистке Наталье Кузнецовой. Довлатов не скупится на краткие и выразительные характеристики отдельных литераторов и их произведений. Особенно интересны его рассуждения о романе Владимова «Генерал и его армия».

О «**Человеке рыночном, или Бурной весне Савика Шустера**» рассказывает в девятом номере «Звезды» **Иван Толстой**, ныне работающий в штаб-квартире радио «Свобода» в Праге. Портрет Савелия Михайловича Шустера (таково настоящее имя неожиданного и непредсказуемого героя) составлен из личных впечатлений от совместной работы с ним, цитат из его передач на радио «Свобода» и его интервью.

Трогательны и даже поэтичны **воспоминания Михаила Кураева «Белый полотняный портфельчик»**. Публикация приурочена к годовщине смерти Д.С.Лихачева. Никакой сентиментальности, никаких излишних эмоций. Простая констатация фактов: *вот так* жил настоящий интеллигент, *вот такой* внутренней свободой и естественностью обладал, *вот так* обращался к каждому человеку «как к существу мыслящему и стремящемуся к добру». Вот отчего и другие, даже те, кто «стремились к добру чужому», как бы возвышались в собственных глазах. Да, конечно, настоящая интеллигенция, как давно замечено, слаба, но слабость свою демонстрирует только тогда, когда речь идет о борьбе за собственные удобства.

В восьмом номере «Звезды» публикуется **очерк Виктора Некрасова «От слова “любить”»**, посвященный памяти Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, ясного и чистого душой человека. По словам В. Некрасова, это он задолго еще до нынешнего кризиса сельского хозяйства говорил: «Колхозник — это не крестьянин. Он землю не любит, а мужик русский ее любил, знал, понимал, не мог без нее жить». Публикация этого умного и трогательного очерка — несколько запоздалая дань 90-летию со дня рождения В. Некрасова.

О старом БДТ, о Доме Ветеранов сцены и — главное — о прекрасном актере Григории Гае, умершем в доме инвалидов и похороненном на Царско-сельском погосте, вспоминает в «Записках театрального отщепенца», названных **«Эта жизнь неисправима»**, актер, поэт, прозаик **Владимир Рецеттер**.

Особо стоит отметить очередной **тематический номер «Невы»** — девятый. На сей раз город Петра предстал в журнале как «Петербург шутейный». Выпуск составлен из небольших юморесок, шуточных стихов, рассказов, анекдотов из истории русской литературы, мини-мемуаров и проч. Качество всех этих материалов, к сожалению, среднее. Юмористическая повесть **В. Рекшана «Сестра таланта»**, в которой автор — писатель, рок-музыкант и путешественник — рассказывает о петербургских литераторах (а также об околολитературной жизни города) вообще едва ли смешна. Шутка, проходящая рефреном сквозь всю повесть, — «живой классик Рекшан». Подобные истории пишутся, по-видимому, как поются песни в степи, — до бесконечности. Вот встреченный лет через 30 после окончания школы одноклассник жалуется на обидно (то есть безденежно) сложившуюся жизнь: «а я ведь в школе круглым отличником был». Да не был он отличником, — уточняет автор повести, — был самым рядовым троечником, но ведь так создаются мифы — песнь о Нибелунгах, о Вещем Олеге, о «мальчике из Уржума». Вот автор рассказывает о том, как проводят Праздник Двора на Пушкинской, 10 — в знаменитом доме, где обитают деятели андеграунда и где бомжи пляшут с депутатами Госдумы. Завершается повесть рассказом о том, что автор купил себе старинный «мерседес-бенц», а куда ехать на нем, — не знает.

В главах из повести **Евгения Арнаутова «Коммунальная эротика»** («Нева», № 9) рассказаны несколько историй из жизни самых обыкновенных мужчин и женщин — одиноких, обитающих в заплеванных коммуналках, иногда — воистину чудом — перебирающихся из них в отдельное жильё. И непонятно, почему эти то ли новеллы, то ли неоконченные анекдоты печатаются именно в «Петербург шутейном».

Собственно к теме номера относится только «**Анекдотическая история русской литературы**», рассказанная **Валерием Барзасом** («Нева», № 9). В ней приводятся шуточные истории из жизни и быта писателей от Ивана Баркова и Александра Грибоедова. К сожалению, публикатор не сослался на источник, из которого щедрой рукой зачерпнул свои анекдоты. А именно — на книгу 1871 года издания «Миллион, а может быть, и менее анекдотов, каламбуров, острот, шуток, глупостей, современных песен, куплетов... заимствованных из всех известных писателей прошлых и современных». Ведь без такой ссылки читатель, чего доброго, подумает, что всю эту коллекцию подобрал именно В. Барзас.

«**Роман в карикатурах**» **Евг. Биневича** — действительно любопытная история развития печатных изданий, точнее — карикатур в них, начавшаяся после 1856 года, когда был упразднен цензурный комитет. Автор вспоминает «Искру» Курочкина со знаменитыми иллюстрациями Н. Степанова и возникшие после нее журналы «Весельчак», «Заноза», «Гудок». Интересно прослежена история сатирической графики, посвященная великому Островскому, а также карикатурный «взрыв» после нашествия на драматическую сцену оперетты.

Всякий раз, говоря о тематических номерах «Невы», надеешься, что журнал с серьезными литературными традициями наконец-то соберет лучшее, а не ограничится подбором случайных материалов. Обидно бывает обманываться, но тем отраднее видеть действительно интересное, достойное.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

А. «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь»,
Литературная газета, «Общая газета»

СТАТЕЙ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ — в целом или о тех или иных существенных его областях — немного. Среди них отметим прежде всего работу **Марины Адамович «Юдифь с головой Олоферна»** («Новый мир», № 7). Критик весьма учено пишет о «псевдоклассике в русской литературе 90-х» — о том, как современная российская литература эксплуатирует классическое наследие, заимствуя названия, имитируя стиль, жанр, а то и просто придумывая продолжение какого-нибудь знаменитого произведения.

Адамович напоминает: неприятие авторитарности и легитимности прежней культуры — фундамент постмодернизма. Состояние «радикальной плюральности», отказ от *ratio*, отрицание историзма, видение мира как хаоса, лишенного причинно-следственных связей, иерархии и ценностных ориентиров, «мира децентрированного», предстающего лишь в сознании, — все это порождает тенденцию воспринимать «мир как текст», приспособленный к вольным субъективным интерпретациям. А совмещаясь с теорией игр, трактующей «культуру как игру», это постмодернистское восприятие мира приводит и новым способам легитимации, самореализации в социуме, важнейшим из которых становится перформанс. Перформанс — это в том числе и постмодернистская игра с классическими художественными текстами. Русская классика с ее оформленным этическим и эстетическим кредо, с ее сбалансированными нормами, гар-

монией и эстетичностью оказывается чрезвычайно привлекательна и удобна для игровой литературы постпостмодернизма. Адамович замечает в связи с этим, что нет, например, никакой «необходимости» переписывать последний акт пьесы Чехова «Чайка». А вот удовольствие от переписывания Акунин явно получает. Писать чеховским словом, погрузиться в атмосферу его пьес — искушение, труднопреодолимое для беллетристов-постпостмодернистов. Акунинские псевдодетективы — тоже чисто постмодернистский *проект, суперигра* с читателем и с жанром собственно детектива.

М.Адамович анализирует также литературные опыты Нодара Джина, С.Солоуха. Псевдоклассики используют прием паратекстуальности или пишут пастих на конкретное классическое произведение или стиль конкретного классика — лишь бы наличествовала готовая конструкция. В этом, по мнению критика, ощущается желание определиться в истории культуры и цивилизации. Псевдоклассик предлагает свое произведение: взамен, на место конкретного деконструированного классического, — любое иное пространство, выгороженное в мире хаоса, ему просто неинтересно, ибо в таком «пространстве вообще» не произойдет его собственная легитимация.

Псевдоклассика озабочена созданием собственной мифологии. Примеры «чистого мифотворчества» — многотомное продолжение «Властелина колец», написанное Ником Перумовым, или «Мифогенная любовь каст» Пепперштейна и Ануфриева. Братья же Катаевы интерпретируют свои «Пятнашки, или Бодался теленок со стулом», где обыгрываются ситуации знаменитой книги А.Солженицына, как плутовской роман, однако создают при этом не пастих, но классическую пародию, выставив эстетику постмодернизма в качестве новой авторитарной нормы.

Адамович замечает далее, что люди «первоначальной эпохи накопления» постмодернизма — Андрей Чернов, Михаил Вербицкий, Вячеслав Курицын, Дмитрий Галковский, Владимир Сорокин — вынуждены уступить место новым «классикам»: Баяну Шириянову, Марату Гельману, Максу Фрау, Настике Грызуновой, Линор Горалик, Амазонке и проч. Критик обращает внимание на *наличие* новой литературной элиты, мифотворчеством которой и становится плутовской роман Братьев Катаевых. Новую элиту мало волнует непризнание со стороны корифеев; ведь корифеи — день вчерашний. Ее, судя по всему, мало заботит и собственная неталантливость — в эпоху торжества массовой культуры срабатывает закон толпы: новых элитчиков много, и они поддерживают друг друга на плаву.

Критик считает: литература разрушается, если начинается нечестная игра и художественные тексты оцениваются и ценятся не по художественно-эстетическим, а по клубно-тусовочным меркам. Тогда деконструкция приобретает характер карательной операции с целью социальной легитимации.

Статья М.Адамович хороша всем, вот только предмет ее внимания едва ли заслуживает столь тщательной препарации. Впрочем, сомневаться в полезности и нужности всякой серьезной аналитической работы тоже не приходится.

Ольга Лебедушкина в статье «**Роман с немцем, или Русский человек на rendez-vous с Западом**» («Дружба народов», № 9) анализирует содержание русско-западноевропейской коммуникации в современной словесности, привлекая про-

изведения Н. Садур, М. Рыбаковой, К. Плешакова, И. Муравьевой и Я. Могутина. Выводы критика таковы: с 99 года мода на политкорректность и толерантность прошла; телевидение и кино двинули в массу образ симпатичного ксенофоба. В ответ на ожидания, конечно. Вот об этом наша словесность видела тревожные сны, которые и сбылись. Сны о том, что не выходит счастливого брака у «невестящейся» России. Там, где начинается «роман с немцем», сразу заявляет о своих правах смерть... Между тем, кажется, на выводы Лебедушкиной повлиял весьма специфический отбор имен и произведений. Так ли уж они показательны? Так ли уж прочно укоренена в массах неприязнь к Западу? Дело в том, что масса как таковая своего мнения не имеет. Многие люди даже и не хотят его заводить, ленятся потрудиться над оформлением внятного мирозерцания. Им выгодно пользоваться шаблонами пропаганды. Конечно, на протяжении второй половины 90-х годов антизападные идеи упорно внедряли в сознание масс недалёковидные политики и глупые журналисты. Но теперь-то, после сентября 2001 года, видно уже многим, как жалки и убоги намерения найти для России особый путь или даже дружить с Востоком против Запада. Писатели же наши в основном делились своими или заимствованными комплексами, вовсе и не претендуя на особую глубину мысли и анализа. Увы-увы. Но тем не менее охотно путешествовали на Запад и даже подолгу жила там на гранты и просто так, по таковому случаю как-то легко забывая о своей мрачной танатологии, выявленной бдительным критиком. Чуть ли не каждый кварталный обзор содержал аннотацию на такие опусы, где в каждой второй строчке читалась неприязнь, но в каждой третьей — и очарованность Западом.

В «Октябре» (№ 9) Ольга Славникова («Детям до восемнадцати») размышляет о нежелании некоторых молодых авторов взрослеть, учиться, реализовать «проект взрослого человека». По этому признаку противопоставлены инфантилы Баян Шириянов и Слава Курицын — и обладатель зрелого понимания жизни Михаил Кононов («Голая пионерка»). А в № 7 в статье — Капсула времени» Славникова по-теплому пишет о доброй литературе — Дудолодове, Слаповском, Хольме ван Зайчке.

Уникальный по тщательности и остроте характеристик **ОЧЕРК ТОПОГРАФИИ РУССКОЙ ФАНТАСТИКИ** последнего десятилетия дает **Виталий Каплан** в статье «Заглянем за стенку» («Новый мир», № 9). Этот подробный обзор интересен и в литературном, и в общекультурном планах. Российской фантастике, как указывает критик, за считанные годы пришлось проделать путь, занявший на Западе десятилетия. Когда к середине 90-х схлынул бум зарубежной фантастики, оказалось, что у нас немало собственных талантов. Тогда же появились и издательства, рискнувшие выпускать российскую фантастику, — «АСТ», «Северо-Запад», «Терра», «Эксмо», «Вагриус». Хуже дело обстоит журналами: единственное профессиональное издание, целиком посвященное фантастике, — московский журнал «Если».

Каплан подробно анализирует *жанровое многообразие* рассматриваемой литературы — современные формы *научной фантастики*, основанные на фантастических допущениях, которые не противоречат основам позитивного знания; жанры «*фэнтези*», где фантастический элемент несовместим с «научной картиной мира»; жанр *историческо-фантастического романа*, где на историчес-

ком материале авторы пытаются *исследовать* общечеловеческие проблемы — долга, власти, нравственного выбора, духовных исканий и т.п.; жанр *мистического триллера* (иногда еще называемого «сакральной фантастикой»); жанр так называемых *альтернативных историй*, где авторы пытаются переиграть реальный ход исторического процесса, посмотреть, а «что было бы, если бы...»; жанр *космической оперы*, где обязательно изображение человечества в общекосмической перспективе, во взаимоотношениях с инопланетными цивилизациями.

Не менее велико *тематическое разнообразие* фантастической литературы. Было время, указывает критик, когда советская фантастика являла собой воплощение общественной мечты литературными средствами. Теперь же питательная среда для фантастического произведения — клубок нынешних проблем, страхов, разочарований. Фантастика реагирует на людские ожидания, на витающие в «коллективном бессознательном» настроения, когда никто ни в чем не уверен, все вокруг мрачно, а вместе с тем огромна потребность в чем-то «большом и светлом». В современной фантастике много *антитоталитарных* произведений, постоянно эксплуатируются *криминальная тема, тема эскалации насилия, имперская идея, национальные проблемы, мистические сюжеты* и т.п.

Завершая свое исследование, Виталий Каплан делает неутешительные выводы. Никто из авторов не открыл ничего принципиально нового, не провался в неведомые ранее измерения мысли и духа. Большая часть лежащей на прилавках фантастики является всего лишь коммерческим продуктом. Увы, растет «энтропия качества». Откровенно бездарных, графоманских текстов становится все меньше — но господствует нечто среднее: относительно грамотный язык, неплохо закрученный сюжет, умение вышибить из читателя слезу или хотя бы поднять ему настроение. Причины усредненности — стремление к авантюристике, цеховая замкнутость фантастов. Однако есть в фантастике и сильные писатели, которые могут на равных играть на поле «большой» литературы: Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко, Владислав Крапивин, Леонид Кудрявцев, Эдуард Геворкян, Юлия Латынина. Возникает все больше произведений, которые могут быть зачислены и в разряд фантастики, и в «мейнстрим» («Кысь» Т.Толстой, «Книга писем» В.Хлумова, проза Пелевина, «Ноль часов» М.Веллера). На противоположном краю появляются тексты, смахивающие на инструкции к ролевым или компьютерным играм.

Удельный вес произведений, выполненных в жанре фэнтези, возрастает (что является индикатором читательских пристрастий). Интерес к «твердой» НФ, где исходное фантастическое допущение (лежащее в рамках общепринятых мировоззренческих представлений) является стартовой точкой для развития и мысли, и сюжета, тоже вновь начинает возрастать. Вполне возможно ослабление интереса к социальной теме. Еще одна примета — отмирание малых форм: рассказов и повестей. Пишутся романы, и толстые — листов на пятнадцать.

Обзор работ **О ПРОЗАИКАХ И ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ** начнем с интересной статьи проблемно-критического плана. Светлана Хазягерова в статье «У них там были забавные представления о писательстве...» («Знамя», № 9) резко критически оценивает роман Дмитрия Быкова «Оправдание» и камня на камне не оставляет от дебютного прозаического опыта известного поэта, критика и журналиста. Хазягерова указывает на редкую нечувствитель-

ность Быкова к родному языку и дает длиннейший свод примеров. Ошибок оказалось без малого 300. Из чего вытекает, что Быков по-русски писать не умеет. Зато, отмечает критик, он берет на себя риск смело судить о литературном процессе. И тут его как с горы несет. Но еще больше смущает (возмущает) Хазагерову содержательный план романа. Его можно было бы назвать непереносимо кощунственным, если бы из-за своей языковой неуклюжести он не был таким открыто смешным. Идея вымученная. Психологической достоверности никакой. Диалоги разваливаются. Речевые характеристики неправдоподобны. Радует автора статьи только отсутствие в романе мата и даже пейоративной лексики.

Свою статью Хазагерова венчает суждением о странной культурной политике «наших «правых»» (Хакамада и компания из СПС), которые премиями и дёшевыми словами поддерживают литературу релятивистско-игривого направления, низкопробные поделки авангардистского толка.

О романе Быкова пишет и **Елена Иваницкая** («Преступление и оправдание»: «Дружба народов», № 7). На сей раз взгляд на книгу почти противоположный. С точки зрения Иваницкой, роман — *литература больших идей и очень своевременная книга*, и в то же время — проза поэта, игровой роман-обман. Быков выносит на рассмотрение проблему отечественного понимания истины, подвергая обсуждению смысл и попытки оправдания сталинских репрессий. Критику кажется, что нельзя подобные явления использовать как эстетический материал. Но Иваницкая не решается ругать Быкова, тем паче что вывод Быкова состоит в том, что оправдание, понимание и прощение репрессий возможно только для человека или общества, скорбных разумом. В этом и актуальность романа, ибо сегодня в общественном сознании и государственной идеологии сильно искушение реабилитировать Империю. Роман попадает в больное место общественного сознания: необходимость понять, что же с нами случилось, слишком тесно связана с отменой нашего мессианского и сверхчеловеческого статуса.

В седьмом номере «Дружбы народов» весьма активно обсуждался роман **Андрея Волоса** «Недвижимость».

Виктор Мясников в статье «Квартира — больше, чем жилье» называет роман технотриллером. Остросюжетное произведение, где главным героем выступает технология, а центральный персонаж-рассказчик — экскурсовод по технологической цепочке. Но автор не позволяет себе обострять сюжет. Он хочет создавать высокую прозу. Побеждает боязнь быть причисленным к авторам низкого жанра. Между тем сфера Волоса — жесткий реализм и острый сюжет. Зато удался образ главного героя. Это человек долга в прямом нравственном смысле. Совестливый. Потому он не вписывается в русский бизнес — бессмысленный и беспощадный. «Недвижимость» — роман об одиночестве нравственного человека в безнравственное время. Умеющий *читать* получит от романа сильную эмоциональную встряску. Остальные — массу полезной информации.

Владимир Губайловский в статье «Книга о счастье» называет роман Волоса реалистическим и/или плутовским романом. Романист исследует проблему, кому на Руси жить хорошо. У него, как когда-то и у Некрасова, выходит, что жить тяжело всем. Главная тема романа — сопротивление среды. Оно почти непреодолимо. Потому и действие почти стоит. Технология тут — символ экзистенциальной закономерности. Но жизнь продолжается, несмотря на полную не-

возможность существования. И в этом есть заряд оптимизма. Волос пишет роман отчаяния, но люди продолжают жить; значит, жизнь в них сильнее и остается надежда.

Дмитрий Бак в статье «Триста лет одиночества, или Вечность у реки» («Новый мир», № 7) напоминает, что новый, весьма объемистый и немногими прочитанный роман Алана Черчесова «Венок на могилу ветра» вошел в финальную тройку лауреатов премии имени Аполлона Григорьева и уступил первенство только на самом финише. Многих рецензентов пафосная стилистическая манера романиста приводит в раздраженное недоумение. Помилуйте, какой там эпос, ведь уже прочитан Фолкнер, а сто лет одиночества наедине с судьбой тоже явлены публике тому назад тридцать лет и три года (1967)! Однако Черчесов как-никак филолог, к тому же занимавшийся Фолкнером профессионально. А коли так, то все явные и скрытые аллюзии на классика двадцатого века намеренны и допущены с умыслом... «Венок...» — почти утопическая по нынешнему времени попытка создать современный национальный эпос на романной почве. Герои Черчесова живут в абсолютном, мифологически первоначальном мире, лицом к лицу с одухотворенной природой, каждый здесь одинок и замкнут в своем собственном поединке с мирозданием. Даже религия в этом масштабе изображения жизни отходит на второй план. Быт осетинских аулов описан с подчеркнутой тщательностью, однако вовсе отсутствуют упоминания о церквах либо мечетях, о священнослужителях и т. д. Ситуация «конца золотого века» для мифологических и фольклорных сюжетов традиционна. Время в аулах «вывихнуло суставы», над миром и людьми тяготеет проклятие, обозначившее отдаление от правды и праведности, лишившее ход вещей естественной упорядоченности и стабильности, заставившее людей расстаться с радостным первоначальным неведением греха. Сложнейшие сюжетные перипетии (побеги, покушения, подмены близнецов и т. д.) так и не приводят героев к ответу на главный вопрос: что есть грех, что — добродетель. Бросающий вызов мировым стихиям нередко вызывает тем самым смирение перед судьбой, и, наоборот, покорность норме и добродетели зачастую оборачивается дерзким вызовом, достойным небесной кары. В этих условиях главное для героев — *услышать самого себя*, — в отсутствие судьбы и даже Бога, вне каких бы то ни было заранее нависших над свободным поступком запретов и заповедей. Именно это выстраданное созвучие с собственной подлинностью неминуемо совпадет с волею провидения и божества, тождественных природе вещей. Критик упрекает романиста за риторичность финала. Изначальный мощный стилистический всплеск превращается в фикцию, он лишь иллюстрирует выписанный Черчесовым готовый рецепт победы добра над злом.

Павел Басинский в статье «Переулочек — не тупик» («Новый мир», № 8) с симпатией к автору анализирует мемуарную повесть Олега Павлова «В безбожных переулках». Повесть Павлова отсылает к классическим образцам — и прежде всего, конечно, к «Детству» и Льва Толстого, и Горького — хоть это вещи принципиально разные по идеологии. Каким-то образом Павлов заставляет увлечься странным миром постоянно скандалящих и ненавидяще-любящих друг друга взрослых, в центре которого волей Промысла оказался чуткий, наблюдательный, сердечно ранимый маленький герой. Даже не знаешь, чего здесь боль-

ше: страшного или трогательного. Порой как раз самое страшное, вроде деградации пьяницы отца или попытки мальчика покончить с собой, и оказывается самым трогательным. Павлов всегда был щедр на подробности, но не всегда они получались достоверными. Павловские дед и бабка столь же напоминают горьковских Дедушку и Бабушку, сколь и гоголевских старосветских помещиков. Это — «идиллия», изображенная умным и ироничным пером, — очень важный компонент классической русской прозы. Но идиллия заканчивается, едва речь заходит о матери и отце. Мать и отец показаны зыбко и как бы недоумевающе. Самые близкие люди суть самые непонятные. Отец становится понятен только в момент слабости, падения. В повести Павлова много таких жестоких подробностей — «безбожных переулков», в которых плутает душа героя. На первый взгляд это лишь частная душевная биография. В последней своей вещи Павлов всячески удерживался от нравственных обобщений, от символической многозначительности, сфокусировав ее только в названии. Но, может быть, именно поэтому повесть и дышит свободно и читается с трепетом, будто твоя собственная биография?

А сам **Олег Павлов** в статье **«Музыка жизни»** («Октябрь», № 7) пишет о прозе Юрия Петкевича. Школа Платонова. Поэтика сновидений. Все герои — блаженные.

Александр Мелихов в отклике на прозу Валерия Попова «Ужас победы» («Победа над ужасом»: «Знамя», № 9) отмечает, что в героях Попова слишком много жизнелюбия, чтобы они позволили превратить жизнь в царство святости, — но в них и слишком много достоинства, чтобы они позволили превратить ее в царство подлости. В мире Попова неприятна только практичность, прикидывающаяся непрактичностью. Огорчает Мелихова и то, что в прозе Попова чеканку слов и живопись подробностей начинают смывать каскады происшествий. Писатель забывает про свое замечательное умение чувствовать и изображать плоть бытия.

На новый роман Василия Аксенова «Кесарево свечение» откликнулись **Алла Латынина** в «Литературной газете» («Этот жанр все-таки хорош своим несовершенством»: № 31-32) и **Карен Газарян** («Кукушкин карнавал»: «Общая газета», № 31). Аксенов переходит из прозы в поэзию, из реальности в вымысел. Роман в итоге — запись диалога профессора Аксенова с писателем Аксеновым. Это диалог с прошлым, с собственным литературным прошлым в том числе. Кукушкины острова — наново переписанный «Остров Крым».

Никита Елисеев в статье **«Между Оруэллом и Диккенсом»** («Новый мир», № 9) взялся обобщить наблюдения над творчеством Елены Ржевской по случаю появления ее двухтомника в «ИНАПРЕССе», а заодно и сурово осудить всю «остальную» современную литературу. В современной литературной разногласии, полагает критик, все (именно так: «все!») голоса сбиваются на фальцет бесстыжей откровенности. Все — от мала до велика — стараются рассказать о себе не то что всё, а даже как бы и больше, чем всё. В нынешней России некого эпатировать. На этом звуковом фоне — «Заголимся! Заголимся!» — тексты Елены Ржевской удивляют благородной сдержанностью. Девиз прозы Ржевской можно обозначить так: «Главное словами не скажешь, но на то нам и даны слова, чтобы с их помощью очертить неназываемое». Сдержанность Ржевской

еще и от ее доверия к читателю, переходящего в доверительность. В этом обаяние прозы Ржевской: ее одергивание самое себя, ее неразрешение себе быть откровенной, распахнутой до конца — совершенно искренни. Она — естественна в своей сдержанности, как современные литераторы — неискренни и фальшивы в своей распахнутости. Далее критик пробует объяснить мирозерцательное кредо Ржевской. Про поколение Елены Ржевской сказано: поколение победителей фашизма. Елисеев добавляет: и «очеловечивателей» отечественного коммунизма. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», — так сформулировал задачу поколения Слуцкий. Гуманизм, «очеловечивание» доставшегося в наследство быта и бытия тем более парадоксальны, что вышли из войны. Обычно из войны выходит — озверение, ожесточение, ненависть. Здесь все наоборот: война доказала ценность просто жизни, просто быта; важность не идеологии, но человечности. Быт — вот что держит человека. Это Ржевская утверждает с запальчивостью благоприобретенной антиромантической природы, преодолевшей соблазны героического романтизма. Где есть быт, где есть семья, дом, пусть нелепая, сложно, мучительно живущая, — там человек не потерян. Семейственность — основа неброского героизма. Для Ржевской потому так отвратительны Геббельс и его жена, что они убивают своих детей, взрывают семью во имя идеологии. Семья для Ржевской — ячейка не государства, но человечности. Поэтому главная героиня в ее прозе всегда — женщина. Именно — героиня. Мужик, мужчина может героически погибнуть, но спасти мужика от героической или негероической гибели, героически выжить — способна женщина. Женщины тянут на себе всю тяжесть жизни и выживания. Быт держится женщиной, а это важнее, чем бытие. Такой культ дома, семьи, традиции позволил бы, считает автор, называть прозу Ржевской консервативной прозой: не оголтелая реакционность, но исполненный достоинства и уважения к личности — консерватизм.

Светлана Иванова в статье «Я думал, я один такой...» («Знамя», № 8) также дает обобщенный взгляд на творчество недавно ушедшего от нас легендарного петербуржца **Виктора Голявкина**, чью книгу «Знакомое лицо» выпустила питерская «Азбука-Классика». Голявкин стал печататься давно — более сорока лет назад — как детский писатель. В советские времена именно проза для детей (в лучших своих проявлениях) оказалась одной из тех ниш, в которых литература смогла сохранить самое себя, оказавшись в стороне от официальной соцреалистической линии. Поиски того, что можно описывать без фальши, привели к невиданному расцвету детской литературы. Детям достались лучшие писатели и художники, создавшие лучшие из советских книг — детские. Новая книга адресована отнюдь не детям. Критик соглашается с А.Найманом: Голявкин — «логическое завершение раннего Зощенки». Его язык, нелепый, грубый, неуклюжий, но живой — это язык нового сказа, появившийся в нашей литературе вследствие сказа Зощенко и непосредственно вслед за ним. Герой Голявкина — это человек, непрерывно попадающий из одного нелепого положения в другое. Интонационно рассказы звучат то как байка, как хохма, анекдот, то как лирическая новелла. Иногда сам рассказчик как бы остается в тени, а героем истории становится некий «он» — сосед, знакомый рассказчика, случайный попутчик или, например, собутыльник. И этот персонаж тоже, как правило, с большими странностями — дурачок, неудачник, че-

люлек-нелепость... Прямой потомок того самого зошенковского «бедного», которому доступна — и по сей день — только «короткая фраза».

Елена Токарева представляет книгу Эдуарда Лимонова о предпринимателе, «народном олигархе» Анатолии Быкове «Охота на Быкова» (**333 страницы про любовь**: «Общая газета», № 27). Лимонов любит своего героя. Он внедряет в сознание читателя моральный кодекс, в котором обкатываются понятия «рэкет по необходимости», «убийство уголовников». Это кодекс беспредельщиков. Но тут Лимонов просто пользуется готовым информационным продуктом. Лимонов собирает свидетельства, как Быков раздавал свое богатство и у других отнимал, чтобы раздавать бедным. Против парня из народа объединились все «Дерипаски с Абрамовичами», чтобы завладеть богатством Края и пользоваться им уже без народа. На этой мысли Лимонов застревает и дальше уже не движется. «Люди из народа», чью концепцию представляет большевик и патриот Лимонов, не могут смириться с тем, что есть кадры умнее и образованнее их. Вокруг Быкова все дураки и предатели. Быкова предадут все «пупкины» из народа, которых он кормил и на которых опирался. Завершает свою рецензию Токарева мыслью о том, что Быков и Лимонов полезли в политику, куда их никто не звал, и оба закономерно оказались в Лефортове.

ПОЭЗИЯ. В критике сезона появилось несколько примечательных статей о наших самых крупных поэтах. Эти работы, как кажется, могут в совокупности служить опытом полилога, коллективного размышления о путях и проблемах современной лирики.

Дмитрий Быков в статье **«Вокруг отсутствия»** («Новый мир», № 8) делится соображениями о стихах Льва Лосева. В новом статусе классика (обозреватели производят Лосева даже в ранг «лучшего русского поэта современности») Лосев захлестывается потоком лестии. Быков тут не со всем согласен, а начинает с парадокса: «Ни у одного русского лирического поэта проблема отсутствия собственного «я» не ставилась так остро, как у Лосева». У Лосева не только почти нет стихов на «Я» и «Ты», но главные коллизии разворачиваются именно вокруг отсутствия лирического героя («И бьются язычки огня вокруг отсутствия меня»). Вообще поэзия Лосева — сплошной парадокс: лирического «я» нет, родины — кроме литературы — нет, любви нет, Бог полуприсутствует, угадывается, но надежды нет уж точно. А поэт — есть, несомненен. В этом состоит главное лирическое противоречие Лосева, и только им он ценен для русской словесности, хотя огромны и формальные его заслуги: множество оригинальных рифм, изящная композиция, живая и естественная речь с элегантными вкраплениями жаргонизмов, канцеляризмов и неприличностей.

Впрочем, у Лосева не то чтобы нет героя: его нет — здесь. Его нет дома. Это невидимое «я» исчезло потому, что всякое соприкосновение с действительностью его ранит: отсюда же редкость и краткость проговорок о ключевых эпизодах биографии, и подчеркнутое равнодушие к судьбам мира (хотя на самом деле тут лишь превышение болевого порога, заниженного с рождения), и маска ирониста. Однако иронию свою Лосев ненавидит горячо и искренне — и тут Быков ссылается на знаменитую лосевскую «Гуттаперчу».

«Ни один ревнитель теплоты-доброты-пронзительности, — пишет Быков, — ни один патриот, защитник нравственности... не произнес таких щемящих,

мучительных и нежных слов, как холодный и замкнутый иронист Лев Лосев. Вот тут главное его отличие от Бродского... Лосев — поэт... теплый, но настолько ущемленный и травмированный, настолько подавленный миром, в котором ему приходилось жить-выживать (он и писать-то смог, только покинув этот мир и переселившись в более комфортную среду), что эмоция прорывается в его тексты чрезвычайно редко. Но там, где у Бродского в ледяной пустоте витийствует лирический герой, как раз очень даже полнокровный, живой и осязаемый, — там у Лосева в ледяной твердыне мира образует спасительная лакуна пустоты; эта-то пустота и есть авторское «я», со всех сторон стиснутое чужой плотью. Где герой Бродского упраздняет мир — герой Лосева упраздняет себя. Боль у Лосева слишком сильная, чтобы можно было даже помыслить о словесном ее оформлении, боль хроническая, прорывающаяся не в смысле слов, а в звуке. Всякая вещь режет глаза, порождая желание немедленно их закрыть...»

Евгения Свитнева в статье «**Координаты духа, или Дикопись в ритме свинга**» («Новый мир», № 9) делится впечатлениями после прочтения новой книжки **Елены Шварц** («**Дикопись последнего времени**», СПб, «Пушкинский фонд»). Критик восхищается виртуозной техникой поэтессы: «изобразить и назвать Елена Шварц может все». Свитнева уподобляет стихи Шварц джазовым гармониям, диссонансирующим, но уместным. Полиметрия, сочетание разных ритмических рисунков на протяжении одного стихотворения — фирменный знак поэтессы, в этом она всегда остается верна себе. По утверждению критика, Шварц разрушает и традиционную канву версификации, и стереотипы поэтического восприятия. В ход идут не только перебои ритмов, но также инверсии, смещенные ударения, другая «практическая стилистика». И все это сочетается со смысловой стихийностью изложения.

Свитнева отмечает также, что в новой книге Шварц острее сказались темы неприкаянности, одиночества, духовного брожения. По выражению критика, эта книга — черный ящик ночного сознания. И характерно, что о любви и личных романтических переживаниях у Шварц, как всегда, ни слова, ни полслова. Ее поэзия вообще всегда была вне личностного эротизма. О чем же она пишет? О Боге и о себе. Эта тема ставится ребром — несовершенства земного и небесного, Божеского и человеческого. Мир несовершенен настойчиво, коварно. Отрицание судьбы, заявленное в ранних произведениях, теперь все чаще сменяется мотивами непротivления року. Человек лишается самостояния — не он идет, а *его влечет*.

В «Дикописи...», как отмечает Свитнева, неоднократно повторяется тема превращения страдания в жемчуг. Страдание таким образом становится чуть ли не непременным условием таланта, духовного роста — своего рода катализатором для получения «пилюли бессмертия».

О петербургском поэте **Сергее Стратановском** пишут в последнее время часто. Вот и **Владимир Губайловский** в статье «**Воскресение Шарикова**» («Новый мир», № 7) обращается к его книге «**Тьма дневная**». Теперь как-то принято считать, что стиль Стратановского — это „стиль бормочущей розановской записки“. Но вообще, считает Губайловский, трудно найти более далекого от Стратановского писателя, чем Розанов, и здесь не должно обманывать некоторое внеш-

нее сходство — «бормотание». У Стратановского стихи — это всегда отчаянное усилие преодоления. Ни о какой розановской непрерывности, текучести, мимолетности здесь и речи нет; нет ни дома, ни быта, вместо них — «вещей привычных внутренняя ночь». Тьма метафизическая и физическая, внешняя и внутренняя, нечеловеческая, глухая, непреодолимая. И в такой невеселой обстановке Стратановский предпринимает попытку не только продолжить существование, но и говорить стихами. И ближайшей опорой оказывается ежедневная работа — поэзия и слово. Стратановский принципиально фрагментарен, утверждает критик. Он меньше всего поэт окончательных выводов и непререкаемых утверждений. Его стихи всегда заканчиваются отсутствием точки: неоконченность текста — это жест перехватившей горло немоты, не бесконечное продолжение говоренья, а невозможность речи и серьезное сомнение в такой возможности когда-либо впредь. Стихи Стратановского — бесконечно повторяющиеся, обреченные на неудачу попытки человека рассказать о катастрофе тем, кто не способен ее различить, тем, кто гибнет в полной темноте, не понимая, почему и за что. В мире, который выражает Стратановский, жить нельзя, но, кажется, это и есть тот мир, который окружает нас каждодневно.

Алексей Машевский пишет о стихах Юрия Колкера, вошедших в сборник «Ветилуя» («Авангардизм традиционности»: «Новый мир», № 9). Книга Колкера полемически антиавангардна, традиционна по своей поэтике и как бы даже бравирует зависимостью от таких корифеев русского стиха, как Вяземский, Манделштам и (особенно) Ходасевич. Антиавангардность и одновременно маргинальность своей позиции Колкер осознает, отчего и дал книге говорящее название — «Ветилуя» и снабдил ее красноречивым вступлением. Трагичность и героичность сознания здесь налицо. Заметна даже пафосность, не всегда выглядящая смешной и нелепой. Машевскому, однако, кажется, что позиция одиночки и чуть ли не Рыцаря Печального Образа, сражающегося с ветряными мельницами Авангарда, несколько устарела. В атмосфере приговоских кикиморных завываний, однообразных иронических выкрутас, в атмосфере безответственного, натужного и самоцельного метафоростроительства, в атмосфере воспроизводства третьей (десятой!) свежести опытов футуристов, заумников, чинарей-обэриутов, адептов вакуумной и тактильно-визуальной поэзии всех мастей, — просто, точно найденное поэтическое слово, соответствующее масштабу человеческого опыта и, наконец, элементарно осмысленное, выглядит необыкновенно новым, свежим и в этой своей обновленной свежести само становится как бы «авангардным». Поступательное движение искусства невозможно теперь без смены эстетических критериев XX века, одним из которых была пресловутая формальная новизна. Между тем новизна заключается не в изобретении чего-то принципиально никогда не бывшего (в духовной области подобная операция крайне сомнительна), а в здесь-и-сейчас возобновляемом понимании того, что было всегда и что требует от тебя и твоего времени соответствующей подлинности и адекватного языка выражения. Контрастом к современному «ниневийскому язычеству» постмодернизма и служит ориентированная на ясность высказывания, на смыслоемкость и ответственность фразы, на традиционный рифмованный силлабо-тонический стих «правверная» поэзия Колкера.

Успешное движение, впрочем, затруднено у Колкера некоторой риторичностью. Мы слышим по большей части голос проповедника, а не собеседника. Условные понятия часто вытесняют жизненную конкретику. Издержки, по видимому, неизбежные, поскольку занятая Колкером позиция охранителя и защитника последней крепости духовности, последнего прибежища высокой поэзии — Ветилуи обрекает его на позу, исполненную патетики. И на риск вызвать издевательские насмешки. Ведь что сейчас может быть смешнее и уязвимее позиции человека, верящего в Истину и ищущего смыслов.

Мария Бондаренко в статье «**Чтобы книга стала Телом**» («Знамя», № 8) подробно знакомит с необычным поэтом-питерцем **Васей Филипповым**. Его стихи уже получали характеристику «коллективного бессознательного русской неофициальной культуры» (М.Шейнкер) и пророчество лет через сто стать, возможно, единственным достойным памяти потомков образцом «второй культуры» 60-80-х (В. Кривулин). Бондаренко считает: современному поэту есть чему поучиться у В. Филиппова! Для критика его фигура — своеобразный камень преткновения в поиске новых путей интерпретации. Для читателя — сложный и затягивающий мир новой эстетики. В статье и делается попытка найти язык для анализа такой поэзии (со ссылками на Ж.Делеза) Критик полемизирует со своими предшественниками. Она считает, что смещение ими акцентов в сторону биографического и социального контекста приводит к тому, что доброе намерение ввести поэта в литературный процесс оборачивается его заключением в узкие рамки диссидентской культуры. В благородном желании создать стихам «соответствующий» контекст можно прочесть стремление найти им «оправдание», скрывающее под собой сомнение и неуверенность в их природе. Поэтическая личность В.Филиппова не вписывается без остатка в рамки диссидентской культуры. С одной стороны, его поэтика уходит корнями в стилистическую программу 60—80-х. С другой же стороны, выражение телесности в слове, особая организация высказывания со всеми вытекающими отсюда свойствами (появление «документальных» масок-персонажей, слияние героя с авторским Я, опредмечивание зрения и речи как таковой), — все это делает стиль поэта актуальным в контексте поэтических опытов 90-х (Д.Воденников, Д.Соколов, А.Анашевич и др.), описанных в критике как «театрализация невроза», работа на уровне «фиктивного эротического тела авторства» (И.Кукулин).

О москвичах пишут тоже. Поэзия еще одного из крупных современных поэтов, **Сергея Гандлевского**, стала предметом анализа **Леонида Костюкова** в статье «**Свидетельские показания**» («Дружба народов», № 7). Первая мысль Костюкова такова: Гандлевский — позитивист. За спиной материалиста мир, конечно же, есть — за спиной позитивиста его, пожалуй, и нету. Зияющие щели, пустоты и провалы в картине мира материалист наспех затыкает примышленной ватой вещества. Позитивист имеет смелость наблюдать эти щели. Перед нами тот случай, когда свидетельские показания помимо воли свидетеля становятся обвинением. Возникшая картина видимого человеческого существования настолько трагически бессмысленна, что поэт попросту вынужден обратиться к Господу — точно так же, как мы звоним в РЭУ по поводу несовместимого с жизнью состояния жилища. Словарь Гандлевского сознательно усечен; в нем мало понятий и обобщений, еще меньше — слов-предположе-

ний, сублиматов. Ясность и конкретность лексики делает близкой и отчетливой границу между высказанным и неназванным, причем аскетизм первого взывает ко второму. Приближаясь к немоте, к точке собственного несуществования, поэзия принимается говорить о том, о чем говорить невозможно и одновременно единственно имеет смысл говорить.

К середине 90-х, считает автор, поэтика Гандлевского становится уже сфокусированной, как гиперболоид инженера Гарина. Один его шедевр в состоянии изменить картину современной русской поэзии. Пять — утвердить его как одного из претендентов на трон. Тридцать же — по странным законам культуры — менее удивительны, чем пять. Арифметика тут проста: раньше мы считали, что никто так не может, — теперь мы видим, что ты так можешь. Каждое новое стихотворение Гандлевского узнаваемо (признак внятной и состоятельной стилевой манеры) и превосходно, но оно крайне мало в состоянии добавить к суммарному сообщению предыдущих. Нечто вроде кризиса высшей точки. «Верхом идиотизма было бы подытожить, что у Гандлевского все впереди. (...) И однако — невзирая на ваши вполне уместные ухмылки, постучав для порядка по дереву, заключу именно так. Как мне кажется, самые поразительные впечатления от стихов Сергея Гандлевского у нас с вами еще впереди».

Обширную статью **Евгения Ермолина о Тимуре Кибирове** («Слабое сердце»: «Знамя», № 8) ее автор не считает необходимым подробно реферировать, отсылая интересующихся к полному ее тексту в бумажной и онлайн-версиях. В двух словах: Кибиров хотел быть знаменем поколения, но поколение не оправдало надежд, а сам поэт столкнулся с творческими проблемами, которые остаются нерешенными. Тем не менее он вовсе не сдается, а пытается — правда непоследовательно — создать уже абсолютно личную точку опоры в безнадежном мире. Возражения на критику Ермолиным поколения, потерпевшего поражение в 90-х, см. в «Русском журнале» (www.russ.ru): А.Агеев, «Голод», № 50. (Агеев считает, что это последнее советское поколение, напротив, вполне преуспело и отчетливо процветает, ставя в пример себя, а Кибиров никакого кризиса и подавно не переживал. Он дает такой совет «шестидесятникам» и их эпигонам: «...не вешайте на все «поколение» свои личные проблемы: попробуйте пережить их интимно»).

Лиля Пани в статье «Доказательство в образах» («Новый мир», № 7) размышляет о сборнике **Владимира Гандельсмана «Тихое пальто»**. Сборник, считает она, в целом убеждает, что хлебом гандельсмановской поэзии безусловно остается логос, который логос, гармония, которая гармония. По-прежнему соль поэзии не в приправах, а в том, к чему они добавляются. И по-прежнему он потрясен безусловностью бытия, полученного «из первых рук», и требует от своего языка передать дрожь живой жизни, будь она человеческая, растительная или животная (олень из стихотворения «В полях инстинкта» заслуживает быть зачисленным в свиту царицы животного мира — цапли из «Долготы дня»). И по-прежнему его истинный «лирический герой» — ребенок: хрупкий прибор, точнее прочих измеряющий непостижимое качество бытия — данность. Память Гандельсмана о детстве не умиляется «праздничной скукой ребенком быть», но для него, ослепленного «взрослыми» смыслами жизни, она — память — поводырь в поисках утраченного ребенка в себе, то есть в поисках утраченного

умения — жить, «зачем — ни разу не спросив». Лирика Гандельсмана скорее онтологическая, чем экзистенциальная (и еще меньше психологическая): переживание своей «экзистенции», себя в мире расширяется до органического ощущения мира в себе, себя миром. Его «я» появляется всегда в окружении реалий мира и при таком освещении, что свет падает больше на них, чем на «я», так что не блестит, приглушено это «я», растворено во внешнем. Наверное, не случайно Гандельсман чувствует себя созревшим для собственных вариаций на евангельскую тему. Неожиданность образов превосходит все ожидания. Из «Диптиха» о крестных муках Богочеловека: «Тук-тук-тук, молоток-молоточек, / чья-то белая держит платок, / кровь из трех кровотокающих точек / разматает Его, как моток».

Еще одна статья **Владимира Губайловского «Нежность к бытию»** («Дружба народов», № 8) посвящена новым стихам Беллы Ахмадулиной. Ахмадулина стала воплощенным образом поэтессы, «Поэта-девицы». С такой славой нельзя не считаться. Ее поэзия была примером честного слова, сказанного в условиях тотальной лжи, а сама Б.А. казалась едва ли не единственным публикуемым в России поэтом, заявившим и отстаившим свою независимость от идеологического диктата. Потом показалось, что она отодвинута новой эпохой на задний план. Она была далека от «нового мэйнстрима». Но сегодняшние ее стихи нужны и актуальны. Это новая весть... В женских стихах есть то, чего не может быть в мужских, — нежность к бытию. Нежность — это обязательная неокончателность суждения. Она оставляет надежду на прощение и не допускает цинического отношения к миру. Визитка Ахмадулиной — ассонансная рифма. Так создается эффект неокончателности, объемности звука. Словарь Ахмадулиной — словарь архаического высокогго штиля. Это словарь XVIII века. Архаика подчеркнута и уравновешена свободой ассонанса. Ахмадулину правильно относят к Пушкинской плеяде. У нее есть строгость дружбы.

А **Лев Аннинский** тряхнул стариной: в статье «**О безумном столетье моем**» («Дружба народов», № 7) напомнил о поэтессе Нине Королевой, когда-то (в 1976 г.!) прославившейся своим стихотворением, сочувственным казненной царской семье. Оно было напечатано тогда в журнале «Аврора» и вызвало громкий скандал. Теперь у нее вышел сборник «Соната-осень». Это книга несчастий и драм.

Евгений Реутов рецензирует книгу стихов и песен Юрия Шевчука «Защитники Трои» («**Приближаясь к Ломброзо**»: «Знамя, № 9). Рок-музыка быстро становится достоянием архива, откуда два шага до бережка Леты. К тому же печатное поэтическое слово — это всегда чуть-чуть репетиция, черновик автоэпитафии, и по-настоящему продвинутый рок-жрец Аполлона, шестым чувством сознавая уникальность возможности взглянуть со стороны на «памятник себе нерукотворный», рано или поздно кладет электрическую лиру в футляр и подьмет стило. Тема «памятника» в «Защитниках Трои» сквозная. Памятники Шевчука — живые, но только до поры до времени стыннут в своем вдохновенном и задумчивом экстазе окаменения. Тема «греха», разнообразнейше варьируясь в книге, то и дело напоминает читателю о его, читателя, несовершенстве, как, впрочем, о несовершенстве автора, да и — чего греха таить! — несовершенстве мироздания. Но, о Господи, зачем в тонком сборнике ее так «мус-

сировать»? Разве нельзя кое-что из «грешного» оставить на следующий сборник? Критик считает, что лицо на обложке книги — интеллигентное, честное, слегка озаренное снисходительной к слабостям начинающих френологов усмешкой. К обладателю такого лица трудно не прислушаться.

Ирина Знаменская в статье «Я штопаю дыру в миропорядке» («Дружба народов», № 7) пишет о стихах Лидии Григорьевой, ныне живущей в Англии. Критика-поэтессе волнует, нужна ли в России такая вот, прописанная в Англии поэзия. У Григорьевой есть ощущение единства в масштабе мироздания. Божий дар — Сад. Все живое в нем — родственно друг другу. Потому у Григорьевой и ее русских читателей единое жизненное пространство.

В рубрике «Борьба за стиль» **Лариса Миллер** в посвященной памяти Бориса Рыжего статье «Чаепитие ангелов» («Новый мир», № 9) рассуждает о чуде поэзии. Выскочить из слов — задача столь же непосильная, как и воплотиться в слово. Жизнь — борьба. А жизнь поэта — еще и борьба за слово, со словом и против него. Казалось бы, достаточно и первых двух этапов. Но счастливо найденное слово вполне может стать самоцелью. Трудно в точности определить, почему одни стихи — пусть виртуозные, блестящие — остаются словами, а другие — хоть и не столь совершенные — не помнят, что они слова. У одного и того же поэта можно найти и то, и другое. Как это ни парадоксально, но слова, оставшиеся словами, теряют дар речи. Онемевшие слова — проклятие поэта. И нет никаких инструкций для желающих избежать подобной немоты. Есть только счастливые примеры, на которых все равно ничему не научишься.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Б. «Москва», «Наш современник», «Урал»

Сказать, что искать литературную критику в рассматриваемой журнальной нише, столь же перспективно, как иголку в стоге сена, — значит, не сказать ничего. Пусть количество обнаруженного говорит само за себя.

Вячеслав Лютый в статье «Козье копытце» («Наш современник», № 10) диагностирует идейные составляющие литературы постмодернизма, отмечая что сей метод «совершенно сознательно уходит за рамки искусства, за пределы духовной жизни — в сферу пошлого манипулирования человеческим сознанием, в область эмоционального физиологизма, в информационное поле алгоритмов и процедур». Для примера разобраны два, по мнению автора, наиболее характерных постмодернистских текста: роман Сергея Обломова «Медный кувшин Старика Хоттабыча» и пьеса Бориса Акунина «Чайка».

Капитолина Кокшенева в статье «Облик дарованный. Современная проза иркутских писателей» («Москва», № 9) весьма многословно и эмоционально признается в любви к означенной прозе. Автор называет ее «литературой живой жизни» (противопоставляя модернистским «симулякрам») и находит в ней признаки традиционно-русских духовных начал. На свою беду, автор обильно цитирует — цитаты же заставляют усомниться в точности характеристик, особенно в части художественной ценности исследуемых текстов.

Обзор подготовила Мария Ремизова

Беседы в редакции**ИНСТАЛЛЯЦИЯ: МИР № 2. ФЛИБУСТЬЕР****Беседа члена редколлегии «Континента»****Марины Адамович с Виталием Комаром**

Под рубрикой «Беседы в редакции» (в разделе ИСКУССТВО) «Континент» продолжает публиковать интервью с виднейшими представителями современной художественной культуры — независимо от того, в каком отношении к эстетическим, религиозным или общественным предпочтениям редакции находятся взгляды и позиции интервьюируемого. Мы полагаем, что когда мы имеем дело с мировидением и творческими платформами художников, значимость которых в контексте современной культуры не может быть подвергнута сомнению, читатель должен располагать на этот счет прежде всего добротной, надежной информацией, исходящей от самого художника. Именно этим целям и служит наша рубрика, которая на этот раз посвящена Виталию Комару и Александру Меламиду — российским художникам, принадлежащих ныне к числу самых известных на Западе. Их работы приобретены музеями Метрополитен (Нью-Йорк), Модерн Арт, Соломона Гугенхайма, Виктории и Альберта (Лондон), содержатся в собраниях знаменитейших коллекционеров мира. Художники провели 60 персональных выставок (в том числе — в Бруклинском музее, Модерн Арт в Оксфорде, в Музее Декоративных искусств в Лувре), участвовали в 70 групповых выставках. Знаменитые основатели соц-арта работают в разных жанрах и техниках — от классической живописи до концептуальной фотографии и инсталляции. И хотя традиционно критика отводит Комару и Меламиду почетное место патриархов именно в зале социально-активного искусства, не все так просто в мире этих художников. Об этом и беседовала с Виталием Комаром Марина Адамович.

— *Давайте с самого начала. Итак, Вы родились...*

— В Москве, в 1943 году. Алик Меламид — там же, в 45-м. Году примерно в 65-м, будучи студентами Строгановского училища, мы сделали первую совместную работу. В 67-м Училище закончили, в том же году состоялась наша совместная выставка. Это была первая попытка создать свое, новое течение.

— *Вот так сразу, с первой выставки — и «течение»?*

— Конечно. Мы вообще считаем, что принадлежность к одному течению — это высшее ментальное соавторство и представители любого течения — соавторы. Ведь соавторство — это вовсе не артельный метод, не техническое разделение труда. Просто каждый человек обладает способностью выражать себя в самых разных манерах. Скажем, кубистом можно быть как Брак, а можно — как Пикассо... Ровно таким же образом можно выразить свою индивидуальность в рамках соцреализма или экспрессионизма, ведь стиль — это и есть ткань живописи, скульптуры, инсталляции, перформанса, жизни... А Строгановское в свое время просто напичкало нас стилями; нас обучали работать в любом

направлении. Так что, наверное, стилистическое разнообразие наших с Меламидом работ объясняется именно этим.

— *Насколько вообще важно для художника принадлежать к направлению? Ведь творчество — дело индивидуальное; и, скажем, в литературе избежать «течения» — значит защитить свою творческую личность, свой талант от «круговой поруки» союзов и товариществ ...*

— Тем не менее никто не может избежать стиля. Наша манера говорить, даже сидеть на унитазе — все глубоко своеобразно. Всё — стиль. И выразить себя можно через множество самых разных вещей, в том числе — и через традиционные методы. Хотя — и это важно — самовыражение никогда не становилось нашей окончательной целью, мы все-таки всегда думали о создании стиля *коллективного*. В этом была и наша мечта, и наша идея соавторства.

— *Коллективного — на двоих? Или имеется в виду настоящий большой коллектив?*

— Просто двое — это минимальное необходимое количество членов течения. В 1967-м мы попытались создать первое течение в нашей жизни, а в 68-м к нему даже примкнул еще один человек. По-настоящему же массовый стиль нам удалось создать в самом начале 70-х, и уже в 71—72-м мы придумали для него название — «соц-арт». К соц-арту присоединилось большое количество художников, которые и посейчас продолжают работать в этом стиле. Хотя мы сами часто отходили от этого направления и подолгу к нему не возвращались. Знаете, как бывает, когда стремишься в течение одной жизни прожить как можно больше жизней...

— *Вернемся в 70-е. Если мне не изменяет память, в 78-м в Израиле вы разрабатывали проект с собакой — обучали ее рисовать; позже, в 97-м — работали с бобрами и термитами, в 98-м — с обезьяной, а в 99-м осуществили последний в этом ряду проект со слонами...*

— Ну, на самом деле такой строгой последовательности не было. Все существовало. Собака действительно была первой, экспериментальной работой, а слоны, обезьяна, термиты, бобры появились приблизительно одновременно. Наиболее успешно, конечно, реализовались слоны. А последним этот проект можно назвать только в том смысле, что он не так давно был представлен на бьеннале в Венеции. Кстати, тогда Русский павильон впервые выставлял не граждан России. Я уж не говорю о том, что мы с Меламидом давно американцы, но наши слоны и шимпанзе — они даже происхождения не российского. Они у нас тайские...

— *Кстати о животных. Целый период творчества вы посвятили работе с ними. Откуда такая любовь к братьям нашим меньшим?*

— И я, и Алик с детства любим животных, любим играть с ними, а животные, безусловно, любят играть в искусство. Свой метод работы со слонами мы разработали в 95—96 годах и применили в зоопарке города Толедо, штат Огайо. Тогда нашей подопечной была очень красивая шестнадцатилетняя слониха. Она рисовала с нами все лето. Чуть позже мы узнали, что в Таиланде государство запретило вырубку леса, отчего лишились работы и стали голодать слоны и их погонщики. Нам пришла в голову идея помочь тайландским слонам. Финансировало проект Общество охраны животных, и первый же аукцион в Бангкоке собрал

50 тысяч долларов. Большая часть этих денег пошла на строительство ветеринарного госпиталя. Успех аукциона, думаю, был вызван тем, что наш проект близко к сердцу приняла принцесса Таиланда, а это вам не демократия западного типа: если принцесса приглашает купить работы, их покупают. Подобные аукционы прошли в Нью-Йорке, в Иерусалиме. На собранные деньги мы основали три художественные Академии в трех тайландских деревнях. Картины на бумаге и холсте продаются туристам. А туристов в Таиланде много, и они все богаты...

— *Можно ли предположить, что животное в творчестве выступает для Вас в качестве некоего «чистого бессознательного» и что в этом бессознательном Вы видите некий верный путь постижения и достижения истины в искусстве?*

— В творчестве животного есть что-то, сильно отличающее его от творчества человека. Я даже думаю, что это — *внеисторичность критериев*. Ведь критерии человеческого искусства связаны с определенными взглядами и установками. Например, с точки зрения иконы, Леонардо да Винчи недостаточно хорош: он не отвечает канону. А с точки зрения того же Леонардо, греческие иконы тоже, ох, как нехороши! Потому как в рамках каждого стиля — свои требования, свои нормы.

Между прочим, еще Плиний записал свои впечатления о том, как слоны, взяв камешек или палку, чертят на земле какие-то знаки... Концепция абстрактного искусства тогда не была известна, и Плинию казалось, что слоны рисуют какие-то неведомые нам письмена. Потому что, с точки зрения человека, жившего две тысячи лет тому назад, это единственное логическое объяснение. Сейчас, после Кандинского, концепция абстрактного искусства хорошо известна, и мы поняли те, плиниевские линии, поняли, что это — самовыражение абстрактного экспрессионизма. И что сделали конкретно мы с Меламидом — так просто заменили палочки Плиния на кисть.

— *А Вы сами отождествляете себя с каким-либо животным?*

— Естественно, поневоле начинаешь отождествлять. Хотя по правде — ни с кем конкретно. Долго работаешь со слонами — превращаешься немножко в слона, с обезьянами — становишься обезьяной. Сейчас нас ожидают, может быть, еще более любопытные отождествления. Мы с Аликом пытаемся обучить фотографии овощи: при росте корнеплод сам нажимает на кнопку. У нас есть даже одна талантливая картошка, она скреплена с фотоаппаратом специальным тросиком, так что по мере роста сама нажмет на кнопку и сфотографирует свою верхнюю часть...

— *Хочу напомнить Ваше давнее признание: «работа с животными реконструирует романтическую модель гения как феномена за пределами человеческого. Участие человека в проекте дает точку отсчета, создает контекст гениальных безумств». Иными словами, как Вы полагаете, одной ли природы подсознательное животного и подсознательное человека? И каким образом человеческий мир искусства связан для Вас с нечеловеческим?*

— Конечно же, это единый мир. Я уверен, что страдают и камни. Мы слышим страшные крики камней в ущельях, когда за день они нагреваются и ночью, охлаждаясь, раскалываются с мучительным криком. Это тот же механизм, что и наша речь...

— *Как бы Вы определили свое мировосприятие в контексте традиционных религиозных верований?*

— Как и многие сегодня, я политеист. К тому же считаю, что искусство, начиная с Ван Гога, само стало новой религией. Жизнь Ван Гога на уровне истории искусств — это повтор жизни Иисуса Христа. Ван Гог так же прожил всего тридцать, в юности был проповедником на шахтах, много страдал, ему, как и Христу, пришлось умереть, чтобы обрести бессмертие... В каком-то смысле оба покончили с собой: Христос добровольно пошел на крест, Ван Гог добровольно убил себя. И, заметьте, обоих понимали лишь «двенадцать человек». Словом, модель непризнанного при жизни гения, очевидно, впервые встречается в истории Христа. А Ван Гог стал Богом сегодняшнего искусства.

— *Это — метафора?*

— Нет. Сегодня Ван Гог — Бог не только для меня, для многих. Просто пока это не оформилось в общем сознании. Но для культурного человечества он — Бог.

— *А в своих попытках создать контекст «гениальных безумств», в обращении к животным и прочих проектах не примеряете ли Вы на себя ту же роль?*

— Мы — жрецы, священнослужители, но не демиурги. Посмотрите, как переполнены музеи... В храм искусства идут, как в церковь. Сегодня искусство — более популярная религия, чем традиционные конфессии. Если вы зададите в простой (разумеется, западной, а не русской) аудитории вопрос: верите ли вы в Бога, очень многие ответят: нет. Но если вы зададите вопрос: верите ли вы в искусство? — отрицательно не ответит никто. Правда, Россия в этом смысле — исключение. Религия слишком долго была здесь под запретом. И такой религиозной страны, как сегодняшняя Россия, мы нигде больше не найдем. Я говорю о том банальном понимании религии, которое есть у каждого народа. То, что сегодня в России, — это банальная религиозность, которой другие страны уже переболели.

— *А себя Вы присоединяете к российскому контексту или к западному?*

— Последние 25 лет мы живем на Западе и, конечно, стали частью американской культурной супердержавы. Но когда я говорю о России... Есть, между прочим, поразительные русские странности. Например, особое чувство абсурда, гротеска. Русская способность доводить идеи (и общечеловеческие, и русские) до гротеска — это удивительное качество! Помните, как Петр I своим Синодом превратил в гротеск Православие? А доведенный до гротеска марксизм, который ни один шведский социалист не может понять! Сейчас создают гротесковый капитализм... Это — особое качество, весьма ценное для окружающих народов. Потому что во всяком гротеске, во всякой карикатуре люди видят идею в более резкой форме. В какой-то мере, уроки, которые дает Россия всему миру, не проходят бесследно.

— *Давайте все-таки от России вернемся — к Богу. Что для Вас Бог?*

— В моем сознании, как и в сознании большинства либералов, есть большие разрывы между разными верами. Люди верят одновременно во множество противоречивых вещей. Мы верим врачам, верим целителям...

— *Но это не религиозное чувство!*

— Религиозное вполне. Просто все старые мифы высказываются сегодня в иных словесных оболочках. Ну вот, например, воспитанная в школе вера в

микробов: а что такое микробы? Невидимые существа, причиняющие нам страдания и болезни, — те же бесенята с чертятами... Микробы мы можем рассмотреть под микроскопом. Но ведь есть люди, которые могут рассмотреть и этих самых чертят... А люди в белых халатах — посвященные, которым ведомо Знание и которые могут изгонять «бесенят» при помощи ритуалов и специальных веществ. Так что те же мифы — формы другие. Здесь имя Бога — Наука. И таких имен много. Скажем, в еврейской религиозной традиции, которая мне ближе всего, имя Бога вообще не произносится, у него много разных псевдонимов. Потому-то всякий атеист непроизвольно вторит такой традиции, просто называет Бога — Закон Природы. Что совершенно, между прочим, не решает *проблемы таинственности*, факта существования *Закона* в этом мире — именно того, что мы называем *Божественным*. Имя моего Бога, в частности, — и Закон Природы тоже, хотя я предпочитаю имен не давать. Да и все мы верим в антибиотики, в аспирин, в Ван Гога, мы верим в великих музыкантов, писателей — всё это система некоего Пантеона. И голова человека часто полна противоречивого сонма божеств.

— *Значит, любой человек религиозен. А чем отличается творческий человек?*

— Творец, как и Ван Гог, — пародия на Бога.

— *То есть осмеяние, ирония, искажение?*

— Древние различали пародии и травести. Травести — это простое подражание Богу, попытка говорить Его интонациями. Пародия же — это интонация Бога, подражающего манере раба. Так что любой творческий человек есть пародия Творца. Слово «Творец» первоначально относилось к Богу, и присвоение Его имени художниками есть травестия. Я воспринимаю ее как пародирование, потому что тот же Ван Гог подражал Богу всерьез. В западной теологии были разработаны весьма солидные теории подражания Христу. И теологи, конечно, не видели в такой ситуации пародийности. Но традиции Ван Гога довольно ясно показывает: художник — это травести Бога. Вспомните ту самую талантливую картошку, от которой мы ждем фотографию, — вот еще одно свидетельство, что мы все — травести Творца. Мы все можем творить.

— *В одном из давних интервью Вы размышляли о маске как попытке обмануть смерть — ради страстного желания человека обрести бессмертие.*

— Ну, это очень давнее интервью. Где-то в 86-м мы написали книгу «Стихи о смерти», она была частью выставки. Это первая книга, изданная нами. Ее перевели на немецкий, потом издали по-английски и по-испански. А в прошлом году, наконец, по-русски. Когда я сегодня читаю эту книгу, от многих слов хочется отказаться. Кстати, через год я, может, буду стыдиться того, что говорю Вам сейчас. Я как бы резервирую право человека менять свою точку зрения.

Да, стало быть, лет пятнадцать назад я говорил о маске... Это остроумно, кажется. Тема смерти, действительно, — одна из ключевых. Дело в том, что смерть — это, собственно говоря, ирония. Смерть как ирония — на границе лжи и правды. Уж не знаю, какой по порядку этот *второй* мир (там около дюжины измерений, мы знаем наши три, и есть, может быть, мир № 2, № 3 и т.д.). Так вот, в мире сновидений (или в мире идей, о котором писал Платон) *лжи нет*. Там все слова — сосуществуют и всякое утверждение есть правда, ведь там нет времени, нет прошлого, нет будущего. Поэтому истинно говорю вам: всякая ложь

в мире этом есть правда в мире ином. А ирония как раз находится на границе миров. Она утверждает и ложь, и правду — одновременно.

— **Вы боитесь смерти?**

— Раньше когда-то боялся. В 6 лет однажды проснулся с мыслью, что могу умереть — и заплакал. Но сейчас я смирился. У меня недостаточно воображения, чтобы представить все измерения, но я верю, что есть мир № 2. И считаю смерть доказательством бессмертия. Потому что смерть — тот порог, который нас уводит. Дело в том, что каждый выбирает смерть своим собственным способом. Все зависит от скорости съёмки, от восприятия времени. Если снять нашу жизнь немножко по-другому, многие прежние поступки представлятся самоубийством. Считается, если короткое мгновение — это поступок, а если подлиннее — уже перформанс. Но базисное отношение ко времени у меня заключается в том, что прошлое, настоящее и будущее в нем взаимозаменяемы, на самом деле причинно-следственных связей нет. Я глубоко верю в одновременное существование, в отсутствие скорости времени и, в конечном итоге, — в отсутствие самого времени.

— **Итак, Вы считаете, что всякому явлению мира № 1 свойственна трагедия Творца. Но это, если говорить об индивидууме, о личности. А что происходит, когда в диалог вступают массы?**

— Это — тоже поиск соавторства. Соавторство с животными, с массами, с монументами — все в одном ряду. В конечном счете, просто попытка стать частью природы, частью вот этого булькающего котла.

— **Некогда вы высказались в том смысле, что по-настоящему бессмертна лишь масса: масса, мол, меняет свою форму, но, постоянно видоизменяясь, она становится, по сути, бесконечна. Не из этого ли и возникли у вас такие проекты, как «Бегущая строка», «Выбор русского народа»?..**

— Нет, в бессмертии большинства я не верю. Есть такая точка зрения: человечество рассматривается издалека, и тогда промежуток между телами смешиваются, и мы все представляемся некоей гигантской плесенью, покрывшей земной шар, которая, в принципе, конечно же, бессмертна, только клетки этого организма — наши индивидуальности — отмирают и заменяются, а цельный организм — растёт, растёт... Такой вот «космический» взгляд на человечество как на одно существо. Я же думаю, что те видения пророков, что нам известны, говорят о неизбежном конце. Было начало всего, в том числе и человечества, — будет и конец. Более того, я верю, что странные звери, описанные у Даниила и Захарии, — это создания человеческих рук (скажем, результат нынешних опытов в геной инженерии). Вот тот путь, на котором художники — творцы будущего, последователи Ван Гога и, если хотите, последователи московской концептуальной школы, — перешагнут последнюю грань и станут аморальными настолько, что превратятся в инструмент в руках судьбы и Бога. Эти художники создадут таких вот зверей. И если бы я был стопроцентный христианин, я бы сказал, что и Антихрист будет результатом клонирования. Скажем, возьмут какие-то части Туринской плащаницы...

Дело в том, что процесс нельзя остановить. Человечество запрограммировано себя уничтожить. Все имеет начало и конец. Но относительно мира № 2... у меня есть интуитивное ощущение, что он — существует.

— **А не накажет ли нас Господь, не откажет ли он нам в том самом мире № 2?**

— Все возможно. Но дело в том, что мы выполняем волю высших сил. Верно ли мы ее интерпретируем, зависит от того, как мы понимаем Проект. Если описано появление такого животного, мы его создадим.

— *А как же свободная воля? Или мы творим согласно заказу?*

— Это уже проблема ответственности. Кто возьмет на себя ответственность. Я бы не взял.

— *Словом, определенный заказ свыше существует и мы по мере сил должны его выполнить. Но давайте перейдем к более примитивному, но весьма существенному в реальной жизни так называемому социальному заказу. Ваш перформанс — не есть ли это осуществление еще и некоего социального заказа? — Потому как именно социальная реакция, реакция общества на перформанс Комара и Меламида всегда была наиболее ощутимой?..*

— Я думаю, художник всегда социально задействован. Я вообще не верю, что существует индивидуальное творчество. Каждый художник, хочет он того или нет, автоматически относится к какому-то течению. И в этом смысле, он — соавтор многих людей. Соавтор своих учителей, которые вложили в него знания, своих друзей, с которыми выпивал, чьи мысли и речи слушал, а потом вспомнил — уже как собственные...

— *Ну, это обычная погруженность в социум. А с социальным заказом, на мой взгляд, все проще и определеннее: служишь королю — пишешь дворцовые портреты, служишь народу — пишешь доярок и сталеваров... Речь не о качестве творения, а об ангажированности художника и ее последствиях.*

— Нет, давления такого рода я не ощущал никогда. И всегда старался идти против среды. Во мне вызывало дикую скуку и ненависть чувство собственной зависимости от кого-то. Как и у многих художников, импульсом и для меня, и для Алика была и остается некая потребность в открытии новых земель. В этом, кстати, существенное отличие нашего мироощущения от постмодернистского. Постмодернизм — это все-таки попытка заменить пиратство — туризмом.

— *А вы — пират?..*

— Хочется думать. Всегда мечтаешь об интеллектуальной авантюре. Может, и не точное слово, но ничего лучшего не придумывается. Хочется жить — и жить интереснее.

— *Тем не менее Ваши проекты с монументальной пропагандой («бегущая строка» на мавзолее) или универсального народного портрета — разве это не погружение в социум, не обращение к толпе?*

— Нет. Это — новая территория. Никто до нас прежде такого не сделал — вот почему работать здесь было интересно. У нас сохранилась наивная вера в существование того, что никто до тебя не делал, не пробовал, не бывал.

— *Тем не менее, в нашем Сегодня — в мире глобализации, детерминированного человека — новых земель-то, очевидно, нет.*

— Есть. Ведь есть границы с миром № 2. Мы все равно ищем границу с этим миром. А один из признаков его существования — наличие таинственного. Когда вы прикасаетесь к чему-то таинственному, вы дотрагиваетесь до мира № 2.

— *Ваше течение в молодости Вы с Меламидом определили как «соц-арт», а сейчас Вы себя воспринимаете как флибустьера, который стремится убежать именно из социального мира...*

— Что значит «бежать из социального мира»? Вот это действительно можно понять как самоубийство. Мы не можем убежать вообще, потому как мир № 1 и мир № 2 — *едины*, разделение здесь — условно. Поэтому в наших силах убежать только от раздражающих нас и вызывающих безумную скуку правил, обычаев и привычек этого социального мира.

— *Ваше нынешнее творчество подтверждает вас прежних, молодых?*

— Нам уже за пятьдесят. Это раньше мы в течение одного года делали несколько крупных работ. Например, был такой очень удачный 73-й год. В начале года мы заканчиваем «Рай», это была большая инсталляция — кстати, первая в отечественном искусстве. В том же году делаем «Жизнь современника» — полиптих, состоящий из нескольких сотен деревянных панелей. В том же году создаем выдуманных художников — например, одного абстракциониста XVIII века (его картины — очень темные, потрескавшиеся — все-таки XVIII век!) и тогда же начинаем работу, которую назвали пост-арт — представили шедевры модернизма как помпейские фрески: вид из будущего на настоящее... Всё — за год. Сейчас такое невозможно. Проект с животными мы делаем лет пять...

— *Но ваш путь все-таки можно определить как последовательный? Вы пережили какие-то периоды кризиса, самоотвержения?*

— Работа со слонами, в определенном смысле, — отрицание предыдущего проекта. Хотя при желании все можно увязать воедино. Мы делали вещи очень разные... В 89-м, кажется, даже сделали Распятие и Благовещение для католической церкви.

— *А что Вы скажете о нынешнем состоянии умов, душ и, в частности, искусства? Есть у Вас претензии к нынешнему миру или Вы живете в полной гармонии с ним?*

— Я считаю, каждый живет, как он сам выбирает. Или ему кажется, что он сам выбирает.

— *Тем не менее, нам всем, чисто по-человечески, всегда хочется иметь рядом тонкого собеседника, способного нас услышать, хочется ощущать созвучие мыслей и душ. Вы лично — слышите в мире такой отзыв?*

— Я думаю — да. Хотя бы такого рода интервью — разве не отзыв?..

Художник В. Лаврентьева
Компьютерная верстка С. Точкиной

ЛР № 066469

Подписано в печать 07.12.2001. Формат 60x84/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Таймс». Печ. л. 28,00. Усл. печ. л. 26 Тираж 3200 экз.

Заказ № 5205

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



Лучшая Газета

ДЛЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ

www.lgz.ru



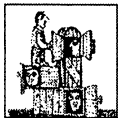
"ЛГ" представляет широкий спектр российской и мировой литературы, дает слово писателям всех направлений, регулярно публикует стихи и прозу (новая тематическая вкладка "Читальный зал"), вступает в диалог с читателями, рассказывает о новых книгах и издательских проектах ("Книжный развал").



"ЛГ" следит за современным состоянием родного языка, отстаивает его право звучать по-русски, учитывая традиции и неизбежность обновления; знакомит с самыми неожиданными гипотезами и новейшими открытиями в разных областях науки ("Научная среда").



"ЛГ" уделяет особое внимание проблемам преподавания в средней и высшей школе, предоставляя слово ученым и педагогам, обсуждает проекты реформы образования и новых учебников XXI века.



"ЛГ" изучает историю и современность, проводит журналистские расследования, прогнозирует главные направления развития общества.



"ЛГ" анализирует политическую ситуацию в стране и мире, заботится о судьбе соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, оказывает консультационную помощь читателям в разрешении юридических проблем.



"ЛГ" сохраняет лучшие традиции легендарной 16-й полосы: в "Клубе" 12 стульев читателя ждут встречи с известными и любимыми юмористами страны.

Отдел распространения тел.: 208-98-55 / факс: 208-97-00. lgzraspr@mail.ru

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

литературно-художественный журнал русского Зарубежья.

Первый год издания — 1942

Выходит 4 раза в год.

Издается в Нью-Йорке.

Главный редактор — В. Крейд.

Издатель — Корпорация «Нового Журнала»

Старейшему в Зарубежье **«НОВОМУ ЖУРНАЛУ»** шестьдесят лет. Нашими авторами были И. Бунин, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Ремизов, В. Набоков, А. Керенский, С. Лосский, Б. Зайцев, С. Франк, А. Солженицын, Н. Берберова; на страницах журнала были опубликованы работы Л. Шестова, М. Замятина, З. Гиппиус, Н. Бердяева, В. Ходасевича, А. Белого, П. Флоренского, М. Цветаевой и др. Смысл существования «Нового Журнала» — свободное русское творчество, свободная мысль. Десятилетиями «Новый Журнал» формировал литературный процесс зарубежья, публикуя лучшее, что было создано в русском рассеянии. Сегодня в «Новом Журнале» печатаются эмигранты всех «волн» из разных стран мира и многие российские авторы. Наши читатели живут на пяти континентах в 32 странах.

Основные разделы журнала: Проза, Поэтическая тетрадь, Воспоминания и Документы, История, Литература, Культура, Библиография.

Вы можете подписаться на **«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»**

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ **«НОВОГО ЖУРНАЛА»:**

The New Review

611 Broadway, #842, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

E-mail: newreview@home.com

Условия подписки на 2002 (4 номера):

для университетов и организаций в США — \$ 64.00;

индивидуальная подписка — \$40.00

(пересылка по США — \$ 8.00, за границу — \$ 16.00);

цена отдельного номера — \$ 12.50

(пересылка по США — \$ 2.00, за границу — \$ 5.00)

Плата от подписчиков в России принимается в международных чеках или банковским переводом на счет **«Нового Журнала»:**

The New Review, account no. 058-02465-4

HSBC Bank, 743 Amsterdam Ave., New York, New York 10025, USA

Редакция располагает номерами «Нового Журнала» прошлых лет издания

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2002 году она составит всего

140 руб. – годовая подписка;

70 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

“AD MARGINEM” – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60

“БИБЛИО-ГЛОБУС” – Мясницкая ул., 6; тел. 921.63.40

“ГИЛЕЯ” – Нахимовский пр-т, 51/21; тел. 332.47.28

“ГРАФОМАН” – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18

“ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА” – Старосадский пер., 9; тел. 921.48.95

“КНИГА” – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915ю27.97

ЛАВКА ЛИТ.ИНСТИТУТА – Тверская ул., 25; тел.202.86.06

“ЛЕТНИЙ САД” – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83

“МИР ПЕЧАТИ” – 2-я Тверская-Ямская ул., 54; тел. 978.60.22

“ПИР ОГИ” – Пятницкая ул., 29/8; тел. 927.55.22

“ПРОЕКТ ОГИ” – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96

“У КЕНТАВРА” книжная лавка РГГУ – Чайнова ул., 15; тел. 250.65.46

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге

Магазины “ЛЕТНИЙ САД”:

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3

ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

Новые стихи

Елены Аксельрод
Владимира Алейникова
Елены Благининой
Владимира Лапина

Аркадия Пахомова
Игоря Петрова
Владимира Салимона
Ольги Седаковой

Новые романы, повести и рассказы

Леонида Бежина
Нины Горлановой
Алексея Домбровского
Юрия Екишева
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Рээт Куду

Владимира Маканина
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Феликса Светова
Славы Сергеева
Евгения Федорова

В разделах

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- ♦ Статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Георгия Гачева, Фаины Гримберг, Николая Злобина, Андрея Зубова, Михаила Копелиовича, Наума Коржавина, Жоржа Нива, Марка Пераха, Ларисы Пияшевой, Виктора Тополянского, Владимира Торчилина, Юрия Щеглова**

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- ♦ Статьи и очерки **Павла Басинского, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Евгения Плимака, Марии Ремизовой**
- ♦ Беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Гришей Брускиным, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским, Генриеттой Яновской**

